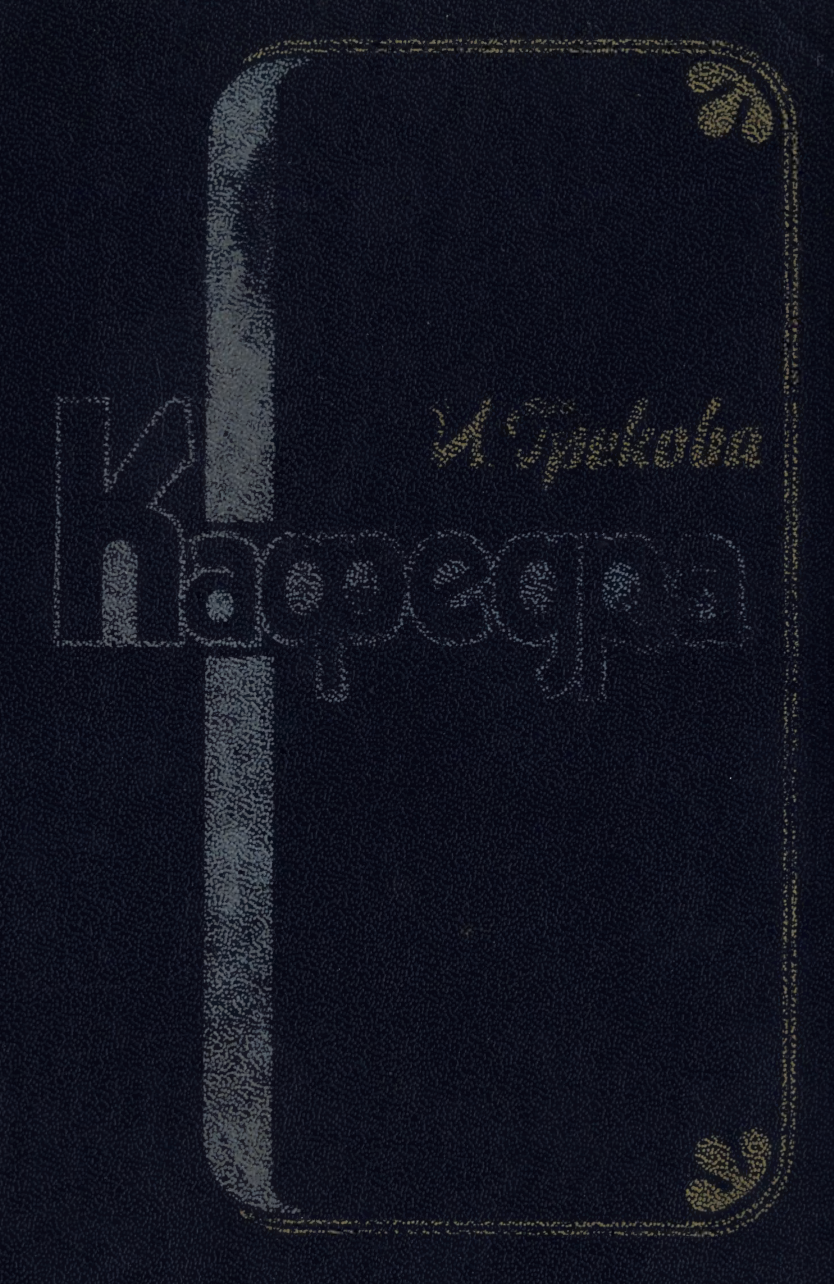
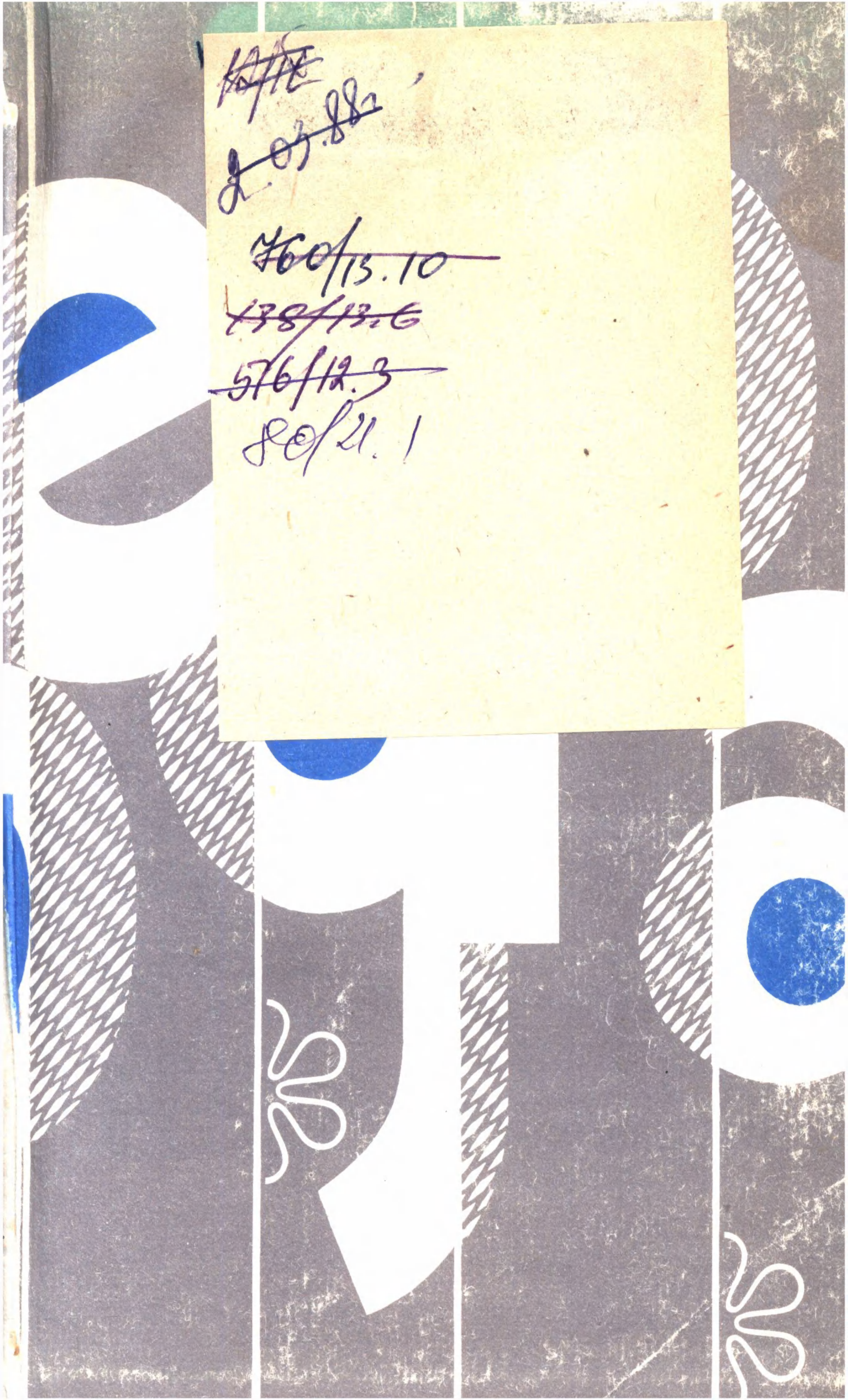
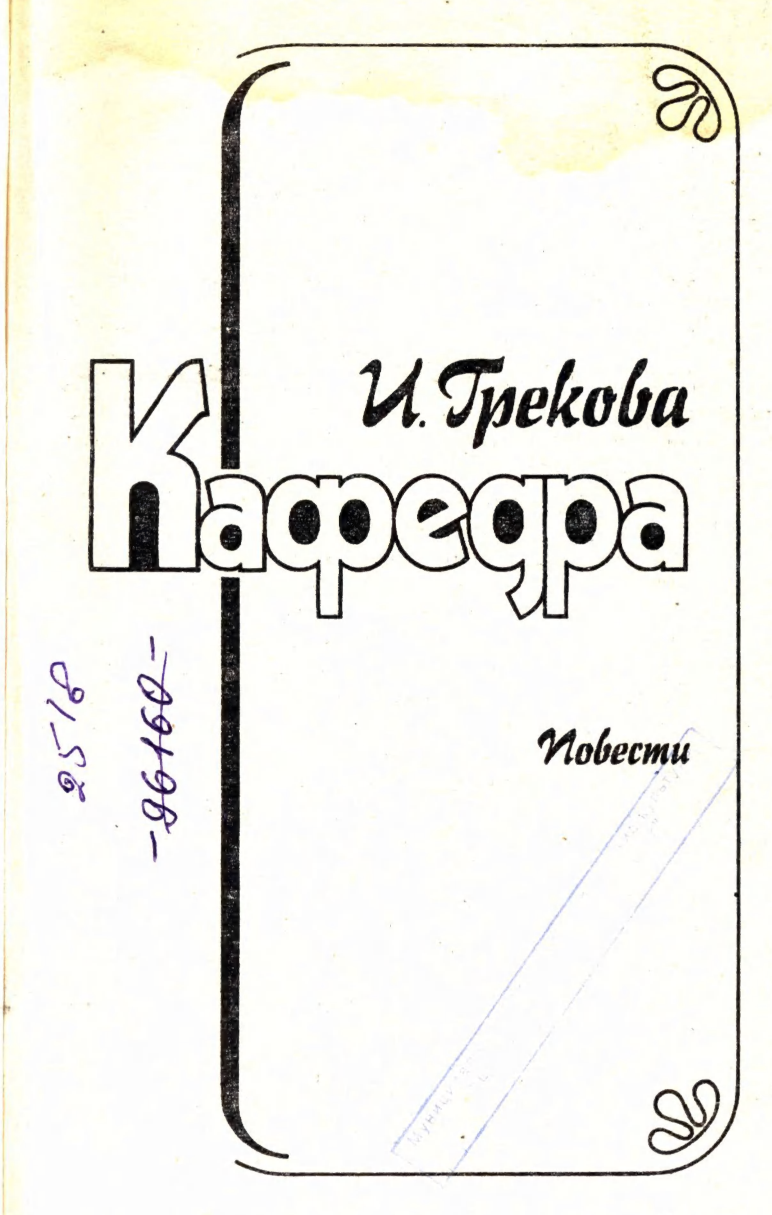

И. Грекова
Кафедра




760/13.10
138/13.6
576/12.3
80/21.1





И. Грекова

Кафедра

Повести

Москва · Советский писатель · 1983

В книгу известной писательницы И. Грековой вошли четыре повести: «Маленький Гарусов», «Хозяйка гостиницы», «Кафедра» и «Дамский мастер».

В повести «Кафедра» перед читателем проходит целая галерея ученых, проблемы, поставленные автором, очень остры, злободневны. И. Грекова вводит нас в научную среду, которую она сама прекрасно знает, и заставляет нас мыслить и чувствовать вместе со своими героями.

В подчеркнутом внимании, неизменной любви к человеческой личности — принципиальная позиция автора, проявляющаяся во всех повестях.

Художник Анатолий Мешков

Г $\frac{4702010200-087}{083(02)-83}$ 118-83

Кафедра



ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ

Короткий зимний день кончается, чуть позолоченный солнцем. Паутинка, на которой он повис, вот-вот оборвется. За окном в институтском саду ветер колеблет промерзшие ветки деревьев. Кое-где на них мотаются два-три уцелевших листа.

В комнате № 387 (третий этаж главного корпуса) идет заседание кафедры. За массивным старомодным столом в углу у окна сидит заведующий кафедрой профессор Завалишин Николай Николаевич, короче — Энэн, так его зовут все за глаза, а некоторые и в глаза. Он не обижается: хорошее имя — Н. Н. В прошлом веке так обозначалось нечто неизвестное, условное. «В ворота гостиницы губернского города NN...» Он тоже неизвестен, условен.

С виду это низенький старичок с желтой конической лысиной, обрамленной снизу и сзади венчиком белых волос. Стекла очков толщиной чуть ли не в палец прикрывают его глаза, сообщая им выражение непостижимое. Седые уши, шевелящиеся вставные зубы, пегие щетинистые усы — все это делает его внешность странноватой, если не страшноватой. Впрочем, привыкнуть к ней можно. На кафедре уже привыкли. Кое-кто даже считает наружность Энэна по-своему милой, как бывает милым откровенно карикатурный персонаж кукольного спектакля. В обращении с людьми доброжелателен, не придирается — чего еще можно хотеть от заведующего? А что иной раз поговорить любит, что поделаешь. У каждого есть недостатки. Важно «не заводить».

Несколько поодаль, храня четкую самостоятельность, сидит заместитель Энэна доцент Кравцов — круглолицый брюнет, фигура огурцом, тонкие усики. Этот крепко себе на уме. Несмотря на молодость (тридцать пять лет), у него уже практически готова докторская на модную, современную тему «Методы системотехники в теории самонастраивающихся систем». Он твердо рассчитывает после смерти Энэна (или ухода его на покой, зла он ему не желает) занять его мест и навести на кафедре порядок. Дальше рисуются ему перспективы еще заманчивее: член-корреспондент, возможно — академик. Торопиться не надо, он еще молод.

Помещение кафедры — узкое, продолговатое — половина какой-то парадной приемной прежнего, дореволюционного здания. Потолки со ржавыми потеками уходят ввысь, на пятиметровую высоту; под ними затейливая лепнина карнизов. Старинное здание в полуаварийном состоянии. Институту давно уже обещано новое где-то на окраине города, больше часа езды от центра. Постройка еще не начата, но ремонтировать старое здание уже перестали.

По всему помещению в разнообразных позах сидят преподаватели кафедры — доценты и ассистенты. Профессоров, кроме Энэна, нет ни одного, что ему постоянно ставит в вину ректорат («Мало работаете над выращиванием кадров»). Первым, по-видимому, будет выращен Кравцов.

На высоком железном ящике из-под импортного оборудования, так называемом электрическом стуле, сидит Семен Петрович Спивак, богатырь-бородач в вельветовых брюках, которого на кафедре зовут «тучный-звучный». Он не тучен, а просто громоздок и занимает много места. Ноги его расставлены в стороны, ботинки (размер сорок шесть) зашнурованы невпопад. Черная борода вокруг рта обметана серебряной белизной, как меховой воротник на морозе. Среди этой белизны ярко выделяется большой влажногубый рот. Семен Петрович в целом красив, хотя излишне массивен и агрессивен на вид. Студентки по нем обмирают, несмотря на его возраст (около пятидесяти) и репутацию великого двойкостава. На железном ящике он сидит из принципа, с тех пор как однажды во время заседания кафедры под ним рухнуло кресло. Семен Петрович, вообще человек горячий, очень уж пылко с кем-то спорил, привел неотразимый довод, трах! — и готово. «Нельзя так переживать!» — упрекала его делопроизводительница Лидия Ми-

хайловна, единственный человек на кафедре, кому было дело до мебели. Остальные отпускали плоские шутки, конечно, насчет Александра Македонского, по традиции упоминаемого каждый раз, когда речь идет о ломании стульев.

Новая мебель — низкие тонконогие столы, хрупкие стулья и кресла в форме не то корзин, не то рыболовных вершей — была спущена кафедре в прошлом году по институтскому плану переоборудования. Все приняли ее безропотно, один Энэн наотрез отказался расстаться со своим столом-мастодонтом изготовления тридцатых годов. И, как видно, не прогадал: новая мебель оказалась прискорбно непрочной. Через полгода она, как говорили преподаватели, «прошла уже период полураспада» — у стола дверцы не закрывались, а ящики, наоборот, открывались с трудом. От половины стульев остались рожки да ножки, которые институтский столяр не брался ремонтировать, говоря: «Дрова!» А стол Энэна с прибором каслинского литья (чернильница в форме головы витязя) как стоял десятилетиями, так и стоит.

Недалеко — от двери — Лев Михайлович Маркин, полуседой, взъерошенный, с выражением привычной иронии на тонком лице. Из иронии он себе сделал нечто вроде службы.

За одним столом рядышком две подруги — Элла Денисова и Стелла Полякова. Элла — лучезарная блондинка с карамельно-розовой кожей — по праву считается первой красавицей кафедры («Мисс Кибернетика»,— называет ее Маркин). Это, впрочем, не слишком много значит, ибо женщин на кафедре раз-два — и обчелся. Стелла постарше ее, некрасива, с овечьим лицом, но, что называется, стильная, модно одетая и, главное, обутая. Сейчас на ней туфли на высоченной платформе. Она то и дело осматривает свою змеевидную ногу, выставив ее боком из-под стола.

Прямо за ними — ассистент Паша Рубакин, мутноглазый, долговолосый, рваные джинсы «под хиппи», папироса за ухом. Голос у него как из подполья, разговор всегда не по существу, но чем-то интересный.

Рядом с ним как будто для контраста — Дмитрий Сергеевич Терновский, один из старейших сотрудников кафедры, немолодой, бело- и густоволосый, из тех, что в давние времена назывались педантами: ровный пробор не сбоку, а посреди головы, чеховское пенсне на цепочке, безукоризненный черный костюм, после каждой лекции чищенный щеточкой. Кроме Терновского, все преподава-

тели ходят с ног до головы в мелу. «Все мы одним мелом мазаны»,— говорит Спивак. Он-то ухитряется измазать мелом не только перед и рукава, но и спину.

За Терновским, опершись подбородком о кисти рук, скрещенные на спинке стула, сидит Радий Юрьев — узкоголовый, с откинутой назад шапкой густых темно-рыжих волос, не первой молодости, но с полной обаяния юной улыбкой, открывающей длинные желтые красивые зубы. Улыбка Радия совершенно непобедима («проникающая радиация» — говорят о ней на кафедре). В кафедральных спорах и столкновениях Радий обычно выступает в роли буфера.

Кажется, только эти перечисленные и слушают докладчика, остальные просто томятся. Кое-кто, еле скрывая, читает одним глазом роман.

Докладывает Нина Игнатьевна Асташова — смуглая стреловидная женщина, не очень-то красивая, не очень молодая (ближе к сорока), но стройностью и стремительностью по-своему привлекательная. Что-то в ней от дикого животного — серны или косули.

Речь идет о двойках. Только что свалилась зимняя страда — экзаменационная сессия, остались досдачи и пересдачи. «Не вся еще рожь свезена, но сжата. Полегче им стало»,— выразил это Маркин словами Некрасова. Он вообще по уши набит цитатами, поминутно вставляет их в разговор, иногда даже удачно. Огромная память. «Нецеленаправленная»,— говорит о ней Кравцов.

Согласно плану заседаний кафедры обсуждаются итоги сессии. Асташова говорит громко, на всем лекционном поставе голоса, рассчитанного на большую аудиторию, с четкой дикцией, выделяющей концы слов,— хоть сейчас записывай. Опытные преподаватели часто так говорят — громко, складно и авторитетно, оставляя впечатление высокомерия, в общем-то ложное. Просто профессиональная выучка.

Такова обстановка. Идет доклад.

— Вопрос о двойках не нов. Каждую сессию мы его обсуждаем, толчем воду в ступе. У этого вопроса нет решения. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Что нужно деканату? Казенное благополучие. Чтобы процент хороших и отличных оценок неуклонно возрастал от сессии к сессии, а процент двоек падал. И ведь возрастает, и ведь падает! Дважды в год мы участвуем в унизительной процедуре — слушаем доклад о ходе борьбы за успеваемость. Высчитываются проценты, доли про-

центов, строятся диаграммы... И как не стыдно такой ерундой отнимать время у занятых людей?

— Правильно говорит! — крупным басом одобрил Спивак.

— Вам будет предоставлено слово,— сказал Кравцов. (Энэн молчал, загадочный за очками.) — Продолжайте, Нина Игнатьевна.

— Продолжаю. Мечта деканата — чтобы все студенты учились отлично. Явный абсурд, ибо само слово «отличный» значит «отличающийся от других». Пятерка немыслима без фона. Это не эталон метра, хранящийся в палате мер и весов. Экзаменатор, ставя оценку, мерит знания студента не по абсолютной, а по относительной шкале.

— Эх, не то! — сказал, страдая, Спивак.— Дело не в пятерке, а в двойке.

Кравцов постучал карандашом по столу:

— Прошу докладчика продолжать, а остальных — воздержаться от замечаний.

— Продолжаю. С одной стороны деканат, с другой — мы. Им нужно формальное благополучие, нам — неформальные знания. Конечно, проще всего было бы пойти им навстречу: двоек не ставить совсем, троек — минимум, четверок и пятерок — по требованию. Жизнь будет легкая, никто нас не попрекнет, кроме нашей совести...

— «Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть»,— услужливо подсказал Маркин.

— Да, совесть,— подчеркнула Асташова, потемнев лицом.— А это, как учит жизнь, опора хрупкая, ненадежная. Поведение человека диктует не совесть, а объективная обстановка. Эта обстановка, хотим мы или нет, толкает нас в мир фикций. Фиктивных оценок, фиктивных достижений, фиктивной отчетности...

— Не замахиваетесь ли вы слишком широко, Нина Игнатьевна? — осторожно спросил Кравцов.

— Напротив, замах чисто местного масштаба: я говорю о наших вузовских делах. Как учитывается наша работа? По среднему баллу, по проценту двоек. Это же курам на смех! Кто как не мы сами ставим себе эти оценки? Давайте сравним с другими областями производства. Где это слыхано, чтобы работа завода, фабрики, мастерской оценивалась по отметкам, которые они сами себе выставили? А у нас получается именно так! Формальные критерии, не подкрепленные объективными способами контроля, неизбежно порождают очковтирательство.

Услышав «очковтирательство», Кравцов насторожился и подал голос:

— Я возражаю. Голословное обвинение.

— Не голословное. Давайте будем честными. Пусть каждый спросит себя, сколько двоек он бы выставил, если б не давление сверху?

— Я? Столько же, сколько сейчас,— сказал Спивак.

— Верю. Но вы исключение. Правило известно: три пишем, два в уме.

— Не согласен,— сказал Кравцов.— Я ставлю оценки без всякого давления.

— Вы тоже исключение,— нелюбезно ответила Асташова, оскалив косенький зуб.

— Нина Игнатьевна права,— сказал Терновский.— Прежде чем поставить двойку, трижды задумаешься. Поставишь — всем хуже: студенту, тебе самому, кафедре, факультету... А толку что? Ты ему двойку, а он к тебе же вернется пересдавать, как бумеранг. А время на пересдачи в нагрузке не предусмотрено, идет прямехонько в перегрузку. Ну ладно, к перегрузкам нам не привыкать. Главное, приходит он, чаще всего зная не лучше, а хуже, чем в прошлый раз. Опять двойка. А деканат его еще раз пришлет. И еще, и еще. По действующим правилам нельзя пересдавать больше двух раз — на третий ставится вопрос об отчислении. А деканат, как известно, боится отсева. Вот и присылает «в порядке исключения» раз за разом. Капля долбит камень. Учтешь все это, подумаешь-подумаешь — и поставишь тройку. Все равно этим кончится.

— Нет, не все равно! — загремел Спивак.— Кому все равно, пусть убирается вон из вуза!

— Позвольте, товарищи, мы, кажется, перешли к обсуждению, не дослушав доклада,— вмешался Кравцов.— Нина Игнатьевна, мы слышали ваши критические замечания. Но критика без конструктивных предложений бесплодна. Что, в конце концов, вы предлагаете?

— Неужели не ясно? Предлагаю прекратить практику оценки работы преподавателей, кафедр, института в целом по успеваемости студентов. Ликвидировать дутые отчеты о ходе борьбы за успеваемость. Избавить нас от мелочной опеки деканата...

— Ну, это невозможно,— солидно сказал Кравцов.— В нашем обществе...

— Именно в нашем обществе это и возможно. В частности, в вузе. Пусть нашу работу оценивают по выходу, по качеству работы наших выпускников.

— Утопия. Еще предложения?

— Только самые общие. Подбирать людей тщательнее, доверять им больше, контролировать меньше. И, главное, контроль должен быть квалифицированным.

Кругом зашумели. Кравцов застучал по столу костяшками пальцев:

— Товарищи, товарищи, вы не даете докладчику кончить.

— Да у меня, пожалуй, все. То, что я говорю, одним известно, другим неприятно, а третьим просто неинтересно. Недаром профессор Завалишин спит.

Все поглядели на Энэна — он и в самом деле спал. Такая уж у него была особенность: длящаяся речь одного человека действовала на него неодолимо. Что-то на него наваливалось, мягко давило, он погружался в сон, как в огромный, размером с мир, пуховик. Правда, спал он непрочно, все время сохраняя какой-то контакт с происходящим и отдаленно понимая, о чем речь. Как только упоминалось его имя, он просыпался. Вот и сейчас он приподнял голову, открыл глаза, дернул дважды щекой и, дважды заикнувшись, сказал:

— Я не сплю. Я все слышу.

— Значит, мне показалось. У вас были закрыты глаза.

— Веки тяжелы,— сказал Энэн, снова закрыл глаза и опустил голову.

— Тоже мне Вий,— шепнула Элла.

— Хорошо, что спит,— ответила Стелла.— Не дай бог, проснется, начнет говорить... На заре ты ее не буди.

— Может быть, есть вопросы к докладчику? — спросил Кравцов, пытаясь ввести заседание в русло.

Маркин поднял руку:

— Позвольте вопрос. Тут как будто упоминались два персонажа: конь и трепетная лань. Как это понимать?

— Деканат и мы,— пояснил Спивак.

— Кто конь и кто лань?

— Конь — деканат, а трепетная лань — мы.

— Как раз наоборот,— сверкнула глазом Асташова.— Трепетная лань — деканат. Трепещет-то он, а не мы. Если бы мы трепетали, давно бы не было двоек.

— А нельзя ли,— не унимался Маркин,— рассмотреть эту конфликтную ситуацию как парную игру с нулевой суммой?

— Глупо,— ответила Нина.

— Товарищи, товарищи, не будем оскорблять друг

друга,— вмешался Кравцов.— Нам еще предстоят прения по докладу. Кто хочет выступить?

Поднялся Спивак, расправил плечи, грудь колесом. Брюки его торжественно струились, не свисали — ниспадали.

— Все это чушь собачья, сотрясение воздуха. «Абсолютная шкала, относительная...» Двойка есть двойка, я ее нутром чувствую. Сам был двоечником. Двоечник — это жизнелюб, сибарит. Если его вовремя не огреть двойкой, он так и будет кейфовать. По себе знаю. Если бы не профессора нашего университета, щедро ставившие мне двойки, я так бы и кейфовал до сих пор. Низкий им поклон за эти двойки. Правда, тогда были другие нравы, ставить двойки никто не боялся. Вот если бы я учился сейчас, в нашем институте, я так бы и не превратился в человека.

— Роль труда в процессе очеловечивания обезьяны,— вставила Стелла, играя ногой.

— Вот именно! Труд, труд и еще раз труд! А не эти, как их, вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Мы, педагоги, должны бороться за свое святое право на двойку. Нас гнут, а мы не гнемся. Нас толкают, а мы упираемся. Итак, да здравствует двойка!

— Двойка, птица-двойка, кто тебя выдумал? — спросил Маркин, но смехом поддержан не был.

Кравцов раздумывал, сразу ли давать отпор демагогическому выступлению Спивака или повременить. Решил повременить. Могучего темперамента Семена Петровича он побаивался.

— Кто еще хочет высказаться? Только строго по повестке дня, без лирических отступлений. Элла Борисовна, может быть, вы?

Элла заговорила неохотно:

— Двоек, конечно, много. Борьба за успеваемость — это в принципе хорошо. Но надо и о студентах подумать. Какие там вздохи на скамейке! Им и на стуле вздохнуть некогда. Задания, задания... Даже списать и то надо время, а его нет...

Она, сама недавно кончившая вуз, еще не успела перестроиться на преподавательскую точку зрения и всегда была на стороне студентов. В ней еще не угасла классовая вражда угнетенного к угнетателю.

— Им созданы все условия для работы,— заметил Кравцов, разглядывая свои ногти.

— Все условия?! А в общежитие номер два вы ходили?

— Пока нет.

— То-то что нет. Там не условия, а один кошмар. На днях трубы полопались, буквально нечем мыться. Ходят с чайниками на колонку. Парням-то ничего, они не страдают, а девчонкам трудно... Жаловались мне как куратору — женщина женщину всегда поймет. За исключением коменданта. Ходила я к ней — этакая скифская баба, только курган вокруг нее строить. Ничего делать не хочет...

— Естественно,— сказал Маркин.— Человек, уровень благополучия которого не зависит от количества и качества его работы, ничего никогда делать не хочет.

— А мы? — крикнул Спивак.— Наш с вами уровень благополучия если и зависит от количества и качества работы, то в обратном смысле. Меньше работаешь — лучше живешь.

— Опять преувеличение,— кисло заметил Кравцов.— Но продолжим заседание кафедры. Кто еще хочет высказаться?

Поднял руку Радий Юрьев. Встал, заразительно улыбаясь. Всем сразу стало казаться, что все хорошо.

— Товарищи,— сказал Радий,— надо искать необходимые компромиссы. Здесь многие стараются что-то перевернуть, изменить радикально. Каждый из нас, дай ему волю, таких бы дров наломал! Не надо, будучи преподавателем вуза, пытаться решать государственные вопросы. У каждого своя специальность. И только в двух вещах каждый считает себя компетентным — в медицине и в управлении государством. Нина Игнатьевна, ваши конструктивные предложения, простите, наивны. Они на уровне самолечения или, еще хуже, знахарства. Я, например, знаю одного хорошего математика, который вдруг свихнулся и занялся иглоукалыванием; возможно, это прекрасная вещь, но пусть ею занимаются врачи, а математики — своими делами. На наш век их хватит.

— Могу только солидаризоваться,— одобрил Кравцов.

Радий поблагодарил его поклоном и сел. Нина Асташова сверкнула на него гневным взглядом. Встал Паша Рубакин и глухим, подпольным голосом заговорил:

— По поводу последнего выступления я вспомнил один анекдот. Можно, я его расскажу?

— Только в пределах регламента, две-три минуты,— сказал Кравцов, взглянув на часы.

— Не беспокойтесь, я мигом. Этот анекдот немецкий, но я буду переводить. Приходит домой муж и застает приятеля со своей женой, а она очень некрасива. Муж говорит

приятелю: «Ich muss, aber du?» (я должен, но ты?). У меня все. Уложился я в регламент?

— Уложились,— с неудовольствием сказал Кравцов,— но анекдот ваш никакого отношения к делу не имеет. Прошу остальных товарищей беречь свое и чужое время и не уклоняться от темы. Кто еще хочет высказаться?

Он зевнул.

Преподаватели вставали один за другим, отчитывались за итоги сессии. Те, у кого процент двоек был выше среднего, нервничали, ссылались на объективные причины (чаще всего упоминалась картошка). Исключение составил все тот же Паша Рубакин: он заявил, что единственная причина плохой успеваемости в его группе — низкое качество преподавания.

— Разве я преподаватель? Такой человек, как я, только по недоразумению может работать в вузе. У меня развитие лягушки. Даже ниже — лягушачьего эмбриона. Обещаю к следующей сессии подтянуться и повысить свое развитие хотя бы до уровня курицы.

К парадоксам Рубакина все уже привыкли и внимания на них до обидного не обратили. Один Кравцов сказал:

— Вашу самокритичность можно только приветствовать. Но какой пример вы подаете студентам своим внешним видом? Мы боремся с длинными волосами...

Тут отворилась дверь и вошла высокая, белокурая, баскетбольного роста девушка в замшевой юбочке до середины бедра. Робко остановилась, держась за дверную ручку. Ноги у нее были такие длинные, статные, туго обтянутые, что вся мужская часть кафедры (кроме Энэна, который спал) не без удовольствия уперлась в них глазами.

— Что вам нужно, девушка? — опоминаясь, спросил Кравцов.

— Матлогику сдать.

— А в сессию почему не сдали?

— Двойку получила...

— Вот перед нами,— сказал Кравцов, картинно протянув руку,— одна из тех двоек, о которых сегодня шел разговор. Причем типичная. Вот что, девушка. У нас идет заседание кафедры. Если б не такие, как вы, оно бы кончилось много раньше. Подождите-ка в коридоре, пока мы кончим.

Девушка вышла.

— «Матлогика»,— иронически повторил Терновский (он был на кафедре главным ревнителем чистоты языка).—

Некогда сказать «математическая логика». Матлогика, матстатистика, матанализ — сплошной мат...

— Веяние времени. Они и бездельничая торопятся,— сказал Спивак.

Элла, которая сама говорила «матлогика», обиделась:

— А почему нельзя? Говорите же вы «сопромат», а не «сопротивление материалов», «комсомол», а не «коммунистический союз молодежи»?

— Ну, это уже вошло в традицию.

— Но для того, чтобы вошло в традицию, кто-то должен был начать. И ему, наверно, доставалось от консерваторов.

— Вообще вопрос о чистоте языка спорный,— сказал Спивак.— В таких спорах не бывает правых. Старые люди обычно отстаивают нормы своей молодости.

— Я не так уж стара, но говорить «матлогика» не буду,— сказала как откусила Нина.

— Нет, я за новаторство во всем,— заявила Стелла,— в моде, в языке, в поведении... Что же, по-вашему, так и носить длинные юбки? Надо упрощать, укорачивать.

— А как же макси? — спросил Маркин.

— Не привьются,— категорично ответила Стелла.

— Не знаю, как с юбками, а в языке нужна позиция разумного консерватизма,— сказал Терновский.— Если студентов не поправлять, они бог знает до чего докатятся. Этот чудовищный жаргон, помесь английского с нижегородским... Квартира у них «флетуха», девушка — «гирла́»...

— А иной раз и по-русски такое отмочат — закачаешься,— заметил Маркин.— На днях один новатор обогатил меня на экзамене термином... в смешанном обществе не решаюсь его повторить.

— А бывает и интересно,— вступилась Элла.— Вот у меня студент вместо «мощность» сказал «могущество». Разве не хорошо? «Могущество множества»...

Тут усы Энэна зашевелились, и он произнес нараспев:

— А что даст тебе знать, что такое ночь могущества?

— Николай Николаевич, вы хотите выступить? — спросил Кравцов.

— Боже упаси. Это я про себя. Продолжайте, пожалуйста.

— Что же, по-вашему, не надо поправлять студентов, когда они делают ошибки? — вскинув пенсне, сказал Терновский.

— Поправлять надо, но только кричащие ошибки, явно

противоречащие духу языка,— сказала Нина не очень уверенно.

Тут Энэна прорвало — он заговорил. Сначала тяжко, с запинками, усердно помогая себе щекой и усами, а потом все бойчее и глаже. Так, бывает, расходится хромающий человек.

— Зачем исправлять? Подавать пример. Помню, когда я учился, у нас читал лекции профессор X. Он нас прямо околдовывал своей речью. Слушали мы его развесив уши. Абсолютная художественная культура слова. Мы подражали ему не только в лексиконе — в интонации. Был у него один особый коротенький крик вроде клекота ястреба, им он выражал торжество правды — «что и требовалось доказать». И мы за ним, доказав теорему, вскрикивали по-ястребиному. Тогда из университета пачками выходили студенты, говорившие, как X., писавшие, как X. Еще теперь иногда, встретив старого человека, я вдруг у него спрашиваю: «А вы тоже учились у X.?»

Когда Энэн говорил, он так отвлекался от всего окружающего, что чужой речи уже не слышал. Привыкшие к этому преподаватели перебрасывались словами, почти не понижая голоса.

— Ну, пошли воспоминания, пиши пропало,— вздохнула Элла.— Минимум на полчаса. А мне Витьку из садика брать, после семи не держат. Дома обеда нет — кошмар!

— А главное,— ответила Стелла,— когда он разговаривает, я просто не могу на него смотреть! Все шевелится — усы, зубы... Зубная техника на грани фантастики.

— Поглядите на цветущую липу,— говорил Энэн, усердно работая лицом.— Вас никогда не поражало, что все эти цветы, в сущности, обречены? В лучшем случае одно семечко из тысячи даст росток, один росток из сотни разовьется в дерево...

— Как это он на липу перескочил? — спросила Элла.

— Поток сознания,— пояснила Стелла.

— Правильность языка, его здоровье,— говорил тем временем Энэн,— создается коллективными усилиями людей, которым не все равно. Страсти, бушующие вокруг языка,— здоровые страсти. Губит язык безразличие. Каждый из спорящих в отдельности может быть и не прав. Творческая сила — в самих спорах. Может быть, одно из тысячи слов, как семечко липы, даст росток... Достоевский гордился тем, что ввел в русский язык новый глагол «стушеваться». Кажется, он ошибся — это слово употреблялось

и до него. Но уже несомненно Карамзин выдумал слово «промышленность» — самое живое сегодняшнее слово...

— От двойки до Карамзина,— сказал Маркин,— и все по повестке дня.

— Помолчите,— одернула его Нина, слушавшая Энэна со складкой внимания между бровей.— Как раз когда заходит речь о самых важных вещах...

— О самых важных вещах лучше не рассуждать публично.

— Пошлость,— спокойно сказала Нина.

— Благодарю,— поклонился Маркин.

— И как это он терпит? — тихо сказала Элла.— Я бы на его месте обиделась. А нашей Нине только бы порассуждать, да еще публично. Ей хорошо, у нее старший, Сашка, и покупает и варит. Все равно что бездетная.

Энэн продолжал бормотать все невнятнее:

— Да, семечко липы... О чем это я? Надо так преподавать, чтобы выходила собачка...

— Какая собачка? — спросил Спивак.

— Долго рассказывать. В другой раз,— сказал Энэн и умолк.

— Товарищи,— сказал Кравцов, вставая и одергивая пиджак на выпуклой талии,— мы работаем свыше трех часов. Разрешите мне подвести итоги дискуссии.

Все радостно зашевелились. Итоги — значит, будет все же конец.

— Мы слышали здесь ряд темпераментных выступлений: Нины Игнатьевны, Семена Петровича и других. Жаль, не все в этих выступлениях было по существу. Кое-что было преувеличено, излишне заострено. Конечно, критика и самокритика необходимы, но они не должны переходить в демагогию. Позиция деканата правильная. Нас отнюдь не призывают к снижению требовательности, как здесь некоторые пытались представить. Наоборот! Требовательность надо повышать, одновременно добиваясь повышения успеваемости за счет методической работы, мобилизации резервов... Гимн двойке, который тут пропел Семен Петрович, был в высшей степени неуместен...

Спивак выразил протест каким-то гневным междометием, похожим на хрюканье вепря. Кравцов заторопился дальше:

— Да, неуместен. Не воспевать надо двойку, а бороться с нею, изжить это позорное явление. На повышенные требования ответим повышенной отдачей. В условиях вуза борьба за успеваемость равносильна борьбе за качество.

Задача подготовки высококвалифицированных специалистов...

И так далее, и так далее. Речь его была как галечник: много, кругло, обкатанно. Преподаватели томились, привычно скучая. Эта скука входила в ритуал собраний, ее терпели, ловя вожделенный момент, когда голос говорящего чуть-чуть повысится: значит, идет к концу. И в самом деле, голос повысился. Кравцов закончил умеренно-патетической, приличной масштабу собрания фразой и вежливо спросил спящего Энэна:

— Разрешите закрыть заседание, Николай Николаевич?

— Да-да, конечно.

Все начали вставать, одеваться. Женщины натягивали теплые сапоги, прятали туфли в ящики столов. Стелла в безумно расшитой дубленке красила перед зеркалом зеленые веки. Мужчины, выходя за дверь, жадно закуривали. Тут и там от группы к группе перекидывался смех.

В коридоре, грустно ожидая, стояла на своих нескончаемых ногах давешняя блондинка в замшевой юбочке. Увидев выходящих с кафедры людей, она робко выдвинулась вперед. Бледное голодное личико выражало мольбу.

— Матлогика...— сказала она еле слышно.

— Лев Михайлович, договоритесь о пересдаче,— распорядился Кравцов и заспешил по коридору об руку со своим пузатым портфелем.

— Какой предмет? — спросил Маркин.

— Матлогика...

— Да-да, я и забыл. По поводу этой матлогики у нас на кафедре была дискуссия. Большинство (Нина Игнатьевна в том числе) считает, что надо говорить «математическая логика».

— Математическая логика,— покорно повторила девушка. На полголовы выше Маркина, она глядела на него, как кролик на льва.

— Кстати, на дворе крещение,— сказал Маркин.— Я хочу задать вам классический вопрос. Как ваше имя?

— Люда...

— Этого мало. Фамилия?

— Величко.

— Отлично. Люда Величко.— Он вынул записную книжку.— Буду иметь честь. Вторник, в два часа пополудни. Устраивает это вас?

— Устраивает. Спасибо. До свидания,— поспешно сказала Люда и на рысях двинулась прочь.

— Что это значит? — спросила Нина.

— Я осуществлял свою воспитательную роль, стоя на позиции разумного консерватизма.

— Не консерватизма, а идиотизма. И почему нельзя было договориться с ней раньше?

— Вы же слышали, Кравцов приказал ей обождать в коридоре.

— Кравцов прикажет ей ходить на голове — вы и это будете приветствовать?

— Еще бы! С такими-то ножками!

— Хватит пошлостей!

Она быстро пошла по коридору мимо черных, уличными огнями умноженных окон. Маркин шел следом, слегка прихрамывая. На ходу становилось заметно, что у него одна нога короче.

— Нина, не торопитесь. Позвольте, я вас провожу.

— Не надо.

— Что изменилось со вчерашнего дня? Вчера вы меня терпели.

— Вы мне надоели своим паясничеством.

Пошли молча, она впереди, он за ней.

— Нина, это нечестно,— сказал он вдруг сломанным голосом.— Вы пользуетесь... Ну да что говорить.

Она хмуро смягчилась:

— Ладно, идите.

...Лестница мраморная, перила широкие, в три ладони. Как прекрасно было бы кататься на таких перилах в детстве. Вжик — и внизу. Студенты до сих пор катаются...

Она шла легко, чуть скользя по этим перилам перчаткой.

НИНА АСТАШОВА И ЕЕ БЛИЗКИЕ

Холодный ветер гонит-гонит, и такая тревога во всем. Дымные струи поземки мечутся по голому льду. Не люблю зимних свирепых вечеров. Мимо мчатся машины в слезящихся пятнах огней; сливаясь, они превращаются в полосы, лучи, мечи.

Машины — дикие звери нашего городского мира. Пещерные медведи, саблезубые тигры. Человекоядные. Гудеть им запрещено, они мчатся молча, стиснув зубы. Лишь изредка прорывается короткий сдавленный сигнал: это шофер не выдержал, нажал гудок — опасность близка. Я вздрагиваю и вспоминаю Лелю. Любимая моя подруга и, в сущности, единственная, она погибла под машиной шесть

лет назад, как раз зимой, вечером, в часы пик. Димке было всего полгода. Разумеется, я его взяла.

Помню, Кирилл, Лелин муж, незадолго перед тем ее бросивший (глупое слово, Лелю нельзя было бросить, как и меня),— Кирилл приехал ко мне разговаривать о судьбе сына. Он даже не скрывал облегчения, когда я сказала: «Беру». Брала-то не я, брали мы с Сашей, моим старшим, ему тогда было десять. Я его, конечно, спросила, и он твердо сказал: «Берем». Кирилл думал, что я буду его упрекать, сидел поникший, уронив голову со спутанными редкими кудрями, сквозь которые просвечивала кожа. В юности, светлокудрявый, он был похож на Есенина. А мы в школе увлекались Есениным, томик стихов зачитали до дыр, до россыпи. Может быть, и Кирилл-то ее привлек своей есенинской челкой, мягко и гибко игравшей на белом лбу. На поверку человечек оказался мелкий, но не в этом дело. Есенин тоже был в чем-то мелок, с цилиндром и перчатками, но в поэзии поднимался до величия...

Погасший, облезший, Кирилл сидел, опустив голову, и мне было его жаль. Уж больно единодушно все его осуждали: «Если б не он, была бы жива...» Терпеть не могу эту формулу «если б не...». Кто знает, что было бы? Нельзя по произволу изменять прошлое, вынимать из него отдельные звенья. Прошлое органично растет вместе с человеком и вместе с ним образует будущее...

Кириллу я так и сказала: «Не убивайтесь, в том, что случилось, вашей вины нет». Как он обрадовался, бедняга!

Мы с ним остались друзьями, хотя раньше, при Леле, я его не очень любила. Безотносительно к тому, что он от нее ушел. Упаси бог судить со стороны о семейных неурядицах. Мало ли что там может быть! Какая тоска (физическая, духовная) может погнать человека от одной женщины к другой? С общепринятой точки зрения, бросить жену с грудным ребенком — абсолютно дурной поступок, предел непорядочности. Не знаю, как для кого. Я лично тысячу раз предпочла бы, чтобы от меня ушли, чем из жалости остались. Линия наименьшего сопротивления: лгать, продолжать тянуть. Так что Кирилла я не осуждаю.

До сих пор он иногда заходит поглядеть на сына. Смотрит на него грустно, скованно. В новой семье у него детей нет, да, кажется, и ладу не слишком много.

Димка, конечно, не знает, что дядя Кира ему отец. Я его официально усыновила, дала свою фамилию, а отчество — Григорьевич, как у Саши. Сашиного отца я когда-то очень любила, эта любовь так до конца и не погибла даже в потоке

подлостей. Осталась благодарность за бывшее мое неотъемлемое счастье. Гриша, Гришка, Гришастый — до чего же он был хорош, покуда не начал врать...

Из института домой провожал меня Лева Маркин. Зря я с ним резка и зря позволяю всюду за мной ходить — все замечают и над ним посмеиваются. Мои резкости он терпит безропотно (я бы на его месте не стерпела). Конечно, гуманнее было бы прямо сказать ему «нет». Но я не решаюсь, мне страшно остаться без его преданности, без возможности в любую минуту позвонить ему и услышать: «Конечно, все что хотите, когда хотите».

Люди считают меня смелой, а, в сущности, я трусиха. Я не боюсь того, чего обычно боятся женщины: темноты, выстрелов, мышей, техники (сама чиню пробки в квартире). Не боюсь выступать публично, отстаивать свое мнение. В высшей степени не боюсь начальства. И вместе с тем втайне, внутри себя, непрерывно боюсь. Чего? Пожалуй, судьбы, чего-то нависшего, подстерегающего. После гибели Лели боюсь машин. Часто вижу сны — кто-то из детей гибнет под машиной, я кричу от ужаса и бросаюсь туда, под смерть. Просыпаюсь, сердце стучит, слава богу — сон.

Заседание кафедры было долгое, нудное. Докладывала я неудачно. Энэн спал, а потом нес обычную невнятицу. Когда он говорит, остается впечатление, будто кто-то при тебе чешет правой ногой левое ухо. Говорили и другие — каждый о своем. Никто меня, в сущности, не поддержал. Видимо, разговор о двойках, об их причинах и следствиях попросту изжил себя.

Мою неудачу заметила не я одна. Даже Лева Маркин, не упускающий случая меня похвалить, на этот раз молчал. Шли мы домой молча. Он хромал, я старалась об этом помнить и идти медленнее.

Он довел меня до моего подъезда. Мы остановились, он явно ждал, что я его приглашу зайти (иногда я это делаю). Я не пригласила.

— До свидания, спасибо за компанию. Вы были на редкость разговорчивы.

Шутки он не принял.

Глаза у него были такие горькие, что мне стало не по себе. Надо бы сказать сразу, по-честному: люблю другого, уходите, не мучьте себя. Нет, к этому я, трусиха, не была готова. А может, сказать? Именно сейчас.

Пока я колебалась, он, ссутулившись, стал уходить. Даже не попрощался. Минуту-две я глядела ему в спину, потом потеряла ее в потоке машин. Когда кто-нибудь при

мне переходит улицу, у меня всегда екает сердце. Какой-то психоз — вечное это предчувствие беды. Каждый раз, как идти домой, боюсь: а вдруг беда уже случилась?

Вошла — все тихо. Шаги — появился Саша. Неохотно помог мне раздеться.

— Все благополучно? — спросила я.

Он кивнул. Отлегло.

Вошла в кухню. Отменная чистота. С помощью чистоты он обычно выражает свой гнев. Я сказала, подлизываясь:

— Ну и ну! Все так чисто и красиво...

Молчит.

В детстве его звали Сайкин. Толстенький, сдобный, глаза как изюминки. Сейчас Саша высок, строен, узок в поясе, широк в плечах. Имени Сайкин терпеть не может, говорит: «Дамское сюсюканье» (и все равно в мыслях я его иначе не называю). Строг, взыскателен.

— Есть хочешь? Обед в холодильнике.

— Спасибо, не хочу.

— В институте обедала? Ну как хочешь.

Строг, строг. И не улыбнется. Догадываюсь: пришел Валентин. Сайкин его не любит и каждый раз дуется — то больше, то меньше.

Вошла в свою комнату — так и есть, Валентин. Спит на моей тахте, ноги свесились, крупная голова глубоко провалилась в подушку.

За что, спрашивается, я его так люблю? Ведь и некрасив, строго-то говоря. Похож на актера Фернанделя огромностью, лошадиностью. Большие грубые губы, лицо костистое, все в выпуклостях. Спит и чуть-чуть всхрапывает. Вероятно, напился.

Да, мой любимый пьет. Еще не алкоголик, но на пути к этому. Путь извилист, усеян розами, терниями и женщинами. Вероятно, я должна была бы вмешаться: что-то запретить, чего-то потребовать. Но этого я и пытаться не буду: не мой репертуар.

И еще одна причина есть, по которой я не хочу вмешиваться. В ней мне стыдно признаваться даже себе: очарование пьяного Валентина. Напившись, он никогда не теряет облика. Напротив, становится лучше: такой добренький, веселый, раскованный.

Вспоминаю, как шли мы с ним вместе с банкета в Доме кино. Праздновали прием его картины — прошла на ура (его фильмы всегда либо с треском проваливаются, либо идут на ура — середины нет). Ужин был при свечах — новинка моды. Актеры, актрисы, поставленные голоса, тосты,

непонятные шутки, смех, от которого качались огни свечей. Я там чужая — не понимаю шуток. Поглядывали на меня с вежливым любопытством. Я даже уловила шепоточки: Софья Ковалевская, синий чулок. Одета я была, по-моему, неплохо, но под их взглядами чувствовала себя замарашкой: то, да не то...

Удивительно, что Валентин взял меня с собой — не побоялся. Жена у него киноактриса, но он ее не снимает из принципа, а она из принципа не ходит на его банкеты. Красивая женщина, куда красивее меня. Рослая, белокурая, авторитетная. Мы познакомились на каком-то закрытом просмотре, про фильм она сказала «сырой». Красивая, безусловно. Кроме жены, у него еще дочь лет четырнадцати, очень высокая, некрасивая, похожая на него, с такими же крупными, но юными, пушком обметанными губами. На эти губы я смотрела с нежностью. Девочка где-то уже снимается; разговор о ролях, о том, кто кого продвигает... Временами, вспышкой, момент импровизированной игры: два-три слова, жест, интонация, намек на улыбку — и тогда видно, что талантлива. В матери я таланта не вижу, одна вескость. Видно, дочка в отца не только лицом, но и одаренностью, которая в Валентине видна с первого взгляда.

В их киношном мире, сколько я поняла, мнение о нем такое: яркий талант, жаль — пьяница. Он сам про себя говорит: «Я не горький, я сладкий пьяница». И правда.

...Как мы тогда шли с банкета. Валентин был пьян и прекрасен. Воплощенная грация. Странно, что при огромном росте, лошадиной голове он так грациозен. Он словно бы не шел по земле, а скользил на воздушной подушке, подныривая на каждом шагу. Пел песни (трезвый никогда не поет). Я восхищалась, на него глядя, его слушая, удивляясь: как это может быть у меня (пусть временно!) такая прекрасная собственность? Вдруг он стал на четвереньки (поза пробуждающегося льва), сказал:

— Не могу больше, зайдем к Сомовым, они нам будут очень рады.

Никаких Сомовых я не знала, а если бы и знала, все равно бы к ним не пошла. Идея зайти к Сомовым сидела в нем крепко, еле-еле я его отговорила от этого визита, подняла. Смеялся, большие зубы выдались вперед, как на лошадином черепе,— страшновато, но прекрасно. Зашли мы с ним в первый попавшийся двор. Валентин ухватился обеими руками за толстую бельевую веревку и повис на ней, раскачиваясь взад и вперед. Подошла собака, обнюхала ему ноги, села напротив, стала скулить.

— Ну что, пес? Трудно тебе? Понимаю. Мне самому трудно. Перебрал я, пес. А ты?

Собака ответила утвердительно тонким подвывом.

— Ага! Товарищи по несчастью. Послушай моего совета: никогда не женись.

Собака опять проскулила согласие.

Минуты две-три продолжался их разговор. Мне кажется, они прямо так, без репетиций, могли бы выступать в цирке. Смешнее всего было то, что Валентин, вися на веревке, был слишком длинен и ноги, подогнутые в коленях, скребли по земле. Веревка оборвалась, Валентин приземлился и тут только заметил меня:

— Женщина! Кто ты такая? Вари мне обед, женщина! Впрочем, не надо, я сыт. Уложи меня спать.

— Опомнись, где я тебя уложу?

— Здесь, под березой. Впрочем, никаких берез нет. Под этим столбом. Очень уютное место.

Лег сам, пошевелился, удобнее устраиваясь.

— Здесь же пыльно,— сказала я.— Ложись на скамейку.

— Нет, я создан, чтобы валяться в пыли.

Заснул. Я сидела над ним, сторожа его сон, глядя, как ветер шевелит редкие волосы над выпуклым лбом, как по-детски полуразинуты крупные губы, опять и опять удивляясь, за что я его так люблю, и все же любя исступленно. Когда стало светать, я его разбудила, вывела на улицу, посадила в такси, дала шоферу адрес. Валентин бормотал: «Женщина, я тебя люблю» — и по ошибке поцеловал руку шоферу. Тот был недоволен, меня осудил: «Такая приличная дамочка и такую пьянь провожают», но, увидев пятерку, смягчился и пообещал доставить в целости. Отвез Валентина туда, к жене...

...Сколько раз за те годы, что мы с ним не скажу «любим друг друга», скажем «близки»,— сколько раз спал он в моем присутствии, в моем доме, в моей постели, но ни разу не оставался на ночь. Ночевать он уходил к жене. Были и другие женщины, кроме жены и меня. Он этого нисколько и не скрывает. И все-таки что-то тянет его ко мне. Приходит с поразительным постоянством. Целуя меня, говорит: «Я тебя люблю сейчас — навсегда».

Бедная Леля! Пока была жива, все пыталась меня образумить:

— Ну что ты с ним связалась? Вульгарнейший человек.

Валентин Орлеанский! Разве человек со вкусом выберет себе такой псевдоним?

Я молчала. Разумеется, его настоящая фамилия Орлов куда благороднее. Что поделаешь! Люблю такого, а не другого. Не благородного, не верного, не рыцаря круглого стола. Его и только его.

— Ну что ты в нем нашла?

— Я его люблю. Это я нашла не в нем, в себе.

— Он тебе изменяет.

— Знаю. Ничего нового ты мне не сказала. Кстати, он не мне изменяет, а своей жене со мной и с другими.

— Ты для него ничего не значишь. Неужели у тебя совсем нет гордости?

— Есть у меня гордость. Она в том и состоит, чтобы никогда ничем его не попрекнуть.

— Ну знаешь... Не нахожу слов.

Бедная Леля!

Впрочем, что значит бедная? Почему-то принято, говоря об умерших, называть их бедными. Бедные не они, а мы, оставшиеся. Бедная я без Лели. После ее гибели моя жизнь как-то расшаталась, словно из нее вынули стержень.

Мы были вместе с того дня (в третьем классе), когда она подсела ко мне на парту и сказала: «Давай дружить». Я обомлела. Я не верила, что кто-нибудь со мной захочет дружить, не то что Леля — любимица класса. Белокурая, статненькая, глаза серо-синие. Девочка-струнка, воительница за правду. На все отзывалась, во все вмешивалась.

А я была чумазая, этакий заморыш, руки в цыпках. Росла сиротой — отец погиб на войне, мать умерла в эвакуации, воспитывалась я у тетки из милости. Хуже всех одетая, от всех стороной-стороной, и вдруг такая принцесса подходит и предлагает: «Давай дружить». Было от чего обалдеть.

После этого — всегда вместе. Вместе готовили уроки (Леля училась куда лучше меня). Вместе ходили в госпиталь, помогали сестрам — уже тогда у Лели возникло твердое намерение стать врачом. Делились всем, что у нас было (у Лели было больше, чем у меня, но никогда ни разу мне не было трудно что-то у нее взять). Вместе праздновали конец войны, ходили на Красную площадь. А потом вместе влюбились в одного и того же мальчика из соседней мужской школы, плакали от великодушия, уступая его друг другу, а он взял да и влюбился в Наташку Брянцеву, известную воображалу (Леля сказала: «Хорошо, что не в нас»).

Окончив школу, мы пошли разными путями: она на медицинский, я на мехмат. Но все равно оставались вместе. Я знала, что есть она, и мне легче было жить. Ей, наверное, тоже. Мою путаницу с Гришей мы пережили, обговорили вместе. И когда Кирилл ушел от нее к другой женщине, старше себя, я была с Лелей. Вместе пеленали Димку. Маленький, он был лыс и изящен, как французский король. «Севрский мальчик»,— сказал про него Валентин.

После гибели Лели я не могла опомниться, не спала по ночам, брала на руки Димку и носила по комнате, так мне было страшно. Прошло месяца три, и тут оказалось, что я беременна, и поговорить мне было не с кем. Первый раз в жизни я оказалась одна перед сложностью. Мысленно обговорила ее с Лелей — она посоветовала оставить. Я сказала Валентину: вот, мол, какое дело. Он чуть-чуть призадумался и произнес:

— Так они и жили. Спали врозь, а дети были. Как мы его назовем?

— Иваном.

— А что? Это идея. Пусть будет Иван. Помнишь, у Пушкина: «Нарекают жабу Иваном...» А если девочка?

— Исключено.

Почему-то я твердо была уверена, что родится мальчик. Так и вышло.

Ну не безумием ли было заводить еще сына? Димке девять месяцев, а тут уже Иван на подходе. И все-таки Иван был нужен. Тому же Димке сверстник, товарищ.

Сказала Сайкину — я всегда с ним советовалась во всех делах. Он отнесся ответственно, обещал помогать, сказал, что в некотором смысле с двоими даже легче, «они будут замыкаться друг на друга». Носили в ясли сразу двоих — я Димку, а Сайкин Ивана. Потом пришлось поменяться: младший стал тяжелее старшего. Рос он толстый, румяный, голубоглазый, «овал лица в другую сторону», как говорил Сайкин. Димка, напротив, весь нездешний, прозрачный, светлокудрый. Одевала я их одинаково, любила одинаково, даже за Димку больше болела душой. И до сих пор в вечной моей тревоге — ожидании беды — Димка на первом месте; может быть, потому, что Иван сокрушительно здоров. Все у него проявляется бурно и звучно: хохот, торжество, гнев, обида. Димка полная ему противоположность: часто болеет, терпелив, вечно думает какую-то свою абстрактную думу. «Мальчик с камушком внутри»,— говорит о нем Валентин.

Не знаю, как бы я справлялась с этой парой, если бы не Сайкин. Для младших братьев он вроде отца: строг, спра-

ведлив, взыскателен. Называют они его Александр Григорьевич — в глаза и за глаза. Когда он водит их в детский сад (это его обязанность, как, увы, и хозяйство), то по дороге внушает им правила поведения. Если кто-то не слушается, берет его за шиворот и встряхивает (это у них называется «потрясение»). Мальчики боятся брата больше, чем меня. «Ты известная оппортунистка»,— ворчит Сайкин, когда я, придя с работы, не тороплюсь чинить суд и расправу, ловлю минуты простой, невоспитательной, материнской любви... Вообще Сайкин на меня смотрит свысока: «Типичная женщина, хотя и доцент». Считает, что распустила всех — Валентина, Димку, Ивана...

Сегодня, по счастью, судоговорения не было: я пришла поздно, мальчики уже легли спать. За своевременностью их отхода ко сну Сайкин следит неукоснительно: ставит будильник на половину девятого, и если Димка с Иваном еще не в постели к моменту звонка, штрафует их на конфеты или мороженое. Какая-то у них сложная система наказаний и поощрений, в которую я не вникаю...

...Я сидела, глядя на спящего Валентина, но думая о своих детях, прежде всего о Сайкине, который сейчас, после всех дневных забот, готовит уроки на кухне. Какое я имела право сбросить свои заботы на мальчика? А теперь поздно, он уже вошел в роль.

У него с братьями общая комната, так называемый мальчишатник, и там есть письменный стол, за которым он вполне мог бы заниматься. Но, видите ли, Димка не может спать при включенном свете: говорит, что у него кошмары. Слово «кошмары» он так жутко растягивает, что остается только взять его за худую спинку, прижать к себе и растрогаться. Димка худ неслыханно, неимоверно. Особенно жалко на него смотреть, когда он в трусах. «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился»,— сказал однажды Сайкин, глядя на голую спину с торчащими лопатками... Непонятно, где там, в этом узеньком теле, умещается его неистощимо изобретательная душа. В их с Иваном совместных «болванствах» Димка всегда зачинщик, организатор, Иван — исполнитель, но творческий. Смолоть в мясорубке свечку, утопить ковер в унитазе, разъять пылесос на части и сделать из них рыцарские доспехи — это все «болванства», и идея всегда исходит от Димки («Я придумал мысль»,— говорит он). После того как «болванство» обнаружено кем-нибудь из власть имущих (мной или Сайкиным), Димка норовит уйти в тень, а Иван смело подставляет широкую грудь (вернее, широкий зад). Я вообще-то

мальчишек не бью, а Сайкин, бывает, и поколачивает. На его расправу они никогда не жалуются, а на мою (редкую) жалуются ему.

Называют они друг друга «дурак». Это не ругательство, просто обращение. «Эй, дурак!» — кричит один. «Что, дурак?» — отзывается другой без всякой обиды. Настоящие ругательства тоже у них в ходу. Откуда только они их таскают? Детский сад, не иначе (ланкастерская система взаимного общения). Был ужасный период — ни мои, ни Сайкина усилия не помогали, матерятся — и все. Потом, к счастью, забыли.

Одно время начали покуривать. Обнаружилось это случайно. Пришла я домой неожиданно рано (какое-то мероприятие отменили); на дворе весна, воробьи распушились. Предложила ребятам пойти погулять. Полный восторг — прогулка с матерью, помимо всего, означает мороженое. Велела надеть вместо валенок резиновые сапоги. Что-то замешкались.

— Ты пальцы-то поджимай, поджимай! — шепотом говорит Димка.

Иван пыхтит:

— Не поджимаются.

— Сильней поджимай! Ногу складывай пополам!

— В чем тут у вас дело? — спросила я.

— Ни в чем,— невинно говорит Димка.— Наверное, нога у него выросла.

— Одна нога? Что за глупости! Дайте-ка сюда сапог!

Пришлось дать. Внутри сапога я обнаружила смятую пачку папирос «Север».

— Что это такое?! — грозно.

— Ничего,— вопреки очевидности ответил Димка.

— Папиросы,— честно сказал Иван.

— Вы что ж, негодяи, курите?

— Курим,— сокрушенно признался Иван.

— И давно?

— Два раза,— сказал Иван.— И еще два.

Я призвала — о малодушие! — Александра Григорьевича. Оказалось, он знает, что мальчики курят, но за уроками и другими делами ему пока недосуг было этим заняться.

Курящие дети! Ужас!! Я обрушила на головы мальчиков все свои громы и молнии, пообещала им раннюю смерть от никотинного отравления, пачку «Севера» скомкала и выбросила в мусоропровод — мальчишки ревели так, словно хоронили близкого человека. Потом мы арестовали оба

велосипеда, воздрузив их на полати, торжественно лишили преступников всех сладостей до Первого мая, загнали их в мальчишатник и стали обсуждать происшествие. Сайкин отнесся к нему куда спокойнее меня («В этом возрасте все курят»), но божился, что у мальчишек есть еще в заначке запас курева («Не так бы они ревели, если бы пачка была последняя»). Вызвали преступников для объяснений. Иван (видимо, искренне) ничего о запасах не знал, а Димка финтил, выкручивался, но под перекрестным допросом раскололся и вынес откуда-то еще две пачки «Севера». Потом оказалось, что раскололся он ровно наполовину: еще две пачки утаил, Сайкин случайно нашел их в наборе «Конструктор»...

А драки? Бог мой, каких только драк у нас не бывало! И врукопашную и с оружием — на сапогах, на кастрюлях, на стульях... После одной грандиозной драки, когда в ход были пущены вилки и была пролита (в небольшом количестве) кровь, я потеряла управление, надавала обоим пощечин и заперла в мальчишатник, крикнув страшным голосом: «Навеки без драк!» Это, видно, возымело действие, и добрый час после этого в мальчишатнике царила тишина настолько полная, что я даже забеспокоилась, не случилась ли чего. Вошла — оказалось, мальчишки дерутся, но совершенно безмолвно: держат друг друга за щеки и молчат...

Когда мальчики уличены в каком-то преступлении, отруганы и наказаны, в качестве парламентера выступает обычно Иван. В этой роли он неотразим: честные голубые глаза, розовые щеки, весь нараспашку. Иван просит прощения, а Димка откуда-то из-за двери бубнит:

— Разве так просят? Жалобнее проси, жалобнее...

Валентин зашевелился, и я вынырнула из потока мыслей. Он открыл глаза, обнял меня за шею и притянул к себе.

— Милая! Наконец-то пришла! Я уже начал беспокоиться.

Рука была железная, но родная. Я сидела пригнувшись, щекой ощущая его небритость, чувствуя дыхание выпившего человека. Он мне был хорош в любом виде. Мне было отрадно в его руке, только трудно дышать, и я выпрямилась.

— Как он? — спросил Валентин.

«Он» означало Иван. Я насторожилась, отодвинулась. Для меня не было Ивана в единственном числе, отдельно от Димки. Обычно Валентин понимал это, не делал между мальчиками различий, а сейчас, видно спросонья, спутался. Сразу понял, в чем дело, и заговорил про обоих

мальчиков. Хочет их снимать в своей картине. Роли чудесные. Я колеблюсь, не знаю, хорошо это или плохо. Скорее всего плохо, но мне этого очень хочется. Детство проходит, фотографии не живут, а кинофильм с голосами, движениями остается. Как я жалею, что нет фильма с маленьким Сайкиным! Он совсем от меня заслонился теперешним стройным юношей.

— Я тебя люблю,— сказал Валентин.

— Сейчас — навсегда? — спросила я, улыбаясь.

— Ну, как обычно.

Что замечательно в Валентине — это что он не врет. Пьет, но не врет. Питье я могу вынести, вранье — нет.

ЛЮДА ВЕЛИЧКО

Люда Величко родилась и росла в провинции, в одном из среднерусских неперспективных городков. Одна фабрика, лесопильный завод, вязальная мастерская, комбинат бытового обслуживания. В так называемом центре — несколько каменных зданий. Полуразрушенная церковь со срезанным куполом, превращенная, как водится, в склад; вокруг нее кладбище с железными крестами и бумажными розами. Ленивая, медленная река с мутной черной водой, отравленной фабричными стоками. Рыбы в реке давно не водилось; камыши и те не стояли, а лежали, пригнувшись, как сломанные. Старые ивы по берегам тоже почти лежали, вот-вот свалятся в воду; их стволы были изрезаны именами и буквами. Иногда на какой-нибудь из веток сидел мальчик с удочкой, без всякой надежды на поклевку опустив ее в воду. У самого берега шевелились пиявки.

Медленное детство; домик деревянный, покосившийся, обнесенный щербатым штакетником. За калиткой на улице узловатый дуб. Стук желудей, падающих на пыльную землю. Кусты рябины в садике, желтые листья по осени; летающая, льнущая к лицу паутина. Куры, купающиеся в пыли. Мать, измученная, с сумкой через плечо (работала почтальоном). Отца Люда не помнила, мать поднимала ее одна, днем разносила письма, газеты, вечером копалась в огороде. Солила огурцы с укропом, чесноком, тмином, дубовым листом. Пряный огуречный запах больше всего запомнился: руки матери.

Люда росла, и город рос, но как-то вяло, с запинками. Назначенные к сносу дома не сносились, новые строились медленно, сдавались с недоделками, временные уборные

так и оседали во дворах. «Гнилые Черемушки»,— говорили про эти дома местные остроумцы. Горожане не очень-то охотно туда переселялись из своих дедовских хибар. Тут все под рукою: и огород, и картошка, и куры. А там одна слава «удобства» — вода сегодня идет, завтра нет. А во дворе-то помойки, ничьи собаки, сараи, сараи, и на каждом замок. В новых домах селились больше не старожилы города, а приезжие.

Через реку паромом горожане ездили на базар, где можно было купить молоко, тыквенные семечки, кудель и рассаду. Снабжение в городе было неважное, продмаги почти пустые, одни рыбные консервы, горох, карамель, шоколад, посеревший от старости. За всем остальным ездили автобусом в соседний райцентр, а то и дальше. С культурным обслуживанием тоже было неважно: киномеханик пьянствовал, путал серии, а то и совсем отменял сеанс. Собравшиеся топали ногами, свистели и нехотя расходились.

Выше городка по течению, километрах в трех, располагался профсоюзный пансионат «Ласточка» с пляжем, пестрыми зонтиками, визгами упитанных купальщиц. Там по воскресеньям играл духовой оркестр, и его звуки доносились до городка ритмическим буханьем. Зимой пансионат замирал, кто-то там жил, но тихо.

Люда нигде не бывала, кроме своего городка, а остальной мир представляла себе по книгам и кинофильмам. Из всего этого составился у нее в воображении образ какой-то другой, нездешней, яркой жизни. Были там ограды, перевитые плющом и розами, беседки, павильоны, лестницы, мягкими уступами спускающиеся к реке, белые лилии на воде, ослик с двумя корзинами по бокам, смеющиеся, белозубые, ярко одетые люди. Все это, никогда не виденное в жизни, было тем не менее вполне реально. Где-то, не здесь, оно должно было существовать.

В школе Люда училась хорошо, хотя отличницей не была. Только по математике у нее были все пятерки. Математичка Зоя Петровна ставила ее в пример другим за «логический склад ума». Было это преувеличением: никакого склада ума у Люды Величко не было, только живое воображение, неплохая память и любовь к нездешнему (оттуда, из другого мира, были красивые слова: апофема, медиана, тангенс). В старших классах она увлеклась астрономией. Заучила названия всех созвездий, всех крупных звезд нашего северного неба. Осенью звезды светились ярче, она выходила на свидания с ними, кутая плечи в ма-

терин рваный платок. Над горизонтом вставал Орион со своим косым поясом и вертикальным мечом; позже него всходил блистательный Сириус (альфа Большого Пса), сиявший как тысячекратно усиленный, в точку обращенный светляк.

В школьной комсомольской ячейке Люда была активисткой, ездила на село с докладами о звездном мире, космосе, космонавтах. Колхозники слушали ее охотно: белокурая, миловидная девчушка была трогательна со своей мудреной наукой. Танцевала в самодеятельности, проявила способности, имела успех; одно время танцы чуть было не перевесили астрономию, но в девятом классе Люда начала очень быстро расти, стала выше всех в школе. Руководитель танцколлектива вынужден был ее отчислить: «Не смотришься ты, Величко, на сцене». Надежду на танцы пришлось оставить, целиком переключиться на математику с астрономией. Для некоторых девушек наука вроде прекрасного принца: явится, женится, увезет.

Окончила школу неплохо — на четверки и пятерки. Мать надеялась, что пойдет работать — все малость полегче станет, можно будет купить поросенка. Но Люда решила иначе: «Поеду в Москву учиться на астронома». Мать огорчалась, но на своем не настаивала: «Езжай, дочка, тебе жить, не мне». Насолила огурцов, помидоров, закатала в банки. Потом Люда намаялась с ними — негде хранить.

Москва с первого взгляда ей совсем не понравилась. Серое небо, серый, задымленный воздух. Огромные дома, мчащиеся машины, бегущие люди. Все торопятся. В метро даже лестницы бегут. Поначалу Люда никак не могла переступить гребенку, а сзади торопят: «Проходите, девушка, чего встали!» С трудом добралась до университета.

Подала заявление на физфак (оказалось, именно там учат будущих астрономов). Держала экзамены, не прошла по конкурсу. Даже математику сдала на три, уж не говоря о сочинении «Образы народа в творчестве Н. В. Гоголя». Что делать? Домой ехать стыдно. Спасибо, надоумила соседка по общежитию для иногородних: подать в технический. В университет сдают в июле, а туда в августе. Расторопная, не первый раз поступает, говорит: главное — не падать духом. И институт посоветовала, где, говорят, математика неплохо поставлена. Люда послушалась, свезла туда документы, опять держала экзамены, падая с ног от усталости и недоедания, но на этот раз удачно: конкурс прошла. Выбрала она факультет АКИ (автоматика, ки-

бернетика, информация), потому что все эти слова ей очень нравились, особенно «кибернетика». Она по наивности думала, что сразу же начнет проектировать роботов. Однако на первом курсе роботами и не пахло: только математика, физика и другие общенаучные дисциплины.

Институт был огромный, надстроенный, перестроенный, перенаселенный, в нем она поначалу бродила как в лесу, потом привыкла. Понравилось ей то, что многие девушки были с нею одного роста, если не выше; называлось это модным словом «акселерация», которое Люда здесь услыхала впервые. Студенты, акселераты и акселератки, целыми взводами ходили по коридорам, среди них преподаватели терялись, как мелкая поросль. Люда, у себя в городке стеснявшаяся своего непомерного роста и ходившая чуть пригнувшись, здесь распрямилась.

Учиться ей сначала было трудно. Математической подготовки, полученной в школе, явно тут не хватало. Трудна была и лекционная система. В школе все было ясно: изложение — повторение — закрепление. Здесь не повторяли и не закрепляли, только излагали. Упустишь что-нибудь — не восстановишь. Лекторы — профессора и доценты — какие-то неприступные, говорят сложносочиненными предложениями, не поймешь, где главное, где придаточное. Шуток их, на которые дружным смехом отзывался зал, Люда не понимала: что тут смешного? Словом, трудно. Усердная, она занималась целыми днями, вечерами, иногда и ночами, но успехов не получалось.

А вот с общежитием ей повезло: попала в двухместную комнату со своей однокурсницей Асей Уманской, толстой, усатой девушкой с красивыми черными глазами и маленьким ртом. Ася — отличница, золотая медалистка — все решительно знала и умела объяснить лучше всякого преподавателя. Преподаватель чем плох? Сидит где-то у себя на высоте, и ему невдомек, чего студент не понимает. Ася, хоть и отличница, всегда понимала, что́ именно Люде неясно.

Комната у них восьмиметровка, длинненькая, но уютная. Над Людиной койкой карта звездного неба, над Асиной — репродукция с картины Рембрандта «Блудный сын». Люда не понимала, чем Асе эта картина нравится,— одни пятки.

Жили дружно, много занимались. Обедали в институте (плохо и дорого). Вечером чаевничали, кипяток брали в титане. Купили чайник, плитку, кастрюлю, сковороду. Когда очень уж надоедала столовская пища, готовили что-

нибудь дома. Вообще-то плитки в общежитии были запрещены (противопожарная безопасность), но фактически у всех они были. Так обычно обходятся явочным порядком глупые запреты.

Иногда заходили к ним гости — девушки с курса, а иной раз и кто-нибудь из ребят заявится. В принципе это тоже запрещалось (мужское и женское общежития были по-монастырски разобщены), но дежурная не всегда могла отличить, где парень, где девка. Кто их теперь разберет — все высокие, длинноволосые, в джинсах. Не раздевать же. Разве по ногам отличишь: у парней они больше.

Соседки по общежитию, разбитные, бывалые девчата, научили Люду, как причесываться, как одеваться, чтобы быть современной. Распустили по спине волосы, подстригли лесенкой, челка до бровей. Подсинили ей веки, научили «держаться стилем» (ноги от бедра под углом тридцать градусов, одна вбок, другая прямо). В таком виде она стала не хуже других, а многих и лучше.

Сессию, как говорят, прокатила на троечках. Матери не написала, что лишилась стипендии. Жили на Асину повышенную плюс те посылки, которые Людина мать присылала: огурцы с помидорами, маринованные грибы, черная смородина — витамин. Это у них называлось «дары русского леса». Иногда обедали одними дарами (хлеб в столовой, слава богу, давали бесплатно). Люда от полуголодной жизни похудела, а толстая Ася ничуточки.

Летом поехали добровольцами на стройку в Сибирь. Выдали им красивые защитные комбинезоны с сине-белой надписью поперек спины (название стройки). Люда ждала многого от этой поездки, но была разочарована. Тайга ей не понравилась, по книгам она ее себе другой представляла — хвойной, величественной, сосны и кедры один к одному. А оказалась она неприглядной: лес лиственный, низкорослый, непролазный, всюду завалы, гниль, корье, топи. Поляны, правда, красивые: жирные травы по грудь, а в них цветы, крупные, восковые, красоты небывалой — жаль, непахучие. Хуже всего комары. Чуть отойдешь от реки, где ветер всегда подувает, шагнешь в тайгу, а там целые полчища. Лезут в глаза, в уши, в рукава, за ворот. Брезент и тот прокусывают. Не комары — волки.

Работалось ничего, хотя и трудно. Студенты дробили камни, месили раствор, таскали бревна, гатили дороги — девушки наравне с парнями, тут не до рыцарства, давай-давай. Жили в палатках, комаров оттуда выкуривали дымом. По вечерам жгли костры, бацали на гитаре, пели

песни про романтику. Но, сказать по правде, никакой романтики не было. Какая тут романтика — комары. Бьешь да бьешь себя по щекам, по шее. И никакие средства не помогают — может быть, они не от здешних комаров. Единственное, чего они боятся, это бритвенного крема, и то пока не просох.

Повкалывали месяц, устали, конечно, здорово, зато и заработали прилично. Потом разъехались отдыхать — Ася к родителям на Украину, а Люда к матери в родной городок.

Там все было по-прежнему, но Люде показалось как-то милее, отраднее. Даже горбатые улицы чем-то трогали. Так же, как в детстве, падали желуди с дуба на землю, так же возились куры в пыли, слушая вежливое кококанье белого петуха... Но теперь, когда Люда знала, что это ненадолго, тишина знакомого захолустья ей даже нравилась. Редко-редко по улице проходила машина, и петух удивлялся, глядя вбок оранжевым глазом.

Мать рада была без памяти, не знала, чем и ублажить дочку-студентку. Даже на юбку мини и синие веки только косилась, ни слова не говоря: надо так надо. Первые дни Люда отдыхала, отъедалась, лечилась от комариных укусов. Потом, придя в норму, начала выходить. Зашла к Зое Петровне, школьной учительнице. Рассказала про свой институт, невольно преувеличивая его «кибернетичность». Так и сыпала звучными словами: Алгол, Фортран, оперативная память, подпрограмма, цикл... Зоя Петровна слушала и только глазами хлопала: вот до каких высот добираются ее ученики!

Встретила на улице кое-кого из бывших соучениц. Работали кто где: на фабрике, в мастерской, в магазине. Самая выгодная работа в магазине, но туда только по блату можно попасть. Зарабатывали все прилично, одеты были не хуже ее, разве что подолы подлиннее и веки не крашены, да это пустяки, дело наживное. Одной бывшей закадычной подруге Люда подарила помаду для век, другие завидовали. Московская Людина жизнь казалась отсюда сказочной — Люда и сама начинала потихоньку в это верить.

Отдыхала ничего — ходила с подружками в «Ласточку», купалась, загорала. Однажды на пляже подобрался к ней парень, на вид симпатичный, в импортных плавках, на руке часы плоские, модные. Лег рядом с ней на песок животом вниз, завязал разговор. Люда сначала помалкивала, потом начала отвечать. Поговорили о том о сем, зовут

Гена, профессия неопределенная («Деловой человек»,— сказал он). В «Ласточке» оказался случайно, по горящей путевке, пансионат дрянь, не стоило ехать, бабы — одна другой старше, одна другой толще. Рассказывал об Адлере, Сочи, Закарпатье — Люда и уши развесила, слушая про красивую жизнь. Гена поглядел на ее ноги, сказал: «А ты ничего чувиха!» — и пригласил вечером на танцы. Люда, акселератка, стеснялась своего роста (парень был невысок), но согласилась. Вечером встретились на танцплощадке. Ветер развевал серпантинные змеи, звезды плыли по реке. Оркестр играл старомодные танцы — вальс, падекатр, танго. Люда вспомнила дни самодеятельности, танцевала с увлечением, он — небрежно, снисходя. Предложил: «Твистанем?» В Москве девочки научили Люду и твисту, он уже выходил из моды, но тут она робела: никто на всей площадке не твистовал. «Ничего,— сказал Гена,— пошли!» И пошли, да как! Махали локтями, коленями, приседали чуть не до земли. Тут подошел милиционер, вежливо взял под козырек и предложил уплатить штраф «за некорректное исполнение танцев». Люда перепугалась (у нее и денег с собой не было), но Гена отвел блюстителя порядка в сторону и о чем-то с ним договорился, тыча пальцем в ладонь. Вернулся, сказал «все о'кей», предложил опять танцевать. Но у Люды как-то пропала охота. К тому же стало прохладно, от реки потянуло сыростью, ей захотелось домой. Гена вызвался ее провожать, сказал, что знает самый короткий путь, с дороги завел ее в лес и там в кустах начал к ней приставать. Люда отбивалась, вырвалась из его рук и со всей своей силой акселератки стукнула его в глаз. Он, матерясь, дал сдачи; подрались, сила оказалась на ее стороне (била сверху). Он прорычал: «Ну берегись, падла, подстерегу тебя с перышком!» Люда ринулась прочь, прорвалась сквозь кусты на дорогу, он за нею не гнался. Но она все-таки бежала как угорелая. Исцарапанная, избитая, в разорванном платье, бежала и плакала. Вот тебе и красивая жизнь...

Несколько дней Люда отсиживалась дома, стыдясь своих синяков (Генка таки отделал ее неплохо). Матери сказала, что упала, ушиблась. «Что ж тебя по дороге, что ли, катали?» — «Так, вышел один разговор»,— ответила Люда.

Генка не показывался. В «Ласточку» больше она не ходила. А там подошел и срок отъезда. Быстро прошел отпуск и бестолково: первую половину лечилась от комаров, вторую — от синяков... С удивлением заметила, что

соскучилась по институту, по товарищам, а главное, по Асе. Там, в общежитии, теперь был ее настоящий дом.

Мать провожала ее на вокзал — низенькая, худая, с серым лицом. Плакала, обнимая дочь на прощанье. У той тоже глаза были на мокром месте. Но стоило ей оказаться в вагоне — все мысли были уже дома, в Москве.

В институте все было по-старому, разве что в общежитии шел ремонт и титан не работал. Ася вернулась еще толще, чем была. Люда обрадовалась ей ужасно, в первый же вечер поделилась насчет Генки. Ася сказала: «Сама виновата, нельзя так, познакомилась — и сразу идти».

Начались занятия. Люда училась успешней, чем в прошлом году, конечно, с помощью Аси, но и у самой у нее появились нужные навыки. Начала понимать что к чему, какое задание надо делать, а какое необязательно. Научилась сваливать контрольные, умело пользуясь шпаргалкой, готовиться к лабораторкам, долбить на память важные формулы, не вникая в их смысл. Так называемый учебный процесс она воспринимала как некий ритуальный танец со своими правилами, никакого отношения к научным знаниям не имеющий. Важны были другие знания: кто что спрашивает, кому как отвечать (один любит сразу, другой — подумавши), как легче заучить наизусть формулу или формулировку... Для этого передавались из уст в уста какие-то самодельные стишки с нужными сочетаниями букв. Всему этому научилась Люда, так же как горожанин выучивается переходить улицу, избегая машин.

Подошла зимняя сессия. Люда начала ее хорошо — без троек. И вдруг как снег на голову — двойка по матлогике! Уж как она ее, проклятую, выучила! Спереди назад и сзади наперед — от зубов, как говорят, отскакивало! И Ася проверяла — все, говорит, хорошо, четверка как минимум. Отчего же на экзамене так растерялась? Наверно, из-за Маркина, странный человек, все шутит. Говорит замысловато, какими-то петлями. Люда вообще преподавателей боялась, а Маркина особенно. Никак не понять, что ему надо. Скажешь ему точно по книге, а он: «Что вы имеете в виду?» Она опять по книге, а он: «Расскажите своими словами». А какие могут быть свои слова в матлогике? Она и так и сяк, а ему все не то. Так и прогнал. Приходите, говорит, после сессии. А что у Люды стипендия погорела, это его не касается. Вредные они все-таки, преподаватели!

С такими мыслями Люда вошла в комнату № 387. А там

шло заседание кафедры. За столом спал сам заведующий — смешной старикашка. А его заместитель Кравцов, самый главный, ткнул в Люду пальцем и сказал, что она типичная двойка и что из-за таких, как она, им приходится долго сидеть. Велел обождать в коридоре. Ждала-ждала... Потом вышел Маркин с какой-то чернявой старухой, ну не старухой, а пожилой, и начал над Людой по-своему издеваться: «Как ваше имя?» Из «Евгения Онегина».

Люда шла домой, утирая слезы варежкой. Чувствовала она себя без вины оскорбленной, оплеванной. Ну поставь двойку, если так уж нужно тебе, но зачем издеваться? Как будто студент — не человек.

Ася — толстая, черноглазая — встретила ее улыбкой:

— Людка, ну ты и даешь! Где была?

— В коридоре. Ждала Маркина.

— Только-то? А я думала, опять с каким-нибудь Генкой. Ну как, назначил?

— Угу. На вторник.

— Ладно, подготовимся. Садись, пей чай.

ПРОФЕССОР ЭНЭН (ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ)

Каждый праздник, получая поздравительные телеграммы, профессор Завалишин читал в них стандартные пожелания «успехов в работе и личной жизни». Работа-то была. Успехов в ней пожалуй что не было. А личная жизнь? Если и была, то состояла главным образом из воспоминаний и размышлений. Что ж, в его возрасте это естественно.

Жил он размеренно и однообразно, недалеко от института, в большом вычурном доме эпохи так называемых архитектурных излишеств. И в самом деле, чего там только не было накручено! Колонны, галереи, лоджии, арки, венки, медальоны — все вместе это смахивало на гигантский каменный торт. Подъезды, обширные как паперти, резные дубовые двери со львиными мордами, держащими кольца в зубах. Словом, чтобы все было, как прежде у богатых людей.

Задумано было как будто на века, а на деле излишества оказались крайне непрочными. Уже через два-три года после постройки и заселения дом, как говорится, пошел прахом. Цементные столбики выкрошились, обнажив ржавый каркас, загогулины обвалились, ступени лестниц просели и частично обрушились. Спускаясь по этим щербатым ступеням, особенно зимой в гололед, Энэн каждый раз горьким словом поминал архитектора (торжественней —

зодчего), который ради величия лишил лестницы обыкновенных перил. Впрочем, виноват ли был зодчий? Вряд ли он, проектируя дом, входил в психологию старика, которому, спускаясь по лестнице, надо за что-то держаться. Город вообще жесток к старикам.

Время от времени в связи с какой-нибудь датой жэк срочно проводил «косметический ремонт» — громоздил доски, леса, ведра, кое-как замазывал цементом щербины и щели — ненадолго, лишь бы как-нибудь. В обычное время, между датами, дом стоял страшноватый, как престарелая кокетка с офорта Гойи. К проживанию он был мало приспособлен, главным образом из-за шума. Обращенный всей своей парадностью на крупную магистраль, он день и ночь вибрировал, вторя потоку мчащихся мимо машин. Оконные рамы дрожали, посуда подпрыгивала, с потолка сыпались хлопья побелки. Зимою заклеенные окна чуть-чуть умеряли шум; летом он становился невыносимым. Из четырех комнат квартиры обитаемыми были, в сущности, только две, самые маленькие и темные, выходившие окнами на двор; в одной жила соседка Дарья Степановна, в другой сам Энэн. Две большие комнаты, окнами на проспект, как говорил Энэн, были заняты шумом. Он, впрочем, привык к своему дому и даже в каком-то смысле его любил. Так, вероятно, старый дуб ощущает свои мозолистые, выпершие из земли корни.

...Глубокий двор за окном. Там, внизу, время от времени светит солнце непрямым, уклончивым светом, готовым в любую минуту пресечься. Тени домов ждут наготове. А на асфальте — жизнь. Дети крутят скакалки, играют в классики. Ряд прямоугольников, неровно начерченных мелом,— в его детстве они процарапывались стеклышком по земле, асфальта тогда не было, земля дышала, голая, со своими песчинками, крошками кирпича, влажная от дождя или сухая от жары — в общем, живая. В классики тогда играли его сестры, девочки-близнецы, Надя и Люба; ему, мальчику, играть в них не полагалось. Он с завистью смотрел, как они прыгали на одной ножке, неся на носке башмачка кидалку-стеклышко. Не дай бог уронишь — все пропало!

Теперь все по-другому. В классики играют не только девочки, но и мальчики. Оба пола вперемешку топчутся вокруг меловых фигур, прыгают, толкаются, спорят. Вместо стеклышка банка из-под гуталина, ее не несут, а толкают ногой...

Энэну почему-то очень важно было знать, какие теперь правила игры и как они изменились за полстолетия с лишком. Он все хотел узнать, расспросить, но не решался. Боялся испугать детей своим видом, говором, дергающейся щекой. Он молча останавливался неподалеку и следил за игрой, пытаясь воссоздать ее правила по крикам и спорам,— безуспешно. Но вот однажды он расхрабрился и вступил в разговор. Прыгала девочка, очень маленькая, размером с пуговицу, но бойкая, кудрявая и речистая. Одета она была в школьную форму, замурзанную и мятую (один по идее белый, но грязный манжетик болтался у рукава в ритме прыжков — вот-вот оторвется). На Энэна, наблюдавшего за ней со стороны, она то и дело оборачивалась. Взгляд ее ярко-серых глаз был такой озорной и дружеский, что он не выдержал и спросил:

— Как вы играете в классики?

— Как? Обыкновенно, как все.

— Видишь ли, я очень старый,— сказал Энэн, шевеля щекой. (Девочка кивнула: мол, вижу.) — Когда я был маленьким, рисунки были другие и правила другие. Ты мне объясни, пожалуйста, ваши теперешние правила.

Девочка остановилась и затараторила:

— Первая, вторая — простые. Третья — другая нога, если было на правой, то на левой. Четвертая озорная, а можно и больная. И лягушки делать и подвигушки делать. Пятая — проклятая, без топтушек и без отдыха. Шестая — немая, или золотая, не издавать звуков и дышать с закрытым ртом. Все золотые без топтушек, тоже как простые, только без топтушек. Если на ней ошибка, иди на первую. Шестая может быть кочерга. Седьмая — слепая, кидать с закрытыми глазами. Восьмая может быть запятая, или запятая золотая, или золотая без топтушек. Запятая — это ногу за ногу. Больная — за ногу держаться. Ясно?

— Ясно,— соврал Энэн, ошеломленный потоком обрушившейся на него информации.

Все-таки как усложнилась жизнь! Единственное, на что он был бы способен, это «не издавать звуков и дышать с закрытым ртом».

— Видишь, как просто?! Давай сыграем, я тебе свою биту дам.

Стало быть, банка из-под гуталина называется «бита». Девочка протягивала ему биту и улыбалась всем своим маленьким, лихо запачканным лицом.

— Спасибо,— сказал Энэн,— мне теперь и на двух ногах трудно, не то что на одной.

— А ты попробуй. Увидишь, это очень просто. Все ребята выучиваются, даже шизики.

Энэн встал на одну ногу, другую несмело поджал и попытался подпрыгнуть. Ничего не вышло. Словно бы он пытался не свое тело приподнять в воздух, а весь шар земной, намертво прилипший к его подошве...

— Не выходит? — сочувственно спросила девочка.

— Как видишь.

— Даже на сантиметр?

— Даже на полсантиметра.— Энэн опустил ногу.

Девочка глядела все так же весело, но с сожалением.

— Ничего, может, ты еще поправишься. От живой воды.

Махнула ему рукой и запрыгала, толкая биту.

С тех пор, проходя мимо классиков, Энэн всегда искал глазами свою маленькую наставницу, но ни разу больше ее не видел. Наверно, она жила не здесь, явилась издалека, как дворовая фея с запачканным личиком.

Живая вода, живая вода...

Для профессора Завалишина живой водой было все, что он вокруг себя видел. Оно не могло его омолодить, но наполняло его неиссякаемым умилением. Не только жизнь, но и неодушевленность: сараи, гаражи, косвенный луч солнца, надпись на стене «Светка + Вова = любовь» — во все эти подробности он вглядывался пристально, внимательно, жадно. Ощущение, которое он при этом испытывал, скорее всего можно было назвать страстным приятием — именно так.

Как он научился любить жизнь теперь, когда ее осталось уже немного! Не имея возможности и оснований ждать счастья себе, он все больше, все обширнее и горячее желал счастья и, главное, существования всему окружающему — двору, детям, домам, голубям. Когда голубь, упитанный, серо-синий, с зеленым ореольцем на шее, идет по асфальту, важно переступая с одной розовой ноги на другую, поводя туда-сюда плоским хвостом, какое это, в сущности, величавое зрелище! Кажется, сама жизнь, неторопливая и важная, переваливается вместе с ним, наклоняется, клюет крошки.

Профессор никогда и никуда не выезжал из своего дома. С тех пор как умерла его жена Нина Филипповна. Выезд с нею на дачу в год ее смерти был последним. С тех пор только здесь — как привязанный. Первое время это было

близко к состоянию собаки, издыхающей на могиле хозяина. На самой-то могиле он почти не бывал, мало связывал ее с памятью Нины, другое дело — квартира, где они жили вместе. С годами острота горя, конечно, убавилась, но подвижности он так и не обрел. Жил тут безотлучно, врос корнями в свое обжитое место. Дом — институт, институт — дом, только и всего перемещений.

От дома до института минут десять ходьбы неспешным шагом. Мимо больницы, где умерла Нина. Здание больницы старинное, темно-желтое, с колоннадой. Колонны высоки, массивны, слегка утолщены к середине, как бы пузаты, именно эта пузатость странным образом придает им изящество. На треугольном портике надпись славянской вязью — какая-то молитва о страждущих, о спасении их душ. Прочна старинная архитектура, надежны рамы, упорны надписи. Упорен восьмиконечный крест на дверях мертвецкой... Вокруг больницы старый сад, обнесенный чугунной оградой. Каждый столбик, каждый завиток этой ограды за долгие годы выучен наизусть.

Всякий раз, проходя мимо больничного сада, Энэн вглядывался в него и приобщался к его благородной растительной жизни. Ограниченная, утесненная городом, это все же была Природа. Начиная с земли: в саду она была жирная, черная, богатая перегноем от множества листопадов. Эти листопады он наблюдал из года в год с неистощимым интересом: ни один не был похож на другой. Менялись цвета, осанка деревьев, и листья летели по-разному: в ветер косо, стремительно, а в тихую погоду кружась и планируя. Глядя на их кружение, он вспоминал теорию плоского штопора, над которой работал, когда он еще был молод и авиация — молода.

Основным состоянием сада было ожидание. Осенью деревья теряли листья, готовясь к зиме, а зимой костенели и мерзли, стуча обглоданными ветками, жалуясь на бездолье; грачиные гнезда их угнетали, черными шапками топорщась на стыках ветвей. Под ними на ноздреватом нечистом снегу вразброс лежали крылатые семена; сама эта крылатость была ожиданием. И в самом деле, чем черней становился снег, тем ближе весна. И вот приходила весна, и сад пробуждался к жизни, чуть покрывался зеленым пухом, прозрачным, как первый мазок кисти на грубом холсте. А летом все разворачивалось, темно-зеленое, и безоглядно, пиршественно шло к увяданию. Белесыми облаками обметывались тополя, заметая землю легким, бродячим пухом.

...Тополиный пух — память о смерти. Там, на последней даче, тоже пушили тополя. Стол стоял на террасе, по нему бродил пух. Нина Филипповна, подобрав со стола горсточку пуха, сжала его невесомыми пальцами и сказала, чуть-чуть усмехнувшись:

— А до будущего тополиного пуха я уже не доживу.

Разжала пальцы, подула на пух, и он разлетелся. Энэн забормотал что-то стандартно фальшивое:

— Ну что ты, тебе уже лучше, скоро поправишься...

Так советовали друзья и врачи: лгать, поддерживать бодрость. Он и лгал, но получалось это у него плохо. А она знала, что умирает, и знала, что ей лгут. Каждый раз потом, когда цвели тополя, он видел перед собой парящую в воздухе, косую, легкую усмешку Нины, ясно говорившую: «Зачем лгать? Умру».

Дача была снята по совету врача не слишком далеко, в одном из тех подмосковных поселков, которые вот-вот будут поглощены растущим городом, но пока что зелены, погружены в тишину, разве что кричат по утрам петухи. Дряхлый, деревянный, чешуей облупившийся дом; терраса с каменными ступенями, сквозь которые росла трава; небольшой, сыроватый, но зеленый участок.

Целое долгое лето он мучительно наблюдал, как она гасла, переставала быть. Целыми долгими днями она сидела в шезлонге под вишнями, с каждым днем желтея, ссыхаясь, суживаясь. Как четко проступают кости черепа на лице обреченного! Нет, он не верил в ее обреченность, несмотря ни на что. Пахла зелень, пели птицы, Дарья Степановна тихо гремела кастрюлями в кухне; время медлило, торопилась болезнь. В начале лета вишни цвели, Нина сидела, осыпанная лепестками. Когда цвет опал, появились зеленые шарики по два на сдвоенной ножке. Понемногу они росли и краснели, а когда покраснели совсем, Нине было уже трудно дышать. И все же смерти так скоро никто не ждал, даже лечащий врач, видевший ее накануне. Внезапно ей стало плохо, сказала: «Это конец». Вызвали неотложную, отвезли в больницу, но поздно — умерла на другой день.

...Тут в воспоминаниях пробел. Нет, не пробел, а яма, провал — разве можно назвать пробелом черное? Кто звонил, распоряжался, заказывал машину? Кто его самого отвез в город? Полная неясность, память черна. Он даже не помнил, на машине ехал или на электричке. А ведь должны были бы сохраниться воспоминания хотя бы о деревьях, которые мчались мимо. Поразительно, как выпадают из

памяти самые страшные, важные минуты. Может быть, это защитная реакция организма? Вряд ли, потому что Нину в гробу он уже помнил. Она лежала, лишенная красоты и торжественности мертвых, даже в этом судьба ее обделила.

Потом, уже осенью, приехав с Дарьей Степановной за оставшимися на даче вещами — собственно говоря, ему незачем было ехать, сам напросился,— он еще раз оглядел участок, неузнаваемый, засыпанный мертвыми листьями, пронизанный криком ворон, и проклял его за то, что он убил Нину. Если б не эта дача, она, возможно, была бы еще жива, хотя доктор говорил «вряд ли».

Нагрузили машину, поехали, он — в кабине шофера, мимо мелькали деревья, это он помнит точно. Дарья Степановна уехала электричкой. У шофера была лиловая футболка. Странно, пустяки такие помнятся, а на важное — провал.

Прошло уже немало лет без Нины, горе сгладилось, воспоминание уже не рвет сердце, а, задетое, звучит музыкой. Даже что-то отрадное, как ни странно, есть теперь в этом воспоминании. Сладкое горе. Тогда, на поминках, незнакомая старушка сказала ему: «Горе твое не навек, пройдут года, и прорастет оно солодом». Так и есть, проросло. Но и теперь еще, просыпаясь ночью, он иногда слышит дыхание Нины на соседней кровати. Самой кровати давно уже нет (вынесли, подарили, продали?), но столик, стоявший между кроватями, цел и в полусне легко себе представить, что там, за ним,— Нина. За стаканом с позвякивающей ложечкой, за флакончиком валокордина, за подвижными полосами света. Ночью дом сотрясается идущими мимо грузовиками — это от них звенит стакан, кочуют полосы света.

Хорошо бы сейчас уткнуться лицом в подушку жены, почуять тот особый, прелестный запах, который всегда, с юности, был ей присущ.

Словами этот запах описать невозможно. Припомнить его усилием мысли тоже нельзя. Какой он был? Сладковатый и странный? Мало этого. С чуть уловимой горчинкой? Верно и это, но мало и этого. Может быть, перец? Ваниль? Левкой? Нет, не то.

Он всю жизнь был особо чувствителен к запахам. «Талантливый нос!» — говорил про него отец, невысокий, обожаемый человек; об отце отдельно, сейчас о запахах. Николай Николаевич — тогда еще Кока — обладал исключительным обонянием. Например, мог по запаху различать

подушки — какая чья. Сестры Надя и Люба выкладывали перед ним на диване все подушки, которые были в доме, завязывали ему глаза (иногда — ой! — с волосами вместе), а он вслепую распознавал: «Мамина, папина, твоя...» Теперь ему хотелось до боли душевной узнать по запаху подушку Нины, отличить от своей. Но подушки не было. Он тогда роздал очертя голову все вещи умершей — платья, белье, постель,— о идиот! Фотографии сохранил, а вещи с их запахом отдал. Фотографии мало были похожи, да она и не любила сниматься. Теперь ему нужно было напрягать память, чтобы увидеть Нину, свою жену.

Девушкой она была стройна, голубоглаза, с двумя белокурыми косами на груди. Да, именно на груди, не на спине запомнил он ее косы. Заплетенные от висков (такая была мода), ничем не перевязанные, вольно кинутые на грудь. Бледноватое лицо, узко сходящееся треугольником книзу. Милая родинка на щеке. Выражение лукавой готовности к счастью. А главное, чувство любви в себе самом, страшное, непреодолимое. Что с собой делать, когда так любишь? Нет, Нину-девушку он отчетливо помнил.

А вот дальше провал (те же фокусы памяти). Какой была Нина между юностью и старостью, он уже забыл.

...Двое детей было у них — Лиза и Коля, девочка на два года постарше. Мальчик рано — двух лет — умер от ложного крупа. Задохся. Теперь бы спасли...

Вот эта страшная ночь смерти сына запомнилась ему как врезанная, во всех подробностях. Закатанные рукава врача, чайник с горячей водой, таз, в котором мочили губки — красные, резиновые, резко пахучие; их не выжимая клали ребенку на грудь, и мысль: «Обожжет?» — и ответ мыслью на мысль: «Пускай обожжет, остался бы жив». Не остался. Когда все было кончено — глаза жены, Нины. Только глаза, не лицо.

Дочке, Лизоньке, было четыре года. Когда Коля стал задыхаться, ее увели к соседям. Через три дня взяли обратно. Про смерть брата ей ничего не сказали. Она как будто удивлялась, ходя из комнаты в комнату и не видя его кроватки, игрушек. Сама придумала объяснение: Коля уехал на дачу. Кто-то во дворе сказал ей, что Коля умер. Пришла к отцу:

— Что значит «умер»?

— Значит, человека нет,— ответил он.

— Совсем нет? — не понимала Лиза.— Даже ничуточки не осталось?

Он взял ее на руки, прижал к себе (волосы пахли соломой и солнцем).

— Нет, не совсем. Мы его помним, значит, немножко он есть. Ты ведь помнишь его?

Лиза важно кивнула.

Коля умер, Лиза осталась: ствол и смысл жизни, ее оправдание. Нина Филипповна жила только Лизой, в вечном молитвенном восторге: и красива-то, и умна, и добра. Он тоже любил дочь, мало сказать любил, но дара пристрастия у него, увы, не было. Если по справедливости, то, пожалуй, так: умна, добра, но не красива.

Теперь он уже мог без боли душевной, даже с тихой радостью смотреть на портрет Лизы, висевший у него над изголовьем. Последняя ее фотография, уже фронтовая, увеличенная и, как водится, безбожно отретушированная в мастерской. Откуда-то взялись на ней черные брови, которых у Лизы отродясь не было. Нет, не красива. Простое, даже грубоватое, русское лицо. Гимнастерка с мятыми погонами, полевая сумка через плечо. Прямые, ровно подстриженные, будто обрубленные волосы (светлые в жизни, они на снимке казались темными). Пилотка надета прямо, и взгляд прямой, ни тени кокетства — вся как есть.

Лиза такая и была — бесхитростная. Любила все простое, обыкновенное: бегать босиком, грызть семечки, смеяться на кинокомедиях. В школе училась неважно: нет-нет да и троечка. Пробовали учить ее музыке, языкам — никакой охоты. Спрашивала у отца: «Ну почему у нас такая особая семья — никого не учат музыке, а меня учат?» Хотела быть как все, наравне со всеми...

Зрительное воспоминание о Лизе: коротенький нос в веснушках, честные серые глаза (один с карим пятнышком) и на розовой нижней губе печатью обыкновенности скорлупка от семечка.

В начале войны Лизе было семнадцать лет. Она сразу же ушла на фронт. Убили ее в декабре сорок третьего...

Что тут сказать? Бывают в жизни вещи, о которых сказать ничего нельзя: слова падают, мертвые, оземь. Удивляешься, как ты это вообще перенес, выжил. Удивительной прочности существо — человек. Убит, но живет.

Николай Николаевич сам получил у почтальона извещение о гибели Лизы. Развернул, прочел, не понял. Еще раз прочел — не осознал. В голове было пусто, одна только мысль: как сказать Нине? Но говорить не нужно было. Она по его лицу все поняла и стала от него отступать, пятясь, вытянув перед собой руки, словно обороняясь. Эти дрожа-

щие бледные руки с обращенными к нему толкающими ладонями он до сих пор видит отчетливо. Только руки, опять не лицо.

После гибели Лизы Нина Филипповна как-то молниеносно, круто постарела, поседела, выцвела. Вот такой — старой, бесцветной — он помнил ее превосходно. Грустные глаза — потрескавшийся бледный фаянс. Сухие пальцы, вечная манера что-то ими трогать, перебирать, словно не лежалось им нигде, ни на ручке кресла, ни на колене. Вялое ухо, полуприкрытое седенькой прядью. В последние годы волосы у нее стали катастрофически выпадать, как шерсть у линяющего животного,— прямо горстями обирала она их с головы, целыми клубками наворачивала на гребень. Грустно шутя, говорила: «Лысею, скоро будет нас двое лысых — ты да я». Ошиблась, до лысины не дожила.

Ему было легче, чем ей. Кроме горя, у него было еще многое. Институт, кафедра, ученики, семинары, конференции, доклады — со всем этим он мог кое-как жить между «плохо» и «очень плохо». В конце концов, когда улеглось и обмялось горе, ему временами было почти хорошо. А ей?

Все это он понял, когда остался один.

ДАРЬЯ СТЕПАНОВНА И ТЕЛЕВИЗОР

Дарья Степановна, квартирная соседка профессора Завалишина, его домоправительница и домашний тиран, была в своем роде человек примечательный. Седая, прямая, красивая. Редкой правильности лицо — северная камея. Белые блестящие волосы стрижены в скобку, гладко забраны назад ото лба круглой гребенкой.

Дарья Степановна была из тех людей, которые знают, «как надо». Сам Энэн никогда этого не знал. Вечно его терзала проклятая объективность, привычка смотреть на вещи с разных точек зрения. Эта черта особенно усилилась у него к старости. Мир для него был как одна из тех хитрых картинок, оптических фокусов, где, меняя настрой и прищур, можно увидеть одну и ту же фигуру то выпуклой, то вогнутой. За последние годы он стал страдать от этого почти физически, как, вероятно, страдал буриданов осел между двумя охапками сена.

Люди, знавшие, «как надо», одновременно и привлекали его и отталкивали. Дарья Степановна больше привлекала, чем отталкивала; в ее определенности была драгоценная

для него черта — нелогичность. Если человек, знающий, «как надо», еще и логичен — спасенья нет.

Дарья Степановна, ныне пенсионерка, прежде была поварихой. Начала она свою рабочую жизнь в экспедиции «по апатитам», на Кольском полуострове. Видно, это было для нее светлое, достопамятное время. Рассказывать о нем она не любила, но иногда произносила загадочную фразу: «Апатиты оправдают», сопровождая ее мгновенным блеском улыбки, чуть приоткрывавшей стальные, нержавеющие резцы. Улыбку ее, вообще редкую, Николай Николаевич любил, как ни странно, именно за стальной блеск зубов, нарушающий неприступную безупречность лица.

Там, на апатитах, встретила она своего суженого, вышла замуж. Брак был недолгим: муж скоро сгинул, «ушел по преступлению», как она выражалась. В чем было преступление. долго ли сидел муж и куда потом делся, не говорила. Слава богу, детей не успели нажить. Дальше было у нее «мотание жизни», пока не вывело на прямую дорогу: поваром в рабочей столовой, где и проработала она до пенсии. Готовила без особых затей — просто, чисто и честно, до шефа, однако, не дослужилась — образования не хватило. Уходя на пенсию, получила памятный подарок — весы, которыми очень гордилась, особенно надписью, выгравированной на чашке: «Уважаемой Дарье Степановне Волковой от коллектива столовой № 85 за честный труд и нерасхищение». Охотно показывала весы любому желающему с тем же отблеском улыбки на бледных красивых губах, но вообще о прошлом говорить избегала. На расспросы профессора (он на старости лет стал болезненно любопытен) отвечала кратко и сухо:

— Жила, и все. Как люди, так и я.

— Люди по-разному живут.

— И я по-разному.

Помогать Завалишиным по хозяйству она начала еще при Нине Филипповне, жалея больную, слабую, неумелую женщину. Конечно, ей за это платили, но дело было не в деньгах, а в жалости (из-за одних денег не стала бы прислуживать никому). В последний год жизни Нины Филипповны, когда та совсем уже ослабела, Дарья Степановна ходила за ней как сиделка, строгая лицом, нежная руками: умывала, кормила, причесывала.

Как-то само собой получилось, что после смерти жены, похорон, соболезнующих визитов, когда все это схлынуло, Энэн оказался целиком на попечении Дарьи Степановны. Она заправляла всем в доме: покупала ему одежду, обувь,

стирала и стряпала, ведала квартирной платой, счетами за газ и электричество; сама себе выдавала зарплату, уменьшив ее против прежнего вдвое: «Один человек, не два». На все истраченное она представляла хозяину счета, точные до копейки. Писать и читать она вообще не любила, составление счетов было для нее тяжкой работой, а то, что он их никогда не проверял,— обидным пренебрежением. А вообще она была к нему по-своему даже привязана, он был для нее как ребенок — лысый ребенок, ничего не смыслящий в жизни. И любопытство его она воспринимала как зряшное, ребячье:

— И все-то вы спрашиваете, чего, почему да как. Самим пора понимать. До таких лет дожили, ума не нажили.

Только о своем детстве она рассказывала охотно, даже в подробностях.

— Бедность была. Родилась я, царство небесное, мать рассказывала, окрестить нечем. Всех нас семеро: пять парней, две девки, да еще два парня, спасибо, померли. Я из девок-то вторая была. Старше меня здоровущая, об дорогу не убьешь, сыпняком померла в гражданскую. Родилась я, значит, крестить, тогда без этого и не знали чтобы. Мать попу яиц крашеных, луковая скорлупа, о пасху было, с-под икон полотенце вышитое, елки да солнышки. А он, поп, пьяный с праздника, не Дарьей окрестил, а Дарéем, мужеска пола. Так и метрики дал.

— Может быть, Дарием? — робко спрашивал Энэн.

— Говорю, Дареем, знаю, что говорю. Надо бы Дарья, а он Дарей. Так и была распетушие, ни парень, ни девка, до самой паспортизации. Родителям один хрен — парень, девка, лишь бы не рот. Отец сам пьющий, да с каких денег? Разве кто угостит, песни поет, голова боком. Жизнь-то какая была? Дыра на дыре. Пошла в школу, ребята прознали — парень по метрикам, стали дразниться, я плакать. В школе-то не роняла, домой несла. Мать прижмет: «Даша, не тоскуй. Еще ты лучше других девок, найдешь своего, полюбит». А я все тоскую. Ученье у нас какое было? Ничего не знали, не ведали. Учитель сам не больно знал. Диктовки делает, а сам усами шурк-шурк, как таракан, не знает «о» или «а». Раз так, раз инак. Много мы могли выучиться? За поросенком — это мы могли, овцу стричь или прясть — это тоже, а знание какое — нет. Это теперь ученые стали, плюнуть, и то надо высшее. Я в булочной вафли читаю и обмолвилась. Рядом от горшка два вершка, зуба нет, оскаляется. Говорю: ах ты пузырь с воньюю, скалишься, я неученая? А тебя кто учил? Государство рабочих и

крестьян. А я с крестьян в рабочие, всю жизнь трудилась, не училась. Я у плиты все здоровье надорвала, верхнее двести, нижнее сто, РОЭ тридцать. Я те фыркану! Мырнул как растаял. Они все теперь бесá, ни одного чтобы путный. Мы-то корку делили, нам не до скалиться. Мать жалела; уткнусь — плечо мокрое: «Не плачь, дочка». Потом померла. Ну натерпелись! А там коллективизация. Люди как люди, вступают, а отца враги подговорили не вступать, он и не вступил. Его — в кулаки. А какие мы кулаки? Ни матери, ни коровы, пустые ясли, сено запаривали. Вывезли в Сибирь. Зимой было. Отец поскучал, тоже помер. Что делать? Кого куда. Меня — тетка, малых по детским домам, постарше в фабзайцы. Двух в войну убило, один майор, город Новосибирск, жена полная. Зовут внуков нянчить, не еду, чего я поеду? Кидаться будут: то не так, это не так. Жизнь хорошая, вот и кидаются.

Дарья Степановна твердо была уверена, что все грехи и беды от хорошей жизни. Раньше жизнь была хуже, зато люди лучше.

— Мы-то как жили? Чего видели? Ни радио, ни телевизора. Хлеба и то не каждый день. Вот и не кидались, себя помнили. Теперь народ заелся, денег девать некуда. И в колхозе не за птичку работают, и им подай. А где взять на всю ораву? По магазинам, ищут получше: «Это не наше?» Нашего им не надо. Мы не то что наше — не наше, мы никакого не разбирали. Нам бы такого показали, как в уцененке, мы бы «ах», а не разбирать: наше — не наше.

Энэн всегда слушал ее с интересом. Особое своеобразие речи Дарьи Степановны придавали провалы и зияния, от которых многие фразы становились какими-то ребусами. Провалы заполнялись интонацией, иногда с помощью контекста. Нечто вроде титлов в церковнославянском, заменяющих пропущенные буквы, только здесь пропускались не буквы, а смыслы. Дарья Степановна обращалась с родным языком царски свободно, на мелочи не разменивалась. Собеседник — не дурак же он! — сам должен был понимать, о чем речь. В эту априорную осведомленность каждого о ходе ее мыслей она верила свято, обижалась, когда ее не понимали, считала за насмешку. Энэн, человек привычный, уже приспособился и обычно ее понимал, лишь изредка и ненадолго становился в тупик перед фразой вроде: «Эта, века синяя, портки, кругом ковров, рулит», что означало просто знакомую женщину в брюках, с накрашенными глазами, самостоятельно водящую машину с коврами на сиденьях... Иной раз он сам удивлялся, сколько

надо слов, чтобы перевести на стандартный русский сжатую, энергичную фразу Дарьи Степановны и как это в конце концов получается плохо... А некоторые ее фразы он и не пытался переводить, воспринимая их как некие сгустки мировоззрения, например: «Ну, если баба, так что, а если мужик — всё».

Запутанность речи — и твердость мысли. У Дарьи Степановны обо всем было твердое мнение. Нелогичное, но непробиваемое. Любые возражения от него отскакивали, как пули от брони.

Заходил, скажем, разговор о мясе. Нет хорошего — одни кости. Дарье Степановне было ясно отчего: собак развели.

— Ведь это выйти во двор: каждая с собакой. Через одну: одна с ребенком, другая с собакой. Стоит, смотрит, ногу кверху, пошла. А ее накормить надо, не все овсянкой-геркулесом, надо и мясца. Где тут людям хватить? От хорошей жизни водят. Мы разве водили собак? На цепи сидели, от воров. А теперь им лечебница, пенициллин. В других странах, по телевизору, тоже собаки. Идет, хвостом крутит, как путная. Вот и кризисы, гонка вооружений. Отчего они против мира? Мяса им не хватает.

Или возникал вопрос о погоде — и тут у Дарьи Степановны было свое мнение. Капризы погоды она объясняла нерадивостью метеорологов:

— Выучились, им деньги платят, вот и делай, чтобы хорошо. А эти сами чего не знают — лялякают-лялякают, а дела нет. Вчера одна с указкой, плечи до полгруди, парик, серьги качаются. Тыкает в карту, прогноз да циклон, а погоды нет. Чего есть будем?

— Люди еще не научились управлять погодой,— пытался возразить Энэн (все же метеорологи, научные работники, были, так сказать, товарищами по оружию).

— Учились-учились, а все не выучились? Нет уж. Им за это деньги платят. А вы за них не оправдывайте. Это раньше, по Евангелию: тебя в правую, а ты левую. Так не пойдет.

Религиозна она не была, но праздники уважала. В воскресенье стирать нельзя: раз постирала, в руку вступило. Рождество, пасху, Николу — все это помнить надо. Мороз отчего? Крещенье.

Для профессора Завалишина Дарья Степановна была загадкой. Скопище парадоксов, домашний сфинкс. Вера в науку — и презрение к ней. Разговоры о деньгах — и бескорыстие. Уважение к слову слышимому, произнесен-

ному — и презрение к печатному, писаному. Книг не читала. Если он, уходя, оставлял ей записку, обижалась: «А что, сказать вас убудет?» Над странностями этой психологии Энэн размышлял усердно, но безуспешно.

Может быть, идти через пристрастия, систему ценностей? Здесь, по крайней мере, все было ясно. Главной ценностью в жизни Дарьи Степановны, главным ее стержнем и страстью был телевизор. Предмет культа, кубический бог. Не возвращаемся ли мы через телевизор к первобытному язычеству, из которого нас насильственно вывело крещение Руси?

Служа своему культу, Дарья Степановна долгими часами сидела перед телевизором, устремив к экрану красивое внимательное лицо. Перламутровые волосы отливали голубизной. Они еще глаже, нос еще строже обычного. Смотрела она все подряд: спектакли, цирк, торжественные собрания, концерты, новости, спорт. Не одно фигурное катание, как многие женщины, но и бокс, хоккей, футбол. Больше всего любила передачу «Человек и закон». Невнимание профессора к этому зрелищу понять не могла, осуждала:

— Все с книжками да с книжками, вот и прозевали. Про шпану передача шестнадцать тридцать. Жене восемь лет, наточил ножик — раз! Ее в реанимацию, три часа, умерла.

— Восемь лет жене? — с ужасом спрашивал Энэн.

— Все вы понимаете, слушать не хотите. Не жене, а ему восемь лет. Мало. Я бы больше дала. Он восемь и не просидит, выйдет, а ее уж нет. Круг, по подъездам ходит.

Круг, ходящий по подъездам, даже для привычного восприятия был непостижим.

— Какой круг?

— Будто не понимаете! Ножик точить. Вы что, в подъезде не видели? Жик-жик, искры. Сам точил. Вот она какая, шпана, без никакого закона, а еще «Человек и закон». Бритый под машинку, зарос, пуговицы косые. Она: «Раскаиваетесь?» — а он и глаза опустил, совесть перед народом. Костюмчик-кримплен, плечики подложены, бровь дугой.

— Это у кого? — нечаянно спрашивал Энэн, еще не пришедший в себя после восьмилетней жены. Как-то не вязались у него в один образ косые пуговицы и костюмчик-кримплен.

— Ясно, судьиха. Не жена из могилы встала. Какие-то вы странные, все в насмешку. Не буду рассказывать.

— Дарья Степановна, не сердитесь, я и в самом деле не понял.

— Только манеру делаете.

Почти наравне с «Человеком и законом» она любила пение, особенно мужское («Мужик не баба!»). Певцов узнавала по голосу из другой комнаты, из кухни. Любое дело бросала.

— Чевыкин поет, надо послушать. После домою.

— Откуда вы знаете, что Чевыкин? — удивлялся Энэн. Он-то по голосу певцов не различал.

— А вы будто не знаете? То Зайцев, а то Чевыкин, и тот и тот баритон. Зайцев с залысиной, у Чевыкина зад торчком. И голос другой. Как не узнать?

Вообще Дарья Степановна поражала Энэна редкой своей музыкальностью. Безошибочно различала мелодии, запоминала имена композиторов. Иногда задавала вопросы:

— «Роями белых пчел» — это что, Бетховен написал?

— Да, Бетховен.

— Который «Ода к радости»? Хороший человек. Радости тоже людям надо. А про пчел у него хорошо. Только зря он про гроб. В гробу радости мало.

— Какой гроб?

— Поставим гроб на стол.

— Не гроб, Дарья Степановна, а грог.

— Что еще за грог?

— Напиток. Из кипятка с ромом.

— Придумают тоже. Он что, не наш?

— Немец. Жил в Австрии...

— В Астрии много композиторов. Моцарт, Штраус, «Венский вальс», теперь Бетховен.

Когда Энэн удивлялся ее осведомленности, Дарья Степановна сердилась:

— Как будто я из зоопарка. Серая, а разум какой-никакой.

Телевизор стоял в проходной комнате, бывшей столовой. Энэн купил его как-то для больной жены, чтобы ей не скучно было одной дома. Но ей не было скучно: хватало страданий, болезни, памяти. К телевизору она подходила редко и сидела недолго — вздохнет и уйдет. После ее смерти он перешел в ведение Дарьи Степановны. Энэн хотел было ей вообще его подарить, но получил суровый отказ: «Зачем тысячами бросаетесь?» Ящик остался на прежнем

месте, в парадном углу, а напротив него как слуги — два кресла.

Мимо этого капища Энэн всегда проходил с опаской. Он телевизор не любил. В его поздней любви ко всему сущему именно для телевизора места не нашлось. Редко-редко (и то чтобы угодить Дарье Степановне) он присаживался рядом с нею на второе кресло и смотрел передачу с тем вежливым отвращением, с каким заядлый холостяк смотрит на грудного ребенка друзей. Все его раздражало. А главное, ему стыдно было за все! За лживые заученные интонации актеров. За разинутые рты певцов с дрожащими внутри языками. За манерно сжатые руки певиц, за их вздымающиеся декольтированные груди. А больше всего за сами песни, так называемые лирические, за их жанр — проникновенный, вкрадчивый, якобы до души доходящий... Посидев немного, он вставал.

— Ухóдите? — строго спрашивала Дарья Степановна.— Смотреть надо, развиваться, а то отстанете.

— Не нравится мне,— с тоской говорил Энэн.

— Почему не нравится? Сильный состав. Деньги-то им платят? За плохое не будут.

Дарья Степановна твердо верила: зря платить не будут; раз платят — значит, хорошее. Как эта вера уживалась с ее отношением к метеорологам, которым зря платят деньги, неясно, но уживалась. Может быть, у нее разные были мерки для искусства и науки? Вряд ли. Скорее всего здесь проявлялась божественная нелогичность, так его восхищавшая. Сам он, раб логики, мечтал быть от нее свободным.

А с телевизором у него были отношения сложные. Казалось бы, чего проще: не нравится — не смотри, сиди в своем кабинете. Нет, этого он не мог. У него было ощущение, как будто в соседней комнате поселился кто-то посторонний. Не просто посторонний, а хуже: дальний родственник со своими правами, претензиями. Нахальный, навязчивый, лезущий в душу. Этот человек говорил и пел разными голосами, высокопарно вещал, фальшиво смеялся, кощунственно плакал... Стоило Энэну услышать гадкий гусиный голос, как у него шли мурашки по коже. И вата в ушах не помогала: все время напоминала о том, от чего заткнулся...

В те вечера (нечастые), когда Дарьи Степановны не было дома, Энэн устраивал себе пир тишины. Садился в глубокое кожаное кресло (из приемной деда-врача), погружался в него по уши. Брал какую-нибудь любимую книгу. Тоже словно бы садился, погружался в нее. Отправлялся в путешествие по чужим судьбам. Неторопливое, как

в дормезе. Или рыдване (хорошее слово «рыдван»). Какое наслаждение — читать не торопясь, если надо, вернуться назад, заложить пальцем страницу, задуматься... Осуществить святое право на свой темп поглощения духовной пищи. Этого права многие лишены: рабы массовых средств информации, они вынуждены смотреть и слушать в навязанном темпе.

Пир тишины скоро кончался. Возвращалась Дарья Степановна, шаркала в передней ногами. Энэн замирал: авось пронесет? Не тут-то было! Щелк — и возник из тишины фальшивый проникновенный голос, сел на интонацию и поехал, поехал... От раздражения, от бессильной злобы у Энэна зябла лысина. Но он тут же себя осаживал: «Экий я нетерпимый. Это старость, старческий эгоизм, узость души. Шире надо быть, справедливее. Да, конечно, мне телевизор не нужен. А миллионам других? Сколько людей, как Дарья Степановна, только из телевизора узнали, что есть на свете Гоголь, Шекспир, «Ода к радости»...

А если представить себе те далекие, затерянные деревни, где телевизор — окно в мир? Кругом глушь, сугробы, месяц синий, а в избе на экране полураздетая певица с микрофоном в руках поет, приплясывая, о море, тепле, любви... И вот уже расступаются сугробы, раздвинулся мир, и телезритель летит в пространство, и крылья у него за спиной... Нет, я несправедлив».

Иногда после таких размышлений он даже выходил из кабинета и садился поглядеть на экран глазами того деревенского жителя. Дарья Степановна спрашивала:

— Ну как передача?

— Ничего,— лицемерно отвечал Энэн. Крыльев за спиной он что-то не ощущал.

— Любить не люби, а поглядывай. А вот я хотела спросить: актер — это квалификация?

— Конечно.

— А вы почему не в актеры? Одного видела: старый, лысый, смотреть противно. Прыткий, однако, не на возраст. Пляшет, ногу крючком, поет не по-нашему. Вы вот ученый, по-всякому лялякаете, французский-английский, вот и выучились бы на актера.

— Что вы, Дарья Степановна, тут нужен талант.

— Всему можно выучиться. Бей кошку — залает по-собачьи.

— Я уж не залаю.

— Я не к тому, чтобы сейчас да учиться. Кто старость, того что. Нам, старикам, в крематорий, под органом лежать.

Я к тому, что в молодости, пока не поздно. Ваша-то еще не выучилась? Майка-Лайка?

— Нет еще,— отвечал Энэн, пряча глаза.

— А когда выучится, будет по телевизору петь?

— Может быть.

— Караулить надо, не пропустить. Дудорова ее?

— Угу...

Вопрос о Майке был больной. Каждый раз как булавка в сердце.

ЭНЭН И МАЙКА ДУДОРОВА

В жизни профессора Завалишина Майка Дудорова появилась года через два после смерти его жены. Он тогда начал уже опоминаться от горя, но был еще в неустойчивом состоянии. Хотелось ему тишины, а на кафедре было шумно. Именно тогда стал он все чаще удаляться в свой так называемый рабочий ящик — узкий закуток, выгороженный для него при лаборатории. Была у него там половина окна, книжный шкаф и небольшой стол, пробираться к которому приходилось ужавшись. Зато не было телефона. Считалось, что Энэн там работает; в самом деле, перед ним всегда лежала бумага, что-то он на ней, наклонясь, писал. Когда кто-нибудь входил к нему, он прикрывал исписанное папкой и ждал в охранительной позе, пока посетитель уйдет. Естественно, заходить к нему без особой надобности избегали.

Если бы кто просмотрел исписанные за день листы, он удивился бы: хаос, неразбериха. Отрывки текста, формулы, кучи вопросительных знаков, а всего больше рисунков и все на одну тему: ножи. Прямые и искривленные, кинжалы, палаши, сабли и ятаганы. Мастерски нарисованные, тщательно отделанные, с желобками и жалами лезвий. Энэн, вообще к рисованию способный, в своих ножах поднимался до артистизма. В конце дня он собирал все листы в портфель и уносил домой, оставляя стол и ящик пустыми.

На кафедре принято было считать, что Энэн в своем уединении тайно работает над какой-то проблемой мирового значения. Каких только названий для нее не придумывали: «Машинные эмоции», «Роды у роботов» и даже «Гироскопы и гороскопы». Тревожить Энэна в его уединении старались как можно меньше, и он подолгу сидел там наедине со своими ножами и мыслями. Мысли были неутешительные. Вот уже много лет наблюдал он в себе убыль

таланта, а теперь присутствовал при его гибели. Как будто, потеряв жену, он потерял и себя.

Главное, он уже ничего не мог придумать. Подстегивал свою мысль, а она повисала в бессилии. Ничего, кроме вариаций на старые темы, он не мог из себя выжать. Знал это пока что он один, но скоро узнают все.

Он все еще был знаменит. Его имя произносилось с почтением, его книги издавались и переиздавались у нас и за рубежом. Его приглашали на все конференции, семинары, симпозиумы — ездить туда он избегал, зная за собой позорную привычку спать. Все-таки иногда являлся, садился в президиум и спал.

Лекции? Ну, лекции еще были хороши. Не то что прежде, но хороши. Этого даже он, вечный свой критик и отрицатель, не мог отрицать. Стоило ему выйти на помост перед доской, взять в руку мел (шершавое счастье!), как он преображался. Исчезало подергивание лица, голос становился звучным и внятным, фраза — четкой и красивой. Слушали его всегда затаив дыхание. Даже парочки на задних скамьях переставали шептаться, даже самые заядлые игроки в «балду» настораживались. «Давайте подумаем», — говорил он, и зал погружался в счастье коллективного думания. Ну что ж, многолетняя тренировка, умение владеть аудиторией. Старый клоун с ревматизмом в коленях тоже уверенно делает заднее сальто; новым трюкам он уже не научится.

Все остальное, кроме лекций, было ниже всякой критики. Аспирантами своими он, в сущности, не руководил, ничего не мог дать им, кроме своего имени, которое еще звучало. Особенно он тяготился экзаменами. Приходил ненадолго, принимал двух-трех человек, ставил им пятерки и уходил. Слушая студента, он погружался в некую внутреннюю нирвану: вспоминал, купался в прошлом. Голос студента доносился к нему откуда-то издалека, из другого мира. Когда студент умолкал, нужно было задать ему дополнительный вопрос. Какой бы такой вопрос задать? Энэн думал, сморкался, иногда спрашивал что-нибудь неожиданное, вроде: «Скажите, чего бы вы больше всего хотели?» Студент пугался и мямлил. Нестандартность поведения профессора, его очки, лысина, склоненное седое ухо — все это действовало гипнотически, особенно на нервных субъектов. Отвечая Энэну, такой студент как бы тоже впадал в нирвану. Иногда оба замолкали и качались на волнах мыслей. Кончалось это всегда одним и тем же: пятеркой. Но, странное дело, студенты экзаменоваться

у него не любили, предпочитали ходить к Спиваку, который был щедр на двойки, пятерок не ставил почти никогда, зато был шумен, звучен, эмоционален — одним словом, понятен.

Да что экзамены! Главное было в другом. Энэн знал — иногда твердо, иногда с оттенком сомнения,— что ничего нового он уже не создаст. И все-таки упорствовал. Его сидения в «рабочем ящике» были, в сущности, сеансами борьбы со своим бессилием. Исход был предрешен, но он боролся...

Как он рад был любому предлогу отвлечься! Воробью, севшему за окном на ветку клена; паутинке, колеблющейся в углу; обыкновенной мухе, гуляющей по столу, почесывая друг о друга скрещенные ножки...

Однажды, сидя в таком тягостном уединении, он услышал за перегородкой поющий девичий голос. Небольшой и прозрачный, отточенной чистоты, он тек, как ручей с перепадами, меняя высоту и тембр. Дуэт-диалог Ромео и Юлии:

— Нет, милый друг, то песни соловьиной ты испугался...

И пониже:

— То не соловей.

Опять сопрано:

— Он каждый день на дереве гранатном...

Тут что-то упало с грохотом, и юный голосок чертыхнулся.

Ругающаяся Юлия была забавна. Посмотреть, что там? Энэн вышел в лабораторию. Металл стоек, стекло шкафов, молчащие экраны осциллографов. Как будто ничто не разбито. Ах вот что упало: стремянка! Возле нее, потирая колено, стояла тонкая девушка в темно-розовом платье.

— Кажется, вы ушиблись? — спросил он с полупоклоном.— Не могу ли я чем-нибудь помочь? Был бы счастлив.

Старомодная учтивость профессора Завалишина на фоне всеобщего упрощения нравов была заметна и чуть смешна (говорил «спасибо» автомату). Девушка улыбнулась:

— Ничего, до свадьбы заживет, она еще не скоро.

Она выпрямилась и поглядела прямо ему в лицо светлыми водяными глазами. «Морская вода, aqua marina»,— подумал он с какой-то непонятной самому себе умиленностью.

— Дудорова Майя,— представилась она, подавая ему тонкую детскую руку. Забавная современная манера — ставить фамилию впереди имени.

— Капулетти Джульетта,— поправил Энэн,— а я Завалишин Коля.

Она засмеялась. Легкие волосы вокруг лица вспорхнули и опять легли.

— Я-то вас знаю. Вы завкафедрой, правда? А я ваша новая лаборантка.

— Позвольте узнать,— спросил Энэн,— зачем вам понадобилось лазить на лестницу?

— Пыль со шкафов вытирала. Там ее накопилось кошмарно.

— Это, кажется, дело уборщицы.

— Что вы! Ей некогда, на двух ставках работает. Во всех лабораториях сотрудники сами убирают.

— Хочу сделать вам комплимент,— сказал Энэн,— вы очень музыкальны, у вас прелестный голос. Только петь лучше не на стремянке. Ромео лазил по лестнице, но, кажется, в другой сцене.

Она чуть-чуть покраснела. Все краски на ее лице были как будто размыты, разведены водой.

— А я и не знала, что меня слушают.

Она усмехнулась — словно рыбка шевельнулась в сети. Целая цепь водяных ассоциаций — волна, рыбка, прохлада — шла от нее прямо ему в сердце. И еще — жалость. Сложная смесь жалости и восхищения. Особенно щемил ему душу контраст тонкости тела с его излишней обтянутостью (по его старомодным понятиям, женская стройность должна была прятаться в широких, реющих одеждах). Полудлинные рукава Дудоровой Майи пониже локтя чуть-чуть врезáлись в нежную желтоватую кожу, образуя на ней еле заметную складочку,— ему одинаково хотелось и устранить ее и сохранить. От очень высоких каблуков вся фигурка при общей миниатюрности устремлялась вверх. Чем-то Дудорова Майя напоминала Русалочку Андерсена, ходящую по ножам (еще одна водяная ассоциация). Он был умилен, растроган, сдвинут с места тем, что перед собой видел.

Если теперь сменить точку зрения и поглядеть ее глазами, то она видела перед собой смешного старого человечка, смесь Карлсона и Швейка, в толстенных очках, с желтой лысиной, обрамленной сияньицем белых волос. Что-то вроде судороги время от времени поводило его правую щеку, и тогда все лицо начинало барахтаться...

«Смешной старикашка,— подумала Майя,— откуда-то из дореволюции».

— Вы, я вижу, любите музыку,— продолжал разговор Энэн, которому очень не хотелось возвращаться к рабочему месту.

— Жутко люблю. Особенно вокальную.

— И, судя по репертуару, у вас хороший вкус. Дуэт из «Ромео и Юлии» Чайковского мало кто знает. Большинство предпочитает Гуно.

— Нет, я Чайковского. По радио передавали. Мировой дуэт.

Словцо «мировой» чуть-чуть покоробило Энэна, но, в конце концов, дело не в словах. Девочка явно музыкальна.

— Желаю вам удачи. Пойте, только не падайте,— сказал он, повернулся и ушел к себе.

Лист бумаги с ножами показался ему отвратительным, он разорвал его и бросил в корзину. Прислушался, не раздастся ли снова прозрачный голос. Нет, в этот день она больше не пела.

Лаборатория со своим оборудованием, мастерской, заведующим, двумя инженерами и теперь вот лаборанткой Майкой Дудоровой была на кафедре своего рода государством в государстве. Формально она подчинялась кафедре, а на деле жила сепаратной, обособленной жизнью. Завлаб Петр Гаврилович, лохматый энтузиаст, похожий на дворового пса с репьями по всему загривку, был из тех немногих людей, причастных к технике, кто ее любит личной любовью. Неутомимый изобретатель с десятками авторских свидетельств, он не утратил способности любить и чужие творения. Лаборатория была его детищем. Всеми правдами и неправдами он раздобывал для нее новейшее оборудование, уникальные образцы. С материнской нежностью ухаживал за ними, дохнуть на них боялся! Ужасали его студенты — галдящая, жующая, топающая толпа, которой было все равно, уникальный прибор или собачья будка! «Это же техника! — говорил он свирепо, уличив когонибудь в недостаточно бережном с ней обращении.— Вот ты, скажем, палец поранишь, у тебя заживет, а у нее черта с два заживет, она нежная!» Студентов он в принципе, как добрый человек, любил, но лабораторное оборудование берег ревниво. «Разбойники,— говорил он,— ну чистые разбойники! За ними недоглядишь — все разнесут».

И в самом деле студенту в лаборатории непременно надо что-то потрогать, пощупать, повертеть. «Послушай,— говорил Петр Гаврилович такому активисту,— вот я, например, не врач. Что ты скажешь, если я, например, возьму нож и разрежу тебе живот? Небось заплачешь? Так вот от тебя, глупого, приборы плачут».

Ничего не помогало. В результате бестолковой активности студентов приборы то и дело выходили из строя. Для отвлечения праздных рук Петр Гаврилович перед каждым из особо ценных приборов смонтировал специальное устройство типа дверного звонка с заманчивой красной кнопкой, которую так и тянуло нажать. Звонок ни к чему в приборе подключен не был, но по замыслу должен был отвлекать внимание от других, более ответственных деталей. Куда там! Доставалось и звонку и ответственным деталям. После каждой работы лаборатория превращалась, по словам Петра Гавриловича, в Мамаево побоище (он очень картинно изображал это на заседании кафедры, махая крыльями, как стервятник над полем боя). Весь персонал во главе с самим завлабом, вооружась отвертками, тестерами, запасными деталями, проверял, ремонтировал, отлаживал аппаратуру. Вскоре к этим работам была привлечена и Майка Дудорова — легкие пальцы, тонкое внимание, сообразительность. Зачастую она находила неисправность быстрей инженеров. Петр Гаврилович своей лаборанткой не мог нахвалиться: «Золото, а не девка! Одна беда — хорошенькая. Уведут».

Когда Майя пришла в лабораторию, ей было за двадцать, но казалась моложе: что-то школьное, с большой переменки. Родилась она тут, в Москве, от матери-одиночки и неизвестного отца; мать о нем никогда не говорила и спрашивать не позволяла: «Молчи, Маенька, моя ты, и ладно». В то время у «незаконных» еще ставились прочерки в метриках; Майка от своего самолюбиво страдала.

Жили они с матерью в густонаселенной коммунальной квартире. Окно их узенькой комнаты выходило на пасмурный двор с рядами мусорных баков, по которым шмыгали кошки. Квартира была старобуржуазная, с двумя лестницами (парадной и черной), с двумя уборными — для хозяев и для прислуги,— из-за которых коммунальное население постоянно вело войну Алой и Белой розы. Дом был хронически под угрозой капитального ремонта, который должен был вот-вот начаться, но все откладывался. Краны текли, трубы рыдали и гоготали, пугая жильцов по ночам.

Майкина мать, когда-то живая, красивая, но рано постаревшая, обделенная и напуганная, работала бухгалтером на фабрике мягкой игрушки. Больше всего на свете она боялась обсчитаться (такое однажды уже было). За долгие годы работы она так привыкла к жесту, которым бросают костяшки на счетах, что все время повторяла его и в жизни — пуговицы на груди перебирала, как бы подводя баланс.

Майка с ранних лет знала, что такое бедность, и всем сердцем ее ненавидела. Знала, что не все живут так стесненно и убого, даже в окнах напротив шла совсем другая, развеселая жизнь. Там не экономили электричество, собирались по вечерам, танцевали под радиолу. Красивые женщины в парчовых платьях высоко поднимали тонконогие бокалы, а мужчины раскачивались, держа руки в карманах. Своего неизвестного отца Майка тоже представляла себе богатым, непринужденным, с руками в карманах. Мечтала: явится, возьмет к себе, а там — ковры, хрусталь, радиола...

Мать умерла еще нестарой, от долгой, изнурительной болезни. В больницу ее не взяли как хроника, имеющего родных. Майка весь последний, десятый класс в школу почти не ходила. Делала все по дому сама: готовила, стирала, покупала продукты, высчитывая каждый грош. Проворная, легкая, ходила, как Меркурий, с крылышками у пят. В свободные минуты сидела у постели больной и шила. Мать лежала молча, закрыв глаза, ни на что не жаловалась, только слеза время от времени созревала в углу глаза и катилась по желтой щеке. Майке было страшно: одиночество подступало вплотную. «Мама, скажи все-таки, кто мой отец?» — шептала она про себя, но вслух спросить не решалась. Время шло; приходило краешком и вновь уходило солнце, трогая на спинке стула сложенное прямоугольничком платье. Мать была аккуратна даже в смерти. До самого последнего дня вставала сама, держась за стены, доходила до коммунальных мест общего пользования, а если было занято, ждала, прислонясь головой к косяку. Умерла тоже аккуратно, как жила. Попросту в один ничем не примечательный день — не лучше ей было и не хуже — заснула и не проснулась. Заснула и умерла все с тем же привычным жестом — с широко откинутым указательным пальцем, занесенным над незримыми счетами. У Майки навсегда остался страх прожить жизнь, как мать, и умереть считая.

Хоронили мать сослуживцы, почти все женщины. Пла-

кали, говорили хорошие слова о покойнице: «Культурная, а ничем не выделялась...» Глядя на Майку, еще пуще плакали: такой у нее был жалкий вид, озябла, посинела, топталась в своих худых туфельках по грязному снегу, то на одной ножке попрыгает, то на другой. Провели подписку, собрали порядочную сумму (помог фабком), и до весны, до окончания школы, Майка вполне могла перебиться. В школе ее жалели и кое-как, на троечках, довели до аттестата зрелости. Был и выпускной вечер и белое платье (мать загодя купила отрез, а шила Майка сама). Отгуляла, оттанцевала, простилась со школой. Что дальше — она и сама не знала. Втайне мечтала о карьере певицы...

Данные кое-какие у нее были. Музыкальный слух и голосок, чистый и верный, проявились еще в раннем детстве. «У моей девочки абсолютный слух!» — говорила мать, сама любившая музыку болезненной, бессильной любовью. В детстве она училась играть, недоучилась — помешали разные беды,— но ни в каких бедах не могла продать свое пианино, дряхлое, желтозубое, с трещиной в деке. Майка еще носом едва доставала до клавиатуры, а уже научилась сама взбираться на винтовой табурет и что-то одним пальцем наигрывать. Ноты узнала раньше, чем буквы. Мать учила ее играть, сама плохо умея, учила петь, сама почти безголосая.

Другим источником музыки было радио, даже не приемник, а репродуктор, намертво подключенный к трансляционной сети. Он стоял на полу возле печки (несмотря на центральное отопление, печи в доме еще сохранились) и что-то бормотал под сурдинку. Заслышав хорошую музыку, Майка запускала его погромче. Слушала, подпевала, запоминала. Память у нее была как у скворца-пересмешника. Могла запомнить и спеть наизусть целую оперу.

Кроме музыки и, пожалуй, с не меньшей силой (возраставшей с годами) Майка любила хорошую одежду. Этой одежды у нее никогда не было. Трудное, серое, скупое ее детство было ко всему еще плохо одетым. Одно служившее ей без конца клетчатое пальтишко чего стоило! Майка ненавидела его как живого врага, колотила, щипала. Во дворе мальчишки дразнили ее: «Эй, Карандаш!»

В старших классах ее мучения усилились: она завидовала хорошо одетым подругам, а таких становилось все больше. В быту появлялись красивые заграничные вещи — как бы она сумела их носить! Главное, она понимала саму себя, свою узкую стать, нежное изящество, легкие краски, и страдала оттого, что все это оставалось непроявленным,

незавершенным. Какая-нибудь девчонка с толстыми ногами щеголяла в чудесных платьях, как будто задуманных для нее, Майки, и бедрами распирала нежную ткань... А у Майки платьев почти не было — два-три, не больше. Она их без конца перекраивала, перешивала, одной какой-нибудь черточкой ухитрялась сделать их модными, но чего это стоило, каких усилий!

Мать Майкиного пристрастия к тряпкам не разделяла: «Надо жить духовными ценностями». Другое поколение: ее молодость пришлась на время войны, тут поневоле будешь жить духовными ценностями... И как ей объяснить, что одежда тоже красота, тоже духовная ценность?

Эпизодом прошел в Майкиной жизни не то чтобы роман, а так. Героем был школьный учитель пения Владимир Антонович Задонский, бывший оперный тенор, давно пропивший и прогулявший голос, но не утративший любви к искусству и к вечно женственному. Учителей-мужчин в школе было раз-два и обчелся; среди них Владимир Антонович выделялся, как матерый индюк среди щипаных петухов. На уроках пения девочки толкались и перебранивались, воюя за место поближе к нему. А он сразу отметил Майкин чистый тоненький голос, ее легкие волосы, водяные глаза и стал ее отличать, к зависти остальных. Не один щипок достался Майке от ревнивых соперниц.

В старших классах уроков пения не было, но старый тенор продолжал заниматься с подросшей Майкой бесплатно и очень усердно; не бросил ее и тогда, когда ушел из школы и стал руководителем самодеятельности в большом, недавно отстроенном клубе. Выдвигал Майку на какие-то смотры и конкурсы (на одном из них она даже получила почетную грамоту «за лучшее исполнение русской народной песни «Сарафан»). Голосок у нее был маловат, грудь узковата, дыхание поверхностное; как говорят, «перспективной по вокалу» она не была. Тем не менее Владимир Антонович, укушенный в сердце ее акварельной прелестью, внутренне стонавший от ее точеных высокоподъемных маленьких ног, обманул ее и себя, пообещал ей оперную карьеру, заниматься стал чаще и ревностнее... И вот среди занятий, протекавших в его захламленной квартире многократного разведенца, как-то нечаянно сошелся с нею. На Майку это особого впечатления не произвело. Владимира Антоновича она не любила, разве что самую чуточку, уступила ему отчасти из благодарности, отчасти в слабой надежде на будущее (женится, обеспечит, выведет в люди?). Сам Владимир Антонович жениться на

Майке и не помышлял (он еще не был разведен со своей последней законной и вообще по уши был сыт женитьбами и разводами). Потом заболела мать, и Майке стало не до пения. Встреченный ею однажды на улице Владимир Антонович поглядел сквозь нее, боком-боком прижался к стене и пропал из виду.

После окончания школы сослуживцы матери взялись за Майкино трудоустройство. Вариантов было несколько; из них Майка выбрала Дом моделей, место регистратора. Все-таки возле одежды... Надеялась стать манекенщицей, но не подошла. «Рост мал, колени несовременные»,— сказала художница-модельер, окинув ее с ног до головы одним взглядом. Так и осталась Майка со своими коленями в регистратуре. Обязанности были несложные, но скучные: отвечала на звонки, подзывала к телефону чванных тучных закройщиц, которые с одними клиентками говорили свысока, не выпуская из губ качающейся папиросы, а перед другими, напротив, лебезили. Майка скоро по голосу научилась отличать тех от других... Иногда ей хотелось что-то такое выкинуть, скажем плюнуть в телефон...

А жизнь Дома моделей шла себе своим чередом. Перед Майкиными завидущими глазами мелькали модные туалеты один другого проще, один другого изысканней. Она давно знала, что секрет хорошей одежды не в пышности, а в лаконизме, но такого, как здесь, еще не видела. Одной скупой линией создавался силуэт — приталенный, расклешенный, спортивный. Как лейтмотив повторялась модная черточка — пелерина, обшлаг, низкий карман. На показах моделей манекенщицы ходили особой, маршево-напряженной походкой, поворачивались, блестя подведенными глазами, становились в позы, широко расставляя свои современные колени. В перерывах садились отдыхать в одном белье, неслыханно импортном, нога на ногу (это называлось расслабиться), курили, сплетничали. Где-то в этой среде циркулировали заграничные вещи, приносимые с заднего хода, осматриваемые коллективно. Обсуждалась не цена, а качество, стиль. Денег у всех почему-то было много, хотя зарплата и скромная. Тут был какой-то секрет, непонятный Майке. Манекенщицы вместе с закройщиками и модельерами были аристократией Дома моделей, а Майка находилась где-то на уровне гардеробщицы тети Маши, принимавшей от клиенток норковые манто как живые, хрупкие существа. Но та хоть получала чаевые, а Майка нет. Ее, незаметную у своего телефона, равнодушно обтекала чужая роскошная жизнь. Шло время, менялись моды,

а в Майкиной судьбе ничего не менялось. Главное, и волшебного принца в поле зрения не было. Коллектив был почти сплошь женский. Два-три закройщика верхнего платья в женских передниках, с сантиметрами через плечо погоды не делали. Как-то один из них, плотно-кудрявый брюнет лет пятидесяти, заметил Майку в коридоре, взял ее за подбородочек, сказал «цыпа, ай?» и пригласил в ресторан. Она отказалась, а потом пожалела: зря не пошла, потанцевала бы... Он ее больше не замечал, все шло по-старому. Майке казалось — так она и засохнет за столом регистратора в Доме моделей. Глаза бы ее на этот Дом не смотрели...

Тут как раз встретила она на улице свою школьную учительницу физики, разговорилась с нею, пожаловалась на свою работу («ни уму, ни сердцу»), и та предложила устроить ее на место лаборантки. Преимуществ в зарплате по сравнению с Домом моделей не было, но все-таки что-то новое... Майка согласилась: уж очень ей захотелось сменить судьбу. Так она оказалась в лаборатории при кафедре Завалишина. И так познакомилась с самим профессором, лысым человечком в толстенных очках,— и в самом деле сменила судьбу.

Майку Дудорову всегда все жалели, такой у нее был дар: вызывать к себе жалость. Скорее веселая, чем печальная, она вызывала ее тонким обликом, нежной расцветкой лица и глаз, неопределенностью чуть косящего взгляда... Энэн тоже жалел ее и, жалея, любил. Недаром в русском народе извечно «жалеть» означало «любить».

Жизнь его теперь стала заполнена — он ждал. Услышав Майкин голос за перегородкой (работая, она всегда напевала), он светлел лицом и шел на голос, как птица на посвист манка. Увидев ее, сразу же погружался в жалость, не мучительную, а светлую, сладкую.

Нет, он не был влюблен, как шутя говорили на кафедре (его внимание к Майке не прошло незамеченным и вызвало комментарии). Пропасть лет была так велика, что он и в мыслях ее не перешагивал. Ручей, цветок, ребенок — вот что была для него Майка. Минутная встреча в лаборатории, несколько дружелюбных слов — ему этого было достаточно.

Майку внимание старика забавляло и чуточку раздражало. Он не был ни в каком смысле «серьезным поклонником», но беседовать с ним бывало приятно. Мало знакомая

с хорошо воспитанными людьми, она чувствовала себя как в театре (учтивость была для нее условностью вроде плаща и шпаги). Но именно чрезмерность учтивости раздражала.

Он внимательно расспрашивал ее о жизни, вкусах, планах на будущее. Тут она отвечала неопределенно, но однажды, нежно покраснев, призналась, что мечтает о консерватории. Энэн обрадовался, оживился, зашевелил лицом:

— Так в чем же дело? Это ваша прямая дорога!

— Нужно брать уроки, готовиться,— ответила она и молча, с усмешкой, договорила: — А деньги?

Нет, боже упаси! — она не просила о денежной помощи. Он сам о ней мечтал, но не смел предложить. Не знал, как подступиться, чтобы не ранить юную гордость. Прошло немало времени, пока решился. Заикнувшись, дернув щекой больше обычного, он предложил оплачивать ее уроки пения. Договорил — и сам испугался. Но Майка приняла предложение неожиданно просто:

— Ой, как хорошо! Можно, я вас поцелую?

Обхватила за шею, клюнула в щеку. Его и обрадовала и огорчила такая простота. Почему огорчила? Разве он хотел, чтобы она отказалась? Нет, со стыдом признался он себе самому, хотел, чтобы согласилась, но не так скоро, не так просто. Словом, «девочки, церемоньтесь!», как напутствовала его сестер, провожая их в гости, старая гувернантка.

Теперь надо было организовать уроки. Энэн и в этом принял активное участие. Отыскал давнюю свою приятельницу, старую певицу с остатками голоса и великолепной школой. Сам отвез туда и представил Майку. Варвара Владиславовна прослушала ее, отбивая такт пухлой рукой, и сказала:

— Попробовать можно. Музыкальность, слух — все это есть, а налет самодеятельности мы быстро снимем.

Энэн тут же договорился об условиях (уроки стоили недешево). В заключение Варвара Владиславовна сама села за пианино и спела неаполитанскую песенку — грациозно, жемчужно, искусно (Майку особенно поразил итальянский язык).

Начались уроки. Сперва Энэн хотел подключиться к ним вплотную, быть непрерывно в курсе успехов своей подопечной. Но Майка упросила его этого не делать:

— Разве вы мне не доверяете?

Он, конечно, ей доверял. К тому же у Варвары Вла-

диславовны не было телефона, а ездить к ней специально за справками было бы далеко и неудобно. «В самом деле, пусть девочка учится спокойно,— решил Энэн,— я ли оскорблю ее докучной опекой?»

Каждый месяц он вручал Майке деньги на уроки — разумеется, в конверте. Так было принято в его кругу — не заставлять людей лишний раз прикасаться к деньгам. Условность? Конечно. Майке такие условности были чужды: она хватала конверт, пересчитывала деньги, совала их в сумочку. Беглое «спасибо», ласковый кивок — и все. Энэн и тут ловил себя на том, что хотелось ему «церемоний», какой-то другой, более выраженной, развернутой благодарности. А, собственно, за что? Давать деньги еще не значит делать добро. Он ведь себя ничего не лишал — деньги у него были; при его скромных потребностях даже в излишке. Вот снять с себя последнюю рубашку, отдать другому да еще забыть о ней — это добро.

Виделись они теперь не только в лаборатории, но и дома. Впервые он пригласил ее на Первое мая, не без задней мысли — по праздникам Дарья Степановна пекла пироги. Оба они едоки были нерезвые, и пироги частенько пропадали зря. Иногда Дарья Степановна даже его упрекала:

— Хоть бы кого пригласили, пироги счерстнут.

Так он отважился пригласить Майку. Вообще-то гости у него бывали редко, а женщины и того реже.

Майка пришла с букетом цветов, весенних тюльпанов, поставила их в вазу, пораскидала — сразу загорелась вся комната. Волнуясь, потирая руки, Энэн пригласил ее к столу. Дарья Степановна внесла пироги. На гостью глядела искоса, поджимая губы: что, мол, за пигалица? Но отчасти была обезоружена Майкиным восторгом по поводу пирогов и всего остального. «В чем душа,— думала она,— и ест-то, поди, недосыта». Однако сесть за стол решительно отказалась: «Без меня бушуйте, своей компанией», ушла на кухню. Майка разливала чай, высоко подняв фарфоровый чайник, придерживая крышку стройным узеньким пальцем. Откуда только она набралась такого изящества, певучей слитности жестов? Все ее бытовые движения были как-то условны, слишком грациозны для скучной действительности; глядя на них, Энэн вспоминал танец Золушки с метлой в балете Прокофьева...

После чая Майка встала из-за стола, обошла комнату, все осмотрела (для него всюду, куда падал ее взгляд, вспыхивал как будто солнечный зайчик). Обстановка ее порази-

ла — в первый раз она видела старинные вещи, альбомы, красное дерево.

— Прошлого века? — спрашивала она.

Энэн кивал утвердительно, а один раз сказал:

— Позапрошлого.

Пианино тоже было старинное, кленовое с инкрустациями, с бронзовыми подсвечниками, в которые по традиции все еще были вставлены свечи. Майка села за пианино, откинула крышку, спросила:

— Можно?

— Ну конечно!

Тронула клавиши, запела. Он уже и пошевелиться не мог — весь слушал, всем своим старым телом, утонувшим в кресле, каждым волоском, каждым ногтем... «Нет, не любил он»,— пела она старинный романс, прославленный когда-то Комиссаржевской в роли Ларисы. Энэн его в том знаменитом исполнении не слышал (в год смерти Комиссаржевской он еще был ребенком), он только читал о том, как она пела и как плакал весь театр — партер, галерка и ярусы... И сейчас, когда Майка пела, все те давнишние традиционные театральные слезы в нем закипали. Он слушал и плакал за своими очками, не смея достать из кармана платок. Даже Дарья Степановна вышла из кухни, стала в дверях с железным лицом, прослушала романс до конца и кратко сказала:

— Гоже.

Когда гостья ушла, Дарья Степановна учинила профессору форменный допрос: кто, да что, да как зовут, сколько получает, какая площадь. Имя Майка не одобрила:

— Корова Майка, коза, а не баба. У нас в деревне две Майки коровы, одна коза.

О пении отозвалась одобрительно:

— Дело хорошее, не червяки.

«Червяками» она звала интегралы, осуждая их обилие в книгах Энэна: «Люди почитали бы, а у вас не по-русски с удочкой ходить».

С тех пор каждый раз, как приходила Майка, Дарья Степановна требовала: «Нет, не любил он». Всегда определенная во мнениях, к Майке она относилась двойственно. С одной стороны, легкомыслие, неозабоченность (в ее модели мира совесть и озабоченность были почти равнозначны). С другой стороны, пение, хоть по телевизору показывай. Только зачем ей учиться, деньги переводить? Пора самой зарабатывать, поет лучше другой артистки.

А Энэн к Майке Дудоровой привязался всем сердцем. По возрасту она годилась ему во внучки — он ее не удочерил, а «увнучил», если не формально, то по существу. Составил завещание на ее имя. Даже не нашел в себе великодушия скрыть это от нее — хотел сам видеть искру радостной благодарности в ее глазах. Искры, впрочем, не получилось — Майка и бровью не повела. Не то чтобы она была равнодушна к деньгам, материальным ценностям — просто отдаленное будущее для нее не существовало. Само слово «завещание» было ей так же чуждо, как, скажем, «вексель» — откуда-то из мира капитализма. Зачем писать завещание? Хочешь порадовать — дари. И сейчас, а не после смерти. Он и дарил — то одно, то другое. Приходила она часто, но ненадолго и почти всегда что-нибудь уносила с собой. Не выпрашивала — просто он ей дарил от души, опасаясь только зорких глаз Дарьи Степановны.

— Куда бокал? — спрашивала она голосом богини правосудия.— Опять Майке-Лайке?

Приходилось признаваться — да.

— Ваше добро,— говорила Дарья Степановна,— в землю не унесешь, на том свете с фонарями ля-ля-ля.

А сама Майка безотносительно к подаркам привязалась к Энэну, по-своему его полюбила. Никогда не было у нее ни отца, ни деда, а это нужно человеку: отец, дед. Называла его «дядя папа» — эта нежная детская пара слов трогала его до сердцебиения. Нет-нет да и приласкается — поцелует, погладит. Ощущение прохладных губ на своей щеке Энэн берег часами, чтобы не спугнуть. Он был счастлив.

Крушение началось не скоро и произошло не сразу. Началось с того, что Энэн случайно встретил на улице Варвару Владиславовну. Та шла, осторожно ступая распухшими крохотными ногами, разглядывая тротуар в лорнет, этакий прелестный анахронизм. Энэн обрадовался: сама судьба посылала ему случай узнать об успехах своей любимицы. Подошел, поздоровался и:

— Ну как у вас учится моя протеже? Делает успехи?

Варвара Владиславовна удивилась:

— Ваша протеже? Она у меня больше не учится. И проходила-то всего месяца два. Я тогда же вам послала записочку — неужели не помните? Конвертик с фиалочкой.

— Простите, забыл. Напомните, что там было, в записке.

— Писала вполне откровенно: дальнейшего смысла

в уроках не вижу. Перспектив нет, голосок не держит, диафрагма жесткая. О консерватории речи идти не может. Я ей все вполне откровенно высказала, она, кажется, не очень и огорчилась. Просила ее передать вам записочку. Неужели не передала?

— Теперь припоминаю,— солгал Энэн,— да, именно, передавала вашу записку. Простите, совсем забыл.

— Старость не радость,— вздохнула Варвара Владиславовна,— я теперь лечусь у гомеопата, чудеса делает, вдохнул в меня новую жизнь. Хотите, дам адрес?

— Нет, спасибо. Простите за беспокойство, будьте здоровы.

Приподнял шляпу, отошел, деревянно переставляя вдруг онемевшие ноги и оставив Варвару Владиславовну размышлять о том, как он сдал и как старит мужчину вдовство и одиночество.

А Энэн шел совсем оглушенный и думал: «Бедная девочка! Не хотела меня огорчать. Может быть, рассердить боялась? Это меня-то? О, я ее поддержу, успокою».

Ждал встречи. Когда забежала Майка — свежая, воздух весенний,— спросил как будто невзначай (сердце ужасно билось):

— Ну как твои уроки с Варварой Владиславовной? Спросил, нарочно глядя ей прямо в глаза.

— Уроки? Хорошо.

— Что же вы сейчас проходите?

Опять — прямо в глаза. Там все чисто — прозрачная правда.

— Арию Лизы из «Пиковой дамы». Хотите, спою? — И завела:

Ах, истомилась, устала я...

Дарья Степановна немедленно вышла из кухни и стала в дверях.

Ночью и днем... —

раскатилась Майка.

Рассказать ей про встречу? Нет, он не мог.

— Знаешь что, девочка,— сказал Энэн,— я сегодня неважно себя чувствую. Ты уж меня извини.

— Истомились? Устали? — поддразнила она.

— Просто болит голова.

— Бедный дядя папочка! Сейчас мы вас полечим.— Прижалась прохладной щекой к его лбу.— Ну как, помогает?

- Пока нет. Знаешь что, деточка, я хочу лечь. Другой раз приходи, ладно?

— Может быть, врача вызвать? — обеспокоилась Майка.

— Не надо. Просто полежу. Иди, пожалуйста.

Никогда еще он ее от себя не гнал. Майка ушла неохотно. Что-то здесь было не совсем обычное, и она тревожилась. И не только эгоистичной, но и человеческой тревогой. Смешной старичок был ей все-таки дорог. Снова, как перед смертью матери, горлом ощутила она подступающее одиночество. Если дядя папа умрет, она останется совсем одна на земле... К ее чести, о завещании она и не вспомнила.

А Энэн лег и думал целую ночь. Назавтра встал желтый, как после тяжелой болезни. Попробовал ноги — идут.

Ну что ж? Ничего нового он, в сущности, не узнал. Что Майка, мягко говоря, не слишком правдива, он догадывался давно, но закрывал на это глаза. Водились за нею мелкие, с виду невинные выдумки. Рассказывала о каких-то происшествиях, которых будто бы была свидетельницей. Уличная катастрофа со всеми подробностями, вплоть до окровавленной джинсовой куртки водителя. Или умершая вдруг от обычного гриппа подруга. Или град необычайных размеров — с куриное яйцо. Беда в том, что, любя Майку, он ее рассказы слишком хорошо запоминал. Когда случалось ей в забывчивости их повторить, то какие-нибудь подробности не совпадали: джинсовая куртка превращалась в свитер, имя подруги менялось. Что же касается града с куриное яйцо, то его принадлежность к области чистой фантазии была ясна с самого начала. Майка врала, чтобы привлечь внимание, поразить, выделиться,— так врут дети, рассказывая небылицы. Не врут — фантазируют. И Энэн, зная эту черту за Майкой, ее не осуждал, скорее умилялся, любуясь.

Бывали черточки и похуже. Узнав от него о рано умершем сыне Коле, придумала себе брата, тоже Колю, тоже рано умершего. И не то страшно, что придумала, а то, что говорила о нем со слезами на глазах. О том, что никакого брата не было, Энэн узнал потом из слов самой же Майки:

— У мамы, кроме меня, других детей никогда не было.

— А Коля? — спросил Энэн.

Она удивилась, начисто забыв сочиненного брата, а сообразив, вывернулась, быстро перевела Колю в двоюрод-

ные. Вообще не затрудняла себя хитросплетениями, на авось громоздила выдумку на выдумку, не заботясь об их внутренней связи. Это опять-таки была черта ребячья, птичья, чем-то даже трогательная.

Все это о Майке он знал и раньше. Почему же теперь его так поразила выдумка с уроками пения? Пожалуй, потому, что это был обман не внезапный, а длительный, не эпизод, а система. Отнести его к категории детских выдумок было трудно.

А в сущности, почему нет? Детское легкомыслие было и в этой системе. Она не была даже внутренне скреплена. Ведь знала же Майка, что он знаком с Варварой Владиславовной, что в любую минуту обман может открыться? Знала, но это ее не беспокоило. Она жила данной минутой, без мысли о будущем. Он, привыкший всегда обдумывать свои поступки, строить мысленно все «деревья» их возможных последствий, понять этого не мог. А был ли он прав?

Мучительно пытаясь поставить себя на место Майки, понять ее психологию, он мысленно сконструировал ее беспечный, мотыльковый, непрочный внутренний мир и понял, что она лгала, в сущности, безгрешно — лгала как поет птица. А его собственное фанатическое отвращение ко лжи — не предрассудок ли это? Не результат ли воспитания, строгого, традиционного, с детства вколотившего в его сознание заповедь «не лги»? Жизнь учит, что хочешь не хочешь — лгать все равно приходится. Одним больше, другим меньше. Одни от этого страдают, другие нет — вот и вся разница.

Есть французская поговорка «все понять — значит, все простить». Кажется, он понял Майку. И, безусловно, простил. Когда она забежала на другой день, искренне обеспокоенная его болезнью, был растроган. Вопроса об уроках пения решил не касаться. Все шло по-прежнему. По-прежнему переходил из рук в руки конверт с деньгами, звучало беглое «спасибо». В Майкином репертуаре появлялись новые арии — может быть, сама, может быть, с другим педагогом, но она, безусловно, работала, шла вперед. В конце концов обман с уроками пения был прощен и почти забыт.

Куда серьезнее был случай, когда Энэн, войдя в свой кабинет, застал Майку спешно задвигающей ящик стола, где он хранил деньги, конечно, несчитаные. Нежно вспыхнувшие щеки, невинные глаза: «Я искала...» Он не дослушал, что́ она искала, вышел, пил воду.

Вот это был не толчок — удар. Видно, заповедь «не укради» была в него вколочена крепче, чем «не лги». Но и тут он пытался чем-то оправдать Майку. Зачем не дослушал? Может быть, не за деньгами полезла она в этот ящик? Может быть, просто из любопытства? «Я искала...» Может быть, искала какие-то бумаги, интересуясь его внутренним миром? Нет, не может быть. До его внутреннего мира ей явно дела не было. А если брала деньги, то почему, зачем? Неужели он не дал бы ей, если бы она попросила? Он бы все ей отдал, все. Почему же не попросила? Не хотела унижаться? Вряд ли.

Понять он не мог. Не понял, но простил. Он не разлюбил Майку, но между той частью души, где он любил, и той, где не понимал, как будто выросла стенка.

Время шло. Подошел срок экзаменов в консерваторию. О них говорилось задолго. Майка к ним готовилась, волновалась, худела, реже стала к нему заходить. Из общеобразовательных: история, сочинение. Из специальных: сольное пение (два тура, русская народная песня и романс) и самое трудное — сольфеджио.

Начались экзамены. О каждом она рассказывала во всех подробностях: что спрашивали, что отвечала, что забыла, сколько получила. Он слушал, боясь за нее и радуясь, с каждым словом веря ей все больше и больше. Самый страшный экзамен — сольфеджио — сдала на четверку. «Гоняют безбожно! Главный хотел поставить пятерку, но ведьма не согласилась». Тут же был дан вполне реалистический портрет «ведьмы».

Наконец прибежала сияющая:

— Дядя папа, поздравьте, меня приняли!

— Поздравляю. От всей души!

Поцеловал ей руку.

— Дядя папа, это все вы. Спасибо, спасибо!!

Повисла на шее — душистая, легкая. Был счастлив. Очевидно, все же брала уроки, хоть и не у Варвары Владиславовны...

Когда Майка ушла, задумался: «Брала уроки. Принята. Похоже на правду... Неужели унижусь до проверки?» Унизился. Позвонил. Услышал:

— Дудорова Майя Алексеевна? Нет такой в списках.

— Может быть, экзаменовалась, не приняли?

— Сейчас проверим... Нет, не экзаменовалась.

— Спасибо, — сказал Энэн и положил трубку. (На кафедре говорили, что он и палачу сказал бы «спасибо» за отрубленную голову.)

Так. Отошел. Сел, уронил руки, вспотел лысиной. Ну что ж? В конце концов, и к этому он был готов.

Одно его терзало: зачем? Каков был смысл всей этой сложной выдумки? Именно бессмыслица его угнетала. Будь все это оправдано любой целью — пусть низкой! — он не был бы так убит. Подло, низко, но целесообразно и, значит, по-своему объяснимо. Здесь было нечто мистическое, вне разума. Он же, пожизненный раб разума, не мог от него отречься. Подлость отвратительна, но постижима. Бессмыслица непостижима.

Человеческие отношения основаны на возможности вмыслить себя в другого. Посмотреть в глаза и представить себя на его месте. Тут такой возможности не было, чувствовалась полная инопородность. Между человеком и собакой такой пропасти нет. Между человеком и рыбой в аквариуме — есть. Заглянув в желтый выпуклый глаз рыбы, можно ли человеку войти в ее психологию?

...Вскоре после своего «поступления в консерваторию» Майка уволилась с работы. Петр Гаврилович из себя выходил, пытаясь ее удержать, сулил разные льготы — напрасно. Ссылалась на серьезность предстоящей учебы, ушла.

Что она делала с тех пор? Где болталась? С кем была связана? Энэн и не спрашивал. Денег она не просила — он сам давал ей каждый месяц не меньше, чем прежде, а то и больше. Она прятала деньги в сумочку не считая, благодарила небрежно, как будто ни для нее, ни для него это значения не имело. Заходила не часто, пела совсем редко (говорила, надо беречь связки). Одета всегда была прелестно (впрочем, он в одежде плохой судья). Смущало его то, что свитеры, кофточки, юбки слишком часто менялись. А еще украшения: кольца, кулоны, брошки... Он говорил осторожно:

— Маечка, этой вещи я на тебе не видел.

— Ах, это? Мне подруга дала поносить.

Там, в ее неизвестном кругу, видно, было принято «давать поносить». В его время в его среде таких обычаев не было. Люди носили вещи пусть бедные, но свои. Да, времена меняются, пора привыкнуть.

Однажды пришла деловая, обыкновенная, сообщила новость:

— Дядя папа, я выхожу замуж.

Неужели и это выдумка? Оказалось — нет. Привела жениха знакомиться: высок, строен, молчалив, похож на индуса (так и видишь его в чалме). По профессии инженер. Энэн жениха одобрил.

Деньги на свадьбу конечно же дал он. Церемония, на его взгляд, была ужасна. Дворец бракосочетания, в своем пластмассовом великолепии очень похожий на крематорий, гнездилище оптовых искусственных ритуалов. Пока одна пара брачуется, несколько других с «сопровождающими лицами» ждут очереди, топчутся, перешептываются, хихикают. Белые платья невест, черные костюмы женихов (все куплено в одном и том же магазине для новобрачных). Изукрашенная машина с розовыми накрест лентами, с куклой на радиаторе, с непристойно надутыми, бьющимися на ветру резиновыми цветными колбасами... «Боже мой,— тоскуя думал Энэн,— для того ли мы в свое время расставались с церковными обрядами, чтобы заменить их этакой синтетической чепухой?»

Дальше — хуже. Ресторан, множество людей, пьяных, острящих на современном жаргоне, кочующих между столиками (кто чей гость — уже неясно). Галдеж, хохот. Курящие синевекие девицы в брючных костюмах, юнцы с волосами до плеч и прыщами на подбородках. Кто-то требует еще коньяку, машет розовыми десятками. Крики «горько!» перекатываются над мокрыми скатертями. Жених-индус невозмутимо встает и целует Майку, она в фате, жеманится... И опять «горько-о-о!».

Молодые въехали в кооперативную квартиру, деньги на которую дал опять-таки он. Да что деньги! Месяцев через пять после свадьбы Энэн, разбирая свою библиотеку (подчищаться он стал перед смертью), обнаружил пропажу многих любимых книг. Книги были отобраны с толком: редкие издания, экземпляры с авторскими надписями. Случайно из чьего-то разговора на кафедре Энэн узнал, что Майкин муж не только инженер, но еще и известный по всей Москве книжник, у которого можно за хорошую цену достать что угодно...

Он и тут промолчал. В конце концов, он никого не поймал с поличным и, правду сказать, не хотел ловить. Пусть все идет как шло. Не так уж долго осталось.

Пусть, пусть... Размышляя об этом, он обвинял себя в грехе попустительства. Где граница, за которой оно переходит в беспринципность? Кажется, он эту границу уже перешел. Что делать — иначе он не мог. Стар, устал.

Одно только сделал: пошел к нотариусу и изменил завещание. Деньги, вещи по-прежнему Майке. Кое-что не без робости — Дарье Степановне. Книги — институту.

Майке будет досадно, когда узнает: книги теперь в цене. Что поделаешь — пусть.

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Производственная деятельность кафедры профессора Завалишина — лекции, групповые занятия, лабораторные работы, консультации, зачеты, экзамены — шла как-то сама собой, без особого руководства, и шла, в общем-то, на высоком уровне. Так нередко бывает в давних, удачно сложившихся коллективах с хорошей изначальной закваской, где традиция органически противостоит халтуре. Преподаватели, нагруженные как ломовые кони, тянули исправно, и понукать их не требовалось. Лодырей и очковтирателей здесь практически не было; если и появлялся случайно кто-нибудь, не слишком-то расположенный «вкалывать», его просто внутренним давлением выпирало наружу, в какое-нибудь НИИ.

Преподавательская работа вообще тяжела, а здесь она была поистине каторжной. Кафедра вела множество курсов, большинство из них новые, необкатанные, без учебников, без задачников, без готовой методики — словом, научная целина. Эту целину поднимали скопом, ошибаясь, исправляя ошибки и тут же впадая в новые. Учебные планы менялись нервно, с быстротой хамелеона: только-только приспособишься к одному, а уже другой на подходе. Нагрузка была чудовищная, на грани физической выполнимости. А требовалась еще научная работа, для которой нужно было ходить по библиотекам, знакомиться с периодикой. А откуда время? В ход пускались ночи, выходные дни, отпуска — и их не хватало. Временами какое-то веселое отчаяние помогало людям тянуть свою лямку. Лева Маркин как эмблему кафедры повесил на стене копию с репинских «Бурлаков»...

Помимо производственных, были еще дела организационные — отчетность, расписание, переписка, оформление. Всеми этими делами ведала секретарь-делопроизводитель кафедры Лидия Михайловна — немолодая худощавая женщина с черно-бурой стрижкой, горбатым носом и походкой «бегущая по волнам».

Вузовская жизнь, как и всякая другая, имеет две стороны: действительную и мнимую, реальную и бумажную. Рядом с каждым реальным фактом растет его бумажная тень. Взад и вперед, вверх и вниз ходят волны переписки: циркуляры, отчеты, акты, сводки, распоряжения, запросы и ответы, пояснения по поводу и без повода. В этой фиктивной бумажной жизни есть свои законы, свои приличия, своя лексика и стилистика, свои скрупулезные

требования к формату, шрифту, ширине полей, размеру отступов. Свежему человеку душно в бумажном мире; человек привычный и искусный находит в нем даже некую прелесть.

Таким артистом бумажного мира была Лидия Михайловна. Законы канцелярской кухни она превосходно знала, и благодаря ей кафедра Завалишина по бумажной линии всегда числилась в передовых: отчеты и сводки сданы вовремя, с соблюдением всех правил ГОСТа, все циркуляры пронумерованы и подшиты, все календарные планы в ажуре. Приходи любая комиссия, проверяй — придраться не к чему. Естественно, преподаватели охотно передоверили всю бумажную часть Лидии Михайловне и даже свои индивидуальные планы подписывали не читая...

Странное явление, фантом вузовской жизни — индивидуальный план преподавателя! Никогда и никем не читаемый, кроме составителя и машинистки, пылящийся в нескольких экземплярах в шкафах различных инстанций — кафедры, деканата, учебной части... А ведь на его составление затрачивается труд, и немалый. Для непривычного человека написать индивидуальный план — целая задача. Надо знать, что можно писать, а чего нельзя, а если можно, то куда: в первую или вторую половину нагрузки? И если писать, то в каком количестве? Где надо проставить точные сроки выполнения, а где можно ограничиться неопределенным «в течение года»? Сколько в часах «сто́ит» дипломник, курсовик, аспирант, соискатель? На все это существуют нормы, зафиксированные в руководящих документах двадцатилетней давности и более поздних поправках к ним. Эти нормы, отлично известные Лидии Михайловне, были неизвестны, а главное, не нужны преподавателям. В свой индивидуальный план они никогда не заглядывали. Часы аудиторных занятий регулировались расписанием и были святы; все же остальное делалось не по плану, а по необходимости (хоть лопни, а надо!). Огромное время занимала подготовка к занятиям, но именно этот вид работы в плане ставить было нельзя. Никак и нигде не учитывались переэкзаменовки, тоже съедавшие уйму времени. А рецензии на чужие научные работы, сваливавшиеся как снег на голову и всегда срочно? А участие в конференциях? А индивидуальная работа со студентами? Разве можно предвидеть, сколько времени придется провозиться с неуспевающим или (того хуже!) с успевающим, у которого вдруг не заладится научная тема? Всякий, кто когда-либо сам занимался научной работой, знает, какая это

капризная вещь и как плохо поддается планированию и учету.

В общем, жизнь преподавателя была непрерывным барахтаньем в куче неотложных дел, в вечном заторе недоделанных... Нет, никакого отношения к этому барахтанью индивидуальный план не имел; он был чем-то вроде молитвы перед учением в дореволюционной гимназии (такое сравнение сделал однажды на заседании кафедры сам Энэн, немало смутив Кравцова).

От всей этой нудной формалистики преподавателей освобождала Лидия Михайловна. С ее толковостью, энергией и цепкой памятью она была больше чем секретарем — деловым стержнем кафедры. Энэн отчетностью давно не интересовался, на бумагах ставил подписи не читая. Кравцов, за последние годы вошедший в силу, по всем деловым вопросам обращался к Лидии Михайловне, да и остальные преподаватели тоже.

Бывают семьи, где ничего нельзя тронуть, переставить или найти без матери. В роли такой матери-хозяйки на кафедре была Лидия Михайловна. Работая, она всегда была окружена облаком табачного дыма (ей единственной Кравцов разрешал курить на кафедре) и казалась со стороны этаким канцелярским заводом со своим оборудованием — папками, скрепками, дыроколами. У нее всегда можно было достать что понадобится — клей, ножницы, иголку с ниткой, точилку, резинку. На бумагу она была скуповата и порицала легкомысленных преподавателей, зря рисовавших на ней чертей и другие предметы. Она ведала на кафедре всей материальной частью — мебелью, клавишными машинами, средствами наглядной агитации, табелем-календарем. Разводила и холила на окнах цветы — самые строптивые кактусы у нее цвели. Гибель каждого кресла или стула была для нее личной потерей, а непомерный вес Спивака — постоянной угрозой: «Семен Петрович, вы бы как-нибудь бочком садились, поаккуратнее!» Приходила она раньше всех, уходила позже...

Человек, на которого другие взваливают свою неприятную работу, часто приобретает над ними власть. Порабощение — плата за комфорт. Кафедра слегка роптала на властность Лидии Михайловны, но вынуждена была с нею мириться. И, как это часто бывает в отношении людей первой необходимости, самой Лидии Михайловне уделялось очень мало внимания. Мало кто даже знал о ее семейном положении, совсем никто — о семейных невзгодах.

А между тем жизнь Лидии Михайловны была сложная и не очень счастливая. Вдова, она жила с дочерью Ларисой и ее мужем Борисом («Ларисы-Борисы» называла она их, сердясь). С зятем она не ладила, из-за этого перестала ладить и с дочкой. Сама болезненно аккуратная, она терпеть не могла беспорядка, а в комнате молодых он просто клубился, время от времени убегая через край, как молоко на плите. Из двух смежных комнат Лидия Михайловна, выдавая дочь замуж, великодушно взяла себе проходную и теперь горько об этом жалела. Проходя через ее комнату, Ларисы-Борисы то и дело что-нибудь в ней оставляли: брюки, тапки, окурки. Лидия Михайловна, сама курящая, окурков терпеть не могла. Особенно ее раздражала манера Бориса замачивать свои грязные носки прямо в раковине и ждать — авось кто-нибудь да выстирает. Покойный муж Лидии Михайловны при всех своих недостатках (бабник, пьяница, характер тяжелый) такого себе не позволял, всегда скажет: «Постирай».

А что́ у молодых творилось в комнате — уму непостижимо! Грязная посуда, сухой хлеб, одежда, обувь — все навалом, без толку. Книги на окнах, на столах, на полках, прямо на полу... Борис, когда в духе, называл все это «культурным слоем» и смеялся. Не смешно! «Сгноили комнату», — бормотала про себя Лидия Михайловна. Прибирать у них она не решалась, с тех пор как однажды Борис устроил ей нагоняй, а она всего-то сложила книги стопочками и вытерла пыль. А у него на пыли, оказывается, был важный телефон записан.

Когда родился внучек Миша — пухлявый, черноглазый, косенький, — Лидия Михайловна вспыхнула было душой, полюбила мальчика, готова была ради него даже бросить работу, всю себя посвятить ребенку. Но от внука ее отстранили. Носили его в ясли, ребенок простужался, кашлял, а Лариса хоть бы что, как будто и не мать. Быть матерью в представлении Лидии Михайловны значило непрерывно тревожиться. Молодые не тревожились, были беззаботны, вечно без денег, часто звали гостей, шумели, курили (тут же, при Мишеньке!). Тренькали на гитаре, орали туристские песни, заводили магнитофон (все вместе это называлось «романтика на дому»). Мишенька просыпался, хныкал, наверно, мокрый; вместо того чтобы перепеленать, успокоить, его сажали за стол, давали пригубить вина (это с таких-то лет!). Однажды ночью хохот был: накрутили Мишеньке волосы на бигуди, нашли игрушку! Отдали бы ребенка ей, она бы совсем иначе его воспитала:

режим, сон, еда, прогулка, все вовремя, ходил бы чистенький, нарядный... Да разве отдадут? Как собаки на сене.

Была мечта разменяться — квартира-то ее! Себе отдельную однокомнатную, а молодым комнату в коммуналке. Пусть-ка попробуют со своими привычками да в чужие люди! Те небось не простят: хочешь не хочешь, а в свое дежурство изволь мыть-убирать все места общего пользования. Да еще какой-нибудь дотошный сосед, проверяя, хорошо ли вымыто, чуть не в унитаз голову сунет (был у нее такой дотошный на прежней квартире). Странным образом Лидия Михайловна не столько мечтала о своей однокомнатной, сколько о том, как трудно будет в коммуналке без нее Ларисам-Борисам. Мечты покамест так мечтами и оставались: на размены и переезды не было денег. Те сбережения, что были скоплены за долгую жизнь, ухнули в один день, когда справляли свадьбу, даже в долги пришлось войти, чтобы показать себя не хуже людей. Думала тогда — заживем по-хорошему, при полном взаимном уважении, а вышло вот как. Родила, вырастила дочь, а она чужая, совсем «оборисилась». Хуже нет одиночества, чем в своей семье.

На работе Лидия Михайловна привыкла ко всеобщему уважению и, не находя его дома, страдала. Ей бы развернуться, расправить плечи, взяться за дом с той же сноровкой, с какой хозяйничала на кафедре, а нельзя. Там хороша, здесь не нужна. Так, видно, и увянет без толку ее полустарая жизнь. Не успеешь оглянуться — и настоящая старость придет. Как подумаешь — и вспомнить нечего. Мужа-то не очень любила, хоть и терзалась его изменами. Дочку Ларису обожала, пока та была маленькая — головка светлая, шелковая, бант качается на трех волосках, ручки-ножки пухлые... Но становясь старше, дочь отходила — в сторону и вверх. Все ничего, пока не вышла замуж, а теперь — ну копия Бориса. У того каждое слово с насмешкой, с подковыркой. Вроде бы не грубит, а вежливо издевается. И Лариска туда же, за ним. Думают, мать не видит, как они между собой взглядами перекидываются. А написано в этих взглядах — устарела. Когда приходила Лариса с работы, спрашивала: «Мама, как насчет заправки?» — Лидия Михайловна грела ей обед молча, кормила без радости. Это же последнее дело — свое родное дитя без радости кормить! Довели. А Борис ест, читает газету, насвистывает, спичкой в зубах ковыряет. Если в настроении, скажет: «Спасибо, товарищ теща», а то и так, без благодарности встанет из-за стола. Оставит в тарелке раздавлен-

ную сигарету и спичку, которой в зубах ковырял. Лидия Михайловна мыла посуду по-своему, добросовестно, в трех водах, а про себя думала с горечью: «Единственно, чем нужна и полезна, так это питание, но и за него доброго слова не слышу».

Заставил ее призадуматься один случай — подруга Настя, ее ровесница, взяла да и вышла замуж. Познакомились в кино, рядом сидели. Он вдовец, пенсионер, солидный, непьющий-некурящий, пенсия сто двадцать да ее зарплата сто. На эти деньги вдвоем вполне можно прожить, даже в отпуск съездить раз в году. Настя, говоря объективно, не такая уж интересная; она, Лидия Михайловна, пожалуй, получше. У Насти одно преимущество — полнота, но теперь она не очень котируется. И как хозяйка Лидия Михайловна гораздо выше. И вот надо же — одна вышла, а другая нет.

С тех пор Лидия Михайловна наряду с мечтой о размене квартиры стала мечтать еще о замужестве. Конечно, не по страстной любви (стара уже для этого), а по взаимному уважению. Стала присматриваться к дворовым старичкам, вечным игрокам в козла или шахматы,— никто не годится. Кто выпить любит, у кого любовница (у одного даже две!), у кого взрослые дети на шею сели. А главное, никого из них не могла она от души уважать.

Трудно сказать, в какой именно день пришла ей в голову мысль, что ее заведующий Николай Николаевич тоже, как и она, одинок и вдов и что можно было бы в принципе выйти за него замуж. Сперва она эту мысль отвергла как несбыточную, а потом стала думать: почему бы и нет? У нее тоже образование среднее, законченное, а женятся и на простых. Женятся не для научных разговоров, а для уюта, тишины, ухода. Стала все чаще к этой мысли возвращаться, допускать в свои мечты и в конце концов до того домечталась, что Николая Николаевича от души полюбила. Нравилась ей его старомодная учтивость (поздравляя с праздниками, каждый раз целовал ей руку). Сама наружность Энэна, отнюдь не вдохновляющая, стала ей со временем нравиться. Умиляла ее белая бахромка вокруг лысины, чисто промытые стариковские уши, выпуклые розовые ногти на сухих маленьких руках.

Неизъяснимыми путями ходит иногда чувство. Мечтала о счастье для себя, а полюбила — и нету себя, только он, все для него. Угодить, позаботиться, облегчить ему жизнь. Пока что выражала она свое чувство как могла — множеством мелких услуг. Подписывалась для него на газеты

и журналы, всеми правдами и неправдами отвоевывая дефицит. Точила ему карандаши до самой изящной тонкости (знала, что любит рисовать карандашами). Держала в порядке его письменный стол, до блеска начищала голову витязя. Только успевали появиться на рынке подснежники, как они уже украшали обширное черное поле энэновского стола. Осенью разноцветные листья, зимой хвойные ветки. Все это ставилось не наобум, веником, а по-японски, со вкусом. Когда Энэн, наклонясь близоруко, искал что-то в ящиках стола, она сразу была тут как тут — помочь, найти, вытащить. Преувеличенная вежливость, с которой он всякий раз ее благодарил, умиляла Лидию Михайловну — что значит старинное воспитание! Именно такой — заботливо-вежливой — представляла она себе идеальную семейную жизнь.

Как-то раз Энэн забыл на кафедре очки. Лидия Михайловна занесла ему их домой, посмотрела внимательно, как он живет. В квартире было чисто, но не особенно; кое-где зоркий глаз Лидии Михайловны заметил даже пыльцу. Под тахтой стояли маленькие, почти женские тапки с примятыми задниками, стояли не параллельно друг другу, эту непараллельность она тоже ревниво отметила. Меньше всего ей понравилась Дарья Степановна, не удостоившая ее поклоном и сразу же с громким щелканьем включившая телевизор.

После этого визита облачные мечты Лидии Михайловны приобрели своего рода конкретность. Именно в этой квартире с ее высокими потолками, большими окнами, дрожащими от уличного шума, видела она себя с ним. На окнах развести цветы, повесить портьеры для заглушения шума. Мебель починить, сменить обои, рисуночки выбрать повеселее. Много значит умелая женская рука! А главное — ласка, преданность. Проснуться утром рядом с ним на широкой тахте (у него под ухом думочка с вышитым уголком, край уха завернулся беспомощно, лоб морщится от мыслей), встать потихоньку, чтобы не разбудить, легко, на цыпочках скользнуть в кухню... А он все-таки проснулся, тянется к ней, берет ее руку, нежно с закрытыми глазами ее целует, а у нее просто сердце заходится... Боже ты мой, о чем только не мечтает одинокая женщина, а смысл один: тепла, ради бога, тепла!

Когда на кафедре появилась Майка Дудорова и все стали замечать смешное пристрастие Энэна к этой пустышке, Лидия Михайловна была уязвлена в самое сердце.

Видеть любимого неверным — это еще туда-сюда, видеть его смешным — вот что ужасно! Шуточки по поводу Энэна и Майки она выслушивала с каменным лицом, ничем себя не выдавая. Мечта отодвинулась, но не погибла. День, когда Лидия Михайловна узнала, что Майка уволилась, был для нее светлым праздником. Любимый снова как бы ей принадлежал. Каждый из редких с ним разговоров она хранила в памяти, даже отмечала легким, ей одним понятным крестиком в табель-календаре. За последние месяцы крестики становились чаще. Иногда за толстыми очками Энэна она замечала как будто искру ответного чувства (на самом деле это было просто универсальное внимание, сострадание к людям, донимавшее его в последнее время). Но трудно было переступить черту одиночества — две черты двух одиночеств, окружавшие каждого из них как два непересекающихся круга. Вот если бы по какому-то счастливому случаю им удалось объясниться...

Случай такой представился неожиданно. Праздновалось семидесятипятилетие со дня основания института. На самом деле семьдесят пять лет назад был основан не этот институт, другой, но этот по праву считался его преемником («Другой Юрий Милославский»,— съязвил по этому поводу Маркин). Так или иначе, юбилей праздновался. Ряд старейших сотрудников (Н. Н. Завалишин в том числе) были награждены орденами и почетными званиями. На торжественном заседании совета читались адреса, вручались награды. Вечером банкет. На другой день ректорат организовал увеселительную поездку по речному маршруту. Было арендовано несколько теплоходов, оборудованных буфетами, громкоговорителями и киосками разного направления. Билеты на кафедре распространяла Лидия Михайловна, профорг. Почти все изъявили желание ехать — была весна, ранняя жара, повальное цветение деревьев. Молодежь соблазняло купанье, загоранье, танцы на палубе; людей постарше — просто возможность прокатиться по воде, всегда имеющей особую притягательность для горожанина. Лидия Михайловна подошла, предлагая билеты, и к Энэну; в том, что он ехать откажется, она ни минуты не сомневалась. Энэн никогда не участвовал ни в каких коллективных мероприятиях, ни в праздниках, ни в экскурсиях, даже на юбилейный банкет отказался пойти наотрез. Лидия Михайловна обратилась к нему только из вежливости и вдруг вместо обычного учтивого, но решительного отказа, каким он отвечал на все предложения, увидела за толстыми очками какое-то колебание...

— А то и в самом деле, возьмите билет, поедем! — сказала она, и сердце у нее подпрыгнуло до потолка.— Вы себе не представляете, прямо сказочная поездка! Каюта отдельная, все удобства. Устанете — приляжете...

— Да нет,— сказал он, но в его «нет» был оттенок «да», и Лидия Михайловна возликовала:

— Ну поедемте, честное слово. Весь коллектив умоляет.

Случившаяся тут же Нина Асташова ее поддержала, правда довольно сурово:

— В самом деле, почему бы не поехать раз в жизни?

— Вы так считаете? — спросил Энэн.

— Безусловно,— ответила за Нину Лидия Михайловна.

— Желание дамы — закон,— неожиданно сказал Энэн, полез в карман за бумажником, вынул требуемую сумму и взамен получил билет первого класса, с отдельной каютой.

«Он согласился!» — ликовала Лидия Михайловна. Это значило почти «он мой!». Она не могла знать, что как раз в этот день Энэн был смятен духом: он только что изменил завещание, сомневался в своей правоте и готов был ехать куда угодно, лишь бы не оставаться в своей квартире с книжными полками, в которых зияли бреши. Точно такая брешь была сейчас в его душевном хозяйстве — каких-то важных элементов он недосчитывался. Всего этого Лидия Михайловна не знала и поэтому взыграла духом. Сама судьба посылала ей вожделенный случай. Не сумеешь им воспользоваться — пеняй на себя.

В день экскурсии погода была чудесная — умеренно жарко, с ветерком, с золотыми поденками, пляшущими над водой. Энэн в каюту пойти не захотел, остался на палубе в плетеном кресле, на диво удобном, красноречиво скрипевшем при каждом движении. Он с удивлением замечал, что тяжесть, лежавшая у него на душе, становится легче, вот-вот улетучится, пузырем взлетит в небо. Причиной, вероятно, был речной воздух, удивительно прозрачный, светлый и живой,— Энэн вдыхал его с наслаждением. Люди подходили к нему, улыбались, обращались с приветливыми словами; многие из них были ему незнакомы. Какой-то иностранец с киноаппаратом через плечо присел с ним рядом, сказал «оу!», улыбнулся. Энэн приветствовал его по-французски, по-английски, потом по-немецки; ни один из этих языков, видимо, не был иностранцу понятен. Он наставил на Энэна свой аппарат; тот, закрывшись руками, показал, что не хочет сниматься; иностранец опять

сказал «оу» и отошел к киоску с сувенирами, стал прицениваться к серии матрешек. Кто-то подходил еще и еще, но в конце концов Энэн остался один и с наслаждением погрузился в некое подобие счастья. Счастье — это когда у тебя болел зуб и вдруг перестал. Его обтекала свежая и яркая прелесть речных берегов, воды, солнца и ветра. Берега плыли, вода сияла, ветер хлопотал, развевая шарфы, косынки и волосы. Мелкие волны рябили и морщились, светясь отраженным блеском. По реке мчались нумерованные «метеоры» на подводных крыльях; от каждого острым углом отделялась головная волна, доходившая с плеском до берегов и качавшая какую-нибудь плоскодонку с рыболовом, его удочкой и его отражением. Все это сновало, сияло, светилось. Энэн, глядя кругом, не переставал удивляться легкости, вливавшейся в его душу. Окончательно растрогал его синий овал озера, видневшийся далеко, где-то у горизонта, да еще большая птица — то ли аист, то ли журавль,— летевшая поперек неба, медленно и низко махая крыльями и как бы овевая ими повисшие длинные ноги. Грация, покой и прелесть всего живого были не только вовне, но и внутри, в нем самом.

Лидия Михайловна издали наблюдала за Энэном, посылая ему незримые любовные сигналы, видела у него на лице улыбку и говорила себе: «Нет, еще не сейчас. Вечером, на обратном пути». Она знала, что при вечернем освещении выглядит гораздо лучше...

Была длинная стоянка в какой-то бухте с рахат-лукумным названием. Молодежь купалась, загорала. Кое-кто шел в лес за ландышами, но возвращался, гонимый комарами, которые этой весной поторопились расплодиться. По сходням, качая их с теплоходом вместе, туда и сюда сновали люди. Разгоряченные лица, огромные букеты черемухи, сладкий запах которой был так густ, что казался тяжелым, вещественным. Увеселения шли полным ходом. Волейбол на берегу, шахматы в салоне, напитки в киосках. Энэн ни в чем этом участия не принимал, выпил за весь день один стакан чая с пирожным, все сидел на палубе в своем разговорчивом кресле, глядя с бесконечным доброжелательством на все окружающее: как канарейкой выглядывала из ветвей черемухи, взобравшись на дерево, Элла Денисова в желтом купальном костюме; как прыгали на одной ножке купавшиеся, вытряхивая воду из уха; как костлявый иностранец, раздевшись, потрогал ногой воду, сказал «оу!» и уронил туда свой киноаппарат. Люди, в общем, оставляли его в покое. Один только Паша Рубакин, успевший поря-

дочно нагрузиться у киоска (в теории на теплоходе продавались только безалкогольные напитки, но практика всегда опережает теорию),— Паша Рубакин присел рядом с Энэном и начал своим подвальным голосом объясняться ему в любви, называя его то «всемирным корифеем», то «мировым парнем». Пьяный Паша Рубакин, как и многие русские пьяные, питал особую страсть к поцелуям и так извозил и обслюнявил обе щеки своего патрона, что тот не знал куда деваться. К счастью, заряда любви у Паши хватило ненадолго и он упокоился, заснув сном праведника на скамье у борта. Энэн облегченно вздохнул, утерся платком и вновь погрузился в неомраченную любовь к миру.

Под вечер, приветственно и хрипло прогудев, теплоходы отправились в обратный путь. На каждом из них гремела своя музыка, и, так как они шли близко один от другого, нужно было специальное усилие, чтобы слушать свой теплоход и не слышать других. Это в обычное время раздражавшее бы его усилие Энэн в своем размягченно-благословляющем состоянии духа делал с радостью.

Тот теплоход, на котором ехали в полном составе кафедра и лаборатория профессора Завалишина, был оборудован не только мощным громкоговорителем, но и особо звучным затейником, который по радио, оставаясь невидимым, эхал и ахал, щелкал и присвистывал, призывая народ веселиться. На корме под его активным радиоруководством сорганизовались танцы. Как всегда в таких случаях, танцующих женщин было куда больше, чем мужчин. Покуда шли бальные танцы — фокстрот, танго, летка-енка,— мужчины еще как-то обнаруживали себя: один-два в поле зрения. Но когда затейник с молодецким посвистом Соловья-разбойника объявил «русские народные пляски» — мужчин словно ветром сдуло. Плясать остались одни женщины, и среди них Лидия Михайловна — помолодевшая, раскрасневшаяся, окрыленная. Как она лихо, как тонко выплясывала! Платочек в руке, плавная грация поступи, а главное, азарт счастья в каждом движении... Энэн, наблюдавший за танцами из своего говорящего кресла, прямо диву давался — откуда в ней столько огня? Видишь человека изо дня в день и не замечаешь огня, а он горит...

Лидия Михайловна по-своему истолковала любопытные взгляды Энэна и решила: пора! Как только затейник объявил перерыв («Дамы отдыхают, обмахиваясь веерами, кавалеры оказывают им знаки внимания»), она подошла к Энэну и присела рядом с ним на трехногий табурет граци-

озно, как бабочка опускается на цветок. Энэн не без труда встал, чтобы уступить ей кресло, она отказывалась:

— Сидите-сидите, мне так гораздо прохладнее.

Произошла невинная борьба вежливостей. Когда она кончилась (в пользу Лидии Михайловны), Энэн погрузился обратно в кресло, чуть запыхавшись от усилий («Пришла пора,— думал он,— когда уступить даме кресло уже задача»), а Лидия Михайловна вернулась на табурет. Вместо веера она обмахивалась книгой.

— Как вы хорошо танцуете, я и не знал! — сказал Энэн все с тем же выражением любовного внимания, которое было обращено к шевелящейся жизни, но ей казалось направленным на нее лично.

— Ну что вы, какие танцы в моем возрасте! Вот в молодости я и правда была плясунья, в Доме культуры выступала. Все в прошлом. В мои годы...

— Сколько же вам лет? — простодушно осведомился Энэн.

Лидия Михайловна засмущалась:

— Разве такое у женщины спрашивают? Сколько ни есть, все мои.

— Это я потому,— тоже смутясь, объяснил Энэн,— что вы говорили о молодости в прошедшем времени. Я бы на вашем месте употреблял настоящее.

Хоть и сложно выраженный, это безусловно был комплимент.

— По секрету могу сказать, только вы меня не выдавайте,— сказала она лукаво.— Сорок шесть стукнуло, бабушка! Я не против. Пусть без молодости, но при жизни.

Она таки сбавила себе два года, не удержалась. Он вздохнул и сказал совершенно искренне:

— Вы еще молоды. Перед вами, можно сказать, вся жизнь.

Как расцвела в лучах этой фразы, как рассиялась Лидия Михайловна! «Вот он, случай,— подумала она,— ловить его, пока не поздно».

— Знаете, Николай Николаевич, я очень много о вас думаю и сильно переживаю. Как вы там живете совсем один? По себе знаю, какой бич одиночество. Некому за вами последить, поухаживать, просто улыбнуться, в конце концов. Я ничего особого про себя не скажу, образование среднее, звезд каких-нибудь не хватаю, но по хозяйству, безусловно, одарена. Дома ничего этого не ценят. Подай, принеси. Раб без права на амнистию.

Сказала и сама прослезилась.

— Не горюйте,— ответил Энэн,— надейтесь на лучшее.

— Сейчас я думаю не о себе, исключительно о вас. Знаете, я бы могла из чистой дружбы к вам ходить, ну, раза два-три в неделю: постряпать, постирать, поубираться. Все-таки женская рука в доме. Я совершенно бескорыстно предлагаю, от души, от чистого сердца.

Николай Николаевич испугался:

— Нет, что вы, большое спасибо, но у меня хозяйством ведает Дарья Степановна, вполне квалифицированный специалист.

Лидия Михайловна засмеялась:

— Вы просто не знаете, что такое квалификация в домашнем хозяйстве. Делает она вам когда-нибудь меренги?

— Нет, но мне и не нужно никаких меренг, уверяю вас.

— Это вы только потому говорите, что не пробовали. Ну дайте я вам для опыта хоть один раз сделаю меренги. Пальчики оближете!

Энэн представил себе на минуту Лидию Михайловну у себя на кухне и ужаснулся:

— Нет, спасибо, честное слово, не надо. Мне и врачи запрещают сладкое.

— Хорошо, меренги отставим. Я ведь и диетическую кухню умею. Овощные зразы, паровые котлеты, суфле...

— Ничего не надо, спасибо, спасибо.

— Но дело даже не в питании, а вообще в образе жизни. Ваша Дарья Степановна, если хотите знать, страшная старуха! Типичный деспот. Идет и не кланяется. Нет, ее необходимо от вас изолировать. Или вас от нее.

Энэн еще больше перепугался:

— Уверяю вас, вы ошибаетесь. Это достойнейший человек.— И тут же, чтобы перевести разговор, спросил, глядя на книгу, которой она обмахивалась: — Это что у вас?

— Лев Толстой, «Анна Каренина». Очень глубокая книга. Исключительно освещаются переживания женской души. Вы читали?

— Конечно.

— И какого вы мнения об этой книге?

— Самого высокого.

— Вот и я тоже. Только в одном я не согласна с автором — в его сочувственном отношении к героине. Я ее категорически осуждаю. Любовь не любовь, а старого мужа надо жалеть. Я на ее месте окружила бы его вниманием. Старый человек больше молодого требует внимания...

Из рупоров что-то загремело. Затейник громко отчихался, откашлялся и объявил:

— Перерыв окончен! Дамский вальс! Дамы приглашают кавалеров! Дамы, не стесняйтесь, приглашайте, кто нравится: это ваш вальс!

Загремел вальс, какой-то допотопный, кажется «Дунайские волны». Лидия Михайловна встала и протянула руку Энэну:

— Разрешите вас пригласить!

Он съежился, весь ушел в кресло:

— Помилуйте, я не танцую. Устарел.

— Ничуть не устарели!

Она настойчиво тянула его за руку, он сопротивлялся мучительно. Только бы оставили его в покое наблюдать шевеление жизни...

Внезапно словно из-под земли возник Кравцов. Аккуратненький, голубая тенниска, серые брючки, тонкие усики.

— На правах, так сказать, заместителя заведующего кафедрой беру этот вальс на себя.

И поплыл, и завертелся, и увлек за собой по белым доскам палубы Лидию Михайловну. Та сперва сопротивлялась, рвалась назад к Энэну (он просто погибал от испуга и нервности), но потом увлеклась танцем, откинула голову, закрыв глаза, и понеслась, полетела... «Какие красивые у нее ноги,— думал Энэн,— какая она еще, в сущности, привлекательная женщина, только подальше от меня, пусть будет счастлива, но подальше...»

Он встал, с трудом разогнул затекшие ноги, сопровождаемый сложными скрипами кресла и щелканьем коленных суставов, отошел вперед, к носу теплохода, и остановился, держась за металлический столбик. Мимо тихо текли берега, воздух был темен и прохладен, на воде качались огни. Отражения огней дробились в струистой ряби. Пахло свежей листвой и цветами. Теплоход шел, окруженный океаном прекрасных запахов. Энэн держался за столбик и как бы руководил этим вплыванием в запахи. Он удалялся в страну запахов от своего мелкого, ненастоящего горя...

Поодаль, еще ближе к носу, стояла тонкая женская фигура, тоже обхватив рукой столбик. Он испугался: «Лидия Михайловна?» — но тут же понял, что ошибся. Это была Нина Асташова. Она стояла неподвижно, его не замечая, вся вытянутая навстречу запахам, думая о чем-то своем.

Экскурсия кончилась. Автобусы развозили экскурсантов в разные концы города. Вопросы, восклицания: «Кому

на Юго-Запад?», «Нет, мне на Красную Пресню!», «До института кому?» — и недоумевающее «оу?» кинофицированного иностранца, забывшего название своей гостиницы. Кравцов вызвался его сопровождать. На каком-то полуматематическом языке с примесью международных латинских терминов они кое-как начали понимать друг друга.

Энэн сел в тот автобус, который шел к институту. Было тесно от людей и черемухи, но для него сразу нашлось место. Он тут же переуступил его Лидии Михайловне, потом ему самому опять уступил место кто-то, пошла цепная реакция уступок, и в результате, к его облегчению, они с Лидией Михайловной были разъединены.

Он побаивался ее соседства. В ее предложении помогать ему по хозяйству он усмотрел одну лишь властность, попытку подчинить его не только на кафедре, но и дома. А главное, посягательство на его сложную дружбу с Дарьей Степановной... А что бы он подумал, если бы узнал, что речь идет о любви, преданной женской любви? Кто его знает. Может быть, тоже испугался бы. А может быть, был бы растроган. Даже скорее всего был бы растроган.

Лидия Михайловна вернулась домой поздно. Села она не в свой автобус, только чтобы быть поближе к Николаю Николаевичу, но люди их разъединили.

Может быть, ошибкой было, что она пригласила его на вальс?

Дома шел очередной ночной галдеж — молодые принимали гостей, кричали, гитарили, пели (и все при Мишеньке!). Лидия Михайловна, не зажигая света, добралась до своей тахты, села на нее и заплакала.

АСЯ УМАНСКАЯ

Из всех отличников факультета АКИ самой твердой была Ася Уманская: одни круглые пятерки, без колебаний и срывов. Ее портрет не сходил с доски передовиков учебы. Шла прямым ходом на диплом с отличием. Одно время ставили ей в вину слабую активность в общественной работе, и зря. Работа у нее была, и немалая: преподавала в вечерней физико-математической школе, где собирались школьники, желторотые, со всего города, а лучшие студенты читали им лекции, учили решать задачи. Но в комсомольском бюро работа в физико-математической школе почему-то за общественную не считалась. «Они же делают

это с удовольствием!» — возражал секретарь институтского комитета комсомола комсоргу курса Сереже Коху, на что Сережа Кох отвечал иронически:

— Тогда дадим новое определение: общественной называется работа, исполняемая бесплатно, но с отвращением.

— Бросьте, Кох,— говорил секретарь,— ирония — это нерусская черта.

Сережа был с ног до головы русским, а фамилию Кох носил потому, что одному из его предков, крепостному повару, фантазер барин дал ее в порыве изысканности. До объяснений этих обстоятельств Сережа Кох не снисходил, но иронией пользовался широко. Был он высок, широкоплеч, белокур, курнос. По вопросу об общественной работе — что считать за нее и что не считать — у них с секретарем бюро разгорелась борьба (уже не в порядке иронии), в которую были вовлечены широкие круги студентов и даже преподаватели. Кончилось это полной победой справедливости: секретаря сняли, а сменивший его новый провозгласил научную и педагогическую формы общественной работы самыми важными и почетными. Это вознесло Асю Уманскую на небывалую высоту, а Кох занялся очередной кампанией — борьбой за упорядочение домашних заданий. Эта задача была потруднее, и Сережа застрял на ней надолго, если не навсегда. Что касается Аси, то на нее никакие почести впечатления не производили, она продолжала быть такой, как всегда,— приветливой, трудолюбивой и скромной. Товарищи ее любили: всегда поможет, объяснит, даст списать. Конспекты вела под копирку, сразу в трех-четырех экземплярах (потом за ними становились в очередь). Профессора привыкли видеть в передних рядах Асины внимательные глаза, улыбчивый рот и маленькие руки, ловко перекладывавшие копиркой листы тетради; иногда даже останавливались и ждали, пока она закончит эту нехитрую процедуру.

Однокурсники удивлялись: чего только Аська Уманская не знает! И по специальности и по общему кругозору (литература, музыка, живопись). Надо было состряпать стишки для стенгазеты — шли к Асе. Она брала шариковую ручку, подпирала рукой щеку, чуть-чуть задумывалась — и хлоп, стихи готовы. Люда Величко, соседка по комнате, подозревала, что Ася пишет стихи не только по заказу, но и для себя, хотя никому их не показывает. Это ее не удивляло: Асины способности ко всему на свете она воспринимала как нечто заданное. Но с точки зрения Люды, Асина жизнь была чересчур сложна. Она словно не

жила, а все время себя нагружала. А куда еще нагружать? И так дохнуть некогда.

Громоздкая, тяжелобокая, с прекрасными черными глазами и маленьким ртом, Ася была и хороша и дурна собой. В давние времена, когда «красивая женщина» означало «женщина с красивым лицом», Ася безусловно могла считаться красивой. В наше время, когда женщина смотрится целиком, как предмет в пространстве, скорей некрасивой. Прелестное личико на грузном основании. Полнота болезненная, чрезмерная, не полнота, а тучность. Ребята иногда вздыхали:

— Всем ты хороша, Аська, только зачем ты такая толстая?

Она краснела и отвечала:

— Углеводный обмен.

Девочки-подруги, все как на подбор тонкие, стройные, Асю жалели: и ест-то как будто не больше других, а разносит ее и разносит...

Ася мучительно стеснялась своей толщины, всегда носила юбку много ниже колена. Другие толстые (были в институте такие, хоть и немного) — те не стеснялись, смело открывали ноги, ходили по коридорам, потряхивая бедрами. Ася так не могла.

Единственная и поздняя дочь, Ася родилась, когда ее матери было уже сорок два года. Что-то было неладно с беременностью, врачи советовали прервать, она — ни за что. Долго лежала на сохранении, рожала тяжело, со щипцами. Некоторые врачи Асину тучность связывали с родовой травмой. Софья Савельевна чувствовала себя безмерно виноватой: родила поздно, исковеркала девочке жизнь. «Не мучь себя, Соня,— говорил ее муж, Михаил Матвеевич.— Что теперь делать? Разве лучше было бы, если нашей Асеньки не существовало?» Что за вопрос! Даже подумать об этом было страшно...

Единственный обожаемый ребенок вообще дело опасное. Если этот ребенок к тому же и поздний, опасность возрастает вдвое. Как его вырастить не эгоистом, не пупом земли? Асины родители об этом не задумывались, просто растили, безгранично любя. Для некоторых счастливых натур безграничная любовь и есть воспитание.

Жили они в украинском районном центре, небольшом городке возле синей речки, петляющей, заросшей краснокорыми лозняками. Городок был уютен со своими палисадниками, мальвами, подсолнухами, любовно беленными хатками. Пирамидальные тополя, растрепанные, возноси-

лись в небо; старая ветряная мельница — один скелет — поскрипывала нерабочими крыльями. Скрип этих крыльев, скрип грачей. Жизнь тоже шла спокойная, с уютным скрипом. Словно все всегда так было и будет, и слава богу, что будет.

Асин отец преподавал математику в средней школе. Прекрасный педагог, он был снисходителен и нестрог, двоек почти не ставил, но как-то добивался неплохой успеваемости. Главное, умел привить детям любовь к своему предмету — вещь редкая, особенно у девочек.

Софья Савельевна была учительницей музыки по классу рояля. Музыкальная школа, единственная на район, стояла в тенистом переулке, осененная липами; облупленный деревянный домик весь щебетал и пиликал, источая разноголосое пение скрипок, переливы флейт и гобоев, пламенные монологи фортепьяно, а то и зычное рявканье трубы. Стекались туда лопоухие серьезные мальчики в косо завязанных красных галстуках, голенастые девочки с бантами в волосах, все талантливые, все обещающие (так, по крайней мере, думала Софья Савельевна).

С самого раннего Асиного детства шел между родителями любовный мирный спор о ее будущем: математика или музыка? Способности были и к тому и к другому. Учили тому и другому: в конце концов, разберется сама.

С отцом у нее была дружба научная, деловая. Он с ранних лет обучал ее высшей математике; девочка умела интегрировать в возрасте, когда другие еще с таблицей умножения плохо справляются. С матерью был связан другой мир — мир музыки, ноктюрнов Шопена, сонат Бетховена, фуг и прелюдий Баха. У Софьи Савельевны — красивой, темноглазой, нарядно седой — были сильные маленькие руки, прекрасное туше. В свое время она подавала большие надежды, но короткие пальцы, плохо растяжимая кисть (еле брала октаву) помешали ей сделаться виртуозом. Она была виртуозом в душе и мечтала о музыкальной карьере для дочери. С этой мечтой ей пришлось расстаться: стало ясно, что и у Асеньки руки малы. «О, если бы ты унаследовала руки отца!» — вздыхала Софья Савельевна. Ася, здравомыслящая не по возрасту, прекрасно понимала, что далеко по пути артистической карьеры она не пошла бы даже с отцовскими руками, но не возражала. Рано усвоила то, что другим дается с годами: не надо трогать волшебное «если бы», которым тешат себя люди.

С математикой никакого «если бы» не было нужно: девочка была явно одарена. Есть вещи, которым нужно

учить рано: математика, языки, плавание. Софья Савельевна, ничего не смысля в математике (из школы она вынесла только робкое к ней отвращение), часами слушала, не понимая, разговоры отца с дочерью, ловя выражение их лиц, улыбалась, когда они смеялись. Казалось бы, что может быть смешного в математике? Оказывается, может.

В Асиной коротенькой жизни были уже свои переломы, свои эпохи. Самым трудным переломом, на котором она едва не сломалась сама, было поступление в школу. Из домашнего замкнутого мирка, нежно вращавшегося вокруг нее, она внезапно попала в другой мир — жестокий, насмешливый, разбойничий, где сразу же клеймом отметили ее полноту и стали дразнить ее «свинтус пузо» (мужеско-средний род этого прозвища делал его особенно обидным).

Бедные толстые дети, сколько мучений достается им в школе! Их дразнят, шпыняют, высмеивают. Сколько поврежденных судеб, надломленных душ! Асю Уманскую, к счастью, такая судьба миновала. После короткого периода подавленности она сумела выпрямиться. Когда Асю дразнили, она не сердилась, не огрызалась, не уходила в себя — попросту тихо грустила. К тому же она сразу начала учиться лучше всех в классе, и прочное положение отличницы (пятерки по всем предметам, кроме физкультуры) спасло ее от грубой душевной травмы. К не дававшейся ей физкультуре она, добросовестная во всем, тоже относилась ответственно. Ее даже ставили другим в пример: «Вот Уманская неспособная, а как старается!»

Кончила она с золотой медалью. Надо было решать свою дальнейшую судьбу. Отец с матерью были уже на пенсии, жилось им трудновато, и Ася склонялась к тому, чтобы остаться с ними, работать и учиться заочно. Родители и слышать об этом не хотели: все знают, что такое заочное обучение, а Асеньке надо думать не меньше чем об аспирантуре. Обсудив все на семейном совете, решили — в Москву (когда-то семейный совет вот так же отправил Татьяну Ларину «в Москву, на ярманку невест», нынче нравы были другие, но сделать карьеру способной девушке в Москве было всего сподручнее). Кто-то присоветовал институт, где, по всем сведениям, отлично была поставлена математика, чистая и прикладная, и где была знаменитая школа кибернетики под руководством всемирно известного Завалишина. Его книги из серии «Введение в современную математику», отлично и ярко написанные, Ася уже прочла, и это во многом предопределило ее выбор. Она приняла решение (кстати, одной из ее любимых была как раз книж-

ка Завалишина «Теория решений»), болезненно рассталась с родителями, уехала в Москву. Экзамены выдержала блестяще, была принята.

В общежитии досталась ей уютная комнатка на двоих. Со своей соседкой Людой Величко Ася сразу же подружилась. Помогала ей в учебе, давала списывать контрольные работы, домашние задания. Нормальная форма студенческой взаимопомощи: все так делают. Вероятно, это следствие непродуманной системы требований. Каждый предмет, каждая кафедра борется за свое место под солнцем; каждый преподаватель, не считаясь с другими, дает домашние задания, выдвигает требования. Все это делается «с запасом» и «с запросом», вроде заявок на материальное оборудование, в расчете на то, что «все равно срежут». И срезают, да еще как! Без этого не обойтись.

Сережа Кох, человек вообще любопытный и не ленивый, не поленился и подсчитал, сколько же часов в день надо работать, чтобы: а) добросовестно и самостоятельно выполнить все домашние задания, б) проработать лекционный материал, в) подготовиться к практическим, лабораторкам и контрольным, г) прочесть всю рекомендованную литературу. Оказалось, пятнадцать часов как минимум (это не считая шести аудиторных). А семинары, факультативы, собрания, общественная работа? С ними получалось на круг все двадцать. Двадцати шести часов в сутки не было ни у кого (на сон по Сережиной раскладке оставалось минус два часа, только он не знал, как осуществить «отрицательный сон»). Докладывая результаты своих подсчетов на курсовом комсомольском собрании, Сережа вызвал легкомысленный смех своих товарищей и призыв куратора «держаться существа дела и не допускать преувеличений».

Да, конечно, всего сделать было невозможно, но никто и не пытался делать все: важно было обеспечить «непотопляемость», то есть вовремя отчитаться. Студенческая жизнь превращалась в серию мелких обманов: там списать, тут подчистить, здесь улизнуть. Домашние задания выполнялись по очереди, шпаргалки писались оптом. Подпольно циркулировали полученные еще от предыдущих потоков решения задач; занашиваемые до дыр, они переписывались с ошибками, которых никто не замечал (разве случайно) — у преподавателей тоже не было времени.

Невыполнимые требования страшны тем, что развращают людей, приучают их к симуляции деятельности. Странным образом получалось, что, несмотря на все контроли, придирки, проверки, большинство студентов ухитрялись

выкраивать себе свободное время — его было бы меньше, если бы требования были более умеренными. Фактически сверх шести аудиторных мало кто работал больше трех-четырех часов. Эти часы шли на залатывание самых неотложных, зияющих дыр; процесс обучения был как перманентный «тришкин кафтан». Некоторые, «ликующие, праздно болтающие», как называл их Сережа Кох, сверх аудиторных часов вообще не работали, смело плыли с развернутыми парусами навстречу сессии (там разберемся). Они хорошо понимали, что отчислять не в интересах начальства и что выбыть из института за неуспеваемость куда труднее, чем в него попасть.

Удивительно было не то, что имелись «ликующие», а то, что рядом с ними существовал, трудился и радовался труду немногочисленный «стан погибающих». Видно, любовь к науке неистребима и неразлучна с молодостью.

В Асиной группе, кроме нее самой, был еще один отличник — Олег Раков, красивый, высокий, самоуверенный, прекрасно одетый (хипповатости не признавал). Атласные русые волосы кончались элегантным полукругом пониже ушей (против Олеговой прически не возражала даже военная кафедра, ведшая священную войну с длинноволосыми, пока безуспешно).

Родители Олега были научные работники. Отец — профессор, доктор, недавно не без труда ставший членом-корреспондентом (против него выступали два-три академика, говорившие, что еще рано; на самом деле их раздражала его манера локтями пробивать себе дорогу вверх). Мать — кандидат наук, красавица и умница, душа конференций, зарубежных поездок, симпозиумов.

То, что Олег будет научным работником, в семье разумелось само собой, как в семье мастеров арены — цирковое будущее детей. Потомственные научные кланы устойчивы, хотя и не плодовиты. Научная работа для них — естественная форма существования. Прочной системой связей будущее Олега было обеспечено: он с малолетства был «записан» в ученые, как когда-то дворянские недоросли с колыбели проходили службу в полках. Поступив в институт, он уже твердо ориентировался на аспирантуру. Данные у него были. Способный, начитанный, с хорошей памятью, он обращал на себя внимание преподавателей прежде всего прекрасной правильной речью. Сейчас вообще мало кто говорит правильно; среди молодежи это особенно редко. Например, манера склонять числитель-

ные почти утрачена. Когда Олег Раков в докладе на студенческой конференции четко отчеканивал какое-нибудь «четырьмя тысячами восемьюстами семьюдесятью пятью», старые профессора настораживались, кивали лысинами и расцветали улыбками. И на экзаменах красивая, правильная речь тоже помогала Олегу. Любой экзаменатор, услышав первые его фразы, уже настраивался на пятерку. И в самом деле, правильно и красиво трудно нести чепуху. Олег чепухи и не нес. Знания у него были не всегда глубоки, но всегда блестящи. Он прекрасно вникал в психологию каждого педагога, знал, змей-искуситель, чем ему польстить, выказав интерес к его, педагога, любимой тематике, показав, что знаком с его, педагога, работами. Искусно пользовался дополнительной литературой, часто не вполне овладев основной. Бывают в вузах такие записные отличники; с первой же сессии они создают себе репутацию и дальше на ней катятся как на колесах. Этих отличников хорошо знают преподаватели и торопятся ставить им пятерки, не копая слишком глубоко. У товарищей по курсу Олег особой симпатией и, как говорится, авторитетом не пользовался. Внешний блеск и хорошо организованная речь в этом деле мало что значат; студенты (куда лучше, чем преподаватели) умеют распознать, что почем и кто чего стоит. Щегольская одежда Олега, геометрического узора джинсы, разные цепочки, бляшки и запонки мало у кого вызывали зависть, чаще снисходительную иронию. Лет десять — пятнадцать назад про заметно одетого парня говорили «стиляга», а теперь, на полуанглийском, «центро́вый мен».

Ася Уманская Олега Ракова знала не близко, даром что учились они в одной группе: Олег широко пользовался правом отличника на свободное посещение, Ася — почти нет. Иногда он брал у нее конспекты лекций (сам он до их писания не снисходил, считая это уделом простых смертных). На преподавателей поглядывал свысока, называл их роботами, говорильными машинами. Утверждал, что лекционная система устарела, был сторонником машинного обучения, но при случае не прочь был списать.

В первый раз они с Асей разговорились на студенческом вечере в актовом зале. Драмколлектив разыгрывал скетч, сочиненный Асей Уманской. Пьеска, довольно ловко сделанная, с юмором, имела успех. Режиссер, Олег Раков, несколько раз выходил на вызовы, и на крики «автора, автора!» насильно вытащил на сцену сопротивлявшуюся

смущенную Асю. От неловкости она зацепилась ногой за провод и свалилась в оркестровую яму; Олег ее оттуда вытащил, крякнув:

— Ну и тяжела же ты, мать!

После художественной части начались танцы. Олег Раков пригласил ее танцевать.

— Ой, что ты,— сказала она простодушно.— Я не умею.

— А чего тут уметь? Подумаешь, наука. Сейчас каждый танцует по-своему, правил нет.

Танцевали и в самом деле кто во что горазд — так и мелькали в воздухе на разных уровнях локти, колени и распущенные волосы. Олег тянул Асю за руку, она сопротивлялась.

— Тоже мне Сикстинская мадонна,— сказал он.— Из самой Дрезденской.

Не скованный узами преподавательского надзора, Олег сразу же отставлял свою изысканную речь и переходил на вульгаризмы. Так он отдыхал.

Он дернул Асю за руку, бросил ее на середину зала и пошел рядом с ней выкамаривать: согнулся в три погибели, тряс коленями, бедрами, локти у него ходили, как шатуны у старинного паровоза.

— А ну пошевеливайся! — крикнул он Асе.— Только людям мешаешь, стоишь как козел!

Ася сначала робко, а потом все быстрее начала «пошевеливаться» — оказалось совсем нетрудно. Со своей музыкальностью она легко уловила ритм, начала скользить, приседать, вывертываться, и, странное дело, у нее это получалось удачно.

— Браво, Анна Каренина! — крикнул откуда-то из гущи крутящихся пар Сережка Кох.

Ася заулыбалась. Два локона, естественными штопорами падавшие вдоль щек, порхали туда-сюда, верхняя губа с черными усиками вспотела мелким бисером...

Когда смолкла музыка, Олег взял Асю за талию и вывел ее на знаменитый институтский балкон. Старинный, белоколонный, построенный с размахом — не балкон, а целый зал! — вольно выдвинутый в самую гущу сада, этот балкон был любимым убежищем парочек. Несколько их уже целовалось, прижавшись к колоннам, и все же из-за обширности балкона были каждая как бы наедине. Тут же, сразу за балюстрадой, стоял сад, остро и богато пахнувший весенней зеленью; толстые ветви деревьев протягивались снаружи прямо на балкон. Где-то в глубине сада тенькал

даже соловей, несмело начинавший и прерывавший свою руладу...

Мраморная колонна была холодна и кругла. Прижав Асю к этой колонне, Олег Раков ее поцеловал. У Аси даже в глазах потемнело. Первый раз в жизни ее поцеловал парень.

— А ты ничего гирлá,— сказал он небрежно.

Ася была потрясена и сразу похорошела вдвое.

— Я же толстая,— сказала она, как бы его вразумляя.

— Это ничего, даже оригинально. Все акселеранты в длину, а ты в ширину.

И захохотал. И еще раз поцеловал ее в губы. Соловей наконец распробовал голос и рассвистался во всю мочь. Ася с Олегом стояли и целовались, и старый сад обнимал их ветвями, приветствовал соловьем...

Несколько дней она ходила ошалелая. Даже стала хуже записывать лекции — на самом ответственном месте вдруг закрывала глаза и погружалась в воспоминание об остром запахе зелени, свежей земли, о губах Олега, о его тревожных руках... Из стипендии купила себе туфли на высоком каблуке и на целую ладонь укоротила юбку. Олег не появлялся, пользовался правом на свободное посещение.

Однажды она увидела его в большом перерыве. Олег стоял у расписания экзаменов и что-то оттуда выписывал. Ася скромненько стала рядом.

— Не возникай,— спокойно сказал он.

Она отошла. «Вот и все... «Не возникай». Будь спокоен, я не возникну. Сама виновата. Поддалась, пошла на приманку...»

Асино душевное здоровье, доброе равновесие помогли ей и тут не сломаться. Трудно, но воля есть воля. Писала письма родителям — веселые, смешные,— и самой становилось легче. Иногда уходила в клуб, играла там на рояле. Музыка тоже помогала — спасибо маме. И странно — чем грустнее вещи она играла, тем ей становилось легче. В общем, справилась, выправилась.

Производственную практику Ася прошла в вычислительном центре (сделала с легкостью и свое задание и Людино). На каникулы, конечно, к своим. Приглашала Люду с собой — та отказалась: обещала, мол, матери.

Дома было чудесно: цвели мальвы, душистый горошек карабкался по плетню, пчелы гудели, и все это плавало в сладчайшем густом запахе лип. Родители рады были ей бесконечно; с грустью Ася отметила, как они постарели. Михаил Матвеевич стал плохо слышать, говоря с дочерью,

все глядел на ее губы, ловя на них очертания слов. Софья Савельевна, хоть и моложе его, тоже подалась, пошатнулась. Оба они томились от одиночества. «Перевестись на заочный?» — думала Ася, но сказать об этом не решалась: как бы не угадали ее тревогу о них.

Отпечаток невечности, впервые замеченный ею на лицах родителей, делал эту их встречу особенно душевной. Зная, что им не хватает впечатлений, Ася говорила без умолку, рассказывала об институтских делах, о заданиях, практике, преподавателях, об учебном плане, специализации... Отец слушал тревожно и жадно. В математике девочка явно его обогнала: в его времена они и слыхом не слыхали о тех предметах, которые читались у Аси на факультете. А она посещала еще и семинары... Языки программирования, системный анализ, эргодическая теория — он и понятия о них не имел! Он слушал дочь с благоговением. Время от времени он говорил что-нибудь вроде: «До чего же громадными шагами идет в наши дни наука!»

На учебный процесс в институте Ася смотрела трезво, не выпячивая его недостатков, но и не скрывая. Много рассказывала о преподавателях. Курс анализа читал у них Терновский.

— Знаете, он такой лощеный-лощеный, прямо стиляга из прошлого века. Ребята говорят, ему бы пошел монокль. Специалист, впрочем, знающий. Лекции читает прекрасно, легко записывать. Но очень уж как-то правильно, будто по книге. Я лично думаю, что по книге читать не надо, лучше уж прямо дать студенту учебник. Но другие со мной не согласны, они больше любят конспект: все что надо есть, что не надо — выброшено. Мне Терновский нравится, но с ограничениями. Один раз его заменял Семен Петрович Спивак — такой громадный, штаны падают, хохочет, шутит. Не лекция — одни отступления. Мне понравилось, а многим нет. Я бы вообще на месте преподавателей читала одни отступления, а студентам давала бы свободное время: пусть учат по книге. А то многие преподаватели выписывают буквально то, что есть в книге, на классную доску. Как будто то, что написано мелом, лучше того, что напечатано в книге. Белым по черному лучше, чем черным по белому. Я не согласна. А по отступлениям самый главный у нас мастер Маркин. Он как-то ухитряется и весь материал уложить и отступления. Человек остроумный, мы его шутки даже записываем, но неприятный. Очень уж высоко себя ставит — где-то на сто пятнадцатом этаже...

Из преподавателей Ася чаще всего поминала Нину Игнатьевну Асташову:

— Вот это женщина! Такой я бы хотела быть.

— Что же в ней такого особенного? — ревниво спрашивала мать.

— Прекрасный педагог. Строгая, но справедливая. И видно сразу, что человек горячий. Как бы это объяснить? Суховата, но горяча. Суховатости бы ей убавить, а горячности оставить как есть.

— Какого возраста? — спрашивала Софья Савельевна.

— Немолодая, лет сорок. Но такая подтянутая, фигура как струнка. В нее, между прочим, Маркин влюблен, тому вообще лет сорок пять. И охота ему делать себя смешным в таком возрасте? Не понимаю.

— Семейная? — продолжала допытываться Софья Савельевна. Идеал будущего дочери ее все же интересовал.

— Как сказать. Мужа нет; три сына, и все, кажется, от разных отцов. У нас смеются: «Трижды мать-одиночка». А по-моему, ничего смешного. Каждая женщина имеет право захотеть — и родить.

— Ну конечно,— отвечала мать,— я, как ты знаешь, чужда предрассудков. Но все-таки трое от разных мужей, — это, по-моему, слишком...

— А что? Справляется, и права.

— А как ваша знаменитость Завалишин? — спрашивал Михаил Матвеевич.

— Кончился,— кратко отвечала Ася.

— Как? Умер?

— Нет. Кончился в научном смысле. Лекции, говорят, читает хорошо. Не знаю, нашему потоку он не читал.

Рассказывала Ася и о товарищах-студентах, обо всех, кроме Олега Ракова. Больше всех о Люде Величко:

— Такая сердечная, добрая. Ничего не жаль, все отдаст. По-моему, доброта всего важней в человеке. Важней, чем способности, эрудиция. Знания всегда можно приобрести, а доброту нет.

— А что, она плохо учится? — спрашивал Михаил Матвеевич.

— Средне. У нас вообще трудно учиться, на кибернетике, а у нее пробелы в подготовке. Плачет, если получит двойку. Главное, из-за стипендии. Я ее сюда хотела привезти подкормить. Худая-худая.

— Что же не привезла?

— Она отказалась. У нее тоже мама в провинции. И билет дорого стоит.

— В следующий раз привози. На билет мы ей как-нибудь наскребем...

Рассказывала Ася и о Сереже Кохе, повторяла его шуточки, родители смеялись.

— Он меня называет Анна Каренина. Говорит, что у той тоже была походка, странно легко носившая ее полное тело. Между прочим, тогда полнота не считалась за недостаток, мне бы тогда и родиться...

— Нравится он тебе? — с особым любопытством спрашивала Софья Савельевна.

— Конечно, нравится. Хороший товарищ.

— А внешность?

— Нормальная.

— Наша девочка еще не проснулась, — говорила она мужу наедине.

Он молчал, сомневаясь, удастся ли их девочке вообще проснуться и будет ли хорошо, если проснется... Дефицит женихов сказывается во всех поколениях.

Каникулы прошли быстро. Осенью Ася Уманская вернулась в Москву отоспавшаяся, подзагоревшая, уравновешенная. Люда Величко, напротив, выглядела неважно — бледная, желтая. К матери почему-то не ездила, весь отпуск просидела в Москве. Обнялись, расцеловались. Люда — вот тебе раз! — заплакала.

— Что с тобой, Людашенька?

— Ничего, просто соскучилась. Ты мне, Аська, вроде матери. Не веришь?

Ночью Ася услышала: плачет. Подошла, присела к ней на койку, погладила. Людины щеки, уши, даже плечи мокры были от слез.

— Ну что с тобой? Скажи!

— Аська, я попалась, — сквозь рыдания ответила Люда.

Вот оно что... Не понять было нельзя. Все знали, что значит «попалась».

— Ну и глупая же ты, — сказала Ася. — Тебе радоваться надо, а не плакать.

Люда тупо на нее уставилась.

— Конечно, радоваться! — повторила Ася. — Иметь ребенка — великое счастье!

Люде и в голову не приходил этот вариант — иметь ребенка. Лишь бы от него избавиться попроще и подешевле! Она уже навела справки у бывалых девчат. Самый

бывалый факультет — статистический. Боль, говорят, терпимая, только в консультацию не ходи — там тебя сразу возьмут на заметку, начнут уговаривать: рожай, первый раз надо рожать. До того дотянут, что будет поздно.

— Я не потому плачу, что боюсь или что, а потому...

И еще горше заревела.

— А он, человек этот, он на тебе не женится? — спросила Ася.

— Нет,— замотала головой Люда, и так отчаянно, что сразу стало ясно: никак не женится.

— Ну и что? — сказала Ася.— Неужели мы вдвоем ребенка не воспитаем? Все-таки третий курс. У меня свободное посещение, повышенная стипендия. Тебе тоже дадут стипендию, ты только Сережке скажи все как есть, он человек, поймет. Пойдешь в декрет, потом дадут академический отпуск. Будем сидеть по очереди — ты и я. Неужели мы его не поднимем? Асташова вон троих подняла.

— А разве в общежитии с ребятами позволяют? — сомневалась Люда.

— А мы и спрашивать не будем. Родим — и все. Не выселят же нас с милиционером! Комната на двоих, поставим кроватку, здесь у стенки отлично поместится. Соседи возражать не будут: с одной стороны титан, с другой — душевая. Значит, договорились?

— Договорились.

— Теперь-то почему ревешь?

— Потому.

Весь остаток ночи Люда с Асей проговорили. Легли обе на Асину койку, более широкую, и все говорили, говорили как заведенные. Только одного Люда ни за что сказать не хотела — от кого случилась беда.

— Я его знаю?

— Знаешь, но я все равно не скажу. Все это кончено, кончено, ни в чем он не виноват. Ничего он мне не обещал, ничем не заманивал. Я, можно сказать, сама ему навязалась. Если ребята узнают, что от него, начнут к нему приставать, пришьют персональное дело... Мне тогда не жить, прямо под метро.

Только под самое утро шепнула имя:

— Олег Раков.

— Ну что ж,— чуть-чуть помолчав, сказала Ася.— По крайней мере, ребеночек будет красивый.

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ

Какое разбойничье, какое преждевременное лето!

Тридцатиградусная жара ударила в конце мая. Уже началась весенняя сессия. Спешно дочитывались пропущенные лекции, досдавались зачеты, сменяли друг друга экзамены.

Внешне все шло как обычно в сессию. Студенты толпились в коридорах, у дверей аудиторий, где шли экзамены. Кто-то из этих дверей выходил, показывая на пальцах полученную отметку. Взамен его входил очередной ждущий и робко направлялся к столу экзаменатора, влажными пальцами вытягивал билет. Кое-кто в последнем приступе прилежания хватался за конспект; другие только рукой махали. Словом, как обычно, но в эту сессию все это было распаренное, воспаленное, изнемогшее от жары.

Только что кончились запоздалые холода, еще недавно шел снег, лежал лед; студенты лихо скользили по накатанным дорожкам, и профессора робко переставляли немые ноги. Внезапно наступившая жара обрушилась грозной карой. Уставшие за зиму организмы не успели перестроиться. Некоторые слабенькие девушки падали в обмороки, из которых их, впрочем, быстро выводили серией легких пощечин (такую рекомендацию студенты извлекли из какого-то фильма, где для борьбы с обмороком применялось именно это средство). Всем было трудно — и тем, кто давал пощечины, и тем, кто их получал.

Главный корпус института — старинное здание со стенами полутораметровой толщины — еще кое-как держал прохладу; в новых корпусах было просто невыносимо. Раскаленные подоконники излучали жар, как печи. Экзаменационные ведомости на черных горячих столах сворачивались в трубки. Ко всему этому в порядке безумия в некоторых помещениях еще топили...

Наверно, из-за жары эта сессия была как никогда обильна двойками. Студенты отвечали, отирая пот кто платком, кто рукавом, а кто и просто ладонью, жаловались на «разжижение мозгов». У девушек плыли ресницы и сине-зеленое окаймление глаз. Расплавленные, взмокшие преподаватели были не лучше: по три раза повторяли один и тот же вопрос, время от времени бегали к кранам обливать голову водой. Им было еще труднее, чем студентам, хотя бы потому, что они дольше сидели в аудитории.

Экзаменационная сессия вообще ужасна. Дважды в год студенты, весь семестр почти не учившиеся (писание

конспектов и домашних заданий не в счет — это труд физический, а не умственный), хватаются за науку и большими непрожеванными кусками ее заглатывают. На производстве такое называется штурмовщиной и всячески преследуется; в вузовском обиходе штурмовщина узаконена, утверждена, возведена в ранг ритуала. Грош цена знаниям, спешно запихнутым в голову,— быстро приобретенные, они еще быстрее выветриваются...

И для преподавателя экзамен — самый тяжкий, изнурительный вид труда. Нужно мгновенно переключаться с одного вопроса на другой, с одного студента на другого, наблюдать сразу за целой группой. Особенно тяжело экзаменовать по математическим (вообще точным) наукам. Разговор идет на уровне не слов, а формул. Каждую из них нужно внимательно проверить. Вынести это больше двух-трех часов подряд почти невозможно, а ведь приходится и по десять и по двенадцать!

Нынче, в эту весеннюю сессию, всем было из ряда вон тяжко.

Из преподавателей кафедры Завалишина один только седой, подтянутый Терновский, как всегда в строгом черном костюме, экзаменовал спокойно, размеренно, полный доброжелательной строгости. Когда изнемогший студент сам выпрашивал двойку, Дмитрий Сергеевич не хватался за ведомость, как другие, а говорил: «Не торопитесь, ответьте еще на один вопрос». И только убедившись, что студент действительно ничего не знает, говорил с удовлетворением: «Ну, теперь нам все ясно». Жара на него не действовала («Человек с внутренним кондиционером»,— сказал о нем Маркин).

Видя, как маются его коллеги, совестливый Энэн приходил на экзамены чаще обычного. Как всегда, он вступал в долгие, окольные беседы со студентами, путал их, и без того одуревших окончательно, и даже один раз — всем на диво! — поставил четверку. Получить четверку у профессора Завалишина было неслыханным делом (он ставил, как известно, одни пятерки); на получившего показывали пальцами, и он даже сам подумывал пересдать кому-нибудь другому, чтобы не быть для курса посмешищем, но потом эту идею отверг как неконструктивную.

Энэн, медлительно-отвлеченный, растекавшийся мыслью по чему угодно, принимал не более двух-трех студентов за смену, и жалкий ручеек пятерок, сочившийся из этого источника, не мог изменить общего разгромного счета: до тридцати процентов двоек! От этих процентов

уже начали скапливаться тучи на горизонте: ждали грозы.

И в самом деле гроза долго ждать себя не заставила. Однажды утром Энэн, придя на кафедру, обнаружил на своем столе бумагу. В крайне бесцеремонных выражениях деканат предлагал заведующему кафедрой профессору Завалишину немедленно отчитаться о ходе сессии и подать докладную записку о причинах низкой успеваемости. «В противном случае,— кончалась бумага,— будут приняты меры». Энэн прочел документ и побледнел так, что Лидия Михайловна бросилась к нему со стаканом воды:

— Что с вами, Николай Николаевич?

Он ловил губами стакан, вода лилась на грудь.

— Ничего-ничего, сейчас пройдет.

Кто-то уже звонил в медчасть — там было занято,— стучал трубкой и чертыхался. У Лидии Михайловны нашелся валокордин; дрожащими руками она отсчитывала капли, наливала слишком много и выплескивала. Энэн пожевал губами и сказал:

— Не надо. От хамства валокордин не помогает.

Элла Денисова воскликнула:

— Это вы из-за этой бумажки? Бросьте! Конечно, неприятно, но нельзя же так переживать!

— В старые времена...— медленно, с усилием произнес Энэн,— в старые времена...

Никак не мог закончить. Зациклился.

— В старые времена,— подсказал ему Паша Рубакин,— люди, вероятно, были более воспитанными?

Энэн отрицательно затряс головой и вдруг сказал совершенно отчетливо:

— В старые времена такой субъект приказал бы выпороть меня на конюшне.

— Успокойтесь, Николай Николаевич,— примирительно сказала Стелла,— ей-богу, ничего такого страшного не произошло. Вы преувеличиваете.

— Ничего страшного? — рявкнул Спивак.— Смотрите, товарищи, уже молодежь не видит в этой махровой наглости ничего страшного! «Будут приняты меры»! И это пишут большому человеку, ученому с мировым именем! И кто пишет? Сопля, недостойная дышать с ним одним воздухом!

Быстрыми шагами вошла Нина Асташова. Схватила со стола бумагу, быстро пробежала ее и, не разделяя слов, сказала:

— Хам сукин сын идиот.

— Вот это правильная реакция,— одобрил Спивак.

Кто-то успел уже сбегать за такси. Николая Николаевича взяли под руки, свели с лестницы, усадили в машину. Он сопротивлялся, бормотал:

— Честное слово, мои дорогие, со мной решительно ничего нет. Честное слово!

Маленький мальчик глядел из глаз старого человека.

— Мы вас отвезем домой. И не смейте завтра приходить на работу, слышите? — сказала Нина.

Энэн покорно закрыл глаза. Был он бледен как-то не по-обычному, с уклоном в опаловую желтизну, и как-то не по-обычному стар. Нина Асташова с Пашей Рубакиным довезли его до дому, подняли на лифте и сдали с рук на руки Дарье Степановне. Общими усилиями он был уложен в постель. Он все приговаривал жалобно, по-мальчишечьи:

— Честное слово, ничего нет. В самом деле ничего нет. Ну, я преувеличил. И не надо со мной возиться. Ну пожалуйста, мои дорогие.

Все-таки Нина вызвала неотложную. Врач приехал через полчаса — молодой, бородатый, непроницаемый. При общем обилии женщин в медицине врачи-мужчины, особенно молодые, выглядят исключением и несут себя как-то подчеркнуто важно. Он осмотрел больного, измерил давление и сказал:

— Ничего особенного. Сердце работает неплохо. Конечно, есть возрастные изменения, но оснований для беспокойства нет. Надо полежать денька два-три, все наладится.

— Он очень бледен,— сказала Нина.

— Это от жары. Кстати, метео обещает похолодание.

Сделал на всякий случай укол кордиамина, сказал, что завтра придет врач из поликлиники, и отбыл, еще раз повторив:

— Оснований для беспокойства нет.

— Ну вот, вы слышали,— говорил Энэн, окончательно пришедший в себя,— ничего серьезного! Мне так стыдно за этот переполох. Всех взбудоражил... Простите великодушно.

— Дайте покой человеку,— сказала Дарья Степановна,— ему спать, а не лялякать. Старому-то все чего.

Асташова с Рубакиным вернулись на кафедру, успокоили скопившихся там сотрудников: ничего серьезного, сердце работает неплохо. Лидия Михайловна рвалась посидеть, поухаживать за Николаем Николаевичем, но ее отговорили: нрав Дарьи Степановны достаточно был известен.

— Да не убивайтесь вы так, врач говорит: он вне опасности,— сказала Нина.

Кто-то входил, уходил, все были обеспокоены, даже Кравцов. Несколько раз звонили на квартиру, справлялись о здоровье. Дарья Степановна была недовольна, что звонят.

— Дремлет. А вы тарарам. В случае сама позвоню.

Сидели долго, никак не расходились. Уже закончился последний экзамен, заполнена последняя ведомость. Двоек оказалось поменьше, чем в другие дни.

— Зуб притупился,— сказала Стелла, но как-то задумчиво.

Кое-кто ушел, устав за каторжный день. На кафедре остались несколько человек, они тоже устали, настолько, что уже потеряли счет времени: все равно. Иногда после предельной усталости человек впадает в такой анабиоз.

Все были подавлены, разговаривали тихими голосами, в состоянии какой-то незлобной друг на друга обиженности. Ждали звонка — его не было. Вздрагивали при каждом шуме. Вечер был душным и тяжким, вдалеке погромыхивал гром, мигали зарницы.

— Хоть бы похолодало! — молящим голосом сказала Элла.

— Нам-то что,— возразила Стелла с мягкой сварливостью,— на нас можно и воду возить. А ему каково?

— Нет, все-таки, товарищи женщины,— тихо сказал Спивак,— ничего вы не понимаете.

Тихий Спивак — в этом было даже что-то пугающее.

Опять мигнули зарницы, тихо рокотнул гром.

На кафедре было темно. Светлоглазая, душная ночь стояла за окнами в институтском саду. Ни шороха, ни ветерка. На фоне этой напряженной тишины неожиданно запел Паша Рубакин. Он пел без слов, какую-то заунывную мелодию, возможно своего сочинения.

В коридоре послышались шаги командора. Оказалось — не командора, а коменданта.

— Граждане, прошу очистить помещение,— сказал он гранитным басом.— Здание закрывается.

Вышли на улицу. Духота пахла сеном и пылью. Нежный запах сена мешался с шершавым, грубым запахом пыли, потревоженной, взнесенной в воздух земли. Гроза удалялась, не принеся облегчения. Вверху в просветах между облаками посверкивали невыразительные звезды. Завтра, видно, опять будет жара...

Расходиться не хотелось, но разошлись.

...А назавтра утром на кафедру позвонила Дарья Степановна и потрясенным, но твердым голосом сообщила:

— Николай Николаевич помер.

— Как, что?! Не может быть!

Все, кто был на кафедре, помчались сломя голову на квартиру. Впереди бежала Элла Денисова и бормотала:

— Я говорила, я говорила...

Что́ она говорила, было неясно, но никто ей не возражал.

Дверь из квартиры на лестницу была широко распахнута, зеркало в прихожей завешено черным.

Николай Николаевич лежал на своей кровати пепельно-бледный, но узнаваемый. На его щеке колебалась, как будто от дыхания, тополиная пушинка. Лицо было спокойно, внимательно, глаза закрыты. Люди столпились возле умершего, а он шевелил пушинкой, дышал, и никто не смел снять с него эту пушинку.

— Ночью ходила-ходила, слушаю: дремлет,— говорила Дарья Степановна.— Дремлет, и слава богу. Думаю, не будить. Утром пришла, а он кончился. Раньше таких бог, говорили, любит. Послал ему смерть проворную. Каждому бы так, грех жаловаться.

Она не плакала, только чаще чем надо поправляла черный платочек, которым, несмотря на жару, повязала голову. Платочек сползал, открывая перламутровую гордую седину.

Люди стояли возле кровати опустив головы, опустив руки. Смерть всегда потрясает, внезапная смерть — вдвойне. Все видели умершего еще вчера, слышали его голос, и разум отказывался принять факт.

Пахнуло ветром, дверь хлопнула. Внезапно, не тихо, как все, а стремительно вбежала Майка Дудорова, пала на колени рядом с кроватью и начала целовать-целовать мертвое лицо. В этих бурных бесслезных поцелуях было что-то безумное. Время от времени она поднимала голову, окидывала всех диким взглядом и опять приникала к умершему.

— Встань, артистка,— сказала, подойдя к ней, Дарья Степановна.

Майка испуганно встала, вынула платок, спрятала в него лицо.

— Нечего платком, откройся какая есть,— громыхнула Дарья Степановна.— Твоего тут тоже накладено.

Майка бросила платок, вцепилась себе в волосы и начала кричать. Кричала она без слов, на одной ноте. Это было по-настоящему страшно.

— Майя, а ну замолчи! — сказал ее бывший начальник Петр Гаврилович, взял ее под руку и вывел из квартиры.

Она упиралась, хваталась за каждую притолоку. После крика Майки заплакали женщины — Элла, Стелла, Лидия Михайловна. Нина Асташова стояла в стороне с дергающимся злым лицом.

Раздался шум, дверь хлопнула, вошли врач и двое дюжих санитаров с носилками. Носилки со стуком поставили на пол. Лицо и тело Энэна закрыли простыней.

— А ну-ка посторонись! — говорили санитары, продвигаясь по коридору.

Квартира опустела... Пушинки тополя бродили по паркету.

Похороны были торжественные: умер крупный ученый, старейший сотрудник института. Гроб, обитый красным, стоял в помещении клуба. Все было как полагается: почетный караул, красно-черные повязки на рукавах, тихий и четкий ритуал смены (сменяющийся становится за плечом сменяемого). Сомкнутые губы, серьезные лица. Оркестр, груды цветов, венки с лентами — красными, белыми, черными... Из-за цветов едва виднелось лицо покойного, уже изменившееся, красно-синее возле ушей...

Начался траурный митинг. Говорились, как полагается, речи об огромном вкладе покойного в мировую науку; все начинались одинаково: «Смерть вырвала из наших рядов...»

Майка Дудорова, вся в черном, заплаканная, распухшая, сидела на стуле у самого гроба; муж ее, стройный, смуглый, с невозмутимым лицом, подносил ей время от времени стакан с водой; с какой-то ненавистью она этот стакан отталкивала. Тонкими пальцами, побелевшими на концах, она судорожно держалась за кумачовый край гроба. Лидия Михайловна, страшная в своем горе, трясясь и кусая пальцы, пряталась за портьерой. Дарья Степановна в большом, черном, с кистями платке стояла навытяжку и после каждой речи осеняла себя крестным знамением.

Последним от коллектива кафедры выступал Кравцов, в меру грустно, в меру уравновешенно, в меру оптимистично. В конце своей речи он обещал «высоко поднять знамя, выпавшее из рук покойного Николая Николаевича».

Нина Асташова подняла руку:

— Позвольте мне сказать несколько слов.

Распорядитель ответил:

— Но от кафедры уже было выступление.

— Я не от кафедры, я от себя.

— Дайте ей слово,— забеспокоились в зале.

Нина вышла на трибуну очень бледная (не смугла, а желта), потрогала мизинцем микрофон и сказала нетвердо:

— Тут много говорили о научных заслугах профессора Завалишина. Слов нет, они были велики. Но, по-моему, самое главное то, что он был человеком. Больше того: он был хорошим человеком, сердечным, внимательным, добрым, совестливым. Мы еще не осознали до конца, мы еще осознаем, чем он для нас был. Злое слово, сказанное даже без умысла, может убить. Доброе слово — это доброе дело. Сколько добрых слов слышали мы от Николая Николаевича! Давайте их вспомним.

Нина замолчала. Молчали все в зале. Молчание длилось с минуту, но, как всегда в таких случаях, казалось долгим. Нина сошла с кафедры. Дарья Степановна заплакала. Распорядитель подал знак. Начался вынос тела. В институтском дворе люди грузили венки, рассаживались по машинам.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

После смерти Николая Николаевича наша кафедра словно осиротела. И ведь куда как мало занимался он делами последнее время, а умер — и вышло: без него как без рук. Верней, без души. Какой-то настрой от него шел — высокой духовности, что ли. И еще оглядчивости. Думать над каждым вопросом, прежде чем выразить по нему суждение. Избегать категоричности. Перед тем как судить других, спросить себя: прав ли я сам? Мне лично этой оглядчивости всегда не хватало. Впрочем, может быть, это мне теперь так казалось. При жизни Энэна мне эта его манера казалась нудной.

Место заведующего пока что было вакантно. Исполняющим обязанности (ИО), естественно, назначили Кравцова. Сначала никто не сомневался, что именно он будет заведующим, но потом поползли слухи, что его кандидатуру не хотят утверждать (не имеет, мол, докторской степени) и будто бы ректорат склоняется в пользу другого варианта. Какой-то профессор, доктор со стороны. Фамилия Флягин никому ничего не говорила; Спивак мельком видел его статейку в журнале «Проблемы кибернетики» и отзывался

о ней пренебрежительно: «Нормальное изделие на микротему». Но у нас в институте, как и во многих других учреждениях, был хронический дефицит докторов — умирали быстрей, чем размножались. О Флягине рассказывали, будто бы в своем прежнем институте он не ужился по склочности характера, но осведомленность рассказывающих была под вопросом — сведения они получили из третьих рук. Словом, Флягин, был «темной лошадкой», как сказал Маркин. Кравцов был, по крайней мере, привычен, и, пожалуй, лучше бы он оставался заведующим. Сам он как-то по-детски надулся, обиделся на начальство, стал реже бывать на кафедре, делам объявил бойкот. Фактически заведовать кафедрой стала Лидия Михайловна, старавшаяся ни в чем не менять установившихся традиций, с той только разницей, что заседания кафедры проходили теперь деловито, сухо и кратко. Председательствовал кто когда. Казалось бы, чего лучше? А вот затосковали мы по тягучим заседаниям со спящим Энэном за богатырским столом, по его пробуждениям и репликам, по его смутным, загадочным речам.

В общем, неладно было на кафедре. Все еще исправно читались лекции, велись практические занятия, Петр Гаврилович воевал со студентами в лаборатории, но какой-то живой дух выветрился. Мы высыхали, как труп насекомого,— очертания те же, а жизни нет.

Впрочем, может быть, мне это так казалось, потому что первое время после смерти Энэна я оказалась в более тесном общении с ним, чем все предыдущие годы. Дело в том, что Кравцов предложил мне как ближайшей ученице покойного возглавить комиссию по научному наследию Н. Н. Завалишина, и я согласилась. Сколько раз потом я жалела, что согласилась!

Началось с того, что недели через две после похорон ко мне явился Паша Рубакин (второй и, как потом выяснилось, последний член комиссии). Он, крякнув, сгрузил с плеч по рюкзаку. Шел дождь, рюкзаки были мокрые, и от каждого из них натекла на пол маленькая лужа.

— Принес,— сказал Паша словно из глубины незримого колодца.

— Что это?

— Научное наследие профессора Завалишина. Нечто вроде рукописей майя. Я смотрел — ничего не понял. Ножи, ножи... Может быть, это вид идеографического письма? В этих ножах, несомненно, есть идея, только какая? Кстати, рукописи майя были прочтены с помощью

машины. Если потребуется составить программу — я готов.

— Спасибо, Паша,— сказала я.— Посмотрю, постараюсь разобраться пока без машины.

Он тряхнул мокрыми волосами, брызгая кругом себя, как отряхивающийся пес. Тут бы ему и уйти, а он все стоял, как будто ждал чего-то. Мое отношение к Паше сложное: смесь антипатии и жалости. Сейчас преобладала жалость.

— Садитесь, Паша,— предложила я. Разговаривать с ним не входило в мои планы, но что поделаешь. Человек принес рюкзаки, трудился.

Он с готовностью сел, вытянув ноги в огромных кедах. Сразу было видно, что коротким разговором не обойдется: он явно настроился на общение. Я со страхом заметила, какие отчетливые рубчатые следы оставил он на паркете — прямо для детективного романа. Страх был перед Сайкиным. Натирание полов — его добровольная обязанность; он же присвоил себе прерогативу делать мне нагоняй за каждое нарушение чистоты...

Тут я мысленно взбунтовалась против власти Александра Григорьевича. Все женщины мне завидуют: «Ах, он вас освободил от хозяйства! Какая счастливая!» Никто не знает, что вместе с заботами я отдала свое право быть хозяйкой в собственном доме. Приглашать гостей с ногами любого размера...

Эти бунтовщицкие мысли одолевали меня, пока я озирала огромные кеды Паши Рубакина и причиненный ими ущерб. Но тут же я опомнилась. Старшенький мой, радость моя! Пусть командует сколько хочет! Должен же он что-то иметь взамен беззаботной юности, которую у него мы с мальчишками отобрали...

— Ну как дела? — спросила я Пашу Рубакина.

Он только этого и ждал.

— Собственно говоря, в настоящее время я буквально нахожусь в стадии перелома. Я целиком занят вопросом об отношениях науки и искусства. Мне важно выяснить, являются ли они отношениями мирного сотрудничества, соперничества, конфликта или соподчинения. Это вопрос категориальный. Пока я его не решу, я не могу перейти к следующему.

— А каков следующий? — спросила я, симулируя интерес.

— Вопрос о приоритете морали. Мои лично предварительные мысли сводятся к тому, что гегемоном в научно-технической революции должна быть мораль. Не этика, как

полагают некоторые думофилы (я тоже думофил), а именно мораль.

— Простите, не вижу разницы.

— Разница огромна и очевидна. Аморальный поступок и аэтический — разве вы не слышите разницы? Кстати, такого слова «аэтический» нет, я уже справлялся в словарях. Считайте, что я его изобрел.

Я молчала явно неодобрительно, а ему явно не хотелось уходить. Потребность излиться прямо лезла наружу из его непрозрачных глаз.

— Нина Игнатьевна, вы не поверите, но смерть Николая Николаевича была для меня личной трагедией. На кафедре стало пусто, буквально не с кем поговорить на общие темы. Все помешались на специальных. Я в этом плане надеялся на вас.

— А какие общие темы вас интересуют?

Паша оживился:

— Многие. Могу предложить на выбор целую совокупность тем. Например, в последнее время я в упор работаю над новой теорией ощущений. Понимаете, идея в том, что мы ощущаем не одним каким-то органом, а всеми сразу, а кроме того, еще и историей своего организма. В его клетках запечатлеваются воспринятые образы, формируется память тела, вроде памяти ЭВМ на магнитном барабане, или фотопамяти, которую еще предстоит разработать. Все это вместе принято называть душой. Душа резонирует в ответ на сигналы внешнего мира, возникает мысль-чувство, циркулирующая по ячейкам или регистрам памяти. Получается очень цельно. Понимаете, в моей трактовке тело становится духовным, а душа — материальной. Все споры насчет первичности того или другого отпадают — ведь они вытекали из их противопоставления. Что было раньше: курица или яйцо? В моей концепции такого вопроса возникнуть не может: яйцо есть курица, а курица есть яйцо...

Я молчала. Все это было вроде винегрета из кусочков чего-то уже читанного, заправленных майонезом собственного Пашиного мутномыслия...

— Ну что вы на это скажете? — с надеждой спросил он.

— На «это» я ничего не скажу, «этого» просто нет. Вы чего-то там начитались, толком не переварили...

Паша обиделся:

— Я никогда ничего не читаю, предпочитаю мыслить сам. Ну, я вижу, мою надежду на вас придется отставить.

— А вы рассказывали эти свои идеи Николаю Николаевичу? — спросила я.

— Рассказывал в числе многих других.

— И что он сказал?

— Очень интересно. Надо развить.

— Боюсь, он зря вас обнадежил. Простите, Паша, но ваша философия стоит на уровне самого жалкого дилетантизма. Настоящая философия — это наука, ничуть не менее сложная и разветвленная, чем наша с вами математика. Чтобы сказать что-то новое в области философии, надо прежде всего знать, что делали люди до вас, над чем они думали, к каким выводам приходили...

И так далее и так далее. Я сама понимала, что говорю слишком пространно, лекционно и, в общем, неубедительно. Мне казалось, что моими устами говорит Радий Юрьев... Страсть к самодеятельной мысли, если уж она завелась в человеке, уговорами не перебивается. Ей надо дать выкипеть или перебить чем-то равносильным. Хоть бы он влюбился, что ли...

Он смотрел на меня со скептическим неодобрением. Я не унималась:

— Давайте рассуждать по аналогии. Вообразите, что какой-то неуч, понятия не имеющий о математике, придет к нам на кафедру и предложит нам свою теорию оптимального управления. Что мы ему скажем? Пойди, батюшка, сперва поучись, почитай книжки...

Тусклые Пашины глаза зажглись красноватым огнем:

— Это в ы так скажете! А я ему скажу: молодец! Только свежий ум, не испорченный образованием, может породить нечто воистину новое...

Словцо «воистину» меня покоробило. Экий пророк в джинсах! Может быть, поэтому я сказала злее, чем хотела бы:

— Вы хвалитесь, что никогда ничего не читаете, но «Отцов и детей» в школе вы поневоле прочли и теперь неудачно подражаете Базарову. Вы крохотный Базаров наших дней, кой-как научившийся программировать. И если вы в самом деле против всякой науки...

— Против! — с готовностью подтвердил Паша.

— ...то зачем вы ею занимаетесь? Зачем портите свежие умы студентов образованием?

— Исключительно по слабохарактерности! — радостно сказал Паша.— Я давно говорю, что меня надо гнать из института поганой метлой!

— Погодите до конкурса,— сказала я нелюбезно,—

у вас будут все возможности выступить против своей кандидатуры.

— Я уже об этом думал. Беда в том, что я, как молодой специалист, переизбранию по конкурсу не подлежу.

Он мне надоел со своими кедами, спутанными волосами и мутными мыслями ценой в грош. Я в принципе ничего не имею против длинных волос у мужчин, но только когда они чисто вымыты, а Паша мытьем головы не злоупотребляет. Пахло от него, как от мокрой собаки. А главное, толку от нашего разговора не было никакого. Для Паши характерно чувство абсолютного умственного превосходства над любым собеседником; тот ценен, только если ему поддакивает. Я замолчала, ожидая, когда он уйдет. Вместе с раздражением странным образом росла жалость...

Хлопнула входная дверь — пришел Сайкин. «Будет мне на орехи за грязный паркет»,— подумала я. Против ожидания Сайкин вошел веселый, любезный, мило поздоровался с Пашей Рубакиным и остановился с выражением детской открытости, редкой теперь на его взрослом лице.

— Паша, познакомьтесь, это мой старший сын.

— Александр Григорьевич,— представился Сайкин, подавая ему руку.

— Павел Васильевич.

— Очень приятно.

— Взаимно. Кстати, Александр Григорьевич, вы не в курсе дела насчет успехов нашей сборной по шахматам?

— Само собой, в курсе.

И завел. Во всех подробностях: кто, когда, с кем, дебют, цейтнот...

В шахматах я, как большинство женщин, ничего не смыслю.

— Ну ладно, беседуйте, а я пока приготовлю вам чай.

«Странная ситуация,— думала я, надевая передник в кухне,— я готовлю Сайкину чай». Обычно не я его, а он меня кормит. Даже теперь, когда мальчики в лагере, я относительно свободна, а у него экзамены. Рассуждая поэнэновски, права ли я?

Готовя чай и делая бутерброды (они, разумеется, падали маслом вниз), я окончательно убедилась, что не права и вообще мерзавка.

Я вошла к молодым людям, катя перед собой псевдоэлегантный столик на колесах для одного-двух гостей (потуга на «красивую жизнь», недавно освоенная нашей мебельной промышленностью, цена сорок пять рублей). Столик был хром и кос, и, пока я его везла, чай выплескивался из ча-

шек. Сайкин сидел, перекинув длинную ногу через ручку кресла. Разговор у них шел весьма оживленный, на этот раз о квазарах и пульсарах. Я поставила перед ними столик и совсем неизысканно стала сливать чай с блюдечек обратно в чашки.

— Спасибо, мать,— небрежно сказал Сайкин.

«Ого!» — подумала я, оставила их разговаривать и ушла на кухню, чувствуя себя женщиной и зная свое место. Первый раз я ощутила не разумом, а чувством, что Сайкин мужчина и, возможно, скоро уйдет от меня в свою мужскую жизнь, женится, заведет семью... Хорошо будет его жене, но мне без него будет плохо...

Паша Рубакин ушел около одиннадцати, полностью очаровав Сайкина (чем?) и пообещав заходить еще, очевидно уже к нему, не ко мне.

— Маленький, ложись спать,— сказала я Сайкину,— завтра у тебя трудный день.

И в самом деле день предстоял ему трудный: экзамен по физике. Привстав на цыпочки, я поцеловала своего «маленького». Он снисходительно ответил мне поцелуем.

— Спокойной ночи, мама.

Оставшись одна, я взялась за рюкзаки. Они были слегка влажны и так тяжелы, будто набиты кирпичом или железом (интересно, что самое легкое, бумага, оборачивается самым тяжелым, когда ее много). С волнением я стала просматривать их содержимое. Бумаги, бумаги, бумаги,— разных форматов, разного цвета и качества. Одни были собраны в папки, другие сколоты, третьи просто навалом. Ни нумерации, ни дат. Попадались среди них и тетради — школьные, клеенчатые, канцелярские. Все это пахло пылью и тленом, и все это мне предстояло разобрать, привести в порядок... У меня даже сердце заныло. Всего неприятнее показалось мне обилие рисунков, а именно ножей, прекрасно исполненных. Только подумать, кроткий Энэн, мухи не обидит — и вдруг наедине с собой ножи...

Было поздно. Я вспомнила, что утро вечера мудренее, открыла платяной шкаф и выгрузила содержимое рюкзаков на нижнюю полку. Легла я спать с ощущением чужого присутствия в комнате. Во сне я видела Энэна, который стоял возле шкафа, раскрыв дверцу и наклонясь над своим наследием. Я ему сказала: «Слава богу, теперь вы сами займетесь своими ножами». Он выпрямился, покачал головой и ушел сквозь стену.

На другой день с утра я начала разбирать бумаги. Последующие несколько месяцев я их разбирать продолжа-

ла. Работа, прямо сказать, не из легких. Иногда у меня просто опускались руки. Почерк у Энэна всегда был неразборчив и мелок, а за последние годы еще умельчился и как бы усох. Судя по почерку, все доставшиеся мне бумаги относились именно к последним годам. Но дело не в почерке.

Естественно, в первую очередь я взялась за материалы научного содержания. В наследии было много листов, сплошь покрытых формулами, со скупыми словесными вставками вроде «но учитывая (27)», «таким образом», «откуда» и т. п. Читать такие тексты мы, профессионалы, уже привыкли, но, говоря откровенно, это всегда неприятно по интенсивности умственных усилий, требующихся для их преодоления. Каждый переход как перевал. Может быть, для меня чтение математических текстов потому так неприятно, что я бездарна? Но я говорила со многими товарищами, и все они честно признаются: тяжело. Здесь нужно не просто читать, а проделывать вслед за автором все его преобразования, проверять их на бумаге, воспроизводя опущенные подробности. Особенно меня бесит, когда какой-нибудь мудреный фортель сопровождается словами «легко видеть, что...»: тут-то и просидишь иной раз целых полдня, пытаясь «увидеть». Нелегко бывает объяснить каторжность нашей работы гуманитарию. Читать научный текст в любой области нелегко, требуется усилие, но у нас нужно, так сказать, другое усилие...

В общем, взялась я за чтение энэновских материалов с естественной неохотой, преодолевая себя. К моему удивлению, читать их оказалось совсем нетрудно — все было действительно «легко видеть». Слишком легко... Читая эти листы, я, к своему огорчению, не смогла найти в них почти ничего нового. Автор, по-видимому, только перепевал, повторял самого себя. Сплошняком шли друг за другом излишне подробные скучные выкладки. Старомодная манера писать не в компактной матричной, а в скалярной, развернутой форме придавала им видимость объема при почти полном отсутствии содержания. Все это было похоже на мыльный пузырь, но без его блеска. Иногда на полях попадалось восклицание типа «боже, какая ерунда!» или «стыд и позор!», из которого видно было, что и сам автор на свой счет не очень-то обольщался...

Дни шли за днями, но ничего мало-мальски интересного мне обнаружить не удавалось. Это были, в сущности, его старые работы, иногда с ничтожными, кстати совершенно ненужными, обобщениями. Формулы, видимо, писа-

лись с той же автоматичностью, с какой рисовались ножи...

Помню, Леля рассказывала мне про известное в медицине явление фантомных болей, когда у человека остро, мучительно болит ампутированная конечность. Она это рассказывала в связи со своим отношением к бывшему мужу.

Теперь по какой-то (может быть, обратной?) ассоциации я вспомнила о фантомных болях, разбираясь в попытках Энэна творить. Ощущение творчества не забыто, но основа, где оно зарождается, отсутствует.

В конце концов, прочитав внимательно все отрывки, заметки и пробы, составлявшие «научное наследие профессора Завалишина», я пала духом. Публиковать тут, собственно, нечего.

А ведь какой был талантище! Феномен, раритет. Место ему было бы в какой-нибудь научной кунсткамере. Ни у кого я не встречала такого быстрого восприятия, такого своеобразного, яркого хода мысли. «Научный ферзь,— говорил о нем Лева Маркин,— мы все перед ним пешки». Надо было самому поломать голову над какой-нибудь упрямой проблемой, чтобы по достоинству оценить неожиданный блеск и грацию, с которой ее разрешал Энэн.

Больше всего меня в нем поражало полное отсутствие инерции, постоянная готовность включить мысль. Мы, обыкновенные люди, медлим перед умственным усилием, как купальщик, перед тем как войти в холодную воду. Энэн прыгал в мысль вниз головой.

Все мы, его сотрудники, привыкли думать, что мы — это одно, а он — совсем другое. Он, как говорил тот же Маркин, «произошел от другой обезьяны».

В свое время он дал мне тему кандидатской диссертации. Я сделала что могла, принесла ему. Он прочел, похвалил, но сказал: «Здесь можно было бы обойтись аппаратом попроще». Взял ручку и за четверть часа, играя, набросал на трех страницах то, что у меня заняло сто двадцать...

Помню ощущение раздавленности, с каким я от него ушла. Разумеется, свои сто двадцать страниц я уничтожила. Но его драгоценные три сохранила. Оказалось, что здесь он нечаянно изобрел совсем новый метод, который был применим далеко за пределами моей ограниченной темы. От нее, опостылевшей, я обратилась к другой и, пользуясь методом Энэна, за год написала работу, которая, пожалуй, тянула на диссертацию. Надо было принести ее на суд

научного руководителя. Но тут как раз умерла Нина Филипповна; Николай Николаевич, сожженный горем, стал для меня недоступен, как и для всех других. Он начал заикаться, смотрел сквозь людей. На мои робкие просьбы посмотреть диссертацию он отвечал: «Да-да, как-нибудь займемся» — и даже как будто стал меня избегать.

Тем временем на факультете меня торопили с защитой (занимая должность доцента, я не имела ученой степени). Я поступила, пожалуй, правильно (хотя в какой-то мере и беспринципно), оставив Энэна в покое. Без него подобрали оппонентов, разослали автореферат, получили отзывы (сплошь положительные). Разумеется, в тексте я ссылалась на то, что метод был предложен моим научным руководителем, но все дружно превозносили меня именно за метод! Защитила я удачно, прошла единогласно, но чувство неудовлетворенности и неясной вины меня не покидало. На моей защите Энэн присутствовал, выступил и тоже меня превознес, особенно за самостоятельность. Из его выступления было ясно, что диссертации он так и не читал, а о своей идее, положенной в ее основу, начисто забыл. У меня на всю жизнь осталось сознание, что я в каком-то смысле его обокрала, а он даже не заметил — так был безмерно богат!

Не только я, все мы, его сотрудники, были уверены, что его внутренние кладовые неисчерпаемы. То, что за последние годы у него почти не было публикаций, мы объясняли тем, что он работает над какой-то сверхважной проблемой и не торопится предать гласности результаты, которые, несомненно, составят эпоху в науке. Мы — это старожилы кафедры, знавшие Энэна в эпоху его расцвета. Молодые были склонны над ним подшучивать, но, глядя на нас, проникались почтением.

Что ж оказалось? Наследия нет, как говорится, «пустое множество». Я терпеливо продолжала поиски, не теряя надежды набрать материала хоть на скромный посмертный сборник.

Однажды мое внимание привлекли как будто знакомые формулы; в других обозначениях я не сразу их узнала. Вчиталась, вдумалась и убедилась, что Энэн (разумеется, без умысла) воспроизвел в своих попытках творить какие-то фрагменты моей диссертации. Меня он тогда не слушал, отзыв написал, не читая работы, во время защиты спал... Возможно, тут было нечто вроде гипнопедии (обучения во сне)? Нет, скорее всего к этим вещам он пришел самостоятельно, от меня независимо. Раньше меня или позже? Это

установить было уже невозможно. Если раньше, то я совершила невольный плагиат.

Одна из самых грустных вещей, встречающихся в научной работе,— нечаянное пересечение результатов. Человек работает над проблемой иной раз годами, а потом оказывается, что его результаты уже кем-то получены. У нас это называется «потоптали пастбище». Тот, чье пастбище потоптали, старается держаться молодцом, берется за новую тему. В моем случае было неясно, кто чье пастбище потоптал (и к тому же только участок, а не все пастбище), но мне было тяжело и горько... Главным образом потому, что Энэн, всегда стоявший надо мной в недосягаемости, здесь оказался вровень со мной... Признаваться в моем открытии не имело смысла (это походило бы на то, как иногда студент приходит к экзаменатору с просьбой снизить оценку; такие чудаческие акции редко, но бывают). Так или иначе, публиковать найденное смысла не имело.

Итак, на посмертный сборник, как ни крути, материала не набиралось. Слава богу, на кафедре меня не торопили. Кравцову было не до меня с моей комиссией: он уже трещал крыльями, подыскивая себе другую работу. А я долгими часами все сидела и сидела над бумагами профессора Завалишина...

Дело в том, что в этих бумагах наряду с научными заметками я нашла записи совсем другого рода. Разрозненные, недатированные, неопределенные по жанру — нечто среднее между дневником и мемуарами,— они привлекли мое внимание остро и как-то болезненно. В этих записях Энэн беседовал с самим собой, размышлял, недоумевал, обращался к прошлому — особенно упорно к детству. Записи были различны по объему, тематике, интонации. Встречались более или менее связные, в несколько страниц; были и совсем небольшие отрывки, две-три строки, потонувшие в ножах; их трудно было датировать даже приблизительно. Была серия записей на темы педагогики высшей школы, образования и воспитания. Может быть, кое-что из этой серии можно будет включить в сборник?

Читать чужие интимные записи (особенно близкого человека, а Энэн был мне все-таки близок!) интересно, но и стыдно, как будто подглядываешь в замочную скважину. Все время, пока я разбирала записи (иногда с лупой — так это было слепо написано!), меня мучило чувство неловкости и вины. Хотя по своему положению я была не только

вправе, но и обязана читать все. Паша Рубакин не раз предлагал мне свою помощь, но я ее с самого начала отвергла, и хорошо сделала.

ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

Бывает, человеку кажется, что его душа ороговела, а на поверку выходит — нет.

Опять приходила Майя. Пела под гитару. «Нет, не любил он»... Я был растроган, чуть не разревелся.

— Что с вами, дядя папа?

Обнимает, рядом щека, сама плачет.

Вправе ли я ее судить?

Сказано: «Не судите, да не судимы будете». Неверно. Все мы судим, и все судимы.

Хорошо, что наши мысли и стены домов непрозрачны и люди не знают, что́ о них думают и что́ говорят за глаза.

Старческие мечты: как бы хотелось положить кому-то голову на колени и чтобы мне ее гладили. Но вспоминаю, что лыс, и с ужасом эту мысль отбрасываю.

...Кто-то сказал: трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым.

Институт. Иду вниз по лестнице, ступени скользки, куда-то плывут. Мимо бегут-мелькают молодые, их много. Отступают, пропускают меня вперед или вежливо обгоняют. Один.

Стена вежливости вокруг человека усугубляет его одиночество. Если бы меня толкнули или обругали, мне было бы легче.

Вся моя беда — нет сочеловека (Mitmensch по-немецки «ближний», буквально «сочеловек»). А ведь были у меня сочеловеки. Как и когда я их растерял?

Где бы я ни был, мое положение почетное, но единичное. Я не являюсь рядовым членом ни одного коллектива. На кафедре меня уважают, даже, пожалуй, любят (по-своему, ворчливо, насмешливо). Но я один, существую в единственном экземпляре.

Коллеги-профессора? Все они с женами, с семьями, с благоустроенными квартирами. Почти у всех машины, многие мечтают о гараже. И среди них я один, отдельный.

Как-то ехал в автобусе. Пригород, невысокие дома с телевизионными крестами. Все кресты стоят параллельно

друг другу, и только один, словно пьяный, торчит наобум, под углом к остальным. Я — такой крест.

Никогда я не принимаю участия в кафедральных или институтских сборищах. Один-единственный раз в виде исключения поехал на экскурсию теплоходом. Сидел один в кресле. Слитности с другими не получилось, но был рад, что поехал. Незабываемое ощущение душевной отрады. Что-то меня отпустило.

На корме танцы. Танцуют одни женщины, среди них Лидия Михайловна. Как она лихо плясала, с каким огнем!

Я с детства дикарской любовью любил огонь — костер. Соберешь палочки, стебли, сухую траву, подожжешь газету. Пламя на солнце сначала невидимое, бледно-синеватое, с дымком, только газета коробится, чернеет по краям. Если бросить в костер веточку хвои, она задумается, затлеет, потом начнет щелкать, сыпать искрами.

Как я жаждал сберечь огонь, не дать ему погаснуть! Как я дул в костер всеми силами своих маленьких легких! И как наконец он вспыхивал победно и ярко!

Об этом пылании раздутого костра я вспоминал, глядя на танцующую Лидию Михайловну. Я ею любовался, пока она ко мне не подошла.

Ужасно, что мое одиночество сопровождается отталкиванием от людей. Реакция отторжения (с Майей было не так).

Опять о теплоходе. Я, никогда никуда не выезжающий, набрался впечатлений в этой поездке, как ребенок, которого свели в театр. Берега были прекрасны. Какой-то особенно прозрачный воздух струился над ними. Вечером не без удовольствия слушал танцевальную музыку. Бывают какие-то дни, когда ты открыт впечатлениям и удивляешься, как ты раньше жил без них.

Вальс излучали радиорупора — серебристые, каждый словно бы с крупным яблоком внутри. Серебряные яблоки.

Часто говорят о золотых яблоках. Такие, вероятно росли в раю — пышном, нарядном, наглом раю.

Я вижу скромную страну, где на тонких черных деревьях растут серебряные яблоки. Не очень тяжелые, они висят, не отягощая, почти не сгибая ветвей. Весь пейзаж тонок, строг и графичен. Какие-то черные ландыши растут под деревьями. Я все это вижу, и я счастлив.

Я не люблю цветного кино. Не выношу кричащей яркости так называемых художественных открыток. Ску-

пая черно-белая гамма гораздо больше мне по душе. Поэзия бедности.

Когда-то мы умели быть бедными и бедности не стыдились. В нашей юности она была нормой существования. Когда мы с Ниной поженились, у нее было всего одно платье. Я бы мечтал сейчас встретить женщину, у которой было бы только одно платье и которая этого не стыдилась бы. То единственное платье было серо-зеленое, в узенькую полоску. Потом оно истерлось, и мы сшили другое — черное.

Говорят, блондинкам идет черное. Закрываю глаза и стараюсь представить себе Нину в черном. Ничего не выходит, образ рассыпается на осколки. Напрягаю память, и на минуту мне удается увидеть Нину, но со спины. Узкая стройная спина, прячущаяся в чем-то широком, траурном. Узенькая щиколотка над веревочной туфлей (тогда такие носили, сами делали) — вот и вся Нина первых лет нашего брака. Я силюсь повернуть к себе лицом тонкую фигуру в черном — не удается. «Нина, обернись, посмотри на меня!» Не оборачивается, пропадает.

Еще напрягаю память, и возникают ее глаза после смерти Коли. Глаза не голубые, а черные, сплошь залитые одними расширенными зрачками. Их я не могу вынести, их я гашу.

Еще видится мне Нина каких-то средних, не самых поздних лет, почему-то всегда склоненная, с совком и веником в руках, подбирающая с пола мусор. Но и эту Нину я не могу разогнуть, поставить прямо, заглянуть ей в лицо.

Фотографии ничего не дают, воображение отказывает.

Человек, забывший, как выглядела его жена, с которой он прожил без малого сорок лет! Нет, решительно мне пора умирать.

Сегодня разговор с Павлом Васильевичем Рубакиным (язык не поворачивается назвать его Пашей, как у нас принято).

На кафедре над ним посмеиваются. Его странноватая наружность, его сложносочиненная, запутанная речь, его манера по любому поводу вдаваться в философию заставляют людей обычных, нормальных его сторониться. По всем этим признакам я чувствую себя его братом. Он тоже одинок, как и я. В нем тоже бродит взыскательная, но бессильная мысль. Все же это не сочеловек; наше общение не отменяет одиночества: он один, и я один.

Мысли его постичь трудно; вряд ли они особенно содержательны. Речь у него вообще правильная, но меня

почему-то радует, когда эта правильность нарушается. Сегодня он сказал: «Я с детства боготворю перед Эйнштейном» — и я был тронут.

Размышляю о высшем образовании, о его судьбах и перспективах. Собственно, о высшем техническом образовании (только в нем я относительно компетентен).

Мне кажется, что, погнавшись за массовостью, мы что-то здесь потеряли. Наметилась инфляция высшего образования. Что-то вроде денежной реформы тут необходимо.

Мне трудно об этом судить, не располагая данными, но, по-видимому, такого количества специалистов, которое ежегодно выпускают втузы по всей стране, народному хозяйству не нужно. Диплом инженера у нас обесценен. Квалифицированный рабочий получает больше, чем инженер; это тревожный признак.

Тот набор знаний, который мы даем студенту, для большинства наших учеников избыточен, для меньшинства, наоборот, мал. Инженер на производстве, как правило, обходится без высокой науки. Ему нужны совсем другие знания и навыки (организатора, снабженца). Из наших плохих студентов нередко выходят дельные инженеры.

Меньшинство наших выпускников попадает на научную работу, и для них объем научных знаний, полученный в институте, крайне недостаточен.

Тех и других мы стрижем под одну гребенку, готовим по одной и той же программе одно и то же количество лет. Ни тех, ни других мы не учим самостоятельно приобретать знания по книгам, а это самое важное в наше время, когда любой запас готовых знаний через пять — десять лет устаревает.

Все это наводит на мысль (где-то она уже высказывалась), что высшее образование надо бы сделать двухступенчатым. Повышенную научную подготовку давать только тем, кто имеет (и делом сумел доказать) способности, призвание и усердие к научной работе. Таких специалистов надо готовить не валовым, а штучным методом. Для этого нужно резко снизить число студентов в группе и нагрузку преподавателя. Там, где речь идет о произведениях искусства, массовая штамповка бессмысленна. Специалист высокой квалификации — то же произведение искусства.

Общение преподавателя со студентом должно быть индивидуальным, а не обезличенным. Ничто так не форми-

рует личность учащегося, как обильные, не стесненные временем беседы с наставником. Для этого тот и другой должны иметь время.

Процесс обучения надо сделать привольным и радостным. Как этого достичь? Не вполне ясно. Черты такого приволья иногда замечаются. Хорошая лекция — всегда праздник. Число лекций следует ограничить, предоставляя студентам возможность самостоятельно изучать предмет по книгам.

Наша современная система контроля (экзамены) с жестокими требованиями к памяти учащегося страшна больше всего тем, что она подавляет естественную любознательность юного существа. Вспомним павловский рефлекс «что такое?». Собака, особенно молодая, встречаясь с незнакомым предметом, норовит его обнюхать, обследовать. У большинства наших студентов этот рефлекс подавлен. Они не только нелюбопытны — они яростно отталкивают от себя любую информацию. Преподаватель, сообщающий им дополнительные сведения, становится их личным врагом. Еще бы — он увеличивает объем того, что надо заучить и отбарабанить на экзамене. Совершенно неправильным я считаю обычай (принятый почти везде) требовать от студента, чтобы он отвечал на экзамене весь материал на память, без справочников, конспектов. Такой экзамен превращается в нелепую процедуру, унизительную для обеих сторон.

Особенно ненавистна мне манера иных преподавателей читать лекции, не отрываясь от конспекта, а на экзамене требовать от студента все наизусть. Слава богу, у нас на кафедре такой гнусной практики нет. Наши лекторы (вид щегольства!) выходят к доске, не имея в руках не только конспекта, но и вообще ничего («Кругом живот да ноги», — говорит Маркин словами Зощенко).

Что касается экзамена, то мою вольную позицию разделяют не все.

По-моему, идеально было бы, чтобы студент на экзамене, пользуясь любыми пособиями, продемонстрировал свое уменье приложить данную науку к решению реальной задачи. Ведь именно этого потребует у него жизнь!

Мне возражают: на такой экзамен пойдет слишком много времени. Вероятно, в этом они правы. Но что значит «слишком много времени»? Можно ли сказать, что писатель затратил на свой роман слишком много времени? Или художник на картину?

Мне самому, когда я от вольных мечтаний перехожу

к реальной действительности, неясны здесь многие вопросы.

Может быть, нельзя совместить массовость обучения с его индивидуальностью? Но ведь вся наша жизнь — ряд попыток соединить несоединимое. Полностью нам это не удается, но частично — да. Поразительно, что даже при крайне несовершенной системе обучения мы все-таки выращиваем какое-то количество полноценных специалистов Вероятно, это те самые, которых мы отобрали бы в группы повышенной подготовки, если бы такие существовали. Но тогда мы смогли бы уделить каждому из них больше внимания.

Несколько слов о процедуре приема в вуз: в своем теперешнем виде она непригодна и своей функции отбора достойнейших не выполняет. Проверяется не развитие, не способности, а (в лучшем случае) степень натасканности. В результате — фиктивный отбор, случайный прием. Попасть в вуз довольно трудно, но это последнее усилие. Будучи принятым, студент, независимо от своих качеств (одаренности, прилежания, призвания), как правило, вуз кончает. Отсюда цветы блата. Родители в лепешку разобьются, только бы их чадо было принято.

В нашем институте, как и в подавляющем большинстве других, нет ни взяток, ни прямого подкупа, зато нередок «подкуп знакомства». Попадают не самые достойные (их все равно отобрать невозможно), а те, у кого удачные связи.

Снова напрашивается неоригинальная мысль о «приеме с запасом», когда принятые считаются только кандидатами в студенты и должны делом доказать свое право учиться в вузе. Разумность такой меры очевидна, но возражение традиционное: дорого! Но не дороже ли обходится выпуск неполноценных специалистов, пять лет учившихся из-под палки и питающих глубокое отвращение к любым знаниям, любому труду?

Впрочем, вполне может быть, что во всех этих размышлениях я и не прав. Всегда легче критиковать, чем делать.

Одно несомненно: нужно искать новые формы высшего образования, экспериментировать, пробовать. Но все это уже без меня. Я стар.

Разговаривал с Ниной по телефону. Далекий дорогой голос с легким надломом на гласных, с четкими концами слов. Был временно счастлив. Хорошо, что по телефону не видно лиц. Мое было бы в высшей степени не вдохновляющим.

...Читаю Коран. Какая это потрясающая, жестокая и прекрасная книга! Магомет (правильнее Мухáммад), оказывается, не писал ее, а диктовал. Одержимый какими-то припадками (вероятно, эпилепсии), он впадал в священный транс и выкрикивал слова, исходившие как бы от самого Аллаха. Слова записывались и впоследствии составили Коран.

Каждая сура (отрывок, стихотворение) начинается словами «во имя Аллаха милостивого, милосердного». Но какое в них разнообразие! Чего стоят одни названия сур: «Завернувшийся», «Нахмурился», «Обвешивающий», «Разве мы не раскрыли»... Одна сура ярче другой, безумнее, выразительнее.

Это прежде всего великолепная поэзия. Выпишу, например, целиком мою любимую девяносто седьмую суру «Могущество»:

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества!
А что даст тебе знать, что такое ночь могущества?
Ночь могущества лучше тысячи месяцев.
Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их
для всяких повелений.
Она — мир до восхода зари!

Читаю — и покорен яростью вдохновенного поучительства. Какое величие в этом риторическом вопросе: «А что даст тебе знать...»! Кстати, такой вопрос сплошь и рядом встречается на страницах Корана.

(Вывожу для себя: урок, чтобы впечатлять, должен быть прежде всего вдохновенным. Эмоциональность тут важнее ясности. Не беда, если что-то останется как бы в тумане: это создает ощущение необъятности всего, что не сказано.)

А вот начало сотой суры, «Мчащиеся»:

Клянусь мчащимися, задыхаясь,
И выбивающими искры,
И нападающими на заре...

Казалось бы, «мчащиеся» должны быть всадниками на конях — наше европейское сознание сразу подсказывает нам этот образ. А вот некоторые исследователи склоняются к мысли, что «мчащиеся» — не что иное, как верблюжий отряд Мухаммада! Каковы должны быть эти верблюды и как они должны мчаться, чтобы выбивать искры? И нужен ли здесь реализм?

Пятьдесят четвертая сура («Месяц») начинается сокрушительной по силе строкой:

Приблизился час, и раскололся месяц...

Читал это вчера вечером. С опаской поглядел в окно. Месяц был на месте, и это меня немного утешило.

Интересно, что бы сказало мое начальство, если бы знало, что я увлечен Кораном? Боюсь, что оно прислало бы ко мне психиатра...

Я вообще часто себе представляю, кто и что обо мне говорит за глаза. Иногда произношу за них целые монологи. Вероятнее всего, я ошибаюсь. Говорят обо мне и хуже и лучше, чем я это себе вообразил.

Бывают слова мистические, не слова, а связки ассоциаций. Например, «кибернетика».

Я сам, заведующий кафедрой кибернетики, не знаю, что это слово значит.

В свое время — лет двадцать с лишком назад — слово «кибернетика» было ругательным. «Насквозь порочная, буржуазная лженаука». Помню, как меня в свое время прорабатывали за одну из моих статей, где я попытался описать с помощью дифференциальных уравнений совместную работу человека и машины. Главный довод против меня был: «Это какая-то кибернетика!» Я был уверен в своей правоте, но этот довод на меня как-то подействовал, заставил оправдываться. В том, что кибернетика плоха, я не сомневался, думал только, что моя работа к ней не относится...

С тех пор многое изменилось, и слово «кибернетика» изменило окраску на диаметрально противоположную. Кибернетикой клянутся и божатся, склоняют ее во всех падежах (между прочим, охотнее всего именно те, которые ее в свое время искореняли), и уже навязло это слово в зубах и стыдно его произносить. На моей кафедре занимаются приложениями математики к различным задачам управления, но само слово «кибернетика» употреблять избегают. Мне даже кажется, что твердо знают, что такое кибернетика, только профаны и журналисты, захлебывающиеся восторгом при одном звуке этого слова.

Тем не менее существование нашей кафедры осмысленно. Под модным флагом трескучего слова оказалось возможным создать хороший коллектив, убедить начальство, что студентам нужна высокая математическая культура,

ввести в учебный план ряд новых дисциплин, держа уровень изложения вровень с передним краем науки. Для тех из студентов, которые способны и хотят учиться, это полезно, для других безразлично.

Кафедра клубится. Тесное, хотя и высокое помещение, поломанная мебель, скученность. На большой перемене гвалт, как на птичьем базаре. Идут разговоры на методические темы: лекторы дают указания ассистентам. Тут же толкутся дипломники с бумажными лентами — результатами машинных расчетов, этими лентами они обмотаны с ног до головы. Тут же двоечники — пересдают свои хвосты. Тут же: «Что дают? Где купили?» В буфете вобла — ажиотаж, бегут туда, уже кончилась...

После часа, проведенного в этом бедламе, голова болит, как от угара. Кстати, современные люди не знают, что такое угар. Многие из них никогда не видели керосиновой лампы. Дети на улице сбегаются смотреть на лошадь, как мы когда-то сбегались смотреть на первые автомобили...

Отрывки разговоров:

— Изматываешься на этих занятиях до черта. Вредное производство. Вообразите себе актера, которому надо играть по шесть спектаклей в день. Да он не выдержит, с ума сойдет.

— А мы хронически сходим с ума, но никак до конца не сойдем. Скоро нас всех оптом отправят в психушку. Палата кибернетики.

— И какого черта мы здесь ошиваемся? В любом НИИ в сто раз легче. Тишина, библиотечные дни...

— Зато там стоячая вода, а у нас текучая. Студенты — наше спасение.

— Думаю, наша любовь к студентам отнюдь не взаимная.

— Вечная история. Отцы и дети.

Только подумать: эта молодежь — отцы! Мне уже надо считать себя не иначе чем прадедом.

Сегодня кончились лекции.

Нина в облаке цветов. Счастливое вознесенное лицо.

...И опять, уже в который раз, пушат тополя. Тополиный пух всегда сравнивают со снегом. Сегодня я впервые заметил, что это «обратный снег». Большинство пушинок летит не вниз, а вверх; остальные реют в воздухе. Как же они в конце концов приземляются?

Во сне я видел Нину. Осуществив свою мечту, положил ей голову на колени. Нина гладила меня по голове. Я чувствовал эти сухие, тонкие, любимые руки на своей голове и был счастлив безмерно. Во сне я не был лыс: эти руки не скользили, а, слегка запинаясь, двигались по моим волосам как будто им что-то мешало, может быть кудри? Да, во сне я был даже кудряв, чего никогда не бывало в жизни...

Вспомнил эпизод: встречу в поликлинике с профессором К., старцем, когда-то генералом, ныне глубоким отставником. Он нес свое тело на осмотр к терапевту, скованно передвигаясь, как будто стреноженный. На прием его записывала сестра, маленькая и компактная, как райское яблочко, в коробчатой шапочке на стоячих кудрях. Записываясь, К. не смог вспомнить своей фамилии. Она глядела на него вежливо, но насмешливо большими влажными серыми глазами. Я, стоявший сзади в очереди, подсказал ему его фамилию. Он поблагодарил меня. То, что он сказал вслед за этим, меня потрясло. Он сказал: «При жизни-то я был еще ничего...»

И как тут не вспомнить Гоголя:

«Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек»; но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости».

Боже! Стоит ли длить мне мою затянувшуюся жизнь?

Пока еще читаю лекции. Пока еще радуюсь чириканью воробьев. Пока еще помню свою фамлию. Пока еще люблю Нину — хочу жить. Когда всего этого не будет — жить не хочу.

Но как найти грань, за которой жизнь уже бессмысленна? Как через нее не перемахнуть?

Тяжесть прожитых лет висит на мне не только физически, но и морально.

Уходят реалии прошлого. Уходят люди, которые эти реалии знали.

Читаешь книгу — в ней текст песенки, популярной в годы моей юности. Для меня она поет, для других молчит, читается только глазами.

Мое прошлое поет для меня одного. Нет никого в живых, знавших меня мальчиком.

Время не идет — слово «идет» намекает на какое-то горизонтальное движение. Время падает, проваливается, непрерывно ускоряя свое падение. От этого ускорения у меня кружится голова.

Куда я падаю? Очевидно, в смерть.

Смерть мы себе представляем как нечто торжественное, какую-то грань, рубеж. Может быть, это не так. Может быть, смерть — это длящееся состояние, нечто перманентное.

Раньше не было человека, пережившего свою смерть (привидения не в счет). Теперь реаниматоры просто и буднично выводят людей из состояния клинической смерти. И сама смерть потеряла в торжественности, обытовела.

Мне, как говорят газетчики, довелось побеседовать со стариком, который уже один раз умер. То есть находился в состоянии клинической смерти и был из нее выведен бригадой реаниматоров. Старик, наш институтский столяр, пьяница и халтурщик, после клинической смерти был точно таким же, как до нее. Его давно собирались уволить за пьянство, но теперь как-то стеснялись: все-таки умер человек. После смерти он стал практически неуязвим и работать перестал окончательно. На днях он пришел к нам в лабораторию и потребовал, чтобы ему дали «фильтор».

— Зачем вам фильтр, Иван Трофимович? — поинтересовался я.

— Прогонять политуру. Я ее, поди, за всю жизнь три цистерны выпил, а теперь, после клинической, опасаюсь.

— А как вы себя после этого чувствуете? — спросил я с естественным любопытством.

— Хорошо чувствую,— сказал он уверенно.— Раз помирал, да не помер, век буду жить. Так я снохе и заявил. Не очистится вам после меня комната, я вечный житель.

— И как же это умирать? Не страшно? — спросил я.

— Нисколько не страшно. Бульк — и все. Как муху проглотил.

Пока я размышлял над услышанным свидетельством с того света, он быстро сориентировался и попросил у меня на бутылку. Я, разумеется, дал. О фильтре он сразу забыл. Через полчаса или час я его встретил в коридоре уже пьяным. Он шел, торжественно шатаясь, и пел: «Христос воскресе из мёртвых...» Почему-то меня раздражало это «ё» в слове «мертвых». Старый человек, он должен был бы помнить, как это слово произносится.

— Мертвых, а не мёртвых,— сказал я ему.

— Чего? — не понял он.

Детство мое. Заутреня.

Одной из главных радостей моего детства были праздники с их традициями: рождество с елкой, троица с березками и величайший, первейший из всех — пасха. Нас, детей, будили среди ночи, нарядно одевали и вели в гимназическую домовую церковь. У меня нарядными были косоворотчки, шелковые, блеском струящиеся, красная, синяя, голубая, и бархатные шаровары, заправленные в сафьяновые сапоги. К косоворотке полагался шелковый крученый кушак с кистями, из которого строго запрещалось вытаскивать нитки (я все-таки вытаскивал). Сестры-близнецы Надя и Люба в белых кисейных платьицах с цветными атласными лентами, в белых тупоносых туфельках, в белых чулочках. Волосы распущены, сбоку бант. Сегодняшние девочки носят бант сзади или сверху, сбоку никогда.

Сестры были старше меня на два года. Они звали меня Кока, а когда сердились — Кокса. Писали на стене: «Кокса дурак».

Старше их была еще одна сестра, Вера. Той я не помню, она еще маленькой умерла от дифтерита.

Страшная тогда была эта болезнь — дифтерит. Само это слово звучало смертью. Рассказывали, что когда знаменитого доктора Раухфуса спрашивали: «Чем вы лечите дифтерит?» — он отвечал: «Гробиками»...

Теперь дифтерита нет, есть дифтерия — редкая болезнь, почти исключенная прививками, и она излечима. Когда я размышляю о тщете науки (а такое случается, и нередко), я вспоминаю о «гробиках» доктора Раухфуса и вынужден стать на колени перед этой самой наукой.

Как трансформировались за мой долгий век реалии быта, исчезли одни, появились другие. Нынешние дети не до конца понимают, скажем, «Мойдодыра» Чуковского: «Я за свечку, свечка — в печку», «Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю», «Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник...» Упразднены не только самовар и умывальник, но и спальня (да еще мамина). Неужели через полвека дети так же не будут понимать, что такое телевизор?

Помню, как мальчиком, лет десяти — двенадцати, я впервые увидел автомобиль (тогда говорили «мотор»). Мальчишки выбегали из подворотен, кричали: «Мотор идет!» Я тоже бежал, кричал и вдыхал пьянящий запах бензина (теперь сказали бы «выхлопных газов»). Но тот запах совсем не был похож на нынешний. Возможно, тогда, в первых двигателях внутреннего сгорания, употреблялся не сегодняшний плохо очищенный бензин, а другой, близкий по формуле к нашему авиационному. Однажды на аэродроме я попал в струю этого запаха и просто ошалел: с такой пьянящей силой набросилось на меня детство!

Известно, что именно запахи сильнее всего будят память. Пока я не прочел об этом в книгах, я думал, что сам открыл этот психологический закон. Запахи трогают меня, потрясают, сбивают с ног.

В ранней юности я был влюблен в одну девушку, Зину, впоследствии покончившую жизнь самоубийством. Я не был виноват в ее смерти. Я ее любил, а она любила другого. Большой, сильный, что называется, косая сажень в плечах. Звали его, как и меня, Николаем (Коля-большой и Коля-маленький). Что-то между ними произошло трагическое. Потом говорили, будто бы Зина рассказала Коле-большому что-то такое о своих друзьях, чего не надо было рассказывать, и друзья пострадали, а она отравилась. Записку она оставила одну: «Сам знаешь». На похоронах все сторонились Коли-большого, и он стоял отдельно, огромный, с повисшей головой, как заезженный конь.

Зинина мать, странно спокойная, подтянутая, стояла возле гроба и все вытирала мертвой дочери щеки и лоб каким-то особым, благоуханным одеколоном. Этот запах — благородный, глубокий, трагический — запомнился мне навсегда. Тогда я понял, что запах может быть трагическим...

А у праздника пасхи был целый букет чудесных веселых запахов. Запах куличей и мазурок. Запах гиацинтов — нежных и плотных, как будто вылепленных из воска,—

ими всегда украшали пасхальный стол. Запах крашеных яиц, которые мы, играя, катали по лакированным красным лоточкам; победить значило разбить своим яйцом чужое. Разбитое яйцо съедалось: победитель и побежденный по очереди от него откусывали. Яйцо было очень крутое, посиневший желток просвечивал сквозь белок небесной голубизной. Съедалось оно без соли, и его запах, чуть сероводородный, сладко мешался с запахом яичной краски, лакированного лоточка, паркетной мастики, оставлявшей желтые следы на наших белых чулках.

Белые чулки означали праздник. Обычно мы ходили в черных или коричневых, заштопанных на коленях (тогда чулки штопали). Мои сестры Надя и Люба тоже должны были штопать чулки, это умение входило в программу воспитания девочек. У них были специальные грибочки — красный у Нади, синий у Любы. Я, как мальчик, к штопке чулок не привлекался. Я охотно бы штопал, но, боясь уронить свое мужское достоинство, наблюдал их работу со стороны. Сперва нитки натягивались тесными параллельными рядами в одном направлении, потом надо было, перебирая иглой, сплести ряды поперечной ниткой. Получалась настоящая, только ручной выделки, ткань. Теперь этого обычая нет: то ли люди стали богаче, то ли чулки прочнее. Когда я на лекции нечаянно сравниваю процесс численного решения дифференциального уравнения со штопкой чулок, студенты меня не понимают.

Тогда, в детстве, я только завидовал Наде и Любе; теперь, в старости, я иногда, крадучись, штопаю себе носки, для чего купил сувенирный гриб с пустой ножкой, ярко и пестро раскрашенный. Дарья Степановна, когда замечает в стирке заштопанные носки, сердится, попрекает меня скупостью: «Шпана не люди, рабочий как-никак, а вы профессор, тыщи получаете». Чтобы не гневить понапрасну Дарью Степановну, я иногда заштопанные носки с душевной болью отправляю в мусоропровод.

Как отрадно кого-то бояться — как будто окунаешься в детство. Смешной ребячий страх, который я испытываю перед Дарьей Степановной, странным образом украшает мне жизнь, так же как причудливая ее речь, состоящая из сплошных ребусов, головоломок. Например, сегодня, стоя у окна и глядя во двор, она авторитетно произносит: «Нольтри приехала, кого повезут, сестра из вены». Поначалу я озадачен. У кого бы это могла быть сестра в Вене? Потом догадываюсь. Смысл высказывания следующий: приехала за кем-то, неизвестно за кем, машина «скорой помощи», из

нее вышли люди с носилками, с ними медицинская сестра, та, которая в поликлинике берет на анализ кровь из вены. Я восхищен своей догадливостью, я горд.

Сегодня опять разговаривал с Ниной. Всегда меня трогало, разрывало мне душу это долгое «и» в слове «Нина».

Я знаю, я смешон. Когда я гляжусь в зеркало, я вижу некое подобие бога Саваофа из альбома Ж. Эффеля «Сотворение мира». Белая бахромка вокруг лысины с успехом заменяет сияние. Так и видишь рядом с собой грубоватого, невинно-голого Адама и забавных ангелов-ассистентов.

Я старик, мне уже за семьдесят. Но внутри старика живет юноша, все еще чего-то ждущий от жизни. Ему, этому юноше, надо любить, и он любит, сидя внутри старика.

Сегодня на кафедре разговор об учебных планах. Спорят пылко, с серьезными лицами из-за каких-то часов. Особенно ярится Спивак.

Меня удивляет, как эти люди могут такое внимание уделять распределению часов между дисциплинами. За долгие годы преподавания я пришел к странному убеждению: более или менее все равно *чему* учить. Важно, *как* учить и *кто* учит. Увлеченность, любовь преподавателя к своему предмету воспитывают больше, чем любая сообщаемая им информация. Слушая энтузиаста, ученики приобретают больше, чем из общения с любым эрудитом: высокий пример бескорыстной любви.

Корыстолюбие несовместимо с личностью настоящего педагога. Педагог должен быть щедр, без оглядки тратить себя, время, душу. Этот труд — всегда подвижничество.

Процесс обучения сам при всех своих недочетах высокоморален. «Сеять разумное, доброе, вечное» — можно, преподавая любой предмет: автоматику, химию, теорию механизмов.

В свое время, еще до моего рождения, было сломано много копий по вопросу о так называемом классическом образовании. Его противники утверждали, что древним языкам в гимназиях уделяется слишком много времени; его можно было бы употребить на приобретение других, более реальных знаний. Возможно, это и так.

Я сам учился в классической гимназии (правда, в одной

из лучших), зубрил латынь и греческий. Дало ли это мне что-то реальное? Безусловно. Прежде всего привычку к труду, пусть не совсем правильно организованному. Кроме того, знание латыни облегчило мне впоследствии овладение рядом языков.

А самое главное: мне посчастливилось учиться у превосходного латиниста. Звали его по-смешному: Иван Иванович Трепак (может быть, по созвучию мне так приятна фамилия Спивак?). Трепак был кристальным энтузиастом, представителем этого племени в химически чистом виде. Латинские стихи, скандируемые звучным, высоким голосом Трепака, до сих пор звучат в моей памяти и вызывают блаженные мурашки по коже:

Exegi monument'...

Так же, вероятно, Спивак зажигает студентов словами: «Каково бы ни было произвольно малое положительное число эпсилон, всегда найдется такое положительное число дельта, что...» Важно быть убежденным в красоте и величии того, что преподаешь. В его непререкаемой важности.

Моя неопределенная, вечно колеблющаяся позиция, мои самотерзания, поиски справедливости педагогу противопоказаны. Такой человек, как я, не может никуда никого за собой повести.

Если бы я был порядочным человеком и не был трусом, я давно уже ушел бы на пенсию. Но я этого боюсь. По ряду причин.

Во-первых, я боюсь расстаться со своей работой — единственной для меня связью с движущейся жизнью. Боюсь не видеть больше этих спешащих, молодых, оживленных, обгоняющих. Не слышать больше на переменах особого студенческого галдежа — смеси смеха, специальных терминов и плохо произнесенных английских слов. Студенты обтекают меня. Вижу себя их глазами: небольшое чудовище. Все равно счастлив, что они меня обтекают.

Во-вторых, что я буду делать дома, выйдя на пенсию? Смотреть телевизор? Ну нет. Беседовать с Дарьей Степановной? Она хороша как приправа — соль или перец. Нельзя питаться только солью и перцем.

Недавно встретил во дворе одного бывшего своего коллегу, тоже профессора, недавно вышедшего на пенсию. Его почтенное брыластое лицо было полно собственного достоинства. «Советую вам последовать моему примеру. Теперь я получил простор для научной работы. В институте меня заедала текучка». Я слушал его и думал весьма нелю-

безно: «Черта с два получил ты простор. У тебя развитие кролика». При нашем разговоре присутствовала где-то у наших колен его внучка, маленькая девочка лет трех в красных ботиночках и синем берете; она тянула его за палец и приговаривала: «Деда, пойдем». Из всех нас троих она единственная не кривила душой.

Да, научная работа... После того как я понял, что для этого уже не гожусь, и прекратил все попытки, мне стало значительно легче. Так, вероятно, становится легче утопающему, когда он перестает барахтаться и идет ко дну.

И последняя, самая мелкая причина, по которой я боюсь уходить на пенсию: я не хочу, чтобы мое место занял Кравцов. Это катастрофа в форме огурца.

Зрелища из знаменитой формулы «хлеба и зрелищ». Лица людей, столпившихся вокруг уличной катастрофы. Жадное лицо старушки, спрашивающей: «А жертвы есть?» Я не отвечаю, прохожу мимо, делая вид, что меня это не интересует. Но я лгу. Страстная заинтересованность несчастьем жива и во мне.

В несчастье есть странная притягательная сила. Я не раз о ней размышлял. Как люди торопятся сообщить друг другу о чьей-то смерти, катастрофе, тяжелой болезни. Боятся, как бы кто не опередил, не рассказал раньше их.

Прежде я думал, что корень этого в эгоистической радости: случилось не со мной, с другим. Теперь я лучше думаю о людях. В этой черте, как ни странно, есть что-то детское.

Представляю себе, как после моей смерти люди будут сообщать друг другу: «А знаете, Николай Николаевич умер» — и будут разочарованы, услышав в ответ: «Да, я уже знаю».

Я органически непоследователен. Я не могу даже временно рассматривать вещь с одной и той же точки зрения. Мое зрение двоится, предметы расслаиваются.

Иногда я от этого прихожу в отчаяние. Мне начинает казаться, что я воплощенная беспринципность.

Но приступы такой «заушательской самокритики» (выражение Маркина) не могут продолжаться слишком долго. Их сменяют оптимистические периоды, когда я тешу себя иллюзиями.

Мне начинает казаться, что если вещь разглядывать

сразу с нескольких точек зрения, она приобретает объемность, недостижимую при одностороннем взгляде (аналогия: «круглая скульптура», которую можно обойти кругом и которая поэтому богаче барельефа).

Иной раз я даже заношусь настолько, что свои колебания ставлю себе в заслугу. Хаотичность бомбардировки какой-то проблемы неудачными попытками ее решить кажется мне тогда более плодотворной, чем четкая, последовательно развитая теория. Важно во всем этом не потерять целенаправленности. Я часто ее теряю и вряд ли могу комунибудь служить образцом.

Речь идет не об одной науке. Жизнь обступает нас множеством задач. В каждой ситуации надо сформировать решение. Точек зрения может быть много, но решение принимается одно.

Конечно, хорошо, если будущее решение предварительно обсуждается с самим собой не односторонне, а с учетом всех возможных точек зрения, вплоть до самых противоречивых. Это должно походить на идеальный судебный процесс, когда на равных правах выслушиваются показания сторон. Но после окончания разбирательства неизбежно должно прозвучать «суд идет» и должен быть вынесен один-единственный приговор.

Моя беда в том, что я безнадежно запутываюсь в свидетельских показаниях. Я попеременно становлюсь на разные точки зрения и от этого заболеваю чем-то вроде морской болезни.

Я мучительно ищу справедливость. Где она? И где черта, за которой, найденная, казалось бы, она оборачивается беспринципностью? И как эту черту не перешагнуть?

Где-то, не помню где, я читал (а может быть, сам выдумал?) про камертон. Важно, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах в душе не умолкал камертон.

Настройщик, настраивая фортепьяно, время от времени вынимает из кармана камертон, чтобы сверить свои относительные ощущения по абсолютной шкале. Вот такой же камертон должен быть у человека в душе, помогая ему в поисках справедливости. Признак верного решения — полное согласие с камертоном.

Недавно я после долгих колебаний принял решение. Деньги и вещи — Майе. Телевизор и посуду — Дарье Степановне. Книги — институту. Камертон согласился.

Как бы мне хотелось оставить что-нибудь Нине. Но камертон сказал «нет».

...Сегодня ночью я не спал и слушал часы. Их тиканье было необычайно громким. Они не шли, а маршировали, как само Время — деревянное, неумолимое. Часы мне подарили недавно на мой так называемый юбилей — семьдесят пять.

Я скрывался, я убегал от этого глупого юбилея. Я вообще не люблю юбилеев, торжественных дат. Почему совпадение (или круглое значение разности) каких-то чисел должно вообще привлекать внимание разумного человека? Это нечто вроде магии, реликт первобытного сознания в наше как бы не суеверное время.

Особенно ужасает меня положение юбиляра, вынужденного выслушивать хвалебные речи. Оно хуже положения мертвеца. Латинская поговорка гласит: «De mortuis aut bene, aut nihil» (о мертвых либо хорошо, либо ничего). С юбиляром еще хуже: тут уже и выбора nihil не остается.

На этот раз я сделал все, чтобы избежать чествования. Позвонил в ректорат, в партком, просил отменить юбилей, ссылаясь на плохое самочувствие. Мне пошли навстречу. Но сотрудники кафедры — черт возьми! — застали меня врасплох. Пришли домой, и деться мне было некуда. Кравцов говорил речь, а Нина держала под мышкой большой картонный футляр. Я еще не знал, что в этом футляре часы, что мне привели компаньона и собеседника на многие ночи, на весь остаток жизни...

Футляр все время соскальзывал вбок, и Нина его поправляла. А Кравцов говорил, говорил... Удивительно автоматизированная речь. Так, вероятно, будут говорить машины, когда обучатся,— по штампам, как по роликам: «Вы, крупный ученый, талантливый педагог, заботливый руководитель, которому каждый из нас так многим обязан (и атата́, и атата́, и атата́)... Приветствуя вас в день вашего славного юбилея, мы, коллектив кафедры, ваши товарищи и ученики (и атата́, и атата́, и атата́)...» Я слушал и чувствовал себя хуже покойника.

Кравцов говорил, а футляр на боку у Нины все соскальзывал в сторону, она его поправляла с досадой, закусив нижнюю губу белой полоской зубов, из которых один, торчащий, был к тому же темней других (эта нестройность зубов почему-то меня трогает).

А Кравцов все говорил... Вдруг она сказала: «Как хотите, я больше не могу их держать. Кончайте торжественную часть, давайте мы их повесим»

Все засмеялись, Кравцов забулькал, как раковина, из которой уходит вода. Из футляра вынули часы и стали их

вешать на стенку. Рубакин принес табурет, влез на него и прежде всего уронил часы. Они упали со смертным стоном, но, по странности, остались целы. В стену вбили костыль, укрепили на нем часы, проверили ход, бой. Нина сказала: «Слава богу, идут». Терновский пошутил: «Теперь вы не будете опаздывать на лекции» — и вызвал смех (все знают, что я никогда не опаздываю). Лидия Михайловна, чуть не упавшая в обморок при падении часов, смотрела на меня красивыми грустными глазами («раб без права на амнистию», — вспомнил я). Элла Денисова поцеловала меня «от комсомольской организации». И тут, старый дурак, я заплакал.

Пили вино, ими же принесенное. Стульев не хватило — молодежь расселась на полу. Дарья Степановна сурово стояла в дверях и всего происходящего не одобряла: «Сказали бы за два, придете люди людьми, я бы пирогов, срам, а то как на паперти нищие». Нину она вообще не любит, называет ее «эта ваша, из гончих». Осуждает: «Троих родила, а пуза не нажила. Хоть махонькое, а надо».

«Из гончих»... Довольно метко. Нина и впрямь напоминает гончую — поджаростью, стремительной постановкой головы, горячей возбудимостью (вся на нервах).

В этот день, несмотря на мою нелюбовь к юбилеям, я впервые в жизни был растроган в связи с совпадением дат...

Они ушли, а часы остались — тикают, щелкают, отмеряют мне время, которого осталось немного.

Ночью, когда начинает болеть сердце, это похоже на тягостный полет в неизвестное. Каждый удар сердца — взмах крыльев. Летит, припадая, подранок.

Я принимаю валидол, ложусь и слушаю часы. Звук в такие ночи как бы усиливается, распухает.

Вот и сегодня ночью я слушал часы (они особенно громко, даже агрессивно щелкали, в их щелканье был ритм, почти что слова). Слушал-слушал и придумал стихи, которые запишу здесь не потому, что считаю их хорошими (они старомодны даже для меня, который вообще старомоден), а просто так, чтобы не забыть.

Ритм, конечно, навеян часами.

ЧАСЫ

Время течет,
Время молчит.
Мысли учет
В душу стучит.
Памяти звук

В сердце возник:
Детства испуг,
Юности крик,
Лучший из снов —
Девы цветок,
Суженой вздох,
Матери зов...
Благослови
Тысячу крат
Силу любви,
Ярость утрат.
Кончился сон.
Время течет.
Весок закон,
Точен учет.
Каждый товар
В лавке учтен,
Каждый удар
Сердца — сочтен.
Сердце стучит:
Близко расчет.
Время течет,
Время молчит.

И как это мне придумалось такое? Ума не приложу. Стихов я никогда после ранней юности не писал. Тогда это было обычное молодое брожение духа: через края сосуда. А теперь?

Не о стихах мне нужно думать на пороге смерти. О справедливости.

Был ли я справедлив? Научился ли этому за долгую жизнь? И как свести концы с концами в поисках справедливости?

РАЗМЫШЛЯЯ...

Личные записи Николая Николаевича я читала не только со вниманием, но и со стесненным сердцем, и чем дальше, тем больше. Одно странное обстоятельство этому способствовало. В записях часто встречалось имя Нина — естественно: так звали его покойную жену, смерть которой так жестоко его изменила.

Ее я видела всего раза два-три и не очень ей симпатизировала. Пепельно-седая бледноглазая женщина с тревожной манерой шевелить пальцами. Очень молчаливая, очень воспитанная. Однажды я занесла Энэну несколько книг. Его не было дома. Нина Филипповна отворила мне дверь, взяла книги, любезно поблагодарила, слабенько улыбнулась, и я ушла, чувствуя себя бесконечно ей ненужной. Да не нужна была и она мне. Я вообще, грешным делом, не

очень-то люблю жен своих сослуживцев, особенно не работающих,— что-то классовое.

Другой раз мы (кафедра) помогали Завалишиным в их переезде на дачу. Нина Филипповна была уже тяжко больна. Она спускалась с лестницы об руку с Дарьей Степановной, осторожно ставя одну ногу вслед другой. Подскочил Спивак, поднял ее как перышко, усадил в машину. Она его даже не поблагодарила — витала где-то поверх всего. Именно по этому выпадению привычной, автоматической вежливости было видно, как она безнадежно больна. Она сидела впереди, рядом с шофером. Николай Николаевич сел сзади. «Ну, ехать, что ли? — спросил шофер.— А то канителимся битых два часа». Нина Филипповна как-то забеспокоилась: «Нет, подождите еще одну минуту». Она подозвала меня знаком руки. Я подошла. «Нет, ниже нагнитесь, ниже». Я нагнулась. «Не забывайте его,— сказала она шепотом,— он очень одинок». Я не знала, что ответить, кивнула. Больше я ее живой не видела — только в гробу.

Читая личные записи Энэна и постоянно встречая в них имя Нина, я поначалу не сомневалась, что речь идет именно о Нине Филипповне. Разговор с Ниной по телефону меня смутил. Либо Энэн галлюцинировал, либо это была какая-то другая женщина... Постепенно с какой-то томящей тяжестью в душе я стала догадываться — речь идет обо мне... Какая нелепость!

Я перечитывала записи — да, скорее всего именно так. Бедный прелестный старик, потерявший всех, именно на мне остановил свою душу. Почему на мне? Неужели из-за имени? Это долгое «и» в слове «Нина»...

И ведь никогда, ничем, ни единого раза не дал он мне понять, что я значу для него больше других. Ни взглядом, ни словом. Его чувство (если я права в своей догадке) было так тайно, так непроявленно, что его как бы и не было вовсе. Если б не случай, поставивший меня во главе комиссии, о нем просто не знал бы никто...

Так или иначе — я была виновата. «Не забывайте его»,— просила Нина Филипповна. Этой просьбы я не исполнила. Вообще резкая с людьми, я и с ним была подчас резка, раздражительна. Думала о нем, только когда он был в поле зрения, и то не всегда. А в его отсутствие и не думала вовсе. Он как-то сам собой разумелся, сидел в своем образе как в крепости...

Зато теперь, после его смерти, я думала о нем почти непрерывно. С одной стороны, на мне лежала ответственность за наследие. Кроме того, какая-то нравственная

обязанность. Я не знала, как правильнее поступить. По складу характера мало склонная к колебаниям (обычно рублю сплеча), я стала нерешительна, оглядчива, как будто унаследовала от Энэна его основную черту.

Ну ладно. Личные записи, не предназначенные, как он сам писал, «для чужого взгляда», я собрала в одну папку и решила никому не показывать. Ведь реестровой описи бумаг никто не делал. А как быть с другими материалами?

Из «научных листов» я кое-как составила небольшую статью. Изменю обозначения, и она вполне сойдет за что-то новое: посмертные сборники мало кто читает.

Еще я отобрала пачку листов с размышлениями о высшем образовании, об учебном процессе; они в какой-то мере могли представить общий интерес, хотя многие мысли в них были спорны.

Вот и все... Неужели так-таки и ограничиться несколькими страничками, которые удалось собрать? Или же...

Уже давно у меня на этот счет начала шевелиться мысль. Поначалу я ее отвергла, но она все лезла и лезла. Дело в том, что у меня еще с давних пор лежала незаконченной одна работа (или, пользуясь кафедральным жаргоном, «изделие»), довести которую до кондиции у меня не было ни времени, ни охоты. К моей теперешней тематике она не примыкала, а к прежней я сама охладела, убедившись в ее мещанской ограниченности. К тому же мне более чем хватало текущих дел (два новых курса, плюс курсовые работы, плюс дипломники, это не считая аспиранта, который неведомо как, сам собой ко мне приблудился). Так что «изделие» так и лежало несколько лет без движения.

А что, если взять его, доделать, переписать в старомодном стиле да и выдать за работу Николая Николаевича? Все-таки лучше, чем ничего.

Размышляя об этом, я как-то раздваивалась. Да или нет?

Если бы спросить самого Николая Николаевича — конечно, нет! Он бы гневно подскочил на своих коротких ножках, если бы об этом узнал. Он гнушался даже соавторством, никогда не ставил своего имени на работах, сделанных по его идеям, под его руководством. Редкая в наши дни манера. Большинство руководителей, гоняясь за числом публикаций, не склонны дарить своих идей. Энэн — не так, он отказывался наотрез, как бы его ни уговаривали поставить свое имя на работе рядом с именем исполнителя. Впрочем, он не вел счета своим идеям и часто их забывал (как я убедилась на примере моей собственной диссерта-

ции). Кто-то мне рассказывал, что Петр Ильич Чайковский тоже не помнил своих творений и иногда, прослушав свой собственный романс, говорил: «Как мило! Кто это сочинил?» Вот Энэн был таким же.

Итак, он был бы резко против моей идеи. Почему же она так навязчиво меня преследовала? Никаким рыцарством или самопожертвованием тут и не пахло — простой эгоизм и тщеславие. Мне нестерпимо было представлять себе, как я, председатель комиссии (и, по существу, единственный ее член), буду докладывать на кафедре результаты своих разысканий. Несколько жалких страничек, ничего нового... Я так и видела иронические улыбки молодежи, пришедшей на кафедру недавно и не знавшей, что такое Энэн. Мое «изделие» не бог весть что, но все-таки новое...

И еще одно соображение: все-таки у меня не было покойно на душе по поводу пересечения наших с Энэном результатов. Возможно, он получил их раньше меня. Моя сатанинская гордость не хотела с этим мириться. А тут мне выпадал случай как-то расквитаться по этому счету... Меньше всего это было похоже на великодушие.

Все еще находясь в нерешимости, я на всякий случай разыскала и прочла ту мою давнюю работу. Впечатление отвратительное: какой же я была идиоткой! Так ломиться в открытые двери! Теперь, читая, я сообразила, как можно было бы это сделать совсем по-другому, в гораздо более общем случае, и увлеклась. Все-таки не зря прожиты годы: по-новому все получалось довольно складно и мне самой понравилось...

Любопытно обстоит дело с работами, по крайней мере у меня. Самую последнюю, как правило, любишь. К предпоследней относишься критически. Давние читаешь с ненавистью и стыдом. Не то чтобы там были ошибки — это бы еще полбеды! — ужасно убожество концепции. В сущности, я малоспособный научный работник, надо откровенно в этом признаться. Впрочем, все мы на кафедре пигмеи по сравнению с Энэном в период расцвета. Интересно, что он испытывал, перечитывая свои давние работы? Боюсь, что зависть.

Не дай бог завидовать себе самому в прошлом...

Тем временем на кафедре произошли события. Почти одновременно ушел Кравцов (на должность завкафедрой в другом институте) и появился наш новый заведующий.

Ректор института привел его к нам на кафедру и представил:

— Товарищи, будьте знакомы: ваш новый заведующий профессор Флягин Виктор Андреевич. Прошу любить и жаловать.

Флягин отдал нам общий поклон, слегка принагнув голову словно бы от подзатыльника. Был он высок, худ, очкаст, с иезуитской улыбкой и сразу же нам не понравился. Перистые остатки волос торчали на его узкой голове, оставляя впечатление не до конца ощипанной птицы. Еще нестарый, лет сорок пять — сорок семь...

— Профессор Флягин,— продолжал ректор,— крупный специалист в вашей области. Я уверен, все вы читали его труды, например... Виктор Андреевич, как называется ваш главный труд?

— Главного труда у меня еще нет,— усмехаясь, ответил Флягин,— и вообще крупным специалистом меня назвать нельзя.

— Ну-ну, не прибедняйтесь,— со смехом сказал ректор,— самокритика хорошая вещь, но в меру.

На этом процедура знакомства окончилась. Ректор с Флягиным удалились, а мы остались обсуждать и осуждать новое начальство.

— Похож на севильского цирюльника,— сказала Элла.

— Что ты под этим понимаешь? — ехидно спросила Стелла.

— Ну, такой длинный в рясе. «Погибает в общем мненье, пораженный клеветой».

— Так это Дон Базилио, а не цирюльник.

— Не придирайся, все меня поняли.

— Ну, задаст же он нам перцу,— сказал Спивак.— Сразу видно, что за птица.

— Да,— поддержал его Маркин,— еще помянем мы добрым словом незабвенного Владимира Ивановича...

И в самом деле, по сравнению с Флягиным круглый, дробный, обкатанный Кравцов сильно выигрывал. В нем, по крайней мере, все было ясно. А тут? Самая скромность нового заведующего была неприятна: что-то зловещее.

— Поживем — увидим,— сказал Радий Юрьев,— может быть, и ничего.

На другой день Флягин принял бразды правления. Лидия Михайловна обзвонила всех преподавателей, сообщая им о срочном, внеочередном заседании кафедры.

Собрались. Флягин вынул из внутреннего кармана старинные серебряные часы, отстегнул их с цепочки и положил на стол с легким стуком, возвестившим для нас начало новой эры. Тронная речь, которую он вслед за тем

произнес, произвела на нас тяжелое впечатление. Прежде всего сама техника речи. В отличие от всех нас (на кафедре культивировалась речь неторопливая, чеканная, с особо подчеркнутыми концами слов) Флягин говорил быстро, невнятно, с какой-то жидкой кашей во рту. Вот примерно содержание того, что он сказал:

— Товарищи, не будем терять время. Нам предстоит большая работа. Предупреждаю: буду работать сам, буду требовать от вас. Расхлябанности тут не место. Я не требую таланта, я сам не талантлив, но каждый должен стараться. Следующее заседание кафедры назначаю через неделю. К этому сроку каждый преподаватель должен представить индивидуальный план.

По кафедре прошел гул.

— Мы уже сдавали индивидуальные планы,— приподнявшись, сказал Терновский.

— Я их изучил, и они меня не устраивают. Недостаточно конкретны. В новом плане надо будет указать точные сроки начала и конца каждого этапа, объемы статей, предполагаемых к публикации, а также названия книг, журналов и диссертаций, которые будут проработаны.

Гул усилился.

— Планирование с точностью до дня в научной работе невозможно,— сказал Терновский.

— Будете сидеть ночами. Твердый план дисциплинирует, а дисциплины нам всем не хватает. Я не намерен даром получать зарплату и от вас тоже потребую максимальной отдачи.

Встал Семен Петрович Спивак:

— Я вас не понимаю, товарищ профессор. Думаете ли вы, что мы здесь работаем не с полной отдачей?

— С полной, но недостаточной,— ответил Флягин.

Спивак сел, негодуя, на свой «электрический стул». Различные формы негодования отразились на лицах присутствующих.

— Я вижу, вы недовольны,— сказал Флягин, улыбнувшись (сквозь его иезуитскую улыбку вдруг проглянуло что-то человеческое).— Я сам на вашем месте был бы недоволен, но выхода у вас нет. На следующем заседании кафедры мы поговорим обо всем в подробностях, а пока мне надо с вами познакомиться. Пожалуйста, в порядке естественной очереди, от двери сюда, называйте имя, отчество, фамилию, ученую степень и звание, конкретную область, в которой работаете. Я это все запишу и к следующему разу постараюсь запомнить.

Преподаватели по очереди вставали и сообщали о себе сведения. Все были серьезны и как-то скорбны (даже Лева Маркин). Флягин усердно записывал, низко склонясь над столом, почти касаясь бумаги клювообразным носом. Паша Рубакин, конечно, решил соригинальничать, построил свое выступление в форме театрализованной анкеты. Вопрос произносился одним замогильным голосом, ответ другим, еще замогильнее:

— Имя? Павел. Отчество? Васильевич. Фамилия? Рубакин. Ученая степень? Нет. Звание? Без звания. Занимаемая должность? Ассистент. Конкретная область? Теория познания.

Флягин вскинул на Пашу глаза, оторвал нос от бумаги и задал дополнительный вопрос:

— Образование?

— Мехмат,— ответил Паша.

— Теорию познания отставить,— спокойно сказал Флягин.— В индивидуальный план внести тему, соответствующую специальности.

Дошла очередь и до меня. Я встала и отбарабанила:

— Асташова Нина Игнатьевна, кандидат технических наук, доцент, доцент, стохастическое программирование.

Флягин опять поднял глаза и спросил:

— Зачем два раза доцент?

— Первый раз звание, второй раз занимаемая должность.

— Совершенно правильно,— одобрил Флягин и опять нырнул в записывание.— Советую остальным товарищам быть такими же краткими.

Я села, кипя досадой: меня похвалил Флягин!

В заключительной речи новый наш заведующий изложил свое кредо.

— Товарищи, я понял, что сработаться нам будет нелегко. Вы привыкли к традиционной преподавательской вольности: знать только свои обязательные аудиторные часы, а остальное время тратить как вздумается. Разрешите вам напомнить, что рабочий день преподавателя по существующим нормам составляет шесть часов аудиторной и прочей учебной нагрузки плюс время, потребное на подготовку к занятиям, научную работу и другие виды деятельности. Все это в теории увеличивает рабочий день до восьми часов, но фактически нельзя все это сделать меньше чем за десять. От вас я буду требовать десятичасового рабочего дня. Формально я на это не имею права, я это высказываю как твердое пожелание. Но шесть обязатель-

ных часов вы должны проводить здесь, в институте, в аудиториях или на своих рабочих местах.

Встала Элла Денисова:

— Что значит на своих рабочих местах? Рабочих мест как таковых у нас нет. Помещение тесное, столов меньше, чем людей.

Флягин задумался и, помолчав, сказал:

— Это мы уточним. Возможно, я не буду настаивать на буквальном понимании термина «рабочее место». Важно, чтобы преподаватель был здесь, в институте, в пределах досягаемости, и в любую минуту мог быть затребован. Вам, Лидия Михайловна, надо обеспечить, чтобы на каждого преподавателя был составлен график присутствия и заведена персональная табличка. Каждый должен завести тетрадь учета рабочего времени, если хотите, дневник. Я сам уже много лет веду такой дневник, и, уверяю вас, это очень полезно. Каждый лектор должен, кроме того, вести тетрадь посещений занятий у своих ассистентов, подробно протоколировать свои наблюдения... И наконец последнее: я обнаружил, что преподаватели нередко опаздывают на занятия на две, три, даже на пять минут. Это абсолютно недопустимо, особенно учитывая потери времени, связанные с известными вам обстоятельствами. Картошка — дело государственное, а расхлябанность преподавателей — отнюдь нет. За две минуты до звонка каждый преподаватель должен стоять у дверей аудитории и входить в нее в ту самую секунду, когда прозвучит звонок. А теперь заседание кафедры окончено. Прошу меня извинить — иду в ректорат.

Флягин вышел. Что тут началось! Загудели, заворчали, закричали.

— Неслыханно! — сказал Терновский, стряхивая мел со своего рукава.— Жандарм, и только!

— Товарищи, а он, часом, не псих? — спросила Стелла Полякова.

— Скотина он, а не псих! — заорал Спивак.

— Да, пожалуй, вы правы. Скотина,— согласился Радий Юрьев.

Все засмеялись, до того это было на него непохоже.

— Я человек мягкий,— продолжал Радий.— В детстве я был вундеркиндом. Когда я попал в армию и меня ругали матом, я не понимал, что это значит. Но, знаете, в данном случае...

— Охотно бы выругались? — подсказала Элла.

— Именно.

Лева Маркин продекламировал нараспев:

— «Вынес достаточно русский народ, вынес и эту дорогу железную, вынесет все, что господь ни пошлет...»

— Хватит цитат! — прикрикнула я и тут же пожалела о своей резкости: Лева болезненно скривился (тысячу раз даю себе слово быть с ним помягче и не выдерживаю).

Паша Рубакин сказал:

— Нет, знаете, он не так плох. Мне нравится его фанатизм. Историю вообще делают фанатики: Жанна д'Арк, Савонарола...

— Пусть бы он делал историю где-нибудь в другом месте,— брюзгливо сказал Терновский.

— Если этот Савонарола привяжет меня веревкой к рабочему месту,— сказала Элла Денисова,— я назло ему буду плохо работать. Рабовладельческий строй пал из-за низкой производительности труда.

— Этому типу решительно все равно, какая у нас будет производительность труда,— сказал Спивак.— Лишь бы сидели задом на своей точке.

В общем, новый заведующий был принят кафедрой в штыки (особое мнение Паши Рубакина не в счет, да и сам он на нем не очень настаивал).

Конкретные мероприятия начались на другой день. Лидия Михайловна вывесила приказ (дацзыбао — назвал его Маркин), которым предписывалось каждому преподавателю завести тетрадь учета времени (по предлагаемой форме). На столах были установлены таблички (типа ресторанных «стол занят») с фамилиями преподавателей и указанием часов присутствия. Осматривали мы эти таблички с опаской, как дикое животное оглядывает капкан. На бывший стол Энэна тоже была поставлена табличка «Флягин Виктор Андреевич» с более обширными, чем у других, часами присутствия. Особенно нас возмутило исчезновение головы витязя, ставшей за долгие годы как бы эмблемой кафедры...

— Приказали выбросить,— оправдывалась Лидия Михайловна,— я снесла домой как память...

Вот так началась наша новая жизнь «столообязанных». Шуметь на кафедре было запрещено, смеяться нам и самим не хотелось. Методические разговоры выносились в коридор (с обязательной записью в дневнике, сколько времени на них потрачено). Двоечники и дипломники больше на кафедру не допускались; их тоже принимали в коридоре на случайных скамейках, выкинутых из аудиторий за не-

годностью. Мимо мелькали и галдели студенты, и тут же на уровне их локтей и бедер шла переэкзаменовка, консультация... Иногда удавалось занять пустую аудиторию, из которой в любую минуту могли выставить (в институте с аудиториями было плохо). Зато на кафедре царила священная тишина, нарушавшаяся, только когда Флягин куда-нибудь выходил (тут уж мы давали себе волю!). В открытую против новых порядков («Аракчеевские казармы!») выступил Семен Петрович Спивак со свойственным ему темпераментом. Ему Флягин ответил невозмутимо:

— Не будем терять время. На очередном заседании вам будет предоставлено слово.

В общем, на кафедре стало тихо, мертво и бесплодно. Начисто исчез смех. Прежде, когда мы шутили, шумели, что называется, трепались, и жить было легче и работать. Все чаще я вспоминала мысли Энэна о творческой силе смеха...

Надо отдать Флягину справедливость: он не только с других требовал, но и с себя. Долгими часами он сидел за своим столом с книгой и конспектом, развернутыми рядом, низко наклонясь, как бы выклевывая со страниц знания,— читал и строчил, читал и строчил. Видимо, большими способностями он не обладал, но трудолюбие его было неслыханно («роботоспособность», как сказал Лева Маркин). Любая книга, за которую брался наш шеф, изучалась им всегда досконально, все доказательства проверялись до буковки и воспроизводились в конспекте. Читал он очень медленно, страниц по восемь — десять в день, зато читал на совесть. Праздником для него было найти в книге ошибку...

— Научный трупоед,— отзывался о нем Радий Юрьев.

Женщины роптали больше других. Бывало, они успевали в перерывах между занятиями забежать в магазин, в парикмахерскую; теперь это было исключено: отсиживай.

Очередного заседания кафедры ждали с нетерпением: всем хотелось выговориться. Началось оно с обсуждения дневников. Флягин опять выложил перед собой часы и сказал:

— Времени на то, чтобы прочесть все дневники, у нас не хватит. Я буду их изучать постепенно. А сейчас мы применим метод выборочного контроля. Лев Михайлович,— обратился он к Маркину,— вам предоставляется слово для зачтения дневника.

Маркин встал, смертельно серьезный, и начал:

— «*10 февраля.* 9.00—10.50 — занятия согласно расписанию.
11.00—12.15 — думал над доказательством теоремы 1.
12.15—14.00 — изучал § 10 главы III книги В. Болтянского «Математические методы оптимального управления». В доказательстве леммы запутался.
14.00—14.10 — шел в столовую.
14.10—14.50 — обедал. Попутно размышлял о непонятном доказательстве...»

— Остановитесь,— сказал Флягин.— Если вы преследовали цель высмеять мое распоряжение, то этой цели вы не достигли. Я знал, что встречу здесь оппозицию. Люди вообще сопротивляются любой попытке их дисциплинировать. Ваш прием — доведение до абсурда — здесь неуместен. Любому ясно, что записывать в таких подробностях каждый день вы не будете, да я от вас этого и не требую.

— Чего же вы требуете? — вскинулась Элла.

— Отчета в израсходованном рабочем времени, именно рабочем. Мытье, еда и посещение мест общего пользования туда не входят. Лев Михайлович, вместо того чтобы вышучивать мои распоряжения, лучше попытайтесь найти в них здравое зерно.

Он опять поднял неощипанную голову и улыбнулся. И опять в этой улыбке мелькнуло что-то человеческое... «Черт знает что такое,— подумала я,— враг есть враг, и нечего вглядываться в его улыбку». В том, что мы с Флягиным враги, я не сомневалась ни на минуту. Вся шерсть на мне вставала дыбом, как на кошке при встрече с собакой...

Были прочтены еще две-три выдержки из дневников. Флягин внимательно слушал, вносил поправки, делал замечания. Интересно, что каждого из преподавателей он уже твердо знал по имени-отчеству и, обращаясь к ним, ни разу не спутался.

— А теперь приступим к текущим делам. Кто хочет высказаться?

Пуская пар из ноздрей, поднялся Спивак:

— Будем говорить начистоту. Я возмущен теми методами администрирования, которые пытается проводить профессор Флягин. Наша кафедра — организм сложившийся,

со своими традициями. В целом мы неплохие специалисты, свое преподавательское дело знаем. Угроза и окрик не лучший способ воспитания. Лекций профессора Флягина я пока не слушал, но убежден, что они плохие. Лектор прежде всего должен увлечь студентов, повести аудиторию за собой. А кого и куда может повести за собой профессор Флягин? Тащить и не пущать — вот его девиз. А зачем — он и сам не знает.

Флягин побледнел.

— Зачем, я знаю,— тихо ответил он.— А лектор я действительно плохой, вы угадали.

— Нетрудно было угадать! Прежде всего у вас каша во рту. Какой-то оратор древности, чтобы улучшить дикцию, клал в рот камешки. Вы, наверно, себе их переложили. Если мы, рядом сидящие, вас плохо слышим и понимаем, то каково студентам? Или вы нарочно над нами издеваетесь?

— Ни над кем я не издеваюсь,— еще тише сказал Флягин (в его бледности появилось что-то мертвенное).— Семен Петрович, мне ясно одно: нам с вами сработаться будет трудно. Может, вы подадите заявление об уходе?

Все онемели. Спивак на секунду опешил, но тут же опомнился и закричал:

— Подам с удовольствием! Сегодня же подам!

Преподаватели зашумели. Встал наш завлаб Петр Гаврилович, похожий на большого, добродушного, но разгневанного пса:

— Как парторг возражаю! Вы тут, Виктор Андреевич, через край хватили! Кадрами, кадрами швыряетесь, и какими! Семен Петрович — один из лучших лекторов, гордость института! Вы студентов спросите, что такое Спивак!

— Да я что,— сказал Флягин,— я на своем не настаиваю. Если хотите, я готов извиниться.

Какое-то странное простодушие было в его манере. Полное отсутствие самолюбия.

— Не надо мне ваших извинений! — заорал Спивак.

— Пускай извинится! — сказал Петр Гаврилович.

— К черту! — крикнул Спивак, вышел и дверью хлопнул.

Кафедра еще некоторое время гудела. Когда шум затих, Флягин посмотрел на часы и спросил:

— Кто еще хочет высказаться?

— С тем же результатом? — съехидничал Маркин.— Боюсь, вы останетесь без сотрудников.

— Я же сказал, что готов извиниться. В случае с Семеном Петровичем я был не прав.

Я подняла руку:

— Можно мне?

— Пожалуйста, Нина Игнатьевна.

— Я тоже принадлежу к тем, кто против мелочной опеки. Слов нет, дисциплина важна, но важней дисциплины дух коллектива. Это хорошо понимал Антон Семенович Макаренко, воспитывая малолетних преступников. Этого не понимает профессор Флягин, берущийся воспитывать педагогов. Любой воспитатель должен учитывать, с каким коллективом он имеет дело. И в любом случае нельзя оскорблять людей. Если вы надеетесь, что я тоже подам заявление об уходе, то напрасно. Вам придется самому меня уволить.

Я села. Флягин сидел, опустив голову. Внезапно он ею встряхнул, как бы прогоняя сомнения, и спросил:

— Кто еще хочет высказаться?

Никто не хотел.

— Если желающих нет, заседание кафедры считаю закрытым,— сказал Флягин и вышел.

Итак, война была объявлена. Оставалось ждать дальнейших событий.

Семен Петрович в тот же день написал заявление об уходе, но мы его уговорили не подавать. Мало ли как может обернуться дело. Уйдет Флягин, или его не утвердят. Пока что конкурса он не проходил (какие-то формальности этому мешали). И что, в конце концов, важнее: один самодур или коллектив, в котором ты работал много лет? Семен Петрович, ворча, согласился, что коллектив важнее, и заявление разорвал.

Наступило временное затишье. Флягин поубавил резвости в своих начинаниях, как будто что-то обдумывал, ниже склонял голову над столом, реже подавал голос. На кафедре было невесело...

У меня с ним с первого же дня сложились отношения самые гнусные. Ни я, ни он этого не скрывали. Бывает антипатия физиологическая — именно такую я испытывала к Виктору Андреевичу. Попросту находиться с ним в одной комнате мне уже было невыносимо.

Особенно это усилилось после того, как Флягин добрался до моей «комиссии по наследию». Изучая с усердием, достойным лучшего применения, протоколы заседаний, кафедры, он вычитал там, что я возглавляю эту комиссию, и сразу же потребовал от меня отчета. Я стояла возле его стола.

— Садитесь,— с учтивостью вурдалака сказал Флягин.

— Ничего, я постою.

Тогда он тоже встал.

— Доложите о положении дел с научным наследием,— сказал он со своей кашей во рту.

Кратко и нарочито медленно я сообщила о положении дел: рукописи почти все прочтены, приведены в порядок.

— Сколько нужно времени на то, чтобы закончить эту работу?

— Недели две.

— Недели две — это не срок.

— Две недели.

— Хорошо. Через две недели мы вас заслушаем на кафедре.

Он что-то занес в записную книжку, близко и слепо поднесенную к глазам.

Итак, пришло время отчитываться... Но не могла же я на заседании кафедры под председательством Флягина, при его скверной улыбке сказать правду — что никакого научного наследия не оказалось! Нет уж. Пришлось мне спешно заканчивать мое «изделие»...

Я просидела над ним несколько ночей и два выходных. Получилось не так-то уж плохо. Нормальная научная работа, даже, пожалуй, с идеей. Можно поверить, что его. Я переписала ее в старомодной манере Энэна (это еще и тем было удобно, что страниц оказалось примерно вчетверо больше), перепечатала на машинке, вписала формулы. Присоединила к этому ранее отобранные и подготовленные материалы. Ну что ж, с этим, в конце концов, можно было и выступить...

Волновалась я перед докладом неумеренно. Впрочем, это не помешало мне схулиганить — снять с руки часы, со стуком положить их на стол и сказать: «Не будем терять время». Раздалось хихиканье. Я докладывала кратко, по возможности четко.

Меня удивил Флягин. Оказывается, готовясь к этому заседанию, он не поленился изучить все (по крайней мере, главные) завалишинские работы. Это видно было из его вопросов. Принимая во внимание его черепаший темп, это было одним из геракловых подвигов.

— Ну-ка дайте сюда,— сказал он мне, когда я кончила.

Я подала ему все три рукописи. Первую — настоящую энэновскую, которую я пыталась освежить, перейдя к новым обозначениям. Вторую — подредактированные размышления Николая Николаевича о высшем образовании. Наконец третью — мое «изделие»...

Флягин погрузился в них усердно и низко. Согбенность позы как бы подчеркивала усердие. Удивительно, но другими обозначениями провести его не удалось. Он сказал:

— Ничего нового. Опубликовано в таком-то году в таком-то журнале. Интереса не представляет.

— Позвольте, в этом новом варианте рассмотрен более общий случай, не при таких жестких ограничениях...

— Интереса не представляет,— повторил он.

В сущности, он был прав, но противен мне до того, что это меня ослепляло.

— Предлагаю включить статью в посмертный сборник,— упрямо сказала я.— Все мы смертны,— прибавила я с дурацкой многозначительностью.

Он поднял на меня невыразительные серо-голубые глаза и ухмыльнулся:

— Не возражаю. Можете включать под этим предлогом.

Заметки о высшем образовании он читал, наверно, полчаса, а я тем временем бесилась. Лицо у него было как у человека, жующего лимон.

— Не пойдет,— сказал он, закончив чтение.

Надо ли мне было настаивать? Ведь, в конце концов, Энэн и сам не считал эти наброски до конца додуманными...

Флягин взялся за третью рукопись. Я так и слышала заранее его кислый голос: «Не пойдет»... Странное дело, он этого не сказал.

— Вы не будете возражать,— спросил он,— если я возьму эту работу домой и подробно с ней ознакомлюсь?

— Разумеется, нет.

Через неделю он принес работу и сообщил кратко:

— Все в порядке. Можно публиковать. Конечно, переписав это в современной, матричной форме.

Вот тебе и на! А я-то столько сил потратила как раз на обратное! Я обозлилась и сказала:

— Мне кажется, работы покойного Николая Николаевича Завалишина не нуждаются в редактировании. Они широко известны как у нас, так и за рубежом. Ни одна из них не написана в матричной форме.

— Пожалуй, вы правы,— согласился Флягин, почесывая мизинцем свой острый нос.

И мизинец и нос особенно были мне глубоко противны. Но, так или иначе, дело кончилось в мою пользу. Я одержала маленькую, но все же победу. Это меня подбодрило, и я начала хамить. Грустно признаться, но в нашей хронической ссоре с Флягиным справедливость далеко не всегда

была на моей стороне. Он так же терпеть меня не мог, как и я его, но выражал это более сдержанно.

Однажды он пришел ко мне на экзамен. Отвечал мне студент, которого я хорошо знала по упражнениям в течение года. Не блестящий, но старательный, тугодум, к тому же с легким дефектом речи. Флягин подсел за мой стол. Медлительность студента его раздражала и мое терпение тоже. Вдруг он задал студенту какой-то вопрос — быстро, неприятно и непонятно. Студент ничего не понял, глядел на него, как мышь на удава.

— Будьте добры, Виктор Андреевич,— сказала я,— повторите вопрос, и как можно отчетливее. Мои студенты привыкли к отчетливой речи, тем более на экзамене.

Флягин поглядел на меня с отвращением и повторил вопрос чуть ли не по складам. Студент, ошарашенный, медлил с ответом. Вопрос был какой-то нечеловечески заковыристый. Если б его задали мне, я бы тоже затруднилась с ответом...

— Двойка,— быстро сказал Флягин.

— Кому? — спросила я.

— Конечно, ему.

— Давайте выйдем в коридор,— предложила я.

Мы вышли. У меня стучало в ушах.

— Думаете ли вы, Виктор Андреевич, что я своего предмета не знаю?

— Нет, не думаю. Вы знаете, а этот студент, конечно, не знает.

— Так вот я тоже не могу ответить на тот вопрос, который вы ему задали. Мало того что сложный, этот вопрос был еще скверно сформулирован, специально чтобы запутать. Можете ставить мне двойку, можете вообще меня уволить, но пока я читаю этот курс, на экзамене хозяйка я, а не вы. Я вас прошу не вмешиваться в ход экзамена, не задавать вопросов. Присутствовать можете, но не более.

Решительно этот человек — загадка. Он ничего не сказал, повернулся и ушел. Я возвратилась в аудиторию, поставила студенту четыре и продолжала экзамен. Помогавшая мне Элла Денисова была удивлена моим видом:

— Что с вами, Нина Игнатьевна? Вы бледны, как сама смерть.

(Элла иногда любит пышные выражения.)

— Ничего,— сказала я,— просто поругалась с Флягиным.

— Так я и знала! Во паразит!

«Паразит» и «сама смерть» в такой непосредственной близости меня позабавили...

А с Флягиным у нас как-то все пошло вразнос, иногда даже за пределы приличия. Разговаривать друг с другом мы перестали. Если ему надо было передать мне какое-нибудь поручение, он обращался ко мне не прямо, а через Лидию Михайловну. Подзывал ее к себе и говорил:

— Пожалуйста, скажите Нине Игнатьевне, что ей нужно сделать то-то и то-то.

Он сидел от меня в каких-то двух метрах. Не глядя на него, обращаясь только к Лидии Михайловне, я отвечала что-нибудь вроде:

— Лидия Михайловна, я слышала то, что сказал Виктор Андреевич. Пожалуйста, передайте ему, что то-то и то-то я выполнить отказываюсь по такой-то и такой-то причине.

Или же (вариант):

— ...что его распоряжение будет выполнено.

И смех и грех. Что-то из детского сада. Даже Лева Маркин, обычно меня поддерживающий, в данной ситуации винил не Флягина, а меня:

— Вам, как говорится, попала вожжа под хвост. Хорошим это не кончится.

Что верно, то верно... А пока что вечная оппозиция Флягину была плоха тем, что лишала меня самостоятельности. Раньше у меня была своя позиция — она исчезла. Я как будто потеряла себя, превратилась попросту в «анти-Флягина». Он был требователен к студентам до жестокости. Я стала снисходительна до мягкотелости...

Как-то мне сдавала экзамен студентка Величко, усердная, но недалекая. Этакая миловидная блондинка, волосы по плечам, пожалуй, слишком высокая (впрочем, теперь это в обычае). Взяла билет, села на самую дальнюю скамейку, начала готовиться. Видно, знала неважно, была бледна, вытирала платком лоб и щеки. Долго готовилась, потом по моему настоянию села рядом, начала отвечать. После каждого вопроса вздрагивала, как пугливая лошадь: «Можно, я подумаю?» — шевелила беззвучно губами, припомнив, отвечала точно по книге, но без понимания. Когда мне так отвечают, на меня нападает ужас: какой огромный труд затрачен зря... В чем-то, видно, виноваты и мы, преподаватели: не умеем научить думать... Так сидели мы и мучились обе, и вдруг она сказала:

— Нина Игнатьевна, поставьте мне неуд, я сегодня не могу отвечать.

И в самом деле бледна она была «как сама смерть», по Элле Денисовой.

— Что с вами? Вы больны?

— Нет... Но мне пора кормить ребенка... Понимаете, молоко...

О, я это хорошо понимаю. По себе знаю, как трудно кормящей матери ждать, ждать часами и знать, что где-то там твой маленький тоже ждет, плачет...

— Что же вы раньше не сказали? Идите кормите. Вы подготовились хорошо. Дайте зачетку...

Сама не понимаю, как это случилось, но рука сама вывела «отлично»... Она была удивлена, глазам не верила.

— Идите кормите...

Первый раз в жизни я поставила пять за ответ, красная цена которому три. Вот тебе и высокая принципиальность, за которую меня всегда восхваляет Спивак...

А все Флягин, черт его подери!

ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

С некоторых пор меня навязчиво преследует мысль о конечной судьбе каждой вещи. Мы со всех сторон окружены вещами. Каждая из них не вечна, истлевает, рассыпается, в каком-то смысле умирает, только в отличие от людей не сразу.

Гляжу на какой-нибудь ботинок и мучительно размышляю о его дальнейшей судьбе. Ну, сейчас он еще жив, пока его носят. Через какое-то время он проходится; может быть, его отдадут в починку и он еще проживет какое-то время. Потом он будет признан непригодным и выброшен. Куда? В наших городских условиях скорее всего в мусоропровод, это своеобразное кладбище для вещей. Но ведь и там его судьба не кончается. Где, когда, на каких полях орошения будет он в конце концов истлевать, скорченный, скособоченный, разинув рот, вывалив наружу язык? Какие дожди, какие снега пройдут над ним, пока он не истлеет окончательно и не сольется, неразличимый, с земной перстью?

Мысль о конечной судьбе каждой вещи стала у меня чем-то вроде idée fixe. Дай мне волю, я бы, пожалуй, хоронил вещи, зарывал их в землю, чтобы помочь им избежать посмертных мытарств. С мрачным юмором представляю себе старика, хоронящего свои ботинки из жалости к ним...

Вот и эти записки следовало бы уничтожить из жалости к ним. Лучше всего было бы предать их огню — веселому,

всепожирающему, как костры моих детских лет. Но в современной квартире без единого очага, где есть только безличный голубой огонь газа на кухне, очень трудно что-либо сжечь. Кроме того, записки эти еще живы, и уничтожить их попахивало бы убийством.

И еще одно. Хотя разумом я знаю, что жить мне осталось недолго, я, стыдно признаться, не верю в свою смерть. В моем тайном самосознании я вечен.

И опять — детство! Видно, я о нем еще не дописал. Допишу ли?

Я уверен: как бы ни обидела человека судьба, она не в силах отнять у него детство. Если оно было светлое, сияющее, человек счастлив до конца своих дней. В сущности, я счастлив.

Мое детство даже не сияло — оно искрилось, вспыхивало. Средоточием всего был отец. Низенький, лысый, удивительный человек с небольшими светло-карими глазами, которые умели быть и строгими и смеющимися.

Теперь я понимаю, что в те времена он был молод: ловко катался на коньках, делал гимнастику, играл гирями. Но уже тогда он был лыс. В моем представлении он был изначально лысым; с недоверием разглядывал я его юношеские фотографии: там он был с волосами, и это было хуже...

Звали мы его не папа, а Пулин. Странное имя, возникшее, вероятно, из «папуля», «папулин», но когда-то очень давно. Сколько я себя помню, слово «Пулин» уже утвердилось как его личное, собственное имя. Рискуя быть смешным, я и в этих записях (не предназначенных, впрочем, для чужого глаза) буду называть его Пулином.

Родители назывались Пулин и Мамочка — слитная двойная формула вроде Пат и Паташон, Шапошников и Вальцев... Мамочка была черноглазая, полная, смешливая, близорукая. Большая мастерица и рукодельница. По мировоззрению язычница, жизнелюбка, огнепоклонница, как и я. Сама по себе человек интересный, но Пулин ее всегда затмевал: он был главный, она при нем, вроде тени.

Лысый, он был по-своему благородно красив. Голову всю, кроме лысины, он брил, и сочетание нарядной розовой головы с молодыми блестящими глазами создавало особый эффект. Я, по крайней мере, видел его красавцем.

Математик по образованию, он был директором одной из старейших московских гимназий. Жили мы там же, при гимназии, в большой казенной квартире, на втором этаже

старинного желто-белого здания с крутыми сводами и закругленными окнами. Из окон был виден гимназический плац и дальше за ним старый сад, полный развесистых лип с дуплами и черно-железными заплатами на стволах. Плац зимой заливали, и он становился катком, по которому лихо разъезжали гимназисты, щеголяя друг перед другом голландскими шагами, крюками и выкрюками. Катался и Пулин в черном в обтяжку костюме, в барашковой шапочке. Меня он тоже учил кататься, но я был туп — дальше самых элементарных фигур не пошел.

Гимназисты своего директора боялись и обожали. Попасть к нему на разнос было одновременно страшно и упоительно, вроде сказки с ужасами и счастливым концом. Это я знал от своих товарищей. Сам я учился в той же гимназии, но никакими привилегиями не пользовался, наоборот: с меня, директорского сына, учителя взыскивали строже, чем с других. Нередко мне приходилось слышать: «Не позорьте своего имени!» А я его частенько позорил, ибо был непоседлив и изобретателен. На разнос меня вызывали к инспектору. Я этого не боялся. Холодный взгляд Пулина, когда мы встречались в коридоре, был страшнее любого разноса.

Наблюдая его — директора, педагога, отца,— я навсегда понял, какая великая вещь воспитание смехом. Смех, благороднейшая форма человеческого самопроявления, к тому же и гениальный воспитатель, творец душ. Посмеявшись, человек становится лучше, счастливее, умнее и добрее.

Вывод из моей долгой практики: читая лекции, не надо жалеть времени на смешное. Любую научную информацию можно найти в книгах; научного смеха, как правило, там нет.

Ценя смех как важный элемент учебно-воспитательного процесса, я, грешным делом, не люблю тех лекторов, записных остроумцев, которые из года в год тешат аудиторию одним и тем же набором анекдотов. По-моему, вообще анекдот — низшая разновидность юмора. Смешное, чтобы быть воспитательным средством, должно рождаться тут же, на глазах у аудитории. Обмануть ее нельзя. Студент — существо коллективное и как таковое весьма умен. Его на мякине не проведешь. Он прекрасно умеет отличить настоящую шутку, внезапно сказанную по случайному поводу, от заранее заготовленного фабриката.

Воспитательная сила смеха еще и в том, что смеющийся человек больше склонен любить самого себя, а это великое

дело! Предвижу возражения («Проповедь себялюбия!»), но все же настаиваю: человек лучше всего, когда он сам себя любит. Если вам хорошо, если вы свежи, веселы, дружелюбны, работоспособны — разве вы не любите наряду с другими и себя самого? А те, кого неправильно называют себялюбцами,— разве они любят себя? Нет, они серьезно, жертвенно, похоронно сами себе служат.

Но это отступление. Вернусь к Пулину. Писать о нем доставляет мне наслаждение, словно я воскрешаю его, ставлю перед собой, трогаю руками.

Талантлив он был необычайно, разносторонне. Прекрасно играл на скрипке. Замечательно читал вслух. Рисовал акварелью, писал стихи (главным образом шуточные). Обладал ярким актерским даром.

О чтении вслух. Нынче этот обычай в семьях как-то вывелся. Все заняты, разобщены. Считается, что любой грамотный человек может все что угодно прочесть сам.

В прежние времена было не так. Совместное восприятие литературы было формой общения. Вспомним романы прошлого века — сколько в них сцен чтения вслух (обычно он, влюбленный, читает ей, любимой). А у Данте — Паоло и Франческа («И в этот день они уж больше не читали...»)? В какой-то мере этот пробел заполняет телевизор, но в очень малой. Смотрят телевизор одновременно, но порознь.

В нашей семье чтение вслух было ритуалом, праздником.

Годами подряд каждый вечер перед сном, когда мы, дети, вымытые на ночь, помолившиеся, одетые в длинные, до пят, ночные сорочки, лежали в своих кроватях, начиналось самое главное: приходил Пулин и читал нам вслух.

Читал он великолепно, артистически, но не как профессиональный чтец (таких я терпеть не могу), а как посредник, интерпретатор, знакомящий самых своих дорогих с самым для себя дорогим. Его прекрасный, довольно низкий голос менялся, переходя от роли к роли, от реплики к реплике. Он словно показывал нам драгоценный камень, поворачивая его разными гранями и любуясь его игрой.

Мамочка тут же присутствовала, сидя в кресле за рукоделием; иногда, не выдержав, восклицала: «Какая прелесть!» — но тут же хватала себя за рот: Пулин не любил, чтобы его прерывали.

Чего только не услышали мы в его чтении! Всего Гоголя от «Вечеров на хуторе» до «Мертвых душ», включая вторую часть (читалась отрывками), после чего была нам рассказана трагическая история сожжения рукописи (до сих пор не могу забыть боли, которую тогда испытал!). Толстой: «Детство» и «Отрочество», «Севастопольские рассказы», «Война и мир». Достоевский: «Записки из мертвого дома», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»... А Гончаров, Тургенев, Помяловский, Лесков! Всего и не сочтешь! Теперь понимаю, какой это был титанический труд: прочесть своим детям всю русскую классику! И не только русскую: были тут и Марк Твен, и Диккенс, и Гюго, и Конан Дойль... Все это нам читалось в тогдашних наивных, бесхитростных переводах, которые мне до сих пор нравятся больше теперешних, изощренных. Помню наши детские светлые слезы над злоключениями Жана Вальжана, маленького Давида Копперфильда; помню страх и волнение, вызванные грандиозным образом баскервильской собаки...

Кстати, о страхе. Чудесное мое детство знало и страх. Помню изначальный страх темноты, от которого долго не мог отучить меня Пулин. Он не смеялся надо мной, не бранил меня за трусость. Он просто брал меня за руку и вел в самое жерло темноты...

Почему-то эти страхи не противоречили общему чувству упоения жизнью, а как-то парадоксально его поддерживали. Мертвецы, встающие из могил в конце гоголевской «Страшной мести», эти костистые руки, которые «поднялись из-за леса, затряслись и пропали», до сих пор вызывают у меня блаженные мурашки по коже. Конечно, далеко не в такой степени, как в детстве. Тогда это было чувство высокого ужаса, как у Пушина:

От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы...

...Эти волшебные вечера, когда Пулин читал нам вслух! Электрического освещения тогда еще не было (по крайней мере, у нас). Пулин читал при керосиновой лампе, бросавшей на его лицо и красивую лысину яркие блики. Тень от его головы на стене была бархатно-черной. Я до сих пор люблю керосиновое освещение, недолюбливаю белый казенный электрический свет и уж совсем не выношу так называемых ламп дневного света (ими недавно оборудовали наш институт). Свет у них не дневной, а мертвый,

покойницкий. Синие цвета в нем свирепеют, красные гибнут.

Итак, о вечерних чтениях. Они кончались всегда в строго определенное время (в девять часов), после чего Пулин прощался с нами, подходя по очереди к каждой кровати и целуя каждого в щеку. У моей кровати он как будто задерживался дольше других (вероятно потому, что я был самый младший, но мне хотелось думать: самый любимый). «Пулин»,— говорил я ему, и он отвечал: «Тс-с...» Это был как будто наш сговор об особенной взаимной любви. После Пулина подходила прощаться Мамочка — мягкая, душистая, очень своя. Я всегда норовил коснуться ресницами оправы ее очков. Как бы мы ни нагрешили за день, вечер был наш, и эта прощальная ласка — наша... Потом в детской гасили лампу, прикрутив фитиль и подув на него, и губы дующего на мгновение высвечивались особенно ярко. Волшебный запах погасшего фитиля долго еще плавал в воздухе, и как будто из этого запаха возникало ночное мерцанье лампадки...

Было у меня с Пулином и особое, только наше с ним общение. Когда я немного подрос, он начал со мной заниматься математикой privatissime, как он говорил по-латыни. Эти «приватнейшие» уроки, с глазу на глаз, сделали меня тем, кем я впоследствии стал и кем, к сожалению, перестал быть (но это вопрос особый).

Как он гордился моими успехами, как радовался, когда я, окончив университет, был оставлен при кафедре (ему самому научной карьеры сделать не удалось — помешала ранняя женитьба, семья). И как жаль, что до моего профессорства он не дожил... Умер он в двадцать пятом году, еще молодым, по теперешним моим понятиям, от разрыва сердца (теперь сказали бы — от инфаркта). Мамочка ненадолго его пережила, тенью ушла за ним в могилу. В день, когда мне было присуждено звание профессора, я пришел на кладбище и постоял у их общей могилы со шляпой в руках.

Никого и никогда в жизни (даже Нину!) я не любил так исступленно, как любил отца. Он был моим божеством. Его голос, блеск глаз, головы, весь его чистый и крепкий облик представлялись мне совершенством. А больше всего покоряло в нем непостижимое слияние серьезности, глубины и постоянной готовности к смеху.

В сущности, он был строгим отцом. Одной поднятой брови Пулина мы боялись больше, чем любых Мамочкиных красноречивых упреков. Она нас иной раз шлепала — он

никогда пальцем не трогал. Наказывал нас иначе: пассивностью, неподвижностью, вынужденным бездельем. Вел провинившегося к себе в кабинет, сажал на диван, запретив двигаться и разговаривать, сам же садился за стол заниматься. Для меня это было ужасно, я сидел, уже через минуту весь истомившийся, задыхаясь, полный ропщущих мыслей, но сознавая свою вину. Иногда, не выдержав каторжного безделья, я начинал под шумок таскать конский волос из тела дивана. Пулин поднимал голову — и я замирал. Обои в кабинете были узорчатые, темно-вишневые; до сих пор для меня этот цвет как угрызение совести.

И наряду с этим в веселые минуты он был проказлив, как мальчик. Он общался с нами, детьми, на равных, всегда был зачинщиком наших потех. Теперь должность зачинщика потех штатная, его называют затейником — о, Пулин не был затейником, в его озорной, разудалой веселости было что-то сродни философским выходкам средневековых шутов.

Излюбленным материалом, с которым он работал, были слова. Играя ими, как жонглер, он сочинял шарады, пословицы, каламбуры, пародии. «Все люди делятся на два разряда,— говорил Пулин,— одни живут как молятся, другие — как беса тешат». Надо ли говорить, что мы (семья) относились ко второму разряду? «Тешенье беса» шло у нас перманентно и разнообразно. Разговаривали мы на каком-то сумасшедшем жаргоне («гажечка», «вонтик», «борзятина»). В ходу были «убольшительные» слова: вместо «чашка» говорили «чаха», вместо «ложка» — «лога». Пели песни, пародируя народные; у одной, например, были такие слова: «Ты прости, прощай, сор дремучий тир...» Нет, этого не расскажешь — получается глупо, глупо и глупо. А в этих глупостях был какой-то нам ясный сверхсмысл...

А как мы ходили! Нам было мало просто переставлять ноги — у нас было множество разных походок, у каждой свое название, своя выразительная функция. Например, ходить «лапчатым шагом» значило мелко катиться на ступнях как на колесах; выражалось этим подобострастие. Ходить «наступальником» — агрессивно притопывать правой ногой, подтаскивая к ней левую («Сам черт мне не брат»). Была еще походка «круто по лестнице» — лестницы никакой не было, мы ее изображали осанкой, пыхтением...

Как я теперь понимаю, Пулин в своих «постановках» пользовался приемами, в чем-то похожими на приемы китайского классического театра, о котором тогда и не

слыхивали (по крайней мере, в нашем кругу). Много лет спустя, увидев в китайском спектакле нашу домашнюю походку «наступальником», я был потрясен...

Вне сомнения, он был остроумен, но очень по-своему. Я не помню, например, чтобы он рассказывал анекдоты, смешные истории. Смешное делалось из подручного материала: слов, жестов, выражений лица. Чуть-чуть смещенное слово, сдвинутый акцент, пауза — и готово: смейся до упаду, до счастливых слез!

Помню, однажды я подошел к нему и, ласкаясь, прижался щекой к его лысине. Она была горяча, а щека прохладна. Пулин поднял на меня глаза и произнес торжественным ямбом: «Глава огнем пылает. Щека хладит главу». Казалось бы, что тут особенного? А я чуть не умер со смеху. До сих пор, вспоминая, смеюсь.

И зачем я все это здесь записываю? Все равно передать словами его интонацию невозможно. Она живет только в моем сознании и, когдя я умру, исчезнет. Пишу затем, чтобы сейчас для себя одного что-то воскресить, закрепить, зафиксировать. Но, ударившись о бессилие слов, отступаю.

Пулин был из тех редких людей, которые в любых условиях, в любых обстоятельствах остаются самими собой. Пользуясь математическим термином, он был инвариантен по отношению к внешней среде.

После революции гимназию расформировали, здание заняли под какое-то учреждение с многоэтажным названием. Из квартиры нас выселили в другую, тесную и холодную. Пулин на все эти перемены смотрел хладнокровно, даже с веселым любопытством в отличие от большинства своих коллег, впавших в панику.

Лишившись своего положения и привилегий, он сразу же пошел рядовым учителем математики в Единую трудовую школу (ЕТШ). Состав учащихся был самый пестрый — от институток до беспризорников. Пулин и к этим детям находил дорогу, сочетая строгость со смехом...

В трудное время гражданской войны и разрухи жизнь была полна лишений — не хватало еды, одежды, дров... Каждое из них он умел обыграть, сделать предметом новых и новых шуток. Дома у нас было ужасно холодно, мы топили стульями, распилили на части буфет. У Пулина зябла голова, и он надевал на нее колпак от чайника — пышное сооружение с гребешком и лентами. Этот колпак он называл тиарой. Пулин в тиаре — до чего же он был хорош, как полон достоинства! Когда я уезжал на фронт, он кивнул мне головой в тиаре...

Он до сих пор для меня жив. Иногда я, старый человек, наедине с собой говорю вслух: «Пулин!» — и слышу в ответ: «Тс-с...»

МАТВЕЙ ВЕЛИЧКО

Людиного сына назвали Матвеем. Это имя выбрала для него Ася Уманская (так звали ее покойного любимого деда).

Весна в этом году выпала ранняя, яркая (пробившийся сквозь черный снег левитановский «Март»). На улице, ослепленной солнцем, бесчинствовали воробьи, а небо было такое голубое — не небо, а небеса! Когда Ася с Людой вышли из родильного дома, такая кристальная радость сыпалась с этих небес, дрожала в лужах, капала с сосулек, что обе невольно зажмурились. Все ликовало. И Матвей на руках у Аси, ликуя, спал в голубом одеяле, осененный кружевным треугольником нарядной пеленки, разложив длинные ресницы по нежным щекам. Весь он был такой новенький, розовый, чистый — само совершенство!

— Ну признайся теперь, что дура была,— сказала Ася.

— Факт,— согласилась Люда.

Сама она, прозрачненькая, с синевой, казалась почти нематериальной (так бывает после трудных родов: не идет, а витает). Матвей дался ей нелегко. Мало того что тяжелый (четыре кило восемьсот!), он был еще необычайно длинный (шестьдесят два сантиметра, какая-то аномалия!).

— Видно, акселерация постигает молодежь еще во чреве матери,— сказала докторша, провожая Матвея в большую жизнь.— Вы и сами не маленькая, но этот... Вероятно, отец очень высокий?

— Нормальный,— ответила, покраснев, Люда.

— Ну, берегите своего богатыря.

Люда пообещала беречь.

Принесли в общежитие — Матвей спал. Развернули одеяло — спал. Было в этом длящемся сне какое-то упоенное торжество. Он потрудился, явившись на свет, и теперь отдыхал. Что ж, человек в своем праве...

— Аська, ну ты и даешь,— сказала Люда, с восторгом глядя вокруг себя.

И в самом деле, пока Люда лежала в роддоме, Ася все для Матвея приготовила: кроватку, постель, пеленальный столик с двумя стопками пеленок... Над будущим изголовьем Матвея висел огромный елочный шар. Он так и лучился,

раскачиваясь на длинной нити. Форточка была раскрыта, дул сквознячок — весенний, пахучий.

— Может, закрыть, простудится? — нерешительно сказала Люда.

— Ничего! Пусть закаляется, растет настоящим мужчиной.

Мужчина! Невероятно. В их женском общежитии поселился мужчина! Распеленали, чтобы проверить, и воочию убедились в его принадлежности к сильному полу. Голый, он был не так представителен, как в пеленках: красный, скорченный, посредине раздутый, вроде кувшинчика. Поторопились запеленать снова. Ни та, ни другая пеленать детей не умели. Люде показывали в роддоме, но она не усвоила. Ася оказалась проворнее и перехватила инициативу.

— Голову ему держи, голову! — паническим шепотом взывала Люда.— Так и болтается, вдруг оторвется...

— Глупости! Где ты видела, чтобы у животного сама собой оторвалась голова? — храбро отвечала Ася, на всякий случай все же придерживая мягкую, красноватую, в темном пушке головку.

В общем, увернула. Не таким щеголем, каким пришел из родильного дома, но для первого раза приемлемо.

Матвей упорно спал. Когда пришло время кормления, разбудить его не удалось. Совали ему грудь — не брал. Зажимали нос двумя пальцами — жалобно разевал рот, но спал.

— Да жив ли? — тревожилась Люда.

— Не паникуй. Теплый, дышит, значит, жив.

Положили Матвея в кроватку, сами сели за стол, поели, выпили чаю, но без особой охоты. Матвей спал.

— Мы-то едим, а он, бедный, голодный! — сокрушалась Люда.

— Ничего страшного,— отвечала Ася.— Ни одно животное не умирает с голоду в присутствии еды. Проснется, покормим.

Но и ей было не по себе. Какой-то столпник.

В дверь постучали. Явилась делегация однокурсников и вкатила коляску с подарками; выделялся огромный апельсинового цвета медведь, державший в растопыренных лапах книгу «Детское питание».

— Ой, ребята! — простонала Люда.

Сережка Кох, возглавлявший делегацию, объявил:

— Благодарности отставить, переходим к торжественной части.— Он встал в позу, простер руку и начал речь,

обращаясь к Матвею: — Гражданин Величко! Мы приветствуем в вашем лице смелого нарушителя законов, возбраняющих проживание в стенах общежития непрописанных лиц, тем более противоположного пола...

Матвей проснулся. Лицо его сморщилось, рот исказился жалостным оттопыром разинутых губ (как у древней трагической маски), и оттуда послышался кислый крик...

— Разбудил! Как не стыдно! — посыпались упреки.

— Наоборот, ребята, — сказала Ася. — Спасибо, что разбудил, а мы-то старались — никак! А теперь, извините, обеденный перерыв. Смотрины вечером.

Ребята ушли на цыпочках, а Матвей первый раз в жизни поел с аппетитом...

Спал он упорно недели две, Люда с Асей никак не могли добудиться. Развернутый, даже не морщился, лежал, сохраняя эмбриональную позу со скрещенными, кулечком сложенными ногами. «Пережитки утробной жизни» — называла эту позу Ася. Пеленая, она старалась выпрямить эти упрямые ножки — бесполезно, Матвей подтягивал их обратно и спал. В случаях особо затяжного сна вызывали из мужского общежития Сережку Коха (ему удалось выхлопотать постоянный пропуск — случай беспрецедентный!). Он становился в головах кроватки, простирал руку и возглашал:

— Гражданин Величко!

Этого было достаточно. Матвей сразу же просыпался и плакал, а после этого ел с аппетитом. Условный рефлекс.

За две недели упорного сна мальчик потерял в весе около шестисот граммов — во всем богатырский размах! — потом остановился, потом начал набирать и пошел, пошел...

Вот так началась у Люды с Асей их детная жизнь. Поначалу это оказалось не очень сложно, даже до удивления. Матвей спал. Потом, когда он отдохнул, оправился и вступил в свои права, все труднее и труднее. Он один, а их двое — и все же времени не хватало. Особенно донимали пеленки («щедрый талант» — называл Матвея Сережка Кох). Стирали в подсобке, только вешать негде было. Сначала, пока еще длился отопительный сезон, сушили на батарее. А когда перестали топить — ну прямо беда! Пробовали вешать на балконе — этому решительно воспротивилась комендант общежития Клавда Петровна (именно Клавда, а не Клавдия — она на этом особенно настаивала и обижалась, когда ее звали Клавдией). Это была женщина обширная, монголоидная, с приплюснутым носом и мужским голосом. Студенты над нею посмеивались («скопище

седалищ» — окрестил ее Кох), но и побаивались. Могучий темперамент в сочетании с пламенной верой в свою правоту рождает тиранов — таким тираном в общежитийном масштабе была Клавда Петровна. С трудом ее уговорили не поднимать скандала из-за Матвея, явно противоречившего правилам внутреннего распорядка, но видеть развешанные на балконе пеленки она уже не могла. Однажды явилась грозой в комнату, где жило «беззаконие» (дома была одна Ася с Матвеем), и раскатилась речью. В ответ на это Матвей одарил Клавду Петровну такой широкой, розовой, беззубой улыбкой, что она не могла устоять. После этого Люде с Асей было официально разрешено сушить пеленки в подсобке, для этой цели Клавда Петровна, с опасностью для жизни взгромоздясь на табурет, собственноручно натянула несколько рыболовных лесок — чистый капрон! («Такому королю дворца не жалко, не то что подсобки»,— говорила она.)

Матвей и в самом деле рос королем — единоличный властитель двух преданных женских душ. Если бы не пеленки, он бы особых хлопот не доставлял. Лучезарно-невозмутимый, толстенький, развитой, он уже в два месяца научился смеяться, в три с половиной сидеть, важно расставив перед собой крепкие ножки и привалясь к ним животом. Из пеленок рано переселился в ползунки — ценил свободу движений. Ася с Людой любили положить его поперек стола и глядеть, как он барахтался, быстро-быстро перебирая ногами (это у них называлось «ехать на веселом велосипеде»). Одно время обсуждалась идея, не отдать ли Матвея в ясли, но была отброшена как неконструктивная (институтские ясли уж больно далеко помещались, а в круглосуточные Ася с Людой отдавать не хотели). Одна беда — у Люды рано начало пропадать молоко.

— Сглазила меня, верно, твоя Асташова,— говорила она Асе.— Как сказала я ей про молоко, как поставила она мне пятерку, так и стало оно пропадать, пропадать... Глаз у нее черный.

— Ерунда! — возражала Ася.— Терпеть не могу суеверий. У нее, если хочешь знать, глаза не черные, а темно-серые, я специально смотрела. А если бы и черные? У меня черные, а я никого еще в жизни не сглазила. И вообще, стыдно в наш век космических скоростей верить в дурной глаз. Ты ее еще ведьмой объявишь!

— А что? Самая настоящая ведьма. Взгляд такой пристальный, недобрый. Глядит, словно двойку ставит.

— Попробуй доживи до таких лет, да еще с тремя детьми! У нас с тобой один, и то еле справляемся.

И в самом деле, справляться было все труднее, особенно в параллель с учебой. Донимали молочные смеси, которые приходилось носить из консультации, да еще каши, овощные отвары и пюре (их варили дома на нелегальной плитке). Академического отпуска решили не брать, чтобы не расставаться, кончить институт вместе: «Как-нибудь перебьемся». И перебивались. Сидели с Матвеем по очереди. У Аси вообще было свободное посещение, училась она между пеленками, кашами, смесями — в одной руке ложка, в другой книга. Люде было труднее, но и она держалась молодцом, не слишком обросла хвостами. Вначале они иной раз оставляли Матвея вообще одного: кричал он мало, только когда был мокрый (этого органически не выносил). Уходя, Ася и Люда договаривались с дежурной, чтобы, когда закричит, его переменить. Для трансляции крика Ася установила над изголовьем Матвея микрофон и от него сделала проводку к столу дежурной. Услышав по этой сигнальной системе крик Матвея, дежурная бежала менять пеленки, ползунки, а иной раз и одеяло. Правда, скоро такую практику пришлось прекратить: однажды Матвей, оставленный в одиночестве, ухитрился выбраться из кровати. Ася с Людой, вернувшись, застали его в противоположном углу комнаты, вдали от микрофона, совершенно мокрого, горько плачущего и успевшего ободрать и съесть обои с большого участка стены. С тех пор одного Матвея не оставляли, а в случае крайней необходимости прямо вручали его дежурной. Все три смены дежурных были поголовно влюблены в Матвея. Он хорошел на глазах. Прежний темный пушок на голове вылез, вытерся, сменился золотенькими кудрями, правда еще редкими («Локон, погоди немного, еще локон...» — говорила Ася). Глаза из молочно-синих сделались голубыми, певучего блеска. Похож становился на Олега все больше и больше, даже ямочка на подбородке его. Этого сходства очень боялась Люда, свято таившая секрет происхождения Матвея («Ладно, будем считать за непорочное зачатие»,— распорядился Сережка Кох; все его послушались, ни о чем не расспрашивали).

В свите поклонников Матвея была и комендантша Клавда Петровна. Заглянет, потетешкает, споет песенку: «Литатинушки, татинушки, тата! Литатусеньки, татусеньки, тата!» Матвей невозмутимо подпрыгивал у нее на руках; когда она уставала, подбадривал ее каким-то гортанным хрюканьем: мол, чего остановилась, пой дальше!

Из двух обитательниц комнаты она больше подружилась с Асей. Та очень уж внимательно ее выслушивала, а этим Клавда Петровна не была избалована. Такая собачья должность — кричи да кричи, а по душам поговорить не с кем...

— Слушай, Аська. Моя судьба — это целый романс. Три месяца рассказывать не хватит. Я мчалась по жизни, гонимая парусами. Я тип Аксиньи — читала у Шолохова? Если б не поздно родилась, была бы уверена, что это он с меня писал. Что-то особенное! Я толстая. Я в объеме толстая. Не верь, кто тебе скажет: худенькой лучше. Мужчины предпочитают толстых. Был у меня один задушевный друг — ну просто обмирал от моего объема. Говорил: богиня. Теперь, приближаясь к пенсионному возрасту, от богини мало осталось, но все-таки есть. Прошлый год в доме отдыха два старичка почти предложение делали. Но я стариками не интересуюсь, мне лучше моложе себя. Был у меня такой — ну не описать. Сильный духом. Люблю мужчин, сильных духом,— что-то особенное. Понес ущерб в личной жизни. Ну, я его поселила в моей. Комната шестнадцать метров, телевизор. Я тоже не обсевок, стыдиться нечего. Я только фактически шесть классов кончила, а в душе — с законченным средним. Жили хорошо. Придет с работы — я ему бутылочку, селедочку. Выпьем, закусим и ляжем смотреть телевизор. Чем плохо? А все-таки он, паразит, от меня ушел. На другую польстился. Молодая, красивая, ноги как твои яблоки. Плохого про нее не скажу, только его обвиняю. Мужчина всегда виноват по природе. Вот и Люську не обвиняю, зачем родила. Он виноват, его бы прижать: плати алименты! Люська излишне чокнутая в смысле принципиальности. Сказала бы — кто, на него нажали бы силами общественности. Небось платил бы как миленький.

Ася пыталась что-то возразить, но Клавда Петровна не слушала.

— Я об себе. Встретила одного. Говорит так по-старинному, вежливо. Навещал всегда с красными гвоздиками. Понравился. Это у меня чисто нервное: я благодарная и привязчивая. Думаю: почему нет? В меру сил и других явлений. Однако вошел в близость и стал позволять. Во-первых, жадный, я этого не люблю. Говорю: «Надо купить мыла». А он: «Стирают руками, а не мылом». Надо же! Сначала я его боготворила, а потом стала дискредитировать. Дальше — хуже: оказалось, у него чужая жена и чужая подруга. Я терплю по свойству нервной системы. Потом не хватило терпения. Ты подумай: выпьет и в комна-

ту входит задом. Попереживала и рассталась. Теперь никого нет. Больше горя от них, чем радости. Да и здоровье пошатнулось. Выйдешь на улицу, раз-два, смотришь — вступило...

— А детей у вас не было? — спрашивала Ася. Все касающееся детей теперь для нее было мучительно интересно.

— Нет, не было. Все в полноту ушло.

«Неужели и у меня,— думала Ася с сердечной болью,— никогда не будет своего ребеночка?»

О том, что у Люды родился сын, она до поры до времени домой не писала, думала: расскажет при встрече.

Весеннюю сессию сдали нормально — Ася на все пятерки (спасала ее прочная репутация), Люда, конечно, послабее, но тоже без двоек. Троечки были, но со стипендии все равно не сняли как кормящую мать. Приближались каникулы, на носу отпуск, а куда ехать? И главное, как быть с Матвеем?

Беда в том, что Людина мать Евдокия Лукинична тоже до сих пор про Матвея не знала. Люда боялась ее волновать (сердце слабое) и от письма к письму все откладывала. Мать у нее была правил строгих, свою вдовью жизнь прожила без единого пятнышка, хоть в микроскоп разглядывай. Теперь писала Люде, что стало хуже со здоровьем, что-то такое про смерть («Дежурит старая с косой!»), просила Люду приехать повидаться хоть на две недельки, попрекала, что прошлый год не выбрала времени. Писала, как теперь, выйдя на пенсию, погибает в тоске, постарела, опустилась. Как начал к ней ходить какой-то отец Яков с божественными речами («У нас многие на это дело с пенсии подаются»).

Люда мучилась: как быть? Ребенка незаконного мать ей не простит, и не надейся. Главное, не самого ребенка, а осуждения, как начнут о ее дочери судачить по вечерам на скамеечках...

Ася нашла выход: Люде ехать одной, без Матвея, потихоньку подготовить мать и при случае признаться. А ей самой, Асе, отвезти Матвея на Украину к своим старикам.

— Как же ты им его объяснишь?

— А им и объяснять не надо. Они у меня без предрассудков. Привезла ребенка — и все.

Так и порешили. Отработали практику, отдежурили по противопожарной обороне; пришло время расстаться. Люда уезжала первая, Ася с Матвеем еще оставались на

несколько дней (с билетами на Украину в этот горячий сезон было трудно). Люда плакала, целуя Матвею ножки, розовые, пухленькие, нехоженые, а он невозмутимо сосал свой кулак. Как он ухитрялся целиком засунуть его в рот, неясно, но ухитрялся.

— Аська, я, наверно, плохая мать? — спрашивала Люда вся в слезах.

— Нормальная. Успокойся, не расстраивай ребенка.

А ребенок и не думал расстраиваться. На уезжающую мать он взирал с веселым равнодушием.

Люда ушла вся зареванная. Ася впервые ощутила себя наедине с Матвеем, полностью ответственной, как настоящая мать. Счастье быть матерью сразу ее захватило... А что? Разве не был Матвей ее сыном? Ведь если бы не она, он бы на свет не родился...

Упрекая себя за такие мысли, Ася дала Матвею погремушку, а сама села заниматься. За последний год сформировалась у нее привычка заниматься урывками, мгновенно отрываясь от книги по любой срочной надобности. Позанималась, сварила кашу, покормила Матвея. Спросила его:

— Будем бабай?

Он отказался.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказала Ася.

Вошел Олег Раков. Она так и сжалась.

— А Людка где? — спросил Олег, играя цепочкой заграничного пояса.

— Уехала.

— Надолго?

— Наверно, на все каникулы.

Олег присвистнул.

— Послушай, Уманская, это ты натрепалась ребятам про нас с Людкой? Больше некому.

— Я!? Ты с ума сошел? С чего ты взял?

— На курсе проходу мне не дают, называют папой.

— Я тут решительно ни при чем.

— Так ли уж? — усмехнулся Олег.

— Ты свои подлые намеки брось! Ни Люда, ни я никому про тебя не говорили. Не стоишь ты, чтобы язык об тебя марать. Она, наоборот, боится до смерти, как бы кто не узнал.

— С чего они тогда взяли?

— Просто Матвейка очень похож на тебя. К сожалению.

Олег подошел к кроватке, где, важный, красивый и тол-

стый, сидел его сын. Первым недавно пробившимся сахарным зубом он грыз кольцо. Королевской повадкой, на все наплевательством он и в самом деле был похож на Олега — даже больше, чем ямочкой на подбородке.

Что-то смягчилось в лице Олега. И гордость тут была, и сожаление, и даже нежность какая-то...

— Послушай, Аська, ты не думай, что я такой уж законченный подонок. Я даже Людке готов помогать, что-нибудь рэ двадцать — тридцать в месяц...

— Убирайся вон, Раков,— Ася показала ему на дверь,— забудь сюда дорогу и никогда больше не приходи!

— Тоже Елизавета Английская! А ты тут, спрашивается, при чем? От жилетки рукава.

Тут Ася размахнулась и влепила Олегу пощечину. И не какую-нибудь символическую, а размашистую, от плеча, со всем весом и силой. Олег выругался. Матвей заревел. Олег скрипнул зубами и сказал сдавленным голосом:

— Идиотка! К сожалению, в моем кругу не принято бить женщин, а то бы я тебе показал. Тыква, балда!

Вышел и дверью хлопнул. Посыпалась штукатурка, Матвей заорал пуще. Ася взяла его в свои дрожащие руки, прижалась щекой к его мокрой кисленькой щеке, и стали они вдвоем плакать...

Перед отъездом Ася дала домой телеграмму: «Еду, встречайте», номер поезда, номер вагона. О Матвее упоминать не стала, зная в своих родителях традиционный страх пожилых людей перед любым известием, сообщенным по телеграфу...

В дороге жара стояла ужасная; Ася измучилась с бутылочками молочных смесей, удержать которые от скисания было никак невозможно. Стала кормить Матвея только сушками, которые он грыз своим единственным зубом. Познакомилась с соседями по вагону; все они дружно восхищались мальчиком, не сомневаясь, что это Асин сын. Она не возражала, да и глупо было бы возражать. Некоторые даже находили явное сходство между сыном и матерью: «Оба такие полненькие...» Ася впервые почувствовала, как ее полнота, отраженная в полноте Матвея, становится чем-то милым, невинным... А главное, ей было невыразимо сладко хоть недолго, а побыть матерью...

...Наконец приехали. Ася вышла из вагона — Матвей на одной руке, сумка в другой, а еще сверху дружеские руки спустили ей чемодан. Уже издали она увидела седую голо-

ву отца. Он искал ее глазами и, найдя, удивился, но тут же это удивление подавил. Спокойно подошел, взял чемодан, поцеловал Асю в щеку. Спокойно спросил:

— А это кто у тебя? Девочка? Мальчик?

— Мальчик, Матвей. Я его назвала в честь дедушки.

До сих пор все было чистейшей правдой. Продолжалась условная роль матери, которой она тешилась в вагоне. «Объясню, успею»,— думала Ася...

— Могла бы и сообщить,— с мягким упреком сказал Михаил Матвеевич.— Мы тебе не чужие.

— Не хотела писать. Думала, так лучше. Я...

— Прости, пожалуйста,— нервно спросил отец,— а... твой муж?

— Я не замужем,— правдиво ответила Ася и готова была сразу же все объяснить. Но глуховатость Михаила Матвеевича, его явная неохота слушать, да и (что греха таить) сладкая мысль побыть еще немного матерью Матвея ее остановили.— А мама почему не приехала?

— Ей нездоровится.

Что-то в тоне отца встревожило Асю.

— Что с мамой?

— Ничего серьезного. Просто неважно себя чувствует.

— И давно?

— Месяца три. Мы не писали, не хотели тревожить.

Так... Значит, никто никого не хотел тревожить...

— Ты с ней поосторожнее,— сказал отец,— не говори, что плохо выглядит. Она стала, знаешь, такая мнительная...

— А врачи что говорят?

— То-то и есть что ничего. Ничего не говорят врачи. Покой, уход, витамины...

Молча пришли домой. Матвей был тяжел на руках. Отец усадил их в большой комнате (она у них по старинке называлась гостиной):

— Ты здесь пока подожди. Мне надо пойти ее приготовить... Такая нервная стала, ужас!

— Послушай, папа...

— Нет-нет,— замахал он рукой,— все понятно, молчи!

Из-за закрытой двери послышался приглушенный разговор, ахи, восклицания, и вдруг настежь распахнулась дверь и раздался милый голос матери — слабый, но внятный:

— Так веди их сюда, поскорее веди! Мои дорогие, мои любимые! Асенька, Матюшенька!

Ася с Матвеем на руках нерешительно вошла в комнату. Там было полутемно от опущенных штор. Пахло лекарства-

ми. Софья Савельевна лежала в постели, жадно и бессильно стараясь приподняться навстречу вошедшим. Тянулись к ним руки, глаза, душа — тело лежало, скованное. Сразу стало видно, как она изменилась — вся, кроме голоса.

— Девочка моя,— сказала она прерывисто,— двое моих дорогих, подойдите сюда, дайте я обниму вас вместе!

Ася опустилась на пол рядом с матерью, посадила Матвея на край постели.

— Ну херувим! — воскликнула Софья Савельевна.— Рубенсовский мальчик! Вылитая ты в его возрасте. Только у тебя глазки были черные, а у него голубые...

Судорожно притянув Асю с Матвеем к себе — откуда сила такая в этих иссохших руках? — она стала их целовать попеременно то одного, то другую.

— Соня, спокойнее, не волнуйся,— приговаривал Михаил Матвеевич.

— От радости не умирают.

Матвей был невозмутим. Спокойный, величественный и красиво, по-младенчески тучный, он принимал к сведению происходящее и только покряхтывал.

— Волосы-то, волосы — червонное золото! — лепетала Софья Савельевна.— Чудо какой мальчуган! Что же ты не писала? Боялась, глупая, что осудим, не примем? Плохо же ты нас знаешь!

Лицо ее, осунувшееся, выдвинутое вперед, было отчетливо желтым. Вглядевшись в него, Ася поняла, что болезнь серьезна и дело плохо. Сердце у нее щемило вдвойне — страхом за мать и раскаянием за свою ложь. Невольную, легкомысленную, непростительную. «Как же я скажу им правду? Надо было тогда же, на вокзале. Теперь, кажется, поздно...»

Тут Матвей повел себя не совсем так, как надо, и все потонуло в смехе, восклицаниях, поисках нужных вещей (чемодан, сумка, бельевой шкаф). Это небольшое событие как будто скрепило полное и совершенное восшествие Матвея еще на один престол.

— Миша,— захлебываясь, смеялась Софья Савельевна,— помнишь, я тебе говорила: до внуков уже не доживу! А ты: «Нет, доживешь!» Ты оказался прав — дожила...

«Как я им скажу правду? — думала Ася.— И надо ли?»

— Соловья баснями не кормят,— объявил наконец Михаил Матвеевич и тем положил конец затянувшейся серии восторгов, от которой даже терпеливый Матвей начал уже похныкивать.

Вымыть его, самой умыться с дороги, причесаться, переодеться — все это заняло время, было отрадной оттяжкой. Михаил Матвеевич варил манную кашу по новой методике:

— Не в кипящее молоко сыпать крупу, а в холодное, только в холодное. Получается гораздо нежнее, только надо все время мешать, ни на секунду не прерывая. Не каша, а крем!

Он, как и многие мужчины, вынужденные заниматься домашним хозяйством, относился к нему слишком уж всерьез. Трогателен был на нем кокетливый передник с оборочкой.

— Я в хозяйстве поднаторел,— говорил он, крутя ложкой,— не такое уж мудреное дело, во всем важен научный подход. Что такое домашнее хозяйство? Одна из отраслей химии.

Каша была готова, обед для Аси разогрет.

— Ну-ка иди ко мне,— сказал Михаил Матвеевич,— я тебя покормлю, а мама пусть пообедает.

Матвей пошел на руки к незнакомому старику с солнечной готовностью (кочевник, он вообще охотно переходил из рук в руки), взял его горстью за щеку и сказал «бу». Михаил Матвеевич был тронут:

— Узнает деда, умница!

Пока Ася ела, он кормил мальчика с ложечки. Он был счастлив, видя, с какой быстротой исчезает каша.

— Видишь, как ему нравится? Нежность необыкновенная! В холодное молоко, только не в кипящее!

Ася пообещала — отныне только в холодное. А сама думала: «Сказать? А может, не надо?» И все больше убеждалась: пока не надо.

После обеда соорудили для Матвея ложе из двух сдвинутых кресел. Он, усталый, сразу заснул, сжимая в руке погремушку.

— Папа, а что с мамой? — тихо спросила Ася.

Михаил Матвеевич изменился в лице.

— Ты же сама видишь, как она выглядит. Врачи определенного диагноза не ставят. Но это исхудание... Ты заметила?

— Конечно.

— Так вот, ты ей не говори, что она похудела. Она к этому очень чувствительна. Представь себе — дорожит своей красотой! Просит подать себе зеркало, помнишь, такое овальное, с ручкой, без конца в него смотрится. Я спрашиваю: «Что ты все себя разглядываешь? Ты и мо-

лодая так не кокетничала». Отвечает: «Печать смерти ищу». Такие мысли! Ты ее от них отвлекай, отвлекай. Теперь, слава богу, Матюша будет ее отвлекать...

Прожили Ася с Матвеем у родителей почти месяц. За это время и дед и бабушка полюбили мальчишку без памяти. На глазах становилось лучше Софье Савельевне. Все еще слабенькая, она уже садилась, подпертая подушками, и к ней на колени сажали Матвея. Она прищелкивала исхудалыми пальцами, пела ему почти безмолвные песенки. Мальчик улыбался, говорил свое «бу», с упоением чесал зубы обо что попало: о спинку кровати, о бабушкин палец... Шторы в комнате были теперь подняты («Ребенку необходимо солнце!»), и ее лицо казалось не таким уже желтым, не таким обтянутым... Чуть-чуть исправился аппетит — иной раз она за компанию с Матвеем съедала полблюдечка манной каши, той самой нежной, как крем, сваренной по новому методу. Ася радовалась, на нее глядя, надеялась на лучшее.

Получила она письмо от Люды, которое ее слегка встревожило, но сейчас она не хотела тревожиться: так хороши были последние дни с родителями, с Матвеем. Мальчик, раскинувшись, спал в полосатом гамачке в саду под черешней, а Михаил Матвеевич уговаривал петуха, чтобы орал подальше...

Как раз накануне отъезда погода испортилась. Уезжали в дождливый, пасмурный день. Матвей в пластиковом плащике с капюшоном был похож на милиционера и уморителен. Уже одетые, долго прощались с Софьей Савельевной. Отец пошел провожать, нес Матвея, тяжелого, гордясь его красотой и упитанностью. «Внучек?» — спрашивали встречные. Михаил Матвеевич гордо кивал.

Вот и поезд подали.

— Ну прощай, дочка, не забывай, пиши! Если второго родишь, сообщи сразу!

ПИСЬМО ЛЮДЫ ВЕЛИЧКО

Асенька, сестренка моя дорогая!

Много чего тут произошло. Ты себе представить не можешь обстановку. Мама вся под обаянием этого отца Якова. Человек еще нестарый, ходит в гражданском, глаза черные, такие пристальные, что дрожь в коленях, а бороды

нет и волосы стриженые. Наши ребята многие на попов больше похожи, чем этот. Впрочем, он не поп официальный, а руководитель секты или как это называется. Их там человек двадцать женщин, все пенсионерки, а он один мужчина.

Мама уговорила меня пойти к ним в моленный дом. Я для интереса сходила. Ничего интересного. Пели на мотив «Смело, товарищи в ногу» какие-то их псалмы или гимны. Потом выступил отец Яков. Он, безусловно, оратор, говорит без бумажки. Содержание я не совсем поняла, что-то сложное, как теория случайных процессов. А эти женщины, видно, еще меньше меня понимают, но так к нему и тянутся. Наверно, гипнотизер. Мне в целом не понравилось.

Он обратил на меня внимание не как-нибудь, а просто я одна молодая, кругом одуванчики. Когда кончилось, подошел к нам с мамой, просил познакомиться. Что-то сказал про овцу. Мама пригласила его чай пить, пошли, сели за стол. Мама на него смотрела с каким-то рабством, которое меня испугало. Пили чай с вареньем, мама предлагала наливки, он отказался — не пьет. Я думаю, в нашей антирелигиозной литературе много преувеличивают про попов, что они и жадные, и пьяницы, и бабники. Этот отец Яков — сложная личность, бескорыстно заблуждается.

Пока пили чай, он на меня поглядывал очень проницательно, а когда кончили, сказал: «Людмила, на вашей душе лежит какая-то тяжесть. Откройтесь, и вам станет легче».

Я, дура, сразу же заревела. Но отрицаю — нет у меня тяжести! А мама за ним: «Лучше откройся, дочка» — и сама плачет. В общем, кино. Под этим давлением выдала я им все про Матвейку. Олега не назвала, сказала только, что жениться не собирался и не собирается.

Мама распсиховалась, говорит: «Прокляну». Это откуда-то из глубокого прошлого, кто в наше время проклинает? А он ей так мягко: «Успокойтесь, Евдокия Лукинична, какая же вы христианка, если родную дочь простить не хотите?» Она ни в какую! Говорит, и ее и покойного отца опозорила, и как она будет в глаза людям смотреть? Буря, в общем, была порядочная. Я реву, мама ревет, он успокаивает. Часа три продолжалось, ушел в одиннадцать. Над ней помахал рукой — называется благословил, а она ему руку поцеловала. Меня тоже хотел благословить, я не далась, говорю: комсомолка.

Плакали мы с мамой до двух часов ночи. В общем, помирились. Простила она меня и Матвейку признала.

Сердилась, что имя дала простое, мужицкое, лучше бы Эдик или Славик. Я ее успокоила, что сейчас как раз мода на самые простые имена: Кузьма там, Пимен и другая экзотика.

А еще она меня упрекала, что зря я его к чужим людям отправила (приветик, к чужим!). Говорит: «Привози сюда, я его сама воспитаю». Я молчу, чтобы не вызвать новой вспышки, а про себя думаю: «Фигушки я его тебе отдам, ты его еще в секту запишешь».

Насчет секты. Я с матерью большую разъяснительную работу провела против религии в принципе. Она не возражала, даже как будто согласна, а как настанет час собрания — так ее туда и тянет. Я как противоядие свела ее в клуб на лекцию о происхождении жизни. Лектор ничего, еще молодой, интересный, но хмыкает и все по конспекту. Объективно говоря, с отцом Яковом никакого сравнения. В общем, скучный доклад, маме не понравилось. «Будешь ходить в клуб?» — «Нет, не буду». И правда, если по совести, ничего привлекательного. Там, в моленном доме, они хоть поют, вроде самодеятельности для престарелых. Я об этом много думала, но конкретных форм, пригодных для нашего времени, выдумать не могла. Надо будет на эту тему поговорить с Сережкой, у него голова большая.

В целом стало у меня легче на душе, когда про Матвейку открыла. Все-таки родная мать, а ему родная бабушка. Обещала осенью приехать к нам повидать внука. Как ты на это смотришь? Я за. Где трое, там и четверо, я могу спать на полу, а то и с мамой валетом. Может быть, ты, Аська, ее от секты разагитируешь.

Ну вот и все, будь здорова, моя дорогая сестричка, а Матвейку целую во все места.

Твоя *Люда*.

ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ ФЛЯГИН

Профессора Флягина на кафедре не любили. Бывает этакая стихийная нелюбовь, охватывающая целый коллектив и выталкивающая из него чужака (так перенасыщенная солью вода некоторых озер выталкивает человеческое тело). Все не так, каждая мелочь засчитывается в вину. Даже достоинства Флягина — трудолюбие, целеустремленность, скромность — воспринимались как пороки. Смешноватые внешние черточки — близорукость, согбенность, журавлиный шаг — обыгрывались со злорадством. Любые распоряжения, разумные и неразумные, одинаково

встречались в штыки. Так порой в школе класс обходится с нелюбимым учителем, теряя чувство меры и справедливости. Вообще сколько детскости (иной раз неприятной) таится во взрослых людях...

Часто сравнивали настоящее с прошлым. Правда, вольные порядки (скорей беспорядки), царившие при Энэне, не во всем были хороши. Много было разговоров, шума, почем зря разбазаривалось время, в помещении кафедры работать было почти невозможно. Но все это вспоминалось теперь добром — по контрасту. Даже Кравцов вспоминался добром — этакий безобидный празднослов-карьерист, в общем-то не мешавший работать. В зловещей жертвенной целеустремленности Флягина было что-то пугающее, словно отправление мрачного культа какой-то научной богини Кали. Форму, отчетность, порядок он возвел в ранг святыни. А живое человеческое общение, шутка, смех для него как бы не существовали. Да при нем и людям-то не хотелось смеяться...

Не щадя других, он не щадил и себя. «Злейший враг всем на свете, в первую очередь себе самому», — как сказал Маркин. Любое начинание, исходившее от Флягина, было тем самым обречено на провал. Некоторые из них были, по существу, разумными и, правильно понятые, могли бы принести пользу. Куда там! Кафедра накидывалась на них, как свора собак на котенка, и растерзывала в клочки.

Например, дневники учета времени. Сами по себе они могли бы быть полезными (скажем, придать конкретный смысл слову «перегрузка», без конца склонявшемуся на кафедре). Но дружная оппозиция коллектива все обессмысливала. Преподаватели каждый на свой лад изощрялись в том, чтобы вести их поглупее, с издевкой (скажем, покупали школьные дневники, заполняли их с орфографическими ошибками, ставили закорючку против слов «подпись родителей»). Флягин на эти выходки внимания не обращал, по-прежнему требовал еженедельного представления дневников, внимательно их читал и делал выписки.

Категорически отказался представлять дневник Семен Петрович Спивак, сказав, что стар уже заниматься ерундой. Флягин с ехидной усмешечкой его от этой обязанности освободил: «Не буду настаивать ввиду вашего и в самом деле почтенного возраста», уязвив этим Семена Петровича в самое сердце.

Так выходило и со всеми другими нововведениями Флягина: кто их бойкотировал, кто высмеивал. Шла своего рода партизанская война в тылу противника: флягинские

заводы выпускали брак, флягинские поезда пускались под откос («Борцы Сопротивления»,— говорил Маркин, наблюдавший все это как бы со стороны и не принимавший всерьез). Во главе «Сопротивления» стояли Спивак и Асташова. Оба открыто высказывались на заседаниях кафедры, иногда даже понуждая Флягина к некоторым уступкам. Остальные больше помалкивали, но их настроения были ясны. Даже Паша Рубакин, единственный человек на кафедре, относившийся к Флягину с какой-то чудаческой симпатией, отчасти примкнул к «Сопротивлению», введя новую форму отчетности: дневник с картинками. О Лидии Михайловне и говорить нечего: она с самого начала ненавидела Флягина за то, что он не Энэн. Интерес Флягина к индивидуальным планам она воспринимала болезненно, как посягательство на ее вотчину.

Так как разговоры в помещении кафедры были запрещены, все дебаты выносились в коридоры и на лестничные клетки. Общее мнение было таково, что работать с Флягиным во главе кафедра не сможет. Вопрос в одном: сразу уходить или еще выждать? «Кто кого пересидит — мы его или он нас?» Усидчивость Флягина сомнений не вызывала. Надежду вселяло другое обстоятельство: он по каким-то формальным причинам (ведомым ректорату, но неведомым кафедре) до сих пор еще не прошел по конкурсу. Кто-то из преподавателей по знакомству подсмотрел в отделе кадров характеристику Флягина с прежнего места работы — крупного НИИ с устойчивой репутацией. Характеристика была положительная. Подчеркивались высокие деловые качества Виктора Андреевича, его трудолюбие и принципиальность, но вообще тон характеристики был сдержанный, словно бы сквозь зубы. Видно, кому-то он крупно там насолил.

Семен Петрович Спивак не поленился и сам съездил в НИИ к своим знакомым, чтобы подробнее разузнать о Флягине. Привез сведения скорее неутешительные для кафедры. О Викторе Андреевиче говорили с уважением. Ценный работник, скажем, не очень талантливый, но до всего доходит горбом. Эрудиция огромная. Добросовестен до предела. Если даст положительный отзыв на диссертацию, будь спокоен, ошибок там нет. Все проточит, проверит до буковки. В общем, вполне на своем месте. Отчего же вздумал уходить? Не поладил с начальством, отказался подписать какой-то отчет, где были, с его точки зрения, не до конца проверенные данные. Поставил под угрозу выполнение плана, чуть не лишил весь отдел премиальных.

Значит, честный? Безусловно, но в чем-то неприятный человек, даже отталкивающий. Дружбы ни с кем не завел, в гости не ходил и к себе не звал.

В общем, похоже было, что ничего порочащего Флягина нет и рано или поздно он пройдет по конкурсу... Ну-ну... Решили все же до поры до времени с места не трогаться, выждать, беречь коллектив. Борьба с Флягиным то вспыхивала открыто, то уходила в подполье.

Самый острый конфликт разыгрался по вопросу о бюллетенях. Дело в том, что на кафедре с давних пор утвердился обычай: заболевшие преподаватели бюллетеня не брали. Никакого урона государству это не причиняло, никакой корыстной цели не преследовало. Все равно оплата по бюллетеню у всех была бы сто процентов (кроме самых молодых, но те не болели), а нудные хлопоты по оформлению отпадали. Если преподаватель заболевал, он просто звонил на кафедру и просил кого-нибудь из товарищей себя заменить. Разумеется, заменявшие ни копейки за лишние часы не получали, но отказывать было не принято: сегодня ты, а завтра я. Бюллетень брали только в случае серьезного, длительного заболевания, болезни же мелкие, будничные (гриппы, ангины, простуды) обходились без бумажного оформления. Само собой разумелось, что никто без серьезной причины не отдаст свой поток или группу другому («Все равно что временно отдать жену»,— говорил Маркин). Наоборот, старались держаться до последнего, приходили на занятия полубольными, но к заменам прибегали только в крайности. Так всегда было до сих пор, и все воспринимали это как норму.

При Флягине эти «дворянские вольности» были отменены. Он потребовал, чтобы все болезни и замены оформлялись официально, через бюллетень. Казалось бы, требование законное, а вот преподавателей оно оскорбляло. Они, привыкшие работать не за страх, а за совесть, в самом деле не щадившие ни здоровья, ни сил, были возмущены.

— Как он не понимает, болван,— говорил Спивак,— что на формальные требования ему ответят формальной работой? А если чем и была сильна кафедра до сих пор, так это неформальной работой!

Не раз поминалось в кулуарах имя покойного Николая Николаевича, руководившего кафедрой как раз не формально. Даже Элла и Стелла, больше других жаловавшиеся в свое время на затяжные заседания кафедры, вспоминали о них с умилением.

— Там, по крайней мере, каждый мог говорить все что

думает и сколько угодно,— говорила Элла.— А этот как вынет часы да пристукнет — всякая охота выступать отпадает.

Особенно взбудоражил всех случай с болезнью Радия Юрьева. Началась она с того, что Радий стал неудержимо чихать — раз по десять — двадцать подряд, до слез. При его щеголеватости и обаянии (любимец студенток!) ему, естественно, не хотелось чихать на занятиях. В прежние времена он попросту позвонил бы на кафедру, попросил себя заменить — и дело с концом. При новых порядках это было исключено. Пришлось Радию идти в медчасть, где ему дали справку с указанием болезни: ринит. Эту справку он положил на Флягинский стол недалеко от склоненного носа Виктора Андреевича и остановился, ожидая реакции. Такое безмолвное выкладывание бумаг перед светлые очи начальства вошло на кафедре в моду за последнее время. Флягин продолжал писать. Радий громко чихнул (как потом утверждал, не нарочно, а стихийно). Реакция Флягина была неожиданна: он поднял нос, взял справку, прочел ее на весу и сказал со своей иезуитской улыбкой:

— Ринит попросту значит насморк. Разрешаю, но без освобождения от лекций.

Ошеломленный Радий отошел от начальственного стола, оставив на нем злополучную справку. И в этот день и на следующий он читал лекции. На третий день у него поднялась температура, он ее не мерил и назло Флягину читал лекции. Лицо у него было как у святого Себастиана, пронзенного стрелами... Товарищи уговаривали его идти домой, лечь, вызвать врача — ни в какую! Радий наотрез отказался лечиться. Кончилось это тем, что его прямо из института с температурой тридцать девять отвезли в больницу. Оказалось, тяжелая пневмония.

Происшествие горячо обсуждалось на кафедре. Мнение о Флягине было единодушно («Скотина!»). Споры были о поведении Радия. Большинство стояло на том, что он поступил как дурак.

— Дурак, но гордый,— сказала Элла Денисова.— Я его понимаю.

— Позвольте мне,— сказал Паша Рубакин своим похоронным голосом,— рассказать анекдот.

— Лучше не надо,— взмолилась Стелла.

— Он короткий, на немецком языке, но я для скорости сразу буду рассказывать по-русски. Едет зимой батрак, правит кобылой и радуется: «Вот назло хозяину отморожу себе руки, зачем он не покупает мне рукавицы?»

Посмеялись, но невесело. «Гордый дурак» выздоравливал медленно, на этот раз по всей форме, с бюллетенем. Навещали его и товарищи с кафедры и представители профорганизации. Случай приобретал гласность. Кафедральные разговоры в коридорах кипели, демонстративно записываемые в дневник под ехидным названием «обсуждение разных вопросов». Проходя мимо такой говорящей кучки, Флягин наклонял голову и делал вид, что его это не касается.

— Интересно, грызет его совесть или нет? — спрашивала Элла.

— Такой сам любую совесть загрызет,— отвечал Спивак.

Какую-то приватную беседу имел с Флягиным Петр Гаврилович, после чего сообщил товарищам:

— Осознал и раскаивается.

Вызывал Виктора Андреевича и проректор. Секретарша рассказывала: «Сидел час, ушел как побитый».

После происшествия Флягин стал как-то грустнее и молчаливее, реже улыбался, но привычек своих не изменил.

На очередном заседании кафедры, несмотря на сухой стук серебряных часов по столу («Берегите время!»), выступил Спивак по вопросу о человеческом отношении к людям. Флягин неожиданно прервал его и сказал, улыбаясь:

— Со всем тем, что вы сказали и еще собираетесь сказать, я безусловно согласен.

Все так и опешили.

— Выбил, чертов сын, почву у меня из-под ног,— жаловался потом Спивак в коридоре.— Согласился, а я оплошал...

Нина Асташова молчала.

Профессор Флягин имел обычай засиживаться на работе до позднего вечера. Он поставил себе как заведующему кафедрой задачу досконально изучить все читаемые на ней курсы. Прежняя его работа не совсем совпадала по профилю с тематикой кафедры, приходилось перестраиваться, менять ориентацию; к этому он был готов, когда дал согласие перейти в институт. Некоторые курсы он уже одолел и разбирался в них не хуже ведущих преподавателей, другие надо было еще одолевать. Кроме того, он считал своим долгом ознакомиться со структурой института в целом, тематикой факультетов, кафедр — без этого он себе не

представлял работу. Труд предстоял огромный, особенно учитывая крайнюю въедливость и добросовестность, не позволявшую Виктору Андреевичу ни с чем знакомиться в общих чертах. Все изучаемое он изучал до тонкости. К тому же он просто не умел читать что-либо не конспектируя (про него ходил слух, что и меню в столовой он тоже конспектирует). Из-за этого всякое чтение шло у него медленно, воплощаясь в толстые тетради, исписанные мелким, но волевым почерком. Тетради нумеровались и приобщались к архиву научных записей, в котором числилась уже не одна сотня «единиц хранения». Система была двухэтапная: сами записи и «записи о записях» — где что искать. За этими делами и засиживался Виктор Андреевич на кафедре позже всех. Уходил в те часы, когда уже и вечерников в институте не оставалось, сами гардеробщицы покидали свои рогатые владения, и только на каких-то рундуках дремали ночные дежурные, крайне недовольные тем, что ему надо было отпирать двери. Трудовой героизм Виктора Андреевича ни в каких слоях, увы, не находил сочувствия...

...Так вот и сегодня он засиделся допоздна (сам не заметил, как прошло время), взял в пустом гардеробе свой поношенный полуплащ, разбудил дежурную и вышел на улицу. Ветер хлестал перемежающимся крупным дождем и катил по тротуарам палые листья. В старинном здании больницы только кой-где горели огни. Виктор Андреевич быстро шагал на своих сухопарых ногах, напоминая журавля, внезапно обретшего несвойственное ему проворство: он торопился домой. Хорошо, что продукты он успел закупить с утра, а то магазины уже закрыты.

Трамвай, взвизгивая на поворотах, подвез его к дому. Подъезд, лестница, темнота, тревога. Он отпер обитую дерматином дверь и вошел в свою более чем скромную двухкомнатную квартиру.

Жена его год назад умерла, и Виктор Андреевич, скрывая тоску, мужественно нес тяготы семейной жизни. Семья его состояла из больной, парализованной тещи и дочки Тони четырнадцати лет. Девочка встретила его в передней и робко, молчаливо обрадовалась. Некрасивая, худенькая, близорукая, она очень походила на отца и вместе с ним на какую-то птицу. Даже волосы такими же перьями топорщились на ее небольшой, с боков сжатой головке.

— Ну как дела, Антоша? — спросил Виктор Андреевич.

— Дела ничего.

— Дневник заполнила?

— Конечно.

— Молодец. Вечером прогляжу.

— А уже вечер. Хорошо, что пришел,— очень по-детски сказала Тоня.— Я уже стала беспокоиться.

— Напрасно. Ничего со мной не сделается.

Она неловко обхватила его угловатой тонкой рукой за шею и на мгновенье прижалась к его плечу. Он слегка приобнял ее, и они постояли, чуть раскачиваясь, но сразу же отодвинулись друг от друга. Ласка была мимолетной, сдержанной.

— Как бабушка? — спросил он.

— Как всегда. По-моему, не хуже.

— Наталья Ивановна приходила?

Наталья Ивановна была женщина, помогавшая Флягиным по хозяйству, но сугубо факультативно.

— Приходила, но скоро ушла. У нее кто-то из внуков болен.

— Устала ты?

— Ничего. Хорошо, что вернулся. Бабушка тебя очень ждет.

Виктор Андреевич снял полуплащ и берет, стряхнул с них дождевые капли, пригладил ладонями волосы и вошел в комнату тещи.

— Витя, это вы? Ох как поздно! Ждала вас, ждала...

— Задержался в институте,— мягко ответил Виктор Андреевич.— Очень много работы, раньше не мог.

— Не знала, как и дождаться. Вы всегда так ловко меня перекладываете... У Тонюшки нет сил, а Наталья Ивановна такая неловкая. Пожалуйста, переложите меня опять как в прошлый раз. Подушку под локоть, помните?

— Сейчас, только руки вымою,— сказал Виктор Андреевич и вышел.

— Боже мой, как я его мучаю! — пробормотала женщина и заплакала.

— Ну вот, Анна Павловна, снова дождик пошел! А я только что с дождя, обрадовался, что сухо.

— Не буду, не буду.

Она уже улыбалась, протягивая к нему крест-накрест скованные болезнью руки:

— Как прошлый раз, помните?

— Все помню.

...Тихая возня, стоны, облегченный вздох. Шелест простынь, хлопанье взбиваемых подушек. Он держал ее,

легкую, большеглазую, одной рукой за спину, другой привычно, ловко поправляя постель. Опустил больную на подушки (одну под локоть), прикрыл одеялом. Она лежала счастливая, глядя куда-то перед собой поверх его головы:

— Ну блаженство! Как будто заново родилась! Знаете, Витя, ваше новое снотворное просто волшебно. Представьте, спала! Видела во сне покойную Машу. Она мне говорит: «Не обижай его». Я вас стараюсь не обижать, но поневоле приходится.

— Ну-ну, какая же это обида?

— Ну тяжесть. Лучше не буду говорить, а то опять заплачу. А днем я одним глазом немного читала. Если поставить книгу не прямо, а наискось, мне удается читать. Захотелось перечесть «Преступление и наказание». Тонюшка мне установила очень удачно. Последний раз я его читала еще здоровая, а на этот раз была поражена: какая жестокая книга! Достоевский вообще любил описывать страдания, но вымученные, самими людьми себе причиненные, понимаете?

— Понимаю. Много там лишнего, но в целом захватывает.

— Захватывает и даже отвлекает. Меня, например, отвлекло от самой себя. Витя, а почему Достоевский — такой знаток страдания! — ни разу не вошел в психологию парализованного человека? Эпилептики у него есть, чахоточные есть, а паралитиков нет.

— А Лиза Хохлакова в «Братьях Карамазовых»?

— Что вы! У нее не паралич, а кокетство.

— Может быть.

— Именно так. Но читать я много не могу, устает глаз, и я поневоле начинаю думать. По вашему совету стараюсь думать не о себе, а о других людях. Выдумываю их судьбы... Сегодня, представьте себе, выдала замуж нашу Тонечку. Муж у нее такой хрупкий, грациозный юноша, может быть даже артист балета.

— Ну, как раз артисты балета не хрупкие. Им нужны сильные мышцы.

— Этот был воображенный, а не реальный. Может быть, не артист балета, а полотер. Я однажды такого видела — идет грациозно, держа на отлете две щетки, как два цветка. Представляете себе?

— Представляю.

— Знаете, Витя, что меня тяготит? Что я забываю свои мысли. Если бы я могла их записывать...

— Давайте я вам поставлю магнитофон у постели.

Придет в голову мысль, вы ее туда и скажете, все равно что запишете.

— Ох, как было бы хорошо!

— Будет сделано. А теперь примите таблетку и постарайтесь заснуть. Ладно? Только не плакать! Спите спокойно.

— Спокойной ночи, Витя.

Виктор Андреевич погасил свет, вышел в кухню. Тоня уже накрыла ему на стол. Скромный ужин, он же обед: холодные котлеты, черный хлеб, огурцы. Виктор Андреевич в привычках был неприхотлив. Пока он ел, Тоня отчитывалась ему в проведенном дне:

— После школы пришла, отпустила Наталью Ивановну, завтра она не придет. Покормила бабушку, хотела ее переложить, она сказала: будет ждать тебя. Готовила уроки. Геометрия очень трудная, не поняла.

— Еще раз прочти.

— Три раза читала, не помогает.

— Что делать, разберемся вместе. В воскресенье.

— А в пятницу контрольная!

— Ладно. Завтра постараюсь прийти пораньше. А ты все-таки почитай еще раз. Может быть, поймешь сама. Еще что?

— Звонила тетя Лена. Предлагала прийти помочь. Я сказала — не надо.

— Молодец. Что еще?

— Как будто ничего.

— Ну иди спать. Будильник принеси мне. Поставь на половину седьмого. Дневник оставь, прогляжу.

Тоня принесла будильник, дневник.

— Спокойной ночи, папа.

— Спокойной ночи, Антоша.

Пока Тоня готовилась ко сну, Виктор Андреевич вымыл посуду, перетер, расставил по полкам и сел за стол заниматься. Первым долгом проглядел Тонин дневник, сделав на полях едва заметные птички, понятные только им двоим. Затем занялся английским: ему надо было выписать и заучить очередные сорок слов.

Так он вообще изучал языки. Сперва учил слова по сорок штук ежедневно. Не в алфавитном порядке, а в смысловом: начиная с простых и переходя к сложным. Когда их накапливалось двадцать тысяч, брал книгу и сразу начинал читать. Таким способом он уже одолел французский язык и теперь добивал английский. Произношение его не интересовало: важно было уметь читать. Каждое слово он про-

износил по буквам, как оно пишется (например, that у него читалось «тхат», write — «врите»). Выписав порцию слов, он погружался в заучивание. Читал, закрывал глаза, пытался воспроизвести, шевеля губами; снова читал, опять закрывал глаза и так далее. Тень от его головы на стене раскачивалась, как огромная хохлатая птица.

Часа через два сорок слов были усвоены. Виктор Андреевич еще раз прочел их наизусть, подряд и вразбивку, удовлетворенно вздохнул и принялся стелить себе постель. Спал он тут же, в кухне на деревянном диванчике, накрытом байковым одеялом (уверял, что любит, когда жестко). Потушил свет, лег, выгнал из себя лишние мысли. В соседней комнате что-то забормотала Тоня. Виктор Андреевич улыбнулся и стал засыпать, слыша над ухом падающие звонкие капли будильника.

ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

«Чтобы выходила собачка».

Не так давно, навещая Варвару Владиславовну (она болеет), я познакомился с ее давнишним другом, известным режиссером В. Он сед, стремителен, ярок. Первое, что он сказал, войдя в комнату, было:

— Товарищи, час тому назад я бросил курить. Что мне делать?

— Не курить,— глуповато ответил я.

— Разве что так,— сказал он и приложился к руке Варвары Владиславовны.

Она по-старинному поцеловала его в лоб.

— Хворать-то бы, хворать не надо,— заметил он.

— Что поделаешь, годы!

Какая-то милая обыкновенность была в этом разговоре. Тысячи людей уже обменивались точно такими репликами, и тысячи еще будут обмениваться.

Чем старше я становлюсь, тем больше меня трогают банальности. Желание быть не таким, как все,— удел юности. В старости мы хотели бы быть как все, но уже не можем.

За чаем В. много рассказывал о своей жизни, о прошлом (жизнь была более чем пестрая), о театре, об актерах. Время от времени он вынимал из кармана серебряный портсигар, убеждался, что он пуст, и клал обратно в карман. Физическим наслаждением было слушать его речь — плавную, звучную, со старомосковским (ныне редким)

произношением. Он, например, говорил «тьвердо», «сьмерть»...

Один его рассказ, о собачке, меня поразил. Попытаюсь его передать как можно точнее.

— Когда-то, — рассказывал В., — живя на Севере, я работал в сугубо провинциальном театрике с очень посредственными актерами. Ставили мы довольно посредственную пьесу. Один из актеров, старик, всегда приходил на репетиции со своей собачкой. После конца репетиции он каждый раз вел собачку в буфет, где угощал ее чем-нибудь вкусным. В течение всей репетиции собачка смирно сидела под стулом хозяина и ждала. Как только репетиция кончалась, она немедленно вылезала из-под стула и выходила на сцену. Как она догадывалась, что репетиция кончена? Очевидно, по тому, что люди переставали говорить деланными, актерскими голосами и переходили на обыкновенную человеческую речь. Случилось так, что в наш городок попал (не по своему желанию) один по-настоящему талантливый актер (назовем его А.). Он был принят в театр и получил роль в той пьесе, которую я режиссировал. Началась репетиция. И что же? Как только заговорил А., на сцену немедленно вышла собачка. Вот, — заключил свой рассказ В., — надо всегда так работать, чтобы выходила собачка.

КОТ-ВОРЮГА

Наши кафедральные бури почти не выходили наружу: кипение шло в пределах одного слоя. Я не раз думала о слоистом строении общества: отдельные слои живут, почти не смешиваясь. Активное общение происходит внутри слоя, соприкосновения с другими эпизодичны. Вот и наша кафедра живет довольно изолированно и мало соприкасается с другими. В институте к нам отношение сложное. Нас, в общем, уважают и даже побаиваются, но на специальных технических кафедрах принято считать, что мы с нашими математическими тонкостями далеки от жизни. Если под жизнью понимать наивную технику с ее, как говорят, «шурупчиками», то, пожалуй, они правы. Если же понимать технику будущего, технику в полете — пожалуй, не правы. Влияние Энэна (вернее, его записок) на меня сказалось покуда только в том, что я чаще, чем прежде, говорю «пожалуй».

Итак, другие кафедры посматривают на нас с уважительным пренебрежением. Впрочем, отчасти и с завистью.

За последние годы их охватила какая-то лихорадочная любовь к математике. Любовь, я бы сказала, отнюдь не взаимная. Сейчас любую научную работу (тем более диссертацию) принято облекать в математические одежды. Это хороший тон, латынь нашего времени. Чем сложнее примененный аппарат, тем лучше. Они обвешивают свои работы кратными интегралами, кванторами и матрицами, как в свое время купчихи обвешивались драгоценностями. У нас, профессионалов, наоборот: чем более простым аппаратом удалось обойтись, тем лучше.

Из этого вовсе не следует, что они неучи и в своем деле не смыслят. Напротив, чисто техническая сторона у них, как правило, на высоте. Это дельные, реальные знания, ничего, кроме уважения, не вызывающие. Но когда они пускаются в математику, обычно это выходит так, как если бы, скажем, Семен Петрович Спивак в своих вельветовых брюках стал танцевать партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро».

Одна из смежных и по названию родственных нам кафедр особенно лихо пустилась за последние годы в математические пляски. Возглавляет ее профессор Яковкин — пухлый, широкий, вальяжный человек со вкрадчивой улыбкой на округлом, книзу оплывшем лице. Звание профессора он получил когда-то давно, без защиты докторской, а по совокупности мнимых заслуг и действительных знакомств. В институте у нас идет кампания за сплошную докторизацию кафедр (именно в качестве доктора был предпочтен Флягин нашему Кравцову). Недавно прошел слух, что всем заведующим кафедрами (кроме языковых, военной и физкультурной) будет предложено либо в срочном порядке защитить докторские, либо расстаться с институтом. Принцип «доктор = ученый» сам по себе достаточно глуп. Например, наш завлаб Петр Гаврилович, великолепно знающий технику, ценнейший специалист, и помыслить не хочет о том, чтобы защищать докторскую: «Что вы, братцы, какой я доктор? По виду никто не верит, что у меня высшее образование». А иные научные ничтожества, не стоящие его ногтя, давно доктора.

В числе других заведующих кафедрами, не имеющих докторской степени, забеспокоился, забил хвостом и профессор Яковкин. Недавно прошел слух, что он собрался защищать докторскую. Полное его невежество во всех без исключения вопросах было общеизвестно, поэтому слух был встречен с сомнением, но оказался верным. Чудеса!

Я этим делом не очень-то интересовалась по причине

все той же слоистости общества. Мало ли где, кто и что защищает. Но ко мне пришел Паша Рубакин. Он вообще посещает мой дом, но ходит не ко мне — к Сайкину (что́ их связывает — неясно). На этот раз он пришел ко мне и, как всегда, начал разговор издалека, туманными наплывами. В сочетании с его потусторонним голосом эта система косвенных подходов к теме всегда меня раздражает.

— Нина Игнатьевна, мне надо с вами посоветоваться по одному очень важному, не только для меня, вопросу, имеющему даже общественное звучание. Вы не против?

— Почему я могу быть против? Валяйте, советуйтесь.

— Дело вот в чем. Нина Игнатьевна, любите вы Паустовского?

— Смотря что. Некоторые вещи люблю.

— Согласны ли вы, что это один из наших крупнейших писателей-юмористов?

— Ну не знаю. Я его как юмориста не рассматриваю.

— И напрасно. Читали вы, например, его рассказ «Кот-ворюга»?

— Не помню. Кажется, нет.

— Обязательно прочтите. Чтобы понять сущность моего дела, вам непременно надо познакомиться с этим рассказом.

— А без этого нельзя? Расскажите своими словами.

— Нельзя. Необходим подлинник.

— Бросьте,— сказала я, теряя терпение.— Где я сейчас возьму Паустовского?

— Я вам его принес,— радостно ответил Паша и вынул из кармана затрепанный томик.— Вот смотрите, читайте: «Кот-ворюга».

Недоумевая, я принялась за чтение. Рассказ в самом деле забавный, смешной. Речь идет о вороватом коте, терроризировавшем дачников. Написано славно, свежо, я несколько раз рассмеялась вслух. Рассказ недлинный, я быстро его прочла и спросила:

— Ну и что, Паша?

— Сейчас приступлю к делу. Вот моя иллюстрация к этому рассказу.

Он вынул, на этот раз из другого кармана, перфокарту и подал мне. На ней была изображена широкая, расширенная книзу кошачья морда, в которой я сразу узнала профессора Яковкина. Под ней славянской вязью было написано: «Кот-ворюга».

— Ваша работа? — спросила я.

— Моя,— скромно потупившись, ответил Паша.

— Довольно похоже. А что это значит?

— Кот-ворюга.

— В каком смысле?

— В самом прямом.

Понять его было невозможно.

— Ну вот что, Паша, бросьте ваше хождение по мукам. Либо говорите напрямик, в чем дело, либо кончим разговор, мне надоело.

Паша испугался и рассказал напрямик историю довольно неприглядную. Суть сводилась к следующему.

На кафедре Яковкина работает ассистентом его, Пашин, приятель Володя Карпухин. Парень безответный, трудолюбивый. Вот уже несколько лет работает над кандидатской диссертацией под номинальным руководством профессора Яковкина («О настоящем руководстве речи быть не может, ибо Яковкин — научный стул»). Некоторые разделы работы Карпухина опубликованы в соавторстве с научным руководителем, причем фамилия Яковкина, последняя по алфавиту, всюду стоит первой.

До сих пор это не выходило за пределы обычных норм: многие начальники вступают в соавторство со всеми своими подчиненными («Современное право первой ночи»,— сказал Паша). Но вот недавно Яковкин представил докторскую диссертацию, основное содержание которой составили работы Карпухина, самому же Яковкину принадлежала только связующая болтовня.

— Как посуду пакуют, знаете? Тарелка — стружка, тарелка — стружка... Так вот, в диссертации все тарелки Володины, а вся стружка Яковкина.

Я, конечно, возмутилась:

— А что же ваш Володя не протестует?

— Мой Володя очень скромный парень. Может быть, он и протестовал бы, но на всех его работах в качестве соавтора приписан Яковкин. Теперь доказывай, что ты не верблюд...

— Зачем же он Яковкина приписывал?

— У них на кафедре так принято. И без этого его бы не напечатали. В журналах положение сложное, бумаги нет, листаж сокращают. Без Яковкина он в лучшем случае ждал бы публикации два года. А у кота-ворюги мощные связи. Под его флагом все проскакивает как по маслу. У Володьки уже четыре публикации, и все в соавторстве с Яковкиным.

— Почему же он на кафедре не объявит прямо, в чем дело?

— Понимаете, парень скромный, стеснительный. Совести у него навалом. «Сам же я,— говорит,— его в соавторы ставил и сам же теперь отопрусь — неудобно». Да и другие его не поддержат — боятся ворюги.

— Чего же вы от меня хотите? — рассердилась я.— Ваш Володя, как унтер-офицерская вдова, сам себя высек, а я должна в это дело соваться?

— Угу. Больше некому.

— Да я их специфики не понимаю.

— Ничего, поймете. Там специфика только в стружке, и то кот наплакал, а тарелки — одна математика.

Сколько я ни сопротивлялась, втравил-таки меня Паша в это кляузное дело. Принес мне статьи Володи Карпухина и докторскую диссертацию Яковкина. Как говорят, один к одному. Вся содержательная часть совпадала до буквы; самому Яковкину принадлежала только стружка — пухлая, взбитая, полная демагогических призывов, ссылок на решения и постановления. На это ушло у меня несколько дней. Опять ко мне пришел Паша:

— Ну как — ворюга?

— Ворюга,— согласилась я.— Спору нет.

— Что же делать будем?

— Что-нибудь придумаем. Пришлите-ка ко мне своего стеснительного Володю Карпухина. Подумаешь, красная девица!

Пришел Володя. Долго вытирал ноги, извинялся. Не красная девица, а вроде: тоненький, черненький, глазастый, с узкими плечами в широком свитере, свисающем до колен. Он явно меня побаивался: я была для него научный авторитет, классик... Смешно! Я пыталась его подбить на борьбу, но безуспешно.

— Вы понимаете, Нина Игнатьевна, я же ему эти работы своими руками все равно как подарил... Это нечестно будет — подарил и отнял. Лучше я напишу другую диссертацию.

«Дурак»,— хотела я сказать, но удержалась.

— Поймите, это дело касается не вас одного. Вы поощряете научный паразитизм. Такие, как Яковкин, питаются чужой кровью. Подкармливать их — это значит наносить удар по нашему общему делу.

Опять я чувствовала, что говорю слишком связно, гладко и, в общем, неубедительно. Такое сознание постоянно мешает мне говорить с молодыми. Мысль об общем деле была Володе Карпухину явно чужда: в данной ситуации он видел только себя и Яковкина...

— Нет, — сказал он, — я против него выступать не буду. Пусть защищается.

Видно, он так понимал благородство. Я рассвирепела:

— Какого же черта вы меня посвящали во всю эту белиберду? Битую неделю я ухлопала на вашу с Яковкиным продукцию! Что я вам, научный ассенизатор? Думаете, мне это интересно? Черта с два!

Словом, разбушевалась. Даже Сайкин вышел из кухни посмотреть, в чем дело.

— Оставь нас, — сказала я ему голосом вдовствующей королевы.

Он пожал плечами и вышел.

— Простите меня, — пробормотал Володя.

— Бог простит, — ответила я, напугав его еще больше.

В общем, сволочной у меня характер! «Не проходи мимо, бей в морду!» — называет его Маркин. Оставить бы все как есть, не вмешиваться. Нет, я не могла. Вместо этого естественного мирного шага я провела еще несколько воинственных дней. Еще раз изучила совместные труды Яковкина — Карпухина (в обратно-алфавитном порядке) и даже нашла в них несколько мелких ошибок. Достала в библиотеке труды самого Яковкина (без соавторов). Они оказались немногочисленными и состояли главным образом из призывов к деятельности («Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы!»). Был у него еще альбом конструкций — труд солидный, но ни с какого боку не научный. Зато в соавторстве оказалось у него трудов премножество. Ни один сотрудник его кафедры не мог что-либо опубликовать, не поставив на титульном листе первым профессора Яковкина. Научная ценность этих работ, как я понимаю, была невысока. Кое-где встречались прямые ошибки, но главное было не в них. В работах Яковкина со товарищи поражало наполнявшее их научное пустозвонство. После каждого абзаца хотелось спросить: ну и что? В изобилии встречались математические фиоритуры, никакого отношения к делу не имевшие, а игравшие скорее роль боевой раскраски дикаря. Некоторые из них были буквально списаны с известных учебников и монографий, даже со всеми опечатками. Остальные, очевидно, тоже были откуда-то списаны, только я не знала откуда. Автор, судя по его собственной научной стилистике, вряд ли сумел бы даже правильно раскрыть скобки. Решительно на этом фоне Володя Карпухин выглядел звездой первой величины.

В общем, все это сделалось каким-то моим наваждением. Однажды я даже видела во сне Яковкина в парчовых

трусиках (верх неприличия). Вороша этот мусор, я спрашивала себя: «Ну на что я убиваю свое время?» — но перестать уже не могла. Мной овладел какой-то гнусный азарт. Иногда я чувствую себя чем-то сродни моему врагу Флягину — он тоже, занявшись какой-то проблемой, впивается в нее бульдожьей хваткой и уже не может разжать челюстей. Разница в том, что он со сжатыми челюстями живет всю жизнь, а я только время от времени. К концу двух-трех недель я уже была законченным знатоком всей проблематики и трудов кафедры Яковкина и полностью вооружена для предстоящего выступления на совете.

За моей малоосмысленной деятельностью с насмешкой наблюдал Лева Маркин.

— Ну зачем вы роетесь во всей этой дряни? Ей-богу, жемчужного зерна вы там не найдете. Ради чего вы тратите время?

— Ради справедливости.

— Ох, как пышно. Женщина Дон Кихот, верхом на Росинанте воюющая с мельницами... Ей-богу, это не делает вас привлекательнее.

Что-то новое. Такого я от Левы Маркина еще не слышала. Он приобретает самостоятельность. Ну что ж, давно пора. И все-таки грустно...

Но речь о Яковкине. Наступил наконец день защиты его диссертации. Я не член институтского большого совета, где защищаются докторские, и не имею отношения к кафедре Яковкина. Мое появление на совете было встречено с недоумением: делать ей нечего, что ли? (Разумеется, молча.) Флягин был тут и направил на меня взор василиска. «Эх, напрасно я в это дело ввязалась!» Но отступать было поздно.

Вся кафедра Яковкина пришла болеть за своего главу, и Карпухин в том числе — тоненький, грустный, как побитый морозом цветик. Я ему кивнула, он поглядел на меня со страхом. С опаской глядел на меня и сам диссертант, который сидел в переднем ряду, нервно оглядываясь. Профессор Яковкин сзади был еще больше похож на кота, чем анфас. Щеки торчали из-за ушей, а усы торчали из-за щек.

На многочисленных плакатах, приколотых к щитам, красовались формулы Володи Карпухина и иллюстрирующие их графики. Со стороны все это выглядело внушительно: экую махину человек поднял!

Началась защита. Ученый секретарь огласил документацию, после чего слово было предоставлено диссертанту. Уже оправившись от шока, вызванного моим появлением,

он мягко, котом ходил взад и вперед вдоль плакатов, время от времени тыча в какой-нибудь из них указкой и восклицая: «Эта формула свидетельствует...» — или: «Отсюда со всей очевидностью следует, что...» Докладывал он довольно бойко и складно — видно, не пожалел времени на подготовку. Только изредка, беря с разгона какой-нибудь экзотический термин, опасливо щурил глаза. Володя Карпухин шевелил губами, беззвучно произнося им же, видимо, сочиненный текст. Яковкин уложился точно в отведенное ему время, затем оперся на указку, не без грации обвил ее ногой и поблагодарил собравшихся за внимание.

— У кого есть вопросы к диссертанту?

Члены совета один за другим вставали и задавали вопросы. По-моему, вопросы в таких случаях задаются не для того, чтобы что-то выяснить, а чтобы показать собственную эрудицию и понимание работы. На самом деле подавляющее большинство присутствующих работы не понимает, да за время доклада и невозможно ее понять. Предполагается, что члены совета загодя знакомятся с диссертацией; это чистая фикция. Чтобы толком в ней разобраться, нужно время, и немалое, не меньше двух-трех недель (сужу по себе), а у кого это время есть? Приходится симулировать понимание, а для этого вопросы — лучший способ. Впрочем, я была зла и, возможно, несправедлива. Некоторые вопросы (по технической части) были вполне осмысленные. Яковкин отвечал на них быстро, с маху. Мне не нравилась именно эта быстрота, наводившая на мысль, что вопросы были подготовлены заранее, но на аудиторию ответы Яковкина впечатление производили. Председатель одобрительно кивал ему головой в форме бильярдного шара.

— У кого есть еще вопросы?

Я подняла руку. Несколько членов совета повернулись в мою сторону: что за личность? Я спросила:

— В вашей работе, выполненной совместно с Карпухиным, утверждается, что... (И далее ряд специальных терминов.) Вы по-прежнему придерживаетесь такого мнения?

Кот-ворюга насторожился: нет ли тут подвоха?

— Видите ли, — сказал он, — работа, о которой вы упомянули, уже трехлетней давности. Естественно, с тех пор наука продвинулась вперед.

— Так что сегодня вы не настаиваете на этом утверждении?

— Нет, не настаиваю.

— Почему же тогда на странице сто тридцать второй

вашей диссертации, которую вы защищаете сегодня, а не три года назад, буквально повторяется то же самое утверждение?

Яковкин морально заметался.

— Видите ли, товарищ Асташова, при выводе этого положения мной применен довольно тонкий математический аппарат, входить в подробности которого здесь не место. Я охотно удовлетворю ваше любопытство потом, в кулуарах.

Я обозлилась:

— Случайно я по образованию математик, посвящена в тонкости этого аппарата и хочу услышать от вас здесь, а не в кулуарах, правильно это положение или нет.

Совет загудел скорее одобрительно. Любая драчка на защите — бесплатный аттракцион. Яковкин замялся:

— Ну, знаете, на такой вопрос нельзя отвечать однозначно. С одной точки зрения правильно, с другой — неправильно.

— Ну а с вашей точки зрения?

Я перла на него, как танк на солдата.

— С моей? Скорее неправильно.

По рядам опять пробежал шумок. Наполовину сочувственный Яковкину, наполовину мне.

— А с моей точки зрения,— сказала я медленно, чуть ли не по слогам,— положение это совершенно правильно. Только у вас с Карпухиным оно выведено некорректно. И я вам сейчас у доски могу его доказать. Позвольте? — обратилась я к председателю.

— Может быть,— осторожно сказал он,— мы не будем отвлекать внимание совета сложными преобразованиями?

— Преобразования как раз несложные. Чтобы их выполнить, достаточно двух минут. Тонкость аппарата диссертант явно преувеличил.

Председатель колебался. Шум в зале крепчал. Кто восклицал: «Пусть докажет!» — кто: «Не стоит!» Встал Флягин и со своей вечной улыбочкой заявил:

— Предлагаю перенести спор на доску. Читая диссертацию, я тоже обратил внимание на это слабое место.

У Яковкина был вид кота, затравленного собаками. Казалось, вот-вот он распластается по стене. О чем шла речь, он явно не понимал. Зато Володя Карпухин понимал отлично и был краснее своих ушей.

— Прошу,— сказал председатель.

Отодвинули в сторону щит. Я вышла к доске, взяла мел и в нескольких строках доказала спорное положение.

— Эх я дурень! — неосторожно воскликнул Володя и тут же сник.

Яковкин отступал настороженно:

— Видите ли... продемонстрированное вами доказательство действительно очень изящно... Обещаю учесть его в своей дальнейшей работе.

— А в чем была ошибка вашего? — безжалостно спросила я.

— Сейчас, в ходе защиты, я не берусь на этот вопрос отвечать.

Ладно. Один — ноль.

— Есть у вас еще вопросы? — спросил председатель.

— Есть. Я хочу спросить у диссертанта, как из формулы 15 на плакате четвертом выводится формула 19 на плакате пятом?

Яковкин подошел к плакатам осторожно, как к зияющей полынье. Нашел указкой формулы, спросил:

— Эта? Эта?

Я подтвердила.

— Как выводятся? Элементарно. С помощью тождественных преобразований.

— Очень странно,— сказала я,— так как эти формулы представляют собой два противоречащих друг другу допущения.

Яковкин молчал, шевеля усами. Отлично: два — ноль.

— Еще вопросы? — спросил председатель, не скрывая неудовольствия. Это уже становилось неприличным.

— А как же, есть,— сказала я залихватски.— Я бы попросила диссертанта уточнить, какова доля его личного участия в работах, приведенных в литературе под номерами сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят и опубликованных им в соавторстве с Карпухиным?

Володя в ужасе закрыл лицо руками.

— Знаете ли,— сказал Яковкин,— долю участия в совместных работах трудно оценить в процентах. Мне принадлежат идеи, постановка вопроса, а Карпухину — конкретная разработка. Каждому свое.

— Разрешите еще один, на этот раз последний вопрос. Если работа выполнена в соавторстве, должен ли каждый из авторов понимать все, что в ней написано?

— Ну, в общих чертах, конечно, да...— неопределенно ответил Яковкин.

Совет загудел. Яковкин, как говорят, подставился...

— Еще вопросы?.. Вопросов нет. Продолжим защиту. Мы должны ознакомиться с отзывами на диссертацию

и автореферат. В адрес совета поступило двадцать восемь отзывов...

— Много! — крикнул кто-то с места.

— Перебор! — поддержал другой.

Традиция требует десять, ну от силы двенадцать отзывов. Перспектива выслушать двадцать восемь вызвала строптивые протесты.

Шум не утихал.

— Товарищи, товарищи! — взывал председатель.

— Товарищи, будьте дисциплинированными! — силился навести порядок председатель. — Любое отступление от процедуры приведет только к затрате времени.

Упоминание о затрате времени несколько отрезвило аудиторию. Шум затих. Ученый секретарь — точный, серьезный, тонкий, как карандаш, — начал чтение отзывов. Единообразно восхваляющие, они были похожи друг на друга, как братья, отмечены общим неумеренным пышнословием, даже одинаковыми риторическими фигурами, словно бы их писала одна и та же блудливая рука... Впрочем, уже через несколько минут никто по-настоящему не слушал. Беда в том, что на присутствующих напал смех. В самых неподходящих местах они начинали смеяться. Как будто привычная церемония вдруг предстала перед ними в костюме голого короля. Смех порхал по залу, подпрыгивал, перекидывался из ряда в ряд. Перекатился даже к столу президиума, и засмеялся сам председатель, тряся бильярдным шаром. Дольше всех держался ученый секретарь. Весь в поту, он продолжал чтение, но вдруг, споткнувшись на слове «эпохально», засмеялся и он...

Председатель, опомнившись, призвал к порядку:

— Товарищи, серьезнее! Мы ограничены временем!

Начались выступления оппонентов. Первый — скучный, понурый — был ужасно похож на старую заезженную лошадь и даже вздрагивал кожей, как будто его ели слепни. Отзыв его был длинный, как веревка, положительный до отвращения, и читал он его, не поднимая глаз, углубившись в текст, как лошадь в торбу с овсом... Те места отзыва, где говорилось о «виртуозном владении математическим аппаратом», совет встретил веселым хихиканьем. В целом настроение складывалось не в пользу Яковкина...

Второй оппонент — толстый, медовый — учел обстановку и читать свой отзыв не стал, перешел на устное творчество. Его выступление было примирительно, интимно.

— Товарищи, неужели мы будем спорить из-за каждой

буквы? Важна не буква, а дух. Работа профессора Яковкина в целом представляет собой крупное научное достижение. В отличие от многих, строящих воздушные замки (кивок в мою сторону), профессор Яковкин ходит по земле. Его работа уже внедрена в практику. По методике профессора Яковкина у нас в КБ уже два года ведутся расчеты. Эта методика дает огромный экономический эффект...

И начал сыпать цифрами сэкономленных миллионов. Я-то по опыту знаю, как легко обосновать экономическую эффективность методики (время от времени от нас это требуют). Стоит задаться несколькими взятыми с потолка цифрами, предположить, что достаточно долго будут продолжать пользоваться старой методикой взамен прогрессивной новой, и, смотришь, набежала изрядная сумма. Один раз Паша Рубакин подсчитал экономическую эффективность теоремы Пифагора — получилось нечто астрономическое...

Под ливнем миллионов, обрушенных на совет вторым оппонентом, искушенные люди только посмеивались; неискушенные были впечатлены. Баланс начал склоняться в пользу Яковкина.

Неожиданно повел себя третий оппонент — человек сухой, узкий, резкий, этакий седой нож:

— Мой отзыв на диссертацию представлен в ученый совет. Отзыв в целом положительный. Чтобы изменить его на отрицательный у меня нет данных. Можно, я не буду выступать?

Ученый секретарь сказал, что нет, выступать обязательно. Третий оппонент спросил, бывают ли случаи, когда кто-нибудь из оппонентов не выступает. Ученый секретарь сказал, что да, бывают в случае болезни оппонента.

— Тогда занесите в протокол, что я заболел. Мне стало тошно,— сказал третий оппонент и вышел из зала.

Совет бурлил, как группа болельщиков перед экраном телевизора. Кто одобрял, кто возмущался. Многие повскакали с мест. Председатель (мне было его искренне жаль) кое-как навел порядок, яростно стуча карандашом по графину и восклицая: «Товарищи!» — а затем спросил ученого секретаря:

— Как полагается поступать в случае внезапной болезни оппонента?

— Его отзыв зачитывает ученый секретарь.

— Так и поступим.

Члены совета, уже разболтавшиеся, плохо слушали отзыв третьего оппонента. Не столь хвалебный, как первые

два, он все же был положительным и содержал серьезные замечания, которые тоже встречались взрывами смеха...

Когда перешли к выступлениям, зал уже угомонился. Первым взял слово Флягин:

— Я не ставлю под сомнение научную ценность диссертации. Я с ней ознакомился. Серьезное исследование. Докторская или кандидатская — трудно сказать. Недаром говорят, что докторская — это диссертация, которую защищает кандидат. Если бы с этой диссертацией выступил, скажем, Карпухин, она была бы полноценной кандидатской. Сейчас речь идет не о ценности работы. Поставлено под сомнение авторство. Дело даже не в том, что диссертант использовал чужие материалы, а в том, что он их не понял. В этом меня убедили его ответы на вопросы Нины Игнатьевны. Я буду голосовать против и призываю членов совета последовать моему примеру.

Еще чего не хватало — быть поддержанной Флягиным! Этот изувер, этот кощей бессмертный выбивал почву из-под моей любимейшей ненависти! «Нет, дудки, не выйдет!» — думала я.

Дальнейших выступлений я не слушала. Некоторые были за, некоторые против. Мне уже надоело. Зря я в это дело ввязалась, черт побери Пашу с его приятелями!

В заключительном слове Яковкин с поникшими усами благодарил оппонентов и рецензентов, обещал учесть их замечания в дальнейшей работе...

— Что касается вопроса об авторстве, который здесь муссировался, и, по-моему, напрасно, то этот вопрос вообще тонкий. Работая в коллективе, люди проникаются идеями друг друга, начинают жить как один организм. Успех одного есть в то же время успех коллектива. Взаимной зависти тут не место. Я, например, счастлив, что на моей кафедре работают такие талантливые молодые специалисты, как Карпухин и другие. Когда придет их время защищать диссертации, я первый подам им руку помощи...— Тут он прямо посмотрел на меня. Его кошачья морда хитро осклабилась, усы привстали.— Товарищи, я подвергся резкой критике со стороны Нины Игнатьевны Асташовой. Но критика должна сопровождаться и самокритикой. Позволено ли мне будет спросить Нину Игнатьевну: каковы были ее научные взаимоотношения с покойным профессором Завалишиным? Может ли она по совести сказать, что ее кандидатская диссертация сделана самостоятельно?

Я даже растерялась. Ну и наглец!

Поднял руку Флягин:

— Позвольте мне как заведующему кафедрой ответить на этот вопрос. Задав его, диссертант явно перепутал понятия. Одно дело пользоваться идеями своего научного руководителя и совсем другое — своих подчиненных. Другой моральный аспект. Что касается диссертации Нины Игнатьевны, то я ее хорошо знаю, как и работы покойного профессора Завалишина, и могу утверждать, что диссертация сделана самостоятельно. Это видно по ее научному стилю, отличному от завалишинского. Более того,— тут он повернул в мою сторону тусклое очкастое лицо,— Нина Игнатьевна скорее склонна дарить свои работы, чем присваивать чужие...

Ах змей! Неужто догадался? У меня прямо горло перехватило. Но я взяла себя в руки и сказала:

— Я не нуждаюсь в заступничестве кого бы то ни было. Даже заведующего кафедрой. На ваш вопрос,— обратилась я к Яковкину,— отвечу, что, разумеется, многие идеи моего научного руководителя я использовала в своих работах. Но я всегда на него ссылалась и в любом случае понимала все без исключения, мною написанное.

...Кончилось все это тем, что Яковкина провалили. Когда я уходила, его затылок и уши выражали такую смертную тоску, что я усомнилась в своей правоте. Зачем были эти театральные эффекты? Не лучше ли было бы, не доводя до защиты, заранее с ним потолковать?

По человечеству лучше. А из соображений общей справедливости? Не знаю. Спектакль был полезен не для данного конкретного кота-ворюги, а для других, потенциальных ворюг, чтобы неповадно было.

— Добились своего? — спросил меня на другой день Лева Маркин.— Наелись человечины?

— Идите к черту! — сказала я.

— С наслаждением! — ответил он.

По его лицу видно было, что он и в самом деле уходит от меня с наслаждением. Что поделаешь...

Кто торжествовал, так это Паша Рубакин. Он даже Сайкину звонил и говорил о моем величии.

ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Н. Н. ЗАВАЛИШИНА

Думаю о плохих людях. Вернее о тех, кого принято считать плохими. Многие из них плохи не вообще, а субъективно — для нас. Плохость человека — это скорее душевное состояние других людей, его воспринимающих

и о нем судящих. Например, всегда ли объективно плох человек, не вступившийся за другого из робости? Чаще всего это так. Но ведь, возможно, эта робость скорее свойство нервной системы, чем душевной организации. Возьми такого человека за руку, поведи за собой — пойдет.

Это я понимаю, потому что сам в детстве знал страх. Сила его в некоторых обстоятельствах была непреодолима. Вылечил меня от него Пулин. Лучший способ борьбы с трусостью — смех. Смеющийся человек в каком-то смысле становится богом. Он уже недоступен чудовищам — жизненным страхам.

Лично я (за исключением раннего детства) трусом, пожалуй, не был. Хотя и серьезных испытаний на смелость не проходил. Волей судьбы мне почти не пришлось воевать. Для первой мировой войны я был слишком молод, для второй слишком стар. Воевал я — чуть-чуть — только в гражданскую. Вернее, не воевал, а чистил лошадей. По близорукости для строевой службы я не годился. Оружия в руки не брал, но хорошо знаю, как себя чувствуешь, когда по тебе стреляют. Неприятно. На меня всегда в таких случаях нападало какое-то оцепенение, внешне похожее на смелость. Я запаздывал вздрагивать на звуки разрывов, время для меня растягивалось как резина. Свойство нервной системы.

В той же конюшне со мной вместе ходил за лошадьми другой нестроевик, по тогдашним моим понятиям глубокий старец, лет сорока — сорока пяти. Этот человек, интеллигентный и порядочный, был органическим трусом. Он буквально не мог себя заставить выйти из блиндажа во время обстрела. Мне его психология была недоступна, так же как ему моя. Иногда я его спрашивал: «Ну неужели вы неспособны взять себя в руки?» На это он отвечал: «Не дай вам бог когда-нибудь узнать состояние, когда надо взять себя в руки, а рук-то и нет».

И все-таки однажды этот человек взял себя в эти отсутствующие руки. Как-то во время обстрела меня ранило. Я упал. Он видел это и так испугался, что у него выросли руки. Он вылез из блиндажа и вытащил меня, бессознательного, из-под огня. Для него это было великим подвигом, и до сих пор я об этом вспоминаю с благоговением.

Главная причина трусости — неизвестность. Человек не знает, что ему предстоит, и трепещет. Иному надо сказать: «Ну, чего ты боишься? Что с тобой будет, в конце концов?»

Всего ужаснее — трусливый старик. Ему нечего терять, а он боится. Ну что, в конце концов, ему грозит? Потеря положения? Смешно. Состояния? Еще смешнее. Жизни? Она уже прожита. Трусливый академик — это нонсенс.

И еще одно соображение: любой плохой человек для самого себя, внутри себя — прав. Он не мог бы жить, сознавая себя плохим. Он воздвигает систему самооправданий, своего рода внутренних укреплений.

Суди о нем не снаружи. Войди мысленно в его душу, постарайся понять, на чем он укрепил свое равновесие. Как он сам себя видит и чем себя оправдывает?

Умение влезать в чужую шкуру — грустный дар, которым награждает человека жизнь. К сожалению, этот дар чаще достается старым, немощным, обиженным жизнью, чем молодым и дееспособным.

Я убежден: даже самый плохой человек податлив на ласку и одобрение. Восхищайся им (только искренне!), и он будет с тобою счастлив и добр.

Часто мы начинаем считать людей плохими, несимпатичными только из лени. Жизнь наша перегружена впечатлениями. Каждый новый человек, с которым она тебя сталкивает, требует внимания, а оно у нас не безгранично. Нельзя вместить в себя всех и каждого. Поэтому мы торопимся невзлюбить человека, который ни в чем не виноват, попросту подал заявку на наше внимание. Объявив кого-то неприятным, мы как будто снимаем с себя вину за невнимание. Мы рады придраться к любому поводу, чтобы не полюбить человека. Одного мы не любим за то, что он толст, другого за то, что шмыгает носом, третьего за пристрастие к уменьшительным. Часто меня удручает мысль об изобилии недоброжелательства, среди которого мы живем. Нашего к другим людям и других людей к нам. Невольно вспоминаются строки из «Скупого рыцаря»:

> Да! если бы все слезы, кровь и пот,
> Пролитые за все, что здесь хранится,
> Из недр земли все выступили вдруг,
> То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
> В моих подвалах верных...

Так вот если бы внезапно, каким-то чудом стали слышными все заочные высказывания одних людей о других, более того — все недобрые мысли, мы бы захлебнулись в море недоброжелательства. Каждый из нас по-своему в нем повинен.

Я, старик, пытаюсь не осуждать людей. Но и я виноват: я остро не люблю Кравцова. Бываю к нему несправедлив

(внутренне всегда, а иногда и внешне). Пытаюсь разобраться в причинах этой острой антипатии. Эгоист? Конечно, но не он один. Карьерист? Многие карьеристы (я уже нет). Любит поговорить? Многие любят. Я сам на старости лет стал отвратительно болтлив. Меня раздражает не сама по себе его болтливость, а обкатанность его речи. Тут я, пожалуй, несправедлив. Есть люди (из тех, что поздно выучились правильно говорить), для которых штампованная речь — своего рода достижение. Такой человек наслаждается своим уменьем нанизывать одну за другой гладкие фразы, чтобы выходило совсем как в газете. Нечто похожее испытывал я, когда, попав за границу, вел разговоры на малознакомых мне языках. Сам факт гладкой, правильной речи — уже достижение.

Явное желание Кравцова стать заведующим кафедрой поставить в вину ему я не могу. Он человек молодой, ему интересно заведовать кафедрой. Способности у него есть, как научный работник он заслуживает уважения.

В результате, если вдуматься и разобраться как следует, главной причиной моей неприязни к Кравцову оказывается то, что у него фигура не суживается, а расширяется к поясу. Нечего сказать, причина... Позор!

СУДЬБА МАТВЕЯ

Осенью к Люде приехала погостить мать Евдокия Лукинична. Познакомилась с внуком и, конечно, сразу же в него влюбилась. Устроились, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Бабушке отдали Людину койку, а Люда ставила себе на ночь хромую раскладушку из запасов списанной мебели, хранившейся в закромах Клавды Петровны. Когда завершались приготовления ко сну, в комнате не оставалось места даже для тапок. Кое-как втискивались по своим местам, ушибая бедра о мебель.

Бабушка мало того что возилась с Матвеем, еще взяла на себя все хозяйство. Была она из тех тихих умелых русских женщин, которые все делают споро, незаметно и хорошо. Такая, может быть, и не остановит коня на скаку, и в горящую избу побоится войти (разве если там внучек), но простой своей тишиной и скромностью поможет жить. Люда с Асей, освобожденные от забот, пылко ринулись в учебу. Люда ликвидировала хвосты, сдала курсовую, висевшую над ней еще с прошлого года. Ася под руководством Асташовой написала научную работу из области самонастраивающихся систем. Работала с увлечением, да-

же по ночам при свете ночника. Сделала доклад на студенческом научном обществе; доклад выдвинули на конкурс, и он получил первую премию. Ася была счастлива безмерно, особенно гордилась одобрением своего научного руководителя. Нину Игнатьевну она всегда уважала, а теперь, поработав с нею бок о бок, зауважала еще больше.

— Ой, Люда, до чего же она понимающая — просто ужас! Ей еще только начнешь рассказывать, раз-два, а она уже поняла.

— Им за это деньги платят, — возражала Люда, которая Асташову вообще не любила.

— Деньги платят всем преподавателям, а она такая одна.

— Ну уж! А Семен Петрович? Гораздо лучше.

Люда была из поклонниц Семена Петровича Спивака. Вообще на факультете девушки в вопросе мужского обаяния делились на «семенисток» и «радисток». Люда была из первых.

— Семен Петрович, конечно, сила, — соглашалась Ася, — но от него больше шума, а Нина Игнатьевна тихая.

— В тихом омуте черти водятся.

— Пускай водятся. В человеке должны водиться черти.

Написав работу, Ася продолжала ходить к Асташовой за советом, поддержкой. Студент, начинающий заниматься наукой, похож на котенка, еще не научившегося пить молоко. Его надо ткнуть мордой в блюдечко, и тогда он примется лакать. Вот это научное блюдечко как никто умела подставить Нина Игнатьевна.

На кафедре теперь разговаривать было нельзя. Ася с Ниной Игнатьевной встречались в коридоре, иногда в читалке, а то и в буфете. Когда сидели друг напротив друга у буфетного столика, Ася старалась есть поменьше, чтобы не шокировать научного руководителя своим аппетитом. Та и сама ела помалу — самую чуточку. С душевной болью Ася замечала, что Нина Игнатьевна осунулась, плохо выглядит, но спросить: «Что с вами?» — не решалась. Слишком велика была дистанция, жестокая дистанция между преподавателем и студентом, преодолеть которую трудно и той и другой стороне.

— Может быть, у нее какое-нибудь горе, — говорила Ася Люде. — Знаешь, мне кажется, что у нее не все ладно. Или болезнь. Или, может быть, какая-нибудь драма в личной жизни?

— С ума сошла! Какая в ее годы может быть личная жизнь?

Покуда гостила Евдокия Лукинична, Ася с Людой и Матвеем катались как сыр в масле. Комната убрана, обед приготовлен, Матвейка обстиран — земной рай! Утешали Асю и письма из дома. День ото дня Софье Савельевне становилось лучше. Она уже вставала, ходила по комнате, стала разучивать для Матвея детские песенки, только пальцы были еще слабы. Сама написала и вложила в письмо Михаила Матвеевича записку: «Ася, мне лучше. Привет моему дорогому Матюшеньке. Целую обоих. Мама и бабушка». Эту записку Ася Люде не показала. Скопление секретов ее тяготило, внутри себя она называла их «тайны мадридского двора». Надеялась, что, когда мать поправится окончательно, секреты кончатся.

Катание как сыр в масле скоро пришло к концу. Комендантша Клавда Петровна, приревновав Матвея к новоявленной бабушке, стала к ней придираться, возражать против ее проживания «сверх санитарных норм», теснить ее с ползунками Матвея и даже пригрозила конфисковать плитку, что уже было бы катастрофой. По поводу плитки Ася ходила к ней с дипломатической акцией. Клавда Петровна была как каменная:

— Пока была нужна, привечали, а теперь своя бабка есть, прощай, Клавда, лети в трубу!

Еле-еле Ася ее уговорила. Но вот однажды Евдокия Лукинична получила письмо (от кого, не сказала) и в тот же день заявила дочери:

— Погостила, и хватит. Пора домой. Я тут у вас бельмо на глазу. Того и гляди через милицию выселят. Я сколько живу — с милицией не встречалась.

— Мама, этого быть не может! Клавда Петровна только пошуметь любит, а в душе она добрая.

— Видно, добро у нее глубоко в жиру закопано. Нет уж, не уговаривайте, поеду.

Что тут поделаешь? Насильно не удержишь. Ася, со дня на день откладывавшая разговор с Людиной матерью на антирелигиозные темы (само рассосется?), спохватилась и решила провести беседу. Ася считалась лучшим преподавателем физматшколы, славилась умением объяснять понятно и просто, и Люда очень надеялась на ее способности. Сама-то Ася в них сомневалась, но чего не сделаешь по дружбе. Люда нарочно ушла вечером, чтобы оставить Асю с матерью наедине. Когда выпили чаю, погрустили, размягчились, Ася приступила к делу сначала издалека:

— Евдокия Лукинична, я так рада, что вы полюбили Матвея! А ведь когда-то не хотели его признавать.

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Не хотела, потому что незаконный, по простому — байстрюк. А отец Яков: у бога все одинаковые, законные и незаконные, крещеные и некрещеные. Всякое дитя свято.

— Значит, вы можете отказаться от своего прежнего мнения?

— А как же? Очень даже могу. Человек, не кирпич.

— Как я рада! Давайте поговорим по душам. Я давно хотела у вас спросить: ну зачем вам этот отец Яков, эта секта?

Евдокия Лукинична обиделась:

— У нас не секта, а дружба. Сектой зовут нас злые люди. Ты, Ася, такого не повторяй.

— Ну простите, сказала по глупости. Зачем вам эта дружба?

— Всякому человеку дружба нужна. А то живут отдельно, как могилки на кладбище: замок, оградка, скамеечка. Особенно кто на пенсии. Сварила щей ковшичо́к, да кружечку каши, поела — только и делов. А надо что-то и для души. Без людей не проживешь. А кому мы, старые, нужны? Людочка меня на лекцию водила, я со стыда чуть не сгорела. Все глаза на меня пялят: чего, старая лопата, пришкандыбала? У них после лекции кино, танцы, я между них одна, как селедка на блюде. В моленном доме мы все равны. Все старенькие, все в платочках.

— Это-то и плохо, когда одни старенькие. Надо, чтобы и старенькие были, и молодые, и дети. Вы говорите: не нужны. А разве нам с Матвейкой не нужны? Подумайте, ну зачем вам торопиться? Пожили бы еще. Клавду Петровну я уговорю.

— Нет уж, пожила, и хватит. Я тебе по секрету скажу Ася. Выдвинули меня там на руководящую работу. На сбор какой-то посылают.

Ася пуще всего испугалась «сбора». Растерялась, начала доказывать Евдокии Лукиничне, что бога нет, да как-то глупо, неубедительно. Мол, гипотеза бога не нужна современной науке. А какое той дело до науки, да еще современной? Сказать по правде, наличие бога Евдокию Лукиничну особенно и не волновало: есть он там или нет. Важнее была для нее та форма жизни на людях, которая ей открылась теперь, на старости лет.

Вернулась Люда, вызвала Асю в душевую:

— Ну как?

— Не получается,— сконфуженно призналась Ася.—

Если бы она твердо верила в бога, я бы, может быть, смогла ее переубедить...

Вскоре Евдокия Лукинична собрала вещи, сделала закупки в магазинах, простилась с Матвеем и уехала. На вокзале она стояла уже отчужденная — богомолка в черном платочке. Жизнь без нее стала труднее, но в чем-то и свободнее. Иногда Ася говорила Люде:

— Есть конструктивное предложение: не стирать сегодня пеленки. Оставить до завтра.

Люда с восторгом соглашалась.

Клавда Петровна опять зачастила к ним в гости. Опять начались вольные разговоры:

— Слушайте, девчата, мою жизненную мораль. Любовь — это блесна. Схватила — и все, уже на крючке, а там на кукане. У меня от этой любви несварение витаминов...

Трудно-трудно, а дотянули-таки семестр. И вдруг в январе (уже началась сессия) Асе пришла телеграмма: «Мама скончалась, приезжай». Ее прямо оглушило. Ничто не предвещало конца, напротив, последние письма были веселые...

Распухшая, отупевшая от слез, бросив все дела (какая тут сессия!), Ася рванулась, уехала первым попавшимся поездом. К похоронам успела...

После похорон стало ясно: старика нельзя оставлять одного. Он ронял вещи, терял деньги, мог выйти на улицу раздетым... Один раз принялся жечь бумаги, сжег свой паспорт, университетский диплом... Ася не сомневалась: ее место здесь, рядом с отцом. Учеба? Можно перейти на заочный. Ведь с самого начала планировала заочный, теперь сама судьба решила за нее. Вот только Матвей... О Матвее ныло сердце.

Прожила две недели, уехала в Москву оформлять переход на заочный. В ее отсутствие за Михаилом Матвеевичем взялась присматривать соседка.

— Только ты скорей оборачивайся — одна нога здесь, другая там. Хуже малого ребенка твой старичок. Дюже переживает.

В институте шли зимние каникулы. Многие студенты разъехались — кто на лыжах, кто к родным. Люда, конечно, была на месте. Обрадовалась Асе без памяти, огорчилась до слез, узнав о ее решении.

Матвей без Аси ходить научился. Бегал теперь по всему общежитию, путешествовал даже по лестнице с этажа на этаж: подложит под себя ногу калачиком, а другой отталкивается от ступенек. Получив свободу перемещения, он вошел в азарт и совсем от рук отбился. Перестал проситься, впал в нигилизм. Ходил весь в синяках и шишках, того и гляди свернет себе шею. Один раз, рассказывала Люда, выбрался во двор и ел там снег; спасибо Клавда Петровна поймала его и отшлепала. Соседки по общежитию жаловались: Матвей забирается к ним и ест бумаги (одной девочке растерзал зубами конспект по гидравлике). Общественность в лице одной аспирантки требовала, чтобы ребенка отдали в ясли. Эта аспирантка была пожилая, лет тридцати, в очках, настоящая кобра. Люда боялась ее как огня.

— В круглосуточные! — говорила она, увидев Люду с Матвеем. Услышав это слово, Матвей ударялся в рев.

Сама Люда в сессию опять схватила две двойки — вполне могли снять со стипендии. Словом, было о чем подумать.

В деканате к Асе отнеслись сочувственно, оформили ей как отличнице академический отпуск на год с правом защищать диплом вместе со всеми. Разрешили сдать вне сроков зимнюю сессию. Сдала она ее тут же, без подготовки. Преподаватели ее и не спрашивали — прямо ставили пять. Асе было это и приятно и стыдно.

Последний экзамен сдавала она Нине Игнатьевне. Та спрашивала по-настоящему, без дураков. Все-таки пять, хотя и запуталась в одном пункте. Потом Нина Игнатьевна стала расспрашивать Асю о ее делах (кое-что она о них уже слышала). Расспрашивала не формально, а от души — сразу видно. Асю понесло, и она ей все рассказала: и про смерть матери, и про отца, и про Люду, и про Матвея — как он по этажам лазает и конспекты грызет.

— Знаете что? — сказала Нина Игнатьевна.— Заберите его с собой, целее будет.

— Да? — обрадовалась Ася.— Я и сама так думала, но не была уверена...

— Видно, вы его очень любите.

— Ужасно! Вы себе даже не можете представить. Как своего. Больше, чем своего...

— Отчего? Очень даже могу себе представить.

Поговорили и о дипломе. Нина Игнатьевна взялась быть руководителем, назвала тему, дала литературу. Сказала:

— В сущности, вы могли бы защищать ту свою работу,

за которую получили премию, но от вас я хочу большего.— Набросала план, улыбнулась, сказала: — Старайтесь.

Подарила Асе свою книжку с надписью: «Дорогой Асе Уманской от автора в надежде на ответный подарок». У Аси даже уши зажглись от смущения и радости. Шла домой как на крыльях летела, торопилась поделиться с Людой, показать книжку, но не успела: пропал Матвей.

Люда металась в страшной тревоге. Дежурная его не видела; у Клавды Петровны тоже Матвея не оказалось:

— Был, выпил чаю и ушел.

Вместе с Клавдой Петровной обшарили весь двор, нашли чьи-то следы, по размеру оказалось — не его... Отыскали его наконец в самом неподходящем месте — у той самой аспирантки, очкастой кобры, которая требовала: «В круглосуточные!» Матвей сидел у нее на столе и пил чай.

— Ты что здесь делаешь? — накинулись на него Ася и Люда.

— Тай,— невозмутимо отвечал Матвей и улыбнулся от уха до уха.

— Простите, пожалуйста, он вам помешал заниматься, мы виноваты, недосмотрели.

— Ох, что вы! — сказала кобра.— Такой обаятельный мальчик!

Взяли обаятельного мальчика (не хотел уходить), унесли домой. Кой-как успокоились после пережитых тревог. Ася сказала:

— Ну знаешь что, я его заберу с собой. Он тут у тебя сопьется.

Люда в слезы:

— Ты думаешь, что я никуда не годная мать.

— Ничего я не думаю. Я только знаю, что год тебе предстоит тяжелый.

— А если в ясли? — спросила Люда.

— В круглосуточные?

Матвей немедленно заревел.

— Вот видишь, как он хочет в круглосуточные ясли. Нет, не миновать ему ехать со мной.

Матвей перестал реветь.

— А ты-то как справишься и с Матвеем, и с отцом, и с учебой?

— А мне как раз Матвей-то и нужен. Папа в плохом состоянии, влияние Матвея будет ему очень полезно. Его надо привязать к жизни, понимаешь?

Люда подумала, поняла, поплакала и согласилась.

Уехали Ася с Матвеем. Хорошо, что пришлось на каникулы (студентам половинная скидка). И то разориться можно на эти поездки туда-сюда...

Дома отец так к ним и кинулся. Плакал, целуя ребенка, восхищался его кудрями, уменьем ходить, говорить (на самом деле Матвей толком умел говорить только два слова: «атя» и «тай»). До чая он был великий охотник. Михаил Матвеевич ставил для него самовар, раздувал сапогом (процедура, сказочно интересная для Матвея), и они вдвоем подолгу сиживали за столом. Дед пил из стакана в серебряном подстаканнике, внук из чашки с тремя медведями (детская Асина). Мальчик научился различать и показывать пальцем, кто Михайло Иванович, кто Настасья Петровна, а кто Мишутка. Старик смастерил для него высокий стул: Матвей сидел на нем, возвышенный как на троне.

Ася не напрасно надеялась на влияние Матвея. Старалась больше нагружать старика поручениями, все по линии Матвея. Он сперва робко, пугливо, а потом все увереннее их исполнял. Вначале случались с ним приступы отчаяния, дрожали руки, плакал над каждой разбитой чашкой, порывался куда-то уйти. Но Матвей — пышный, ясноглазый, приветливый — делал понемногу свое нехитрое дело. Влиял. Вот уже иногда краешком губ улыбался старик, глядя на мальчика.

Жили они очень скромно на отцовскую пенсию, экономя каждый грош. Сбережений у Михаила Матвеевича не было. Все, что было, потратил во время болезни жены, потом на похороны, а потом на гранитный памятник, установленный, как только сошел снег. Ася нашла кое-какие уроки — готовила по математике в вузы. Учила вдумчиво, толково, терпеливо, с милой улыбкой на маленьких красных губах (опыт работы в физматшколе очень ей тут пригодился). Не бог весть сколько, но какой-то приработок это давало. В общем, сводили концы с концами. Всего труднее было одевать и обувать Матвея; мальчик рос как на дрожжах, был непоседлив, обуви и штанов не напасешься. Ася говорила, что он рвет штаны изнутри, «пышностью зада». Добыв выкройку, она выучилась шить штаны сама довольно сносно из старых брюк и пиджаков Михаила Матвеевича. Однажды он принес Асе шерстяную, почти новую юбку Софьи Савельевны и с дрожащими губами сказал:

— Сшей из этого что-нибудь для Матюши, она была бы рада.

С этого пустячного эпизода началось для него уже

твердое вхождение в жизнь. О матери они с Асей почти не говорили, оба грустили и помнили, но жизнь до краев была полна заботами и Матвеем...

Наступила ранняя, солнечная южная весна. Снег стаял быстро, да его и не было много. Скворцы неистовствовали на деревьях; розовые черви выползли на дорожки сада. Ася купила Матвею первые в жизни резиновые сапоги, сверкающую пару красных красавцев. Он их бурно полюбил, прижимал к груди, пытался целовать и очень неохотно надевал на ноги. Правда, надев, топал в них с разгромной силой, поднимая фонтанчики грязи.

Письма от Люды приходили не часто, но регулярно, с неизменными приветами дорогому сыночку и Михаилу Матвеевичу. У нее все было благополучно, с учебой подтягивалась.

У Аси дела академические тоже продвигались (занималась по вечерам, уложив Матвея), но шли не блестяще. Там, в Москве, учиться помогали стены института, толпы студентов, их шуточки, хитрости, общая трудная, но веселая жизнь. Та же Люда помогала своим непониманием: объясняешь ей, смотришь — и сама поймешь. Здесь, наедине с книгой, и объяснить-то некому.

И еще обстоятельство все время ее тревожило: ложность ее положения как матери Матвея. С этим пора было кончать. Летом обещала приехать Люда — как быть с нею? Втягивать и ее в «тайны мадридского двора»? Нет уж! А что будет с папой, когда он узнает?

И так прикидывала Ася и так и наконец решилась: надо сказать правду — и будь что будет. Однажды вечером (Матвей уже спал, умаявшись за день) она сказала как можно отчетливее:

— Знаешь, папа, я перед тобой виновата. Мне давно было нужно это сделать, но я не решалась. Это касается Матвея...

Отец побледнел и ответил спокойно:

— Что он не твой сын? Это я уже знаю.

— Откуда?!

— Я тоже перед тобой виноват, скрыл от тебя это письмо. Его прислали без тебя, я его положил на рояль, а Матюша, ты его знаешь, очень любит грызть бумагу. Пришел, вижу — сидит на ковре и терзает. Один угол совсем отъел, а остальное я собрал по кусочкам и подклеил. И при этом невольно прочел. Письмо от Люды. Узнал,

что Матвей ее сын, а не твой. Конечно, это меня ударило. Но ничего. Долго раздумывал — обманула ты нас или нет? Решил — нет. Ты же ни разу не говорила, что он твой сын, просто позволяла нам так думать...

— Значит, ты знаешь? И не сердишься?

— Нет, конечно. И не беспокойся — меньше любить я его не буду. Любишь не родного, а человека. Если бы вдруг выяснилось, что ты не моя дочь, честное слово, я бы любил тебя не меньше...

Обнялись, поплакали.

— А письмо-то? — вспомнила Ася.

— Несу, несу.

В начале июля приехала Люда — хорошенькая, веселая, чуть-чуть пополневшая. Матвей сначала ее не узнал, но очень быстро освоился.

— Скажи «мама»,— учила его Люда.

— Атя,— упрямо говорил Матвей.

— Ну что тебе стоит? Скажи «ма-ма».

Ни в какую. Такое простенькое слово не хотел сказать, хотя умел говорить куда более сложные: «мыло», «малина»... Этак врастяжку: «ма-ли-на». Говорить это слово он научился после прискорбного случая, когда, пробравшись один в сад, объелся малины и заболел довольно серьезно. С тех пор, видя роковые кусты, он каждый раз сам себе грозил пальцем и назидательно говорил: «Ма-ли-на!»

Люду Матвей воспринял скорее как сверстницу и подругу по играм, чем как взрослую. Бегали они наперегонки по саду — она длинноногая, стройная, красивая, он коротконогий, круглый, красивый.

Спали Ася с Людой в одной комнате, а дед с Матвеем в другой. Мужская половина и женская. В мужской по вечерам бывало тихо, а в женской болтовня, смех, шутки.

В первую же ночь, как только легли, Люда сказала:

— Знаешь, Аська, у меня огромная новость. Я, кажется, влюбилась.

— Что ты! В кого?

— Нет, пока говорить не буду, чтобы не сглазить. Это такой человек, такой... Ну, всесторонне образованный, просто необыкновенный. Он в тысячу раз выше меня по всем параметрам. Даже жутко, до чего выше.

— Я его знаю?

— Нет, его никто не знает. Черный ящик.

— А хороший?

— Ужасно! Просто не верится, чтобы такой человек мог меня полюбить. Он мне еще ничего не говорил, но чув-

ствую — любит, и все! Аська, до чего же я счастливая! Гляжу на себя — руки-ноги мои, а все вместе не я.

— Смотри не обманись снова, как тогда с Олегом.

— Что ты! Ничего похожего. Олег и он — это небо и земля.

— Так кто же он все-таки? Тайна мадридского двора?

— Не скажу — значит не скажу. Пока он мне всеми словами не уточнит свою любовь. Тогда скажу, честное слово. Ты не бойся, Аська, я теперь осторожная.

— А про Матвея он знает?

— Он все знает, ему даже говорить не надо, он по определению все знает.

— Ну это уж ты хватила. Ни один человек, даже гениальный, не может все знать по определению.

— А он может. Ой, Аська, какая же я счастливая!

Люда прыгнула на постель к Асе, начала ее тормошить.

— Глупая, я же щекотки боюсь! — отбивалась Ася.

— Надо же мне себя проявить. Сил нет терпеть, до чего счастливая!

Еле угомонилась, заснула Люда. А Ася еще долго не спала, размышляла. Судьба Матвея ее тревожила. С кем, в конце концов, будет Матвей? Тут любовь и там любовь, но тут законного права нет, а там право. Если Люда выйдет замуж, как ее муж отнесется к Матвею? Большой вопрос.

И еще одно: какая-то заноза сидела в сердце. Прислушавшись к себе, поняла Ася, что завидует, да, завидует Людиному счастью. И сын и любовь...

Люда уехала одна, без Матвея. Прощаясь, шепнула Асе:

— Потом видно будет что к чему.

Ася была грустна, озабочена. Кто был счастлив, так это дед.

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

В моей жизни за последнее время произошли разные изменения.

Прежде всего заболел Валентин. Никогда ничего с сердцем не было и вдруг — инфаркт. Правда, несколько месяцев перед тем он вел отчаянный образ жизни. Ездил, кутил, снимал сразу две картины, любил сразу двух женщин — одну красавицу, другую умницу. А главное, пил, пил...

Я его почти не видела. Забегал ко мне наспех между

двумя пароксизмами деятельности, спал на моей тахте, целовал мне руки, говорил, что любит меня, уходил. Насчет любви было вранье, ничуть он меня не любил. Просто привык, боялся в своей сумасшедшей гонке остаться без тихой пристани, где ничего от него не требуют, ничем не попрекают. Чем-чем, а попреками он был сыт по горло.

Любила я его как одержимая, мучилась отчаянно. До сих пор Валентин мне не врал. Теперь он сбивался, путался. О красавице и умнице рассказал мне сам, пошленько подхихикивая. Это был не он. Дело было не в так называемых изменах. Он изменил самому себе. Верная своему зароку, я и тут его не попрекала. Все это перекипало у меня внутри, как дьявольское зелье, где и змеиный яд, и лягушачья косточка, и корень мандрагоры. Шло это у меня как-то странно, полосами. То ужасно (жить нельзя!), а то словно бы ничего. Помню, в самый разгар моих терзаний ясным осенним вечером (солнце светило, листья падали), обходя лужу по кирпичам, я вдруг почувствовала, что счастлива. Но чаще было другое, боль нестерпимая, как будто внутри что-то рвется (вероятно, сердце). Но инфаркт случился не у меня, у него. Когда мне об этом сообщили, у меня буквально запрыгали руки. Но мне надо было идти на лекции, и я собралась. Проклятое и благословенное наше ремесло — что бы ни случилось, иди читай.

Несколько дней он был в опасности, но в конце концов выкарабкался, выжил. Чего мне стоили эти несколько дней! Я металась, как собака без хозяина, только что не подвывала.

Когда ему стало лучше, я навестила его в больнице. Как больной тяжелый и привилегированный, он лежал в отдельной палате. У изголовья стоял кислородный баллон. Кислород, символ жизни, всегда стоит рядом со смертью (ничего нет страшнее кислородных подушек, темно-защитных, туго надутых, с черными трубками и нагубниками). В палате было много цветов, вероятно от его женщин. Я смотрела на длинный костистый череп Валентина, глубоко ушедший в подушку, и мне было страшно: точно так он будет выглядеть на смертном одре. Он был непохож на себя главным образом своей отделенностью от всего. Этот чужой человек разлепил спекшиеся губы и сказал:

— Родная моя. Хорошо, что пришла. Я тут без тебя стосковался.

Какой-то словарь — не его. Я положила лицо на его руку, неподвижно лежавшую ладонью вверх на одеяле. Он чуть-чуть сжал пальцы, и мое лицо оказалось в его горсти.

Его сильная продолговатая рука была теперь влажна и слаба. Я поцеловала его ладонь.

— Молодец, что не умер.

— Старался для тебя.

Счастье, что он не умер. Мне кажется, его смерти я бы не вынесла. Хотя человек выносит многое.

Постепенно он начал поправляться, месяца через два выписался из больницы. Бросил курить, бросил пить, полысел. Волосы его, всегда редкие, теперь отступили, словно отодвинутые на задний план.

Побывав на краю смерти, Валентин сделался другим человеком. Когда стал выходить на улицу, в первый же день пришел ко мне и остался ночевать. Это была первая ночь, которую он провел со мной.

— Наша первая брачная ночь,— сказал он.

Сколько раз за все эти годы я мечтала о такой ночи! И вот он был со мной целую ночь, и все это было не то, не так. Как бы это выразить? Он был со мной рядом, но не вместе. Он был рядом, но я ничего не чувствовала. Он? Он. Ну и что? Это меня даже испугало. «Опомнись, это же он»,— говорила я себе. Он заметил.

— Нина, ты здесь?

— Да, я здесь.

— Мне показалось, что тебя нет.

— Тебе показалось.

Наутро он ушел. Я не покормила его завтраком (боялась Сайкина). В тот же день он уехал в санаторий. Вернулся загоревший, пополневший, даже с каким-то намеком на брюшко (всегда был худ и жилист). Начал работать, но без прежнего летящего одушевления. Стал уравновешен, осторожен, оглядчив. Совсем не пил. О красавице и умнице что-то не было слышно. Часто (раза два-три в неделю) приходил ко мне ночевать, к великой досаде Сайкина, который вел себя пристойно, но неприязни не скрывал.

Димка и Иван — те, напротив, были без ума от дяди Вали. Какие-то он им складывал бумажные кораблики, из-за которых они потом люто дрались, подсчитывая, у кого сколько и каких именно. Вот дурачье! Большие мальчики, школьники, они пока не подают признаков вхождения в разум.

Однажды утром Валентин, надевая носки, сказал неожиданно:

— Нина, послушай, а тебе не кажется, что нам пора собирать детей?

Сердце у меня замерло. Собирать детей? Это могло

значить только одно: жить вместе. Может быть, пожениться? Не важно. Жить вместе. Собрать детей — моих двоих, и его одну и еще одного — общего...

Я медлила с ответом. Как-то это было неожиданно и болезненно. И он медлил с ответом, поставив голую ступню на ковер. Его ступню — белую, сухую, сильную я, кажется, видела впервые и глядела на нее с какой-то неприязнью. Что-то хозяйское было в этом властном постанове...

Я представила себе его дочку Ирину — теперь уже почти взрослую, с крупными, капризными, пушком обметанными губами. Мысленно поставила ее рядом с Сайкиным, мальчишками... Нет. Ничего не получалось. И дело даже не в детях. Я не могла представить себе самого Валентина — рядом, всегда...

— Я не тороплю тебя.— Он натянул второй носок. Что-то прежнее детски лукавое сверкнуло в его лице; я как бы разглядывала его давний кинокадр.— У тебя будет время обдумать. Я еду на съемки месяца на три-четыре, а ты пока на досуге обдумай.

— А Александра Федоровна? — спросила я.

— Тут все благополучно. Пока я лежал в больнице, она нашла себе другого. Главное, он будет ее снимать.

— А красавица и умница?

— Давно не существуют. Нужна мне по-настоящему только ты.

Валентин подошел, положил руки мне на плечи, заглянул в глаза — все как полагается по романам.

— Нина, ты меня любишь?

— Да,— ответила я правдиво.

— Надолго ли?

— Пока навсегда.

— Все ясно.

Через несколько дней он уехал на съемки. Зашел попрощаться. Выглядел он из рук вон плохо.

— Разумно ли тебе ехать? Ты еще слаб после болезни.

— Ничего со мной не сделается. А сделается — туда мне и дорога. Битая карта. А ты все-таки без меня подумай...

Уехал, а меня оставил размышлять. Выходить замуж? Собирать детей? Боже мой, мне не хотелось. Пусть лучше как было: он с дочерью у себя, я с сыновьями у себя...

Как раз тут произошло еще одно событие. Однажды вечером, придя из института, я застала у себя в комнате Димку. Он был в своей полосатой пижаме, из которой давно

и самым жалким образом вырос, но не хотел расстаться и даже в стирку отдавал неохотно («Каторжник, одуревший от дурной пищи», — говорит Сайкин, видя его в этой пижаме).

— Почему не в постели? — спросила я грозно, краткостью и интонацией подражая Александру Григорьевичу.

— Мама, мне нужно сообщить тебе нечто необыкновенное.

Кажется, это фраза из Чапека. Димка последнее время читает непомерно много и весь дымится цитатами. Тоже мне домашний Лева Маркин!

— Что же такое необыкновенное ты хочешь мне сообщить?

— Может быть, это подло с моей стороны — выступать в роли доносчика, но я все-таки выступлю. Александр Григорьевич влюбился.

— В кого?

— В какую-то женщину или девочку. Он сказал ей сегодня по телефону «любимая». Потом велел нам с Иваном ложиться спать, а сам укатил с ней куда-то, судя по телефонному разговору — в кино.

Меня всегда поражает книжность и сформированность Димкиной речи. Профессор!

— Слушай, дорогой, иди-ка ты спать и выкинь из головы эти глупости.

Димка зарыдал.

— Глупости! Нашла глупости! А если Александр Григорьевич женится, кто нам будет варить обед?

— Ну я буду.

— Да!! Разве ты умеешь так варить свекольник, как он?

— Научусь и сварю. Подумаешь, искусство! — сказала я нигилистически.

Димка зарыдал еще пуще.

— И вообще! Дело не в свекольнике! Разве ты нам можешь его заменить! Мальчикам нужно мужское влияние.

Я обняла его за худую спинку.

— Ну-ну, маленький, не огорчайся! Может, он еще не женится.

— Ты думаешь? — с проблеском горькой надежды вскричал Димка.

— Вполне возможно. Не каждая любовь кончается женитьбой.

У Димки текло из носа, я его вытерла своим платком. Он был очень доволен и спросил:

— Французские?

Я не сразу поняла, что это он о духах.

— Наши,— ответила я.

— Тоже приличная продукция.

В общем, он успокоился, и я отвела его в мальчишатник. Иван спал вальяжно, в моей пижаме (после больших огорчений ему это позволяется). Богатырская грудь вздымалась.

— Эй, Иван! — крикнул Димка.

Иван мгновенно проснулся. Обычно его разбудить трудно, хоть из пушек пали

— Ну, как? — спросил он, протирая глаза.

— Александр Григорьевич, вполне возможно, не женится,— сказал Димка.

— Не женится? — подскочил Иван.— Вот это здорово!

Тут они оба принялись скакать по Ивановой тахте и орать дурными голосами:

— Не женится, не женится, ура, ура, ура!

Пружины так и стонали. Я пыталась прервать это радение строгим окриком — ничего не вышло. Тогда я подошла к буфету, вынула за уголки две конфеты «Мишка косолапый» и, держа их на весу, подошла к тахте. Прыжки и крики стали реже и постепенно прекратились совсем.

— Мама, это нам? — с робким восторгом спросил Иван.

— Вам, если утихомиритесь.

— Мы уже.

— Александр Григорьевич,— напомнил Димка,— не разрешает есть конфеты после чистки зубов.

— А мы ему не скажем.

За этот педагогический просчет я сразу назвала себя Песталоцци (именем великого педагога мы с Сайкиным перебрасываемся, когда уличаем друг друга в ошибках воспитания). Мальчики вдохновенно ухватились за конфеты, развернули их, тут же успели подраться из-за фантиков, но малой дракой. Успокоились, поедая конфеты.

— Я в этом «Мишке» больше всего ценю сухариную прокладку,— говорил Иван.— Мама, а он правда не женится?

— Думаю, что нет,— соврала я, потушила свет и ушла к себе.

Ох, если Сайкин и в самом деле женится, как же я их избалую...

Александр Григорьевич вернулся поздно, ко мне зайти не соизволил, лег спать. На другой день был мрачноват,

молчалив. Я его ни о чем не спрашивала. Разговор состоялся на третий день.

— Между прочим,— сказал он, потопывая носком кеда по полу,— эти негодяи уже тебе протрепались, а ты делаешь вид, что ничего не произошло.

— Так оно и есть. Пока как будто ничего не произошло.

— Нет произошло. Можно, я ее приведу сюда? Познакомиться, а не совсем.

— Конечно, можно.

Договорились о дне. Я приготовила угощение (разумеется, покупное — на домашнее у меня не хватает ни времени, ни уменья), заставила Димку с Иваном хорошенько вымыться и после этого запретила им выходить во двор.

— Мама, на минуточку! — нудил Димка.

— На две минуточки! — вторил ему Иван.

— Ни на полминуточки!

— А на секунду? — спросил Димка.

Я рассердилась и сказала низким голосом, имитируя мужское влияние:

— Что за торговля? Слушаться беспрекословно!

Мальчишки послушались и удалились на кухню. Вскоре оттуда донеслись гнусные препирательства. Иван что-то канючил, а Димка ему возражал. Несколько раз до меня донеслось любимое слово «дурак». Я против него не возражаю, слава богу, что не хуже. Я читала книгу, но не могла сосредоточиться. Когда канюченье и перебрасывание «дураками» перешло в плач и грохот вещей, я вышла на кухню и увидела, что купленный мной роскошный торт растерзан. Димка с Иваном выковыряли из него четыре шоколадинки по углам, а теперь дрались из-за пятой, центральной. Дрались, заливаясь слезами. Увидев меня, они подбежали ко мне и вцепились в мою нарядную кофту, сразу перепачкав ее шоколадом и кремом.

— А Димочке-то всегда все самое лучшее достается! — рыдал Иван.— Я в этой семье как чужой!

— Мама, честное слово...— подвывал Димка.

— Ты съел центральную? — строго спросила я.

— Да, я съел, но по справедливости. Он не согласен, что пять — число нечетное, а значит, на два не делится.

— Зато вы де́литесь, проходимцы, архаровцы!

— Ротозей Емельян и вор Антошка,— услужливо подсказал Димка, только что прочитавший «Мертвые души».

Тут хлопнула входная дверь и вошел Сайкин с девушкой.

— Знакомьтесь. Это мама, а это Катя. А эти двое — мои младшие негодяи. Ты уже их знаешь по описаниям.

Девушка была светлая, тонкая, как морская игла. На впалых матовых щеках легкие пятна румянца. Негустые волосы не падали на плечи, а парили, как в невесомости. Она подала мне тонкую холодную руку:

— Мелитонова Катя.

— Очень приятно,— ответила я.— Меня зовут Нина Игнатьевна.

— Очень приятно,— послушно повторила она.

Тут я заметила, что Сайкин с ужасом смотрит на мою кофту. Голубой мохер носил отчетливые следы шоколадных пальцев.

— Разрешите представиться,— сказал Димка по-книжному, но представляться не стал.

— И я тоже,— сказал Иван.

Оба были перепачканы до ушей и свыше. Александр Григорьевич метнул на них взгляд громовержца, и они немедленно удалились.

— Я приготовлю чай, а вы покуда поговорите,— сказал Сайкин тоном, не допускающим возражений.

Я провела Катю к себе. Мы уселись друг против друга на приземистые кресла-раскоряки и стали молчать. Я просто молчала, а она из робости. «Эх,— думала я,— не так надо бы нам знакомиться...»

— Вы учитесь или работаете? — спросила я, стараясь быть приветливой. Вообще это у меня плохо выходит.

— Работаю и учусь. Кончаю школу рабочей молодежи...

— А где работаете?

— На почте. В отделе отправки бандеролей.

— Нравится работа?

— Ничего.

Что бы еще у нее спросить?

— А родители у вас есть?

— Мама есть. Папа умер.

— Мама где-нибудь работает?

— Нет, пенсионерка.

Что-то этот разговор мне мучительно напоминал. Да, сообразила я, какое-то сватовство прошлого века. «А сколько душ у вашего папеньки?»

Не находя более тактичных вопросов, я замолчала. А Катя сидела на кресле пряменько, сторожко, глядя на меня подотчетными голубыми глазами. Молчание затягивалось.

— Простите,— сказала я,— пойду переменю кофточку. Эти мальчишки дрались из-за торта и всю меня перемазали.

— Не надо так переживать,— сказала Катя и вся залилась краской.

Я собрала всю свою воспитанность (вообще у меня ее мало, сказывается детство, никто меня не учил «манерам»), улыбнулась, извинилась и вышла. Кофточку я заменила другой, переоделась в ванной. Потом оказалось, что запачкана и юбка. Ее я тоже переменила. Когда я вернулась, Катя сидела и плакала, а Сайкин, примостившись на ручке кресла, ее утешал. Увидев меня, оба встали.

— Чай подан,— сухо сказал Сайкин.

Сели за стол в кухне. На Катиных беленьких ресничках просыхали слезы. «Младшие негодяи» тоже были призваны к столу. Они оказались уже умытыми, переодетыми и вели себя вполне пристойно. Димка, указав на рыбу, любезно спросил: «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?» — на что Катя испуганно ответила:

— Ничего.

Разоренный торт Сайкин удачно нарезал кусками так, что ничего не было заметно. Разложил по тарелкам закуски. Катя все хвалила: «Вкусная колбаса... Вкусный сыр... Вкусная рыба», хотя все это было более чем обыкновенно — нормальный московский гастроном. А может быть, бедная девочка просто недоедает?..

Когда чаепитие было окончено, Сайкин приказал мальчишкам идти спать.

— «Но человека человек послал к анчару властным взглядом...» — с пафосом продекламировал Димка.

— Вот именно,— ответил Сайкин и наградил Димку таким властным взглядом, что тот «послушно в путь потек», сразу же направившись в мальчишатник. За ним поспешал Иван, жадно оглядываясь на недоеденный торт, но не смея подать голос.

Когда мы остались одни, Сайкин взял слово и сказал следующее:

— Мама, ты, конечно, догадываешься, что мы с Катей задумали жениться. Не пугайся, это еще не скоро, мне надо сначала окончить вуз. Но намерение наше твердое. Я знаю, как тебе трудно будет без моей помощи, и не собираюсь тебя ее лишать. Эти негодяи тоже мне не чужие, и за их воспитание я чувствую себя ответственным. Ты меня извини, но тебя они абсолютно не слушаются.

Я кивнула. Сайкин продолжал свое слово:

— Все будет зависеть от того, какие отношения сложатся между тобой и Катей. Ты ее видишь сегодня первый раз, а уже успела ее обидеть.

— Саша, что ты, никто меня не обижал! — воскликнула Катя, горестно сложив ручки с длинными слабыми пальцами.

— Молчи,— сказал Сайкин,— знаю, что обидели. Мама, я все отлично вижу. Катя, конечно, не такая рафинированная интеллигентка, как тебе хотелось бы, зато она лучше тебя знает жизнь. А ты, прости меня, жизненных трудностей, в общем-то, не знаешь...

Тут заплакала я.

— Нина Игнатьевна! Что с вами? Да не плачьте же, не плачьте, ради бога! — метнулась ко мне Катя.— Саша, как тебе не стыдно!

Я чувствовала на своем плече легкую Катину руку, на своих волосах легкое Катино дыхание. Я плакала неудержимо, изо всех сил, вкладывая в этот плач все нервное напряжение, все «прóтори и убытки» последних месяцев, а может быть, и лет... И дыхание Кати, и ее легкая рука, и нежные упреки, сыпавшиеся с ее губ: «Да зачем же так, перестаньте, что вы так переживаете?» — были мне почему-то отрадны... С этого вечера мы с Катей стали друзьями.

А Валентин? Он все еще в командировке. Не знаю, как повернется жизнь...

И последняя «разность», не такая уж важная: Лева Маркин от меня совсем отошел. Он влюбился в студентку, свою димпломницу, Люду Величко, ту самую, которой я когда-то поставила пятерку за молоко.

Это стало мне ясно вчера. Я встретила их на институтском дворе. У Люды через плечо висела плетенная из прутьев сумка-корзинка из тех, какие были в моде лет пять назад. Он ей что-то говорил, глядя ей в лицо снизу вверх. Она отвечала ему, улыбаясь, но когда я подошла, испугалась, спешно поздоровалась, сказала: «Мне пора» — и побежала юно и гибко на длинных статных ногах через весь двор к воротам. Корзинчатая сумка болталась из стороны в сторону у ее бедра, а Лева Маркин глядел на ее спину, на ее гибкий бег и болтающуюся корзинку с такой печальной нежностью, что мне сразу стало все ясно...

Что ж, справедливо. Все эти годы преданностью Левы Маркина я пользовалась не по праву. Пусть будет счастлив.

ПИСЬМО СЕРЕЖИ КОХА

Аська, парнище, здравствуй!

Мы тут без тебя здорово скучаем. Прямо не у кого стало списывать.

Новостей у нас немного. Олежка Раков вполне определенно идет в аспирантуру. Говорит, что без всякого блата, только по своим личным качествам. Вполне возможно, такой человек сам себе блат.

Расползлись мы по кафедрам, как тараканы, сидим тихо, пишем дипломы. Мне не повезло — попал к Флягину. По доброй воле к нему никто не идет, мне это дали как общественное поручение. Это какой-то научный доходяга. Человек, безусловно, знающий, эрудиции навалом, но тиран и зануда. Студентов терпеть не может. Вечно старается чем-то оскорбить, высмеять. Требует железно, чтобы весь материал на память и в темпе. Какой-то средневековый садист. Я ему сдавал системотехнику (по его лекциям). Он, собака, там описал одну систему с помощью восемнадцати уравнений со случайной правой частью. Сидел я как без штанов, списать неоткуда, подавал сигналы в сторону двери, у нас там пункт неотложной помощи, но ребята меня не поняли. Я спрашиваю: «Товарищ профессор, можно выйти? Я на минуточку». А он улыбнулся, как инквизитор у костра, и говорит: «Я раньше вас пришел, а сижу. Ответьте на билет, тогда выйдете». Вернулся я на свой костер. Потел-потел, вспоминал-вспоминал, хоть убей, больше шестнадцати уравнений не вспомнил. Подхожу, подаю листок: «Больше не могу, товарищ профессор». А он проглядел листок судачьим глазом и с ехидной ухмылкой говорит: «Наскребли все-таки шестнадцать?» Поставил трояк. У меня этот трояк единственный за все время учебы. Можно бы пересдать, да неохота снова идти к этому птеродактилю.

И вот надо же: попал к нему на дипломное проектирование! Для начала он заставил меня выучить наизусть все формулы элементарной тригонометрии, штук сорок. Нужны они мне, как собаке пятая нога. В случае надобности я в любую минуту могу вывести. Нет, это его не устраивает: мало ли кто что умеет вывести, надо знать наизусть. Что поделаешь, выучил я формулы, пришел, отбарабанил. А он: «Скорее!» Совсем замучил. Думаю: «Ах ты черт плешивый, посидел бы ты в нашей шкуре, когда и то надо успеть, и пятое, и десятое! Ты еще меня закон божий учить заставишь!» К счастью, он один такой, своего рода уникум. Но

у всех преподавателей этот недостаток: каждый считает, что, кроме его предмета, ничего на свете не существует. Думаю, если я когда-нибудь стану преподавателем, то у меня будет тот же недостаток.

Да, чуть не забыл самую важную новость: твоя Людмила выходит замуж. И как ты думаешь, за кого? Ни за что не угадаешь! За Маркина, этого остряка-самоучку с кафедры Флягина. С ума сошла: он же старик, между ними минимум двадцать лет разницы! Ничего слушать не хочет. Говорит: «Люблю! Любила же Мария Мазепу!» Экая дура! Ну что ж, вольному воля, каждый сходит с ума по-своему. Может быть, ты, когда приедешь, отговоришь ее от этого мазепства?

Распределение у нас было, но не окончательное. Хотел бы я распределиться куда-нибудь вместе с тобой. Ты ценный человек и работяга классный.

Ну пока, бегу в библиотеку. Привет моему подопечному. Надеюсь, его больше не надо будить, а то я готов. Гуд бай.

Сергей Кох.

ПИСЬМО ЛЮДЫ ВЕЛИЧКО

Асенька, милая, дорогая!

Наконец-то я могу поделиться с тобой своим секретом (помнишь наши ночные разговоры?). Кто это? Лев Михайлович Маркин! Ты удивишься, но это так. Он мне всеми словами объяснился в любви, и я обещала выйти за него замуж!

Он говорит, что его любовь ко мне началась давно, еще на втором курсе, когда я пересдавала ему матлогику. Я таким долгим сроком похвастаться не могу, но тоже люблю его до безумия! Мне так нравится его образованность, тонкость, и лицо у него тоже хорошее, правда? Я без ума от его лица.

Единственное, что меня смущает, это большая, даже огромная разница в возрасте. У него, он говорит, вполне могла бы быть такая дочь, как я. Когда-то он был женат, но развелся, так как жена оказалась совершенно нечуткая. После того как он перенес перелом ноги, она к нему охладела.

Я его так люблю, что пусть он сломает себе что угодно, я все равно его буду любить. Разница в возрасте меня ни капли не смущает. Ради него я сама согласилась бы поста-

реть! Но поскольку это невозможно, придется мириться с разницей лет.

Я все еще не привыкла чувствовать себя с ним на равных. Знаешь, когда любимый человек раньше ставил тебе двойки, к нему страшно обращаться на ты. Боюсь, я никогда не привыкну!

Расписаться мы хотим сразу после моей защиты, чтобы меня не распределили черт знает куда. Может быть, он даже уйдет из института. Вообще любовь между преподавателями и студентами считается за нарушение. Но нас скорее всего трогать не будут, потому что я вот-вот кончаю.

Он мне рассказал под большим секретом, что много лет был влюблен в твою Асташову. Тоже секрет! Все это знали, достаточно было видеть, как он на нее смотрел. Понимаешь, думая об этом, мне как-то обидно за Леву (никак не привыкну его так называть). Она его не ценила, проходила мимо. Но он на это не жалуется, он до сих пор ее глубоко уважает. Чувства у него такие благородные, что я его до конца даже понять не могу. Литературу всю он знает просто наизусть. Это хорошо, потому что у меня в общем образовании большие пробелы. Буду с его помощью их ликвидировать.

Теперь самое главное: насчет Матвея. Лева настаивает, чтобы он жил с нами. Говорит, мальчику необходимо мужское влияние. Это, конечно, верно (тем более такого умного человека), но я не хотела бы разлучать его с тобой и Михаилом Матвеевичем. А там еще и моя мама на него претендует. Ужас! Будем мы бедного ребенка рвать на части. Сейчас об этом думать еще рано, а после защиты дипломов мы все обсудим. Вот, значит, какие дела, дорогая моя сестричка. Целую тебя, обнимаю и за все, за все спасибо огромное! Милого моего сыночка целую по всем пунктам. Привет Михаилу Матвеевичу.

Твоя Люда.

КОНКУРС

Смутное время, смутный момент.

С самого этого конкурса меня одолевают сомнения. С одной стороны, как будто мы действовали правильно, а с другой... Нет, решительно Энэн заразил меня своей болезнью — множественностью точек зрения. Человек с такой болезнью никогда не сможет ничего сделать.

Конкурса этого мы долго ждали. По каким-то формаль-

ным причинам Флягин до сих пор царствовал без коронации, числился ИО заведующего. Наконец начальство раскачалось и объявило конкурс. В таких случаях все решается заранее, на высшем уровне. Конкурса как такового нет. На вакантное место подается одно-единственное заявление. Не знаю, полагается ли по конкурсным правилам обсуждать кандидатуру заведующего на заседании его будущей кафедры; у нас, во всяком случае, она не обсуждалась.

Конкурсная комиссия рассмотрела кандидатуру Флягина и пришла к положительному выводу: рекомендовать. По слухам, не обошлось без споров, но решение было принято единогласно. Главным аргументом в пользу Виктора Андреевича была, конечно, его ученая степень. Не вызывали сомнения и другие заслуги Флягина: на кафедре увеличилось количество научных работ, была поднята дисциплина, изжиты опоздания. Правда, все еще на высоком уровне оставался процент двоек, всегда отличавший кафедру на общем среднеблагополучном уровне, но с этим, в конце концов, можно было справиться и потом. Общее мнение тех, от кого это зависело, было в пользу Флягина.

Бурление внутри самой кафедры наружу почти не выходило. Так же как мы почти не знали, что делается на других кафедрах, так же и они почти не знали, что делается на нашей (всем некогда). Сам Флягин последнее время был тише, лютовал меньше, даже дневники почти не проверял и как будто о чем-то начал задумываться...

Меня поразило, что в преддверии конкурса былого единодушия в среде преподавателей кафедры не оказалось. Если вначале, сразу после появления Флягина, все как один были против него, то теперь раздавались и отдельные голоса за. Например, Петр Гаврилович недвусмысленно выразил Флягину вотум доверия, подчеркнув, что общая его линия правильная, «просто он еще не притерся, а когда притрется, будет в самый раз. Мозги у него на месте, а душу мы вправим» (мне не очень был понятен механизм «вправления души», но это произвело впечатление). А главное, действовать активно никто не хотел. Пока шло шушуканье, все высказывались, а дошло дело до прямого конфликта — никто на него не шел. Элла Денисова сказала:

— Ну хорошо, провалят Флягина. Вместо него пришлют другого. А какой он будет? Этот, по крайней мере, чужих работ не ворует.

Стелла Полякова, как обычно, солидаризировалась с подругой:

— Любая определенность лучше неизвестности.

Удивил меня Радий Юрьев, который не только простил Флягину эпизод со своей болезнью, но даже винил себя в излишнем упрямстве. Впрочем, Радий всегда был у нас миротворцем.

Меня не покидала мысль, что все эти соглашатели не хотели вступить в конфликт с Флягиным, боясь, что он все-таки пройдет (мысль, вероятно, несправедливая). Лева Маркин на все происходившее глядел с удивительным равнодушием, даже забывая вставлять самые подходящие цитаты, которые так и просились на язык. Многие просто отмалчивались: «Наше дело телячье, привязали — и стой». Паша Рубакин нес уже какую-то совершенную ахинею, относя Виктора Андреевича к категории страстотерпцев, которых в будущем потомство несомненно канонизирует...

В итоге активных противников Флягина на кафедре оставалось трое: Спивак и я да еще Лидия Михайловна. Каждый из нас был тверд в своем решении ни в коем случае не работать с Флягиным. Лидия Михайловна погоды не делала, но и от нас со Спиваком зависело мало. Ни он, ни я не были членами большого совета, где должно было рассматриваться конкурсное дело.

Я решила выступить на совете в открытую, а если Флягин пройдет — уволиться. Конечно, потеря одного доцента для института пустяк, но за мной стоял еще Спивак с той же готовностью, а двое — это уже несколько (при случае могут быть поставлены в упрек начальству). Мы с Семеном Петровичем решили, что первой выступать буду я, а он — в зависимости от обстановки.

Наступил день конкурса. С утра накрапывал дождь, было душно и тяжело в воздухе. Думая о своем предстоящем выступлении, я никак не могла собраться с мыслями. Заставила себя сесть, набросать конспект, хотя по опыту знаю: дело это безнадежное, все равно оторвусь и занесет меня в сторону. Сколько я себя помню, ни одно мое выступление не проходило по плану.

С утра у меня были лекции, кончились. На кафедру мне идти не хотелось (там восседал Флягин). Полтора часа я простояла у окна в коридоре, глядя на темные тучи, неопределенно громоздившиеся в небе, не в силах ни уйти, ни пролиться настоящим дождем. Небольшой паучок бегал по стеклу, занятый каким-то своим неотложным делом, то опускаясь к нижнему срезу рамы, то поднимаясь вверх. Какая-то назойливая неясная мысль прицепилась у меня к этому паучку.

Пункт «конкурсные дела» стоял в повестке дня последним, но мы пришли заранее. Председатель с улыбкой отметил высокую активность кафедры кибернетики, явившейся на заседание совета почти в полном составе. Бросилась мне в глаза широкая усатая морда кота-ворюги (alias профессора Яковкина), который поглядел на меня с явным отвращением. Он тоже был членом большого совета. Вообще народу было довольно много. Большая аудитория амфитеатром (не радиофицированная, но с прекрасной акустикой, как умели строить в старину) была заполнена почти до верхних скамей. Скамьи здесь с откидными столиками. За одним из них сидел Флягин, как всегда погруженный в работу — что-то читающий и строчащий...

Не перестал он строчить и тогда, когда началось рассмотрение его дела. Ученый секретарь огласил документацию. Потом выступил председатель конкурсной комиссии. Он широко осветил научные заслуги Виктора Андреевича, отдал должное его авторитету и закончил положительным выводом комиссии. Потом выступили какие-то члены совета в поддержку Флягина. Словом, все шло, как всегда в таких случаях с предрешенным исходом. Я не слушала — предстояло выступать мне, а я все еще не знала своей первой фразы. Вдруг я вспомнила про паучка — он бегал, как я, неизвестно зачем. Захотелось уйти...

— Кто еще желает выступить? — спросил председатель.

Я подняла руку.

— Пожалуйста, на трибуну.

Встал Яковкин:

— Если не ошибаюсь, товарищ Асташова еще не состоит членом нашего совета.

— Правила предусматривают возможность высказаться всем желающим,— дал справку ученый секретарь.

Я поднялась на трибуну. Первой моей фразы все еще не было. Я помолчала, ожидая, что вдруг она ко мне спустится. Кое-кто в зале смотрел на меня подозрительно, как на известную скандалистку.

— Просим,— сказал председатель.

— Я буду выступать против кандидатуры профессора Флягина.

Зал зашумел с интересом. Вообще всякие скандальцы встречаются на советах с интересом: они разрушают трафаретную скуку, царящую на этих сборищах. В таких случаях я всегда вспоминаю пса, пробравшегося в церковь («Том Сойер»). Сейчас я чувствовала себя таким псом. Некоторые

смотрели хмуро, для большинства я была развлечением.

— Да, я буду выступать против кандидатуры профессора Флягина и постараюсь обосновать свое мнение. Для того чтобы руководить коллективом (тем более коллективом преподавателей), нужно как минимум быть человеком. Этому минимальному требованию профессор Флягин не удовлетворяет...

Увы, я опять замолчала. Мне было что сказать, но я не знала, как это выразить — знаменитые «муки слова». Флягин оторвался от своей работы и направил на меня взор без выражения, стертый очками.

— А что такое человек? — с веселым любопытством спросил председатель.

— Не берусь определять. Я думаю, это и так ясно.

— И это говорит математик! — с негодованием вскричал Яковкин.

— Да, это говорит математик. Далеко не все понятия могут быть строго определены и далеко не всегда это нужно. Между прочим, в универсальность математических построений верят больше всего не математики, а профаны. Им кажется, что чем больше математических побрякушек они на себя навешают, тем лучше. Они ошибаются. Глупость в математической одежде хуже, чем голая глупость.

Кругом засмеялись. «Пес в церкви» продолжал веселить прихожан. Это не входило в мои планы, и я разозлилась:

— Сейчас не время и не место для схоластических диспутов. Будем исходить из того, что понятия «человек» и «человечность» интуитивно ясны собравшимся. Так вот я утверждаю, что именно человечности нет в поведении профессора Флягина.

Тут я обрела дар слова и рассказала о порядках, введенных Виктором Андреевичем на кафедре. О принудительных дневниках, о требованиях к индивидуальным планам. О том, как в целях тишины Флягин запретил заходить на кафедру студентам. О наших коридорных разговорах. О табличках типа ресторанных «стол занят»...

Только я собралась вытащить свой главный козырь — Радия Юрьева, читающего лекции с температурой тридцать девять, как сам Радий умоляюще замахал мне руками, скрестив их перед лицом, как делают в авиации, запрещая посадку. Не надо так не надо. Я спешно переменила курс.

— Один из главных признаков человека — умение ставить себя на место другого, влезать в чужую шкуру. Этого

умения профессор Флягин начисто лишен. Он никогда не ставит себя на место другого, никогда не сомневается в своей правоте. Настоящему человеку присуще сочувствие. Со-чувствовать — значит чувствовать вместе с другим...

Опять засмеялись. Решительно я потешала эту публику. Снова разозлившись и получив таким образом новый заряд, я продолжала:

— Надо отдать справедливость профессору Флягину — он на редкость трудолюбив. У него трудолюбие маятника. Но с тех пор, как он у нас появился, на кафедре умер смех...

— Подумаешь, велика потеря! — закипел Яковкин.— Пускай смех умирает в рабочее время. Смеяться можно у себя дома...

Опять раздался взрыв хохота членов совета. Они явно наслаждались дивертисментом.

Ох, не то я говорю, не то, не так!

— Покойный Николай Николаевич Завалишин, руководя кафедрой, может быть, грешил излишним либерализмом, но мы его любили и он нас любил. Виктор Андреевич Флягин никого не любит, ни с кем не общается. Ни с нами, ни со студентами. А работа преподавателя — это вид общения. Для чего же мы иначе существуем?

— Для науки,— важно сказал Яковкин.

Гул голосов его поддержал. Я понимала, что говорю глупо, бездарно, но перестать уже не могла. Мне надо было выразить свою мысль.

— Профессор Флягин работает как молится. Он не понимает, что если меньше молиться и больше смеяться, сама работа пойдет лучше...

— И это говорит научный работник! — сказал Яковкин, возведя очи к потолку, отчего его усатое широкое лицо стало еще шире и как будто усатее.

Неодобрительный шумок в зале явно был против меня.

— Нина Игнатьевна, вы исчерпали регламент. Если вы еще хотите сказать что-нибудь существенное по повестке дня, без обобщений, мы вас слушаем.

— Да нет, я уже кончила.

Я села с чувством бесповоротного позорнейшего провала. Нечего сказать, выступила! Как восьмиклассница на диспуте о любви и дружбе.

Тут поднял руку Спивак, вышел на трибуну:

— Я считаю, что Нина Игнатьевна выступила неудачно. «Человек, человечность...» Не об этом надо было говорить. Я убежден, что профессор Флягин человек, и,

более того, человек уважаемый. Лично я глубоко уважаю Виктора Андреевича...

Флягин поднял бледное лицо и уставился на говорящего.

— Я его глубоко уважаю и все же считаю, что как заведующий кафедрой он не на месте. Прежде всего по одной простой причине: он не любит студентов. А это последнее дело: быть преподавателем и не любить студентов! Все равно что быть воспитательницей в детском саду и не любить детей...

Опять засмеялись...

— Ваша аналогия не слишком удачна,— сказал председатель.

— Возможно. Тем не менее я настаиваю: преподаватель должен любить студента. Даже ставя ему двойку.

— Если любишь, зачем же ставить двойку? — крикнул кто-то с места.

— Именно любя. Но это еще не все. Профессор Флягин вообще не умеет работать с людьми. Он восстановил против себя всех преподавателей.

— Не всех,— заметил с места Радий Юрьев.

— Большинство. Главная его вина: он сумел за короткое время почти развалить замечательный коллектив. Такие коллективы надо охранять, как заповедники...

Опять смех. Спивак яростно сверкнул глазами.

— Буду краток. Считаю, что кандидатура профессора Флягина на должность заведующего кафедрой кибернетики неприемлема. Если бы я был членом этого совета, я голосовал бы против.

— Продолжим заседание совета,— сказал председатель.— Мы тут выслушали мнения как за кандидатуру профессора Флягина (подавляющее большинство), так и против (Нина Игнатьевна, доцент Спивак). Я думаю, вопрос более или менее ясен. Можно перейти к голосованию. Возражений нет?

— Есть возражение.

Это сказал сам Флягин.

— Пожалуйста, Виктор Андреевич.

— Можно, я с места?

— Нет, лучше сюда, на трибуну. Заседание стенографируется.

Флягин взошел на трибуну. Он был бледен, даже зеленоват, и перообразный клок волос на его голове загнулся кверху, как хвост у селезня. Когда он заговорил, губы у него дергались и каша во рту была сильней, чем всегда.

— Товарищи, то, что я здесь услышал, произвело на меня сильное впечатление. Сильное и тяжелое. Я очень жалею, что по моей вине вы были вынуждены все это слушать. Больше этого не будет. Я снимаю свою кандидатуру. В самом деле, я не создан для того, чтобы управлять людьми. Лучше понять это поздно, чем никогда.— Тут он улыбнулся, но не своей иезуитской, а простой человеческой улыбкой, в которой было даже что-то детское.— Нина Игнатьевна, вы ошиблись в одном: что я никогда не сомневался в своей правоте. Даю вам честное слово, с тех пор как я пришел на кафедру, я только и делал что сомневался в своей правоте. Сегодня эти сомнения рассеялись — я понял, что был не прав. Прошу прощения у всех присутствующих за то, что на рассмотрение моего дела они потратили много времени. Разрешите мне удалиться.

В зале раздались восклицания, вопросы: «Что он сказал, что?» Кто его не расслышал, кто не понял.

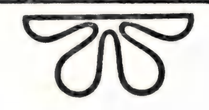
— Виктор Андреевич, что вы? — всполошился председатель совета.— Не делайте этого! Вы слишком впечатлительны! Уверяю вас, все будет в порядке!

— Разрешите мне удалиться,— повторил Флягин.

Он слез с помоста, близоруко глядя себе под ноги, и двинулся в сторону двери по проходу между двумя — правым и левым — крыльями амфитеатра. Все молча провожали его глазами. Я смотрела ему вслед с непонятным мне самой ощущением. Казалось, что, удаляясь, он становился не меньше, а больше.

1977

Хозяйка гостиницы



1

В тысяча девятьсот тридцатом году Верочка Бутова кончила школу. Ей было восемнадцать лет, и она была счастлива.

Ранним утром, только что искупавшись, раскинув по плечам мокрые, соленые волосы, она шла по берегу моря. Розовенькое ситцевое, впервые надетое платьице дулось на свежем ветру; спереди оно прижималось к коленям и бедрам, сзади — струилось и хлопало, провожая хозяйку множеством легких аплодисментов. Над головой Верочка размахивала стареньким красным купальником; восхитительно яркий, пока не просох, он взвивался, опадал и вспыхивал флагом. Невысокие волны одна за другой взбегали на берег, круглились, рушились и отступали, оставляя за собой мелкий шепот исчезающей пены. В песке свежо сверкали разноцветные, волной умытые камни. Море тоже было разноцветно: вблизи отливало желтым, дальше — зеленым, бутылочным, а еще дальше уже не отливало, а стояло сплошным монолитом пламенной синевы. Вдалеке, на невидимой нити между небом и морем, белой жемчужинкой завис небольшой пароход, идущий и неподвижный, — светлая точка настоящего между прошлым и будущим. Белые чайки с черноокаймленными, будто в тушь обмакнутыми крыльями носились над морем, время от времени молниеносно снижаясь и припадая к воде. В их клювах угадывалась цепко схваченная серебряная добыча. Вольная жадность чаек, их ширококрылая свобода была заразительна; Верочка шла широкими

шагами по скрипящему, шевелящемуся живому песку, размахивала флагом, и ей хотелось всего. От полноты души она пела немаленьким своим, но не совсем верным голосом старый романс, запетый целыми поколениями русских девушек, начавший жизнь в гостиных и закончивший в кухнях и прачечных,— романс о белой чайке и загубленной женской судьбе:

Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды.
Над озером быстрая чайка летит...

Впереди, за мысом, четко врезанным в голубизну, уходила вдаль узкая полоска пляжа, бедная песком, утесненная корявыми скалами. Берег в этот ранний час был пустынен, и только далеко вдали шла, перебирая ногами, то ли сюда, то ли отсюда, одинокая фигура человека в темном.

2

Верочкино детство было бедное, трудовое, но светлое, солнечное, все в маках.

...В хатке прохладно, ветерок гуляет от окна к окну, колышет тюлевые гардинки; они накрахмалены, коробятся жесткими складками, шуршат, задевая о фуксии, и время от времени какая-нибудь из фуксий роняет розовый каплевидный нежно висячий цветок. Сложно пахнет яблоками, тмином, полынью, недавно сбрызнутым глиняным полом; он просыхает неровно, пятнами; чуть притоптан с одного боку чистый пестрый лоскутно-вязаный половичок. Стены побелены голубовато, с синькой; они мягко, скругленно сходятся с потолком; легкие полосы выдают, как ходила кисть — сверху вниз или с боку на бок. В углу икона — Николай Угодник. Святой строг, бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски; от возраста она изогнулась корытцем. Перед иконой — лампадка рубинового стекла; под ней, на широкой ленте, лиловое бархатное пасхальное яйцо; золотые позументы на нем, если пальцем потрогать, шершавы.

Верочка выходит из хаты, и светлая жара кладет ей на голову горячую руку. Стрекочут кузнечики, воздух полон их знойным звоном. Земля под ногами пыльна, горяча; цепочкой печатаются на ней детские босенькие следы. Вокруг огорода — плетень: разновысокие колья плотно перевиты прутьями; кора кое-где отстала и висит на лычках, обнажая голое гладкое дерево. Красная букашка с черным узором ползет по колу вверх, устремляясь туда за

каким-то никому не ведомым букашечьим делом. На самых рослых кольях сушатся кверху дном смуглые глечики в неровной поливе, солнцем сияет пузатая бу́тыль слоистого водяного стекла. Зеленеют пахучие укропные зонтики; высокий подсолнух выше плетня поднимает тяжелую свою желтую голову. Внизу, у его твердой граненой ноги, жмутся к земле замысловато изрезанные пыльно-зеленые арбузные листья. А вот и сам арбуз, он величествен, полон тяжелой круглотой, одна сторона — темно-зеленая — жарко нагрета солнцем, другая, нижняя, бледна и прохладна; Верочка всегда норовит потрогать арбуз, чтобы еще раз убедиться, какие у него разные щеки. У плетня крутится штопором, цепляясь за прутья усами, хитрый вьюнок по имени «кру́ченый паны́ч»; его крупные нежные сине-лиловые колокольчики, яркие внутри, бледные снаружи, направляют широко разинутые раструбы во все стороны, приглашая пчел. Цветок панычá живет один день — утром разворачивается, а к вечеру уже никнет лиловой тряпочкой. Сорвешь его — сразу завянет, ставь его в воду или не ставь. Верочка тянет к себе, не срывая со стебля, самый большой колокольчик и окунает в него нос по самые щеки. Цветок слабо и сладенько пахнет; когда его нюхаешь, он словно бы всхлипывает и тонко-тонко приникает к ноздрям.

А больше всего в огороде маков. Стройные, сомкнутые, они похожи на веселое войско. Ветер качает маки, они клонятся, и видно, как они разноцветны — розовые, абрикосовые, белые, махровые и полумахровые, и простые красные с черно-лиловым сердцем. Верочка в высоких маках ходит как в лесу, и цветы качаются выше ее светленькой головы. Бабочка-капустница порхает над маками и невзначай садится на Верочкину голову, как на цветок.

3

Семья Бутовых жила на окраине большого богатого приморского города. Город-то был богат, а они — бедны. Верочка с детства привыкла знать, что они, Бутовы, бедны: в доме мало было денег, мало вещей, маловато еды, но это ее не огорчало. Вообще она была девочка веселая, с вечным лучом радости на кругленьком лукавом лице.

Нравом и веселостью она уродилась в отца. Отец, Платон Бутов, был человек веселости неистребимой, хотя и крепко ударила его жизнь. С германской войны вернулся без ноги, да еще и отравленный газами — с тех пор у него

внутри что-то свистело. Верочка любила слушать, как в папе свистит, он ей это охотно позволял, прижимая ее маленькое, мягкое, пакетиком складывающееся ухо к своей широкой груди: «Слышь ты, какая музыка». Верочка думала, что отец грудью насвистывает нарочно, для смеху. Посмеяться-то он любил. Был он большой, выше притолоки, ясноглазый, с прямым соломенным чубом. Когда играл на балалайке, чуб прыгал. Иногда Платон пытался даже петь, но быстро замолкал, схваченный одышкой, и глаза допевали остальное. Одевался он чисто, даже щеголевато, единственный сапог начищал до зеркального блеска, бороду брил каждый день, а рыжие усы закручивал кольчиками, как у Кузьмы Крючкова — знаменитого казака-героя. Свою деревянную ногу сам раскрасил, расписал цветами и птицами и так весело стукал по горнице, что никто про него не сказал бы «калека». Верочка вся уродилась в отца — и глазами, и соломенным блеском волос, и веселым неуныванием. Женя, младшая, та больше походила на мать — смуглая, длиннорукая, сердитая. Мать, Анна Савишна, была сердитая не отроду, а от тяжелой жизни. Пенсия мужу-инвалиду шла грошовая, деньги падали, цены росли. Мать промышляла шитьем, часами стуча на ножной машинке, зингеровской, еще приданой своей. Верочка, сколько себя, так помнила эту машинку — золотопестрые узоры и крупную букву «З» на толстой черной ноге, быстрое снование светлой иглы, жесткий запах новеньких ситцев — розовых, голубых, крапчатых, из которых мать шила платья и кофточки окраинным щеголихам. Верочке доставались обрезки — длинные или треугольные лоскутки, в которые она заворачивала своих кукол (а куклами были у нее маковые головки). Еще мать зарабатывала поденщиной, ходила в город к богатым барыням стирать кружевное белье.

Верочка у отца научилась смеяться, а у матери — работать. С самых малых лет, с пяти-шести, она матери помогала — и по дому, и в огороде. Цапка большая, вдвое выше Верочки, но она кое-как приспосабливалась: перехватит рукоятку пониже, бьет по сорняку коротеньким, детским замахом. Мать по воду — и она с ней; мать — с ведрами, Верочка — с кувшином. Кувшин, когда без воды,— легкий, а с водой — налитой, тяжелый, и вода в нем прыгает, чуть что́ — через край. Капли разбегаются по пыльной земле, не смачивая ее, оставаясь шариками.

Женя, младшая сестренка, была слаба здоровьем. Фельдшер нашел у нее английскую болезнь, велел поить рыбьим

жиром. Рыбий жир стоил дорого, покупали его в аптеке, где за окном прекрасно сияли налитые разноцветными жидкостями стеклянные шары: зеленый, малиновый, солнечно-желтый. Аптекарь, старенький немец в чистейшем халате, был робок, держал голову низко, припрятав ее между плеч, словно перед ударом. Он гладил Верочку по голове, говорил: «Oh, frommes Kind!», дарил ей флаконы и коробочки из-под лекарств с длинными бумажными хвостами, где было что-то написано.

Женька рыбий жир пила плохо, приходилось ей нос зажимать, чтобы она рот открыла, и тогда залить туда ложку силком. После этого начинался рев. Ревела Женька длинно и нудно, басовым голосом, по целым часам. Сядет и ревет, словно деньги зарабатывает. Верочка этого рева терпеть не могла, а мать за Женьку заступалась: «Она еще маленькая». Вообще она младшую дочку, наверно, от жалости, больше любила. Зато Верочка — папина радость, отец на нее не надышится. Тележку ей смастерил, клетку для соловья, только самого соловья еще не было, дорого стоит, но отец обещал купить, когда разбогатеет.

Он твердо верил, что разбогатеет, да не один, а со всем трудовым народом, дай только разберемся. А пока что было трудно. Мать ужом крутилась, чтобы выгадать лишний двугривенный. С огорода многого не возьмешь, что вырастили, то и съели. Ели они борщ три раза в день: утром, в обед и вечером. Борщ когда какой — по доходам. Чуть получше с деньгами — и борщ пожирней, с мозговой косточкой. Похуже — борщ постный, с чесноком и фасолью. Совсем плохо — борщ почти из одной ботвы. Забелить нечем, коровы нет. Мать брала молоко у соседки Дуняши за деньги, по глечику в день. Пила одна Женя — она маленькая, да и здоровьем слаба. Наливали ей кружечку молока, в руку — половину баранки, она и тут ухитрялась реветь — зачем баранку сломали. При грозе молоко кисло, и мать давала Верочке простоквашу — Женька-капризница кислого не ест. Такого — да не есть! Простокваша прямо с погреба, голуба, холодна, чудесно режется ложкой на нежно-плотные, дрожащие куски. Кусок лежит на языке и медленно тает, а ложка уже идет за другим, и опять, и опять, и вот уже видно дно, и радость кончается, но не совсем, потому что можно еще высунуть язык и, упираясь носом в тарелку, вылизать ее дочиста. Верочка любит простоквашу и, значит, любит грозу, радуется, когда пухнут на краю неба синие тучи.

Тучи приходили с моря. Бутовых хата стояла у самого

моря на высоком, крутом берегу. Ниже летали чайки, выше — ласточки. Красный глинистый берег увалами спускался к морю и был весь изрыт, расщемлен оврагами. Весной по ним бежала вода, глыбами ворочая глину. Овраг — по-здешнему «враг». «И подлинно, враг, — говорила Анна Савишна, — верно сказано: да воскреснет бог и расточатся врази его». Начал уже враг подбираться к бутовской хате, подмывал основание, рвал из плетня колья, грыз по краям огород, как ни боролась с ним Анна Савишна, подсыпая землю и камни, подпирая, ухичивая свое жилье.

Близко море, а ходить некогда. Пока сходишь туда-обратно, полдня как не бывало, а работа не ждет. Изредка все же ходила мать искупаться, брала с собою девчонок. Жене, по слабости здоровья, купаться было нельзя, но сидеть в горячем песке фельдшер ей посоветовал, говорил, что хорошо от английской болезни. Потому и ходила мать к морю, сидела на пляже, как барыня. Она раздевала Женю, закапывала ее до пояса в песок. Продолговатые сыпучие холмики повторяли очертания длинных слабеньких ног. Мать садилась рядом и, совестясь, отдыхала, глядя на слепящее море из-под коричневой узкой ладони. Сидела она одетая, в том же старом темненьком платье, в котором работала, шила, стирала. Решив искупаться, она быстро, стыдливо раздевалась и шла к воде, в своей длинной сборчатой рубахе, придерживая ее для приличия горстью у горла. Глубокая, почти лиловая чернота лица, шеи и рук резкой чертой отделялась от остального, незагорелого тела — казалось, матери и впрямь впору было стыдиться такой белизны. Войдя в воду по пояс, мать крестилась и трижды окуналась по шею, обняв себя руками за плечи. На этом купанье кончалось, она выходила вон из воды. Кристальные струи стекали с мокрой рубахи, четко обозначалось все стройное, узкое тело, облитое прилипшей, лучами расходящейся тканью. Мокрая, выходящая из воды мать походила на серебряную рыбу, вставшую на хвост; Верочка следила за ней с восторгом, обнимая глазами, оглаживая. Но Анна Савишна стыдилась даже дочерних глаз. Она и в баню-то ходить не любила, все из-за жестокой своей стыдливости. Искупавшись, она торопливо одевалась и снова повязывалась платком по глаза.

А Верочку из моря клещами не вытянешь. Давно уже пора домой, а она все бродит по мелкой теплой воде, волны гуляют туда-сюда, все это снует, торопится, блещет. Маленький краб резво и ловко боком-боком бежит по песку и прячется у подножия камня. Камень бросает глубокую

тень, где сторожко отстаиваются почти невидимые, песчаного цвета бычки. Плывет голубая медуза; ее студенистое, зыбкое тело полупрозрачно, недолговечно, быстро сохнет на горячих камнях и становится белой пленкой.

— Верочка, домой! — кричит мать. А она как не слышит.— Кому говорю? Вылезай!

Она еще медлит. Сладко и опасно медлит.

— Ве-ра! — врастяжку, по слогам произносит мать. Ну, тут уже пахнет ремнем, ничего не поделаешь, надо идти.

Подъем крут, тяжел. Из-под ног сыплются камни. Жидкие кустики маслины, цепляясь, тоже ползут по красноватому склону; их острые, удлиненные листья на серой подкладке похожи на перочинные ножички; когда подувает ветер, кусты подергиваются серебряной дымкой. Женя устает, начинает реветь, мать берет ее на руки и, согнувшись, несет в гору. У Верочки руки свободны, она цепляется за кустарник. Тонкие, узколистые прутья непрочно сидят в земле, легко вырываются с корнем; взмах в воздухе пыльного кома — и скольжение вниз на коленях, а то на заду. Мать бранится. Солнце палит. Когда после такого солнца войдешь в хату, перед глазами долго еще плавают радужные круги. Радостно хочется пить, звякает ковшик, и глоток холодной воды, чуть отдающей ржавчиной, наполняет живот и все тело немыслимым счастьем.

4

Вообще Верочка жила животом. Именно там, в животе, был у нее источник непрерывного счастья, и там у нее ёкало, когда думала о приятном.

Много приятного на свете. Приятно есть. Приятно купаться. Приятно ходить в город с матерью на постирушки.

Мать наденет ей желтенькое, цыплячье платьице с оборками, берет за руку и ведет. Кончается знойная балка, и вот уже город.

Улицы широки, вымощены красноватым булыжником. По краям тротуаров каменные столбики, у которых собаки, весело вскинув ногу, справляют свои дела. Круглые тумбы пестрят афишами. Над окнами магазинов большими шатрами раскинуты полотняные навесы — маркизы, края у них с фестонами, обшиты красной каймой. Ветер вскидывает фестоны, и кажется, что город нарядно летит. В тени акаций, пронизанной солнечными кружочками, цветочницы

продают розы. Цветы стоят и лежат в ведрах, в тазах, в суповых мисках. Колкие стебли не сжаты, не стиснуты, вольно разбросаны, розы прохладны, обрызнуты каплями, пахнут. Запах притягивает Верочку, как пчелу. Уже пройдя мимо роз, она все оборачивается. «Не вертись!» — говорит мать и легонько, небольно шлепает ее по руке. Рука у Верочки пухлая, как булочка, и от шлепка слегка зарумянивается.

Вот они приходят в дом — большой, каменный, трехэтажный. Черный ход — со двора. Двор глубокий, прохладный, с чинарой в углу. Дети крутят скакалку, играют в «классики». Верочка с ними бы поиграла, да некогда ей — надо матери помогать.

На кухне жарко, светло, разноцветно, медные кастрюли блестят розовым, самовар — желтым. В самоваре смешно отражаются вещи и лица. Верочка смотрится в самовар и смеется: глазки у нее становятся мелкими, как пуговицы, а нос лезет вперед, распухает. Мать не любит, когда Верочка смотрится в самовар, и нарочно завешивает его салфеткой.

Белья целая куча. Мать стирает в большом корыте, Верочка — в маленьком тазике. Бело-синее жуковское мыло скользит в руке, только не доглядишь — вывернется, и на полу. Дыбится пышная пена, вся из радужных пузырьков. Мать стирает, низко согнувшись, не снимая платка; спина у нее все чернеет и чернеет от пота.

Кухарка готовит обед на огромной плите, что-то напевает, постанывая; шипит выкипающий суп, резво бегают капельки по раскаленному чугуну, сытно пахнет мясным наваром. После стирки кухарка зовет прачек обедать; прежде чем сесть за стол, обе крестятся, мать — распаренной, синеватой рукой, Верочка — мягкой булочкой. Кухарка садится с ними, но сама не ест, только вздыхает. Обед хороший, господский. Верочка до того наедается супом, что живот у нее выпирает мячиком. Для второго и места нет, а жаль — на второе котлеты. Верочка, из жадности, все-таки просит котлетку, но есть уже не может, отщипнет кусочек и отваливается, молчит, мигает. Котлету, ворча, доедает мать.

После обеда идут во двор — вешать белье. Мать стоит на табуретке, а дочка снизу ей подает тяжелые, винтами скрученные жгуты. Мать встряхивает простыню, расправляет — легкий хлопок, и она уже висит, прищемленная за концы, изгибается, дуется парусом.

Просохшее, чуточку влажное белье пахнет свежестью.

Верочка с матерью гладят. У матери большой духовой утюг, похожий на паровоз, сзади огненный глаз, впереди труба. Утюг ходит танцуя, из-под него воздушно встает махровая, пенно-белая кружевная оборка, и вся блузка, когда готова, не виснет на пальце, а взлетает облаком. Гладить кружева и оборки Верочке пока не дают, гладит она что попроще да попрямее, самым маленьким утюжком, но и тот для нее тяжел. Поднимает она его двумя руками, но гладит исправно, не сожжет, не запачкает. «Ось гарна дивчина!» — вздыхает кухарка и дает Верочке леденец. Верочка сама леденца не съест, сбережет для Женьки. Младшую сестру она любит сердитой любовью.

Белья много, гладят до вечера. Вечером идут домой. Улицы ярко освещены, шипят газовые фонари, гуляет нарядная публика, качаются махровые шляпы, звенят офицерские шпоры, и все это — как сон. Красные розы в газовом свете кажутся черными. Верочка опять засматривается на розы, робко, ожидая окрика, но мать уже до того устала, что забывает ее одергивать, идет как во сне.

А дома, над обрывом,— тишина, темнота, хаты спят, редко светится розовое окно. Звездное небо шевелится складками. Над морем шарят, скрещиваясь и расходясь, длинные лучи прожекторов. Домашний запах хаты зовет ко сну. Голова становится мягкой, валится. Верочка только успевает донести ее до подушки — и уже спит.

Пока мать с Верочкой в городе, отец дома сидит, нянчит Женьку и расписывает деревянные ложки. Платят ему по копейке за штуку.

5

Платона Бутова в молодости прозвали «Светит месяц» за то, что мастерски играл на балалайке известную эту песню — играл с переборами, с дребезгом, с лихим стуком костяшек по треугольной деке. Так и подмывало от этой песни, так и несло в пляс. Был он чудак, заводила, шутник, враль. Бывало, такого наврет, хоть святых выноси. Врал, а правду любил. Грамоте знал хорошо. Выпить тоже был не дурак, но до положения риз не напивался, а, выпивши, брал балалайку и начинал играть на ней божественное. Поп, отец Савва, старик свирепый, грозил ему за это божьим гневом.

Был Платон беден — ни овцы, ни курицы, ни семьи; изба-развалюха подперта кольями. Отец с матерью давно померли, почти ничего не оставили сыну, а что оставили, то

он роздал. Легок был на руку, мог отдать последнее и не вспомнить. Девки по нем обмирали, он их не отпугивал, но и жениться не торопился. Какая-то веселая непутевость кидала его из стороны в сторону. Кормился он, батрача у богатых мужиков, деньгами не дорожил, ел за двоих. Был у него живописный дар, мог бы деньгу зашибать, расписывая сундуки да ставни, но куда там — не мог усидеть на месте. Что заработает — прогуляет с приятелями, а то нищему отдаст — и опять гол как сокол.

Никак не мог ни к чему прислониться, пока не полюбил Анку Морозову — попа Саввы дочь. Где уж они повстречались, где слюбились — неизвестно. Поп Савва с попадьей Маланьей дочку держали в строгости, ни боже мой — никуда не пускали, была она уже просватана за семинариста из Киева, которого ожидал в торговом селе богатый приход. Собой Анка была красавица — высока, ровна, смугла без румянца, глаза бархатные, как камышовые свечи. А уж скромна — не ответит, не улыбнется, глаза в землю — и мимо. И вот приворожил ее «Светит месяц» — пустобрех, балалаечник, голь перекатная, за душой ничего, кроме той балалайки да розовой рубахи, в праздник носить. И никто ничего про них с Анкой не знал, пока не случилась беда. А беда открылась, когда уже была девка на пятом месяце. Матушка-попадья волосы на себе рвала, отец Савва ногами топал и клюкой замахивался, да что поделаешь — проворонили дочь. Пришлось срочно ее за Платошку-бездельника выдать. Поп Савва сам их и обвенчал, венчал, негодуя, а когда дьякон возгласил: «Жена да убоится своего мужа», сплюнул в сторону. Однако не проклял, выдал дочери даже приданое — сколько-то деньгами и швейную машину «Зингер».

После свадьбы Платон Бутов остаться в селе не захотел, а увез свою молодую в богатый и веселый приморский город, где думал и жизнь начать богатую и привольную. На приданые деньги купили они хату с огородом на высоком крутом берегу, где внизу летали чайки, а вверху — ласточки. Еще купили двуспальную кровать с шарами и граммофон с лиловой трубой, расписанной золотом. На стене повесили балалайку и стали жить-поживать, проедать приданые деньги. А их и немного оставалось.

Но Платона это не тревожило, он вообще деньгам счета не знал, была у него поговорка: «Будет день — будет пища». По вечерам он заводил граммофон, ставил его на окошко, а сам выходил с молодой женой наружу, на холодок. Они сидели, обнявшись, глядя на море, и слушали, как

сладко рыдал граммофон, негромко, на два голоса, ему подпевая.

Иногда в море появлялся корабль и, светясь огнями, медленно шел по темной далекой воде; в такие минуты у Платона внутри что-то ныло и замирало. Эх, пошел бы он в порт, нанялся матросом, повидал бы дальние страны. Слона, обезьяну увидел бы не в зверинце, а так. Но жалко было жену — даже такую, тяжелую, подурневшую, он ее крепко любил. Наслушавшись граммофона и насмотревшись на море, они шли в хату и ложились в новую двуспальную кровать, спали тревожно, под звон пружин, и нередко по ночам посещали Платона шальные мысли, что, мол, кончилась веселая жизнь, что зря он себя связал, хотя бы и с этой, с любимой.

Когда родилась Верочка, он сперва огорчился, как всякий отец, получив дочь вместо сына, но скоро об этом забыл. Поносив девочку раза два-три на руках, он уже любил ее без памяти. Влажная щека, порхающий глаз, волосы нежные, цыплячьи до того были пронзительны, что он даже стонал. Позднее, когда Верочка научилась уже улыбаться, он мог сидеть часами, наклонясь над ребенком, щелкая, чмокая, весь выходя из себя, лишь бы еще раз увидеть святую, беззубую эту улыбку.

Верочка росла на диво спокойным ребенком, плакала редко, спала хорошо. Утром, проснувшись, играла своими ножками и весело гугукала, будь хоть мокрым-мокра. «Здравствуйте, барыня, Вера Платоновна!» — говорил ей отец, и она смеялась. «Здравствуйте, барыня, Вера Платоновна!» — повторял он, выдвигая голову, как бы бодаясь. Эта шутка имела вечный успех. В ответ на нее Верочка вся исходила смехом, чуть дребезжащим, счастливо икающим. Слушая ее, отец тоже начинал смеяться и не мог перестать. Взаимный смех доходил до полного восторга, до исступления. Не зная, что уж и делать, отец хватал девочку и подбрасывал к потолку. Она падала ему на руки толстеньким ангелом, вся раскинувшись, словно паря. «Будет вам, оглашенные!» — притворно сердилась мать, а сама тоже смеялась, рот прикрывая платком. Но глаза были печальны — будущее ее тревожило. Платон полдня играл с дочерью, а в свободное время учил скворца говорить.

Тем временем кончились приданые деньги. Пришлось продать граммофон. Анна Савишна жалела красивую, нарядную вещь, а Платон говорил беспечно: «Что с него? Только угол занимает...» Скоро проели и граммофон. Платон продал кровать с шарами. Задешево продал, половины

не выручил, что сами платили. Анна молчала, про себя жалела не кровать, а расшитые поднизи, которые Платон задаром отдал вместе с кроватью. Спали они теперь на полу, и снова Платон говорил, что так даже лучше, прохладнее, что ему ночной звон надоел. Звону теперь и правда не было — тихо спал Платон, подложив под голову сильный белый локоть, тихо дышала Верочка, тихо лежала Анна Савишна, тревожась о будущем.

Скоро прожили и кроватные деньги. Платон замахнулся было на швейную машину, но тут уж Анна Савишна встала стеной: «Не отдам! Она еще нас кормить будет!» Впервые она осмелилась перечить мужу. Платон несказанно был удивлен, посмотрел на жену, как на диковинного зверя, потом махнул рукой и засмеялся: «Ну, бабы!» Не сказавши, не посоветовавшись, пошел на завод наниматься. Там ему не понравилось: душно, грохочет, железом воняет. Нанялся в батраки к соседу-мельнику, чинил ветряк, подсыпал зерно, мешки таскал с утра до ночи. Придет весь в муке, брови белые. Жена ему подает умыться. Платон брызгается, фыркает, усталость с него сходит водой, он усмехается похудевшим, скуластым лицом, вскидывает голову: «Ничего! Мы еще с тобой поживем!»

Жили бедно. Мельник оказался нудный, прижимистый. Работал у него Платон почти за одну только пищу — хозяин за каждую копейку готов удавиться. Денег домой приносил Платон мало и редко. Иной раз и до дому не донесет, по дороге отдаст кому попало, а то купит пустяк какой-нибудь: свистульку, ножичек. Анна Савишна мужа безденежьем не попрекала. Что теперь делать? Сама такого выбрала, сама полюбила, сама и терпи. В ее бедной трудовой жизни муж был как предмет роскоши, как граммофон.

6

В четырнадцатом году грянула война. Платона Бутова сразу же взяли. Ушел веселый, Верочку подбросил, потискал, жену поцеловал трижды со щеки на щеку, заломил фуражку — и был таков. Анна Савишна вспомнила, какой он был веселый, когда еще ходил в женихах и звали его «Светит месяц», уронила голову на стол и заплакала. Может, там, в солдатчине своей, без домашних забот, снова месяцем станет Платон? Только бы не убило, не искалечило...

Стала жить одна с дочкой Верочкой, поднимать ее, поджидать мужа. Жила своими трудами: поденщиной,

стиркой, шитьем. Руки у нее потрескались, коричневые глаза потускнели, подернулись сизым.

Платон вернулся через год без ноги, да еще отравленный газами. Анна Савишна и плакала, его жалея, и радовалась, что хоть такой, а вернулся. Не работник, а все же живой. Видно, всю жизнь не ему меня, а мне его кормить. Стала своими трудами кормить и мужа, и себя, и дочку Верочку. Через год родилась у них еще одна дочка, Женя. Тут уж Платон совсем расстроился: ждал сына, а снова девка. Даже поглядеть на новую дочку не пожелал. Потом — что поделаешь? — глядел, но без удовольствия. Длинная какая-то уродилась, слабая, вредная. Верещит всю ночь, да с надрывом. Верочка-то, бывало, камушком спит: как легла, так и встала. Анна Савишна все пыталась приохотить его к ребенку, помня, как он с Верочкой играл, но все напрасно: Платон вторую дочку так и не полюбил. А мать, ее жалея, еще пуще любила.

Когда прогнали царя, Верочка была еще мала и плохо понимала, что происходит. Царя она знала по портретам: красивый, русобородый, он помещался где-то вверху, рядом с богом. Теперь его прогнали. Куда прогнали? Как? Думая о том, что прогнали царя, Верочка вспоминала, как гнала мать с огорода соседскую курицу: мать гонялась за нею с метлой, а курица громко кудахтала. Может быть, царь тоже кудахтал? Но понемногу все становилось яснее. К отцу ходили разные люди, соседи и дальние, сорили на пол, дымили махоркой, спорили, стуча кулаками. В разговорах звучали новые слова: «Петроград», «революция», «республика». Отец был за республику, Верочка — тоже. Ей нравилось, как оно звучит, мячиком: «Республика!» Мельник был за царя.

Отец говорил, что без царя начнется для всех новая, красивая жизнь, не будет ни богатых, ни бедных, все будут равны. «И розы у всех будут?» — спрашивала Верочка. «И розы,— отвечал отец,— погоди, разберемся маленько, будут тебе и розы». Верочка ждала терпеливо, пока разберутся — красивой жизни все еще не было. По-прежнему одни были богаты, другие бедны. Мать жаловалась на дороговизну, еле сводила концы с концами. Тот же борщ, реже мясо, чаще ботва. А в городе все сменялись разные власти. Вечером стреляют, а назавтра, гляди,— новая власть. Были немцы, были румыны, петлюровцы, самостийные. Были белые, были зеленые, а в промежутках —

красные. Отец был за красных, у него в хате сходилась беднота, батраки и судьбой обиженные, пели «Варшавянку», кричали: «Долой буржуев!» Кто-то донес, и отца посадили в тюрьму. Когда его уводили, мать птицей металась, кричала: «Не троньте калеку!», а отец сказал ей: «Молчи, глупая баба». Уходил он вольно, весело между двумя солдатами шел, сверкая белой спиной в новой, нарядной рубахе, и Верочка еще долго видела, как двигалось вверх и вниз его подпертое костылем плечо. Пока отец сидел в тюрьме, мать носила ему передачи, один раз взяла с собой Верочку; в окне за решеткой она увидела бледное чужое лицо с поникшими, спутанными усами. «Помахай папе»,— сказала мать, Верочка махать не захотела, заплакала.

А когда насовсем пришли красные, отца выпустили из тюрьмы и привезли домой на телеге. После тюрьмы он стал не такой, как прежде,— не играл на балалайке, не стукал деревяшкой по горнице, а все лежал и кашлял. Мать говорила, что в тюрьме коршуны отбили у него нутро. Когда отец кашлял, в этом нутре ухало у него, как в бочке. Такого, нового папу Верочка боялась и редко к нему подходила.

Однажды летним днем — мать ушла на поденщину, а сестра Женя спала в холодке под черешнями — отец подозвал к себе Верочку. Лежал он на топчане совсем плоский, даже нога-деревяшка — и та плоская. Лицо бледное, а потное. Жарко ему.

— Верочка, дочка моя старшая, любимая, поди сюда,— позвал отец. Она подошла. Что-то хрипело-сипело в отцовской груди.

— Возьми платок, вытри меня, милая, тяжко мне.

Верочка взяла со стола матери белый в крапушку головной платок и вытерла плоско вогнутый лоб, серые виски, небритые щеки отца. Пот катился по ним, как слезы.

— Пришло мое время. Скоро умру.

Верочка не поняла, о чем он говорит, но заплакала.

— Ты обо мне не плачь. Умру — вам же легче, одним ртом меньше. Не плачь, погляди на меня.

— Незабудки,— сказал отец,— чистые незабудки. Не забудь меня, дочка. Плохой я тебе был отец, а ты все ж таки помни. Будешь меня помнить?

— Буду.

— То-то же. Теперь иди. Устал я. Засну.

Верочка вышла. На дворе светило горячее солнце. Под черешнями пели пчелы, Женя спала, откинув в сторону марлевый положок. Желтая бабочка села на тыкву, сложи-

ла крылышки, расправила их, снова вспорхнула. Верочка сидела и помнила об отце, как будто бы зажимая что-то внутри себя. Солнце шло к вечеру, тени росли. Женька проснулась, заревела: «Хочу бараночки!» Бараночек в доме давно не бывало, а она все просила, нудная. Верочка принесла ей борща в глиняной миске. «Не хочу борща, дай бараночки!» — басила Женька. Верочка на нее рассердилась, отшлепала. Женька перешла с баса на визг, повизжала немного и затихла. Так всегда у нее: ревет-ревет, а нашлепаешь — поверещит и затихнет. И в доме было тихо, отец спал.

Солнце покраснело и стало садиться. Было жутковато от красного солнца, от тишины. Матери уже пора вернуться, а ее нет. Вот наконец шаги по тропинке. «Мама!» — крикнула Верочка. «Мама, бараночки принесла?» — заерзала Женька. Обе влепились в материнский подол. Мать молча их отстранила, вошла в дом. И почти сразу же раздался ее страшный крик.

Отца хоронили в яркий солнечный день, под крики ласточек. Мать на последние деньги купила целую корзину роз. Ими обложили, обсыпали гроб, только одно темное лицо с горько и косо стиснутыми губами виднелось среди цветов. Священник в черной рясе с большим, нестерпимо блиставшим наперсным крестом махал кадилом, развевая пахучий, сизый дымок. Гроб засыпали красной землей, охлопали лопатами холмик, поставили сосновый, наскоро срубленный крест; на его перекладине черными буквами было написано: «Платон Бутов, ничей не раб» (так он сам завещал). Поп на эту надпись все косился, но слова не говорил. Мать пала на могилу, раскинула руки, прильнула к земле. Ее подняли, повели. Она не плакала, просто недоумевала. Твердыми темными пальцами растирала по щекам и по лбу прилипшую красную землю. «Мама, у тебя лицо грязное», — сказала ей Верочка. Она кивнула, но не утерлась.

За поминальным столом подавали огурцы, печеные яйца, сухую рыбу тарань. Стояли две бутылки с жемчужно-сиреневым самогоном. Гости косились на скудное угощение, перешептывались, осуждая вдову. Поминали розы. «В доме есть нечего, а она — розы». «А кому они нужны, розы-то? Покойнику все равно...» Головы соседок покачивались неодобрительно. Верочка лупила яйцо. В горле саднило от соленых, горько непролитых слез. Тут заревела

Женька. Верочка схватила ее поперек живота, отнесла в сарай и с наслаждением отшлепала. Каждый шлепок был как ответ соседкам: нет, покойнику не все равно! Нет, надо покупать розы!

7

Похоронили, погоревали и снова начали жить. Все шло вроде по-прежнему, только мать стала другая. Как будто, купив розы, она от чего-то избавилась, освободилась. Пропало ее строгое скопидомство, тревога о будущем, стала она беспечнее, словно унаследовала у Платона легкую поговорку: «Будет день — будет пища». Однажды привела в дом мальчишку-приемыша, звали Ужиком. Черный, верткий, волосы торчат, а в них — сено. Анна Савишна нашла его в сене, где он ночевал, беспризорный, и взяла себе в сыновья. Как зовут его по правде, он не говорил,— Ужик да Ужик, так и остался Ужиком, хотя мать и выправила ему документ, по которому он был Бутов, Платон Платонович. Соседки осуждали Анну Савишну за безрассудство: самим есть нечего, а она парня взяла. Да еще беспризорный, на вид ворюга ворюгой, черное слово у него с уст не сходит. И правда, ругаться Ужик был великий мастер, с такими завитками выделывал, что мужики за живот хватались. Однако Анна Савишна его от этой привычки живо отвадила. Как-то раз сидели они за столом, мать разливала борщ, Ужик по привычке раскатился было затейливым матом, но кончить не успел: мать размахнулась да так хватила его горячим половником по губам, что они у него пузырями вздулись. С тех пор, как только Ужику приходило на ум выругаться, сразу же у него начинали чесаться губы, и он молчал.

По возрасту он был где-то между Женей и Верочкой (сколько ему лет, в точности никто не знал), но дружил больше со старшей сестрой. Ей он рассказал под большим секретом (землю заставил есть!) страшную свою тайну. Ужик был иностранный принц, рожденный от лиц королевской крови. Отец у него носил всю жизнь железную маску и умер в тюрьме. А мать его звали Эмилией, она тоже была королевская дочь, с золотой короной на черных распущенных волосах. У нее были враги, из них главный — кардинал Ришелье. Чтобы сына не истребили враги, она завернула его в шелковые пеленки, положила в корзину и пустила вплавь по реке, и так он попал в Россию. А говорить об этом нельзя никому, потому что большевики против

царей и, если узнают, сразу его убьют. Верочка тайну хранила свято. Ужик, хоть и принц, был в жизни обыкновенный мальчишка, учился плохо, плавал отчаянно и, когда время пришло, поступил в комсомол.

Верочкины школьные годы были бурные, двадцатые. Неслыханным половодьем разливалась новая жизнь, размывала устои. В воздухе носились слова: «Долой!» и «Даешь!» — оба на «д». Долой церковь, долой попов и монахов, долой мещанство, долой собственность! Даешь новое! «Долой» и «даешь» захлестывали, конечно, и школу. Возникали, шумели и отмирали новые методы обучения: комплексный, Дальтон-план, бригадно-лабораторный. Вводилось, ограничивалось и снова вводилось самоуправление. Выкидывались парты, черные доски. Во дворах горели костры из пособий. Классы становились лабораториями, учителя — консультантами. Ученикам раздавали книги, по одной на бригаду в пять-шесть человек, и велели работать самостоятельно, коллективно. А как работать — не объясняли, им и самим это было неясно. Новые методы изобретались где-то в столицах, а сюда приходили в виде невнятных, противоречащих друг другу инструкций.

Иные учителя, по-новому «шкрабы», вовсе сбивались с толку; захлестнутые волной перемен, они плыли по течению, робко недоумевая. Однако были среди них и сильные, одаренные, которые, невзирая на методический хаос, продолжали учить и чему-то выучивали. Вокруг таких учителей группировались самые способные, желающие учиться, и Верочка — среди них. У нее было счастливое свойство приспосабливаться ко всему новому, сливаться с обстоятельствами, плыть в них как рыба в воде и туда, куда нужно. Глядя, как она усердно и весело учится, можно было подумать, что есть здравое зерно и в Дальтон-плане, и в бригадно-лабораторном. Память у нее была отличная, она любила русский язык, литературу, обществоведение, питала здоровое отвращение к математике и ухитрилась выйти их школы с неплохим, в общем-то, образованием, хотя и дырявым. Дырки получались там, где в переходах от метода к методу что-нибудь просто забывали пройти. Так вышло у Верочки с запятыми. Она ставила их не по правилам, а по вдохновению и, на всякий случай, почаще, почти после каждого слова. Так и осталось у нее навсегда. Верочка всю жизнь любила и умела писать письма; эти веселые, милые письма казались от лишних запятых еще

веселее, милее. Запятые были в них как множество ликующих подтверждений.

В общем, Верочка прошла благополучно все школьные бури, а вот Ужик не выдержал. Он запоем митинговал на собраниях, как тогда говорили, «бузотерствовал», свергал учителей, требовал смены заведующего, свистел на уроках и на конференциях, когда ими заменили уроки, а учиться у него времени не было. Прежний заведующий, хилый интеллигент, боялся Ужика и трусливо переводил его из класса в класс. Довел бы и до окончания школы, но Ужик, на свою голову, добился-таки его увольнения. Новый заведующий — мужик крепкий, соленый — быстро вывел Ужика на чистую воду, обнаружил, что тот не усвоил даже таблицы умножения, и с громом выгнал его из школы. Гордый Ужик (все-таки принц!) в другую школу поступать не стал, а пошел на завод. Там его быстро пообломали. Куражился он теперь только дома, над сестрами: он, мол, рабочий класс, а они — кисейные барышни. Ногти на смуглых руках у него обвелись черной, рабочей каймой, и ел он борщ за столом, как хозяин.

Мать Анна Савишна новую жизнь приняла с робкой готовностью. В прошлом у нее хорошего не было, труд да бедность, жалеть было не о чем. Она и за иконы-то не очень держалась, когда Верочка с Ужиком, комсомольцы, вынесли их за ворота и сожгли на костре. Сначала ее смущал пустой угол, где прежде висели иконы; чудился ей там покойный отец Савва с клюкой и проклятием, но ничего, обошлось, привыкла. Стала она посмелей, поразговорчивей, даже снимала платок с головы и, уронив его на плечи, приглаживала ладонью все еще густые, мало поседевшие волосы. Полюбила читать. В свободную минуту брала книжку и, зацепив ниткой за ухо старые очки в железной оправе, усердно водила глазами по строчкам. Жизнь еще была трудна, но становилась легче. Дочери, как барышни, учились в гимназии (по-нынешнему — в единой трудовой), старшая — хорошо, младшая — хуже, но все же обе получат образование, на ноги станут, не век же им, как матери, в земле копаться. Ужик недоучился, но и он был на твердом пути, как-никак зарабатывал и всю получку отдавал матери.

Был в ее жизни смешной случай: взял да и посватался к ней бывший мельник, нынче уже не мельник, а завкооперативом. Заслал соседку: так, мол, и так, предлагает Иван Севастьянович руку и сердце. Мужик еще нестарый, вдовый, дети взрослые, дом — полная чаша. Анна Савишна

и посмеялась, и поплакала, и отказала. Жила по-прежнему своей семьей, с двумя дочками и сыном Ужиком. Время-то идет — не успеешь оглянуться, дети большие. Вот уже и Верочка кончила школу. Поступит на службу — все-таки полегче будет...

8

Фигура человека на берегу приближалась, было уже отчетливо видно, что идет он сюда, не отсюда, что одет не в черное, как ей сперва показалось, а в военно-защитное. Человек в военной форме, но босой, шел по песку и нес в руках сапоги. Верочка опустила красный купальник, умерила шаг, поправила мокрые волосы. Человек приближался. Вот уже песок заскрипел совсем рядом. Среднего роста командир, в расстегнутой гимнастерке, с белыми босыми ногами (сапоги он держал за ушки и вольно их раскачивал), подошел и прямо взглянул на нее. Они были одного роста, и на одном уровне с ее лицом было его лицо — удлиненное, красивое, с дугообразными соболиными бровями. И на одном уровне с ее глазами — вглядчивые, жестокие, горчичного цвета глаза. «Добрый день»,— сказал командир. Верочка, не смутившись, ответила: «Добрый день». Она не была робка.

— Вы ли это здесь пели?

— Я. А что, вам понравилось?

— Очень. Но вы перестали петь, и жаль, что перестали. Мне хотелось бы знать, что там такое случилось с чайкой?

— Она, трепеща, умерла в камышах,— краснея плечами и грудью, ответила Верочка. Нет, она не была робка, а краснела оттого, что кровь гуляла в ней волнами. У нее было премилое воркующее «р» с маленьким как бы хвостиком, легким оттенком «л» на конце. Стояла она на песке прямо и статно, в розовом ситцевом платье с рукавами-фонариками, и кровь медленно покидала ее плечи, шею и грудь.

— Как вы сказали? Я не расслышал.

— Она, трепеща, умерла в камышах,— чуть смутившись, повторила Верочка и опять залилась краской.

— Прекрасно. «Трлепеща». Обычная судьба каждой чайки.

— Но не каждой девушки.

Высокая, крепкая, сильная, с мягко покатыми плечами, из которых белым стволом гордо прямится длинная шея. Широкие бедра, плоский живот. Толстоватые, но стройные

ноги. Он окинул ее взглядом знатока и остался доволен. Да, такая, пожалуй, не умрет трепеща. Ее раскиданные по плечам волосы еще не просохли; он подошел ближе и поднял двумя пальцами с ее плеча пестро-белокурую прядь.

— Купались?

— Да. А что?

— Жаль, меня не было при этом. Я увидел бы, как Афродита выходит из морской пены.

Афродита... Никто еще так с Верочкой не говорил. Товарищи-комсомольцы говорили: «Дай пять», «На большой палец с присыпкой»... Верочке про Афродиту понравилось. Она усмехнулась и ответила чуть-чуть вызывающе:

— Да, вам не повезло.

— Может быть, еще повезет?

— Может быть.

— В котором часу вы купаетесь?

— В семь утра.

— Отлично. Завтра, ровно в семь, здесь, на пляже. Я вас приветствую.

Он поднял с песка сапоги, сделал одним из них какой-то неуловимо-победный жест (приветствовал сапогом?), повернулся и пошел, утопая в песке чуть искривленными, уверенными ногами.

Верочка глядела ему вслед со сложным чувством полувражды, полуподчиненности. Смущало ее и то, что, как ни толкуй, она все же назначила наутро свидание этому незнакомому человеку. Попробовала опять затянуть про чайку, но песня не сладилась. Настоящие чайки, носясь над морем, орали фальшивыми голосами, как будто дразня ее: «Ну, что, взяла?»...

Эту ночь Верочка спала плохо. Тикали ходики, цыкал сверчок, повторяя и повторяя свой скрипящий маленький звук. Мать, как всегда неслышно, спала рядом. Верочку гнели мысли, что все спят, и он, сегодняшний незнакомец, тоже спит где-то в пределах города — спит и про нее не думает, а она... Несмотря на распахнутые окна, в хате было душно. Бродил вдалеке гром, мигали зарницы. Внутренним зрением изнутри закрытых век она снова видела горчичные глаза, соболиные брови, сапоги, ухарски взятые за ушки, удаляющуюся по песку уверенную походку (и не обернулся...). Она вздыхала, переворачивала подушку, ища прохлады. Плечи ее были прохладны, шелковисты — она поцеловала себя в плечо и рассмеялась тихонько. Словом, Верочка была влюблена. Наутро, ровно в семь часов, она

стояла на пляже в том самом месте, где вчера рассталась с военным. Его не было.

— Ну и что ж, ну и что ж,— сказала она себе, силясь не огорчаться.— Плакать не будем, проживем и так.

Быстро разделась (ветер свежий, утренний), натянула красный купальник, который предательски треснул под мышкой, и пошла к воде. Крупный песок, как живой, шевелился меж пальцами ног. Она раскинула руки, как бы обнимая море, и кинулась грудью вниз в голубую воду, видя ее голубой, хотя у берега она была буро-зеленой. Поплыла вперед, широко, мужскими саженками выкидывая руки. При каждом броске тело, как бы следуя за руками, полувыныривало из воды, шло в общем косо, как косо идет приподнятая скоростью моторная шлюпка. Удивительная вещь вода. В воде ей как-то удалось забыть и вчерашнюю встречу, и ночь, и назначенное свидание. Выходя, она спустила с плеч купальник и оглядела дыру под мышкой. Так и есть — не по шву, а по живому месту. В это время из-за камня появился вчерашний военный:

— Здравствуйте, Афродита.

Верочка немелодично взвизгнула и присела, закрывая плечи скрещенными руками.

— Не стыдитесь, Афродита, ваше тело слишком прекрасно, чтобы его закрывать.

Колеблясь, сама себя не понимая,. она вышла на песок. Он обнял ее — мокрую, смущенную, прижал к себе и сказал одно слово:

— Моя.

Кто-то так уже говорил в какой-то книге. Впрочем, налет книжности в его речи ей не мешал — такой уж человек, из высшего мира, ни на кого не похожий...

Его звали Ларичев Александр Иванович. Пехотный командир, военная косточка (так он сам себя отрекомендовал). Следы от мокрого объятия темнели на гимнастерке. Малиновые петлицы, две шпалы. Верочка знаков различия не понимала:

— Это как по-старому?

— Подполковник.

— Ого!

...Жил всегда в разъездах. Куда только его не бросало: Киев, Мурманск, Дальний Восток. Сейчас — Могилев. Здесь — лишь в командировке, на несколько дней. Послезавтра — обратно. Ему тридцать пять лет. Много? Не так

уж много... Верочке он казался невероятно, недосягаемо взрослым, не старым, а именно взрослым. Великим. Не верилось, что его, Великого, рука обнимает ее за плечи. Она взяла эту руку со своего плеча и поцеловала. Он вздрогнул, вырвал руку, сказал строго: «Чтобы этого никогда не было!» И поцеловал ее в губы. Она провалилась, так и ухнула, и сердце почти перестало биться. Значит, это любовь?

— Все будет хорошо,— сказал он,— через два месяца я за тобой приеду. Кстати, как тебя зовут?

— Вера.

— Не странно ль, что зовут вас Вера? Неужто можно верить вам?

Тоже из какой-то книги, но красиво...

9

Два месяца прошли как в бреду. Матери Верочка ничего не говорила, та и не расспрашивала, тревожилась молча. Видно сразу: не в себе девка. Ночью не спит, ворочается, только сенник шуршит. Смеется сама с собой, а то вдруг словно плачет. Поет про чайку — «трепеща, умерла»,— и слезы в голосе. Есть перестала. Борщ еле-еле ложкой потрогает — и из-за стола. А он со сметаной. Хотела на службу поступать — теперь замолчала. Предложили ей по знакомству место библиотекарши в школе — молчит, улыбается: «Еще погожу». Анна Савишна насчет работы Верочке старалась не надоедать, чтобы не вышло, что она, мать, попрекает дочку своим хлебом. Зато Ужик очень даже попрекал: до каких пор на вас, бездельниц, работать? Молчит, улыбается. Женьке — той было все равно; она почти все дни проводила у зеркала, любуясь и в самом деле незаурядной своей красотой, расчесывая черные тяжелые косы, закидывая руки за голову, загадочно щуря глаза. «Фуфлыга!» — говорил Ужик.

А Верочке казалось — жизнь остановилась, замерла, из кино сделали фото, все кругом стоят, навеки окаменев, и ничего больше не будет, и вечно будет Женька сидеть у зеркала, мать — глядеть тревожно, а Ужик — негодовать.

Где-то в это же смутное время, когда все было странно и как бы подвешено, посватался к ней жених. Был он грузин, носатый и полный, работал в порту по административной части и даже имел возможность доставать заграничные вещи. Присватался к Верочке через соседку Дуняшу, у которой покупал баклажаны. Очень ему понра-

вилась русская девушка — красивый рост и волосы белые. Дуняша обещала похлопотать, пришла к Анне Савишне: «Всем хорош человек, смотрите, как бы вам своего счастья не упустить». «Может, и в самом деле пора девке замуж?» — подумала мать. Жених был допущен в дом, принят, угощен, вел себя вежливо, но по поводу каждого блюда пускался в подробные беседы, говорил, что в Грузии не так делается, начинал объяснять, как именно, и переходил на грузинский язык, сверкая глазами, как парой ножей; только и слышалось: «бардижани-хачапури» и еще невесть что; русское слово было одно — «барашка», и произносил он его с разящим жестом, как бы этого барашка убивая... Анна Савишна немножко перепугалась. Когда гость ушел, спросила дочку: «Ну, как? По мне, не годится».— «Для чего?» — не поняла Верочка. Анна Савишна ничего выяснять не стала, просто передала через соседку отказ. Только на третий день Верочка узнала, зачем приходил грузин (от Ужика, тот хитер — все пронюхал!), и хохотала часа два, а потом принялась плакать. Женька надулась: почему ей не сказали? Может, она взяла бы его себе. Женьке было пятнадцать лет, ее дружно подняли на смех, обозвали соплячкой. Посмеялись и забыли. Верочка продолжала жить и грезить, срывая с календаря листок за листком. Приближался назначенный срок, а о нем ни слуху ни духу. Приблизился и прошел, и все ничего. Верочка примолкла, перестала смеяться и плакать, даже на море не ходила — маялась.

Однажды в жаркий день лежала она в тени под черешней. Серое от зноя небо поднималось, плыло кверху над горячей землей. У ее лица сновали букашки, копошилась садово-огородная жизнь, всем было хорошо, ей одной — плохо. Она нетерпеливо шевелила босой ногой, сжимая пальцы и разжимая. Когда же? Сегодня, завтра? Может быть, совсем никогда? Жди тут и лежи, когда сердце рвется... И вот послышался на тропинке твердый печатный шаг, так печатать шаги в пыль мог только один человек: он. Верочка вскинулась на колени, отряхивая с волос и платья налипший сор. Тут ее взяли, поставили на землю, приподняли с земли (ой, я тяжелая!) и поцеловали. Он был здесь, держал в руках, глядел ей в лицо грозными горчичными глазами. Она обняла его широкую волосатую шею и застонала от счастья... Это было чудо. Тут чудо заговорило удивительно будничным голосом:

— Я за тобой. Все дела устроил, поженимся, поедем.

Только потом она узнала, что «все дела» — это был

развод с женой. У него, оказывается, была жена. Жена и сын. Развелся, оставил жене квартиру, все имущество, получил новое назначение — и сюда...

— Будем жить в глуши. Тебя это не пугает?

— Меня? — спросила Верочка, и так спросила, что оставалось только взять ее на руки и целовать до остановки дыхания. При поцелуе дыхание прерывалось. Кроме того, мешали носы.

...— Мама, это мой жених.

Анна Савишна несказанно удивилась: господи помилуй, жених — какой-то военный, да почти пожилой... Откуда? Александр Иванович поцеловал руку будущей теще (она все прятала ее под фартук), но вообще был скован, неразговорчив. Ужику он не понравился: корчит буржуя. Женька, вся в себе, как сомнамбула, на сестрина жениха внимания не обратила.

10

Свадьбу не праздновали: Ларичев этих мещанских обычаев не признавал, от всего сердца был человек новый. Попросту зарегистрировали брак в районном загсе, где рядом стояли три стола: регистрации браков, рождений и смертей. Стол регистрации браков был отмечен бронзовым амуром, полоскавшим ноги в какой-то посудине — не то чаше, не то вазе, но употреблявшейся как пепельница. Перед ними в очереди к брачному столу стояла какая-то женщина, пришедшая развестись: она не могла вспомнить свою девичью фамилию, плакала и говорила: «Доел он меня, доел». Кто-то рядом регистрировал новорожденного, кто-то — умершего, обстановка была вполне деловая, Александр Иванович хмурился и притопывал ногой в зеркально начищенном сапоге. Насилу-то дождались своей очереди; Верочка с волнением читала свидетельство: зарегистрирован брак Ларичева, Александра Ивановича, с Бутовой, Верой Платоновной; фамилия в браке: его — Ларичев, ее — Ларичева... Неужели наяву, не во сне, я — Ларичева, его жена?

До́ма посидели за столом, скромно пригубили ягодной наливки. Анна Савишна скорбно смотрела на дочь, недоумевая: как же это все получилось? Зять ей не нравился, особенно брови. Ужик враждебно дичился. Женя была равнодушна — ее все происходящее как бы вообще не касалось, она создала себе из зеркала и воздуха какую-то незримую зону, в которую происшествия не проникали. За

столом сидели недолго, все были принужденны, несловоохотливы. У Верочки ныло сердце: она боялась...

Часов в девять вечера мать сказала, робея: «А не пора ли спать?» Александр Иванович встал из-за стола, щелкнул каблуками, благодаря хозяйку. Она, стесняясь, в чем-то прося прощения («Если не то, если не так...»), проводила молодых в горницу, где уже была приготовлена под розовым атласным одеялом двуспальная кровать из двух рядом поставленных топчанов (мать с Ужиком и Женькой перебрались временно в пристройку-холодушку). Все это было лишнее и стыдно, Верочка чуть не плакала. Особенно смущала ее кровать (не кровать, а какое-то ложе наслаждений!). Мать ее перекрестила (Верочку даже повело от такой старорежимности), поцеловала, опять сказала: «Простите, если что не так» — и вышла. Верочка стояла, малиново красная от всей этой несуразицы. Все это не имело никакого отношения к ее любви и, наверно, ей и нужно-то не было... Может быть, пока не поздно... Удрал же Подколесин через окно?

Александр Иванович обнял Верочку. Она вся отвердела, насторожилась.

— Боишься меня?

Она молчала.

— Знаю, боишься. И зря. Хочешь, я тебя сегодня не трону?

Верочка молчала. Сердце у нее билось-билось.

— Не молчи. Скажи: хочешь?

— Хочу.

— Договорились.

Они стояли рядом, не касаясь друг друга, какие-то параллельные.

— Однако в ногах правды нет. Что ж мы, так до утра и простоим? Давай сядем.

В горнице ничего не было, кроме пышной кровати и одного стула. Они сели на кровать неблизко друг от друга, положив руки каждый к себе на колени. «Египетские Рамзесы»,— подумала Верочка. Ей стало смешно.

— Все еще боишься?

— Теперь уж не так.

— Тогда иди сюда, поближе. Сядь ко мне на колени. Не бойся — сказано, не трону. Эх ты, заяц.

Верочка села к нему на колени. Сначала немножко казенно, пряменько, а потом прислонилась головой к его плечу. Пахло страшновато — мужской одеждой, табаком, одеколоном от гладко выбритой щеки...

Удобно тебе? — спросил он.
Мне хорошо. Мне очень хорошо.
— Ну и ладно. Спи, моя дорогая.

Странно, она и в самом деле заснула. От усталости, испуга, от полноты чувств. Проснулась среди ночи. Александр Иванович не спал. Он сидел, бережно ее охраняя, и его строгое красивое лицо обращено было к окну, откуда светили звезды. Верочка всполошилась:

— Ой, я заснула.

— И очень хорошо, что заснула.

— Вы, наверно, устали меня держать, я такая тяжелая.

— Нет, я не устал тебя держать.

— Вы не спали?

— Нет, я не спал. Я думал.

— О чем?

— Я думал: чем я заслужил такое счастье? И чем я смогу тебе за него заплатить? Жизни не хватит.

Верочка заплакала (какие прекрасные слова!) и, сморкаясь, спросила:

— И тебе в самом деле не тяжело?

— Нет, не тяжело. Всю жизнь я буду держать тебя на руках, любимая. Не беспокойся, спи...

Встали они рано. Видно, все-таки Верочка была тяжеловата, и у Александра Ивановича затекли ноги. Утро сияло первым, еще прохладным блеском. В доме было тихо. Взявшись за руки, они вышли на крыльцо. Пахло укропом, колокольчики «крученого паныча» еще не раскрылись. Высоко-высоко в небе черными мухами носились ласточки — к хорошей погоде. На крыше соседнего дома, важно укрепившись на своем колесе, хозяин-аист ел лягушку; клюв его был ярко-красным, лягушка — зеленой, как на детской картинке. Рано встав, как и они, аист уже приступил к своим дневным заботам. Рядом топили печь, и голубой дым, не тревожимый ветром, легким столбиком восходил кверху. Александр Иванович обнял Верочку и сказал:

— Ты — вся моя жизнь.

...Через несколько дней они уезжали. Вокзал со своим закопченным, деловым, горьким неуютом; почти непрозрачный стеклянный свод; паровоз, ожидающий, вздыхающий, пыхтящий... Мать — смуглая, большеглазая, все еще красивая — тихонько крестила Верочку из-под платка.

Ужик стоял в стороне и был недоступен, Женька — рядом, но вся в облаках. Что-то легло уже между Верочкой и родными, виделись они будто во сне. Реальным был Александр Иванович — Шура, Шуня, Шунечка, — так она, все еще робея, звала его наедине. Муж, Шунечка, стоял рядом, не держа ее ни под руку, ни за руку, — просто держа ее собой, как хозяин держит собаку, одним своим присутствием...

Последний звонок. Возглас Анны Савишны: «С богом!» Ларичевы взошли на площадку. В стуке колес начал обозначаться ритм. Верочка замахала рукой. Сквозь опалово-слезную муть она видела уменьшавшуюся, пропадавшую вдали фигуру матери. Паровоз раздирающе вскрикнул и начал набирать ход.

11

Тело Александра Ивановича Ларичева, прибранное, готовое к погребению, затянутое в узковатый парадный мундир, лежало в гробу, обставленное цветами. Цветов было множество. Сквозь слезный туман они виделись не легкими, перисто-расчлененными, а сплошными, тяжело вылепленными; толпясь и сутулясь, нависали они над гробом. Их запах тоже был тяжел, душноватый, слащавый, с легкой примесью нафталина, а может быть, еще чего-то, что страшно было даже в мыслях назвать словами.

Вера Платоновна, оглохшая, оглупевшая от слез, сидела возле гроба. Руки, всегда такие проворные, мертво свесились вниз. Они словно бы ей не принадлежали. Горе ощущалось не в груди, не в сердце, а скорее в ушах. Тупыми затычками в обоих ушах. Мир был беззвучен, может быть, это весь мир оглох, не только она. Стул, на котором она сидела, казался одновременно слишком маленьким и слишком большим — во всяком случае, для сидения неприспособленным.

Чуть шаркая туфлями, вошла Анна Савишна.

— Еще телеграмма.

Пальцы не гнулись, как на морозе. Телеграмма шуршала, дыбилась. «Горюем вами смерти незабвенного Александра Ивановича тчк сожалению делами приезд невозможен Женя Семен», — прочла Вера.

— От Женечки? — спросила мать. — Ну как, едут?

— Да, мама, да.

Надо было сказать «нет, мама, нет», но у нее спутались «да» и «нет». Анна Савишна взяла телеграмму, порылась в кармане фартука, нашла очки, прочла, вздохнула и поло-

жила на голову дочери легкую сухую руку. Вера замотала головой — даже эта легкая рука была тяжела.

— Ты бы легла, дочка. Я и постель разобрала. Поди приляг.

— Нет, мама, еще посижу.

— Ну, как знаешь, господь с тобой.

Анна Савишна постояла у гроба, спокойно и печально глядя на мертвое лицо, поправила цветы (один, тяжелый, все падал), перекрестилась и вышла.

Вера опять осталась наедине с мужем. Если бы понять, что произошло? Внутри у нее все что-то долбило, спрашивало, перебивало само себя: да, да, да, а потом: нет, нет, нет. Спор шел между фактом, наличием смерти, и ее невозможностью. Умер? Что значит: «умер»? Бессмыслица. И все же так: умер. Не может быть. Матери хорошо, она верующая. Вера. «Не странно ль, что зовут вас Вера? Неужто можно верить вам?» Реальность пляжа, воды, чаек, счастья. И тут же, рядом,— реальность смерти. В отчаянии Вера попробовала перекреститься, но рука забыла, как это делается.

Как полено раскалывается под колуном. Как, треща, отделяются друг от друга волокна. Так раскололась вся жизнь — сверху донизу, одним ударом. Раскололась, распалась. Двадцать семь лет с ним, при нем, для него. Теперь ни для кого, одна. Одна, одна.

«Шунечка»,— сказала она шепотом и сама испугалась. Мрачная бровь над глубоко закрытым глазом покойника словно бы шевельнулась... Когда-то певучие, ровные, соболиные, эти брови теперь были седы, щетинисты, грозны...

...Вскрытие показало: обширный инфаркт миокарда, эмфизема легких, цирроз печени... Было от чего умереть.

Врач:

— Удивительно, что он до сих пор жил. Вы понимаете, он был обречен.

— Да, да,— сказала она, ничего не понимая.

...Когда Шунечку увозили, он ей поцеловал руку. Носилки — на полу. Он лежал на них, по пояс укрытый одеялом. Лицо спокойное, только в углах губ гримаса боли. Уж она-то его знала. Снизу, с носилок, он подал ей глазами условный знак: помиримся. Она наклонилась, взяла его за руку, пальцы были холодны и слабы. С усилием, хмурясь, он потянул Верину руку к своему лицу, поцеловал. Больше живым она его не видела...

А сейчас, в текучем свете свечей, он до ужаса казался живым, именно живым и ею, своей женой, недовольным. Руки, сложенные под грудью, отливали розовым. И, по-

прежнему тикая, шли часы у него на запястье. Часы — старые, еще довоенные, подарок наркома, с надписью: «За безупречную службу». Шунечка никогда с ними не расставался, даже спал с часами. И сейчас они у него на руке — тикают, трудятся, остановятся, видно, уже в земле. Тиканье часов усиливало иллюзию жизни. Вере казалось, что вот-вот полусогнутый указательный палец приподнимется и постучит по циферблату знакомым предостерегающим жестом...

...Она уходила из дому — Шунечка этого не любил. Он стоял у окна, приподняв левую руку с часами, постукивал по циферблату полусогнутым указательным пальцем правой: помни о времени, не задерживайся... А она, глупая, уходила от него, она, глупая, облегченно вздыхала, вырвавшись на вольный воздух, шагая в ногу маршам, рвущимся из громкоговорителей... Глупая! Что бы она не отдала сейчас за то, чтобы Шунечка стукнул пальцем по циферблату...

Бедный, он, верно, был уже очень болен весь этот год. Гордый, скрывал, не хотел признаться. Верно, от болезни у него так менялся характер, становился неровен — мягок с посторонними, груб с нею, с женой.

С месяц тому назад ночью он позвал:

— Верочка, пойди сюда.

Она спала крепко, сладко, наработавшись днем на огороде, снилось ей детство, маки, бабочки. Она слышала, что он зовет, но не могла проснуться.

— Вера, я тебя зову, ты что же,— не слышишь?

— Шунечка, иду-иду.

Торопясь, она надевала халат, путаясь в пуговицах, тапки куда-то запропастились, босая, вошла к нему (уже давно они спали в разных комнатах). Он лежал и говорил сердито:

— Зовешь-зовешь, не дозовешься. Или все вы там оглохли? Или умерли?

«Все вы» означало: она с матерью.

— Прости, Шунечка, заспалась немного. Все в порядке: ты звал, я пришла.

И улыбка — без ответа. Александр Иванович сказал сухо:

— Не нахожу таблетки. Валидол. Лежали тут, и нету.

— Плохо тебе? — встревожилась Вера.

— Ничего не плохо. Просто лекарство всегда должно

быть на месте. Полон дом баб, а порядку не добьешься. Ты, что ли, убрала?

— Бог с тобой, Шунечка, я их и не видела.

— А куда же они делись? Здесь лежали, на ночном столике, и нет.

Вера засуетилась, ища таблетки. Александр Иванович торопил ее, нетерпеливо водя глазами (в каждом — лампа с розовым абажуром):

— Ну, что же, долго я буду ждать?

— Сейчас, сейчас.

Таблеток не было. Голый пол холодил босые ноги. А он понукал:

— Скорее. Сто раз просил: не трогать моих вещей. Подлая бабья страсть к уборке... Ничего не понимаете — не суйтесь.

Нигде ничего...

— К себе, что ли, ты их унесла? Поди посмотри.

Она пошла к себе, стала искать там, хотя таблеток там быть не могло никак.

— Ну, что же? — кричал Шунечка страшным голосом.

— Нету. Давай оденусь, схожу в аптеку.

Александр Иванович выругался — грубо, страшно. Вера обмерла. Никогда еще такого не было... Никогда за всю жизнь он ее не ругал. Удар был та силен, что она упала, рухнула на пол. Обо что-то стукнулась головой, услышала стук.

Спустя некоторое время очнулась. Сколько прошло: десять минут? Час? Стыли ноги, пол был холоден и гладок, она ощущала его крутизной бедра. Перед глазами постепенно утверждался какой-то предмет, оказавшийся ножкой кресла. Комната в необычном ракурсе — снизу — была странна. Лежала, соображая: да, я упала. В обморок, когда он меня обругал. Вздрогнула, вспомнив страшное это слово. Никогда, во всю жизнь... «Всю жизнь,— обещал он,— всю жизнь я буду держать тебя на руках». И вот... Она поднялась с полу, озябшая, оскорбленная. В соседней комнате было темно, тихо. Не может быть, чтобы он не слышал, как я упала. Нет, ему все равно. Я тут погибаю, а ему все равно, и свет потушил. Легла в постель. Холодные, крупные колени были как глыбы льда...

Назавтра он рано ушел по своим делам. А таблетки она нашла у него под подушкой...

Если бы знать тогда: месяц, меньше месяца оставалось ему жить! Ведь он уже тогда умирал,— знал и не хотел сознаться. Ведь это не он ругался — это смерть его в нем

ругалась. А она, как идиотка,— бух в обморок. Подумаешь, выругался человек. Если бы знать...

И пошли, перебивая друг друга, всевозможные «бы» — бесконечные, бесполезные «бы», терзающие душу после смерти близкого человека.

...Я бы служила ему безропотно, терпеливо, босиком по холодному полу, без сна, без отдыха. Он ругал бы меня — я бы ему целовала руку. Я не уходила бы из дому, не оборачивалась бы с досадой на то, как он стоит у окна, занеся полусогнутый палец над циферблатом...

...Время шло, и часы тикали, и нельзя было понять, который час. Вероятно, уже глубокая ночь, а может быть, уже и другой день — день похорон,— только солнце не встает почему-то. Запах цветов становился невыносимым. Наверно, от этого запаха кружилась у нее голова. Вот и стул под ней закачался, взмыл ногами вперед и поплыл по воздуху. «Летаю, как баба-яга в ступе»,— подумалось ей неуместной шуткой. Правая бровь Александра Ивановича как-то очень уж ехидно изогнулась, давая понять, что она, Вера, преступила, преступна: муж умер, а она на стуле летает. «Ну и что же,— сказала она,— летаю себе и летаю». Несколько мгновений она чувствовала себя неестественно счастливой. Ощущение было колючим, пузырчатым, как холодный нарзан в жаркий день. Но тут отворилась дверь, и, шаркая туфлями, вошло горе. Стул сразу прекратил полет, опустился на пол и встал твердо на все четыре ножки.

— Кто там? — спросила Вера.

— Еще телеграмма,— ответило горе голосом матери.

— «Буду завтра самолетом, Маша»,— прочла Вера вслух.

— Слава богу, Машенька — родная душа. А ты поди приляг, поспи хоть часика два.

Вере уже теперь самой хотелось лечь, но, стыдясь своего недавнего счастья (откуда оно взялось?), она сказала:

— Нет, посижу.

Мать поцеловала ее в лоб и вышла. Все было очень трезво и ясно: шла ночь, в тишине отчетливо проступали ночные звуки — потрескивал пол, коробились, отставая, обои. Где-то залаяли собаки — наверно, шел ночной прохожий, разыскивая в темноте свой дом. Впрочем, темноты на улице не было: светила голубая луна, бросая сквозь занавески неуверенный свет. Сна не было, счастья не было тоже, но и горе примолкло, прислушиваясь.

12

Маша Смолина была Верина самая близкая подруга. Из тех, с кем делишь и счастье, и горе, и стол, и кров. Познакомились они, лежа в больнице. Это было в первый год Вериного замужества. Жили тогда Ларичевы в барачном поселке, в зауральской степи, где базировалась часть, в которой служил Александр Иванович.

Прожили они вместе уже полгода, но для нее все еще было внове: и быт, и необмятость семейной жизни, и чувство подчиненности, и любовь — главным образом любовь, которая все разрасталась и заполняла жизнь до краев, через край... И вот среди всех этих нагромождений еще одно: Вера почувствовала себя не совсем здоровой. В чем дело — ей сразу же стало ясно; сказывалось ее нежеманное, полудеревенское воспитание, где вещи назывались своими именами, и дети уже с малых лет знали что к чему. Новость ее не обрадовала, скорее смутила: и так уже слишком тесно было у нее в душе. Но вскоре она к ней привыкла и даже начала прикидывать: здесь станет кроватка, купать буду за занавеской, воду греть — в большом тазу, окно придется замазать... Ребенок в воображении был мальчиком — беленьким, с горчичными глазами. В общем, она его приняла, ждала даже с некоторым волнением. Оставалось сказать мужу, это почему-то ее останавливало, как он отнесется — было неясно; обожаемый Шунечка был для нее во многом еще загадкой. Боялась ему сказать, как, например, в школе боялась бы признаться учителю в разбитом (пусть по нечаянности!) стекле. Наконец решилась. Однажды вечером, теребя кромку скатерти...

— Шунечка, я давно хотела тебе сказать...

И замолчала. Продолжать не надо было: он все понял. Он смотрел на нее холодным, желтым взглядом красивых глаз. Чужой, посторонний, красивый человек.

— Я тебя слушаю,— сказал человек.

— Я... Одним словом, у меня будет...

И замолчала.

— Все ясно,— сказал Александр Иванович и усмехнулся.— Но у тебя не будет.

— Как не будет?

Она удивилась, но не очень. Шунечкино всемогущество в ее представлении было безгранично. Он мог запросто отменить, скажем, закон природы.

— Очень просто. Не будет. Мы не можем себе этого позволить. Я — солдат. Жизнь кочевая, сегодня здесь,

завтра там. А о международном положении ты забыла? В любую минуту может вспыхнуть война. Тут не до пеленок...

Про войну, возможную, Верочка знала, но как-то не очень в нее верила, как большинство людей, зная, не верит в свою неизбежную смерть.

— А как же другие? — позволила она себе вопрос.

— «Другие» мне не указ. Если «другие» глупы, это не значит, что я должен быть глуп.

Вера молчала.

— Один раз я уже позволил себе такую глупость... Довольно.

«Глупость» эта была — сын, живший с матерью где-то в неопределенности; на сына Ларичев выплачивал алименты.

— Ты как будто не согласна со мной? А ну-ка смотри сюда.

Он взял Веру за подбородок. По щеке у нее катилась слеза — одна-единственная, но такая тяжелая, что, казалось, должна была стукнуть, упав на пол.

— Экая глупышка, — сказал он, насильно приподняв ее клонящееся лицо. — Разве тебе меня мало? Тебе нужен кто-нибудь, кроме меня?

— Нет, не нужен.

И — любовь. Какая прекрасная была ночь. Незабываемая...

А назавтра в казенной машине, тряско прыгавшей по мерзлым колдобинам степной дороги, Александр Иванович отвез Верочку в районный центр. Снег несся и порхал, поминутно меняя направление полета; шофер-красноармеец с розовым усердным затылком и оттопыренными ушами молча крутил баранку, Александр Иванович тоже молчал. Лицо у него было холодное, почти злое, как будто и не он обнимал ее ночью. Верочку не покидало чувство вины; робкими пальцами она заплетала и расплетала бахрому ковра, важно брошенного на заднее сиденье. На ней была тяжелая цигейковая шуба, дорогой платок верблюжьего пуха, и вся она была такая разряженная и такая несчастная...

В больнице она пролежала несколько дней. Ее поразило отсутствие симпатии, насмешливое неуважение, окружавшее таких, как она; в палате их лежало человек десять. Все они были как будто не по-настоящему больны, зря отнима-

ли время, внимание у врачей и сестер. Даже палатная нянечка — пожилая, тяжело работящая, угрюмая,— протирая у них пол, гневно двигала с места на место табуретки и тумбочки. А зря. У каждой из женщин была своя беда, своя боль; никто не избавлялся от ребенка с радостью, каждая охотно родила бы, если бы позволили обстоятельства; мешали квартирные условия, нужда, одиночество. Сходные эти судьбы почему-то не объединяли их, а разобщали. В разговорах преобладала озабоченность, взаимная ирония.

Говорили о свекровях, мужьях и любовниках с застарелой, прокисшей горечью. Все, кроме Веры, были работающие, разных профессий: шофер, кладовщица, библиотекарша, сторож; была даже женщина — народный судья; на все рассказы о мужьях, любовниках и свекровях она отвечала однообразно: «подай в суд». На Верочку, нигде не работающую, мужнюю жену, поглядывали отчужденно, но не без некоторой зависти: шутка ли, муж — командир! «Уж вы-то могли бы себе позволить!» — сказала ей однажды старшая из больных, болезненно-некрасивая бухгалтерша, у которой было уже двое детей и ни одного мужа... Она все кашляла и выходила украдкой покурить, что было строго запрещено.

Верочка, привыкшая за свою короткую жизнь, что все ее любят и всюду она своя, тяготилась своей ото всех отчужденностью. Обидно ей было и то, что женщины друг друга звали на «ты», а ее — на «вы». Отчасти она понимала, почему: она для них была буржуйка, нэпманша в меховой шубе (кто-то видел, как Вера приехала, и успел раззвонить про шубу). Она закрывала глаза — и думала о своей любви. Но и это удавалось плохо, любовь ускользала; тогда она плакала потихоньку, спрятав голову под одеяло. Один раз ей туда просунули яблоко, что несказанно ее удивило. Она высунулась из-под одеяла, прижав яблоко к губам, как бы из-за него выглядывая. На соседней койке сидела и смеялась новая больная — она-то, видно, и просунула яблоко.

— Не унывай, матрос,— сказала соседка.

— Есть не унывать! — ответила Вера по-моряцки.— Спасибо за яблоко.

Так они познакомились. Соседку звали Маша Смолина. Небольшая, худенькая, стриженая, круто-кудрявая, похожая на мальчишку-беспризорника. Глаза светлые, волосы и брови темные, а на щеках такие глубокие ямочки, будто их нарочно проткнули пальцем. Сходство с мальчишкой усиливали усики в углах рта; с одной стороны рос такой

длинный, независимый волос, что хотелось его выщипнуть, что ли. Разговорились, рассказали, кто — кто. Маша — врач, по специальности хирург, здесь работает на амбулаторном приеме, оперировать почти не приходится, да что делать? Прислали по комсомольской путевке. Конечно, глушь, но везде люди живут. Даже, может быть, лучше здесь люди, чем в крупных городах,— прозрачнее. Все бы ничего, да вот — пострадала от собственной глупости, влюбилась («я вообще влюбчивая»), вышла замуж и — неудачно. Разошлись, а теперь вот какая история — не повезло! Была идея оставить ребенка, но не решилась из-за жилищных условий. Комнату оставила бывшему мужу, сама снимает чулан на окраине, холодно, ночью вода замерзает, пальцы во что превратились — смотри...

Маша подняла узенькую руку с припухшими, глянцевито-красными пальцами:

— Называется ознобление.

— А он про твое положение знает? — спросила Вера.

— Думаю, нет. А, впрочем, может быть, и да. Больно уж он последнее время хамил.

— А кто он по специальности?

— Он по специальности сволочь,— сказала Маша и рассмеялась.

У Верочки даже мурашки поползли. О муже — и такое сказать! Пускай бывший, а все-таки муж. Она не осуждала, просто не понимала. В общем-то Маша ей нравилась. В скором времени они даже подружились. Общая молодость их свела (моложе всех в палате), общее веселье, даже, пожалуй, окружавшее их неодобрение — обычное неодобрение взрослых, усталых, огорченных, когда они слышат молодой беспричинный смех... «Эк их разбирает!» — говорила старуха бухгалтерша,— ей было, наверно, лет сорок, и кто только на нее польстился? Народная судья тоже не одобряла пустого хихиканья, мотала головой, как бы отгоняя невидимую пчелу. В этой прокисшей палате две их соседние койки ощущались ими как веселый остров. Между ними стоял ночной столик, накрытый скатеркой. Туда, под этот столик, под защиту скатерки просовывали они головы и шептались, прыская в кулаки, когда становилось смешно.

— Опять они под столом,— вздыхали соседки,— и как не надоест, честное слово...

— Ну их к богу,— шептала Маша.— Пусть себе киснут, старые гориллы, а мы еще с тобой поживем.

Верочка охотно соглашалась еще пожить. Много еще в ней было молодости, жизнелюбия, любопытства. Тут, под

столом, они шутили, вспоминали глупые анекдоты (тем и хороши, что глупые!), рассказывали о своем прошлом — куцее оно было, маленькое, а впереди — необъятность! Маша была сирота, росла в бедности, у чужих людей — плохо ее кормили и мало, навсегда полюбила хлеб. Ничего не боялась, ничем не была никому обязана, только самой себе. Свою профессию любила до страсти. К болезням относилась как к людям. Могла сказать про какую-нибудь прободную язву: «Я люблю это заболевание». Совершенно пламенная была в ней гордость: «Я?! Ну, нет!» Верочка этого не понимала — где любовь, там гордости нет,— но вчуже уважала, побаивалась. Вообще на Машу она смотрела с доброжелательной завистью, вроде как на несбывшуюся себя. Многое ей было трудно понять.

— Ты его очень любила? — спрашивала она шепотом, придерживая рукой сползающую скатерку.

— Казалось, что очень. Теперь думаю — не очень. «Пленной мысли раздраженье»,— как сказал какой-то поэт.

— Какой поэт?

— Черт его знает. Классик.

— А он тебя любил?

— Кто? Муж или классик?

— Конечно, муж.

— Говорил, что очень. Я верила. Теперь думаю — врал.

— И не страшно тебе остаться одной?

— Мне?! Да я всю жизнь одна. Страшно не одной быть, а обремененной. Неужели я себя одну не прокормлю?

— Смелая ты, Маша.

— Какое — смелая! Типичная баба — трусиха и эгоистка. Была бы смелой, ребенка бы оставила: пускай развод, пускай условия — небось вырастет. А ты почему не оставила?

— Муж не хотел.

— По материальным условиям?

— Вроде. Он военный. Жизнь кочевая, сегодня — здесь, завтра — там. Ребенок в такой жизни ни к чему. А если война?

Верочка повторяла слова Александра Ивановича, но здесь, под столом, они звучали хило, неубедительно.

— Гм-гм,— отзывалась Маша.— А любишь его?

— Очень...

— Это-то и плохо. А я бы на твоем месте оставила. Пускай кочевая жизнь — взяла ребенка и поехала...

— Я тоже так думала. Он не хотел.

— А он у тебя не сволочь? По совместительству.

— Что ты, Маша! — ужаснулась Верочка.— Он прекрасный, замечательный человек. Если бы ты знала...

Перед нею плыли картины их любви. Как он взял ее за руку, как сказал... Как покачнулись стены... Какое у него было благородное, сверкающее, да, сверкающее лицо... Ничего этого нельзя было объяснить Маше.

— Ну-ну,— соглашалась Маша,— люби...

За несколько дней в больнице Верочка с Машей сблизились той скороспелой, но подлинной близостью, которая часто возникает у женщин в беде (а ведь они были в беде, хоть и в малой...). Обменялись адресами, Маша обещала даже приехать в гости (Верочка, сама себе не хозяйка, ничего обещать не могла). Выписывались они в один и тот же день. За Верочкой приехал в казенной машине Александр Иванович с большим букетом роз (где он их достал в такое время года?). Верочка, всегда любившая розы особой, пристрастной любовью, сияла, прижимая к груди букет, все еще чувствуя себя виноватой, но великодушно прощенной... Машу никто не встречал. Она стояла на крыльце больницы столбиком, скромненькая, неказистая, пальтишко с куцыми рукавами, словно она из него выросла, на голове шапка-ушанка, одно ухо вверх, другое вниз — ну мальчишка, и только. Стояла и нахально смеялась светлыми глазами.

— Познакомься, Маша, это мой муж, Александр Иванович.

— Догадалась,— сказала Маша, дерзко усмехнувшись уже не только глазами, но и маленьким усатым ртом.

— А это Маша Смолина, моя соседка. Если б не она...

— Очень приятно,— сказал Александр Иванович с полупоклоном, не подавая руки.— Вас подвезти?

— Благодарю, не надо.

Как-то залихватски прозвучало это «благодарю».

Попрощались. Верочка села в машину, подминая под себя полу тяжелой шубы. «Поехали»,— сказал Александр Иванович. Машина тронулась. Небольшая фигурка все еще стояла на крыльце, ухо шапки трепыхалось на ветру, будто махая на прощанье...

— Ну, как она тебе? — спросила Вера, сама удивляясь, что она на «ты» с таким важным, начальственным человеком.

— Никак. Там ничего и нет — пустая кацавейка.

— Она удивительный человек,— сказала Вера дрожа-

щим голосом,— врач и вообще... Я рада, что с ней познакомилась. Мы будем переписываться...

— На здоровье.

— И я хочу, чтобы она ко мне приехала в гости.

— А это мы посмотрим.

Профиль Александра Ивановича на фоне степного зимнего пейзажа был серьезен, строг, выточен, глаза глядели вперед, в затылок шоферу. Верочка примолкла, обнимая розы; букет колол ее, был велик...

Приехали. Вот и белье полощется на соседнем дворике... Ларичев помог жене выйти из машины — из-за шубы она была неповоротлива,— ввел ее на крыльцо, распахнул дверь и сказал с пафосом:

— Входи, моя королева.

В столовой было очень светло, стол накрыт по-праздничному: вина, закуски, даже какой-то судок с горячим ждал, накрытый салфеткой. Верочка ахнула, уронила розы. Александр Иванович подошел к ней грозно и весело, не глядя под ноги, наступая на розы, прижал ее к себе. Она обняла его за шею и повисла, тяжелая, в сильных его руках, обморочно счастливая...

13

Какая огромная все же была их любовь! Сколько она ни проживет на свете, все будет помнить: было у нее такое счастье, было! Никто не отнимет того, что было. Была любовь. Была? Нет, не была, осталась. Несмотря ни на что. На болезнь, раздражение, ссоры. Вначале-то ссор не было. Были размолвки. И каждая чему-то учила...

Первая размолвка была в первый же день совместной жизни, когда они приехали в барачный поселок, где предстояло им жить. Бараки были дощатые, грубо сколоченные, нерадиво обмазанные глиной, и стояли они в голой степи, и гулял вокруг них ветер. Один из бараков — двухкомнатный, с террасой — назывался «виллой» и предназначался Ларичевым. Предшественник Ларичева, ныне демобилизованный по состоянию здоровья, жил в этой вилле бобылем, хозяйством не обзаводился, и домик очень был неприглядн: стены голые, занозистые, ничем не обшитые, не оклеенные, всюду торчат гвозди, в углах — паутина. Из мебели — две койки, две табуретки, один стол и один гардероб. Когда входили в комнату, гардероб шатался.

В первый же день Ларичев ушел по своим делам, а Вера осталась дома. За что взяться, с чего начать? Неразобранные чемоданы паслись посреди пола. Раскрыла гардероб — оттуда запахло мышами. На полках — огрызки хлеба, ржавая высохшая селедка, грязные носки... Мышей она не боялась, но ими брезговала — дома у них мышей не водилось. Морщась, она собрала мусор, понесла во двор — авось, помойка там найдется. И в самом деле, помойка там была, и очень обширная, давно перешагнувшая за свои естественные границы, увенчанная трехногим стулом. В помойке рылся мрачного облика пестрый пес. Завидев Веру, он зарычал, поджал хвост и отошел в сторону. Она выбросила сор; пес его обнюхал, не нашел ничего, достойного внимания, и возвратился к своим занятиям. Отсюда, со двора, был виден весь поселок — не маленький, но крайне угрюмый: ни зелени, ни цветка, одни веревки с полоскавшимся бельем; на ветру кальсоны обнимались с рубахами, простирая рукава и штанины. Одно-единственное, сколько видно кругом, дерево стояло во дворе «виллы», черствое, высохшее, как стручок. Толстая женщина на соседнем крыльце бесцеремонно разглядывала Веру из-под ладони, на робкую Верину улыбку не ответила, повернула к ней широкую плоскую спину и ушла в дом. Что делать? Вера тоже ушла в дом. Поселок ей не понравился. Мысль о хозяйствовании на новом месте пугала. «Вот придет Шунечка,— решила она,— вместе обсудим». А пока что поплакала, вспомнила мать, родную хату, море... До чего же там светло, весело!

Среди дня пришел Александр Иванович. Снял гимнастерку, звучно помылся в сенях, вытирался свистя (свист означал у него хорошее настроение) и, свежий и бодрый, скрипя сапогами, вошел к ней. Она сидела в душевном угнетении на одной из коек и расширяла пальцем дырку в казенном одеяле. Шунечка поцеловал ее свежими, твердыми губами и сказал бодренько:

— А ну-ка, жена, подавай обед.

— Обед? Какой обед?

— А что, нет у тебя обеда?

— Нет... А как я могла его приготовить? Из чего? Ни продуктов, ни посуды...

Она говорила полузапальчиво-полуробко, сознавая свою правоту, но боясь мужниного гнева... Но Шунечка не сердился. Он просто и спокойно сел за стол и ее пригласил жестом:

— Сядь-ка, поговорим.

Она села, ощипывая юбку.

— Послушай, Верочка. Ты еще молода, неопытна, жила в семье на всем готовом. Я тебя не осуждаю, я хочу тебе добра и только добра...

Что-то было знакомое в его интонации. Так говорят, играя голосом, опытные актеры на амплуа «благородных отцов»...

— ...Повторяю: хочу тебе только добра. Выслушай меня внимательно и постарайся запомнить то, что я скажу. Постараешься?

— Да.

— Так вот, послушай. Мы с тобой муж и жена. У каждого из нас есть права и есть обязанности. Моя обязанность — служить, приносить домой деньги. Твоя обязанность — вести дом. И не как-нибудь вести, а с выдумкой, с инициативой. Чего-то нет? Придумай, где взять! И не обращайся ко мне с пустяками. Я, мужчина, выше этого. Ясно?

— Ясно.

— Дальше. У каждого из нас есть права. Мое право, придя домой со службы, где, поверь, я не в бирюльки играю, увидеть веселое лицо жены, без следов слез. А сегодня... признавайся: плакала?

— Да...

— Это дело твое. Но учти: следов слез на твоем лице видеть я не согласен. Плачь где хочешь и сколько хочешь, но к моему приходу ты должна быть умыта, свежа, весела. Понятно?

— Понятно.

— Приличия существуют и в семейной жизни. Терпеть не могу баб, которые одеваются только в гости, а дома ходят распустехами...

Он как-то очень уж брезгливо помрачнел. Видно, эта тема задевала в нем что-то личное...

— Шунечка, я не буду.

— Еще не все. Мое право, право мужа, придя домой, сесть за стол и пообедать. Обед в доме должен быть каждый день. Не мое дело, из чего ты этот обед сваришь. Я неприхотлив. Для меня важно, чтобы все было подано с улыбкой, весело. Чтобы на столе была чистая скатерть. Никаких клеенок! И чтобы первое и второе подавали мне не на одной тарелке, а на разных. Чтобы у моего прибора лежала сал фетка — лучше в кольце. Усвоила?

— Усвоила.

— И еще. Я хочу, чтобы в моем доме было красиво.

Чтобы каждая вазочка, каждая пепельница была поставлена с любовью, со вкусом. Нет вкуса? Развей! Я хочу, чтобы, когда я приведу гостя, моя жена приняла его радушно. Чтобы в доме было всегда чем угостить — ну там варенье, соленье, печенье,— в это я не вдаюсь. Я хочу, чтобы люди говорили: «Как хорошо у Ларичевых!» Вот чего я хочу. Это мое право. Поняла?

— Поняла,— сказала Верочка, вдруг развеселившись.— Я только одного не поняла. Ты говоришь: у каждого из нас свои обязанности и свои права. Мои обязанности ты перечислил. А где же мои права?

— У тебя одно право: быть любимой. Или тебе этого мало?

Чуть-чуть, на волосок, поднялась соболиная бровь. Верочка поспешила ответить:

— Нет, не мало.

Чтó тут началось: вихрь, смерч. Одним словом: любовь. Что было удивительно в любви Александра Ивановича — это ее внезапность. Сидит-сидит человек и вдруг — любит! Верочку каждый раз словно несло, и она, обмирая, глупела...

В тот день они так и не пообедали. Несколько раз она порывалась встать: «Дай, я тебе хоть яичницу сделаю»,— он не пускал. Тут не до яичницы, ни до чего на свете. Зато на другой день и всю жизнь было все: и обед, и скатерть, и цветы, и улыбка. И всегда, всю жизнь, люди говорили: «Как хорошо у Ларичевых!» А чем это достигалось? Любовью, конечно. Любовь вдохновляет на подвиги, это известно. Верочкины подвиги были малые, повседневные: доставать, готовить, красить, белить, штукатурить, стирать, вышивать. Под ее наблюдением солдаты построили кухню-времянку, починили забор, перестлали крышу. А обзаведение? В магазине, единственном на весь поселок, ничего нужного не было, только традиционный сельский набор: пилы, косы, топорища, сапожный вар. Но она не терялась. Как так ничего нет? Где живут люди, должны быть и вещи. Даже какой-то героизм чудился ей в добывании. В быту, где вечно чего-то не хватает, приобретение вещей теряет свой низменный, мещанский характер, превращается в своего рода охоту, благородный спорт. Верочка с азартом кинулась в это одухотворенное добывание. У нее выработалось чутье: где искать, к кому обратиться, кому улыбнуться. В общем-то, люди помогали ей охотно, отчасти из уважения к мужу, который в районном масштабе был человеком заметным, но многое тут зависело и от ее личной

прелести: светлого, молодого лица, веселой приветливости, шариком прыгающего «р». Люди улыбались, видя Верочку, радовались, ей помогая. Все: кастелян, продавщица, повар, завхоз. Помогая ей, они любили ее и себя самих — а это ведь тоже дар.

Готовить она научилась у Никодимыча, повара командирской столовой. Это был мрачный, возбудимый старик, непризнанный гений, жертва бутылки. Людей вообще он терпеть не мог, но для Верочки делал исключение. Куражился перед ней, распускал хвост, поражая обилием знаний. Рецепты в нем роились, как рифмы в душе поэта. Он научил Верочку жарить мясо «на святом духу» (самое жесткое становилось мягким и сочным); солить не сразу, шаляй-валяй, а в три приема («для начала», «для разгону» и «для радости»), и не солью сыпучей, а жидким рассольцем (бутылку с рассолом, обросшую изнутри кристаллическим мхом, он годами хранил в шкафу). Колдовал со всякими приправами — перцем, кардамоном, мускатным орехом. Учил ее, что блюдо мало состряпать — надо «поднять», а чем поднять? Это само блюдо знает. Капельку уксуса, мазок горчицы, четверть ложечки сахарной пудры... А то и вовсе уже странное: лоскут свиной кожи, вареный-переваренный, от старости весь в трещинах; и вот незаменим был этот лоскут, когда требовалось «поднять» курицу. Между прочим, курицу Никодимыч варил не как-нибудь, а «с хрусталем» — для этого служила всегда одна и та же тяжелая граненая, косо оббитая хрустальная пробка («Был и графин,— бормотал Никодимыч,— все у нас было, а что осталось?»). Эту пробку он однажды, в порыве великодушия, подарил Верочке: «Ты молодая, а мне все равно умирать». Она приняла подарок благоговейно и потом всегда, когда случалось варить курицу, клала пробку в кастрюлю... А сам Никодимыч, говорят, вскоре после их отъезда из Зауралья умер...

Приходилось, кроме того, учиться домоустройству — это уже у самой себя. Месяца через три после приезда старого барака не узнать было: он и впрямь стал похож на виллу... Что-то южное, отрадное. Комнаты светло и свежо покрашены: спальня зеленым, столовая желтым. В углу спальни — лампа-торшер на высокой ноге, абажур кринолином. Тахта из двух коек — низкая, раскидистая, с грудой подушек. Ступенчатая полочка с книгами; кое-где небрежно, как бы невзначай, кинуты веточки ползучих растений. На окне — колония кактусов, низенькие, смешные, колючие, они теснятся друг к другу, как люди на совещании.

Один из них вдруг расцвел — видно, обрадованный хорошим уходом; ярко-розовый венчик лезет прямо из мясистого, грубого тела. Какое-то милое приволье царит в комнате — здесь хочется отдыхать, читать книги, тихо переговариваться, обмениваясь ласковыми словами. В желтой столовой все бодро, весело: ярко начищенная бронзовая чаша посреди стола, в которой красиво лучится солнце, две-три фарфоровые безделушки, ваза опалового стекла, дешевая, но нарядная, в вазе — одна настурция огоньком. На террасе — уютно раскинутые полосатые шезлонги Верочкиной работы, той же материи занавески, подушка с помпонами для кота.

Гости у них бывали нечасто. Иногда Александр Иванович приводил кого-нибудь из подчиненных для делового разговора. Деловой-то деловой, но — «Верочка, распорядись!». Она уже знала, что нужно: несла на подносе графинчик, рюмки, закуски: грибки соленые, колбасу, селедку с луком... А главное, шла с улыбкой и, обласкав гостя этой улыбкой, ставила поднос и уходила. Все как учил Шунечка: тихо, скромно, весело.

Иногда приезжала комиссия из центра, ее тоже полагалось принять, угостить. Александр Иванович говорил: «Сама понимаешь». И выдавал на хозяйство лишние деньги. Тут уж Верочка разворачивалась: в ход шли лучшие секреты Никодимыча. Пирожки-волованчики, в полпальца длиной, нежные и смуглые, до того воздушные, что казались духовными, нематериальными. Или, наоборот, сугубо материальная, торжественная телячья нога, румяно зажаренная, облитая каштаново-жаркой подливой, благоухающая чесноком и тмином. Или сладкий пирог по имени «утопленник» — тесто для него подходило не на воздухе, а под водой, и, готовое, всплывало, надувшись шапкой...

На этих приемах Верочка садилась за стол с гостями, но сидела непрочно, сторожко, то и дело вскакивая — подать, принести, улыбнуться. Комиссия ела, пила, приятно беседовала и, уходя, говорила: «Как хорошо у Ларичевых! Живут же люди, несмотря на трудности быта». Выводы комиссии в отношении ларичевского хозяйства всегда были отменные, и по справедливости: Александр Иванович в своей воинской части порядок навел образцовый, поднял дисциплину, изжил нарушения, исправил дороги, бараки обсадил палисадниками, и поселок постепенно приобретал новое, благоустроенное лицо. В праздничные дни, украшенный флагами, он казался даже нарядным. Верочка вообще-то любила праздники, но здесь в эти дни скучала.

Близких друзей у них не было, да и не хотел Ларичев заводить близкой дружбы с подчиненными. Разве что иногда, раза два-три в год, ходили они в гости к начальнику штаба или сами кое-кого приглашали; гости приходили церемонные, с толстыми женами, были вежливы, пили с осторожностью, а жены и вовсе не пили, жеманились. От дружбы с этими женами Ларичев Веру остерегал: «Бабы, сплетницы, мало ли чего сплетут, а ты — жена начальника, ты должна быть всего этого выше». Впрочем, и сами-то жены Верочку недолюбливали — за молодость, светлое лицо, а главное, за то, что их мужья говорили о Ларичевой с улыбкой. В кругу командирских жен Верочка слыла гордячкой, и зря — чего-чего, а гордости в ней не было, просто всегда была занята. Дом с благоустройством отнимал много времени, забота о муже, а тут еще сад, огород... Своими руками вскопала, распушила, удобрила глинистую землю, посадила цветы, огурцы, редиску, салат. Все это надо было поливать, а колодец неблизко. Вера шла по воду в пестром своем сарафане, с голубым платочком на светлых уложенных волосах и сама была похожа на большой, не очень изысканный, но веселый цветок. Мужчины, встречая ее, улыбались искренне, а женщины — принужденно. Они уже зачислили Верочку в категорию «разлучниц» — пронюхали, что Ларичев из-за нее оставил семью, и крепко побаивались за своих мужей. А она, полная любовью своей до краев, и глядеть-то на этих мужей не хотела...

...«Бедная я, бедная, — говорила самой себе Вера Платоновна, сидя в полудремоте у гроба, — всю жизнь в разлучницах, и за что? Я ведь и не знала тогда, что он женат. И потом — целую жизнь ни на кого, ну ни на кого не поглядела... Он, он один...» От горящих свечей было жарко, мучительно жарко щекам. Хотелось лечь спать. Ну вот, опять кто-то вошел, чего-то будут от нее требовать, в чем-то обвинять. Оставят ли ее когда-нибудь в покое?.. Нет, это мать с телеграммой...

— От Юры, — сказала Анна Савишна. — Едут с Наташей.

— Пускай едут, — вздохнула Вера. — Пускай все едут. Все равно.

Юра был сын Александра Ивановича, Наташа — его жена.

14

Однажды — было это еще в зауральском поселке — Александр Иванович получил письмо (откуда — спрашивать не полагалось), два дня был озабочен, пел в нос, барабанил пальцами по столу и наконец сказал:

— Вот в чем дело, Верочка. Анна Петровна, бывшая моя жена, тяжело заболела, ее кладут в больницу. Сын Юра остается один, без присмотра. Придется нам с тобой временно взять его сюда.

— Ну, разумеется,— сказала Вера, но неуверенно както. Сын Юра был непонятен, чем-то даже страшен, как звено, связывающее Шунечку с прежней семьей, куда он — о ужас! — мог вернуться. Сын Юра... Новое, совсем уже лишнее осложнение в до краев заполненной жизни. Что с ним делать? Как обращаться? Куда, наконец, уложить? В столовой? Мысленно она уже ставила в столовой лишнюю койку. Ничего, если накрыть желтым...

— Отлично. Будем считать дело решенным. Конечно, от тебя никто не требует, чтобы ты разводила сантименты. Ребенок должен быть одет, умыт, накормлен — и только.

— Понимаю.

Юра приехал через несколько дней. Это был большеглазый мальчик лет шести-семи. Удлиненное лицо, русые волосы, мягко спадающие на высокий беленький лоб. Что-то в этом лице — может быть, горчичная прелесть взгляда — напоминало отца, но больше было другого, чуждого. Вера смотрела на мальчика со смешанным чувством тяготения и отталкивания. Юра был робок, за столом невоспитан, ел руками, мыться приучен не был... Вера пыталась его разговорить — он усмехался не по-детски криво, отвечал односложно: да, нет. Кота, впрочем, погладил и ему улыбнулся по-хорошему, показав молочно-белые, крупные для маленького рта, отцовские зубы. Кота звали Кузьма.

— Почему Кузьма? — спросил Юра сипловатым голосом.— Разве Кузьма — кошиное имя?

— Конечно, кошиное. Ты только послушай: Кузьма, Кузя, Кузёма...

Кот лениво повернулся, услыхав свое имя, поглядел презрительно янтарными глазами и уснул. Кот был необыкновенно ленив и ухитрялся спать в любом положении: возьмут его за задние ноги, он висит и спит...

— Ты посмотри, какой он ленивый,— сказала Вера,— прямо рекордсмен по лени. Упри его носом в стенку — не отстранится, будет спать.

И в самом деле, кот спал, уткнутый носом в стенку, в самой неподходящей позе. Юра засмеялся:

— Рекордсмен по лени! Я раньше думал, что это я.

Лед между Юрой и Верочкой слегка треснул. Окончательно он распался вечером, когда она, укладывая мальчика спать, заметила, какие у него грязные маленькие ноги... Она согрела воды, вымыла Юру в корыте. Он сопротивлялся, стесняясь худенькой своей наготы, по-мужицки закрываясь двумя руками. Вера прикрикнула:

— Чтобы у меня этих глупостей не было! Что я, голых мальчиков не видела?

Юра оробел, опустил руки по швам и покорно дал себя выскоблить. Лег он в постель чистый, тихий, розовый, весь утонув в Шунечкиной огромной рубашке с трижды закатанными рукавами. Вера поцеловала его в лоб, ощутила миндальный запах мыла и влажных волос и легонький укол в сердце, уже готовое любить этого мальчика, чужого сына. Вспомнился ей свой — нерожденный, неполюбленный... Может быть, этот послан ей взамен — мало ли какие штуки выкидывает судьба?

Юра трудно приживался в отцовском доме, но все же приживался — отходил, оттаивал. Мальчик был сложный, вниманием не избалован, подолгу, видно, недоедал, чем-то был напуган. Было у него что-то в прошлом неладное — какие-то товарищи, мучившие его и, может быть, вовлекшие во что-то грязное... Он кричал по ночам, кого-то гнал, плакал, ругался плохими словами, и глаза у него, если зажечь свет, были загнанные, как у львенка в зоопарке. Страдал непонятными страхами: боялся солнца, боялся форменной фуражки, не мог привыкнуть видеть ее на отце. Время от времени на него находили странные приступы: он как бы окаменевал, тупо уставившись в одну точку; из этого состояния его нельзя было вывести, и оно особенно пугало Веру (тяжелая болезнь матери была душевная). А иногда он вдруг становился обычным мальчиком своих лет — бегал, смеялся, играл с котом. Кот Кузьма был нескончаемым источником удовольствий: его титаническая лень, вычурные позы, в которых он засыпал при любых обстоятельствах (например, на весах, когда его взвешивали), его философское равнодушие к суете земной, скажем, к бумажному бантику... Все это восхищало и забавляло Юру, словно бы он отгораживался котом от своего прошлого, весь был тут и светился... И вдруг, в разгаре игры, внезапным ударом — молчание, тупость, пустой и враждебный взгляд...

Развитие у Юры было тоже странное, неровное. Запас представлений довольно богатый. Знал множество слов, зачастую замысловатых, книжных. И наряду с этим — глухое невежество. Не мог сложить два и три. Не знал, в какой стране живет, как его фамилия. Прекрасная память: мог запомнить с одного раза не только стихотворение — длинный рассказ. А ни одной буквы не знал. Вера учила его читать; хитрый мальчишка притворялся, что читает, а на самом деле просто шпарил наизусть то, что однажды слышал... Вера билась с ним, мучилась, но все ее старания шли без отклика, как будто в вату... Иной раз она не спала по ночам, придумывая: как бы ей подобраться к Юре?

А Александр Иванович сыном не особенно интересовался. Днем приходил домой только обедать, и к его трапезе мальчик не допускался: то был священный ритуал домашнего уюта, красиво накрытого стола; и жена должна была быть преданной, внимательной, улыбающейся. Вечером, когда отец возвращался, Юра обычно уже спал или из осторожности делал вид, что спит. В выходные дни Александр Иванович читал, играл сам с собою в шахматы, а Юра старался не попадаться ему на глаза. Изредка встречая сына, Ларичев спрашивал: «Как дела?» И, получив ответ «хорошо», вполне этим удовлетворялся. Однажды вечером, придя домой раньше обычного, Ларичев застал Верочку за сентиментальным занятием: она укладывала Юру спать и целовала его на ночь. Александр Иванович скривился, как от кислого, поднял бровь и сказал: «Ну, это уже лишнее». С тех пор Вера таила от него свою незаконную любовь, как преступление. Больше всего она боялась, что Анна Петровна выздоровеет и заберет сына.

Веселая, дружелюбная Верочкина любовь делала исподволь свое дело. Юра менялся к лучшему. Он поздоровел, вырос, стал смешлив, даже проказлив, что несказанно ее радовало. Наконец-то выучил буквы и начал читать по-настоящему. Обнаружил способности к рисованию. Вера купила ему карандаши, краски, альбом и с материнской гордостью показывала его рисунки всем, кто соглашался смотреть (Шунечке, разумеется, и не предлагала). В альбоме больше всего было портретов Кузьмы, который вдохновлял Юру, как Саския — Рембрандта. В общем, дело шло на лад: Юра, выросший, похорошевший, с милой улыбкой на открытом лице, стал ей радостью, гордостью, помощником в доме, в саду. Смеясь, они пели вдвоем старый-престарый романс про белую чайку (особенно дорог был ей этот ро-

манс), и она рассказывала Юре про море (он никогда не видел моря), про чаек (он их видел на Чусовой) и про свою встречу с Александром Ивановичем («В это время из-за камня выходит человек, и это был твой папа»...).

Юра уже прожил у нее больше года — скоро ему должно было исполниться восемь лет. Пора в школу... Вера загодя закупила тетрадки в косую линейку, пенал, ручку, резинку с зайцем... Наступит осень, и ее сын (он был ее сыном, был!) пойдет в школу, принесет пятерку... Что там — пятерку! Пусть двойку!

Но вот однажды вечером Александр Иванович пришел мрачноватый — брови вместе — и сказал:

— Собирай Юрку. На днях повезу его в интернат.

Ее словно ударило...

— Как? Зачем? Какой интернат?

— Для сирот военнослужащих, в нашей же области. Хлопотал, приняли. Мальчишка все равно что сирота. Мать неизвестно когда выйдет, и выйдет ли. Пора его пристроить к делу. Все эти рисуночки, Кузьма, бабьи фокусы — побоку. Должен расти мужчиной. Условия в интернате прекрасные — дисциплина, обучение — все.

— Он бы мог ходить в школу здесь, в поселке...

— Хороша школа! Учителя сами не знают, чему учат.

— Я бы ему помогала...

— Воображаю. А еще мог бы ему помогать Кузьма.

— Я...

— Верочка, вопрос решен. Ясно?

— Ясно...

— В общем, собирай мальчишку. Одежду вычисти, белье постирай, носки перештопай. Через неделю я сам отвезу его.

...Поезд ушел. За пыльным окном пропало бледное Юрино лицо. Так и не успела толком попрощаться: мальчик, как всегда, дичился в присутствии отца. Отвернулся. Запомнилась пушистая щека, нежное ухо, тонкая шея в белом воротничке, но не взгляд, взгляда не было. Увезли сына. В голове все еще стучали колеса, увозившие сына. Она села в казенную машину и поехала домой степью, голой как стол. Дома было пусто, узенькую койку из столовой надо было убрать. Вера стала на колени перед этой коечкой, опустила голову на детскую подушку, пахнувшую

миндальным мылом, и на несколько минут замерла. Потом встала и принялась за работу.

Шунечка вернулся через неделю.

15

— Вера, это ты?

Кто-то заглядывал в окно со двора. Невысокая стройная женщина в беретике, в детских туфлях... Неужто Маша?

— Машенька! — завопила Вера немузыкальным голосом и кинулась к двери. И точно — Маша! Чудо чудное, диво дивное!

— Сама приглашала, а сама не ждешь,— смеясь, говорила Маша.— Ну, как, принимаешь гостью?

— Еще спрашиваешь!

Объятия, поцелуи. Поцелуи, объятия. Конца им нет. У Веры — слезы, у Маши — нет, но тоже, видно, обрадована.

— Красиво у тебя.

— Нравится?

— Очень нравится. Только, должно быть, массу времени это сто́ит. Времени и сил. Души.

«Любви,— подумала Вера,— про любовь не забудь».

— Машенька, раздевайся, устраивайся. Где твои вещи?

Вещей был крохотный чемодан, не чемодан даже — баульчик. Старенький, потертый, с испорченным замком, веревкой перевязанный, чтоб не открывался. Вера опять прослезилась, глядя на ту веревочку,— как похоже на Машу!

— Спать будешь здесь, в столовой. Нравится тебе?

— Слишком нравится. Лучше все это не было бы так роскошно. Я к роскоши не привыкла.

— Бог с тобой, какая роскошь? Обыкновенный уют.

— Обыкновенный уют и есть самая большая роскошь.

...Бог ты мой, все та же Маша, и волос из уса торчит.

— Ну, садись же, рассказывай. Как живешь?

— Нормально. Работаю как оглашенная. В этом году оперировала грыжу, делала две резекции желудка... Без осложнений.

— С мужем не помирились?

— Что ты! Я еще с ума не сошла.

— За другого не собираешься?

— Пока нет.

— Только пока?

— Думаю, что вообще. Сошлась с женатым.

— Да что ты?! — ахнула Вера.
— Вот, так получилось.
— Любишь его?
— Ужасно.
— Больше всего на свете?
— Угу.
— И как же ты... Не стыдно тебе, что женатый?
— Не стыдно.

...Ну и Маша. Только подумать: сошлась с женатым — и ничего. Даже как будто гордится. Это еще надо усвоить...

— Что же это мы с тобой: болтаем-болтаем, а тебе надо умыться с дороги, переодеться, покушать...

— Переодеваться мне не во что, умоюсь охотно, поем — тоже.

Какой-то у Маши стал телеграфный стиль. Вера отвела ее в свою «ванную» — угол за перегородкой, где стояли тазы, ведра, кадки с водой, фикус, где полно было пышных розовых полотенец, где даже висело зеркало. «Стародворянская обстановка»,— сказала Маша.

— Это еще что! Скоро мы настоящую ванну поставим, воду проведем, канализацию. Здесь у нас будет душ, а здесь — смотри — уборная. Верно, уютно?

— Как в Гранд-отеле.

Лицо Верочки сияло гордостью за свой дом, свои труды, будущий водопровод, канализацию... Когда Маша умылась, она накормила ее обедом, сокрушаясь, что не знала заранее, а то бы...

— Еда была прекрасна,— сказала Маша.— Нет, еда была прелестна.

— Ну, какая это еда? Вот завтра я тебя накормлю настоящим обедом. Ты не знаешь, что такое настоящий обед?

— Знаю. Тот, которым ты меня накормила. Сверх этого будет уже безнравственно.

После обеда Верочка с Машей сняли туфли, завалились на супружескую тахту, по уши в подушках, и начали болтать. Главным образом про любовь — вечная женская тема, никогда не иссякающая. Маша рассказала, как встретилась с «женатым», как у них все получилось, как впервые поцеловались, что сказал он и что она ответила...

— А как жена? — спрашивала Верочка.
— Обыкновенно. Жена как жена. Существует.
— И он... не хочет на тебе жениться?

— Хочет, да не может. Там не только жена, там дети.

— Дети... я и не знала.

— В том-то и горе. Будущего у нас нет. Мы о нем и не заговариваем. Любим друг друга — и все.

— Смелая ты.

— Да уж куда смелее. Совсем с ума сошла. Знаешь, что я затеяла? Родить ребенка.

Вера обомлела:

— Да что ты?! Врешь!

— Провалиться мне на этом месте.

— И... давно?

— Четвертый месяц. Отступать поздно. Решение глупое, но принято сознательно.

Вера молчала.

— Ну, что молчишь? Мое дело пропащее. Ты про себя расскажи.

Вера рассказала про себя: как жила, какие были трудности быта, как Юру воспитывала, как его полюбила, как пришлось его отдать...

— Фью,— присвистнула Маша совсем уже по-мальчишески,— ну и с лешим же ты себя связала.

— С каким лешим? — не поняла Вера.

— Да с твоим Шунчиком. Настоящий леший, и брови такие же.

Вера обиделась:

— Брови у него прекрасные. Соболиные.

— Пускай соболиные, и все-таки он леший.

— Нет, не леший.

— Нет, леший.

— Не говори так. Я же его люблю. Ты сама любишь, должна понять.

— Знаешь что? — сказала Маша Смолина.— Я сейчас поеду.

— Куда? — не поняла Вера.

— Обратно. К себе домой.

— Ты с ума сошла!

— Ничуть. Я приехала с тобой повидаться, а не с Шунчиком. Мне он противен. Видеть его не хочу.

Маша вскочила с тахты, надела ребячьи туфельки на маленькие ноги, взяла баульчик, плащ, помахала рукой.

— Ну, прощай, милая, не огорчайся, еще увидимся. Спасибо за прекрасную еду. Нет, прелестную еду.

— Неужели ты это серьезно?

— Вполне серьезно. Целуй и прощай.

Поцеловались. Вышли во двор.

— Дай хоть провожу тебя.

— Не провожай. Я на попутном.

Вера, растерянная, глядела Маше вслед, что-то в ней рвалось, тянулось за уходящей; так, говорят, домашние гуси хлопают крыльями, видя, как летят дикие,— хлопают, гогочут, тянут шеи... Вот и в Вере все хлопало и гоготало... Ловкая, небольшая фигурка шла по дороге к станции. Ее обогнал грузовик, она помахала плащом, просясь на борт, грузовик остановился, Маша птицей вспорхнула на колесо, оттуда — в кузов, а дальше все застлало поднявшейся пылью. Уехала...

Вера вернулась в дом, прибрала тахту, взбила подушки. Словно и не было здесь никаких диких гусей... Села шить — Шунечке рубашку. Швейную машину недавно приобрели. Солнце село, в комнате стало темнеть, а она все шила да шила. Швы, как учила ее мать, проходила зубами — ровнее ложились.

Вот и шаги на крыльце. Пришел Александр Иванович, окликнул ее:

— Верочка? Здесь ли ты, моя дорогая?

— Я здесь,— сказала Вера и вышла ему навстречу.

16

Часы тикают, а время идет... Вот уже десять лет, как они женаты. Вера пополнела, раздалась в плечах и бедрах, но все так же светла лицом, незабудками глаз, все так же мило, картавым хвостиком, заканчивает свое «р». Александр Иванович, Шунечка, постарел немного, голова, сжатая с боков, кажется выше, строже, виски поседели, разлохматились соболиные брови. Детей у них нет, так с того разу и не было. Вера теперь и не жалеет, что нет ребенка,— при такой жизни, в разъездах да хлопотах, был бы он ни к чему. А судьба тем временем все гоняет их из края в край, из степи в город, из города в тундру, из тундры на сопки, на острова, и везде надо устраиваться, обрастать бытом, жить. Вера всему выучилась, за неделю ухитрялась прижиться, обставиться, обзавестись. Научилась укладываться в дорогу, отбирать самое нужное, без сожаления расставаться с лишним, на новом месте одной салфеточкой на столе, одной веткой в вазе создать дом. Везде, куда ни забросит судьба, Александр Иванович Ларичев на хорошем счету — командир строгий, толковый, разумно требовательный. Дел

у него выше головы, а время сложное, повсюду шпионы, вредители — долго ли попасть в беду? Но судьба пока что милует Ларичева, как-то обходит он опасные точки, хотя и с риском для головы... Иной раз придет домой и молчит, слова не скажет. Вера его ни о чем не расспрашивает, старается без слов, одним своим веселым, не навязчивым присутствием отвлечь его, развлечь... Не всегда, ох не всегда это ей удается. Спят они теперь на разных кроватях, если квартирные условия позволяют. Один только раз намекнул Александр Иванович, что не выспался,— Вера сразу поняла намек, оборудовала себе ложе в соседней комнате, не обижалась, не дулась. Человек немолодой, может быть, ему не до этого. А хотелось любви — ничего не скажешь... Иной раз Шунечка по две недели, по месяцу к ней не приходил. Зато уж когда приходил, все было по-прежнему. Каждый раз — как первый.

В сущности, Вере, как и многим женщинам, не так уж нужна была любовь в узком, буквальном смысле. Нужны ей были аксессуары любви: слова, цветы, комплименты, клятвы. Не скрытое, подразумеваемое, а открытое, словами выраженное обожание. В свое время именно словами Шунечка ее покорил. На слова он не скупился и теперь, но только в минуты близости. А как это бывало редко... Верочка без слов высыхала, как цветок без воды. К счастью, она была умна и понимала: ни один мужчина не может много лет подряд говорить, говорить слова одной и той же женщине. Скажи спасибо, что хоть изредка он их тебе говорит...

А времени свободного бывало довольно много — за эти годы Вера научилась все делать толково, складно, дела́ у нее были упакованы плотно, как вещи в чемодане. В свободное время она много читала, перечла всю классику (совсем по-новому, не по-школьному, а для души). За современной литературой тоже следила, выписывала два журнала, читала охотней всего про любовь, но и публицистику тоже проглядывала. Очень падка была на юмор: иной раз, сидя за книжкой, принималась смеяться, как заведенная. И у самой был дар подмечать и описывать смешное; он проявлялся главным образом в письмах, которых она писала великое множество. Пересыпанные запятыми, живые, веселые. В них она описывала свой сад, где каждый подснежник расцветал по-своему, новую чудную блузку, неожиданную встречу на улице, своих соседей с женами (серия портретов), происшествия в гарнизоне... «Черт возьми, Верка, да у тебя же талант! — писала ей Маша.—

Твои письма непременно надо печатать!» Читая, Вера только посмеивалась смущенно. Смех смехом, а она и в самом деле чувствовала в себе что-то вроде горячей точки, разгоравшейся, когда она бралась за перо. Однажды она до того расхрабрилась, что отнесла небольшую заметку, на тему о бытовых неустройствах, в редакцию местной газеты. Заметка получилась и в самом деле смешная, Вере самой нравилась. В редакции ее прочли, посмеялись, одобрили, но не напечатали: «Мало пафоса, мелкотемье». Вера больше литературных попыток не возобновляла и только боялась, как бы не узнал обо всем случившемся Шунечка. И все-таки что-то сосало внутри. Временами ей становилось неопределенно-тоскливо: вот десять лет прошло, и еще десять пройдет, и что? Все то же: уют, пирожки, торшеры, а любви все меньше, кончается любовь. Тянуло ее к какому-то не домашнему, внешнему делу, где гуляют сквозняки жизни. Однажды — жили они тогда в областном городе — смертно захотелось ей пойти работать. И место уже подыскала: секретарем редакции. Но Шунечка не позволил:

— Глупости затеяла. Твое дело — дом, семья. Навидался я этих работающих жен. Она — развлекается, а он заброшен, сам себе трусы стирает. Нет уж, моя дорогая, у нас с тобой так не будет.

— Шунечка, честное слово: я со всем справлюсь, и с работой, и с домом! Я же сильная! Ну, попробуй!

— Сказал: нет.

Так он все чаще начал ее обрывать: «Сказал: нет»,— и разговор кончен. А тут скоро их из областного города перевели опять в захолустье, а там работать — и хотела бы, а негде.

Вера тайком купила гитару и кой-как, по самоучителю, выучилась играть. При Шунечке стеснялась: однажды сказал он, что нет у нее слуха. Только и похвалил он ее один раз, самый первый, когда пела про чайку...

Да, давно это было. Идут годы, идут...

И вот — война.

Она застала их в Белоруссии, в одном из малых городов близ границы. Утром проревели над городом немецкие самолеты, сбросили бомбы, закричала дико, грозя кулаками небу, мать убитого ребенка, и вся жизнь перевернулась: война.

Александр Иванович зашел домой на минуту — подтя-

нутый, строгий, скрипя сапогами, ремнями, всей выправкой скрипя.

— Верочка, я ухожу. Тебе надо уезжать. Пробирайся всеми средствами к маме. Буду писать на ее адрес. До вокзала подбросит тебя машина, обратись к начальнику станции, он предупрежден. Вещей не бери, все равно не сохранишь, только самое необходимое. Ну, будь здорова, родная.

— Шунечка, не оставляй меня, возьми с собой. Я не помешаю, возьми меня, только возьми!

— Сказал — и все. Ну, ни пуха тебе, ни пера.

Поцеловал в губы, снял ее руки со своей шеи и вышагнул бодрыми шагами навстречу войне, жизни, своей судьбе.

...Видавшая виды «эмка» подбросила Веру к поезду — длинному эшелону, полному женщин, детей, стариков и старух; все это толпилось, волновалось, плакало... Начальник станции переспросил: «Ларичева?» — и сам посадил ее в вагон. Впрочем, не «посадил», «поставил» — в вагоне можно было только стоять; ноги, ноги, ноги свисали с верхних полок. Чемодан с вещами тоже поместился и встал рядом с нею, что было странно: жизнь потеряла реальность, чемоданы были в ней ни к чему, и призрачным был весь эшелон с этими сверху свисающими, как бы разваренными ногами, и странной была сверкающая белая улыбка на черном от копоти лице начальника станции... Как будто он смеялся какой-то своей, отдельной, сумасшедшей радости... На самом деле он просто смертельно устал и, занося ногу для очередного шага, не знал, как ее опустить на землю...

А дальше — дорога, долгая, мучительная, часто опасная. Плакали грудные дети, хором откликаясь на взрывы падающих бомб. Эшелон останавливали, пассажиры выбегали и ложились вниз лицом в богатые травы, пахнувшие росой. Вставали живые, лежать оставались убитые, раненых втаскивали в эшелон. Белье из Вериного чемодана разорвали на бинты, а там потерялся и сам чемодан. На одной станции пришел начальник поезда, объявил пассажирам, что путь впереди разрушен, дальше эшелон не пойдет, и предложил каждому добираться, куда ему нужно, своими силами. Хромая черная старуха с двумя детьми закричала исступленно: «Никуда я не пойду, паразит чертов, корми меня с ними, с обоими». Он вежливо сказал ей: «Пройдемте, гражданка», — взял на руки младшего из ребят, другого — за ручку и увел обоих из вагона; старуха

с проклятиями поспешала следом. Пассажиры, толпясь и толкаясь, осаждали машины; Вера очутилась в каком-то грузовике, куда ее, крякнув от натуги, подсадил рослый железнодорожник. В руках у нее была чудом уцелевшая сумочка с документами и деньгами, которые, впрочем, в этой обстановке были ценностью сомнительной... Машина направлялась на юго-восток, а где-то в том же направлении, по Вериным расчетам, должен был находиться и пока благоденствовать приморский город, ее родина, с летящими по ветру красными фестонами полотняных маркиз. Оказалось, машина идет не туда вовсе — и снова был поезд, и ссаживания, и борьба, и упрашивания, и даже женские улыбки на запыленных, измученных лицах.

Вера тоже улыбалась женской улыбкой, и ее иной раз пускали... Деньги потеряли всякую цену — за буханку хлеба она отдала кольцо... И все же, все же она доехала, она стоит, пыльная и оборванная, в родной хатке, обнимая мать, которая постарела, извелась, но еще узнаваема, еще темноглаза, еще бодра. Мать теперь одна: Женя еще в прошлом году вышла замуж и уехала в Ригу, а теперь нет вестей. Ужик воюет... Только они с матерью остались вдвоем, обнялись и плачут...

— Писем не было? — спрашивает Вера.

— Только телеграммы.

— От кого, от кого телеграммы? — мучится она, не умеет спросить. Только зачем здесь гроб?

Вера медленно приходит в себя. Мать уводит ее и укладывает в постель. Засыпает она мгновенно и спит до утра без снов.

17

Никогда еще Анна Савишна не была так близка со старшей дочерью, как в то военное время. Прежде она больше любила Женю. Теперь Вера стала ей опорой, радостью.

Есть люди, как планеты, светящие отраженным светом. И есть люди, как звезды — у них собственный свет. Такие люди редки, а Вера как раз и была человек-звезда.

Никогда не унывала — это само собой. Больше: из любых обстоятельств умела сделать шутку, спектакль. Жить было не на что, питались чем попало. Какие-то обсевки мучные сохранились на дне мешка, их смешивали с лебедой и пекли лепешки. За зеленоватый оттенок Вера

их называла: «Мои изумруды». А когда в огороде поспела свекла и стало из чего варить борщ, «изумруды» сменились «рубинами»... А там Вера поступила кастеляншей в военный госпиталь, стала приносить зарплату, а главное, паек, и это было уже процветание.

— Мы процветаем с тобой, мамочка, правда?

— Правда, дочка, правда,— улыбалась Анна Савишна, умиленно узнавая в дочери отца, Платона Бутова. Только тот был не деловой, а Верочка — деловая.

В госпитале ей работалось хорошо, хоть и угнетала материальная ответственность. Белья много, за всем не углядишь. Когда пропадали вещи, Вера огорчалась, но ненадолго; бывает такой летний день: не в силах нахмуриться.

От Шунечки писем не было, это ее тревожило, но неунывание опять-таки побеждало: верила, что жив, вернется.

В госпитале заводились у нее поклонники; сам главный был крепко неравнодушен. Идет Вера на работу, а он — петушком, петушком:

— Доброе утро, Вера Платоновна. Какая у вас улыбка прелестная. Сами вы, как доброе утро.

Верочка улыбается всеми белыми своими зубами, голубыми глазами, светлыми кудряшками-перманентом (остриглась, сделала завивку, при Шунечке не посмела бы...). И каждый человек, на которого эта улыбка падает, становится сразу добрей, веселей. Так ее и зовут на работе: «Верочка — доброе утро».

И вдруг — неожиданная встреча, прямо подарок судьбы. Пришла в хирургию со стопкой белья, а там — новая врачиха, небольшая, светлоглазая, кудрявая, не первой молодости, но с ямочками на щеках. Вера вгляделась и ахнула:

— Маша!

— Верка! — заорала Маша.— Черт тебя возьми, ну и огромная ты стала! Глазам не верю. Подымите мне веки...

И ну — обниматься. И целоваться вовсю, благо у обеих губы не крашены.

Кое-как, среди объятий и ликования, расспросили друг друга: кто и как живет? Маша — военврач, сюда попала случайно, по назначению. Живет одна с сыном. Замуж не вышла. Сыну уже девять, большой парень.

— А где же тот... женатый?

— Пропал в мути жизни. А ты все еще со своим Шунчиком?

— Он воюет,— серьезно ответила Вера.— Писем нет.

— А,— неопределенно, но уважительно сказала Маша.

— Живешь-то где?

— Угол снимаю. Пустили нас с Вовкой. Спим на одной койке, велик, брыкается. А так — ничего. Главное, работы много.

— Ну, вот что я тебе скажу,— заявила Вера.— Брось этот свой угол. Будешь жить у меня. Сегодня же переезжай. Слышишь?

— Слышу, безумная, дай опомниться.

Снова смех и объятия.

Вечером зашли на квартиру к Маше, где она снимала угол. В комнате — три койки и раскладушка. На раскладушке сидел старый дед, перебирая крупу, а на угловой койке — тоненький мальчик, похожий на Машу, только сейчас уже выше ее, что стало видно, когда он встал и вытянулся. На голове богатой шапкой — светлые кудри. Спинка — прямая, статная, гордая, на матовых щеках — множество родинок. Глаза зеленые, полные озорного, критического веселья. Красивый мальчик...

— Мама, есть подкрепление? — спросил он.

— Есть, есть.

Маша вынула из противогаза ломоть хлеба и дала его мальчику. Он так и впился в него зубами, до самого носа ушел в кусок. Вера и Маша с уважением смотрели, как он ест. Не пустое дело...

Когда ломоть был съеден до последней крошки, подобранной с одеяла, мальчик обратил внимание на гостью и поглядел на нее с вежливым любопытством.

— Вова,— сказала она,— собирайся, поедешь с мамой жить ко мне.

Мальчик глядел на нее во все глаза. Они были не совсем зеленые, скорей серые, зелеными казались от иронии.

— Ну, как ты на это смотришь? — спросила Маша.

— Положительно,— ответил мальчик.

Часа через два они со всем скарбом (а его у Маши набралось-таки достаточно, несмотря на ее нелюбовь к вещам) вошли в хату над обрывом.

— Мама,— сказала Вера,— это Маша Смолина, моя самая большая подруга, а это ее сынок Вова. Они будут у нас жить.

Надо отдать справедливость Анне Савишне: она не удивилась, ничего не спросила. Сказала только:

— Доброму гостю хозяин рад.

18

А жили! Как они прекрасно и радостно жили, несмотря на трудности, на войну. Кое-как разместились. Вовке сначала вместо кровати поставили расписной сундук с жар-птицами и богатырями («Какое-то королевское ложе»,— сказал он не без удовольствия), накрыв его сверху периной. Но мальчик, деятельный и ночью, имел обыкновение видеть воинственные сны, сползал вместе с периной на пол. Поэтому решили, что будет спать на полу сразу, без пересадки. А Вера с Машей спали в одной кровати, валетом; Маша-то была невелика, много места не занимала, Верочкины же большие, веселые ноги доставали до самого изголовья; по утрам, просыпаясь, Маша их приветствовала: «Здравствуйте, ножки! Как спалось?» По поводу этих ножек, размер сороковой, было у них много смеху: рассказывали сказку про «Золушку наоборот», потерявшую хрустальный башмачок, который был велик всем девушкам в королевстве. Утром Маша с Верой уходили в госпиталь, а Вовка — в школу. В военное время ученьем не переобременяли. Вернувшись, Вовка хозяйничал вместе с Анной Савишной, щепал лучину для самовара и между делом иронически ее просвещал. Впрочем, любил ее от души, называл «бабуля». Анна Савишна тоже его полюбила: чем-то он напоминал ей Ужика — верткой худобой, шутейными танцами (исполнял не без грации «танец обезьяны», прихлопывая себя ладонью сверху по кудрявой макушке). Конечно, сходство было неполное: Ужик был черен, Вовка — белокур, но это Анне Савишне не мешало ощущать его продолжением Ужика... Одно было горе — Вовка все время хотел есть, и накормить его досыта было вообще невозможно. Верочка с Машей приносили из госпиталя все, что могли: хлеб, кашу, суп,— он все съедал и все равно был голодный!

— Послушай,— сверкала на него глазами Маша,— это уже распущенность! Ел? Ел! Больше других? Больше других! Почему другие не голодные, а ты голодный?

— Особенность организма,— с деланной скромностью отвечал Вовка.— Человек не отвечает за свой организм.

— Я тебе покажу организм! — сердилась Маша.— Я вот тебе надаю по организму!

— Ребенок растет,— вступалась Анна Савишна,— ему вдвое больше против взрослого надо.

— Браво, бабуля! — кричал Вовка и кидался ее целовать. Она отбивалась.

— От поцелуя уста не завянут! — кричал он из какой-то оперы...

Словом, жили голодно, но весело. Когда перепадала какая-нибудь шальная выдача, устраивали «пир Соломона» — жарили коржики на конопляном масле, чуя запах жареного, поводили носами. За столом Вера подкидывала Вовке коржик за коржиком, а он все не насыщался. Иногда она даже сердилась:

— Ирод ты, наказание мое! Будешь ты когда-нибудь сыт?

— Никогда! — отвечал Вовка.

...Маша с Верой жили как самые близкие родные, как сестры, и все у них было общее: и постель, и зарплата, и пайки, и сын, и бабушка... И общая работа в госпитале, порой тяжелая, но и отрадная. Маша, всегда жадная до операций, в мирное время хватавшаяся за каждую возможность резать, теперь, кажется, была сыта по горло. Однажды ночью, на дежурстве, ее разбудили, позвали оперировать. «Спасибо, я больше не хочу»,— сказала она спросонок. Смеху было...

Все было бы ничего, если бы не положение на фронтах. Фронт надвигался неотвратимо, наши оставляли за городом город, и скоро могла прийти очередь большого приморского города с хатой над обрывом, с чайками и ласточками, со свеклой в огороде, с призраком благополучия... Сначала ползли слухи, их опровергали как провокационные, а потом внезапно, без предупреждения, в госпитале объявили эвакуацию...

Тяжелым был этот день. Ехать — не ехать, вопроса не было: Маша — военнослужащая, при своей части, а Вера, естественно, с ней. Разумелось без слов, что поедет и Анна Савишна. Но она неожиданно отказалась:

— Нет, девушки, не поеду. Здесь жила с мужем, с Платоном Васильевичем, здесь его схоронила, здесь и помру...

— Мама, зачем тебе умирать? Ты у нас еще молодая...

— А не помру, еще лучше. Я, может, по своей молодости замуж собралась...

Так и не поехала. Вера догадывалась, в чем дело:

в представлении Анны Савишны, пока кто-то тут еще оставался, был дом, было место, куда могли прийти письма от Жени, от Ужика, от Александра Ивановича... Было место, куда все они могли, при случае, вернуться...

19

Госпиталь эвакуировался на Урал. Сердце рвалось, когда прощались с матерью,— и у нее, и у них. Сколько в жизни прощаний, и все — на вокзалах, и каждый раз, рыдая, кричит паровоз, и кажется: кончено; но нет — не кончено. Вступают новые заботы, жизнь колесом начинает вертеться, и ты в том колесе, как белка, скачешь-скачешь, бежишь-бежишь... А там, смотришь, и жизнь прошла. Постой, погляди, обернись: ты ведь не жил! Куда там...

Поезд вез раненых, белья не хватало, прачек не было, состав грохотал, паровоз дышал сажей, черные крупицы летели в окна, пачкая, опять же, белье... Стирать — а где? Корыт нет, воды не хватает... Измучилась Вера за дорогу.

Приехали к новому месту работы. Маша с Верочкой опять поселились вместе. Дали им небольшую комнатку, бывшую кладовую, при госпитале: тут работаем, тут и живем. Жили ничего, боролись с трудностями, Вовка подрастал, уже подрабатывал, монтерил. Он вообще любил ручную работу, стряпал, как заправская кухарка — было бы из чего. В общем, жили — не унывали.

— Слушай, Вера,— сказала однажды Маша.— Знаешь, я опять забеременела.

— Боже мой! Этого еще не хватало! От кого же?

— Это неважно. В общем, человек. Не принц Уэльский.

— Ну, допустим, не принц. Меня интересует... Ну, насколько серьезны у вас отношения.

— А нинасколько. Отношений как таковых у нас нет.

— А как же тогда...

— А вот так. Темперамент, и все. Ты счастливая, у тебя нет темперамента.

— У меня есть,— сказала Вера и, как в юности, залилась краской через шею к плечам.— Ты забыла, я люблю своего мужа.

— Верно, забыла! Но, знаешь, тот темперамент, о котором можно забыть, вовсе и не темперамент...

Тут вошел Вовка, разговор пришлось прервать. Ночью, когда мальчик уже заснул, Вера и Маша шептались (на этот раз они легли не валетом, а голова к голове):

— Так как же ты будешь?

— Так и буду. Как все.

— Может быть, еще не поздно?

— Поздно. Подвело военное время. Нет и нет, ни у кого нет. А спохватилась — поздно. Не везет чижику.

— Бедный чижик.

— Ничего, я еще почирикаю.

Чирикала-то Маша чирикала, а время шло. У нее стала меняться фигура, юбки не сходились в поясе. Вера давала ей свои, подвернув подол на целую ладонь. Вовка ничего не замечал. Он жил своей фантастической жизнью подростка: марки, стеклышки, астрономический кружок... Такие мелочи, как двойки или, скажем, фигура матери, его не интересовали.

— И все-таки, его надо ввести в курс дела,— сказала Маша.— Не знаю, как к нему и подступиться...

— Хочешь, я ему скажу? — предложила Вера.

— Будь ангелом, скажи.

Вера улучила минуту. Вовка был трудноуловим сейчас — весь в своих делах. Если не ест, то занят. Все же она его изловила.

— Вовус,— сказала она,— ты любишь маленьких детей?

Он удивленно на нее посмотрел:

— Никогда об этом не задумывался.

— А ты задумайся.

Вовка честно попробовал и сказал:

— Ничего не выходит.

— Жаль. А что бы ты сказал, если б у нас в семье вдруг появился маленький ребенок?

Вовка ужасно покраснел:

— У тебя, что ли, он родится?

Вера тоже покраснела:

— Это неважно. У меня, не у меня, какая разница? Важно, как ты примешь этого ребенка?

— Великодушно,— ответил Вовус.

20

Ребенок — девочка — родился в конце зимы. Назвали ее Викторией. Тогда детей называли: Виктор, Виктория. В честь победы, которая уже приближалась...

Вера привезла из родильного дома Машу с дочкой.

Никогда она еще не видела новорожденных и даже боялась этого. Маша развернула ребенка:

— Ты посмотри, Вера, до чего хороша! Вика, Викочка...

Вика лежала поперек койки и тупо ворочала лысой головенкой. На затылке, у еле обозначенной шеи, кудрявился темный пушок. Глазки-щелочки чуть видны из-под припухших век. А тонкие красные пальчики, в каких-то беловатых клочьях, словно пушинках слипшейся ваты, шевелятся судорожно, паучьими движениями, хватаясь за край пеленки, в поисках, может быть, избавления от этой напасти, именуемой жизнью... Вот открылся беззубый рот, непомерно большой и скошенный, и оттуда послышался даже не писк — шип...

Вера ужаснулась в душе, но взяла себя в руки и сказала, что ребенок очень хорош. Вовка стоял у окна полуотвернувшись и, согласно обещанию, был великодушен...

И вот в комнатушке, бывшей кладовой, где и прежде-то повернуться было негде, появилась новая жилица и всю ее заполнила собой. Спала она в бельевой корзине, завернутая в пеленки из списанного госпитального белья. Скоро обрела голос и заявляла о себе громогласно, особенно по ночам. Корзина стояла на двух табуретах у Машиного с Верой общего ложа. Маша-то крепко спала, а у Верочки сон был чуткий. Она просыпалась, толкала подругу:

— Опять плачет...

Маша бормотала невнятное.

— Мать ты или зверь? Ребенок плачет, а она спит.

Вера вставала на колени, перелезала через Машу, брала Вику на руки, если надо, перепеленывала. Маша спала, Вовка спал, а она, с ребенком на руках, ходила взад и вперед по маленькому кусочку пола и мурлыкала вполголоса:

Вот вспыхнуло утро,
Румянятся воды...

Скоро они с Машей вообще поменялись местами на кровати. Теперь, заслышав Викино покряхтывание, готовое перейти в крик, Вера сразу просовывала руку в корзину, под ворсистое одеяльце (тоже из госпитальных, списанных) и начинала успокоительно похлопывать Вику по тощему задику. Ребенок кряхтел-кряхтел, всхныкивал и, не раскричавшись, засыпал. А Вера не спала, не вынимала руки из корзины: от скудного ребячьего тельца по руке вверх к сердцу шло умиление...

Постепенно Вика росла, белела, крепла, и ручки у нее были уже не красные, судорожные, а просто тоненькие, детские ручки, на которых при большом желании можно было разглядеть даже ямочки. Странными оставались только глаза: непомерно большие, загадочно серые, откуда-то из другого мира. Пеленали ее теперь уже не по плечи, а только до пояса, и спала она, закинув ручки вольно и мягко по обе стороны маленького лица.

Тем временем кончился Машин декретный отпуск, она взяла очередной, кончился и этот — взяла за свой счет, начальство шло навстречу, но больше тянуть было невозможно. Решили отдать Вику в ясли. Девочка была уже большая, умная. Физически она, как почти все военные дети, развивалась плохо: уже давно было пора сидеть, а она все лежала. Но именно потому, что она лежала, в ней поражал какой-то недетский, даже не взрослый — старческий ум. При слове «ясли» она настораживалась, морщилась, а на глазах скапливались, не проливаясь, крупные слезы. И недаром: ясли ей не понравились. Попав туда, она сразу же начинала орать и орала, видимо, целый день, потому что нянечки, ко всему привыкшие, называли ее «Всего света крикса». Когда Вера за ней приходила, она цеплялась за ее плечи, руки, приникала к ее лицу нежно-мокрой щекой и вздрагивала, икала, переставая плакать. Через несколько дней она заболела. Маша взяла бюллетень по уходу на три дня, больше трех не давали... Обходились кой-как, Вовку не пускали в школу, и он, с трудом сохраняя великодушие, нянчил девочку, пеленал, шлепал:

— Опять ты ведешь себя неэтично.

А зима на Урале страшная, злобная. Вику уносили в ясли, закутав наподобие кочана капусты. Сквозь щель, оставленную для дыхания, слышался умный, сварливый крик. Он продолжался и в яслях, и по пути домой. А щель в одеяле обрастала инеем. Через два-три дня Вика заболевала, Маша брала бюллетень, и так далее...

— Знаешь что, Маша,— сказала однажды Вера,— больше так жить нельзя. Вику из ясель надо забрать. Ребенок не приспособлен к общественному воспитанию.

— А кто же с ней будет сидеть?

— Придется мне. Из нас двоих одна должна быть вроде

как отцом, кормильцем семьи, а другая — матерью, хозяйкой. Кому быть хозяйкой? Не тебе ли?

— Ну, нет. К тому же я военнообязанная.

— Вот видишь.

— Вера, я не могу принять такой жертвы. Лишить тебя работы, людского общества, наконец, карьеры.

— Карьера моя блестящая, что и говорить. Из завхозов прямо в наркомы.

— А что? Ты и создана, чтобы быть наркомом. У тебя прямо-таки административный талант.

— Придется мой талант временно зарыть в землю...

Просто и весело, как все делала в жизни, Вера уволилась с работы. Главный из себя выходил, теряя такого завхоза, но Вера его уломала. Теперь она сидела дома, варила смеси для Вики, радовалась ее улыбкам, первому зубу, первым, еще невнятным, булькающим словам... Девочка начинала уже садиться; Вера протягивала ей два указательных пальца, и Вика, цепляясь за них, вся красная от натуги, совершала очередной подвиг...

С Вовкой (Вовусом) Вера жила душа в душу — кормила его, бранила, воспитывала,— он охотно шел ей навстречу, воспитывался. С матерью его роднил и разобщал взбалмошный, вскидчивый нрав; тетя Вера была совсем на него не похожа, тем и хороша. Упрек у нее был со смехом, и похвала — со смехом, и милое имя «Вовус».

Материально им стало труднее (отпал Верин паек). Еды не хватало, кого-то надо было ограничить, но не Машу же ограничивать, работницу, главу семьи? Не Вовку? Не Вику же? Вера решительно ограничила саму себя. Через некоторое время она могла наблюдать «косметический эффект альтруизма», как сама себе говорила (Вера умела шутить и наедине с собой). Она стала совсем худой и стройной, по-прежнему ширококостой (куда же она, кость, денется?), но даже ноги, эти вечные толстые ноги, угнетавшие ее всю жизнь — ими ее дразнили в школе, ими она до слез огорчалась в юности (о господи, дай мне, дай мне тонкие ноги!),— даже эти ноги подались и постройнели необычайно. Вытягивая перед собой похудевшую ногу, она думала: «А понравится ли такая нога Шунечке?» — и сердце у нее замирало. Шунечка любил ее ноги, любил, став на колени, прижаться лицом и, наконец, немного помедлив, целовать-целовать, от чего у нее начиналась прямо сердечная боль — так было переполнено сердце, так перевернуто...

21

А война-то, война верными шагами шла к победе. Почти каждый день радио, красивым голосом Левитана, сообщало об освобождении новых городов. Вот-вот должны были освободить и ее, Верин родной город... И вот — освободили! Она шла по улице вечером. Музыка лилась из репродукторов, только что сообщивших радостную весть. Какой-то незнакомый мужчина восхищенно ей улыбнулся и сказал: «Само счастье на вашем лице».— «Да-да, я счастлива, сегодня освободили...» — она назвала имя своего родного города. Мужчина предложил зайти к нему выпить по этому поводу. «Нет, лучше возьмите ваше вино и пойдем ко мне». Пошли, пили, радовались — Маша, Вовус, Вика в коляске — Вика била в ладоши... незнакомец сперва был разочарован (вот как, в семейном кругу, кончилось его приключение!), но ушел очарованный, добрым знакомцем...

На другой день Вера послала телеграмму матери, всем существом надеясь, что она жива. И в самом деле, Анна Савишна оказалась жива. Вскоре пришло от нее письмо — недлинное, деловое. Очень коротко, как бы неохотно, мать писала о днях оккупации. Плохо было, голодно, кормились одной ботвой, свеклу и ту забрал немец. А главное, страшно — никак не угадаешь, что он, злодей, еще сделает. Молодых всех угнали на каторгу, а со старухи что взять? Зашли, постреляли по глечикам и ушли. Мельник, Иван Севастьяныч, сделался полицаем. ушел вместе с немцами, и что с ним дальше — неизвестно. А писем ни от кого не было — ни от Ужика, ни от Женечки, ни от Александра Ивановича. Хата, слава богу, цела, огород засеяла, помогли добрые люди.

Верочка прочла письмо и так ясно себе представила родную хату с маками, что вся зашлась тоской по родине. Здесь, на Урале, все чужое, суровое. Лето короткое, куцее, даже самый жаркий день прошит холодом. А уж зима... Ребенка нельзя вынести.

... — Знаешь, что я надумала, Маша? Возьму-ка я ребят и поеду туда, к маме.

— Ты с ума сошла.

— Ничуть. Ребятам там будет славно. Покупаются в море, окрепнут. Поживем, оглядимся. А там, смотришь, и тебя выпишем...

Что же, в конце концов, это было разумно. В начале лета Вера с Викой и Вовусом поехали к теплому морю...

Анна Савишна за годы разлуки поседела до белизны, но не согнулась. Вовка так к ней и ринулся: «Бабуля!» Вика сначала дичилась, а потом пошла на руки — уж больно у Анны Савишны были умелые, уютные руки, могли и ребенка держать, и «козу» делать, и мягко пощелкивать смуглыми пальцами, выделывая какую-то безмолвную плясовую... Хата была все та же, чисто побеленная внутри и снаружи, но дала глубокую трещину по южной стене, той, что к морю. Видно, не очень долго стоять этой хате... Кругом, в поселке, много разрушенных домов, кое-где на пепелищах торчат голые кирпичные трубы, но красноклювый аист на крыше соседнего дома твердо стоит на своем колесе и по-хозяйски клацает клювом. И чайки по-прежнему летают внизу, ласточки — вверху.

Вовус ошалел, опьянел от моря. Он кубарем скатывался с обрыва, оставляя на колючках клочья своих трусов, и сразу же бросался в воду. Плавать он не умел и, когда попадал в яму, барахтался, пускал пузыри, но благодатная соленая вода сама его из себя выталкивала. Скоро он как-то сам собой научился плавать, правда, по-девчачьи: надувал щеки, выпучивал глаза и неумеренно бил ногами — чем шумнее, тем, ему казалось, быстрее он плывет. Вера, сама плававшая по-мужски, саженками, очень над ним смеялась, но учиться он не хотел.

Маленькая Вика в пузырчатом платьице, недавно научившаяся ходить, на пляже была неустойчива, то и дело падала, печатая в песке неглубокую ямку. Ее маленькое лицо с огромными, теневыми глазами было прекрасно. Вера раздевала девочку догола, брала на руки и несла к воде, нежно страдая от прикосновения хрупкого прохладного тельца. У самой кромки воды она ставила Вику на песочек. Небольшая волна приходила, вспухала, стеклянно круглилась, рушилась, отступала. Когда волна рушилась, Вика говорила «бух»...

Вера любила ходить с детьми туда, где она впервые встретила Шунечку. Вот из-за того камня он вышел, прижал к себе, сказал «моя». Где он сейчас — неизвестно. А она, через четырнадцать лет, снова здесь, с двумя детьми... Впрочем, образ Шунечки с годами как-то тускнел, выцветал; сама себе боясь в этом признаться, она его забывала.

Маша писала, посылала деньги, но на хозяйство, как водится, их не хватало. Вера устроилась разнорабочей в строительную контору, где ничего не строили, а пока разбирали развалины, добывали кирпич. Вера в брезенто-

вой робе, в больших рукавицах, вся осыпанная розовой кирпичной пылью, работала усердно. А из-под развалин возникали неожиданные вещи: книги с каменно-слипшимися, уже нерасторжимыми страницами, обломки мягкой мебели, кастрюля, валенок... Однажды Вера нашла целый рояль, точней — пианино. Бригадир хотел было его сжечь с другим мусором, но Вере стало жаль инструмент, как живого, смерти обреченного человека. Она сговорилась со стариком — водителем самосвала, и он за четвертинку отвез пианино к ней в хату. Так в Верином доме поселился еще один жилец, и ему нашлось место. Звали его «Найденыш». Он смирно стоял в углу, есть не просил и даже, пожалуй, украшал хату. Разбитую крышку Вера починила, даже отполировала, и Найденыш вовсе стал недурен. Одно было плохо: он имел дурную привычку стонать по ночам. «Ничего, другие храпят, и их за это из дому не гонят!» — говорила Вера. В доме никто на рояле играть не умел, и все же Найденыш не стоял без дела: иной раз Вовка подбирал на нем одним пальцем своего сочинения «Обезьяний марш»; иногда на вертящийся табурет садилась сама Вера и, богобожно перевирая мелодию, играла заветный романс; а однажды, придя домой, она застала за инструментом саму Анну Савишну. Старушка сидела, низко согнувшись над клавишами, и, ударяя пальцем, как коричневым клювом, тоже что-то наигрывала... Увидев дочь, она смутилась и поспешила уйти...

22

Близилась осень, пора было думать о возвращении. Вере вовсе этого не хотелось: здесь и зима была мягче, и жизнь чуть-чуть полегче. Кое-что давал огород, очень много — южное солнце. Уголь на зиму обещали дать в стройконторе. Вера написала Маше, советуя оставить детей на зиму, обещала отдать Вовку в хорошую школу и сама следить за его занятиями. Маша отвечала смятенно и коротко: она сама еще не решила, что́ будет делать, приглашают ее в разные города, на хорошие условия, но она сама ни в чем не уверена. Между строк Вера прочла, что опять в жизни Маши появился мужчина, и опять, видно, не принц Уэльский: о счастливом будущем речи не было, только мелькнуло в одном месте «проклятая любовь». Вера вздохнула, пожалев от всей души бедную Машу с ее темпераментом. Ей-то самой темперамент не досаждал. Хотелось, конечно, быть любимой, слушать пламенные слова, но с этим можно было подождать до мирного времени, когда

вернется Шунечка... А пока она охотно и даже весело переносила свою холостяцкую жизнь. Вокруг нее все время роились мужчины, но больше, как она выражалась, «нетоварные» — старички, инвалиды. Ясно: все здоровое, молодое было на фронте. Вера с ее светлым лицом, белозубым смехом была для «нетоварных» как эликсир молодости: они приобадривались, припускались за ней, шутили, заигрывали. На шутки и заигрывания она отвечала охотно, но дальше дело не шло. Впрочем, дальше, видно, не очень стремились и сами «нетоварные»...

Настала зима с ледяными ветрами и ревущим, бешеным морем. Во время шторма волны громово бились о скалы; брызги взлетали до края обрыва и, случалось, досягали окон. А в хате было тепло, уютно: обещанный уголь Вере дали. Кот, названный в честь того, первого, Кузьмой-вторым, дремал во впадине койки. Он был неплох, но ленив ординарно, не рекордсмен. «Далеко тебе до Кузьмы-первого»,— говорила Вера. Вовус ходил в школу, хорошо учился, но дерзил; говорят ему: «Выйди к доске», а он в ответ: «А что такое доска?» Веру вызывали в школу: «Ваш сын ведет себя демонстративно, выставляет на вид свое высокое развитие».

— Послушай, Вовус,— говорила Вера,— ну, чего ты меня срамишь? Почему тебе нравится так безвкусно валять дурака?

— Очевидно, по недостатку ума.

— Хорошо, что ты это понимаешь. Какой-то французский философ сказал: «На память свою жалуется всякий, на ум — никто».

— Как это? Повтори,— интересовался Вовус.

Верины нотации всегда были интересны, стоило их послушать. Нет, она не баловала мальчишку — просто понимала, чем он живет...

А маленькая Вика — до чего же она была уморительна! Крохотный гномик с огромными, темно-серыми, ночными глазами (утонуть можно было в таких глазах!), на тоненьких, неуверенных ножках. Круглая головка вся в мелко-мелко вьющихся русых кудрях; они начинались на выпуклом голубом лбу очень высоко, оставляя впечатление лысоватости — зато такие пышные, такие пенно-воздушные, что не было возможности их причесать: сразу же из-под щетки они крутились и вздыбливались...

А уж умна! Речь как у взрослого человека. Когда Вика говорила: «Оказывается, суп простыл» или: «Я не это

имела в виду»,— Анна Савишна потихоньку крестилась...

Со старшим братом у Вики была не просто любовь, а роман в духе, пожалуй, Кнута Гамсуна — со взаимными счетами и обидами, с горькой, непрощающей нежностью... Когда в чем-то провинившаяся Вика подходила к Вовусу, явно заигрывая, он говорил ей: «Испепелю!» И она бросалась бежать, подскакивая, с криком: «Не пепеляй меня, не пепеляй!» — как бы уносимая этим криком... Ну, а когда Вовус являлся с повинной — тут уже играла в равнодушие Вика, и прекрасно играла: обращенная к брату щека, маленькое ухо, полузакрытый глаз казались каменными...

23

В конце ноября пришло письмо от Александра Ивановича. Писал он коротко, сообщал, что жив, был в плену, бежал, год добирался на родину, потом проходил проверку, в результате которой полностью очищен от всех подозрений. В настоящее время находится в госпитале (полевая почта номер такой-то), лечится успешно, рассчитывает в скором времени за нею приехать («если ты у мамы, как я надеюсь и как тебе велел»). Подписано сухо: «Целую, Саша».

— Мама, мама,— кричала Вера,— что случилось, ты только подумай, от Шунечки письмо!

Анна Савишна кинулась на зов, роняя платок с головы, крестясь, цепляя очки ниткой за ухо:

— Ну-ка, ну-ка!

Обе читали письмо — голова к голове,— перечитывали, ахали, смеялись и плакали, плакали и смеялись.

— Это что же, он пишет, за подозрения такие?

— Ну, какая ты, мама! Всех, кто в плену был, проверяют: не завербован ли?

— И его?! Такой человек!

— И его. Всех проверять надо. Но, слава богу, все кончилось хорошо, смотри: «очищен!» Очищен, жив, здоров, скоро приедет — какое счастье!

— Больно коротко пишет.

— Экая ты, мама! Мало ли какое может быть у него на душе? Откуда он знает, как я без него жила? Увидимся — все будет хорошо. Главное — жив!

— Теперь и от Женечки надо ждать. И от Ужика. От всех придет.

Вера сразу же написала ответ Александру Ивановичу. Запятых было в нем великое множество, и слез, которыми она щедро окропила бумагу. Писала, что живет хорошо,

ждет его, любит. О детях из осторожности умолчала. Но, видно, все же плохо написала, потому что ответа не было. Послала еще письмо — нет ответа. Может быть, зря написала, что живет хорошо? Мало ли как можно это понять?

И вдруг, нежданно-негаданно, как снег на голову, явился он сам. Приехал вечером. Вера пришла с работы, в сенях почуяла: пахнет табаком, побледнела, прислонилась виском к косяку. Услышала голос: и точно, он. Разговаривал Александр Иванович с мамой, вернее, мама что-то ему объясняла, как бы оправдываясь, а он нападал — сварливо, требовательно. Вера споткнулась о ведро — оно покачнулось, брякнуло. Руки у нее были холодные-холодные.

— Кто-то пришел,— сказала мать.— Как будто Верочка.

Отворилась дверь, и из хаты в сенцы, из света в тень шагнул незнакомый худой человек. Узнавание было мучительным. В человеке проступал, пробивался Шунечка и не мог пробиться. Вера была в рабочей брезентовой робе — грязна, страшна. Ужасно было брезгливое сожаление в глазах человека.

— Ну, здравствуй,— он поцеловал ее в щеку, как бы выбирая место почище.

— Здравствуй...

Он оглядывал брезентовую робу, потертую на сгибах, запорошенную кирпичной пылью.

— Хороша... Рабочий класс. Ничего, мы с этим покончим. Ты у меня будешь в панбархате ходить. Собирайся, едем.

— Куда?

Он назвал новое место назначения — тыловой городок в Западной Сибири.

— Шунечка, послушай, я не могу так сразу... У меня дети.

Он косо усмехнулся.

— Спасибо. Мне уже об этом сообщили. Обрадовали, нечего сказать. От таких новостей кондрашка может хватить. Приехал к жене, а у нее — двое...

— Это же не мои...

— Знаю. А то, думаешь, я бы с тобой разговаривал? Пришел, увидел и ушел.

— Шунечка...

— Молчи, все ясно. Едешь со мной. Дети — не сироты, у них мать есть. Пусть приезжает за ними, берет к себе.

— Она так сразу не может. У нее работа.

— А у меня служба. Никогда не работал, всегда служил.

— Шунечка...

— Сказал — и все.

На эту формулу Вера привыкла отвечать послушанием; так и на этот раз. Послала Маше телеграмму, получила ответ: «Еду». Дождаться ее не пришлось: Александр Иванович назначил отъезд через два дня и был неумолим.

— Мама, милая,— плакала Вера,— жизнью тебя умоляю: береги детей. Я же не виновата, видишь, как получилось.

Анна Савишна была суха, строга, еле шевелила губами:

— Будь покойна. Мне они не чужие.

Прощание с Вовусом, с Викой... И опять стук колес — будь он проклят! — сухой, разрывающий, разлучающий стук колес.

24

Назначение полковник Ларичев получил самое для него смехотворное: начальником КЭО (квартирно-эксплуатационного отдела) в военном училище. Удар был по его самолюбию тяжел. Он, кадровый военный, боевой командир, командовавший полком, теперь был назначен тряпкой, затычкой, козлом отпущения...

В училище было четыре корпуса: два учебных, два жилых, и все — в аварийном состоянии: балки подгнили, крыши текли, штукатурка обваливалась. Людей не было, средств на ремонт не отпускали, и все-таки каждый требовал с него, с начальника КЭО.

Вызывал его, скажем, начальник училища:

— Александр Иванович, опять у нас в актовом зале потолок валится. Побойся бога, так же нельзя. Людей покалечит, а кому отвечать? Сидеть-то, мил друг, не тебе, а мне.

Начальник училища был старый, видавший виды полковник с мужицкой хитрецой в небольших глазах под припухшими веками. Сейчас Ларичева все раздражало: и мужицкая хитреца, и глаза небольшие.

— Товарищ полковник,— отвечал он, внутренне кипя пузырями,— я уже вам докладывал: ремонт произвести невозможно, материалов нет, людей нет. Начальник тыла солдат не дает.

— Что значит — «не дает»? А ты требуй.

— Он мне не подчинен. Это вы можете ему приказывать, а не я.

— Приказывать, приказывать... Такие дела, братец мой, на приказах не строятся. Ты начальник КЭО, хозяйственник, должен понимать, как делаются дела. Закон здесь один: ты — мне, я — тебе. Материалов нет? Извернись, из-под земли достань материалы. Найди нужного человека, дружбу заведи, угости по-приятельски... Да что мне тебя учить? Сам знаешь.

— Ничего такого я не знаю и знать не хочу.

— Экие мы гордые. С такой гордостью в хозяйственники не идут.

— Я в хозяйственники, как вам известно, не просился.

— Это меня не касается. А насчет потолка в актовом зале — даю сроку одну неделю. Не отремонтируешь — взыщу, не прогневайся.

— Разрешите идти? — спрашивал Ларичев, плохо видя сквозь дымку бессильного гнева.

— Иди. Через неделю доложишь о выполнении. Крутись.

И Ларичев шел крутиться. Изворачиваться. Искать нужного человека. Заводить с ним дружбу. Угощать его по-приятельски, черт бы его побрал. Он научился раздобывать спирт, якобы для промывки приборов, разводить водой, вливать в ненавистные глотки. Пьянел новоявленный приятель, пьянел сам Ларичев, разомлевал приятель, но не разомлевал Ларичев. Разомлевший приятель хлопал его по плечу, обещал помочь...

И все-таки начальству нельзя было угодить. Хвост вытащишь — нос увязнет. Опять звонок, опять тревога:

— Товарищ полковник, в главном корпусе трубу прорвало, лаборатории заливает...

— А я при чем? Звоните дежурному слесарю.

— Уже звонили, его на месте нет.

— А, черт!

Ларичев шел проверять. И в самом деле — дежурного слесаря-водопроводчика на месте не было. Он, как утверждала ночная уборщица, запил и уже с утра такое намерение имел. Ларичев посылал техника-смотрителя к нему на дом. Слесарь доставлялся, но в состоянии, непригодном ни для какой работы. Второй слесарь, оказывается, уехал самовольно в деревню на несколько дней. Выгнать бы обоих к черту, да где сейчас найдешь замену? Начинались звонки, поиски нужного умельца, знакомого с тайнами еще дореволюционной постройки, а вода тем временем хлестала, и все

уборщицы, во главе с техником-смотрителем, собирали ее тряпками...

Наутро новый разговор с начальником училища. В гневе он становился официален, переходил на «вы».

— Опять, товарищ полковник, по вашей вине авария. До каких пор можно терпеть? Предупреждаю вас о неполном служебном соответствии.

— Разрешите доложить, товарищ полковник: слесарь Круглов хронически напивается, прогуливает. Вчера ушел с дежурства, никому не сказав.

— Так взыщите с него. Отдайте под суд.

— Легко сказать: под суд. А где я возьму другого?

— Это ваше дело. За пьянство подчиненных отвечает начальник. Вы будете пьянствовать — отвечу я. Но, заметьте, мои подчиненные не пьянствуют.

— Разрешите идти?

— Идите.

25

Потолок был низок, комната приземиста и походила на ящик комода. Впервые за долгие годы Вера с Александром Ивановичем жили в одной комнате, спали в одной кровати — другую просто негде было поставить. Кровать была узковата, Вера боялась пошевельнуться. Рядом с нею спал Александр Иванович, горько нахмуренный даже во сне. Иногда он мучительно храпел, метался, скрипел зубами — какие-то кошмары его преследовали. Внезапно просыпаясь, он вскрикивал и не сразу приходил в себя. Вера понимала, что он глубоко, до боли сердечной, обижен своим назначением, чертовой этой должностью, на которой или быть жуликом, или всегда виноватым. Когда по радио гремели салюты и голос диктора сообщал о новых победах, лицо Ларичева омрачалось: не его это были победы, не его дело... Его дело — крутиться ужом, исхитряться, добывать, обеспечивать. Несколько раз он подавал рапорта, прося о переводе в действующую армию — кем угодно, хоть солдатом, — и всегда получал отказ. Начальство пожимало плечами: почему человек не может честно работать на том месте, куда его назначили? Вечно что-то нужно этому Ларичеву. Деловых качеств — ноль, а самомнения — уйма.

Он не прижился, не приработался на новом месте. Он не хотел ничем обзаводиться. Вера, со своей всегдашней ловкой приспособляемостью, и здесь готова была, почти ни на чем, создать, украсить семейный угол. Нет, ему этого не

было нужно. Заметив на стене коврик, закрывавший трещину, он сказал «не надо» и коврик сорвал. Вера поняла и больше ничего не затевала. Жила, притаившись, стряпала в углу за занавеской на керосинке, которая, чуть не доглядишь, начинала коптить. Шунечка приходил в разное время, но неизменно мрачный, равнодушно съедал обед и, поблагодарив жену казенным поцелуем в самую середину щеки, уходил снова. А она оставалась одна со своими мыслями. Только еще тридцать два года, тридцать третий, а жизнь прожита. Остались одни воспоминания. Как-то ночью ей приснилось, что на кровати рядом с нею лежит Вика — не теперешняя, а грудная, маленькое тельце в сгибе локтя, цепочка выпуклых позвонков, запах легких, пушистых, недавно мытых волос. Вера была счастлива, отлично понимала, что спит, что сон этот блаженен и сейчас кончится. И в самом деле, проснулась — Вики не было, рядом лежал Шунечка; «Но я же его люблю?» — спросила она себя и с ужасом поняла, что разлюбляет, вот-вот разлюбит. Так и случилось бы, если бы не его болезнь.

Однажды вечером Александр Иванович пришел весь красный, встрепанный, с блестящими глазами и ужинать не стал.

— Шунечка, ты болен?

— Ерунда. Здоров как бык, просто устал. Ты мне постели, лягу.

Вера разобрала постель. Тем временем он заснул на стуле, в неловкой позе, раскрыв рот.

— Шунечка, постель готова, можно ложиться.

— А, что? — вскинулся он.— Да, да.— И снова закрыл глаза. Вера стянула с него сапоги, гимнастерку, кое-как, поддерживая валящуюся голову, довела до кровати. Он был весь горячий и бормотал:

— Оставьте меня в покое. Вы, все, неужели нельзя оставить человека в покое?

Рухнул в постель, поджав колени, застучал зубами. Вера накрыла его одеялом, позвонила в санчасть, вызвала дежурного врача. Явилась миловидная дамочка лет тридцати с модной, высокой спереди, прической и огромными, накладными плечами, распиравшими изнутри халат. Выслушивала она больного, словно бы с ним кокетничая и прядая в сторону, как нервная лошадь.

— Двусторонняя пневмония. Сейчас мы его госпитализируем.

Она позвонила в санслужбу — машины не было. В госпиталь — не было места...

— Я умею ходить за больными, честное слово, умею,— сказала Вера.

— В данном случае я — за госпитализацию. Но, поскольку места нет...

Ушла, оставив на столе рецепт: сульфидин. В то время это было лекарство редкое, новое...

Как она бежала в аптеку за сульфидином... Как была черна ночь, как ярки звезды, как тверда и звонка под ногами земля... Бежала, задыхаясь, моля: только был бы жив, только бы не умер... Сульфидина в аптеке не было, в другой — тоже. Нигде не было сульфидина. Ночь была черна, как уголь, он умирал. «Дайте мне что-нибудь взамен сульфидина, ну дайте же, дайте, у меня муж умирает». Девушка, похожая лицом на Машу, сказала: «Подождите немного». И вынесла сульфидин. Вера хотела поцеловать ей руку, та не дала, помахала тонкими пальчиками... Домой, домой...

Шунечка лежал по-прежнему красный, дышал тяжело. Вера давала ему сульфидин — вялый рот не хотел закрываться, струйка воды стекала по подбородку... Горячий, такой горячий... Она сидела рядом с кроватью, держа его за руку, и молилась, как молятся неверующие, обращаясь по детской привычке к богу и спохватываясь, что его нет... Но невозможно, чтобы не было совсем ничего, никакой инстанции, куда можно обратиться, выпросить, вымолить, так вот, эта инстанция, сделай так, чтобы он был жив, я же люблю его, люблю.

Так просидела она до утра. Жар немного спал. Александр Иванович очнулся:

— Верочка, ты? В чем дело? Почему не спишь?

— Шунечка, милый, ты болен, я сульфидин достала, теперь тебе лучше.

— А, сульфидин. Что у меня?

— Двусторонняя пневмония.

— Я не умру. Дай руку.

Она дала ему руку. Он стиснул ее влажными, вялыми пальцами и сказал:

— Ты моя радость.

Вера заплакала.

— Верочка, любимая, ты плачешь? Ты меня любишь?

— Ну конечно же, глупый, родной.

Вот тебе и комната с низким потолком, похожая на ящик комода. Боже мой, любовь.

Вера не отдала мужа в госпиталь, ходила за ним сама — банки, горчичники, даже уколы, всему выучилась. Шунечка, больной, слабый, потный, был нежен и зависим, как малое дитя, капризничал, целовал ей руки, не хотел никуда ее отпускать — даже в аптеку. «Ну, так и быть, иди, только приходи скорей». Он еще был в опасности — врачи головами качали, советовали все же госпиталь. «Нет», — говорил Александр Иванович («Ну, куда же я от тебя», — добавлял он ей наедине).

Никогда еще не были они так близки. Шунечка стал сентиментален, многоречив, не жалел слов любви, не боялся быть слабым и вздорным. То и дело припадал лицом к Вериной руке — всей своей небритостью, немолодостью, шершавостью припадал. Стал откровенным, будто прорвало в нем какие-то шлюзы. Рассказывал о своем побеге из плена, о долгом пути домой, опасном, голодном, вшивом, полном страшных и радостных встреч — среди радостных была встреча с женщиной, приютившей и полюбившей его; с этой женщиной он чуть навсегда не остался, но «вспомнил твои глаза и ушел». Рассказывал о проверке, о реабилитации, о нелепом своем назначении, оскорбительном для него, старого командира, о дрязгах квартирно-эксплуатационной части; говорил, кипя, негодуя, порой матерясь, забывая, что перед ним женщина...

А болезнь отступала, по мере того как приближалась весна. Воробьи орали на подоконнике. Солнце каждый день заглядывало в комнату, похожую на ящик комода. Радужно светились шерстинки казенного одеяла. По радио гремели салюты — война шла к победному концу. Шунечка оживал, креп, становился молчаливее, суше; Вера радовалась: это жизнь... И вот наконец Девятое мая — Победа...

Весь городок высыпал на улицы, уминая калошами еще не просохшую ярко-черную грязь. Сверкало солнце. Нежно-зеленые, еще не раскрытые почки дымом овевали деревья. В голубизне неба неслись облака, подпрыгивая от возбуждения. Ветер гнал и трепал, почти срывая с древков, красные флаги. Играл духовой оркестр. Люди целовались, обнимались, плакали.

В этот день полковник Ларичев впервые после болезни вышел на улицу, опираясь на руку жены. Он был бледен, чисто выбрит, подтянут, в ярко начищенных сапогах, четко отвечал на приветствия. А Вера плакала откровенно и радостно, музыка ее так и мотала, так и раскачивала... Хотелось и танцевать, и целовать людей, и размахивать флагом...

— Немедленно прекрати, на нас люди смотрят,— тихо и яростно сказал Александр Иванович.— Приведи себя в порядок.

Вера поспешно стала утирать слезы туго скатанным в шарик, давно уже мокрым платком. И по тому взгляду, который Александр Иванович кинул на этот комочек, она поняла, что с нежностями покончено...

Да, еще там, в городке, покончено было с нежностями. А дальше, здесь,— все суше, все суровее...

26

Вере снился чудесный сон, будто они с Шунечкой, взявшись за руки, идут по пляжу. Солнце сияет, рыбы прыгают, маленькие крабы боком-боком бегут к воде. Глаза у Шунечки полны любви, над глазами — соболиные брови...

— Слава богу, ты жив, не умер.

— Нет, я умер, но теперь проснулся и жив.

— Смотри, береги себя, будь осторожен, а то опять умрешь.

Резко закричала чайка. Нет, это не чайка кричала, это она сама. Где ты? Шунечка исчез. «Не пропадай, не умирай!» — кричала она и мучилась.

— Вера, Вера,— говорил женский голос,— да проснись же.

Вера Платоновна открыла глаза. Рядом сидела Маша Смолина — худенькая, немолодая, усатая.

— Машенька! — Вера кинулась ей на шею, разумеется, плача.

— Будет, будет...

Маша оглаживала, охлопывала ее спину.

— Машенька, ты знаешь...

— Все знаю. Прими валерьянки.

Анна Савишна принесла пузырек. Маша накапала лекарство, Вера проглотила — горько, хорошо. Как она оказалась в своей постели? Ведь сидела у гроба. Вспомнила, что в гробу Шунечка, и опять начала рыдать, икая и взвизгивая.

— Ну, вот что,— сказала Маша,— даю тебе десять минут, чтобы прийти в себя. До чего распустилась — стыдно глядеть.

Грубые эти слова почему-то подействовали на Веру, ей стало легче.

Хоронили Александра Ивановича с почетом, с музыкой (играл духовой оркестр). На красных подушечках несли ордена, медали. Откуда-то взялись старые сослуживцы, знавшие Ларичева еще до войны. Над могилой говорились речи. «Он был отличником боевой и политической подготовки»,— плача говорил принаряженный отставник с орденами в три ряда на широкой груди. Краснообтянутый гроб, кренясь, опустился в яму. На веревках, на четырех веревках его опускали, да так неловко, ему же неудобно там, в гробу... «Бросьте»,— сказал кто-то и сунул ей в руку комок земли. Она бросила, комок подпрыгнул на красной крышке. Дальше еще и еще комки, и вот уже гроб закидан, и вот уже вырос холмик, и вот уже пирамидка со звездой установлена во главе холмика. Все... Постойте, как же можно так быстро?

Дальше — поминки. Гостей собралось множество. Вера и не всех знала в лицо. Хозяйничала Анна Савишна. Было странно и даже как-то приятно сидеть этак, гостьей в собственном доме. Вера не плакала, даже улыбалась — сказывалась долголетняя выучка: люди в доме — улыбайся. Маша поглядывала на нее одобрительно, кивая кудрявой седеющей головой. Гости — скорей неодобрительно. Только что мужа похоронила, а зубы скалит. По правилам вдове полагалось рыдать, падать в обморок и быть уносимой в соседнюю комнату сочувствующими друзьями...

Гости ушли. Заснула как каменная. Утром проснулась под чириканье птиц.

...— Знаешь что, мать моя,— сказала Маша Смолина,— пора тебе опомниться. Погоревала, и хватит. О жизни надо подумать.

Она сидела и курила, заложив ногу на ногу, далеко отводя папиросу в пряменьких, неухоженных пальцах, другой рукою отмахивая дым.

— Что ты собираешься делать?

— Не знаю... Военкомат предлагает путевку в санаторий.

— Ну что ж, поезжай, отдохни. А потом? Что ты будешь делать дальше, всю жизнь?

— Моя жизнь кончена,— с надрывом сказала Вера.

— Дурища! Не узнаю тебя — до чего же ты омещанилась. Есть такая формулировка: «По случаю потери кормильца». Терпеть ее не могу! Каждый сам себе кормилец. И ты тоже. А жизнь твоя не кончена, только начинается.

Вера махнула рукой.

— Не махай! От меня не отмахнешься. Не оставлю тебя в покое, так и знай. Пенсии тебе не дадут, сорок пять лет — не старость. Придется тебе, матушка, идти работать.

— Бог с тобой, что я могу, что умею? Столько уж лет не работала...

— Во-первых, ты работала, хотя и на глупой, общественно бесполезной ниве: обслуживала мужа, содержала дом. Во-вторых, если надо, всему научишься.

— Старая я уже...

— Врешь! Я постарше тебя, а все молодая. Придешь в себя, расскажу.

— Опять не принц?

— Вот именно. Но речь не обо мне, о тебе. Я тебя, матушка, на работу устрою.

— Ну что же, устраивай.

Легче стало — опять в чьей-то воле.

— А ну-ка покажи свое поместье,— сказала Маша.— Помнится, много тут было лишнего. Со многим придется тебе расстаться, если хочешь жить человеком.

Вышли. Поздняя весна, плодовые деревья в неистовом цвету. На ухоженных, любовно расчесанных грядках — побеги овощей. Стройными рядами — подвязанные к кольям виноградные лозы. Цветы. Из зеленых фонтанчиков остроконечных листьев, наклонясь в разные стороны, глядят грациозные нарциссы. Голландские тюльпаны — красные, розовые, желтые — горделиво высятся на своих длинных ногах. Кое-кто из них полосат и гордится особо перед другими. Жемчужинками на закрученных стеблях — еще не расцветшие ландыши.

— Это все тебе нужно? Такой сад, огород?

— Конечно, нужно. Как же без этого?

— А так. Без чего-то обычно легче, чем с ним. Человек — путешественник, должен жить налегке.

— Тебе легко говорить. Ты — дикая, а я домашняя.

— Возможен разумный компромисс.

— Ну, цветы у меня всегда будут.

— Пусть будут. Цветы разрешаю.

Пошли дальше. За сетчатой оградой бродят куры, встряхивая алыми гребнями, важные, ищут червей.

— И эти тебе нужны? — спросила Маша.

— Эти, пожалуй, не нужны.

— Уже прогресс.

Кот Кузьма (кажется, четвертый) вышел поразмяться во двор. Он жмурится, потягивается, отставляя взад и вперед выпрямленные лапы. Пес-полукровка, по имени Куцый, кинулся им навстречу, неистово виляя хвостом. Лицо его выражает безграничную преданность, он тычется Вере в колени, предлагает свою любовь.

— И эти, по-твоему, не нужны? Куцый, Кузьма?

— Эти пускай будут. Они личности.

— А для меня каждое дерево личность.

— Это уж ты загнула.

Дошли до середины двора. Там, над большим деревянным столом на чугунных ножках, раскинуло руки дерево. Вера остановилась, задумалась, заморгала глазами...

— Ну, ну,— сердито сказала Маша,— только без слез.

— Это грецкий орех.

— Не вижу причины плакать.

27

Вскоре после конца войны полковник Ларичев демобилизовался, вышел на пенсию и, как многие отставники, решил строиться. После долгих хлопот дали ему участок земли на окраине того самого южного города, где родилась и росла Вера Платоновна, где и теперь еще жила ее мать. Ужик с войны не вернулся, и эта безвестная гибель вконец состарила Анну Савишну, согнула ее статную спину, обвела глаза темными тенями, похожими на выцветшие синяки.

Слава богу, хоть Женечка нашлась, прислала письмо: первый муж погиб, долго бедствовала, скиталась (об этом темно), теперь замужем за другим. Живет в Москве, муж большой человек, старше ее на двадцать лет, разумеется, ее обожает, прямо на руках носит. Квартира, обстановка — все было бы хорошо, если б не прежняя семья, которой надо помогать. А почему — неизвестно: дети уже взрослые, жена пожилая, зачем ей на старости лет туалеты, курорты? Семен (это муж) очень широкий, отдает туда чуть ли не половину зарплаты, так что приходится самим себе отказывать. Обещала приехать, но точного срока не называла. Извинялась, что денег пока не шлет. Анна Савишна написала в ответ, что ничего ей не нужно, пусть Женя не беспокоится. Та и не беспокоилась, потому что о деньгах разговору больше не заходило. Анна Савишна, конечно, скучала по Женечке, но как-то отодвинулась от нее младшая, прежде любимая дочка со своими черными, куда-то

плывущими глазами, с губастым, пухлым, обиженным ртом. Гораздо ближе стала с годами старшая, Верочка. Как они рухнули друг другу в объятия, встретившись после войны в старой хате у крутого обрыва! «Мама, мама!» — «Дочка, дочка!» — только и всего... Так и остались — ближе всех. Много-то не говорили, ни о чем не расспрашивали, все и так ясно. Каждая чуяла, что у другой в душе. Анна Савишна нутром поняла сложную Верочкину судьбу, огорчалась, что дочь подурнела, постарела (это в тридцать четыре-то года!), понимала ее любовное рабство, жалела ее: «Ничего, Верочка, я тебя откормлю!» — и плакала.

Участок, выделенный под строительство дома отставному полковнику Ларичеву, был огромный, неправильной формы урезанный четырехугольник — пустырь пустырем: ни деревца на нем, ни кустика, одна полынь, бурьян и битый кирпич. Вера, глянув на участок, даже пала духом (это она-то!) — так было все здесь неуютно, неприкаянно. Холодное море сурово синело вдали (была поздняя осень), ветер гнал через участок клубки перекати-поля,— казалось, эти клубки, сцепившись, ссорятся. Ни шалаша, ни будочки — спрятаться от ветра. Но она знала: раз Шунечка затеял строиться, не отступит. Денег на строительство не было. Ларичев раздобыл долгосрочный кредит, получил разрешение разобрать на кирпич пару разрушенных зданий — не так далеко от участка, но и не так близко.

Начались работы. Жить было негде; идею поселиться у матери Александр Иванович круто отверг. Поставили, тут же на участке, дощатую будку-времянку с земляным полом, с чугунной печкой; когда ее топили, она сурово калилась малиновым боком с беловатым пятном посредине. На этой печке Вера готовила немудреную трудных этих времен еду, памятуя, что обед в доме должен быть каждый день. Печку топили щепой, мусором, рваным толем. Дымила она нещадно, особенно при западном ветре, донья кастрюль были бархатные от сажи. Иногда Вера собирала кухонную посуду в мешок и шла к морю. На берегу было пустынно, холодно, ветер трепал головной платок, норовя совсем его унести, руки стыли, песок был крупный и больше царапал, чем чистил. И все же Вера любила купать кастрюли: что-то вольное, свирепое обдувало ее там, на берегу. Море пахло йодом, простором и, как это ни странно,— вечностью...

Александр Иванович, сухой и неласковый, целыми днями пропадал по делам стройки: с кем-то встречался, выпивал, советовался, тут доставал машину, там — цемент,

гвозди, оконные стекла. Вот где ему пригодился, хоть и горестный, но все же опыт работы в КЭО. Приятели, приятели... Время от времени Ларичев приводил кого-нибудь из них в дом-времянку. Спирт он приносил с собой, но закуску всегда требовал с Веры. «Понимаю, время трудное, все по карточкам, теорию я и без тебя знаю. А ты раздобудь где хочешь. Я ж тебя не спрашиваю, где достать гвозди?» И Верочка изворачивалась, как могла. Александр Иванович требовал сложно: не только накрытого стола, но и улыбки, радушия, прелести женской.

— Ты должна облучать, понимаешь? Иначе какая же ты хозяйка?

Вера и старалась — облучала. А гости были ужасны. Какие-то представители подземного делового мира, где циркулировали дефицитные вещи, где можно было (ты — мне, я — тебе) достать что угодно. На видимой поверхности этих вещей не было, но в глубине они обращались и могли быть вызваны оттуда неким подобием волшебства. Надо было знать, кого, чем, когда угостить, кого с кем познакомить, кому о чем намекнуть. В этом мире не торопились, подолгу сиживали за столом, беседуя о чем угодно, только не о прямом деле. Нет, надо было пройти через священный ритуал приятельства, приобщиться (иногда почти искренней!) взаимной любви, когда дело устраивалось не в ответ на какую-то услугу или, упаси боже, денежный куш, а просто так — из любви к ближнему. Эту любовь надо было в себе раздуть, и времени на раздувание не жалели. Дельцам тайного мира надо было верить в свое бескорыстие. А чтобы верить, надо было глушить себя водкой. Ларичев все это понимал, но, помимо воли, все же отчасти испытывал влияние традиционного ритуала. Иногда, особенно выпив, он почти верил, что его окружают пусть простые, но честные и добрые люди, готовые бескорыстно его осчастливить...

А дело шло медленно. Гость, выпив разведенного спирту, еще кочевряжился, не мог прямо и просто приступить к делу: надо было еще покривить душой. Не до конца опорожненная бутылка с жемчужно-опаловой жидкостью, алые шары квашеных помидоров, атлантическая сельдь с перламутровыми, втянутыми боками — все это располагало к лирике. Гость расстегивал пиджак на объемистом животе и начинал откровенничать. О своем детстве. О судьбе, вечно его преследовавшей («Только опомнился, а она тебя по морде!»). О неудачной женитьбе. О черной неблагодарности иждивенцев — детей, племянников. «Я тебе вот

что скажу, Саша. Верь моему слову, как на духу: ни разу в жизни ни тютелькой для себя не попользовался. Только для других. Валил, как в прорву. Есть такие, что все себе, а я — другим, как ненормальный. И что? До седых волос дожил, паршивой тысчонки не скопил (тут извлекалась мятая сберегательная книжка со вкладом двенадцать рублей пятьдесят копеек, Ларичеву предлагалось ее осмотреть и удостовериться). Кого люблю,— продолжал гость,— ничего не пожалею, все отдам. Плевать мне на эти деньги (тут сберкнижка бросалась на пол и топталась ногами). Я тебя, Саша, полюбил (поцелуй), ты мужик правильный, прямой, вроде меня. Выпьем, Саша, за нашу мужскую дружбу!» Опять наливались лафитнички, насаживались на вилки шары помидоров, ломти атлантической сельди... Александр Иванович тоже мутнел разумом, начинал любить гостя, называл его Колей...

— Главное, жена у тебя хороша! — говорил Коля, разомлев окончательно.

В разговор о жене Ларичев не вступал даже пьяный.

Дело шло медленно-медленно, но все-таки шло. Невозможное становилось возможным. На участке скапливался строительный материал: кирпич, лес, шифер. Появлялись бригадами шабашники, строительные рабочие — их тоже надо было поить, любить... Рабочие приходили и уходили, не сделав почти ничего (время тратилось больше на чоканье и взаимное хлопанье по плечу), а потом вдруг являлись на весь выходной день, и за этот день стройка подвигалась больше, чем за два предыдущих месяца. В общем, дом потихоньку рос себе да рос. Многое Ларичев делал сам — клал кирпичи, месил раствор, строгал и прилаживал двери, и Вера ему помогала — веселая, худая, бесполая, похожая со своей длинной шеей на сторожкого гуся, особенно когда вышагивала по участку, нагибаясь за каждой щепкой...

Зимой в дощатой времянке бывало нестерпимо холодно, и Ларичевы волей-неволей перебирались к матери, где для них всегда готов был и стол, и дом, и нежная, молчаливая забота. Анна Савишна, прежде не очень-то любившая зятя, теперь стала его жалеть, баловать. Может быть, иной раз виделся он ей сыном, Ужиком... Кто знает? Александр Иванович в гостях у тещи не заживался. Чуть потеплеет — берет Веру и уводит обратно в свою времянку.

Полтора года строился дом. Вот, наконец, он закончен,

подведен под крышу — поверить этому почти невозможно. Он еще пуст, пахнет известкой, краской, сыростью, но существует...

Праздновали новоселье на чужих столах, сборных стульях. Приятели-благодетели Ларичева собрались наконец все вместе. Сперва друг на друга косились, но водка их спаяла: пили, пели песни и сами себе умилялись. Как они его осчастливили, как любили!

— Вот, Верочка, мы с тобой и помещики,— сказал Александр Иванович на другой день.— Слава богу, крыша над головой есть. Теперь можно и о жизни подумать.

Вера поежилась от старорежимного слова «помещики», но улыбнулась послушно.

— Смотри. Здесь у нас будет расти виноград, а здесь — персики. А тут мы посадим грецкий орех. Под орехом поставим стол, будем обедать, чай пить. Веришь ты в это? Видишь будущий грецкий орех?

Участок был ужасен — пустой, изрытый, засоренный.

— Вижу,— сказала Вера.

— Будешь за него бороться?

— Буду.

28

И пошли, и пошли годы борьбы за грецкий орех. Прошло их немало, и были они тяжелы, но прошли. Была вскопана, поднята, унавожена сухая, глинистая земля — чуть ли не руками разминали каждый комок. Были высажены плодовые деревья, виноград, малина. Был, наконец, посажен, прижился и вырос в середине двора символический грецкий орех — правда, еще невысокий, ростом со среднего мужчину, но мощный, ухоженный, с любовно побеленным статным стволом. А под ним, как и было задумано, поставили прочный обеденный стол на чугунных ножках, для устойчивости вкопанных в землю. Построили летнюю кухню, дровяной сарай. Небольшой участок двора обнесли сеткой, там поселились куры — веселые, молодые, с алыми гребнями, а среди них расхаживал, сияя радугой, разноцветный владыка. Вера его называла «наш русский народный петух». И кота завели тоже русского, народного, традиционной серо-тигровой масти; в память всех предшественников его назвали Кузьмой. Построили две беседки, между ними Вера Платоновна посадила розы, и цвели они целое лето — одни осыпались, другие начинали цвести. Вот и есть у меня свои розы, долго пришлось до них доживать...

Жизнь была тяжелая, трудовая, но здоровая и почти изобильная. Денег, правда, не хватало — пенсия шла главным образом на уплату долгов. Зато были свои куры, свои яйца, свои ягоды — яркая, породистая клубника... Впрочем, клубника больше шла на продажу — не на рынок, а по знакомству (Шунечка не хотел об этом знать, но молчаливо потворствовал). Был свежий, ветрами пронизанный воздух, синее море на горизонте, особенно широко видное с террасы, сквозь плети дикого винограда, сплошь завившего дом сверху донизу. Море со своими барашками и парусами иногда тревожило Веру как напоминание об иной жизни, более просторной, но размышлять ей было некогда...

Мать, Анна Савишна, поселилась у Ларичевых с тех пор, как в одну из весен полой водой смыло под обрыв старую хату.

Она уже давно дышала на ладан и вот, не выдержала. Хорошо, старухе самой удалось спастись, не придавило развалинами. Она стояла на краю обрыва в темненьком летящем платке́, с задумчивым темным лицом, и что-то нашептывала. Вера обняла ее за плечи — мать отстранилась. «Ремонтировать бесполезно», — сказал Ларичев и тут же распорядился: «Взять вещи, какие остались, маму — к нам». Анна Савишна что-то говорила про «инстру́мент» — пианино, верного Найденыша, прожившего с нею годы и как-то по-своему скрашивавшего ей жизнь. Александр Иванович ее высмеял — от «инстру́мента» остались рожки да ножки. Мать покорилась. Вырыли из-под мусора коекакие вещи — было их до странности мало, ничего не нажила за долгую жизнь. Тем временем подкатил на грузовике Александр Иванович — погрузились, поехали. До́ма выпили «за новоселье» — Анна Савишна тоже пригубила вишневой наливки, но глаза были горькие... А на участке, где стояла хата, кто-то, по договоренности с Александром Ивановичем, начал новую стройку...

У Ларичевых мать жила тихо, неслышно, в маленькой комнатке без окна — бывшей прихожей. Освещалась она через дверь, летом в ней было прохладно, зимой — тепло; Вера называла ее «каюта-люкс». И правда, в комнатке было уютно: портреты Ужика, Жени, старая карточка Платона Бутова (усы колечками), лиловое бархатное яйцо с позументами, пучки крашеного ковыля и чистота-чистота... Вера любила забежать к матери со двора, с грядок, с яркого солнца, мать брала ее за руку, и так они сидели минутку...

Жизнь у Ларичевых шла налаженно, складно, по четкому расписанию, как на корабле. Летом Вера вставала рано, надевала широкополый соломенный «брыль» и шла на свои плантации. Полола гряды, подвязывала виноградные лозы, опрыскивала деревья — все это не по-любительски, а на научной основе (у нее уже скопилась неплохая библиотечка по садоводству).

Шунечка вставал позже, часов в десять. Ради утренней неги он предпочитал не одеваться и кейфовал в одних трусах, обширных, как черные флаги. Над ними привольно располагался волосатый немалый живот.

— Эй, там, на камбузе! — кричал, вставши, Александр Иванович.

— Иду-иду,— спешно откликалась Анна Савишна.

— Мне не вас, а Верочку. Я не при всем параде, так сказать, без галстука.

— Шунечка, доброе утро,— скромненько говорила Вера, заглядывая через порог.— Чего тебе подать?

— Чаю с калачом, варенье абрикосовое.

Проходило две-три минуты, и являлась Вера с подносом, где было все то и только то, что требовалось: чай горячий, душистый, свежезаваренный (Шунечка не терпел перестоявшего), белый мягкий калач с мучнистой корочкой, разогретый, слегка подрумяненный, темно-рыжее, нежно-густое варенье... И надо всем этим — улыбка. За годы супружеской жизни Вера Платоновна выучилась улыбаться, какие бы кошки ни скребли на душе, быть всегда свежей, подтянутой, оживленной. Вот и сейчас, после работы на жарком солнце, она была свежа, причесана, сбрызнута одеколоном. Садилась напротив мужа, не распускаясь, не разваливаясь, прямо и стройно, с ямочками на веселых, юных щеках, и любо было смотреть на ее полные, гладкие, золото-загорелые руки...

Удовлетворенный Шунечка, выпив свой утренний чай, целовал жену в щеку и милостиво ее отпускал. Сам же, в трусах, садился в кресло читать книгу. Книг у него было немного, но он их любил.

Заботы по дому были строго разделены. Сад, огород, кухня, белье — это Верочка. Сарай починить, уплатить налоги, провести воду, оборудовать чердак — это все Александр Иванович. С годами он стал хозяином солидным, рачительным, разумно расчетливым, без мелочности и скупердяйства, знал цену всему, и себе в частности. Разные Коли теперь к столу не допускались, принимались по второму разряду — в кухне.

Особой стороной жизни, особой заботой и радостью были дачники. Летом, для пополнения бюджета, Ларичевы сдавали часть дома, но не кому попало, а по строгому выбору. Тут Александр Иванович был привередлив, не терпел в доме плохого общества. Хорошим обществом были люди высокого полета — профессора, артисты, генералы. Сам выученный, как говорится, на медные деньги, Шунечка ценил образование, но с достоинством, без подобострастия. Снять дачу у полковника Ларичева было честью, доступной не всем. Дом был добротен, уютен, изобретательно ухожен. Комнаты — светлы, высоки, просторны, украшены занавесками, свежо надутыми ветром. А всего важнее, что дачники чувствовали себя не дачниками — гостями. К их услугам были и сад, и огород со всем там произрастающим, и смуглые персики, и матовая малина, и беседки, и розы, и просторный стол под грецким орехом, и смех и оживление милой хозяйки, и умная беседа видавшего виды хозяина. Вечером в беседке, увитой розами, ставилось на стол холодное кисленькое домашнего разлива вино, к нему — козий сыр, колбаса, нарезанная толстыми, в палец, ломтями (вкус Александра Ивановича).

Светлый рогатый месяц высился в небе, прохладный морской ветерок обдувал щеки, и светлая радость сидела за столом в лице белокурой хозяйки.

«Рай»,— говорили гости. И, подлинно, рай. Мудрено ли, что они, раз приехав, стремились сюда опять и опять? У Ларичевых дачники жили из года в год, становились своими людьми, как бы членами одной сложной веселой семьи...

29

Из года в год приезжал старик академик Красовский, историк древнего мира, с худенькой, нервной, нежно-озабоченной женой.

Он был бел как лунь, она рыжа как белка, они ласково бранились, любя друг друга; предметом спора были лекарства, которых никто из них принимать не хотел, но непременно велел принимать другому. Он был светом ее жизни, единственным смыслом; когда он говорил, она глядела ему в рот и кивала маленькой рыжей головкой, напоминая старинную фарфоровую игрушку — кивающего китайца: такие когда-то ставились на камин; Вера еще помнила одного такого в детстве, в том доме, куда они с матерью ходили стирать. Разговор академика был умен, несколько

усложнен старомодными формами вежливости: «соизвольте выслушать», «прошу извинить», но, слушая его, Вера как бы воочию видела Древний Рим с его фонтанами и колоннами, струящиеся, красным окаймленные тоги, видела неистово храбрых легионеров, сражавшихся голыми, но с большими щитами... «Понт Евксинский»,— говорил академик, протягивая руку к синему морю... Вере нравилось, что они живут на берегу Евксинского Понта...

Раза два снимала комнату у Ларичевых знаменитая артистка Маргарита Антоновна Кунина — лауреатка, народная, веселая, орденоносная, гремевшая по всей стране (на улице за нею бегали мальчишки и кричали: «Тэрзай меня, тэрзай!» — фразу из нашумевшего фильма, где она играла престарелую кокетку). Маргарита Антоновна была и впрямь немолода, нисколько этого не скрывала и на сцене не боялась быть старой (она и в юности играла старух), но в своей откровенной немолодости была прекрасна. Собственно, красивой она не была никогда, но что-то было в ней — мимо красоты, поверх красоты — неотразимое. Какая-то продувная веселость, владение своим телом и речью, бурлящий комический дар. Глаза — черно подведенные, пламенно-серые. Шапка мятых, плохо завитых, пестро-седых кудрей. Великолепное неряшество в одежде (могла надеть разного цвета чулки, и когда ей на это указывали, отвечала: «Чистая условность. В средние века вообще так носили»). Великолепное презрение к моде. Глубокий, вибрирующий голос (почти бас), неровно накрашенный рот, папироска, присохшая к верхней капризной губе (клочочки бумаги с нее она срывала ногтем), а все вместе — чудо! Александр Иванович, вообще-то не терпевший неряшества, в Маргариту Антоновну был просто влюблен. Весь сиял, когда она была рядом, ради нее надевал не только брюки — пиджак! Усевшись в кресла, они вели долгие утренние беседы (когда Вера ненароком входила, Шунечка сухо говорил: «Оставь нас»). Маргарита Антоновна загадочно играла подведенными глазами, ужимчатым плечом... А Вера нисколько не ревновала, напротив, радовалась за Шунечку. «Надо же дать животному попастись»,— говорила она матери.

Несколько лет подряд приезжала из Москвы семья генерала Ивлева — жена, Марья Ивановна, черноглазая толстуха с вечной завивкой, веселая, но паническая, топавшая по двору зелеными босоножками, и двое сыновей-погодков, Пека и Зюзя,— сущие дьяволы, но с обаянием. Старший — худой, начитанный, остроумный, младший —

амурно-пухлый красавец, невежда. Порознь они были еще ничего, но вместе образовывали взрывчатую смесь.

Попали они к Ларичевым случайно: мать на лето повезла мальчиков к морю, искали дачу, зашли напиться да так и остались. Зюзя заявил: «Никуда больше не пойдем, мне здесь хозяйка нравится». Вера растрогалась (Зюзя и в самом деле был неотразим в своей красоте дворянского недоросля). Как раз в то время в доме пустовала комната, и Вера, с разрешения Шунечки, сдала ее пришельцам. Пека и Зюзя прижились тут, как в родной семье. Шунечке эти разбойники нравились; со старшим он играл в шахматы, с младшим вел душеспасительные беседы. Он был единственным человеком, которого они слушались, хотя мать, Марья Ивановна, нередко давала волю рукам... Как-то, рассердившись на Зюзю, она отхлестала его по щекам кухонной тряпкой; «Концерт для тряпки с оркестром»,— иронически комментировал Пека,— досталось и ему... В доме держать мальчиков было нельзя из-за их изобретательной шкодливости; Шунечка поселился с ними на чердаке, где они спали на полу, в обстановке спартанской, но уютной. Вера Платоновна туда не забиралась — на приставной лестнице кружилась у нее голова, так что на чердаке образовался некий мужской заповедник. Мальчики быстро его обжили и до того распустились, что однажды стали оттуда поливать соседей какой-то сомнительной жидкостью (потом клялись, что водой). Соседка Анна Михайловна (пострадавшая) — весьма и весьма толстая женщина в сарафане, открывавшем голую четырехэтажную спину (Шунечка говорил про нее, что она «в розвальнях») — отчаянно бранилась, крича: «Знаю я этих хулиганов, не такие они люди, чтобы водой брызгаться!» Хулиганы, присмирев, таились в углу чердака, а генеральша в отчаянии плакала под грецким орехом.

Вера Платоновна все уладила, уверив Анну Михайловну, что в глечике была именно вода (сама, мол, ее на чердак ставила). Шунечка, пока шел скандал, ни во что не вмешивался, а когда все кончилось, вызвал к себе мальчиков и что-то им внушал наедине (может быть, даже и с ремнем), после чего они дня два были как шелковые. На третий день младший, Зюзя, подрался на дворе с псом Куцым: отнимал у него кость, и Куцый, естественно, его покусал. Генеральша опять впала в отчаяние, собралась везти сына в Пастеровский институт на предмет прививок от бешенства. Но Вера Платоновна ее отговорила: «Из них двоих бешеный он,— сказала она, указав на Зюзю.— Это Куцему

надо делать прививки!» Марья Ивановна быстро утешилась — она вообще быстро расстраивалась и быстро утешалась,— махнула рукой и сказала: «Пусть бесится!» Разумеется, никто не взбесился... Генеральша-то вообще была ничего, нечванная, даже где-то там работала, преподавала. Детей воспитывать она решительно не умела. Генерал, ее муж, от этого занятия разумно самоустранился.

Он тоже иногда приезжал к Ларичевым — худой, узкий, ученый, похожий на Пеку (название его специальности Вера не могла не только запомнить, но и повторить). Генерал к дачам вообще относился скептически («Зачем снимать дачу? Отключу свет, водопровод, перестану спускать воду в уборной, за хлебом буду ездить в Дорогомилово и брать не белый, а черный,— вот тебе и дача!»), но для Ларичевых он делал исключение. Приезжал на неделю-другую, как говорил, «в целях инспекции». С Александром Ивановичем они подружились и, сидя в беседке за стаканом вина, вели разговоры на военные темы, спорили о какой-то Зеебрюггской операции (а Вера и не знала, что ее Шунечка — такой образованный...).

30

Приезжали не только дачники, но и просто гости. Например, сестра Женя с мужем Семеном Михайловичем. Он был в свое время очень и очень крупный деятель, но теперь, в какую-то струю не попав и ослабев здоровьем, вышел на пенсию. Был он одышлив, тяжел, тучен и до того порабощен женой, что глядеть было жалко. «Семен, дует, закрой окно», «Семен, где мои туфли?», «Семен...» «Эй, Иван, чеши собак!» — бормотал про себя Ларичев, очень эту пару не одобрявший. Впрочем, и самой Жене — теперь Евгении Платоновне — у Ларичевых не очень-то нравилось. Удобства самые примитивные, купаться ей было нельзя, так что море отпадало. Питание требовалось особое, диетическое (какие-то паровые пульпеты). Анна Савишна старалась-старалась, а никак не могла угодить столичной гостье. Да что там — столичной! Подымай выше: Женя много бывала за границей, любила про это рассказывать, выходило, что ездила она сама, а Семен при ней, вроде сопровождающего. В Париже делали ей прическу — нечто волшебное! «Прямо на голове, без всяких бигуди, намочил составом, уложил, высушил, расчесал — сказка!» Внешне с годами изменилась сильно, хотя по-прежнему считала себя красивой и часами сидела у зеркала, по-разному напу-

ская на брови и лоб волнистую челку. Она располнела, но как-то неровно, кучами: живот тяжелый, ноги тонкие. Когда-то нежные черты лица огрубели, смазались; она казалась теперь не моложе, а старше сестры. Больше всего ее старило вечно обиженное лицо. «Уксус и горчица»,— говорил Александр Иванович. Глядя на сестру Женю, Вера задумывалась: а не добрую ли услугу оказал ей самой Шунечка, приучив всегда улыбаться? Так сказать, озарив вечной молодостью?

Сестре Жене у Ларичевых не нравилось еще и потому, что Семен Михайлович очень уж расцветал в присутствии Веры, пускался в шуточки, дарил шоколад... А этого Евгения Платоновна ой как боялась! За нынешним мужем только не догляди — уже за чью-то юбку уцепится. Один раз прогостили полный месяц, другой — уехали, не дожив срока. По дороге на вокзал Евгении Платоновне попал в туфлю камешек, и она невыразимо страдала. «Семен, вытряхни»,— и страдальческое стояние на одной ноге, с опорой на его плечо, пока он, пожилой и тучный, вытряхивал туфлю... Оказалось, что это не камешек, а гвоздь.

Одно лето приезжал в гости сын Александра Ивановича Юра — теперь уже взрослый, полный, гладкий, женатый; жена Наташа с рыжим перманентом, детей нет. Мать его, Анна Петровна, давно умерла, Юра с отцом переписывался редко и мало. Александр Иванович с ним не нежничал, но и не ссорился; поселил гостей в чуланчике при кухне (кажется, Наташа с рыжим перманентом обиделась) — в доме яблоку было негде упасть. Юра называл Веру Платоновну «мачеха» — видно, для юмора, и вообще был чужой, далекий. Глядя на него, Вера пыталась и не могла найти прежде любимые черты — даже лоб у него растолстел, хотя, кажется, лбы не толстеют... Пожили, погостили, уехали...

Одно лето — вскоре после того, как дом был достроен,— Вера выпросила у мужа позволение пригласить в гости Машеньку Смолину с детьми. Он согласился, но неохотно. Машу он недолюбливал, опасался ее влияния на жену, а дети наводили его на воспоминания о том, как он пришел с войны, как застал Веру не одну...

Приехали. Вовус совсем большой, говорит басом, кудри на голове, как змеи Горгоны Медузы — только что не шипят. Глаза серо-зеленые, озорные, насмешливые, на носу горбинка. «Здравствуйте, тетушка»,— как чужой... «Что же ты, так и будешь мне «вы» говорить?» — «Извините...» Сама Маша постарела, чем-то раздражена, с большим седым волосом в одном усе, с новой манерой стряхивать на

пол пепел своих папирос... Узнаваема, до боли, была одна Вика — тоненький человечек в пустых штанах (платьев она не признавала). Хрупкое тельце, улыбка бледненьких губ, открывающая трогательную пустоту на месте выпавших передних зубов... Пенно-вздыбленные кудри, ночные глаза...

— Вика, маленькая, ты меня не узнаешь? Это я, тетя Вера.

— Здравствуйте,— вежливо сказала Вика.— Вы не скажете, где конец света?

— А на что тебе?

— Хочу знать. Если долго-долго ехать на поезде, а потом долго-долго — на самолете, и еще немножко — на пароходе, это и будет конец света?

— Думаю, что нет.

— Тем хуже. Где-нибудь он должен быть...

— Солнышко мое! До чего же ты стала большая, умная... Давай поговорим. Я ведь тебя давно не видела. Ты кем хочешь быть, когда вырастешь?

— Когда-то хотела быть милиционером. Раздумала. Потом — водителем такси. Тоже раздумала. Теперь я хотела бы работать в цирке.

— Кем?

— Слоном...

А Шунечке Вика не понравилась: «Какой-то недоносок». Он любил все мощное, крупное, сильное. Недаром он полюбил Веру.

...В общем, гармонии с гостями не получилось. Особенно Шунечка невзлюбил Вову. Змеи Горгоны Медузы несказанно его раздражали. «Ты бы подстригся, молодец»,— сказал он однажды. Вовус поглядел непочтительно и даже позволил себе усмехнуться. С тех пор он больше для Шунечки не существовал. За столом хозяин глядел сквозь него, в коридорах и на террасе не замечал. Вовус, по совету Веры Платоновны, даже подстригся, но и за это не был удостоен взгляда...

Плохо вязалась с домом и Маша, как-то очень уж по-докторски авторитетная. Шунечка не любил людей, которые знают, ка́к надо, он и сам это знал. Маша с годами стала речиста, непрестанно курила (Александр Иванович только морщился). Была бесцеремонна, не уважала порядка, заведенного в доме, на «Шунчика» смотрела иронически (очень становясь при этом похожей на Вовуса), высмеивала его

султанские замашки, даже передразнивала: «Эй, там, на камбузе!» «Машенька, ради бога, тише!» — шептала Вера. Она все трусила, ожидая взрыва. Но взрыва не последовало: Александр Иванович крепко держал себя в руках, законы гостеприимства были для него святы. Так или иначе, месяц был дожит.

Расставались, в общем-то, с облегчением. «Вот ведь как бывает,— думала Вера,— живешь с человеком, как с самым родным, делишь с ним и стол, и кров, и детей, а проходит время...» Грустное было это прощание — грустное и невразумительное... Вера провожала Машу с детьми на вокзал, поезд подали на какой-то другой перрон; пока нашли... Вика в новых штанах, которые сшила ей тетя Вера (по кошке на каждом колене), была целиком поглощена новой заводной машиной, все время пускала ее по перрону, под ноги прохожим, и в любую минуту могла упасть на рельсы... Вовус, усмехающийся каким-то своим внутренним мыслям, так и не привыкший называть Веру на «ты»... Все это мучительно мельтешило, Вера с Машей так и не успели поговорить.

Неожиданно прозвучало по радио: «Провожающих просят покинуть вагоны».

Как покинуть? Уже? Бросились друг другу в объятия. На мгновение — прежняя близость, любовь, понимание. Мгновение кончилось, поезд ушел.

Уехали, больше не приезжали. Вера не очень-то и настаивала. Маша Смолина, когда-то самая близкая, уходила все дальше. Письма становились все реже, взаимный интерес слабел. Вот уже Вера и подолгу о Маше не вспоминала. Это было там, в какой-то другой жизни. А настоящая жизнь — сегодняшняя, реальная — текла из года в год, из лета в лето, с плантациями, розами, гостями, дачниками, со сложным, но благоустроенным хозяйством, которым Вера Платоновна управляла веселой, но твердой рукой. В летнее время дачники жили не только в доме, но и на террасе, в сарайчике, на чердаке. Всех надо было устроить, облучить, связать, разговорить, познакомить. В моменты «пик» — в дни наибольшего скопления людей — Вере Платоновне просто из-под земли приходилось добывать койки, подушки, постельное белье. «Ты у меня прямо хозяйка гостиницы»,— шутил Шунечка, когда был благодушен...

Давно это было... Как-то сейчас обернется жизнь?

31

На другой день после похорон приехал сын Александра Ивановича Юра с женой Наташей. Жена Наташа постарела, перманент стал еще рыжее, огнистее, во рту — золотой зуб. А сын Юра еще погладчал, стал похож на пирожное эклер в розовой глазури. Он поцеловал мачехе руку, жена Наташа бросилась ей на шею, театрально рыдая...

— Простите, не успели на похороны,— сказал Юра,— поверьте...

Чему в таких случаях предлагается верить? Наташа продолжала рыдать. «Когда ты, дурища, от меня отлипнешь?» — нелюбезно думала Вера. Наташа отлипла. В Вере проснулась хозяйка.

— Пойдемте, я вас устрою.

— Мы только на один день,— сказал Юра,— дела...

Наташа шарила глазами по стенам, по потолку, как бы выбирая, оценивая. За обедом все выяснилось: приехали они по поводу наследства. Юре, как сонаследнику, причиталась четверть дома; в доме было три комнаты и кухня, не считая чердака и каюты-люкс.

— В крайнем случае, можно разгородить,— сказала Наташа.

«Черта с два вы у меня получите четверть дома,— думала Вера Платоновна, любезно обхаживая гостей (выучка ее была безотказна).— Все сбережения отдам, а в дом к себе не пущу. Рыжая ведьма».

Юра осторожно завел речь о сбережениях.

— Сберкнижка единственная, на мое имя,— сказала Вера Платоновна с самой любезной своей улыбкой, а подумала: «На-кася, выкуси».

— До ввода в наследство еще полгода. Я буду советоваться с юристом,— глазурно сияя, сказал Юра.

— Конечно, посоветуйтесь, время еще есть,— ответила Вера Платоновна. («Черта с два получишь ты у меня четверть дома!»)

Оказывается, что-то ее еще интересовало. А она думала — все кончено...

Вечером пришла Маша Смолина — веселая, бодрая.

— Ну вот, дорогая моя. Хватит распускать нюни. Я тебя устроила на работу.

— Как? Куда?

— В гостиницу «Салют», дежурной по этажу.

— А я справлюсь?

— А то нет! У тебя — огромный опыт работы с людьми. И, самое главное, приспособляемость. Я не могла бы...

На другой день Юра с Наташей уехали. Прощаясь, Наташа опять плакала у Веры на плече, а Вера, поверх ее головы, смотрела прямо в глаза Юре, нахально улыбаясь; Юра глаза опустил. А еще на другой день уехала Маша Смолина, предварительно сводив Веру в гостиницу «Салют» и договорившись, что та выйдет на работу через месяц. Вера с матерью остались одни в пустоватом доме, среди весенних роз — все это, и дом, и розы, Вера впервые ощутила своим и готова была за это свое драться...

И еще через два дня уехала сама Вера в военный санаторий на Карельском перешейке, под Ленинградом. Путь далек, впереди неизвестное, жизнь не кончена.

32

Военный санаторий стоял на берегу моря — не моря, собственно, а мелкого залива, известного под именем Маркизовой лужи. На горизонте Кронштадт, где иногда золотой искоркой светился купол собора. Вокруг — Кронштадта — форты, похожие на расползшихся черепах; один из них, загадочный, назывался «Чумной форт» — там, говорят, когда-то ставились опыты с чумой. Была поздняя весна, здесь, на севере, еще запоздалая против обычных сроков. На деревьях чуть проклевывались почки, из земли, из-под сосновых игл лезла негустая нежная трава. А соснам весна была нипочем — они стояли себе, шумя на ветру. Вдоль берега сохли подпертые кольями рыбачьи сети, лежали кверху дном черные лодки. Сети пахли рыбой, лодки — смолой.

Сезон здесь еще только начинался. Санаторий был заселен главным образом отставными полковниками, генералами — все важные, тучные, медлительные, сердечники. Они ходили по кольцевой тропинке, именуемой «терренкур», и после каждой сотни метров присаживались отдохнуть. В столовой они были серьезны, озабоченны, долго выбирали меню на завтра, заказывали овощи и салатики, явно тоскуя по свиной отбивной. Говорили о разгрузочных днях, о том, кому и сколько удалось сбавить... Вера Платоновна, в черном, наглухо закрытом платье, вела себя более чем сдержанно и в общение не вступала.

Жила она в палате на двоих. Соседка — стройненькая дамочка лет сорока с войлочно-взбитыми, светло-соломенными волосами — вдова солиста армейского ансамбля песни и пляски: «Мой муж был крупным артистом — жест, обаяние, кудри из-под фуражки. Женщины так и лезли на стенку, на стенку...» Смысл ее жизни был в заграничных поездках — муж возил ее по всему миру. Франки, доллары, лиры — твердые, падающие, стабильные... Столько-то валютой получал муж — целое состояние.

— И, знаете, я считаю, что нужно иметь джерсовых костюмов минимум пять. На все случаи жизни. Очень практично. Прекрасно чистится, не растягивается...

У самой у нее джерсовых костюмов было восемь. Узнав, что у Веры нет ни одного, она снисходительно усмехнулась — усмешкой белого колонизатора над примитивностью дикаря.

Целыми часами она делала себе педикюр, подняв колено к самому подбородку. Лак наносила тонкой кисточкой; сегодня он был ярко-розовый, завтра — перламутровый, послезавтра — лиловый...

— Ничто так не старит женщину, как неухоженные ноги.

Звали соседку Ляля — Ляля Михайловна.

— Я очень нежная по природе. Знаете, когда умер муж, я была просто в отчаянии. Решила покончить расчеты с жизнью. Пришла в ванную с бритвой. Вскрыла себе вены, руки в воду — и жду. В это время приходит мой знакомый, ну, в общем, друг. Звонит — я не отзываюсь, руки в воде, истекаю кровью. Взломал дверь, ворвался в ванную, меня — на руки, на кровать, другой рукой звонит по телефону — неотложку. Спасли. Так я осталась жить.

— А детей у вас не было?

— Было двое. Умерли. Честно говоря, я о них не жалею. Когда умер муж, я в тысячу раз больше переживала...

— Вы, значит, одна живете? — с личным любопытством спрашивала Вера Платоновна.

— Нет. Не выношу одиночества. Живу с тем, который ворвался. Спас мне жизнь. Если бы не он, я была бы уже в крематории, а это, согласитесь, не очень приятно. Купил мне путевку. Санаторий — дерьмо. Мне, по состоянию здоровья, нужны жемчужные ванны. Приезжаю, требую. Нет жемчужных — одни углекислые. Как вам это нравится? В Карловых Варах все разновидности ванн, массаж, уход за телом — вот где можно помолодеть! А здесь —

минимум культуры. К тому же, мужчины... Видели вы где-нибудь таких мужчин? С ним целуешься, а рука на пульсе: нет ли инфаркта... Нет, спасибо — в первый и последний раз я сюда приехала...

Однажды Вера Платоновна вышла к обеду и увидела за столом нового человека: молодой подполковник, лет тридцати пяти. Что-то в его облике ее поразило. Вглядываясь, она поняла: да, что-то общее с молодым Шунечкой. То же удлиненное, властное, победительное лицо. Те же ровные, соболиные брови. Даже цвет глаз — желтовато-горчичный... Только черты лица помельче, поженственней, и волосы не те. Жиденькие, гладко через всю голову зализанные распадающимся зачесом. Так мужчины, дорожащие своей красотой, прячут лысину. У Шунечки-то была копна...

Вера смотрела-смотрела на нового соседа, и у нее болело сердце, не как-нибудь фигурально, а обыкновенной физической болью. Подполковник, видимо, что-то почуял и на Верины робкие, из-под ресниц, взгляды отвечал вполне откровенными. После обеда:

— Разрешите вас проводить?

— Пожалуйста,— ответила Вера, сама ужасаясь своей сговорчивости. Но ведь это молодой Шунечка ее звал...

— Вы к себе, в палату? Спите после обеда?

— Нет, никогда.

— Тогда не пройтись ли нам?

— С удовольствием.

— К морю?

— Пусть будет к морю.

И вот идут они по пляжу, по песку. Песок белый, тонкий, под ногами не скрипит, нежно поддается. От белесого моря тянет холодом; оно мелко, плоско, скупо замкнуто сереющим горизонтом; далеко уходят в него округленные, чайками засиженные камни. Время от времени с какого-нибудь из них лениво вспархивает чайка и равнодушно парит над водой. Вера невольно сравнивает это море — с тем, этих чаек — с теми... Какое может быть сравнение? Там море яркое, сине-сапфирное, песок темный, скрипучий, радость неистовая. Здесь все скромно, лысовато, подержанно. Как истая южанка, Вера Платоновна прелести севера не понимала. Так вышло, что гидом, путеводителем, открывшим ей северную прелесть, оказался новый

знакомый — подполковник, похожий на Шунечку. Звали его Виталием Петровичем, фамилия — Кораблев. Долго-долго гуляли они в тот вечер (даже ужин пропустили), а ночь все не наступала...

— Наши белые ночи,— сказал Виталий Петрович.— Видите, какая белизна в небе?

Над морем, давно погасившим закат, но полным жемчужного света, лучами расходились тонкие белые облака. В неверном ночном свете лицо спутника казалось прекрасным.

— Слышите, поют комары? Тонкая-тонкая песня, словно жалоба. Грустят — скоро конец их короткой жизни...

— Виталий Петрович взял Веру под руку:

— Вот и наша с вами жизнь коротка, не длинней комариной...

Каждый вечер они ходили гулять, и он объяснял ей стройный, тонкий, звенящий северный мир. Знакомил с березами, угощал кисличкой. Белая ночь вставала на цыпочки, куда-то тянулась, взлетала, и вслед за нею тянулось, взлетало, падало сердце. Под черными соснами было темно, там ворохами лежали сосновые иглы — мягкие, пружинящие под ногой. Там, на этих иглах, под этими соснами Виталий Петрович Веру поцеловал. Поцелуй был легкий, невластный, короткий, как комариная жизнь. Самой себе ужасаясь, она закрыла глаза...

— Называй меня Талей,— сказал он в истоме.

Целыми днями они были неразлучны. Расходились только на ночь — на белую, короткую ночь. Ляля Михайловна была недовольна:

— Нельзя возвращаться так поздно. Мне для цвета лица необходимо выспаться...

Вера не слушала: она спешно ложилась в постель. Мешали, никак не укладывались большие, утомленные ходьбой, неухоженные ноги. Мешали мысли: что же я делаю, что? Залетный, одинокий комар пел у нее над ухом — вот-вот сядет, укусит. Она шлепала себя по щекам, по лбу, комар увертывался, опять пел. «Сорок пять лет, сорок пять лет...» — пел комар.

А время шло, с каждым днем урезая само себя, грабя ее, обкрадывая. Две недели оставались, потом — одна, потом — ничего... Верин срок кончился, она уезжала, Таля еще оставался. На пальце у него обручальное кольцо — в первый раз надел. Таля, Таля... Спасибо тебе за все...

— Мы еще увидимся,— сказал он.— Я тебе буду писать.

— Ну, будь здоров.

Что это было? Любовь? Нет. Слава богу, до любви не дошло...

33

Гостиница «Салют», куда Вера Платоновна поступила работать, была не первоизрядная, но и неплохая. Здание новое, похожее на соты, с балконами-лоджиями, однообразно покрывающими фасад. На первом этаже — буфет, парикмахерская, подсобные помещения. На втором — жилые номера: двойные, тройные. На третьем — одиночные и люкс. Выше, на четвертом,— многоместные, человек на семь-восемь, типа общежития. Вера работала на третьем этаже. Столик с телефоном, над ним — доска с крючьями, на которые вешались ключи от номеров. При каждом ключе болталась пузатая деревянная груша, специально придуманная, чтобы не клали ключей в карман, не уносили с собой. Впрочем, кое-кто ухитрялся уносить и с грушей.

Вера Платоновна — светлая, завитая, надушенная — сидела у телефона, отвечала на звонки, записывала приезжающих в книгу, вручала ключи, принимала их, вешала на доску. Казалось бы, немудреные обязанности, но поначалу работать было нелегко. День — 12 часов подряд, сутки отдыха; потом ночь — 12 часов подряд, тут уже двое суток отдыха, и опять — день... С непривычки ей было трудно, особенно ночью. Днем еще туда-сюда: за разговорами, личными и телефонными, за хлопотами мелькающей гостиничной жизни время шло быстро, почти незаметно. Сменялись у столика люди — приходили с просьбами, претензиями, требованиями, а то и просто поболтать, пошутить. Постояльцы третьего этажа были почти все мужчины, командированные, не первой молодости, с положением, при деньгах. Приятно было такому постоять у столика, а то и присесть рядом, болтая с дежурной. Всегда улыбающаяся, красиво причесанная, чуточку подкрашенная, Вера Платоновна действовала на немолодых, усталых, жизнью и женами притесненных людей как волшебный напиток. Шутка, смех, уютные движения полных, женственных рук — и вот уже ответственный расцветал, переставал чувствовать свой живот, начинал петушиться, острить...

В присутствии Веры всегда люди были склонны ценить самих себя и от этого становились лучше... Гости приезжали, уезжали, возвращались, радостно ее приветствовали: не забывали. Иногда кто-нибудь от полноты чувств подносил ей подарок: коробку конфет, букет роз... Вера Платоновна подарки любила, особенно розы.

Конечно, в ее работе не все были розы — были и шипы, и ох какие... В обязанности дежурной по этажу входило наблюдение за порядком, борьба с пьяными...

— Вера Платоновна, триста пятнадцатый опять напился, посуду бьет,— докладывала горничная.

Вера бежала на сильных, быстрых своих ногах к триста пятнадцатому номеру, стучала в дверь. Из номера доносились стоны. Дверь заперта. Из-под порога — лужа.

— Товарищ Михеев, впустите меня. Я — дежурная по этажу.

— Ммм... ррр... ка, ка, ка,— невнятно бормотал Михеев.

Вера запасным ключом отпирала дверь, входила в номер. За столом, уронив голову на руки, сидел немолодой мужчина и рыдал. На полу валялся разбитый графин, вода текла к двери.

— Ну, ну, ну,— говорила Вера Платоновна,— каждая жизнь имеет свои сложности, я вас понимаю, но все-таки вам лучше лечь...

Михеев плакал пьяными слезами, ловил ее руку — поцеловать. Вера смеялась.

— Вера Платоновна! Радость моя! — рыдал Михеев.— Если б вы знали...

— Знаю, все знаю.

Потихоньку-полегоньку она подталкивала его к кровати.

— Смотрите, я вам подушечку взбила. На такую подушечку да не лечь...

— Пустите, я пойду. Набью ему морду.

— Завтра набьете. Никуда он не денется. А теперь лягте на подушку. Договорились?

— Ммм... ррр... ка, ка, ка,— бормотал Михеев, укладываясь.

Назавтра Вера Платоновна весело, как ни в чем не бывало, встречала смущенного Михеева и выписывала ему квитанцию на стоимость разбитого графина...

Тяжелы были ночи. Спать на дежурстве не полагалось. Вера Платоновна даже в кресло не садилась, чтобы не задремать. Сидела на жестком стуле, читала книгу. Строки

путались, исчезали, голова падала, книга — тоже. Ночью наваливались воспоминания. Жизнь с мужем вспоминалась как светлая, привольная, было жалко себя. Днем Вера себя не жалела — только ночью, на дежурстве.

Впрочем, были и ночью забавные происшествия. Приехал как-то в гостиницу дед из глубинки, дремучий такой. Просил самолучший номер. Как раз на третьем был свободный люкс — администраторша ему выписала. Дед уплатил вперед за три дня и не поморщился (видно, был при деньгах). Вера ввела его в номер.

— Самый лучший? — недоверчиво спросил дед.

— Будьте покойны, лучше не бывает.

Ночью снизу раздался стук. Прибежала дежурная первого:

— Вера Платоновна, там ваш старик буянит.

Вера сбежала вниз. В вестибюле, у огромной стеклянной двери стоял дед из люкса и бил в нее кулаком.

— Швейцар отлучился,— чуть не плача, объяснила дежурная,— дверь заперта. Он и шурует...

Вера схватила деда за локоть:

— Перестаньте сейчас же, вы этак дверь высадите! Что вам нужно, зачем стучите?

— Выйти до ветру,— заявил дед глубоким басом проповедника.

— Господи, да у вас же в номере туалет!

— То-то и есть, дочка... Дала, говоришь, самый лучший номер, а нужник — в хате...

Кое-как уговорила деда, объяснила ему устройство канализации...

В общем, если разобраться, жизнь у нее была скорей веселая, хоть и трудновата. И очень она любила свой дом. Радостный, ясный, привольный — истинно свой. Четверть дома сонаследнику Юре она не отдала, сговорились на денежной компенсации. Стоило ей это почти всех сбережений — зато сама себе, всему дому хозяйка и нет рядом родственного рыжего перманента...

Как и предсказывала Маша, пришлось начать свертывать свое хозяйство. Первыми ушли куры. Потом стали уменьшаться плантации: не было ни сил, ни времени все обработать. От большей части земли она отказалась; половина отрезанного участка, с плодовыми деревьями, виноградниками и кой-какими строениями, отошла к соседу Михаилу Карповичу; на другой половине начал строительство белым кирпичом отставной полковник, давно уже стоявший на очереди. Огородные культуры Вера Плато-

новна резко сократила: салат, редисочка, клубника — только для себя, три-четыре грядки. Зато розы! Тут уж Вера дала себе волю. Целые заросли роз, всевозможные — и классические розовые, и чайные, и алые, и темно-красные, цвета запекшейся крови,— они цвели на колючих стеблях этакими принцессами. Хозяйка изнемогала от любви к розам, знала каждую в лицо, ходила к ним на свидания, касалась щекой прохладных, по краю трубчатых лепестков. Розы позволяли себя любить равнодушно, чванно, время от времени отряхиваясь и роняя круглую каплю росы... «Ну, точь-в-точь как сестра Женя с Семеном,— думала Вера.— Впрочем, пускай себе капризничают: что не позволено человеку, позволено цветку...»

Домашнее хозяйство вела Анна Савишна — большая в этом деле искусница. Умягченная годами, тихая, молчаливая, она двигалась по дому неспешно, как добрый дух. Всюду доходили ее ловкие руки, зоркие темные глаза. Мать и дочь любили друг друга нежно, преданно, без лишних слов.

Непривычной радостью было для Веры чтение без помех. Когда-то, еще в гарнизонах, пристрастилась она к книгам. Последние годы Александр Иванович, отставник, все время был дома и требовал неусыпного внимания. Не то чтобы он запрещал ей читать,— просто не находил нужным. Застав Веру с книгой, он всегда давал ей какое-нибудь поручение по хозяйству. Теперь читай сколько угодно, было бы время. Времени-то как раз было у нее маловато, и читала она не так уж много, но со вкусом, всласть. Отлично помнила прочитанное, рассказывала матери, иной раз развивая и украшая по-своему. Самая заурядная книга становилась у нее увлекательной. «А он что? А она что?» — спрашивала Анна Савишна. «А он... а она...» — импровизировала Вера. Она видела героев как будто в театре, расставляла их по-своему. Ах, театр! Редко-редко приходилось ей там бывать, а любила, очень любила.

34

Прошло уже больше года после смерти полковника Ларичева, и к Вере Платоновне начали свататься женихи. Еще бы, невеста завидная — и дом, и сад, и нрав. Женихи подсылали соседок, разведывали. Некоторые отпадали сразу же, другие удостаивались смотрин.

— Отчего же, в конце концов, не устроить мне свою жизнь? Если, конечно, человек попадется хороший...

— Верно, дочка, верно.

Приходил жених — немолодой, солидный, редковолосый, а то и вовсе лысый. Вел разговор культурный — про погоду, про климат, про влияние на него атомных взрывов, про международное положение... Излагал свои взгляды на жизнь. Взгляды были, в общем, правильные, разумные (кто же в теории их не придерживается?), но скучные до судорог в челюстях.

— Я, знаете, как рассуждаю? Я рассуждаю, что не в деньгах счастье. Было бы здоровье.

«И с таким — чужим, противным — надо будет жить рядом? Ложиться в постель? Боже упаси!» — думала Вера.

Сватовство всякий раз кончалось ничем. А жених обижался: чем он нехорош? Один, особенно гадкий, скорбный, с волосами в носу, пообещал даже «ославить на всю округу». Его Вера Платоновна с наслаждением выгнала...

— Мама, отчего они все такие четвероногие? — жаловалась она.— За двуногого я бы, пожалуй, вышла...

— Где же его взять, двуногого? Подожди, авось сам придет.

Из женихов главным и самым устойчивым был сосед Михаил Карпович, в прошлом хозяйственник, ныне пенсионер (это ему отошел Верин участок с плодовыми деревьями и виноградом на корню). Он вечно возился в саду, как трудолюбивый жук. Крепкий хозяин, он любил собственность, как коллекционер любит редкие вещи. И жениться-то мечтал главным образом для округления собственности: соседний обширный участок давно его соблазнял. Лично Верой, в плане любовном, он не интересовался: стар был.

— Вам, Вера Платоновна, в самый раз теперь устроиться. Лучше меня не найдете. Нынешний жених ненадежный: хап-хап, продал, уехал, а ты кукуй. Женщина вы еще молодая, жить вам хочется. Я это понимаю, не препятствую — живите себе на здоровье. Бывает муж, как собака на сене: сам не ест, другим не дает. Я не такой. Мне чтобы уют был в доме, пища хорошая. Вот вы вареники с вишнями хорошо делаете — это я люблю. А тинти-финти, фигли-мигли — пускай кто моложе занимается. Ну так как же, по рукам, что ли?

Михаилу Карповичу Вера согласия не давала, но и окончательно ему не отказывала, обижать не хотела, все шуточками отделывалась. Да и помощью его она все-таки дорожила. Ходил он к ней на правах, как она говорила,

«заместителя по хозяйственной части». Владел топором, отверткой. Когда надо было что-нибудь прибить, починить, призывался Михаил Карпович. Он приходил, пожилой, обстоятельный, чинил и вздыхал:

— Вот что значит дом-то без хозяина. Ну, как, не надумали еще, Вера Платоновна?

— Нет еще, Михаил Карпович,— смеялась Вера.— Очень мне моя жизнь нравится. Сама себе хозяйка, что хочу, то и делаю. Давайте останемся друзьями, идет?

— Друзьями,— бормотал Михаил Карпович.— Это вас книжки испортили. «Ах, дружба! Святое чувство!» А жизнь-то, она своего требует, чтобы все как у людей. Ох, подумайте, Вера Платоновна! Как бы вам счастья своего не упустить. Потом кусай локти, что упустила.

— Ничего, как-нибудь...

Михаил Карпович удалялся, ворча:

— Гуляй-гуляй, все равно моя будешь.

А иной раз она, после особенно трудного дежурства, измученная, лежа в постели с ноющими ногами, вдруг и сама задумывалась: «А уж не согласиться ли? Все-таки опора». Но тут же отвечала себе: «Нет». И еще раз, решительно: «Нет».

Туго было с деньгами. Верин оклад маленький, к нему материна пенсия — совсем гроши. А дом требовал денег. Очень он был прожорлив: то крышу поправить, то забор, то цистерна с водой прохудилась... Вера с Анной Савишной из одного долга вылезали, в другой влезали. Решились, не без колебаний, на крайнее средство: стали брать заказы — платья шить. В работе недостатка не было — было бы время. Приходили заказчицы — чаще всего полные, гляделись в зеркало, поджимая живот. У Веры была легкая рука на полноту, умела так скроить, чтобы скрыть изъяны фигуры. Шила не по журналам, сочиняла фасоны сама. Платья всегда были уютные, милые, какие-то радостные. На скромных белые воротнички, на нарядных — вышивка, стеклярус, блестки, что-то забавное, елочное... «Как вы помолодели! — говорили ее клиенткам.— Как хорошо выглядите!» Кроила и мерила Вера, строчила и обметывала Анна Савишна — все на совесть, каждый шовчик, как бисерный... И все-таки денег не хватало. Заказы, дачники, а оглянешься — снова нет. Затеяла Вера провести газ. А на какие средства? Заняла денег, начали копать канавы. Вдруг, нежданно-негаданно, среди всех хлопот, еще одно событие:

приехал Таля, Виталий Петрович, санаторский знакомый. Писать не писал, пропал в неизвестности, и вот — явился лично. Красивый, желтоглазый, вкрадчивый. Кольца на пальце нет.

— Принимаешь меня, Верочка? Или я не вовремя?

— Какой вопрос!

Захлопотала — радостная, праздничная, по-новому молодая. Сразу десять лет с плеч. Шепотом матери:

— Мама, это ничего, что он приехал?

— Ничего, дочка, живи в свою радость. Я ли тебя попрекну? Дай тебе бог здоровья, счастья.

— Мамочка, ты у меня сокровище, ни у кого такой матери нет.

— Полно, дочка, не хвали, а то загоржусь...

Устроили Виталия Петровича в отдельной комнате, бывшей Александра Ивановича, на большой тахте под часами. После ужина легли спать — он у себя, Вера Платоновна — у себя. Легли, помолчали.

— Верочка, радость моя, зайди ко мне,— сказал Кораблев разнеженным голосом.

Босыми ногами по холодному полу побежала за зов. Смеясь от радости, легла на его твердую руку. Дура — чуть было не вышла замуж. Целую ночь тикали часы, отмеривая счастье.

Таля, оказывается, заехал на пару дней, по пути в санаторий, в Гурзуф.

— Понимаешь, Верочка, не мог тебя забыть. Другие забываются, а ты — нет. Тянет к тебе как магнитом. Глаза твои голубые так и вижу. Руки твои — веселые, добрые...

Лениво, грациозно потянувшись, он поцеловал ей руку. Вера прямо купалась в потоке давно не слышанных слов... По-прежнему не дела любви были ей важны, а слова...

Таля прожил не два дня, а целых четыре, послал телеграмму, что задерживается по болезни. Тем временем катался как сыр в масле. Обедал по-царски. Спал до полудня на пышном ложе с кружевными пододеяльниками. Каждое утро находил на ночном столике свежие розы — ради него Вера изменила своему правилу роз не срезáть. Стряпала вдохновенно впервые за много лет. Вспомнила самые заветные, «подкожные» секреты старого Никодимыча: паштет из гусиной печенки, суп с сыром, пирожки

с шампиньонами... Таля кушал изнеженно, томно, с повадками актера, первого любовника, и говорил:

— Изнемогаю от наслаждения.

На пятый день, несмотря на изнеможение, он уехал. Веселый, нежный, чуточку лысый, уклончивый. Насчет будущего разговоров не было. Он стоял на палубе парохода, Вера — на пирсе. Он махал фуражкой, придерживая ладонью на темени распадающийся зачес...

Деньги, отложенные на газ, были прожиты. Да что газ! Будь она, женская слабость, проклята... Вера поплакала-таки...

— Мамочка, ты меня не осуждаешь?

— Что ты, дочка, мне ли тебя осуждать?

— Именно тебе, ты всю жизнь прожила как монашка.

— А что хорошего? Плохо я жила свою жизнь.

Уехал Таля и опять не писал. Сначала ждала, а потом уже перестала.

35

Ух, как плохо было с деньгами. Газ все-таки провели — снова вошли в долги. Дом-обжора требовал-требовал, а сам почти ничего не давал. Вера продала золотую брошку, единственную свою драгоценность, запонки Александра Ивановича — дом все проглотил и не поморщился. Михаил Карпович теперь на Веру дулся, видимо, за Талю (а ведь обещал свободу полную, если за него выйдет!), и по хозяйству не помогал. Хочешь не хочешь, надо было продавать часть дома. А не хотелось! И тут ей, можно сказать, повезло. Из Москвы приехала старая знакомая, давнишняя дачница Маргарита Антоновна Кунина, народная артистка, звезда московских театров. Теперь эта звезда близилась уже к закату, не по таланту (он был по-прежнему блестящ), а по состоянию здоровья. Годам к шестидесяти заболела она астмой, стало ей трудно играть на износ (иначе она не умела). Врачи посоветовали переменить климат, лучше всего — к морю. И вот она переселилась в родной Верин город, получила, в обмен на московскую, отличную квартиру на главной улице, а у Веры Платоновны купила половину низа: большую комнату с отдельным входом, с чуланом, который тоже мог сойти за комнату. Там был ее гримировальный кабинет.

Вера сначала расстраивалась, что пришлось продать часть дома, а потом вышло даже к лучшему. Маргариту Антоновну она от души полюбила. С того самого дня, когда

Кунина впервые появилась в доме — еще при Шунечке. Вера вошла в столовую и увидела в кресле пожилую женщину с ярко-серыми смеющимися глазами.

— О, моя дорогая,— сказала Маргарита Антоновна глубоким, басовым, вибрирующим голосом,— какая же вы большая! Когда вы вошли, мне показалось, что вы на лошади...

Вера была покорена с первого слова. Она, как все люди с истинным чувством юмора, не прочь была посмеяться сама над собой...

В свое время Вера с восторгом приняла Маргариту Антоновну — дачницу. Теперь, с готовностью — Маргариту Антоновну — совладелицу. С готовностью, постепенно переходившей в восторг. Конечно, ей льстила огромная известность Куниной. Стоило той появиться где угодно — на улице, на пляже,— сразу вокруг нее скапливались толпы. Кунину знали все. Опять мальчишки бегали за ней по пятам и кричали: «Тэрзай меня, тэрзай!» Она останавливалась и отгоняла их мечущими молнии серыми глазами. Когда на нее нацеливались фотоаппаратами, она поворачивалась спиной и говорила: «Умоляю, снимайте сзади, там я всего лучше...» В местном театре, где ее приняли с молитвенным благоговением, она играла редко — раз в два-три месяца, и каждый раз театр был переполнен. «Кунина, браво, Кунина!!» — и на сцену летели букеты цветов, не жиденькие, как на севере, а тяжелые, основательные, падавшие со стуком. «Благодарю вас, благодарю, друзья мои»,— томно вибрируя голосом, говорила Кунина, а зрители вопили пуще и пуще. Букеты доставляли на дом поклонники и поклонницы...

— Опять я со своими вениками,— рокотала Маргарита Антоновна.— Верочка, моя дорогая, приютите их, поставьте хоть в ведра...

Вообще, славу свою она любила, делая, впрочем, вид, что ее презирает. В сущности, верно было и то и другое. При случае тоже могла сама над собой посмеяться...

— Послушайте, Верочка, какой со мною произошел случай. Убедилась в правоте Пушкина.

— Ну, ну, расскажите,— радовалась Вера, предчувствуя потеху. Уж больно озорно светились большие, подведенные глаза.

— Была я вчера в вашем знаменитом театре оперы и балета. Давно мне говорили: «Сходите, не пожалеете». Пошла. Не жалею. Смотрела «Спящую красавицу». Все балерины, во главе с самой Спящей, выше средней упи-

танности. Когда прыгают, жиры так и трясутся. Ну, думаю, про этих не скажешь: «Летит как пух от уст Эола». Таких не Эолами, а домкратами подымать...

— Это и была правота Пушкина?

— Нет, слушайте дальше. Значит, сижу я, наслаждаюсь дурной радостью. В антракте, как полагается, вышла в фойе: людей посмотреть и себя показать. Ну, показала! Иду и страдаю от своей славы: все на меня глаза так и пялят. Больше, чем всегда: прямо плаваю на волнах обожания. И досадно, и приятно. И тут подходит ко мне одна и тихо, на ухо говорит: «Товарищ Кунина, я очень извиняюсь, но у вас сзади небольшой беспорядок». Оглянулась и что же вижу? Ужас! Сдуру напялила юбку наизнанку. Это бы еще ничего, беда в том, что она у меня с изнанки заплатана красным. И зад у меня, как у павиана!.. Ах ты, черт, думаю: вот тебе и слава! Не зря сказал Пушкин: «Что слава? Яркая заплата...»

Вера помирала со смеху. Вообще, она обществом Маргариты Антоновны наслаждалась безмерно. Любила ее и на сцене, и дома. Дома даже больше, чем на сцене. Там и там Кунина играла — не могла не играть. Но на сцене она оставалась в пределах одного, прекрасно вылепленного, но единственного образа. Дома она играла с великолепной раскованностью, то и дело переходя из образа в образ. Могла делать это даже в пределах одной фразы: начинала ее в одном образе, кончала — в другом. Стоило видеть, какую серию спектаклей разыгрывала она, скажем, на базаре, покупая рыбу в рядах. Лорнет, прижатый к серому глазу, томный, ныряющий, барственный голос: «А она у вас, милая, не с душком?» Торговка, естественно, громко протестует против такой клеветы на ее товар: «С душком?! Чтобы я так здорова была, как моя рыба с душком!» И тут, внезапно, полное превращение: вместо томной дамы с лорнетом кричит как будто бы другая торговка рыбой — вздорная, сварливая, отлично владеющая всем набором южных побранок. Минуты две-три длится препирательство, за которым с интересом следят соседки по рыбному ряду. Преимущество явно на стороне Куниной, с ее поставленным голосом. Еще минута — и удаляется с рынка усталая, низенькая, скромная старушонка...

Потребность играть была в ней неистребима. Даже когда нападала астма, Маргарита Антоновна страдала броско, с пафосом. В груди у нее начинала сипеть шарманочка, каждый выдох вырывался со свистом. Она играла умирающую — искренне, но все же играла...

Приступы чаще всего бывали по ночам. Маргарита Антоновна стучала по трубе отопления — для этого у нее на ночном столике всегда лежали клещи. Услышав стук, прибегала Вера. Маргарита Антоновна говорить не могла, объяснялась жестами. Она рисовала в воздухе чайник, льющуюся воду — настолько реально, что даже как будто слышалось бульканье. Вера бежала в кухню, грела воду, наливала в таз, ставила туда крупные, неповоротливые ноги Куниной. Сидя в кресле, с ногами в тазу, Маргарита Антоновна погружалась в эффектное умирание. Она, столько раз умиравшая на сцене, и тут не могла отказаться от сценичности.

— О боже мой, боже,— сипела она,— это конец. Итак, мне суждено умереть молодой... Имейте в виду, что я вам завещаю свои полниза...

Вера, испуганная, бежала к соседу Михаилу Карповичу (там был телефон), вызывала неотложку. Маргарите Антоновне делали укол, ей становилось легче. Приоткрывались страдальческие глаза, рука тянулась поправить взмокшие кудри.

— О, моя дорогая,— говорила она полузадушенным, но звучным шепотом,— вы моя спасительница! Не знаю, что бы я делала без вас! Возьмите мою бриллиантовую восьмерку...

— Что вы, Маргарита Антоновна, бог с вами, не надо мне никакой восьмерки...

— Не спорьте. С умирающими не спорят.

«Восьмерка», о которой шла речь, была старомодная брошь из довольно крупных бриллиантов в платиновой оправе. Она досталась Маргарите Антоновне от какой-то прабабушки; носить ее на груди в наше время было бы все равно что водить на цепочке слона. Эту вещь Маргарита Антоновна время от времени дарила Вере. Она была щедра, но забывчива. Отдаст, например, на улице все свои деньги кому-нибудь, кто об этом и не просит совсем, забудет и ищет по дому пропавшую сумму. Смешнее всего получилось с квартирой. Убедившись, что городская квартира ей ни к чему — все равно пустует,— Маргарита Антоновна подарила ее театру. Подарить оказалось не так-то просто (в нашем быту такие подарки не предусмотрены), но в конце концов она своего добилась. В квартиру въехали новые жильцы, Маргарита Антоновна забыла об этом, в рассеянности пришла домой, открыла дверь своим ключом и, только увидев новую обстановку, вспомнила, в чем дело...

А с бриллиантовой восьмеркой творились вообще чуде-

са. Даже забывчивая Маргарита Антоновна подозревала, что тут не все чисто. Подаренная восьмерка каждый раз возвращалась к хозяйке, на ее гримировальный стол. Там, в клубах париков, красок, украшений и рисовой пудры, можно было потерять и найти что угодно. Маргарита Антоновна вообще была мастерица терять. Путь ее был усеян окурками, квитанциями, шляпами и банкнотами. Теряла и искала, находила, опять теряла. И каждая потеря, каждая находка — как мастерски сделанный этюд из книги Станиславского «Работа актера над собой». Впрочем, Станиславского Маргарита Антоновна терпеть не могла за его, как она выражалась, «лошадиную серьезность» («Надо же было ухитриться сделать из игры — работу!»). Для Маргариты Антоновны, напротив, всякая работа была игрой — даже когда она стирала носовые платки. «А не в том ли секрет счастья, думала, глядя на нее, Вера,— чтобы из работы сделать игру?» Кое-чему она здесь училась, кое-чему уже выучилась...

36

В целом, несмотря на трудности, жизнь была неплохая, а если вглядеться — и совсем даже хорошая. У Веры такая была особенность: стоило ей хорошенько вглядеться, и появлялись светлые точки. Роились, как звездочки. В каждом плохом позволяли найти хорошее.

Денег нет? Разумеется, плохо. Но зато какая радость, когда они, наконец, появляются! Дважды в месяц у Веры был праздник зарплаты. Когда она шла домой с получкой, небольшая, но тугая пачечка денег весело жгла ей сумочку изнутри. Не чьи-нибудь,— собственные, лично заработанные, хочу — трачу так, хочу — иначе! Шла мимо магазинов и мысленно тратила деньги. Все ее привлекало: белье нежных расцветок с пенными кружевами, пестрые косынки, блестящие серьги — Вера была падка на блеск, как сорока. Все это было как бы доступно, на миг, воображенный,— ее.

— Мама, я опять сегодня принарядилась. Всю дорогу шла и покупала, покупала...

— Что же купила-то? — спрашивала Анна Савишна, улыбаясь глазами.

— Ох, и не говори! Кабачки, постное масло, лук, селедка. С бриллиантами решила пока повременить. Не все сразу.

— Правильно, дочка, не все сразу.

— На журнал подписалась, «Иностранная литература». Это ничего, мама? Такое расточительство...

— Что делать, коли душа требует.

— А вот и тебе подарочек.

Вынимался какой-нибудь кошелек, или носовой платочек, или игольничек. В дни Вериных получек каждый в доме получал хоть пустяшный, а подарочек, даже Кузьма — пузырек валерьянки.

А с садом как получилось? В свое время ох как жалко было, когда отошел он к Михаилу Карповичу со всеми службами — летней кухней, курятником, гаражом (Александр Иванович гараж построил, только машины купить не успел). А вдумаешься — и появляются светлые точки. В самом деле: ухаживать за садом не нужно, а фрукты Михаил Карпович даром приносит.

— Кушайте, Вера Платоновна, сколько душе угодно. Ну, как, еще не надумали?

— Нет еще, погожу немножко.

Видно, он и сам теперь не больно-то надеется на Верино согласие, да, пожалуй, и не очень его жаждет, а спрашивает так, для порядку...

У самой Веры, после того как отдала участки, остался совсем маленький клочок земли. Зато какие на нем розы, как пышно заросла беседка, какая над ней благоуханная луна летними вечерами! Полить такой участок недолго, подстричь — одно удовольствие. Перед сном не падаешь с ног, можно еще побаловать себя, почитать в постели.

А дом? Уж как горевала, когда пришлось продать половину низа! Думалось: свое, заветное — в чужие руки отдать! А теперь даже рада, что так получилось. Рядом — Маргарита Антоновна, близкая, веселая, милая, талантливая. Спасибо ей, в театре теперь Вера бывает часто. Скажет в кассе «для Куниной» — и ей почтительно вручают контрамарку. Иногда ходит одна, иногда — с кем-нибудь из сослуживиц. А иной раз и сама Анна Савишна раскачается. Ходит, впрочем, только на спектакли, где играет сама Маргарита Антоновна; глядя на нее, смеется до слез и приговаривает: «Наша-то, наша!»

Дачников, правда, селить теперь негде. Поскучнее без них, зато и забот меньше. При нынешней Вериной жизни тяжелы были бы ей еще и эти заботы — и в гостинице обслуживать, и дома. А самых близких она всегда разместит — не у себя в комнате, так на чердаке. Чердак все еще не достроен, по нехватке денег, порядочный дачник туда не полезет, зато живут там почти каждое лето генеральские

сыновья, Пека и Зюзя, которые вымахали выше притолоки, но все еще ссорятся и даже дерутся. Эти ребята ходят у Веры в «приемных племянниках», помогают ей поливать розы и ездят на базар за покупками. Когда на чердаке идут баталии и падают с грохотом какие-то вещи, Вера Платоновна говорит изумленному гостю: «Не обращайте внимания, это у меня домашний Синг-Синг».

А вот Маша Смолина — самая близкая из близких — та после похорон так и не приезжала. Жила она теперь за тридевять земель, на Дальнем Востоке; тут не больно-то разъездишься, через всю страну. Увез ее туда один из пациентов, по профессии художник, влюбленный в дальневосточную природу, но изображавший ее настолько «обобщенно», что признания не получил. Кажется, впервые на Машином пути появился «принц Уэльский», но уж лучше бы он был не принц — характер у художника был ох какой, гонор чудовищный, заработков никаких, перспектив — тоже. Был он лет на двенадцать моложе Маши, о чем она писала тягостно-шутливо, упрекая себя в «старческой глупости». Тем не менее жили они с художником прочно и всерьез, даже зарегистрировали брак в загсе (раньше Маша таких церемоний не признавала).

Память о Маше, тревога о ней жили в Верином сознании, но как-то отдаленно, не настоятельно — уж очень много было здешних, сегодняшних, неотложных забот. Даже дети, Вовус и Вика, когда-то такие близкие, тоже както отдалялись, виделись, словно сквозь кисею, особенно Вовус, запомнившийся в последний его приезд взрослым, высоким, высокомерным... Иногда вспоминались, и то не часто, Викины ночные глаза, и тогда Вера чувствовала легкий укол в сердце...

Сегодня ее больше всего занимала работа. Работа была как требовательный, строгий, придирчивый муж, с которым трудно жить, но которого все-таки любишь. А трудно было подчас, и очень. Изнурительное раннее вставание, толкотня по автобусам, круговорот мелких гостиничных дел: кто-то напился, пропала простыня, протекла крыша, приехала комиссия... Иногда Вера приходила домой полумертвая. Дрожали руки, ключ не попадал в скважину... Только бы добраться до постели, рухнуть и спать. Но это были минуты. Стоило ей умыться горячей водой, переодеться в домашний, с птицами, японский халат, сунуть ноги в бархатный уют разношенных тапочек, как появлялись

светлые точки. «Верочка, дорогая,— рокотал глубокий голос Маргариты Антоновны,— а я заждалась, ни за что не хотела без вас обедать...» Слышались легкие войлочные шаги Анны Савишны, спешившей на кухню греть обед. Усталость таяла. За столом Вера сидела уже мужественно улыбаясь. Маргарита Антоновна бурно восторгалась всем, что подавалось на стол: «Боже мой! Что за рыба! Это какой-то копченый ангел — нечто небесное!» Белая скатерть, хрустальные подставки для ножей и вилок, салфетки в серебряных кольцах (на всей этой старомодной бутафории очень в свое время настаивал Шунечка) создавали бодрящее чувство праздника. Вот уже Вере и не хотелось спать. А все — улыбка. Та самая, которой требовал от нее Шунечка: «Пойми, я не хочу никакого притворства. Но управляй своим настроением. Улыбнись — и тебе самой станет весело». Теперь она понимала, что это правда.

37

А на работе, в общем-то, было хорошо. Даже интересно. Пустяковая должность — дежурная по этажу, но Вера и на этой должности умела себя проявить. Постояльцы любили ее, баловали, наперебой за нею ухаживали. Оставалось это, конечно, на уровне слов, но Вере слова-то и были нужны. Книга жалоб и предложений была полна благодарностей по адресу милой, любезной, заботливой хозяйки третьего этажа (некоторые, от избытка чувств, писали даже в стихах). Директор гостиницы Борис Григорьевич, болезненно тревожный немолодой человек с язвой кишечника, ходивший на работу с бутылкой кефира в портфеле, очень ценил Веру Платоновну и всячески ее поощрял: представлял ее к премии ежеквартально, повесил ее портрет на Доску почета. Слабый, необразованный, неодаренный, он жил в непрестанной тревоге человека, которому вот-вот дадут коленкой под зад. Каждый день он переживал как небольшую, карманного размера, трагедию. Вера Платоновна была ему как спасательный круг.

В гостинице все были уверены, что тут не без амурных дел — и напрасно, амур здесь и не ночевал. Просто привязанность слабого к сильному. Может быть, даже ребенка — ко взрослому. Борис Григорьевич, как всякий человек, не приученный ни к какой инициативе, был ребячлив и робок. С его лица не сходило детское изумление: что это вокруг происходит? И как вообще может что-то происходить? В сложном хозяйственном быту, где так много неписаных

правил, он судорожно хватался за писаные и вечно попадал впросак. Многие правила и впрямь устарели, ловкие люди умели их обходить, а он — нет. Призрак уголовной ответственности терзал его ежечасно. И зачем только он взялся не за свое дело? Повернись жизнь иначе, был бы он научным работником. В свое научное призвание он верил неукоснительно, хотя ничему никогда не учился. Когда очень уж обступали тревоги, он брал телефонную трубку и набирал «три ноль ноль». «Третий этаж слушает»,— отвечал нежный и веселый, с картавинкой, голос — и ему становилось легче.

— Вера Платоновна, зайдите ко мне на минутку, если можете.

Стук по лестнице — не легких, а каких-то проворных, веселых шагов, и она здесь. Милая!

— Садитесь, Вера Платоновна. Я тут с вами хотел посоветоваться...

Вынимались документы, счета, предписания. Для Бориса Григорьевича это был лес дремучий. Вера Платоновна всегда умела во всем разобраться, истолковать, присоветовать...

— Вот, новое предписание: в холлах иметь жардиньерки. Стыдно сказать — я не знаю, что это такое. Образования не хватает...

Вера Платоновна знала, что такое жардиньерка, но вполне допускала, что занятой человек может этого и не знать. Она сразу набрасывала на бумаге эскиз жардиньерки, как ее видела, соображала, где ее можно заказать, сколько это будет стоить... Слушая ее, Борис Григорьевич сам на время становился оптимистом. Он успокаивался, размякал, начинал откровенничать. Сложно, сложно все на свете, и работа, и семейная жизнь... «Да, сложно»,— кивала, соглашаясь, Вера Платоновна, но ему самому становилось уже не так сложно. А в гостиничном быту, по ее совету и с ее помощью, появлялись милые новости, что-то веселое, домашнее, нестандартное, и всегда в пределах сметы. Решетка с вьюнком наискось поперек окна, две астры в керамической вазе, румяное яблоко на тарелке... «А яблоко предусмотрено?» — тревожился Борис Григорьевич. «Из соседского сада принесу»,— говорила Вера.

Она хозяйничала с радостью, вкладывая в «предусмотренные» мелочи всю свою бытовую изобретательность, все свое уменье из пустяков создать что-то... Все было бы хорошо, если б не старший администратор Алла Тарасовна Зайцева, крепко немолодая женщина со смуглым граненым

лицом и такими густыми, сросшимися бровями, что они сливались в одну. Борис Григорьевич боялся ее как огня. Зайцева была из тех администраторов, которые свою малую, временную власть над людьми воспринимают как великую, вечную. Чиновничий абсолютизм. «Подождете»,— отвечала она на робкие напоминания о себе усталого, чемоданом обремененного человека. «Я уже три часа жду».— «Подождете и четыре». То, что Борис Григорьевич советовался с Верой через ее, старшего администратора, голову, раздражало ее безмерно. Раздражала ее и сама Вера, ее манера обращения с постояльцами, в которой ей чудилось что-то чуждое, буржуазно-американское. Раз дошло до нее, что дежурная третьего этажа принимает от проживающих цветы и даже — о ужас! — конфеты.

— Это не наши нравы,— сказала она Вере Платоновне.

— Да, это не ваши нравы,— дерзко ответила Вера.

— Я говорю «не наши» не в том смысле. Не лично мои...

— Я тоже говорю: не лично ваши.

— Берегитесь, Ларичева, я вас предупреждаю. Это плохо кончится.

— Спасибо, Зайцева, за предупреждение.

Может быть, и зря она так круто, но очень уж ее раздражала сплошная бровь...

Алла Тарасовна написала-таки донос в управление: дежурная третьего этажа Ларичева пренебрегает своими обязанностями, тратит время на флирт с проживающими, принимает от них ценные подарки. Приезжала комиссия, проверяла «по существу вопроса», вымотала нервы директору, персоналу, самой Вере Платоновне... Директор, разумеется, поджал хвост. Дело могло обернуться плохо, но вмешался некий «ответственный», как раз в то время проживавший в номере «люкс». Услышав громкий разговор у стола дежурной, он выплыл из «люкса» с висящими подтяжками (как корабль с повисшими парусами) и так отчихвостил председателя комиссии, что у того затряслись поджилки. Мало того — потребовал жалобную книгу и занес туда: 1) жалобу на работу комиссии и 2) пламенную благодарность дежурной В. П. Ларичевой. «А что такой женщине хочется подарить розы, то в этом она не виновата. Надо всем брать пример с нее в смысле обаяния». Комиссия вынесла благоприятное решение («факты не подтвердились»), а Алла Тарасовна так огорчилась, что даже слегла. Прошел слух, что она собралась на пенсию... Директор, ликуя мышиной радостью в отсутствие кота, назначил

временно старшим администратором Веру Платоновну. «А что, если не временно?» — думала она с волнением. Во всяком месте своя табель о рангах; для Веры должность старшего администратора, с ничтожным преимуществом в зарплате, была предметом честолюбивых мечтаний ничуть не меньше, чем звание члена-корреспондента в других кругах...

— Дорогая, вы созданы для руководящей работы,— говорила ей Маргарита Антоновна своим убедительным голосом.— Я бы, не задумываясь, назначила вас директором театра, а то и больше...

— Да бог с вами,— отнекивалась Вера,— мой предел — старший администратор.

— Не говорите. Я лучше знаю. Вы большой человек.

...Большой человек? Смешно, но приятно. Вера и сама чувствовала в себе какие-то способности, вроде сложенных крыльев, которые хотелось расправить. Иногда, на сон грядущий, она позволяла себе помечтать. Вот ее назначают старшим администратором... Директор полностью ей доверяет. Она делает в гостинице все по-своему. Приезжает комиссия, поражена идеальным порядком, уютом, выдумкой. Отмечает работу директора. «Нет,— говорит Борис Григорьевич,— я тут ни при чем. Это все наш старший администратор Вера Платоновна Ларичева». Комиссия докладывает министру. Приказ с благодарностью. Денежная премия: месячный оклад. Нет уж, мечтать так мечтать: двухмесячный. Вот когда куплю те янтарные бусы... А может быть, воротник из норки? Хватит на то и другое. И какая же ерунда лезет в голову, господи прости...

38

Прошло уже пять лет без Александра Ивановича. Вера привыкла к своей новой, самостоятельной жизни и о прошлом вспоминала нечасто. Дважды в год — в день рождения и в день смерти Шунечки — ездила на кладбище, возила туда цветы, сидела задумчиво на скамейке у могилы, но не плакала — вообще скупее стала теперь на слезу. Уходя, вздыхала уже не горестно, а легко. Что ни говори, сложилась ее вдовья жизнь неплохо, многие могли бы позавидовать. Сама себе хозяйка, ни от кого не зависит, долгов почти нет. И хорошо, что не связала себя, замуж не вышла. А что нет в ее жизни любви — что поделаешь, пора уже забыть

про любовь. Скажи спасибо, что есть здоровье, что ноги носят, что есть работа, мать, Маргарита Антоновна, поклонники... Нет, все-таки молодец ты, Вера, и жизнь хороша...

В таком настроении возвращалась она с кладбища. Дом ее ожидал, светясь в темноте розовыми окнами. Сейчас войду, мать захлопочет, разогревая обед, зазвучит из соседней комнаты богатый голос Маргариты Антоновны: «Верочка, вы? Зайдите сюда, моя прелесть». Хорошо дома!

...В доме стоял запах папирос, не тех «гвоздиков», что курила Маргарита Антоновна, а настоящих, толстых, типа «Казбек». Шунечка курил «Казбек»... Эх, Шунечка... Только что вспоминала без боли, а запахло «Казбеком» — и дух захватило...

Из комнаты навстречу ей шагнул человек среднего роста с папиросой в отставленной левой руке... Боже мой, неужели Таля? Так и есть — он, но до чего изменился, обрюзг, поседел, облысел. Но до чего же все-таки он, и, боже мой, неужели я его люблю?

— Принимаешь? — спросил Таля со знакомой ужимкой.

— Спрашиваешь!

Тут он ее обнял, поцеловал, прижал к себе. Что-то отчаянное было в этом объятии. Первые полсекунды Вера еще помнила о папиросе (упадет, прожжет ковер), но дальше обо всем забыла и поплыла...

Кончился поцелуй.

— Ну, как ты? — спросила Вера. Не так надо было спрашивать...

— Я-то? Ничего. Вот, приехал тебя повидать. Не возражаешь?

— Разумеется, нет.

— Голоден как собака. Покормишь?

— Что за вопрос? Когда я тебя не кормила?

— Ну-ну.

Вера пошла на кухню. По дороге ее перехватила Маргарита Антоновна и спросила театральным шепотом:

— Кто такой?

— Потише, пожалуйста. Один человек. Друг.

— Читай: любовник.

— Ну да. Только потише!

— Как это хорошо! Люблю любовь. Я за вас всю ночь молиться буду.

— Не надо за меня молиться. Идемте, познакомлю.

— Умираю от любопытства. Но нет. Буду тверда. Не хочу мешать. «Скажите Диане, дорогой моей Диане, что ее

спас граф Пум де ля Пум-Пум...» — «Боже мой, неужели вы ее брат?» — Но скитальца уже не было на пароходе.

— Что это? — спросила Вера в тягостном недоумении.

— Из какой-то дурацкой мелодрамы. Забыла фамилию графа. Тоже не хотел мешать. Исчезаю, исчезаю...

На кухне хозяйничала мать.

— Мама, Виталий Петрович приехал. Надо его накормить.

— А я уж обед разогрела.

— Мама, ты у меня сокровище.

— Молчи, дочка. Я что? Мое дело старое. Ты только счастлива будь, а я все подам, принесу.

Обедали вдвоем. Таля сидел напротив, как будто и не было этих четырех лет. И не так уж он постарел. Свет от кружевного абажура падал ему на лицо, и оно, испещренное светлыми точками, теперь казалось совсем молодым. Ел жадно, как едят люди, давно не обедавшие дома. Вера наливала ему суп, накладывала второе... Когда женщина кормит любимого человека, это не простой акт кормления — гораздо больше. В каком-то смысле это даже больше, чем акт любви...

Наелся, закурил. Вера унесла посуду, вернулась. Таля раздавил папиросу, встал, протянул к ней руки. В эти протянутые руки она упала и осталась в них до утра.

Длинная ночь. Часы тикают, часы идут, лунный свет перемещается по полу. Вере в лунные ночи всегда не спится — и вот и сейчас она не спит, думает. Внутри у нее любовь. Рядом спит Таля. Его щека небрита, дыхание несвежо. «Все равно я его люблю,— думает Вера.— Только почему он так мало говорил? Почему они, мужчины, так скупы на слова? И что они берегут, скряги? Дали бы мне волю, я бы рассказала ему, как я его люблю»...

Утром Вера ушла на работу — Виталий Петрович еще спал. Целый день мечтала о встрече. Но когда вернулась, Кораблев был мрачноват, рассеян, еле поцеловал руку. К обеду спросил водки.

— Талечка, нет у меня. Вот глупая, забыла. Давай сбегаю. Я быстро.

— Не надо. Это я та́к спросил.

Ел вяло, барабанил пальцами по столу, что-то насвистывал, хекал горлом, будто давясь. После обеда взял книгу, не

читал, только перелистывал. Зашла Маргарита Антоновна, Вера их познакомила. Кунина была великолепна — в лучшем своем платье, в парикмахерской завивке, глаза — чудо искусства (страшно было, как бы они не обрушились). Играя глазами, голосом, торсом, Маргарита Антоновна исходила обаянием. Камень бы не устоял. Таля даже не улыбнулся. Словно ему все равно было — Кунина, не Кунина... Маргарита Антоновна была несколько уязвлена, но украдкой шепнула Вере: «Я вас понимаю — это мужчина!» Вера по-молодому вспыхнула — от щек через шею на грудь... Маргарита Антоновна ушла. Остались вдвоем с Талей. Вера ждала: когда же слова? Слов так и не было. Легли молча.

А на третий день Кораблев пропал. Ушел, пока Вера была на работе, к вечеру не вернулся, не ночевал. Вера терзалась, воображая себе несчастный случай: скрип тормозов, кровь на асфальте... И ведь не сообщат, никто не знает, что Таля у нее живет. Ночь не спала. Утром звонила в милицию от соседа Михаила Карповича. Сказали, что автомобильных катастроф за истекшие сутки не было, но что в морге есть один труп в тапочках мужчины лет сорока. В тапочках? Таля ушел в сапогах... Михаил Карпович смотрел косо, ее поведения не одобрял. Ушла на работу, весь день терзалась, представляя себе труп в тапочках. Вечером Таля вернулся — помят, мрачен, пахнет вином. Вера выяснять отношения не стала: утро вечера мудренее, завтра поговорим.

Назавтра — воскресенье, утро солнечное, ветер с моря разумный, свежий,— самое время поговорить. Ровно, ласково.

— Послушай, Таля, где ты пропадал? Почему не пришел ночевать?

Кораблев горько ощерился. Был он в это солнечное утро, не под стать ему, тяжел, угрюм. Щетина на щеках — пестрая от седины.

— А что, мне уж отсюда и уйти нельзя?

— Можно, но лучше предупреждать, что не вернешься на ночь.

— Прекрасно. Отныне буду предупреждать. Что-нибудь еще тебя интересует?

— Да, конечно. Я бы хотела знать, на сколько времени ты приехал, что собираешься делать дальше?

— Многого ты захотела. Я и сам этого не знаю.

— Все-таки, объясни мне свои обстоятельства.

— Отлично,— Кораблев вскочил и зашагал по комнате.— Будете иметь объяснение. Так вот, обстоятельства мои неважнец. Из армии меня выперли.

— За что?

— Разве это имеет значение? Факт, что выперли. Сейчас я гражданское лицо, безработный. Устраиваю я тебя в таком виде?

— Ты меня устраиваешь в любом виде. На заработок твой я не рассчитываю.

— А вот жена моя другого мнения. Развелась.

— Ну и бог с ней, это ее дело. Не будем о ней думать.

— Не будем. Ты у меня одна. Знаешь, как я...

«Люблю тебя»,— не договорил. Голову уронил на стол и сказал сквозь зубы:

— ...устал.

Видно, и правда, человек устал. Вера устыдилась — до любви ли ему сейчас? Не приставать, оставить в покое, пускай отдохнет после переживаний.

К обеду опять попросил водки. Вера сбегала к соседу Михаилу Карповичу, заняла пол-литра. Он дал неохотно: «Эх, дешевите себя...»

По тому, как Кораблев налил рюмку, как поглядел ее на свет, понюхал, опрокинул в рот, было видно, что он пьет профессионально... У Веры заныло внутри. Пьянство как таковое на ее пути еще не встречалось. Шунечка выпивал, но по делу...

А Кораблев, как все привычно пьющие, пьянел быстро. Трех рюмок было достаточно, чтобы его повело. Он понес пространную, нудную чепуху. О чем — понять было невозможно. Какие-то соседи, сослуживцы, квартиры, начальство... Все время перескакивал с предмета на предмет. «Он, понимаешь, стоит. Она, с бородой, не та, а которая раньше была. Я говорю: «Что?» А у него машина...» Он хихикал, прищелкивал пальцами, переходил на английский язык, которого не знал вовсе. Где-то, в мутном потоке его речей, можно было уловить, что женщин было две, а может, и больше: «Моя законная зануда. А та, незаконная, муж с бородой, тоже зануда. Все они зануды»,— и считал по пальцам. Кто-то его обидел, кто-то от него отвернулся, кому-то он грозил кулаком. «Только ты одна»,— говорил он Вере, называя ее почему-то Софой. Вдруг, шатаясь, бросился к ее ногам, обнял стул вместе с ногами, заплакал.

— Таля, успокойся, выпей воды.

— К черту воду. Воды я не видал!.. А ты меня не бросишь, ты?

— Не брошу, успокойся. Встань.

Вдруг он заговорил почти связно:

— Помнишь Карельский перешеек? Белая ночь, комары... Как мы друг друга любили! Если бы не она...

Он выругался. Красноглазый, он был страшен.

— Таля, умоляю тебя, ложись спать.

— Я не могу спать. У меня бессонница. «Когда для смертного умолкнет шумный день...» Кто это сказал? Пушкин! Я культурен. А он не читал Пушкина. Я ему прямо так и сказал: вы мой начальник, но вы осел, вы не читали Пушкина. А она...

Еле уговорила его лечь в постель. Лег, захрапел сразу, как заведенный.

Вера пошла ночевать к матери, в каюту-люкс. Легли валетом, как когда-то с Машей. Обе плохо спали. Утром Вера ушла — Кораблев еще спал. Вернулась — он был тих, пристыжен, молчаливо галантен. Вскакивал, подавал вещи. Вечером, по предложению Маргариты Антоновны, играли втроем в преферанс. Таля проиграл рубль с копейками, был смущен, мялся. Вера за него заплатила.

Два дня прошли ни шатко ни валко: трезво, угрюмо. На третий день опять стал просить водки, да как-то нахально, злобно: «Что тебе, жалко для меня трешки? Не думал я, что ты скупа!» Вера, страдая, сбегала за бутылкой — и повторилось все сначала, как по нотам: быстрое, глупое опьянение, скачка мыслей, обнимание стула, слезы о Карельском перешейке, уговоры, укладывание, храп...

— Опять набрался? — осторожно спрашивала Анна Савишна.

— Опять, мама.

— Ох, беда! Зачем ты ему водку носишь?

— Боюсь, обидится, уйдет.

— Господи, напасть какая! Да что делать? Сердцу не прикажешь.

«Как это не прикажешь? — думала Вера.— На то я и человек, чтобы сердцу приказывать».

Вот и приказывала сердцу, а оно не слушалось, ныло...

Следующий раз, когда Кораблев попросил водки, она решительно отказала. Все ее привычное, десятилетиями взращенное гостеприимство в ней возмущалось, но — отказала. Он надулся, свистел, к вечеру ушел, вернулся пьяный.

— Таля, где ты пил? И на чьи деньги?

— Не на твои. От тебя копейки не получишь. И вообще, я думал, ты меня понимаешь! Черта с два. Ты не женщина, ты паук.

39

Так и пошло. Два-три дня трезвости, и опять срыв, водка, мрачное буйство, с каждым разом все грубее, бесцеремоннее... Трезвый Кораблев был слащаво смиренен, каялся, клялся не пить. «Ну, поверь мне, поверь!» Она сначала пыталась верить, а потом уже и не пыталась. Все это перерастало в какой-то сумрачный ритуал. В дни, когда Кораблев не пил, они с Верой ложились вместе. Радости ей от этого не было. Был он молчалив, рассеян, быстро засыпал, во сне стонал, мучился. А в дни, когда он был пьян, она ночевала у матери, уже не валетом, а на раскладушке. «Раз уж это становится бытом,— шутила она,— надо себе обеспечить минимальный комфорт». А это именно становилось бытом... И препротивным. Прошло два месяца, три — перемен не было. Вера отводила душу в беседах с Маргаритой Антоновной. Ту хлебом не корми, только дай поговорить про любовь.

— Главное, не могу понять саму себя,— жаловалась Вера.

— О, моя дорогая! Любовь это загадка. Всю жизнь думаю — целые умственные трактаты — и никак не могу решить: благодать она или проклятие? Не боритесь с собой. Любите, пока жива любовь.

— Не знаю, жива ли она. Скорее всего, уже нет.

— Тогда устройте ей пышные похороны...

Вопреки советам Маргариты Антоновны, Вера боролась с собой и, кажется, поборола. В одно воскресенье решила твердо и окончательно поговорить с Талей, выяснить отношения. Шунечка этого терпеть не мог («Вот так-то и теряют мужей!»), но что поделаешь, если иначе нельзя. Таля сидел у стола, трезвый, тихий, небритый и разгадывал кроссворд.

— Верочка, что это такое: предмет искусства, начинается на «а», шесть букв?

— Таля, нам нужно поговорить.

Он вздрогнул, как побитая собака,— всем телом.

— Пойми,— сказала Вера,— я больше не могу.

— Да, знаю, я вел себя безобразно, бессовестно. Клянусь, это в последний раз. Стану другим человеком. Ты мне веришь?

— Нет, но дело не в этом. Как ты думаешь жить дальше?

— Не знаю... Мне необходимо отдохнуть. Я устал, понимаешь? Все от меня чего-то требуют. Жена... Начальство... Теперь — ты...

— Я ничего не требую. Я, как друг, хочу тебе помочь.

— Мне нужна любовь, а не дружба,— напыщенно сказал Кораблев.

— Пусть будет любовь.

— Ты меня любишь?

— К сожалению, да.

— Так не любят. Когда любят по-настоящему, все готовы сделать для любимого человека. А я что от тебя вижу? Одни нравоучения. Никакой заботы.

Это было так обидно, что Вера заплакала.

— Не плачь, любимая,— сказал Таля, и так сказал, что у нее зашлось сердце...

Через неделю опять пропал, на целых две ночи. Вернулся мятый. Снова каялся. Да что тут говорить? Тысячи пьяниц каются и клянутся, клянутся и каются. Вера окончательно поняла, что и тому и другому грош цена. А главное, с каждым разом казался ей Кораблев все более глупым. Ничего не поделаешь — глуп...

— Увы, моя дорогая,— говорила Маргарита Антоновна,— тут ничем не поможешь. Есть французская поговорка: «quand on est mort, c'est pour longtemps, quand on est bête, c'est pour toujours». То есть, когда человек мертв, это надолго, когда глуп — навсегда.

— Понимаю. По-русски это короче: пьяный проспится, дурак — никогда. Показался сперва двуногим, а сейчас — на всех четырех... Ну, а делать-то что?

— Надо подействовать на его воображение. Скажите ему...

Тут следовал мастерски разыгранный этюд на тему: «Убитая горем жена убеждает беспутного мужа начать новую жизнь». Со становлением на колени, ломанием рук... Вера смеялась помимо воли, вытирая слезы с похудевших щек.

— Смех смехом, а все-таки что делать?

— Купите ему билет на поезд.

— Куда?

— Туда, где он прописан. Человек в нашей стране

должен быть где-то прописан. У него, кажется, есть жена? Отправьте его к жене!

— Она с ним развелась.

— Это плохо. Жена отпадает. Может быть, любовница?

— Кроме себя, никого не знаю.

— Плохо. Постойте-ка... Блеснула мысль. Сейчас модно ездить исправляться на целину. Отправьте его на целину. Он там исправится.

— Не поедет...

В общем, самой надо было решать. Никто не поможет. Машу бы сюда — посоветоваться... Но Маша далеко, пишет редко, и сама-то по уши в глупой любви. Нет, никто не поможет,— бери себя в руки, решай.

— Ну, ладно, Таля, даю тебе последний шанс. Еще раз напьешься — уходи из моего дома и больше не приходи.

— Шутишь? — спросил Кораблев, лукаво прищурив глаз. Он был трезв и относительно весел.

— Нет, не шучу.

— А любовь?

— Обойдусь без любви.

— Смотри, пожалеешь.

Надулся. Когда следующий раз пришел пьяный, Вера уложила его спать, а на другое утро сказала:

— Все. Вот тебе деньги на дорогу. Уезжай сегодня же. И не возвращайся.

— Вера, послушай...

— Слушать не буду.

— Но ты подумай...

— Не подумаю.

— Будешь жалеть!

— Не буду.

Ушла на работу. А ведь соврала, что не будет жалеть,— еще как жалела. Каялась, что не взяла в руки, не перевоспитала... Другие же перевоспитывают!

...И за примерами ходить недалеко. Взять, скажем, Соню Хохлову, дежурную четвертого этажа. Молодец женщина! Лет ей уже под пятьдесят, а не скажешь,— складная, свежая, подтянутая. Муж — бывший летчик, в отставке по болезни. Больно ударила его эта отставка, не мог примириться, что не у дел. Устроился по знакомству каким-то регистратором, работа, как говорится, «не бей лежачего». А ему подавай дело — привычное, кипучее. От обиды и безделья начал пить, прогуливать. Долго терпели

его на работе, временами он был совсем приличным человеком — добрый, обаятельный, пока не впадал в запой. Терпели-терпели, но все же наконец выгнали за пьянство. А у них с Соней трое детей: два сына и дочь, тогда были еще маленькие. После того как выгнали, муж запил вовсю, опустился до предела, пропивал даже банки с вареньем, что ей удавалось для детей на зиму заготовить. Над ней издевался, даже бил (правда, не часто). Как ей удалось все это вынести: стыд, и побои, и боль, но не развалить семью, а главное, не разлюбить своего Васю,— непонятно! Сейчас старший сын женат, работает на заводе, депутат райсовета — молодой, но очень уважаемый, серьезный человек. Дочь кончила курсы английского языка, летает стюардессой, премию получила на всесоюзном конкурсе. Младший кончает десятилетку, отличник, гордость школы. Словом, дети — один другого лучше. Соня и сама отличная работница, прямо влюблена в свое дело. А главное, золотой человек: во всем и во всех выискивает хорошее, так всегда старается все уладить и с таким отчаянием в худые времена говорила: «Не брошу я Васю. Он отец моих детей, и он хороший отец. Вася только опустился, а когда он трезвый, ему стыдно. И я ведь помню все хорошее, что было у меня с ним. А может, он еще перестанет пить». И перестал! Правда, сначала заработал туберкулез и шесть месяцев пролежал в больнице, а после больницы, вот уже больше года, не пьет... И Соня совершенно счастлива. А еще к тому же им дали трехкомнатную квартиру со всеми удобствами в новом районе: ему как ветерану войны. Раньше-то жили они в развалениом домике, в одной комнате, все впятером — ужас! А сейчас Соня, захлебываясь, рассказывает о горячей воде, о встроенных шкафах, о газовой плите и так далее... Кое-кто над ней за это подтрунивает, и зря: это ведь ее жизнь. И за всем этим Вася, Вася, гордость за него... Похорошела, помолодела, зубы вставила. Недавно, вернувшись из отпуска, со слезами рассказывала, как хорошо отдохнула, какой Вася был мягкий, внимательный, просто жених. «А вы, Вера Платоновна, говорили: брось его, толку не будет...»

Да, умеют же люди перевоспитывать... Но, видно, у нее, Веры, нет для этого душевного величия. И любви — главное, любви не хватает...

Полдороги у Веры навертывались слезы. Но к концу пути она с собой справилась и пришла в гостиницу как всегда — с веселой улыбкой. А там ее ждал сюрприз: приехал из-за границы знакомый дипломат, давний поклонник,

и привез коробку чулок, духи и компактную пудру. Вера благодарила, смеялась, а в душе все сверлило: «Может быть, зря я так, круто...» Все-таки горчичное зернышко любви в ней еще оставалось...

Вернулась домой. Кораблева не было. Мать сидела на кухне, вязала чулок. Совсем недавно она этому научилась — говорила, для нервов. Спицы шевелились неодобрительно.

— Ну, как у вас тут, мама?

— А что у нас? Тихо. Свистал-свистал, тюрлюрлюкал, побрился, взял чемодан и ушел. Ко мне заглянул — попрощаться. «Спасибо,— говорит,— мамаша, не поминайте лихом. Простите, если не так».— «Бог простит»,— говорю, а сама плачу...

Заплакала. Тут Веру что-то осенило:

— Послушай, мама, это ты ему деньги давала? Признавайся, ты?

Анна Савишна только голову опустила. Вера обняла ее за плечи и тоже заплакала.

— Дуры мы с тобой, дочка. Старая да молодая, а дурость одна.

Так, плачущими, застала их Маргарита Антоновна.

— О дорогая, я так вам сочувствую! Я-то знаю, что такое разбитое сердце...

— Ничего,— сказала Вера и выпрямилась.— Мое сердце не так-то легко разбить. Небьющееся мое сердце.

Вечером они с Маргаритой Антоновной раскладывали пасьянс (тоже для нервов). У той была заветная колода, привезенная из заграничной гастрольной поездки. Карты были тонкие, твердые, необычайно прочные (за три года не разлохматились, не загнулись по углам), но с какими-то неприятными, даже, пожалуй, преступными лицами персонажей — королей, дам и валетов («В этой колоде единственный порядочный человек — король пик»,— говорила Маргарита Антоновна).

Пасьянс был сложный, редко выходивший, и начал уже выходить, когда кто-то постучался в наружную дверь. Стук был неуверенный, робкий. Вера пошла открывать. Это был Кораблев — без шапки, без чемодана, как стеной окруженный сивушным запахом. Редкий зачес на темени стоял дыбом.

— Все пропил. Можешь меня гнать на улицу. Подохну, как собака.

— Входи. Ложись спать.

— Ты ангел,— захныкал он.

— Нет, я не ангел.

И в самом деле, ангелом Вера не была... Назавтра, заняв денег у Маргариты Антоновны, купила ему билет на самолет и шапку. Собрала чемодан — старый, еще Шунечкин, довоенный, с железными оковками по углам, теперь таких не делают. Положила туда белье, тоже все Шунечкино — две рубашки, двое трусов, носки, полотенце. Подумавши, прибавила электробритву... Кораблев был тих и покорен, как нашкодившее дитя, заглядывал в чемодан и все повторял: «Ты ангел». Кажется, он не осознал толком, что его выгоняют. Вера проводила его на аэродром, для верности. Последний поцелуй — и вот уже дежурная уводит его к самолету. Он идет покорно, небольшими поломанными шагами и издали похож на несчастного ребенка. Вот уже и оторвался от земли самолет. Вера чувствует, как что-то у нее внутри именно отрывается с болью...

40

Недаром говорится: беда не приходит одна. Не успела Вера проводить, оторвать от души и оплакать Талю, как новая беда: заболела мать.

В Вериной жизни мать как-то само собой разумелась. Всегда рядом, со своей любовью, заботой, тишиной, с легкими войлочными шагами из комнаты в кухню, из кухни в комнату. С особым жестом искривленного указательного пальца, которым она как-то по-своему, наискось, держала иглу... Когда Анна Савишна заболела, мысль о том, что мать не вечна, застала Веру врасплох. А ведь не вечна. Никто не вечен...

Началось с того, что мать, всегда такая ходячая — век на ногах! — стала полеживать. Приготовит обед — и ляжет. Встретит Веру с работы, накормит ее с Маргаритой Антоновной — и ляжет.

— Обленилась я, дочка. Опять лежу.

— Ну что ты, мамочка, лежи, отдыхай. Посуду я перемою.

— Не дам,— трубила Маргарита Антоновна,— через мой труп! Это я буду мыть посуду!

Анна Савишна порывалась встать. Знала она, как моет посуду Маргарита Антоновна. Каждый раз тарелки либо чашки недосчитаешься...

— Лежи, мамочка, лежи,— Вера надевала клеенчатый фартук.

Анна Савишна покорно ложилась. Всегда кроткая, но твердая, она стала покорной, и это Веру тревожило. И еще худоба. Никогда не была полной, а сейчас совсем высохла.

— Мамочка, что у тебя болит?

— Ничего не болит. Лень напала. Вот что значит за чужой-то спиной жить.

— Давай сходим к врачу.

— Вот еще фокусы: к врачу! Да как я ему в глаза погляжу? От лени, скажет, матушка, лекарство еще не придумано...

Вера все же позвонила в поликлинику, просила врача на дом. Долго допытывались: какая температура, да сколько лет, да на что жалуется? Предложили прийти на прием. Вера настаивала — на дом. Наконец, ей буркнули: «Будет врач», — и повесили трубку. Вера позвонила еще раз: «В котором часу?» — «Ждите в течение дня», — ответили ей, и сразу же короткие, раздраженные гудки... «Ну, можно ли так с людьми?» — думала Вера, положив трубку. Всеобщая, универсальная раздраженность на миг представилась ей как неодолимое зло...

Под вечер пришла участковый врач — серая, измученная, круги под глазами (этот вызов был у нее за день четырнадцатый). Осмотрела больную очень внимательно, хотя и сухо. Опять осведомилась, сколько лет, сказала: «Да, возраст...» Прописала порошки, спросила, где помыть руки. Вера ее отвела. Врач мыла руки долго и тщательно, как перед операцией, оглядывая каждый ноготь. Вера стояла рядом, держа полотенце, и размышляла: почему это надо мыть руки после осмотра, а не до, пока не поняла, что женщина так отдыхает. Что мытье рук для нее — блаженная передышка между двумя взлетами мучительного внимания. «А может ли для такой вот, измученной, работа быть игрой?» — подумала Вера и сама устыдилась. Не игра — подвиг, вот что это такое...

— Доктор, скажите, пожалуйста, что с мамой?

— Я вам сказала — возраст.

— Возраст не болезнь.

— Комплекс болезней. Ну, что вам даст, если я начну перечислять: гипертония, кардиосклероз, артрит, вялость кишечника...

— Так вы думаете, ничего серьезного нет?

— Ну, как сказать... Возраст — это вообще серьезно.

Тут она улыбнулась, блеснув зубами, неожиданно белыми на увядшем лице. «Какая милая», — успела подумать Вера.

— Доктор, как ваше имя-отчество?
— Нина Евгеньевна. Да вы все равно забудете.
— Я не забуду. Спасибо, Нина Евгеньевна.
— Не за что. Я на работе.

Ушла, осторожно шагая по двору ногами в резиновых ботиках, бережно неся через лужи каторжную свою усталость. Вечерний воздух был прохладен, пахло весной... Горе не выбирает, когда прийти.

— Дочка, что докторша-то сказала?
— Ничего серьезного, мамочка.
— Вот и я говорю. Лень-матушка поперед нас родилась. Дай-ка встану.
— Я тебе «встану»! Лежи.

Время шло, а Анне Савишне лучше не становилось. И порошки пила, и витамины — а все ни к чему. Еще, как на грех, тошнота привязалась. Что ни съешь — обратно просится. Никогда-то много не ела, а теперь и вовсе отшибло ее от еды. Съестного духа даже не могла слышать, тяжело ей стало готовить обед. Все-таки стряпала, перемогая себя, пока не нашла ее Вера однажды на кухне, в обмороке. Так у плиты и свалилась. Трудно приходила в себя, бормотала: «Щами пахнет».

— Мамочка, ты больше готовить не смей. Поняла? Я запрещаю тебе — слышишь? — ходить на кухню.
— Не буду, дочка, не буду.

Эта покорность больше всего потрясала Веру. Приближаясь к смерти, мать становилась ребенком, с детским, снизу вверх, взглядом коричневых глаз. Старческое голубоватое колечко вокруг зрачка придавало этим глазам какую-то облачность...

На кухню больше она не ходила. А готовить громогласно взялась Маргарита Антоновна. Опыта у нее, правда, не было, только «общая культура и умение жить в предлагаемых обстоятельствах». Достала поваренную книгу прошлого века. Стряпала строго по рецептам, как иногда делают это мужчины, не отступая ни на волос от предписанных норм, сердясь только на их неопределенность («Что это значит: соли и сахару по вкусу?»). Затрудняла ее, правда, операция деления. В книге стандартным был «обед на двенадцать персон», а у них персон было всего две с половиной... Ничего, кое-как пересчитывала, делила на бумажке уголком, вспоминая школьные правила: «пять пишем, два в уме...»

Но это еще что. Маргарита Антоновна на кухне — вот это было зрелище! Рогатая голова в чалме, броский передник импортного ситца, рукава художественно засучены, в одной руке шумовка, в другой — книга. Кругом навалом — банки, кульки, бутылки, пакеты... Глубокий голос: «Боги мои! Куда могла деться гвоздика? Полцарства за гвоздику!» Гвоздика находилась — терялся перец. Новый взрыв театрального отчаяния... Все это походило на оперетку: казалось, повариха вот-вот пустится в пляс. Удивительнее всего, что получалось вкусно! Маргарита Антоновна пробовала и сама удивлялась:

— Ай да я! Вот что значит общее развитие!

И шла с тарелкой кормить больную.

— Ну, умоляю! Один кусочек! Из любви ко мне! Честное слово, вкусно!

Анна Савишна, бледно улыбаясь, брала кусочек, переминала его деснами, но потом сплевывала украдкой, чтобы не обидеть Маргариту Антоновну,— больно уж та гордилась своей стряпней... Да что поделать, если душа не принимает, кто бы ни стряпал, хоть повар-расповар. Тошнота проклятая — стоит, сторожит, как пес добро хозяйское. И жизнь от нее черная и узкая, у́же норки мышиной...

А Маргарита Антоновна увлеченно ухаживала за больной. Как все, что она делала,— играя, но искренне. Впрочем, кто скажет, где кончается одно и начинается другое? Играя любовь, не начинаем ли мы любить?

Днем, в отсутствие Веры, она почти не покидала каюты-люкс. Читала Анне Савишне вслух, поправляла постель, давала лекарства. А когда больной бывало получше, разыгрывала перед ней моноскетчи: старуха у зеркала, докладчик с бумажкой... Анна Савишна смеялась неслышным, замирающим смехом, прикрывая рот краем одеяла: по слабости она не могла теперь носить протез и стеснялась своей беззубости...

— Бог-то, если есть,— сказала она однажды,— он этого не забудет. Он вас наградит, Маргарита Антоновна.

— А вы как думаете: есть он или нет?

— Как для кого. Меня в вере воспитали, для меня есть. И то большая отвычка получилась. Бывает, за цельный месяц лба не перекрестишь. А вот дочка моя, Верочка, та не признает. Да и другие. Думаю: неужто всем им наказание выйдет? Быть этого не может. Такую ораву людей да наказывать — у бога злобы не хватит. Неважно, верит — не верит, а важно, что живет по человечьему закону.

— А какой такой человечий закон?

— Это чтобы всем было весело, никому не обидно.

Участковый врач, Нина Евгеньевна, к удивлению Веры, приходила теперь сама, без вызова, осматривала больную, хмурилась, выписывала лекарства, долго, отдыхая, мыла руки. Понемножку становилась она мягче, разговорчивее, чаще вспыхивали в улыбке белые зубы, и было видно, что она была красива, может быть, не так уж давно, и теперь была бы красива, если б отдышаться ей, отдохнуть. Приходила она к Вере Платоновне охотно. Однажды согласилась даже выпить чаю с вареньем и за столом совсем расцвела. Варенье, абрикосовое, похвалила:

— Сразу видно, хорошая вы хозяйка.

— Это не я, это мама варила. Вот доживем до лета, она и вам сварит...

При этих словах Нина Евгеньевна принахмурилась, глаза у нее затянуло непроницаемой пленкой, и Вера поняла захолонувшим сердцем: не сварит...

— ...И что же теперь делать? — домогалась она, все еще не в силах принять неизбежное.

— Ничего. Ухаживать. Ждать. Поддерживать силы. Ближе к концу — уколы обезболивающие...

— Может быть, операция?

— Бесполезно. Никто и не возьмется. Возраст, состояние сердца... Впрочем, можете ее госпитализировать, настаивать на операции. Ваше дело.

Замкнулась, ушла.

Вера задумалась: госпитализировать? Нут, нет. Мать не согласится.

Но однажды Анна Савишна подозвала ее к своей постели:

— Отвези ты меня, дочка, в больницу.

— Мамочка, разве здесь тебе плохо?

— Плохо не плохо, а все ж таки в больнице лучше будет.

Не хотела ничего объяснять. После, наедине, сказала Маргарите Антоновне:

— Знаю, не встать уже мне. Я не против — пожила, и довольно. Верочку, само собой, жалко, да она молодая, утешится. Вы меня в больницу положьте. Хочу в больнице помереть.

— Что это вы вздумали, Анна Савишна! Умереть, да еще в больнице! Экое живое воображение! Ну подумайте — плохо ли вам дома? Мы с Верочкой так вас любим. Вот поправитесь, нау́чите меня чулок вязать. С детства мечтаю.

Анна Савишна мотнула на подушке когда-то прекрасной, темнокосой, а теперь высохшей, стриженой головой:

— Нет, не поправлюсь. А что любите — вижу, спасибо. Только не хочу я, чтобы вы за мной ходили. Вы — артистка народная, большой человек, нельзя вам на такое дело себя тратить. Пока лекарство подать — это еще ничего. А до горшков дойдет? Да я со стыда сгорю. В больнице там нянечка, наемный человек, ей за это платят.

— В больнице, среди чужих людей! Как хотите — не понимаю!

— Молоды вы еще, Маргарита Антоновна. Вот поживете с мое...

41

Исполняя настойчивое желание матери, Вера устроила ее в больницу. Дело сложное, нигде не берут хроников, но, спасибо, помогли добрые люди. Та же Нина Евгеньевна, у которой были какие-то связи. Неожиданно подключился Борис Григорьевич, тоже похлопотал. Видеть его хлопочущим было странно, как, скажем, зайца стреляющим из ружья. Так или иначе, дело вышло. Анну Савишну положили в одну из лучших больниц города. Палата большая, светлая, на шестерых. Врачи внимательные, персонал дисциплинированный, белье новое, у каждой койки радио с наушниками. Анна Савишна наушников не надевала (малейшая тяжесть ее уже гнела), а клала их рядом с собой на подушку и слушала, как они бормотали петрушечьим голоском: слов разобрать нельзя, а музыку можно. Под эту музыку Анна Савишна пела в уме. Была она в молодости певунья, да и теперь песни любила, даже арии оперные, но вслух петь не осмеливалась, только в себе. После того как исполнилось ее желание попасть в больницу, она стала совсем молчаливой, целыми днями лежала, закрыв глаза, с наушниками на подушке, на вопросы врачей, как себя чувствует, отвечала «хорошо» и опять уходила во внутреннее свое пение. Когда музыка сменялась словами, которых нельзя было разобрать, она думала о прошлом, вспоминала мужа, Платона Бутова, и сына Ужика, любила их и жалела, подчас забывая, что они уже умерли. А иногда лежала безо всяких мыслей, просто слушала внутри себя, как у нее что-то там наступало, наступало, как крестный ход...

Вера навещала мать дважды в неделю, в приемные дни, и каждый раз поражалась переменой в лице, которому, казалось, и меняться-то было уже некуда. Услышав голос

дочери, больная приоткрывала глаза, чуть-чуть улыбалась и опять опускала веки. Вера присаживалась на койку, откинув белье в сторону, чтобы не садиться прямо на простыню (каждый раз ее посещала вздорная мысль о тщете такой предосторожности перед лицом смерти), брала мать за руку и молча просиживала полагающиеся два часа, после которых посетителей гнали вон. Рука матери была прохладна и легка, почти невесома; здесь, в больнице, она посветлела и казалась изнеженной рукой белоручки. Время шло быстро, а мысли — медленно, и почти все они были лишними. Среди них особенно навязчивой была одна: когда-то из недр именно этого, лежащего перед ней иссохшего тела, появилась на свет она сама.

Это было странно и казалось неправдоподобным, как и все вокруг. Как крики трамваев на улице (здесь был крутой поворот, и они скрежетали), как ранние сумерки с тонким месяцем на сиреневом небе, как разговоры соседок... Палата, полная тяжелых, в большинстве безнадежных больных, жила, несмотря ни на что, тихо кипящей, настойчивой жизнью. Упорством своим и упругостью она была даже как будто реальнее жизни здоровых. Происходили какие-то недоразумения, кто-то на кого-то обижался, плакал — по пустякам, конечно, но здесь пустяков не было. То и дело пропадали вещи — зубная паста, полотенце, кружка; каждая пропажа обсуждалась слабыми, надорванными голосами; кто-то тихо кричал: «Хотите, обыскивайте!» — и крик надрывал душу именно своей тихостью. Каждая мелочь вырастала в событие, словно больные смотрели на жизнь сквозь огромную лупу. Приход родственницы, гостинец, письмо — все это приобретало масштаб грандиозный. Делились огурчиком, яблоком, пастилой, и худые лица светлели: радостью было дать, радостью получить. А смерть, напротив, теряла в масштабе, становилась в ряд с мелочами. Когда в отделении кто-нибудь умирал, больные притихали на время, но быстро забывали случившееся. Напоминать об умерших или, не дай бог, плакать считалось как бы неприличным: «Не у себя дома, молчи!»

Анна Савишна в палатных волнениях участия не принимала, лежала молча, закрыв глаза. Сквозь истонченные веки, казалось, просвечивал строгий коричневый взгляд. Однажды, не раскрывая глаз, она тихо сказала: «Женечка».

— Мама, милая, тебе Женю хочется повидать? Я ей напишу, она приедет.

— Баловство,— шепотом сказала больная.

Вера написала сестре, попросила приехать. В ответ получила письмо, закапанное слезами, и денежный перевод — сто рублей. «Войди в мое положение,— писала сестра,— я не могу сейчас уехать, на днях решается мое дело». Речь шла о тяжбе между нею и прежней семьей о наследстве покойного Семена Михайловича, умершего год назад. Вера на письмо не ответила, а перевод отослала обратно.

Один раз, придя к матери, Вера застала почти скандал: одну из больных, по распоряжению врача, переводили в другую палату. Толстая, равнодушная, но вежливая нянечка собирала белье, а больная цеплялась за него птичьими пальцами, словно за жизнь цеплялась, и кричала: «Не пойду в десятую! Знаю, вы меня умирать переводите! Никуда не пойду, останусь в пятой!»

— Нагнись ко мне, дочка,— чуть слышно сказала Анна Савишна.

Вера нагнулась к самым ее губам. Исходившее оттуда дыхание было прохладно и почему-то пахло кипарисом.

— Ох, глупая,— прошелестел соломенный шепот,— не все равно: пятая, десятая? Смерть придет, она и в пятой возьмет...

...Так вышло и с нею самой. Пришла смерть и взяла ее в пятой. Койку выкатили в коридор, загородили ширмой. Вера застала мать уже мертвой...

— И не мучилась,— сказала нянечка, откидывая простыню,— чисто заснула...

Вера, опустив руки, глядела на сухое, правильное, бесконечно спокойное лицо. Мертвая, мать словно бы выросла и лежала высокая ростом...

А в день похорон Анны Савишны Веру постигло еще одно горе; она получила телеграмму: «Вчера скончалась мама скоропостижно похороны шестнадцатого Владимир». Кто ей сообщает еще раз, о смерти матери? И почему шестнадцатого? Она не сразу поняла, что «мама» — это Маша Смолина, а «Владимир» — ее сын, Вовус... Поняла и онемела... Два горя сразу — так не бывает. Вера шевелила губами, повторяя: «Машенька», — смысла не было, звук пустой. Про Машину смерть надо было рассказать кому-то близкому, знавшему ее, разумеется — матери, но матери не было, и потребность рассказать стукалась в пустоту. Вера,

мало что соображая, добралась до почты и послала ответную телеграмму: «Скорблю с вами, приехать не могу, хороню мать»,— и долго потом мучилась этим «скорблю» — вычурным и фальшивым.

Странное дело — как ни глубоко бывает горе, но все же на его фоне вспыхивают иногда болевые точки, связанные с причинами ничтожными, прямо сказать — смехотворными. Так Вера вспоминала свою телеграмму, яростно передразнила «скорблю» и била себя кулаком по колену...

Теперь, когда из дому навсегда унесли мать, он стал другим, словно душу из него вынули. Даже Маргарита Антоновна притихла, редко было слышно ее убедительное рокотанье. Она ведь тоже оплакивала умершую, конечно по-своему, не без картинности, умея в любую минуту вызвать слезы на своих выразительных глазах, но горе ее было подлинным. Горю надо было уступить, посторониться, давая ему место,— они так и сделали. Часто по вечерам они сидели молча, каждая в своей комнате. Это тоже было данью горю. Вера удивлялась, ощущая незнакомую ей прежде потребность в молчании.

Отдельной болью была для нее мысль о Маше. Даже не о самой Маше, а о том, как она ее упустила, проворонила. Годами почти не думала о ней, не вспоминала. Все откладывала «на потом» — и вот, отложила навеки...

О предметах отвлеченных она не привыкла думать, а теперь преследовали ее именно отвлеченные; и мысли, непривычные, шли ржаво, со скрипом. Как это получается в жизни — был человек, и нет человека? И все? Какой в этом смысл, какой замысел? И есть ли он вообще, этот замысел? Похоже, что нет. Вспоминалось ей чеховское правило, которое любила повторять Маргарита Антоновна: «Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить». Красиво, но неверно. Жизнь полна нестреляющих ружей, несбывшихся судеб, утерянных людей. Или ей это только так кажется, по близорукости? Может быть, он еще будет, последний акт, когда все наконец объяснится? «Глупости,— отвечала сама себе Вера,— кажется, становлюсь мистиком».

Когда совсем уж одолевали скрипучие мысли, Вера стучалась к Маргарите Антоновне и предлагала: «Разложим пасьянс». Та соглашалась с восторгом. Пасьянс служил неким дозволенным перерывом в го́ре. Извлекалась заветная колода. Карты, тяжеленькие, раскладывались с

тихим стуком, легонько щелкая о поверхность стола. «Единственный порядочный человек» — король пик — глядел на них мирно и сочувственно. Призрачная, условная карточная жизнь, жизнь символов, вытесняла всякие мысли, в том числе и лишние...

Вот так они и сидят, раскладывают карты, будто дело делают. Вере спокойно, хотя и грустно. Рядом — Маргарита Антоновна, добрая, постаревшая, тоже невечная... Иногда они с Верой даже смеются. Что поделаешь, горе горем, а жизнь-то идет...

42

Слишком-то упорно горевать не давала работа. Вера Платоновна Ларичева, уже старший администратор гостиницы «Салют», была вся на виду, работала с людьми и не могла себе позволить не только горевать, но и рассеянной быть публично. Каждый день она шла на работу «уже в образе», как любила говорить Маргарита Антоновна, ее провожая. У Веры такая была заповедь: помни, что ты с людьми. Всегда будь веселой, внимательной, жизнерадостной. Никому нет дела до твоих сложностей — каждому хватает своих.

А сложностей много было, и по работе — тоже. Вере приходилось замещать часто болевшего директора, который, наконец, понял спасительную прелесть бюллетеня. Посоветоваться было не с кем. Персонал гостиницы смотрел на нее как на хозяйку, обрушивал на нее свои склоки и жалобы. Начальство тоже предпочитало говорить с нею, а не с робким «шефом».

Постепенно она привыкла принимать решения, хотя поначалу робела. И как-то само собой получилось, что когда директор после долгой болезни в самый сложный момент удрал на пенсию, его место предложили Вере Платоновне. Момент и в самом деле был сложный (городу грозила эпидемия, и два случая заболеваний были как раз в гостинице «Салют»). Вера была польщена, но испугана, сперва отказывалась, но в конце концов дала согласие, подбадриваемая восклицаниями начальства: «Поможем!» С критическим моментом она справилась блестяще, успешно провела гостиницу через все трудности дезинфекции, карантина, бунтующих жильцов (у всех были неотложные дела, никто не соглашался ждать). На время карантина

устроила в гостинице нечто вроде дома отдыха, с показом кинофильмов, с обливанием желающих из шлангов морской водой (замена купанья). Все это прочно утвердило Веру Платоновну во мнении начальства. «Ушлая баба!» — говорил про нее с восторгом директор управления. Когда критический момент остался позади, работа в обычных условиях показалась ей почти раем. Вообще-то говоря, раем она не была...

Маргарита Антоновна гордилась Вериным возвышением, как лично своей заслугой: «Я говорила, вы далеко пойдете! У меня на это нюх!» Далеко не далеко, а идти надо было и поторапливаться. С волнением и азартом Вера взялась за работу в новой своей роли — хозяйки гостиницы. Не фактической (к этому она уже привыкла), а законной, официальной. «Я как любовница,— шутила она,— на которой наконец-то женился ее сожитель». А работа администратора, руководителя, которой многие чураются как огня, была ее призванием. Верный признак призвания — это когда любишь не только удачи в работе, но и ее трудности. Для Веры работа была цепью увлекательных преодолений, маленьких побед, которые виделись ей большими — очень уж больших усилий они требовали. Праздником было для нее, например, когда удавалось всеми правдами и неправдами «выколотить» нужную арматуру, или добиться фондов на внеочередной ремонт, или же получить согласие начальства на какое-то новшество. Многие покачивали головами, повторяя стандартную формулу: «Что тебе, больше всех нужно?» — «Больше!» — отвечала Вера, азартно вскидывая голову. И в самом деле, многое было ей нужно...

А самой большой радостью (да и самой большой трудностью!) была работа с людьми. Иногда она доводила почти до отчаяния, иногда, напротив, до ликования. Все время как на качелях. То полный мрак: «До чего ж они мне все надоели!», то, наоборот, ощущение общности, гордости, счастья...

В распоряжении Веры был персонал гостиницы — почти все женщины, в большинстве немолодые, нервные, как она говорила, «климактерические». Болезненно самолюбивые, обидчивые, низкооплачиваемые. Но как же эти женщины работали! Вот уж поистине не за страх, а за совесть. «Совесть есть у каждого,— смеясь, говорила Вера,— но надо создать человеку такие условия, чтобы хочешь не хочешь, а она проявлялась». И умела такие условия создать. Требовала работы не показной, а подлин-

ной,— и добивалась. Зато она знала жизнь и заботы каждой: кого бросил муж, у кого нелады со снохой, у кого сердце, у кого давление. Кому подкинуть топлива, кому безвозвратную ссуду, у кого когда день рождения, и не забывала каждой послать поздравительную открытку. Правда, и тут не обходилось без недоразумений: какая-нибудь из сотрудниц обижалась, что у другой на открытке были две розы, а у нее — только одна... Всерьез обижалась, до слез. Но Вера умела быстро уладить конфликт, перевести его в шутку: «Одна-то одна, но зато каков уровень махровости! Вы только вглядитесь!» И обиженная уже улыбалась. Вообще Вера умела и сама посмеяться, и людей насмешить.

Великое дело — смех! Под него и работается-то легче. Вера шутя говорила, что когда вырастет большая, напишет научную работу: «Роль смеха в деле повышения производительности труда». А пока что применяла это средство на практике. Зато и любили же ее «климактерические»! Конечно, поварчивали, поскандаливали — без этого не бывает! — но в главном горой за нее стояли. Каждая ценила возможность прийти к Вере Платоновне со своими горестями, выплакаться, пожаловаться на судьбу, что называется, «поделиться».

Ох, любит «делиться» русское женское сердце! «Делились» не только горестями, но и радостями. Недаром говорится: разделить горе — полгоря, разделить радость — две радости. Вот, например, Соня Хохлова, дежурная четвертого этажа, та самая, что мужа-пьяницу перевоспитала. Долгое время ходила с горестями, потом стала ходить со счастьем. Прямо не держалось в ней счастье, требовало излиться. Вера радовалась с нею вместе, хотя и скребло у нее на душе: вот сумела, перевоспитала, а я — нет... А еще Лидия Ивановна — второй администратор. Вдова военного, жила очень скромно с сыном-подростком, еле концы с концами сводила. И вот, получая пенсию на сына, познакомилась в банке с отставником-майором, инвалидом, но еще бодрым, непьющим. Понравились они друг другу, стал он в дом ходить — и вот, поженились. Конечно, по симпатии, но главным образом по настоянию сына, который мечтал иметь «своего папу», как у всех детей. Подумать только, в такие годы и так рассуждает: он, мол, хочет иметь отца, чтобы «вести с ним мужские разговоры» — так и выразился! Расхваливал матери этого дядю Костю, пообещал ежедневно, без приказания, выносить ведро с мусором, если только мама согласится! И что же — своего добился,

выдал, можно сказать, мать замуж. Теперь живут дружно, сын подрос, обожает отчима, кончил техникум, зарабатывает... Сама Лидия Ивановна — отнюдь не из сердцеедок. Рослая, крупная, простая женщина. Сказать простоватая — так нет. И вот — нашла же свое счастье... С такими — редкими, счастливыми — Вера отдыхала душой (она вообще любила счастье, свое и чужое), но, к сожалению, чаще ходили к ней плакать, жаловаться. И для таких Вера находила нужное слово, старалась утешить, поддержать, рассмешить. А то и помочь, если могла. Одной, угнетенной зятем, выхлопотала комнату, а временно, до оформления ордера, поселила ее у себя. Другой внука устроила в ясли, третьей — мужа в больницу. Да мало ли всего...

Подчиненные платили ей дружной, хотя подчас и строптивой любовью. Нередко в коллективе вспыхивали ссоры, кто-то на кого-то обижался, кто-то с кем-то не разговаривал (бывало и по году). Эти детские ссоры («Я с тобой не вожусь») были в пожилом коллективе даже трогательны. Труднее всего было Вере премировать лучших работников — тут уж обиды сыпались градом: «Почему ей, а не мне?» И ведь не из корысти, а по самолюбию. Ох, трудно женщине управлять женским коллективом — это Вера чувствовала на каждом шагу, как ни старалась сгладить противоречия. Зато стоило над Верой нависнуть какой-нибудь беде, даже не беде — неприятности, все как одна становились на ее сторону. Скажем, если какая-нибудь комиссия (жизнь гостиницы была богата комиссиями, как жаркое лето — грозами), уличив Веру Платоновну в нарушении правил, заносила в акт неодобрительные слова,— что́ только тут начиналось! Каждая сотрудница готова была горло перегрызть председателю комиссии, доказывая, что такого человека, как Вера Платоновна, днем с фонарем не сыскать.

Впрочем, такое бывало редко. Вера Платоновна вообще-то была в ладу с правилами и охотно их соблюдала. Есть такие счастливые натуры: правила их не раздражают, а веселят. Весело подчиняться научил ее еще Шунечка. Получив из своего гостиничного управления инструкцию, пускай неумную, она не встречала ее в штыки, а старалась найти в ней здравое зерно. Часто его удавалось найти. Ведь в каждом распоряжении обычно в момент зарождения присутствует здравая мысль. Вера, как никто, умела эту мысль уловить, развить и украсить. Иногда даже объяснить начальству, томимому неопределенной жаждой деятельности, чего, собственно, оно хочет. Новое правило было для

Веры не постылой обузой, а задачей, требующей творческого решения. Что касается правил решительно устаревших, только и ждущих своей отмены, то их Вера Платоновна умела обходить артистически, почти всегда оставаясь в рамках дозволенного. «Почти» — потому что полностью удержаться в них могут только трусы и бездельники. «Настоящий администратор,— говорила Вера,— должен всегда идти чуть-чуть впереди правил...»

А гостиница «Салют» тем временем неуклонно шла в гору, становилась заметной, даже знаменитой. Кто-то из журналистов, побывав в гостинице, пытался даже сделать карьеру на пропаганде «Салютского эксперимента», но, видно, переборщил в эпитетах, и начатая было в областной газете кампания быстро сошла на нет. Что касается самой гостиницы «Салют», то она процветала и без кампании. Все в ней — начиная с постельного белья и кончая обращением персонала — было продуманно, умело и весело-изобретательно. Вера придумала шить пододеяльники не с обычным квадратным, а с изящным овальным отверстием — это в полтора раза удлиняло срок их службы (в стирке рвутся обычно углы). Экономия от белья пошла на убранство номеров. Вера давно поняла, что можно переносить расходы из одной статьи в другую, только если подпереть себя письменным распоряжением начальства. Такое распоряжение она получала всякий раз, пользуясь своим обаянием и улыбкой (собственно, это была уже не улыбка, а длительное улыбание, от которого можно было устать, как от физической работы). Появлялась какая-то свобода в маневрировании средствами — и ни один номер не был похож на другой, у каждого — свой уют... Приезжие, официально значащиеся «постояльцами», в гостинице «Салют» назывались «гостями». Не грозные «Правила для постояльцев» висели в холле, а милые «Советы гостям».

Вера ввела в обычай, чтобы горничные выучивали имена-отчества гостей и обращались к ним как к добрым знакомым. Как когда-то ей самой Шунечка, она вменяла своим женщинам улыбку в обязанность, в служебный долг. Гость должен был чувствовать себя в гостинице как дома — нет, лучше чем дома: ведь дома не всякому улыбаются. Домашним уютом дышали милые подробности: плюшевые попрыгунчики на шнурах занавесок, вазы с цветами, лаконично поставленными по-японски (один-два, не больше), яркие журналы, веером кинутые на столик, кровати с пышно взбитыми пуховыми подушками (на складе давали перовые, но Вера с помощницами делали из них пуховые,

ощипывая стерженьки...). Каждый гость мог записать в книгу, когда разбудить его завтра. Будили минута в минуту, и не как-нибудь, а петушиным криком (за этим криком Вера специально командировала в деревню своего монтера, и он записал петуха на пленку). Словом, все в гостинице «Салют» было свое, особенное, нестандартное. И гости, в большинстве пожилые «командировочные», обремененные семьями и инфарктами, отдыхали душой, купались в улыбках и, уезжая, записывали в книгу пространные благодарности.

Конечно, не обходилось и без жалоб: порой какой-нибудь раздражительный гость («желчно-каменные»,— называла таких Вера) не мог снести соседства уборной или сетовал, что два дня не было горячей воды. Таких жалобщиков Вера брала на себя. Старалась разговорить их, рассмешить, и чаще всего гость уходил от нее умиротворенным, а то и очарованным. Отдельные жалобы все-таки проникали в книгу, но их было мало по сравнению с благодарностями — капля в море. А с нарушителями порядка — пьяными, скандалистами, женолюбами — Вера обходилась без церемоний, и они ее побаивались.

Иногда, размышляя о своей работе, Вера прямо физически чувствовала, как у нее связаны руки. Чего бы она не сделала, если бы не стояли на ее пути пункты, пункты, пункты... На что проще было бы организовать ту или другую форму платных услуг — и гостям удобно, и гостинице выгодно. Ан нет, не положено, не предусмотрено. Казалось бы, зачем дремать в аптечном киоске продавщице в часы, когда все гости спешат позавтракать? Не лучше ли было бы послать ее помогать в буфет? Нельзя — киоск подчинен аптекоуправлению, а буфет — тресту столовых и ресторанов. И все равно, не позволят прибавить зарплату продавщице за дополнительную работу...

Когда разговор заходил о так называемой «сфере услуг» — тема модная, повсюду о ней писали,— Вера говорила: «Какая там сфера — одни углы да рогатки...» А откуда рогатки? От недоверия. Как бы кто-то чего-то не украл! Но не больше ли мы теряем на боязни воровства, чем потеряли бы на самом воровстве, если бы снять рогатки? Ведь честных-то людей большинство... Вера об этом думала без раздражения (она вообще не была раздражительна), но с каким-то беспокойством сильного существа, которому не дают делать дело. Иногда в своих размышлениях она дохо-

дила до чистой утопии,— а не учредить ли какой-то «орден честных людей»: заслужил его, и хозяйничай по-своему, трать деньги так, чтобы и людям было не обидно, и государству выгодно... Такими мыслями Вера по вечерам делилась с Маргаритой Антоновной, а та рокотала:

— Да вы — прирожденный философ, Верочка! Ваши идеи должны стать достоянием читающей публики. Вам непременно надо писать эссе...

Так, в хлопотах, тревогах, радостях и размышлениях шла себе жизнь, и горе постепенно убывало, входило в берега. И слава богу, что горе не вечно, а то уж очень много накопилось бы его за жизнь...

43

Темный осенний вечер, порывы ветра с холодного прибоем гремящего моря. Против ветра трудно идти, он треплет полы пальто, толкает в грудь, рвет с головы косынку. Хорошо тем, кто в такой вечер может сидеть дома. Но хорошо и тем, кто идет против ветра и думает о хорошем. Вера шла домой и думала о хорошем. Только что отгремели Октябрьские праздники. На торжественном заседании коллективу гостиницы вручали знамя, грамоту, премии (сама Вера Платоновна получила именные часики плюс двадцать пять рублей). До́ма у нее, как у ответственного работника, поставили телефон — без очереди. Все это было приятно, и не только само по себе, но и ввиду будущего. Мало ли куда приходится обращаться — ну, а «заслуженному коллективу» отказать труднее. А дел предстояло уйма, и, как всегда, Вера приходила в азарт при мысли о том, как она с ними справится. Смолоду она привыкла к охоте за вещами — то одни, то другие всегда были в дефиците, и мысль, что того нет, другого нет, не пугала ее, а подстегивала. Из любого положения можно выкрутиться, была бы охота. Недавно из торговой сети начисто исчезли графины — Вера надумала их заменить керамическими кувшинами, и вышло даже лучше, оригинальнее, в графине все-таки что-то казенное. Водопроводную арматуру заменить было, к сожалению, нечем — для ее добывания Вера планировала сложную операцию с привлечением московских связей.

Еще забота — новые правила внутреннего распорядка, которые свалились как снег на голову, были довольно

глупы (например, проживающим не разрешалось держать вещи в номерах, а предлагалось сдавать их в камеру хранения), а главное, шли вразрез с тем духом дружеского доверия, который уже стал традиционным в гостинице «Салют». Придется мудрить, изворачиваться; в том, что она, в конце концов, извернется, Вера не сомневалась. Несколько омрачала ее мысль о предстоящем ремонте (деньги полагалось освоить до конца года, и никакие соображения о бессмысленности ремонта в зимнее время во внимание не принимались). Кроме того, слесарь-водопроводчик подыскал себе другое место и уволился; у Веры язык не поворачивался его упрекать — там зарплата была выше в полтора раза; вот если бы... Ну, да что говорить. Самое досадное: сразу две горничные идут в декрет (эх, и дернуло же меня взять молодых!).

На мгновение все эти сложности обступили ее, удручили, а тут еще ветер, и вспомнила она, что ей уже не двадцать лет и даже не сорок, и сердце пошаливает, и впереди — как ни крутись — одинокая старость. И что много-много дней придется так идти против ветра — во всех смыслах. И что умри она или уйди на пенсию,— и все трудом налаженное дело постепенно начнет распадаться, разваливаться... Правда, говорят, незаменимых нет. Прикинула в уме, кто же станет на ее место,— и тот «не то», и этот «не то»... Но она вообще таким мыслям ходу не давала — попросту вытесняла их смешными, веселыми. Вот и сейчас вспомнила, как прослезился директор управления, вручая ей часики, как целовал ей руку и краснел лысиной,— и рассмеялась. Ветер тотчас же воспользовался случаем и залез ей в рот, чуть не задушив. Слава богу, вот уже и дом. Вера по привычке взглянула на окна. В ее комнате светится — кто бы мог там сейчас быть? Неужели... Таля вернулся? Сердце екнуло и замерло, желая и не желая страдать... В прихожей — Маргарита Антоновна:

— Верочка, у вас гостья.

Из кресла навстречу ей поднялась незнакомая худенькая и прямая девушка лет двадцати.

— Вера Платоновна, здравствуйте. Я — Вика Смолина.

— Вика?!

— Да, именно Вика. Вы, конечно, меня не узнали.

— Нет. То есть да. Нет, конечно, не узнала.

— Тем не менее это я.

— Как же ты так неожиданно? Не написала...

— Могу уйти,— резко сказала Вика.

— Бог с тобой, что ты?! Я просто удивлена. Вы с Вовусом на мои письма не отвечали...

— Были причины.

— Ну, дети мои, я вас покину. Обнимайтесь, целуйтесь, плачьте,— пророкотала Маргарита Антоновна и вышла.

— Надеюсь, без этого обойдется,— сказала Вика.

— Можно и без этого.

Странно, именно эту девушку ей совсем не хотелось целовать, что-то в ней было чужое, почти враждебное, во всяком случае — настороженное. Вика... Изменилась, а узнать можно. Те же пенные, без блеска, кудри над выпуклым, туго обтянутым лбом, настолько обтянутым, что голубые жилки на висках просятся наружу. Те же пристальные, огромные, ночные глаза. И, в сущности, то же лицо — не лицо, личико,— голубоватое, цвета снятого молока, слишком маленькое для взрослого человека. Новым было в этом лице выражение свирепой строптивости.

— Садись, моя девочка. Поговорим.

— Можно, я закурю?

— Сколько угодно!

Вика достала папиросу, угловато помяла, закурила. Вика — младенчик! — с папиросой... Глазам не верится. В том, как она курила, торопливо затягиваясь, как развевала дым ладошкой, как держала папиросу в пряменьких, неухоженных пальцах, Вера вдруг увидела Машу и впервые растрогалась. В носу защипало...

— Вообще-то я не курю. Это я так, для храбрости.

Вика говорила сердито, отрывисто, с выражением непримиримости на маленьком бледном лице. Говоря, она словно с кем-то ссорилась, может быть, с собой. Речь ее была как серия маленьких взрывов.

— Сразу хочу предупредить. Я приехала к вам насовсем. Хотите, принимайте, не хотите — нет. Только скажите откровенно, без церемоний. Терпеть не могу церемоний. Скажите, и я сразу уйду. Только не притворяйтесь, что рады мне. Ладно?

Вера Платоновна в некотором замешательстве глядела на Вику. Насовсем? К этому она не была готова. Отказать? Еще меньше.

— Что ты, девочка! Разумеется, я тебе рада. Я только немного ошеломлена. Это же естественно, правда?

— Правда. Приехала и — «здравствуйте, я ваша тетя». Или, наоборот, «вы моя тетя».

Вика засмеялась, показав узенькие, чуть уголком поставленные зубы и признаки ямочек на щеках.

— Ну и отлично. Давай знакомиться. Я — твоя тетя. А ты? Расскажи про себя: как жила, что делала? Как надумала приехать?

— Я могу...

— Знаю: можешь сейчас же уйти. С этим мы повременим. Уйти никогда не поздно. Рассказывай.

— В общем, после маминой смерти...

— А от чего умерла мама? Вы ведь мне так и не написали.

— От сердца. Этой темы мы лучше касаться не будем.

— Прости меня.

— Ничего, пожалуйста. В общем, остались мы вдвоем с Андреем...

— Ты хочешь сказать, с Вовусом?

— Нет, именно с Андреем. Это мамин муж, художник.

— А Вовус?

— Он давно уже с нами не жил. Женился. Нелепая ошибка. Так говорила мама. Она была против этой женитьбы. Может быть, и умерла-то отчасти из-за нее. Впрочем, еще раз прошу: не будем касаться этой темы.

— Не будем. Ты уж как-нибудь сама регулируй темы. Я тебя слушаю.

— Остались мы с Андреем. Он художник, не знаю, талантливый или нет, но непризнанный. Заработков нет. Пришлось мне работать.

— А кем же ты работала? Помнишь, ты мечтала работать в цирке, слоном?

— Не помню. Скорее всего, я так и не говорила. Взрослые про детей часто выдумывают, чтобы смешно. Работала продавщицей в универмаге. Зарплата маленькая, если не откладывать.

— Что значит «откладывать»?

— Товар. По знакомству. Повышенного спроса. Я не откладывала. Не потому, что какая-нибудь идеалистка, а противно. Но дело не в этом. В общем, Андрей пил. Денег, конечно, не хватало. Он злился. Но я все терпела, из-за мамы. Словом, все шло ничего, пока...

— Пока что?

— Пока не лопнуло терпение. Подробностей рассказывать не буду. Недели две назад пришел, и... Словом, пришлось оттуда уйти. Это я зря рассказываю, выходит, что жалуюсь. Я жаловаться не хочу. Все же мама его любила...

— И куда же ты ушла?

— К подруге.

— Почему не к брату?

— Там жена.

— Понимаю. А дальше?

— Дальше? Ничего особенного. Ночевала у подруги, даже, представьте себе, спала. Назавтра взяла расчет на работе, заняла денег на билет, села на поезд и, видите, приехала. Почему к вам? Это опять-таки в память мамы. Она мне почти завещала: если что случится, ну, словом, когда умрет, ехать к вам. Вот я... приехала.

— Девочка моя родная,— плача, сказала Вера Платоновна,— девочка моя родная...

А продолжать уже не могла. Расхлюпалась самым позорным образом.

— Не обошлись без слез,— гневно сказала Вика и тоже заплакала.

Так их застала Маргарита Антоновна, вошедшая с подносом в роли любезной хозяйки. Увидела, что плачут, сказала «pardon», задела подносом о косяк, чертыхнулась — чашки посыпались на пол. Уронила и поднос — уже нарочно! — и застыла над содеянным в позе каменной Ниобеи, оплакивающей своих детей.

— Ничего, это к счастью,— сказала Вера.

— Хорошенькое счастье! Посуды в продаже нет. Эту примету придумал тот, кто мог в любой лавочке купить чашки.

— Будем пить из банок,— сказала Вика.

44

Так у Веры Платоновны Ларичевой нежданно-негаданно появилась дочь. А что? Разве не была Вика ее дочерью с самого начала? Кто принес ее из родильного дома небольшим пакетцем, до того тщедушным и легоньким, будто там ничего, кроме одеяла, и не было? Кто вставал по ночам, пеленал, укачивал? Кто купал, грея воду на хромом примусе, в тесной каморке, где и повернуться-то было трудно? Кто прижимал девочку к себе со сложным чувством счастья и жалости? Все она, Вера. Ладонь до сих пор помнила ощущение цепочки выпуклых позвонков на худенькой спинке ребенка. Новую Вику не очень-то обнимешь, да Вера, правду сказать, не из тех женщин, что охотно обнимаются-целуются с себе подобными. Вику она полюбила широко, свободно и радостно, без излишней сентиментальности,— одним словом, весело полюбила. И было за что — девочка была забавная, с загогулинами. Больше всего Веру трогала и забавляла ее пламенная

строптивость, словно каким-то образом вернулась Маша, только в усиленном виде... Впрочем, чувства чувствами, а первым делом надо было Вику прописать. «Любовь в наши дни начинается с прописки»,— говорила Вера. Прописать оказалось не так-то просто. «Кто она вам?» — спрашивали в милиции. Никакие ссылки на давнюю дружбу с умершей матерью здесь силы не имели. Личное обаяние — тоже. Как ни облучала Вера начальника паспортного стола — не помогало. Письмо народной артистки Куниной тоже оказалось пустым номером. Пришлось вывести на позиции тяжелую артиллерию в лице «очень ответственного» из номера люкс, который, однажды приехав в командировку, с тех пор всегда останавливался здесь, пренебрегая лучшими гостиницами города ради «Салюта» и Веры. Этот помог, не столько словами, сколько одышливым своим равнодушием, с которым он явился в милицию, положил фуражку на край стола и сказал: «Ну-с, любезный...» Таким образом, Вика была прописана, так сказать, официально закреплена в качестве члена семьи.

Возник вопрос: что делать дальше? Вера и Маргарита Антоновна советовали идти учиться. Но Вика и слышать об этом не хотела. Возражала по-своему, кипя и пузырясь, так, что дух у нее перехватывало от возмущения:

— Почему это все помешались на высшем образовании? «Учиться, учиться!!!» Как будто бы образованным делает человека диплом. Нет уж. Пойду работать.

И пошла. И работу-то особенно не выбирала, взяла первую попавшуюся — приемщицей в ателье. Заработок небольшой, зато голова свободная. Свободная голова нужна была Вике, чтобы читать и думать. Читала она необычайно много, быстро, как правило — лежа, крутя на палец легкий завиток откуда-то с виска или с темени. Читая, время от времени издавала саркастические звуки. Автор был, разумеется, невежда и халтурщик, путался в хронологии, а главное, размазывал сопли («соплями» она называла всякие нежности и красивости). Читая про какие-нибудь «глаза, осененные густыми ресницами», про лунное сияние или поцелуй, она страдальчески стонала. «Что ты?» — спрашивала Вера.— «Любо-овь!» — отвечала Вика, презрительно растягивая «о». Кипеть гневом доставляло ей, видимо, удовольствие, потому что книгу она не бросала. Читала все подряд: романы, справочники, словари, примечания к собраниям сочинений. Даже «Малый атлас мира» — и тот читала и ухитрялась возражать. А сколько всего она знала,— уму непостижимо! Скоро она стала для

Веры чем-то вроде ходячего справочника. На вопросы отвечала сварливо, но точно. А как разгадывала кроссворды!

— Вика, что это такое: запас представлений, восемь букв, в начале «т», на конце «с»?

— Конечно, тезаурус! Удивляюсь вашему невежеству!

Веру Платоновну она называла на «вы» и «тетя Вера», но когда надо было выразить презрение, слов не выбирала. А Вера только посмеивалась. Ее забавлял контраст резких слов и нежных, полудетских губ, откуда они выходили... И вообще, в этой семье, в своеобразном содружестве двух женщин — стареющей и старой, — Викина запальчивая молодость пришлась как нельзя более кстати. Обе тетушки души в ней не чаяли. Каждая по-своему наставляла ее на путь истинный, настолько по-разному, что физически нельзя было слушаться обеих, — она предпочитала не слушаться ни одной.

Общелюдские законы для Вики были не писаны, обо всем она судила самостоятельно, горячо и резко, порою несправедливо, но всегда искренне. Горда была непомерно — вся в мать. Ничем никому не хотела быть обязанной. Небольшую свою зарплату всю до копейки отдавала Вере: «Ничего мне не нужно». Было у нее одно-единственное платьице на все сезоны — носила его, подштопывая локти, пока совсем не истлело; тогда неохотно позволила Вере сшить себе другое, самое скромное (белый воротничок и тот спорола). Считала себя некрасивой (проходя мимо зеркала, отворачивалась), что было несправедливо, — какая-то тонкая, неочевидная красота в ней, безусловно, была. Особенно хорошела, когда смеялась, но было это редко и всегда на мгновение. Житейскую мудрость и жизненный опыт не ставила ни во что, но почему-то любила рассказы о прошлом — подопрет кулачками щеки и слушает («Смотри, глаза выронишь!» — говорила Вера).

Особенно ее поражало, если кто-нибудь родился в прошлом веке (Маргарита Антоновна). «А как тогда было, в девятнадцатом веке?» — «Ну, я плохо помню, мне был один год... Грудное молоко было сладкое...» Расспрашивала о прошлом внимательно, даже с личным каким-то интересом. О себе самой не рассказывала. Но из клочков фраз, случайно уроненных и тут же обрываемых, Вера догадывалась, что не все там было гладко. Горячая любовь к матери — и яростное с ней несогласие. Может быть, была там какая-то запутанная ревность всех ко всем, может быть, детская любовь девочки к отчиму — кто знает? Недаром

ненавидела любовь и все, с нею связанное, и в книгах, и в жизни. А вместе с тем ненавидела мнимую свою некрасивость, чего бы не отдала, чтобы самой себе нравиться,— но не другим, боже упаси! Когда Вера или Маргарита Антоновна говорили ей что-нибудь лестное, злилась и махала рукой: мелите, мол, я лучше знаю... «Наш сатаненок»,— с любовью звала ее Маргарита Антоновна. Впрочем, сатаненок начинал уже как бы ручнеть, иногда улыбался, забывая нахмуриться...

Поселилась Вика в каюте-люкс, которая сразу же приобрела спартански-нигилистический облик. Все немногие вещи, которыми Вика владела, лежали на виду, чтобы «всегда быть под рукой». Несмотря на это, они вечно терялись. Книги лежали бесформенными кучами, прямо стогами. Органически порядливая Вера, зайдя в Викино логово, приходила в ужас и пыталась что-то прибрать. «Не понимаю,— взрывалась Вика,— почему «прибрать» — значит положить вещи так, чтобы их края были параллельны?» Вера объяснить этого не могла, только смеялась.

А Маргарита Антоновна вполне понимала Вику. Она сама любила царственный хаос: «Надо быть выше вещей». Во всем доме единственным островком порядка была Верина комната. Любопытно, что обе неряхи до того иногда доходили в своем роскошестве, что самим становилось невмоготу, и они искали убежища у Веры.

— Все-таки в чистой комнате что-то есть,— великодушно говорила Вика.

Порою их партизанские налеты на Верину комнату сопровождались вторжением и туда беспорядка. В таких случаях Вера была беспощадна: «Брысь со всем барахлом!»

45

Однажды Вера Платоновна сидела в своем директорском кабинете, просматривала счета и прикидывала: по какой статье провести совершенно необходимый, но сметой не предусмотренный расход. Настроение у нее было неважное. Иногда даже ее покладистая натура давала взбрык. Эх, дали бы ей воли побольше! Впрочем, это старо. Воли тебе, матушка, никто не даст, крутись в дозволенных пределах. Недавно она читала книгу про спелеологов, исследователей пещер, проникающих, спорта ради, через самые узкие отверстия. Так вот, ее хозяйственная деятельность

порою напоминала ей подземное пролезание спелеолога, червем ввинчивающегося в узкую щель...

— Вера Платоновна,— сказала, входя, старший администратор Ольга Петровна, женщина пожилая, тучная, честная, истеричная, а по существу — чистое золото.

— Что такое?

— Приехал моряк, просит отдельный номер. У меня нет, только резервный, на случай брони. Я ему отказала, а он — опять. Такой настырный. Главное, не просит, требует. Ему, говорит, по службе надо. Улыбалась-улыбалась, аж щеки заболели. Направлю его к вам — хорошо?

— Все ко мне да ко мне, с любым пустяком! Неужели сами решить не можете?

— Очень принципиальный.

— Ладно, пускай зайдет.

Она опять погрузилась в счета. Какая-то сумма упорно не сходилась. Пересчитывала несколько раз — все разные результаты. Старею... В кабинет кто-то вошел. На стол рядом с нею легла рука в черном морском рукаве с золотым галуном, выложенным восьмеркой. В руке — какая-то бумага. Все это Вера Платоновна видела боковым зрением, поглощенная столбиком цифр. Сумма издевательски не сходилась, даже на счетах.

— Сейчас-сейчас, только сложу.

— Позвольте, я вам помогу в этом сложении,— сказал приятный мужской голос.

Вера подняла глаза. Рядом со столом, неправдоподобно высясь, стоял очень длинный человек в форме моряка торгового флота, с узкой серебряной головой. Голова эта увиделась ей плавающей где-то под потолком и поразила своей высокой отдельностью.

— Спасибо,— улыбнулась Вера,— думаю, что с арифметикой справлюсь сама. Садитесь.

Моряк уселся в кресло, разглядывая ее с живой симпатией.

— Я Юрлов, Сергей Павлович,— он протянул ей бумагу, которую по-прежнему держал в руке.— Сергей Павлович Юрлов, инженер-приборостроитель. Приехал сюда на испытания. По понятным причинам не могу входить в подробности. По вечерам должен работать. Совершенно необходим отдельный номер. Пытался договориться со старшим администратором, но безуспешно. Понадобилась встреча на высшем уровне.

Все это он произнес, весело глядя на Веру светло-синими, близко поставленными глазами сквозь стекла

бифокальных очков. Лицо у него было прямоносое, чисто бритое, того красноватого оттенка, какой бывает у немолодых мужчин, ведущих здоровый образ жизни.

— А это что? — Вера Платоновна взяла у него бумагу.

— Честно говоря, почти липа. Просроченное удостоверение. На некоторых все же действует, но вы, я вижу, не из таких.

— Совершенно верно, не из таких.

— Вот и хорошо. Взаимопонимание, как я вижу, достигнуто. Остается получить ключ от номера.

— Сергей Павлович, уверяю вас, ни одного свободного нет.

— А триста третий?

— Откуда вы знаете? Это броня.

— Отлично. Это броня. Номер забронирован для возможных особо важных гостей. Отдайте его мне. Я как раз возможный особо важный.

— Не могу. А вдруг приедет еще более важный?

— Обязуюсь освободить номер в течение часа.

— Час — это много.

— Ну, в течение получаса.

— Все еще много.

— Четверть часа. Идет?

— Идет,— сказала Вера. Этот веселый, как бы подпрыгивающий разговор чем-то ее радовал. Она чувствовала, что нравится моряку. Ощущение, что ею любуются, всегда подстегивало Веру, приподнимало, словно на крыльях (хотя какие уж крылья в ее возрасте?).

— Вот вам записка к старшему администратору. Можете занимать номер. Только чур: уговор дороже денег. Приедут по броне — я вас переселяю.

— Будьте спокойны. Испарюсь, как бес перед заутреней. Спасибо, будьте здоровы,— поклонился Юрлов и понес из двери в коридор свою гордую узкую голову.

Вера Платоновна покачала головой, сама над собой усмехнулась: «Когда же ты, мать, поумнеешь?» И снова взялась за счета — уже в хорошем настроении. На этот раз сумма сошлась.

В течение следующих трех дней она несколько раз встречала Юрлова в холле. Он юмористически осведомлялся:

— Ну как, мышки не беспокоят?

— Нет пока. Живите спокойно.

Впечатление парящей где-то под потолком головы понемногу сглаживалось — перед Верой просто был очень

высокий, очень стройный немолодой человек с шутливо-доброжелательным, откровенно любующимся взглядом. Грешным делом, он ей нравился...

На четвертый день Юрлов снова зашел в директорский кабинет.

— Если вы не заняты, мне бы хотелось с вами поговорить.

— Пожалуйста. Садитесь.

Вера залилась краской, как в юности — от щек, через шею, на грудь и лопатки. Даже неприлично в ее возрасте так краснеть — человек может бог знает что подумать...

Сергей Павлович уселся в кресло. Оно было новомодное, вертящееся. Он повращался немного туда-сюда и спокойно спросил:

— Вы не торо́питесь? А то отложим...

— Нет, не тороплюсь.

Вера изнемогала от любопытства.

— Отлично. Я зашел, чтобы с вами поговорить. Предупреждаю, разговор будет серьезный, без дураков. Дело в том, что вы мне очень нравитесь. Не скажу, чтобы я уже любил вас, но, кажется, вполне готов полюбить. В вашем прекрасном лице показалось мне что-то родное, милое, светлое. Бывают редкие люди — источники света. Мне кажется, вы — такой источник.

Вера слушала развесив уши. Давно с нею никто так не говорил. Источник света... Юрлов поглядел на нее с усмешкой.

— Я понимаю. Вы из тех женщин, которые пьянеют от слов.

Она смутилась.

— Нечего смущаться. У каждого свои вкусы. Вам нужны слова, другим — поцелуи.

Вера смутилась окончательно.

— Так вот. Для чего я затеял весь этот разговор? Только чтобы сказать, что вы мне нравитесь? Этого мало. Что я готов полюбить вас? Этого тоже мало. Я пришел, чтобы вам сказать: как бы ни сложились наши отношения, я никогда на вас не женюсь.

— Какое право... Я разве дала вам право думать?..

— Не возмущайтесь, погодите. Мое отношение к вам таково, что я был бы счастлив, понимаете, счастлив на вас жениться. Но этого никогда не будет. Я женат.

(«Метель» Пушкина, подумала Вера. «Я несчастнейшее создание, я женат». Гм-гм, что-то дальше будет?)

— Я женат,— продолжал Юрлов, потихоньку повора-

чиваясь в кресле,— и женат, что называется, безнадежно. Моя жена лежит в параличе вот уже десять лет. И я никогда ее не брошу, пока она жива. И пока я жив. Теперь вопрос: сегодня после работы вы позволите проводить вас до дому?

— Отчего ж не позволить? Это ведь ни к чему не обязывает ни вас, ни меня.

— Меня обязывает.

Он поцеловал ей руку, и она увидела ровный пробор в его цельнокованых серебряных волосах. Пробор был ярко-розовый, может быть, потому, что нагнуться пожилому человеку стоило все-таки известного напряжения...

Вечером он ее провожал домой. Этот вечер решил все. Нервно шумело море, полный месяц висел над ним и дробился в неспокойной воде широкой живой полосой, как будто прыгали и били хвостами тысячи рыб. Земля тоже была неспокойна: голубая в свете луны, она летела, мчалась куда-то очертя голову. Кое-где к луне присоединялись еще фонари и тоже бросали свой свет и свои тени; столбы света и черные тени ходили кругом, перекрещиваясь и сменяя друг друга, словно на гигантских ходулях. Все это было совершенно и удивительно: даже у деревьев было выражение лиц. В этом смещенном мире Вера со своим спутником шли и не могли остановиться, расстаться. Десять раз подходили они к дому, к железной ограде с низенькими воротцами, стояли, опершись на эти воротца, и кто-то из них говорил «ну», собираясь прощаться, а другой: «ну нет, пройдемся еще»,— и снова они, взявшись за руки, шли к морю, пустынному в этот час, стояли там у самой кромки прибоя, и волны, одна за другой, радостно кивая гребнями, у их ног превращались в говорящую пену. И опять шли к дому и прощались, и опять, не в силах проститься,— к морю. За этот вечер они рассказали друг другу все. Ничего не осталось потаенного, запрятанного. Это было даже страшно своей неприкрытой распахнутостью. Она подняла к нему голову, и ветер накрыл ей глаза его шарфом. Тогда он сказал, твердо, отчетливо, как рапорт: «Я вас люблю».

...Дома Маргарита Антоновна:

— Верочка, побойтесь бога! Где вы пропадали? Вика спит — молодая! — а я не могу. Беспокоюсь о вас, беспокоюсь...

— Не зря беспокоитесь.
— А что такое? Что случилось?
— Маргарита Антоновна, я влюблена.
— Как? Опять?
— Нет, не опять. Впервые.
— Вот тебе и на! А муж? А этот, как его, всегда забываю, Валерий или Виталий? Такой интересный мужчина, жалко, пьяница...
— Все это было не то. Понимаете, только сейчас...
— Да-да, понимаю. Вы ведете себя как типичный мужчина, и притом бабник. Всякий бабник клянется и божится каждой своей новой женщине, что он до нее никого не любил. «Все это было не то... Только сейчас...»
Вера рассмеялась — помимо воли.
— Тургенев, первая любовь! — продолжала Маргарита Антоновна.— Как хотите, в наше время это не звучит. Я лично любила много раз, но, кажется, ни разу — впервые...

И все же, размышляя об этой нежданной-негаданной любви, Вера сама себе повторяла: впервые. Нет, грех было бы сказать, что она не любила Шунечку. Любила. Сначала как девчонка, потом — как подданная. А здесь — равенство, простота, доверие, правда. Впервые. И как же ей повезло, что встретилось в жизни такое. Могла бы ведь и умереть, не узнав...
Прошли еще два вечера нескончаемых провожаний, безумной луны, неспокойного моря, которое с каждым разом грохотало все громче, как бы аккомпанируя наравшей любви... Придя домой, Вера садилась в кресло, вытягивала перед собой уставшие от модельных туфель, натруженные ноги и смотрела куда-то вперед стеклянными, невидящими глазами. Маргарита Антоновна была не на шутку встревожена:
— Все хорошо в меру. Никогда не надо терять над собой контроль. Это как на сцене: распусти себя, заплачь настоящими слезами, забыв о зрителе,— и что получится? Одни сопли, и никакого эффекта. Нет, моя дорогая! Женщина должна держать себя в руках. Помню, мама мне говорила (я еще девчонкой была!): «Марго, помни о своих ребрах! Ходи так, как будто тебя с двух сторон что-то подтыкает под ребра». И что? До сих пор, могу похвастать, я сохранила осанку. А почему? Помню о ребрах!
Нет, Вера о своих ребрах не помнила. Все бы так и шло:

луна, провожания, улетания, если бы на третий день не пошел дождь. Волей-неволей пришлось привести Сергея Павловича в дом. Вера очень боялась Вики, но та вела себя вполне прилично. Сперва дичилась, а потом неожиданно обручнела. Разговаривала, даже улыбалась, выпуская на щеки призраки ямочек. Маргарита Антоновна — та вообще была сражена:

— Вот это мужчина! И рост, и манеры... Рука, седина... О боже, верни мне мои пятьдесят лет...

А еще через день Сергей Павлович улетел: кончилась его командировка...

Жил он постоянно в Москве, где была у него квартира, больная жена, взрослые дети — сын и две дочери, и четверо внуков. Квартира — огромная, старомодная, с дворцово-высокими потолками, без современных удобств, в когда-то роскошном купеческом доме. Лепнина на потолках (какие-то амуры в овалах), но протекающая от ветхости крыша — когда шли по лестнице, вверху светилось небо. Квартира была как-то глупо спланирована, вся вокруг ванной и уборной (пройти туда можно было не иначе, как через чью-нибудь комнату). Несмотря на огромную площадь, она была тесна для разросшейся недружной семьи. Разменять ее на две меньшие было практически невозможно, построить кооперативную — тоже (свыше ста метров жилой площади!). А он, хозяин всех этих метров, жил как-то сбоку, притулясь в одной из проходных комнат, через которую каждое утро проплывала для своих омовений толстая невестка в бигуди. Одинокий, неухоженный, он сам готовил себе еду (пельмени, сосиски — что попроще), даже сам стирал себе носки, трусы и майки, выжимая белье, как это делают мужчины, не крутящим, а прямым движением сильных рук. Дочери были ученые, злые, неопрятные, одна инженер, другая — физик. У инженера муж когда-то был, но ушел, бросив ее с двумя детьми, а физик до сих пор пребывала в девичестве. Сын, недоучившийся, по профессии фотограф, был полностью под башмаком у толстой своей жены, страстью которой было считать деньги в чужих карманах. Свекра она терпеть не могла, считала сквалыгой и жмотом и, проходя через его комнату, брезгливо оттопыривала мизинец. Сергей Павлович зарабатывал немало, но вечно был без денег: половина зарплаты шла сиделке, ходившей за больной и требовавшей, чтобы ее кормили. Другая, как это бывает, уходила сквозь пальцы, превращаясь в засохший хлеб, скисшее молоко и книги, книги...

Как ему не хотелось туда возвращаться! Прощались они

с Верой на аэродроме, возле низкого модернового стеклянного здания с ходившими туда-сюда огромными дверями. Люди, люди — и зажатая среди них любовь... Пора, уже объявили посадку...

— До встречи, любимая,— сказал он, целуя ее на прощанье.

Они еще только целовались — не более, и о большем не помышляли. В этом что-то общее между ранней юностью и ранней старостью — там и там платонизм.

46

И вот пошли-потекли годы Вериной ранней старости, ее первой настоящей любви. Любовь была такая настоящая, что Вера даже стала равнодушна к словам. И без них все было ясно ей и ему. Они любили друг друга со всей нежностью много испытавших, помнящих о смерти людей. С благодарностью судьбе за каждый дарованный им день. С сознанием, что каждая встреча, возможно, будет последней. Целиком открытые друг для друга, со всеми своими «всячинками», как они выражались. Делились каждой мыслью, каждой радостью, каждым рублем. Оба, стесненные в средствах, счастливы были делать друг другу подарки. Нежно поздравляли друг друга с праздниками, с днями рождения, с годовщиной встречи... Восстановили в правах даже именины, чтобы чаще можно было поздравлять. Писали друг другу длинные письма, без конца их перечитывали, целовали. Да, целовали письма — глупые старые люди...

Сергей Павлович приезжал нечасто — раза три-четыре в год — и всегда останавливался прямо у Веры. По-семейному. И впрямь стал он подлинным членом семьи. Все в доме привыкли к нему и его полюбили. И Маргарита Антоновна, и сатаненок Вика. Даже кот, Кузьма энный (Вера давно уже перестала нумеровать представителей котовой династии) — и тот терся о черные морские брюки и всем своим гордым существом выражал преданность... И сам Сергей Павлович полюбил всех в доме, включая Кузьму. Что касается Веры, то ее он обожал безмерно. Стоило видеть выражение его глаз — молящихся,— которыми он ее провожал, ласкал, лелеял... И особой любовью любил он дом как таковой. Все, в чем отказала ему судьба — уют, заботу, преданность,— он находил здесь. Не мрачную, жертвенную преданность, а светлую, веселую, мастером которой была Вера. «Ведь я эгоистка,— говорила она,— жертвовать собой не умею»... Как чудесно было,

придя с работы, войти в уютную комнату, пахнущую цветами. Сесть за нарядный стол, накрытый вышитой скатертью со свежими, еще не расправленными складками от утюга. Погрузить ложку в сияющий, прозрачный бульон. Закусить пирожком, тающим во рту и выдающим нежный секрет своей начинки... Во всех этих вещах для усталого, заброшенного, немолодого человека было далеко не просто служение телу. Если уж служение, то какому-то древнему богу семейного очага... После обеда Сергей Павлович читал газету, неторопливо переворачивая листы, а Вера сидела рядом: шила, либо чинила носки (он уже давно забыл, что носки вообще чинят), либо тоже читала, но погружаясь в книгу не целиком, а только частью внимания, как спящая мать не целиком спит, готовая в любую минуту встать к своему ребенку... «Дай руку»,— говорил иногда Юрлов, и она протягивала ему руку, не слишком-то нежную, довольно крупную, и он целовал ее в ладонь, переходя от бугорка к бугорку... Верины мозоли безмерно его умиляли.

А вот с Маргаритой Антоновной у Сергея Павловича был роман: иначе не скажешь. Вели она долгие беседы, прямо-таки флиртовали. Маргарита Антоновна бурно высказывала свое восхищение (она вообще чувства свои проявляла бурно) и без взаимности не оставалась. Разговор их был как теннисный матч: реплика за репликой, реприза за репризой. Мяч, мяч, еще мяч, отдан, отдан, превосходно, аут! И оба смеялись. Сергей Павлович красовался, веером распустив свой павлиний хвост. Вере иногда даже становилось обидно, что он красуется не перед ней, она говорила: «Сереженька, я тоже хочу хвост!» — «Глупая,— отвечал он,— перед тобой мне его распускать незачем. Все равно что перед самим собой».— «А распускать непременно надо?» — «Непременно, а то атрофируется».— «И женщине тоже?» — «Ну нет, хвост, как известно, только у павлина. У павы его нет».

А с Викой Сергей Павлович подружился совсем по-особому. Ему одному девочка поверяла свои сердечные тайны. Чтобы побыть наедине, без тетушек, они шли куда-нибудь в ресторан (это у них называлось «прожигать жизнь»). Впрочем, прожигали более чем скромно. Вика терпеть не могла лишних расходов, заказывала какие-нибудь сосиски с картофельным пюре, бутылку фруктовой воды, иногда — пирожное. Сидели долго, невзирая на гневные взгляды официанток. Под звуки ресторанной разухабистой музыки, под шарканье ног танцующих так хорошо говорилось! Вика ощипывала рукава своего платьица (все

на ней, многократно стиранное, всегда выглядело тесновато и маловато, словно она его донашивала после младшей сестры). Закуривала папиросу и, сделав пару затяжек, сминала в пепельнице — все это нервными, куда-то летящими движениями...

Однажды, вернувшись из ресторана, она нехотя попросила:

— Тетя Вера, сшейте мне, так и быть, новое платье.

— Да ну?!

— Это я не для себя,— свирепо пояснила Вика,— а для дяди Сережи, чтобы ему не стыдно было ходить с такой замарашкой.

— Ты не замарашка, ты Золушка,— сказала Маргарита Антоновна,— и вот увидишь, случится чудо, добрая фея пришлет за тобой карету из тыквы, запряженную шестеркой...

— Мышей,— перебила Вика,— которые так мышами и останутся.

...Платье было сшито, и очень удачное — васильковое, со звездным узором, и Вика была в нем такая красивая, что даже сама на себя в зеркале не сердилась...

Приезды Сергея Павловича были всегда праздниками в доме. Увы, они быстро кончались. Со своей всегдашней привычкой всюду видеть светлые точки, Вера и здесь ухитрялась себя утешать: «Праздники тем и хороши, что редки. А кто знает, сумели бы мы их сохранить, если бы всегда жили вместе? И, в конце концов, я сама себе выбрала такую, как говорится, личную жизнь...»

И еще у них бывали праздники... Раз в году, в свой очередной отпуск, обычно зимой (мертвый сезон в гостинице), Вера сама приезжала в Москву. Останавливалась она не у сестры Жени (та с годами стала ханжой и Вериного поведения не одобряла), а у своей давней приятельницы, генеральши Ивлевой, сыновья которой, Пека и Зюзя, ходили у Веры в приемных племянниках. Марья Ивановна, слава богу, не изменилась, только еще пуще растолстела и трагически это переживала («Знаешь, Вера, в одной английской книге сказано, что в каждом толстом человеке сидит тонкий и плачет!»). Верина беспечная жизнерадостность ее восхищала и поздний роман — тоже («А я-то, дура, всю жизнь ухлопала на этих оболтусов!»).

«Оболтусы» с годами немного остепенились, дрались теперь не на кулачках, а на словах, и в этом младший стар-

шему не уступал нисколько. Оба успели пожениться и завести двух мальчиков — толстого и тонкого, необычайно крикливых, из которых толстый был до того похож на бабушку-генеральшу, что их можно было спутать. Обе невестки были веселые неряхи, по дому бушевала пеленочная метель... Время от времени Марья Ивановна, сама не очень-то порядливая, но получившая строгое воспитание, впадала в истерику и кричала: «Уйду из этого дома!» — никто этого всерьез не принимал, даже она сама. Сходив на работу, как ходят в баню, она успокаивалась и начисто обо всем забывала. «У моей жены характер скверный, но без настойчивости»,— говорил генерал. Сам он, мало постаревший, худой и темнокудрявый, ухитрялся заниматься в этом бедламе и даже пел песни — фальшиво и громко. Петь во время работы было в его обычаях. По вечерам в доме вообще все орали песни, кто во что горазд (слуха ни у кого не было), а генерал, сидя за письменным столом, пел что-то свое, тоже крайне немузыкальное, зато ритмически выстукивал по полу всеми четырьмя ножками стола (во время работы он предпочитал держать его на весу, подпирая коленками). Иногда во всеобщую какофонию включались оба младенца, которые начинали орать всегда синхронно. Укутав, их выкидывали на балкон, в специальный «ребячий ящик», и закрывали двери, чтобы не было слышно...

Словом, было от чего с ума сойти. Но, странное дело: здесь Вере было куда уютнее, чем в Жениной вылизанной квартире с лакированными светлыми полами и импортной мебелью, где сестра Женя, сажая Веру на тахту, никогда не забывала подсунуть ей подушку, чтобы та, боже упаси, не засалила головой обоев. А в бесчинстве оголтелой семьи Ивлевых Вера чувствовала себя как рыба в воде. Главное, была она тут любима, нужна.

Часто удавалось ей поддержать упавший дух хозяйки дома, сокрушавшейся, что все у них не как у людей. «А у людей, как у вас?» — смеясь спрашивала Вера. За год в семье накапливалось множество хозяйственных дел, которыми здесь никто не занимался, резонно рассуждая: «Почему я, а не он?» Утеплить балконную дверь, перебить тахту, провалившуюся до полу, обуздать холодильник (он повадился рыдать по ночам) — все это Вера брала в свои руки. Кое-что она делала сама, кое-что — руками наемных умельцев, надменных или пьяных частников, которых

ухитрялась где-то раздобыть и даже заставить работать (у генеральши все такие попытки кончались тем, что мастера брали аванс и исчезали бесследно; вообще у нее была плохая привычка давать деньги вперед). Кроме того, Вера брала в свои руки «обжорную сторону жизни», которая здесь была не на высоте. Пеклись пироги и с воплями радости пожирались всей семьей, включая толстую генеральшу, которой мучное было строго запрещено. Вообще она приступами садилась на диету, широко оповещая об этом всех домашних («с сегодняшнего дня исключаю углеводы!»), но Вериных пирогов исключить не могла. «А как же тонкий человек?» — спрашивали ее. «Пусть плачет!» — отвечала она, махнув рукой.

А любовь? Любовь шла своим чередом, в отпущенных судьбой границах. Приехав, Вера в тот же день звонила Юрлову на работу (домой было опасно, телефон сдвоенный), и они уславливались, когда и где. Встречались эти двое пожилых людей по-юношески бездомно, где-нибудь в вестибюле метро, в потоках мчащихся людей с портфелями и чемоданами, чувствительно поталкивавшими их в бока. А потом шли куда-то по улице, плечо в плечо, душа в душу — шли никуда, просто в дымный мороз с радужными ресницами фонарей...

Отогревались на лестницах. О, как много лестниц в Москве — есть удобные и неудобные, темные и светлые, есть даже с широкими подоконниками, где можно присесть... А площадку выбирать надо с умом — не слишком низко (много ходят мимо), но и не слишком высоко (могут спросить: «Вы к кому?»). Сидели подолгу, глядя друг другу в глаза, говоря о пустяках, но смысл был: «Это ты?» — «Да, это я». Оба — в зимних, тяжелых пальто, отделенные друг от друга плотными этими одеждами. Только руки доступны и, урывками, губы. Как выразительны губы в спешке тревожного поцелуя, готового в любую минуту прерваться шагами по лестнице... Испуганно отшатывались друг от друга... Вера смеялась: «Мы с тобой — как влюбленные десятиклассники!» И все же безмерно богатыми были эти юношеские встречи. Разумеется, Вера могла бы, пользуясь своими связями в этой системе, достать (не без труда) отдельный номер в какой-нибудь гостинице... Но все в ней ощетинивалось при одной мысли об этом. Надо будет кого-то посвящать в свои дела, терпеть на себе чужие любопытные взгляды... Да и не нужен был

им, в конце концов, этот отдельный номер с наемной постелью! Не в этом, о, не в этом было главное....

И как же все-таки они были счастливы! Во всей бездомности, в морозном чаду, в гулкости кошками пахнущих лестниц! А главное, ни на минуту не забывали, что счастливы. Как это редко бывает: себя сознающее счастье! Обычно люди ухитряются терзать себя тысячью мелочей и только потом спохватываются: это и было счастье.

47

В один из своих приездов Сергей Павлович был не по-обычному занят и озабочен. Шли решающие натурные испытания, от которых зависело: быть приборам Юрлова или не быть? В случае успеха открывались серьезные перспективы оснащения такими приборами ряда кораблей торгово-пассажирского флота. В случае неудачи — закрытие работ. В частности, от исхода опытов зависела и возможность новых приездов, новых встреч в будущем. А много ли у них с Верой оставалось будущего? И сердце у него ныло.

На Верины вопросы о ходе испытаний он отмалчивался. «А это опасно?» — допытывалась Вера. «Жизнь вообще опасна,— шутил он.— Каждый день, переходя улицу, мы рискуем попасть под машину. И ничего, как видишь, живем. А наши приборы, кстати, как раз и задуманы для спасения жизней...»

Чаще прежнего он брал ее ладонями за щеки, глядел ей в глаза, после чего целовал нежно и бережно, «безалкогольно». По вечерам возвращался поздно, иной раз до того вымотанный, что даже обедать не мог — сразу ложился спать. Вера лежала рядом, без сна, в неясной тревоге, и следила, как движутся тени от распышневшего сада на светлом полу. Опять полнолуние — для нее полнолуние всегда было тревожным. «Может быть, я лунатик в душе»,— говорила она.

Как-то вечером, поджидая Сергея Павловича, Вера сидела и шила. Время было позднее, светила луна, заливались собаки. Тяжелыми ударами грохотало море, деревья метались в саду.

Вдруг зазвонил телефон — резко и нагло, как всегда кажется резким и наглым ночной звонок.

— Вера Платоновна? — спросил незнакомый мягкий мужской голос. Бархатный баритон.

— Да, это я.

Что-то было зловещее именно в мягкости, человечности этого голоса. У Веры упало сердце, уже угнетенное луной.

— Простите за беспокойство,— сказал баритон.— Юрлов, Сергей Павлович, вам знаком?

— Да, конечно.

— Еще раз простите. Мне самому тяжело. Он дал мне ваш номер и просил именно вам сообщить...

— Что сообщить? — закричала Вера.— Что случилось?

— Не знаю, как вам и сказать... Такая неприятность...

— Говорите, черт вас возьми! — заорала Вера, забыв о приличиях.

Баритон был снисходителен, по-прежнему мягок:

— Боюсь, что случилось плохое... Самое плохое... Мне поручили вас подготовить, но я сам нервен, почти в истерике. Дело в том, что катер, на котором шли испытания, уже много часов не дает о себе знать. По-видимому, произошла катастрофа. Обстановка тяжелая, море штормит. Мы не теряем надежды. Но будьте готовы ко всему...

— Спасибо,— механически ответила Вера.

На том конце положили трубку. Вера отошла, села в кресло, отодвинула в сторону шитье, зажала руки между колен.

— Вот моя жизнь и кончена,— сказала она вслух.

Собаки заливались отчаянно. Луна шла по улице на длинных серебряных лучах. Бухало море. Жизнь была кончена, кончена. В каком-то смысле это было справедливо. Слишком велико было счастье. «Выпить бы водки»,— подумала Вера. Водки в доме не было. Она пошарила в шкафчике, нашла нашатырный спирт, усмехнулась. «Еще успею»,— сказала она и поставила пузырек обратно. Размеренно бухало море, наступая на жизнь. В доме все спали — и Маргарита Антоновна, и Вика. Еще узнают в свое время. Все успеется.

Она сидела долго, ни о чем не думая, в каком-то странном спокойствии, исходившем от слов: «Все успеется».

Часа в три ночи тренькнул звонок входной двери. Это не он — у него свой ключ. Звук был маленький, робкий, как будто звонивший боялся разбудить, потревожить. «Чего уж теперь бояться?» — подумала Вера. Все было ясно: принесли его. Она пошла открывать.

На пороге стоял Юрлов — без шапки, светясь в лунном свете узкой серебряной головой с разметанными волосами.

Вера ахнула и начала сползать, соскальзывать все ниже и ниже, пока не оказалась у самых его ног, обхватив их

руками, целуя что-то на уровне своих губ — скорей всего, брюки.

— Вера, родная, опомнись, что ты делаешь, что с тобой?

Вера опомнилась, поднялась с колен, держась за его руку.

— Понимаешь... Позвонил какой-то человек. Я думала, тебя уже нет.

Юрлов застонал даже:

— Экий болван! Какой черт его за язык тянул? Заставь дурака богу молиться...

— Значит, катастрофы не было?

— Ничего серьезного. Перевернулись. Вымокли. Ключ вот утопил. Целы.

Это он говорил, входя в дом, обнимая Верины плечи.

— Успокойся, родная, все хорошо. Никуда я не денусь. Переоделся, видишь, в чужое. Брюки коротки. Настроение прекрасное. Правда, погода для купанья неважная, ну да ничего. Водки бы сейчас выпить...

— Нету водки,— сказала Вера.— Чаю тебе надо, горячего. Сейчас вскипячу.

Они пили чай, а море радостно грохотало, и луна сияла на весь сад, на весь мир.

— Кстати,— вспомнила Вера,— как там вышло с твоими приборами? Если вы перевернулись, значит, они...

— Напротив! Как раз приборы-то вели себя превосходно! В самой критической, как у нас говорят, в экстремальной ситуации! Молодцы приборы! Эх, выпить бы за них, да водки нет...

Чокнулись чаем.

48

Весна. Шепоток дождя на улице, цветами и сыростью веет из сада. Под дыханием тонкого ветра занавеска на окне вздувается и опадает. По дому как будто все сделано — можно позволить себе сесть за письмо.

«Дорогой мой Сереженька,— писала Вера (щедро рассыпая лишние запятые, которые мы опустим),— ты меня упрекаешь, что редко пишу. Если бы ты знал, сколько писем я написала тебе мысленно! А вот физически — не выходит. Сейчас в гостинице самый горячий сезон — подготовка к летнему, «демографическому взрыву». Скребем, чистим, моем. А еще дела́ по модернизации, благоустройству! Обычно все мои хозяйственные «прожекты» разбиваются о преграды хозрасчета. А в нынешнем году они

финансируются из фонда капитального ремонта, который не был использован по назначению и теперь «горит». А я к этому пожару вовремя присоединилась. Все это стоит многих хлопот, беготни и даже физического участия. Устаю я предельно. Горят подошвы, ноют мышцы, еле дотаскиваю остатки своего «я» до дома. Это уже 7—8 часов. Еще час или два через силу вожусь по дому. Потом ужинаем. А потом я перехожу на «второе дыхание» и сажусь за шитье. Нужно и себе что-то сделать к летнему сезону, и Маргарите Антоновне, и Вике. Кстати, наша царевна-несмеяна не так уж равнодушна теперь к нарядам (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, у нее завелся какой-то мальчик, звонит и поддельным басом спрашивает «Викторию»).

А после шитья надо еще написать письмо. Увы, не успеваю! Сразу меня начинает одолевать сон, лень или телевизор. Ты, я знаю, телевизор не уважаешь, а я принадлежу к категории массовых зрителей. Ерунду всякую стараюсь не смотреть, но иногда нет сил отказаться. Например, фигурное катание люблю до мурашек по коже. К тому же, у меня нет сейчас других способов процветания. А ты мне велел процветать, правда? Я и процветаю как могу. Иной раз на ногах не держусь от усталости, или нервы издергают на работе, или вдруг холодок одиночества повеет (не прими за упрек!), но никогда, понимаешь, никогда у меня не иссякает чувство радости жизни!

И всегда планы, планы, на близкое, на далекое — все равно. На твой возможный (под вопросом) приезд. На нашу зимнюю встречу, хотя до зимы еще ох как далеко! Или на пароходную поездку по премиальной путевке. Кстати, премию денежную я уже истратила. Побегала по магазинам и с пользой для себя и для советской торговли оставила там свои шальные денежки. Купила давнюю голубую мечту: сушилку для волос под названием «Улыбка». К моему настроению это вполне подходит, будем улыбаться всеми возможными способами. «Улыбка» стоит дорого, 25 рублей, так что другим «голубым» придется стать в очередь.

Тебе тоже купила кое-что голубого цвета (не бойся, не кальсоны!), что́ именно — писать не буду, приедешь — увидишь. Настроение у меня хорошее (ведь я как кошка — играю своим хвостом!), падает, только когда гипертония разгуливается. Она у меня давно, и вполне терпимая, но иногда все-таки дает о себе знать. Иду в поликлинику, мне пишут рецепты, советуют изменить режим. Рецепты складываю, режим от меня не зависит, так что все остается по-

старому и постепенно само собой входит в норму. Тяжело только летом, в самую жару, особенно дорога (трамваем, автобусом, два конца — ужас!), но дома, под орехом, почти всегда дует освежающий ветер, так что удается прийти в себя. Но жара еще в будущем, а пока что наслаждаюсь весной. Это любимое мое время года, что бы ни говорил Пушкин. «Пора планов и задумок» (был недавно такой заголовок в газете). Вот и у меня задумки, которые надеюсь осуществить при поддержке начальства. С ним, как всегда, у меня отношения идиллические (ты же сам говорил, что я «из весело пасомых»). Так что на работе все кипит ключом.

А дома — просто чудесно. Ты знаешь, как я люблю свой сад. Сейчас он весь распушился — ты бы его не узнал. Уже месяц стоит теплая, весенняя погода. Цветут фиалки, ландыши, пионы. Сирень переваливается через забор. Какая это прелесть — растущие цветы! Их так много, и такие разные, и так пахнут, что Маргарита Антоновна, выйдя утром в сад, говорит: «Благодарю тебя, создатель, за происхождение видов!» А сегодня впервые за месяц идет тихий, но бодрый дождь. Для нас с цветами это подарок с неба. Все-таки поливать не всегда успеваю и чувствую себя виноватой перед своими любимцами...

Звонят. Кто-то пришел. Хорошо бы почта, и письмо от тебя!»

Вера открыла дверь на крыльцо. И в самом деле — почтальон, мокрый, в потемневшем стоячем плаще. Улыбается — тоже рад дождю.

— Ларичевой повесточка, позвольте вручить.

Почтальон, давний знакомый, любил выражаться цветисто и уменьшительно. Вера дала ему гривенник, он сказал «очень вами», откозырял и ушел.

Повестка была из управления. «Тов. Ларичевой В. П. Предлагается немедленно по получении явиться по адресу: Проезжая, 7, комн. 10 к зам. дир. производственного управления тов. Желудеву Н. А.» Подпись неразборчива.

Вера поморщилась. Желудева Н. А. она едва знала, в идиллические отношения с ним еще не вступила. В управление по хорошему делу не вызовут, наверно, какая-нибудь кляуза. Может, успел нажаловаться тот, усатый, которому она не позволила после одиннадцати часов держать в номере гостью? Девица была наглая, голубовекая, коленками врозь, с немытыми прямыми волосами, раскиданными по плечам. Сам усатый тоже особой чистотой не отличался,

при ходьбе вертко шевелил обтянутым задом, на котором дыбом вставал яркозаграничный геральдический лев. Нетвердо знал, как его гостью зовут (называл ее то Аллой, то Людой), но Веру грозился «привлечь за бюрократизм», намекая на какие-то сверхмощные связи... Впрочем, что гадать: усатый не усатый,— надо идти. Вера вернулась к прерванному письму и приписала:

«Зачем-то вызывают в управление. Вероятно, пустяк какой-то. Сразу как схожу — напишу. Целую тебя, милый. Пожалуйста, будь здоров. В.»

49

Зам. дир. управления тов. Желудев Н. А. был на этом месте человек новый, откуда-то переведенный, говорили, что с понижением. Возможно, в связи с понижением, а может быть, и по другой причине его лицо выражало застарелую кислость. Был он тучен и лыс, с повисшими сивыми усами, и походил на только что высеченного запорожца. Сцепив руки перед животом, он непрестанно и очень быстро вращал большие пальцы один около другого. Создавалось впечатление какой-то деловой мельнички, неустанно моловшей вопросы...

— Товарищ Ларичева, Вера Платоновна? — голос для запорожца был неожиданно тонок.— Рад познакомиться. Я — Желудев, Николай Александрович. Слышал о вас, слышал. Выдающийся работник, можно сказать, маяк производства. Маякам везде у нас дорога. Просим...

Все это он произнес, не расцепляя рук и не прекращая на высокой скорости вращать пальцами. Вера села.

— Как поживаете, Вера Платоновна? Как здоровье?

— Пока не жалуюсь,— ответила Вера, выпуская на свет божий самую заветную из своих улыбок, на которую отзывались почти все. Желудев не отозвался. Тон его был заботлив, немного грустен:

— Может быть, испытываете какие-нибудь трудности? Если что, смело обращайтесь прямо к нам. Мы поможем.

«Мы, Николай Вторый,— подумала Вера,— и, как нарочно, Николай Александрович»,— а вслух сказала:

— Спасибо, буду иметь в виду. Это вы затем меня вызвали, чтобы предложить помощь?

Желудев еще погрустнел, словно тучей обложился.

— Нет, к сожалению, не только за этим. Дело в том, что

на вас, Вера Платоновна, поступил сигнал. И, будучи ответственным за морально-политическое состояние вверенного мне участка...

«Так и есть, усатый нажаловался»,— подумала Вера. Желудев не спеша отпер несгораемый шкаф, порылся в нем, вынул письмо и протянул Вере. В письме, написанном довольно красивым почерком, но с орфографическими ошибками, сообщалось, что директор гостиницы «Салют» Ларичева В. П. «позволяет себе аморалку с гражданином Юрловым С. П., который является женатым и при помощи Ларичевой В. П. разрушает свою семью. Приезжая в командировку, якобы по служебным делам, Юрлов С. П. останавливается на квартире у Ларичевой В. П., днюет там и ночует, утром выходит на террасу, извиняюсь за выражение, в трусах и делает зарядку». Далее шла критика по поводу манер и поведения самой Ларичевой: «хи-хи-хи да ха-ха-ха, а работа стоит. Широко пользуется своим обаянием на мужской пол». Подписано: «Доброжелатель».

Вере стало довольно гадко, но она и виду не подала.

— Николай Александрович,— сказала она улыбаясь,— письмо, я вижу, анонимное?

— Не анонимное, а анонимка,— поправил Желудев.— А что?

— На такие письма уважающие себя люди внимания не обращают. Читали воспоминания академика Крылова? По указу Петра Первого, анонимные письма полагалось сжигать рукой палача...

Авторитет академика на Желудева не подействовал.

— Что вы мне ссылаетесь на времена царизма? Палачи какие-то... Там была своя мораль, а у нас — своя. Вы говорите: оставлять без внимания анонимки! А если пишет зависимый, подчиненный человек? Боится подписать свое имя во избежание репрессий? Не так все просто, товарищ Ларичева! Нет, руководящий работник должен любой сигнал рассмотреть по существу. И, если факты подтвердятся, принять меры.

— Это ваше дело,— сказала Вера, вставая.— Рассматривайте, принимайте меры. Мне можно идти?

— Нет, постойте! Вы мне не ответили по существу вопроса. Правда, что вы состоите в незаконной связи с... (он заглянул в письмо) Юрловым С. П.?

— А на этот вопрос я вам отвечать отказываюсь.

— Ответите коллективу, Ларичева!

— Надеюсь, что коллектив будет умнее вас.

...Последнее слово осталось-таки за ней. Она ушла, покуда Желудев Н. А. разевал рот и набирал воздуху, чтобы ее уничтожить разящим словом...

Из управления Вера вышла с улыбкой. Испытанная улыбка, еще Шунечкина: «Улыбайся, и тебе самой станет весело». Она это называла по-ученому: «Влияние надстройки на базис». Но в данном случае надстройка на базис не повлияла. Придя домой, Вера сняла улыбку, как снимают нарядное, но неудобное платье, и облачилась в моральный халат. Маргарита Антоновна застигла ее на кухне, глотающей слезы над кастрюлей борща. Борщ был вынут из холодильника — великолепный, малиновый, с янтарными пластинками застывшего жира, а Вера стояла над ним и плакала.

— Верочка, в чем дело? — всполошилась Маргарита Антоновна.— Может быть, там утонула мышь?

Сама она до смерти боялась мышей и всех других в том же подозревала.

— Не так страшно,— ответила Вера, уже улыбаясь.

— Ну, вот и солнышко проглянуло! Слава богу! В чем же дело?

Вера рассказала, зачем ее вызывали. Маргарита Антоновна выслушала, красноречиво играя лицом, а потом длинно и затейливо выругалась. Русские ругательства в устах народной артистки Куниной были как жемчужное ожерелье...

— Скажите этому... (следует купюра), что он отстал в своем развитии по крайней мере на двадцать лет. Кто нынче не живет с женатыми? Солидные люди все женаты. Вокруг каждого неженатого — площадка молодняка. А что делать зрелой женщине? С кем жить?!

Вера совсем развеселилась:

— Боюсь, он не поймет вашей теории. Не тот уровень.

— Уровень мне ясен. Знаете что, Верочка? Предоставьте его мне.

— Кого «его»?

— Вашего Желудкова.

— Желудева.

— Тем лучше. Пускай Желудева. Забудьте о нем. Обещаю вам — все будет прекрасно. У меня к хамам особый подход.

50

Желудев Н. А. сидел за своим столом и трудился над очередным запутанным делом. Жилица одного из общежитий жаловалась на соседа-монтера, что он не дает ей покоя и нарочно в местах общего пользования, у нее за стеной, издает непристойные звуки. Сосед, напротив, в своей объяснительной записке утверждал, что звуков он особых не издает, а что соседка сама украла у него свисток от чайника. Ко всему этому был приложен акт комиссии жильцов, которая расследовала обстоятельства, записала звуки на магнитофон и пришла к заключению, что монтер — вовсе не хулиган, а «нормально функционирующий мужчина». Желудев только что написал ответное письмо жалобщице, где советовал ей предать эпизод забвению, намекал, что сама она не безгрешна (свисток от чайника?) и заканчивал любимой своей фразой: «Желаю вам доброго здоровья и хороших отношений с соседями».

«Трудное наше дело,— думал он,— в какие вопросы вникать приходится...»

В дверь постучали.

— Войдите.

Вошла странно одетая немолодая дама в розовой шляпке и с кружевным зонтиком в руках. Этим зонтиком она вертела так быстро, что у Желудева замельтешило в глазах. Если бы он бывал в местном театре, то узнал бы в вошедшей даме образ мамаши-Огудаловой из драмы Островского «Бесприданница». Но Желудев в театре не бывал, по занятости.

— Чем обязан? — спросил он (зам. дир. ценил хорошие манеры и считал себя человеком тонкого воспитания).

— Я народная артистка Кунина,— сказала дама глубоким, вибрирующим голосом.

Желудев, разумеется, знал Кунину по кино, как каждый человек в Советском Союзе. «Тэрзай меня, тэрзай!» — пронеслась в его памяти знаменитая фраза. Польщенный посещением, он почувствовал и себя косвенно знаменитым. Он заулыбался, усы оттопырились:

— Очень приятно. В высшей степени приятно.

— Вы меня знаете?

— Кто же вас не знает, товарищ Кунина?

— Тем лучше. Я пришла к вам по личному делу. Глубоко личному. Могу я попросить, чтобы во время нашей беседы никто не входил?

Желудев запер дверь на задвижку, сел в свое кресло и указал посетительнице на стул:

— Садитесь, товарищ Кунина. Я вас слушаю.

— Нет-нет. На стуле я не могу. Отдайте мне ваше кресло, а сами сядьте на стул. У меня тонкая организация, нервы по всему телу... В любую минуту могу упасть в обморок... Или в наше время мужчины уже не рыцари?

Это прозвучало с таким надрывом, что Желудев засуетился, освобождая кресло. Даже отодвинул его от стола, чтобы было просторнее... Маргарита Антоновна томно раскинулась в кресле, а Желудев притулился на краешке стула в позе просителя. Пересаженный из кресла на стул, он почувствовал себя беспомощным, психологически голым...

— Ах,— закатила глаза Кунина,— вот мне уже и дурно... Воды!

Запрокинув голову, полулежа, она выставила вперед левую ногу, и Желудев с ужасом увидел ярко-оранжевые панталоны с черными кружевами. «Тэрзай меня, тэрзай!» — опять пронеслось в его памяти, но уже угрожающе. Он метнулся за графином, налил воды в нечистый стакан и поднес его к приоткрытым, неровно накрашенным губам гостьи. Кунина проглотила несколько капель, взмахнула черными ресницами (каждая со спичку толщиной) и заговорила:

— О, благодарю вас от души, товарищ Желудкин...

— Желудев.

— Ах, это все равно. Перед лицом той трагедии, о которой идет речь, не все ли равно: Желудкин, Желудев...

— А о какой трагедии идет речь? — опасливо спросил Желудев.

— О любви. О последней, трагической любви. Помните, у Тютчева: «Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней...»

Желудев Тютчева не читал, но закивал понимающе, как кивают люди, когда речь заходит о чем-то, чего они не читали, хотя и должны были читать...

— Я люблю, люблю,— продолжала Кунина.— Кто сказал, что возраст — помеха любви? Нинон де Лакло любила до восьмидесяти лет, нет, до девяноста! И кто посмеет ее упрекнуть? «Люби, покуда любится»,— сказал великий поэт Некрасов. Или вы с ним не согласны?

— Согласен, согласен,— заторопился Желудев («Хоть бы пришел кто,— подумалось ему,— сам, дурак, запер дверь на задвижку...»).

— Конечно, можно было бы оставить все на уровне чистой лирики. Но что поделаешь? Я привыкла любить объемно...

Маргарита Антоновна явно выходила из образа, и это Желудева тревожило, хотя он и сам не мог бы сказать почему. Он ерзал на стуле, издавая неопределенно-успокоительные звуки.

— Но это все прелюдии. Приступим к делу. Я живу в одном доме с Верой Платоновной Ларичевой. Известно вам такое имя?

— Ну, известно...

— Я-то знаю ее давно. Женщина добрая, хозяйственная, между нами говоря, глуповата, но невинна, как курица. И вот, приходит в слезах и рассказывает, что вы ее вызвали — страшно сказать! — по вопросу о ее якобы связи с Сергеем Павловичем Юрловым. Было это?

— Так точно. Поступил сигнал... Я был вынужден отреагировать.

— И в этом дурацком, как вы его называете, сигнале (я бы попросту назвала его доносом!) сказано, что Сергей Павлович днюет и ночует у Ларичевой? Выходит на террасу в трусах? Так или не так?

— Ну, так...

Стул, на котором сидел Желудев, был жёсток, почти кололся.

— Ха-ха-ха! — истерически раскатилась Маргарита Антоновна и предательски стала выдвигать вперед левую ногу... Желудев поглядел на эту ногу, как кролик на кобру.

— Успокойтесь, ради бога, товарищ Кунина... Почему вы так волнуетесь?

— Он мой любоуник! — воскликнула Маргарита Антоновна. Желудев оцепенел.

— Вы хотите бросить в меня камень! Да-да, я вижу камень в вашей руке! А по какому праву? Помните картину Поленова «Христос и грешница»? «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень...» Или вы — без греха?

Желудев решительно ничего уже не помнил и только ждал, когда все это кончится.

— ...Конечно, в моем возрасте уже не думают о любви. Но тут я не могла устоять. Рост, манеры, седина... Тренированность... Вот эти трусы по утрам — да, трусы! Словом, я затрэпэтала... как юная девочка... Даже сейчас, когда я вспоминаю пэрвые дни нашей любви...

Лицо исчезло за вышитым носовым платком. Голова в розовой шляпке упала на спинку кресла, левая нога..

«О боже, только бы не эти оранжевые с черными кружевами...» — в ужасе подумал Желудев. Маргарита Антоновна внезапно выпрямилась и метнула на него огнедышащий взгляд:

— Что вы на меня так смотрите? Я плáчу, а не что-нибудь другое делаю!

Это Желудева доконало. В полной растерянности он забормотал:

— Товарищ Кунина... Это недоразумение... На вашу личную жизнь никто не посягает...

— А эту курицу, Ларичеву, вы в покое оставите?

— Оставлю...

— Честное слово рыцаря?

— Честное слово!

— Верю вам,— сказала Кунина голосом Марии Стюарт, собрала свои вещи — зонтик, сумочку, перчатки — и выплыла из кабинета...

Смеху было дома, когда Маргарита Антоновна все это изображала в лицах! Особенно она нажимала на оранжевые панталоны: «Классический кафешантан прошлого века». Эти панталоны остались у нее от знаменитой роли, где она танцевала канкан...

— Если б не астма,— сказала она мечтательно,— я бы до сих пор его танцевала...

Веру и в самом деле оставили в покое. А в скором времени исчез с горизонта и сам Желудев Н. А. Его сняли «за нетактичное поведение». Рассказывали, будто он всю переписку по делу о звуках и свистке от чайника вложил случайно в папку «на доклад директору». Тот прочел, и... можете себе представить.

51

Праздновали день рождения Веры Платоновны Ларичевой. Сначала отмечали официально, по месту работы. Начальство, учитывая круглую дату (60!) и отличное состояние гостиницы, не поскупилось, наградило юбиляршу почетной грамотой, денежной премией (60 р.) и ценным подарком — мраморной не то вазой, не то урной с ручками, похожими на уши, и золотой надписью «за доблестный труд». Сотрудники тоже не растерялись, скинулись заранее и преподнесли Вере складной японский зонтик, торшер и шезлонг. Это не говоря уже о цветах.

В шесть вечера, задаренная, зацелованная и возвеличенная управлением, месткомом и парткомом, Вера уехала домой; за нею, в служебной машине, везли «оборудование» (одна урна потянула килограммов тридцать). А дома были уже в разгаре приготовления к празднику; гостей ожидалось много. Пахло пирогами, ванилью, всякой снедью и розами, розами... Стряпней сегодня распоряжалась старший администратор гостиницы, Ольга Петровна, Верина «правая рука», которая на работе иногда взбрыкивала, а на кухне прямо расцветала. Готовить она была мастерица, в своем роде, не хуже самой Веры Платоновны, но не по рецептам, а по вдохновению — как выйдет. Сегодня она фаршировала индейку грецкими орехами и была в ударе — красна и красива.

Молодежь накрывала на стол. Ну, не такая уж молодежь, не зеленая, но для Веры все они были дети. Прежде всего Вика со своим женихом Гришей. Только подумать, у Вики жених! Невидный студентик с прямыми русыми волосами, пряменьким носиком и вздрагивавшей от волнения верхней губой.

Он был года на четыре моложе Вики, что мучило ее чрезвычайно («связался черт с младенцем!»), но она в любую минуту готова была уступить свое место другой достойнейшей. Как они друг на друга глядели — какими глазами, ссорящимися и обожающими, плывущими и отчаянными! Казалось, что они связаны невидимой пружиной, которая, натягивалась, мучила их и тянула друг к другу. Время от времени, взявшись за руки, они выходили из комнаты и там, подальше от людских глаз, за какой-нибудь дверью, кидались друг другу в объятия...

А еще приехали на семейное празднество приемные племянники Пека и Зюзя (здесь все еще их так называли, хотя обоим было за тридцать). Вся семья посылала приветы, поцелуи, подарки. И, в довершение всего,— Вовус! Да, да, Вовус, точнее — Владимир Модестович Смолин, преуспевающий врач-стоматолог, кандидат наук, не такой уж юный, но красивый до невозможности, зеленоглазый, ироничный, с какой-то удлиненной, струящейся головой («Мефистофель в белокуром варианте»,— определила его Маргарита Антоновна). Мефистофель приехал непосредственно после развода с женой, как он выражался — «лечить свое разбитое сердце», и в самом деле хранил на лице некую мировую скорбь, очень его украшавшую. Сейчас все они хлопотали возле огромного торта (по спецзаказу, подарок Маргариты Антоновны). Сперва хотели установить на

нем шестьдесят свечей, но такого количества раздобыть не удалось, и было решено заменить их одной шестидесятисвечовой лампочкой, к которой подсоединить проводку от осветительной сети. Орудовал Гриша по специальности электрик, Пека и Зюзя давали советы, Вовус взирал на это все с высоты своих лет и ученой степени и клялся, что ничего не выйдет («От крема всегда короткое замыкание»), а Вика, сжав руки, смотрела на своего Гришу и была горда до страдания... Увидев входящую Веру Платоновну, все они замахали руками: «Нельзя, не смотрите, это сюрприз!» Вера, не глядя на стол, выхватила из шкафа платье и убежала к Маргарите Антоновне — переодеваться.

Платье было сшито специально ко дню рождения — темно-вишневое, с золотой вышивкой, и шло оно Вере необычайно. Она остановилась у зеркала, поправляя затейливо уложенные, слегка взбитые волосы (с утра ходила в парикмахерскую), и, честно говоря, собою залюбовалась. Вера вообще относилась к себе скорей положительно, отовсюду слышала, что мила, моложава, но в этом платье, с этой прической... Ну, лет сорок, сорок пять от силы... Статная, стройная, в меру полная, широкая не от спины к животу, а от бедра к бедру... Платье сидит как влитое, лицо свежее, глаза блестят. Правда, если вглядеться, видны кое-где морщинки и седина у висков проглядывает, но в светлых волосах она незаметна. Слегка нахмурилась, разглядывая в зеркало свою шею. Что ни говори, шея больше всего выдает возраст... Чуть поднатянула ладонями кожу назад — ох, так бы и оставить...

— Нечего тут разглядывать да подтягивать,— сказала Маргарита Антоновна.— Самокритика для женщины смерть. Я этим никогда не страдала.

— Да и я, кажется, не страдаю.

— Вот мы какие с вами душеньки. Подойдите-ка сюда, я вас поцелую.

После поцелуя Маргариты Антоновны на щеке у Веры остался след от несмываемой заграничной помады. Попытались оттереть его одеколоном — черта с два!

— Проклятый мир чистогана,— сказала Кунина.— Их нравы! Ну, ничего, придется мне вас поцеловать в другую щеку. Знаете, как в Евангелии: аще кто тебя поцелует в одну щеку, подставь другую...

...К столу Вера вышла, рдея двусторонним румянцем. Все так и ахнули: такой красивой они ее еще не видели...

— А все я,— сказала Маргарита Антоновна.

...Разговор шумел, не умолкая. Гости жужжали, передавая друг другу блюда с неслыханными яствами (Ольга Петровна сияла от гордости). Молодежь ела и хохотала за отдельным столом. Звякали рюмки, звучали тосты. Пили за Веру Платоновну, за ее неувядаемость, за счастье, за успехи в работе («И за ее детей!» — донеслось с молодежного стола). Вика подошла с рюмкой и сама (только подумать — сама!) поцеловала Веру.

— Тетя Вера, я вас люблю.

— Наконец-то удостоилась,— сказала Вера смеясь.— Знаю, девочка моя, знаю, что любишь...

Сосед Михаил Карпович, совсем уже старенький, пьяноватый, сидел по правую руку от Веры и ее уговаривал:

— Ну вот, тебе и шестьдесят. Чем мы не пара? Где шестьдесят, там и семьдесят, а где семьдесят — семьдесят пять. Выходи за меня, ей-богу, не пожалеешь. Умру — все тебе достанется, с собой не унесу.

— Что вы, Михаил Карпович! Вы еще меня похорóните...

— А пойдешь за меня?

— Еще погожу. Вот семьдесят стукнет, честное слово, выйду.

— Значит, по рукам?

— По рукам.

Успокоенный, он вплотную занялся индюшачьей ногой. Долго пытался управиться с ней по-культурному — ножом и вилкой, потом отбросил церемонии, взял ногу в руку и впился в нее старыми, но еще крепкими зубами...

Праздник шел своим чередом. Без устали звонил телефон — звали Веру Платоновну. Она подходила, лавируя между стульями, блестя золотой вышивкой, глазами, сережками. Что-то ее несло, качало. Радостно и горько несло, качало. На дверной звонок побежала сама — никого не пустила. Ждала телеграммы. Той заветной — еще не было. Знала, что будет. Так и есть, почтальон.

— Ларичевой две штуки. Ношу и ношу. С именинами вас! Дай бог здоровья, долгого века. Прошу проставить свое расписаньице.

Вера взяла телеграммы, вернулась в комнату, где продолжал сам собою шуметь праздник. Кое-где вразброд уже начались песни. Пели фальшиво, громко, до дребезга в ушах. В одном конце стола орали: «Не слышны в саду даже шорохи...», в другом — «Шумел камыш». Вера села в сторонке на кресло, распечатала первую телеграмму. Она

оказалась от ее «министерского поклонника», влиятельного лица:

«Поздравляю вечную Верочку зпт желаю здоровья счастья работе личной жизни предлагаю место директора гостиницы Москве квартира прописка подробности письмом Павел».

Вот тебе и раз! Вера совсем опешила. Даже как-то перепугалась. Лестно, разумеется, но... Это все надо еще обдумать. Не здесь, не на празднике, трезво.

Взяла вторую телеграмму. Сразу забилось сердце. Та самая, заветная, очень короткая, без подписи: «Нет слов».

Ей захотелось поцеловать то̀ место, где не было подписи. Она так и сделала — мысленно.

Откуда ни возьмись — Вика. Подошла, легонькая, села на ручку кресла (ручка под ней даже не скрипнула), наклонилась, спросила шепотом (глаза расширены):

— Что-нибудь случилось? Вы так изменились в лице, я подумала...

— Нет, ничего не случилось. По крайней мере, плохого. На́ читай, что мне предлагают.

Вика прочла телеграмму и сама изменилась в лице:

— Вот это новость! Вы ведь не поедете?

— Не думаю... не знаю... Подробности письмом.

— А вторая... От дяди Сережи?

Вера кивнула.

— А там что? Если не секрет.

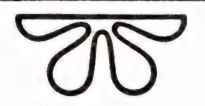
— «Нет слов».

— Так и написано?

— Именно так: «Нет слов».

1975

Маленький Гарусов



1



Гарусов был ленинградец, сирота и воспитывался в детском доме. Отца своего он совсем не знал, а мать пропала во время блокады: ушла за хлебом, да так и не вернулась. Было ему тогда лет шесть или семь, сколько именно, он толком не знал, не до того было: голод. Довоенное время он помнил урывками. Как будто бы жили они с матерью хорошо. Мать работала дворником в большом, красивом доме. Лучше всего в доме была парадная лестница — лепные потолки, узорчатые перила, а главное, огнистые разноцветные окна, сплошь в красных цветах и зеленых листьях. Гарусов запомнил цветное стекло, не гладкое, а пупырчатое, как лягушачья спинка, и свой маленький черный ноготь, прижатый к стеклу для ощупывания, с приятным треском перескакивающий с одного бугорка на другой.

Иногда по лестнице спускалась красавица девочка с желтыми косами, в красной шубке, красных чулках и белых ботинках. Девочка шла степенно, за руку с няней, одолевая каждую ступеньку не в один, а в два шага, и, пока она шла, яркий блик от цветного стекла двигался по ней снизу вверх. На этой девочке Гарусов порешил, когда вырастет, жениться.

Дворницкая, где Гарусов с матерью жили вдвоем, стояла во дворе особым домиком. Летом вокруг домика цвели маргаритки, а зимой по сугробам прыгали красные снегири. В мороз деревянная дверь забухала, и Гарусову трудно было ее отворить. Приходила мать, дергала за руч-

ку, дверь сразу распахивалась, и ветер ударял Гарусову в щеку. Мать была сильная, большая, красивая, зубы во рту — как фонари.

Вообще Гарусов больше помнил зиму, чем лето. Помнил один конек, который он ремнями привязывал к валенку. Помнил блестящие исцарапанные дорожки, прокатанные мальчишками на тротуарах. Хорошо было с разбегу проехаться по такой дорожке, а потом упасть и ехать дальше уже на штанах.

В углу дворницкой стояла железная печка на четырех ногах с коленчатой черной трубой. Этой печки Гарусов боялся, потому что походила она на присевшего черного зверя. При матери страх проходил. Печку топили сосновыми чурками. Они были желтые, занозистые, пахучие, с капелькой смолы на каждом конце. От смолы на пальцах оставались липкие пятна.

Пока печка топилась, в дворницкой было тепло, а когда прогорала, быстро становилось холодно. Особенно холодно было по ночам. Гарусов спал под тулупом, всем телом ощущая на себе его защитную тяжесть. Спасали от холода и крепкий бараний запах, и самое слово «тулуп». Иногда среди ночи Гарусов просыпался, чувствуя надобность пойти по своим делам, но не отваживался, так и лежал до утра.

Тулуп был старинный, крепко выношенный, еще отцовский. Про отца Гарусов знал, что раньше он тоже был дворником, только не в этом доме, а в соседнем. С матерью они познакомились на дежурстве. Об этом мать рассказывала, правда, не Гарусову, а тете Шуре — управдомше, своей приятельнице: «И пришла к нам судьба». Гарусов так это себе и представлял: сидят рядышком два красивых дворника в больших тулупах, а судьба к ним, вроде голубя, не то входит, не то прилетает.

По рассказам матери, отец в дворниках не ужился из-за своей большой культуры: любил книжки читать и вопросы решать. Бросил он свою работу и уехал на Север, строить новую жизнь. Гарусов так это понимал, что построит отец новую жизнь, решит все вопросы и тогда уже возьмет их с матерью к себе.

Матери фамилия была Делянкина, а его — Гарусов, по отцу. Мать так и звала его по фамилии — Гарусов, а по имени редко, разве когда рассердится. Он и сам не любил своего имени «Толька», полагал, по наивности своей, что это значит «только», то есть слишком мало. Мало у них было денег — только двести пятьдесят. Особые деньги стояли на комоде в коробке из-под чая, так и назывались

«чаевые». Из чаевых мать иногда давала Гарусову на леденцы. Он покупал петуха на палочке и медленно, до самой щепки его обсасывал. Добрая мать: никогда себе петуха не купит, только ему, Гарусову. Ласкать-то она его особенно не ласкала. Разве что иногда сложит руки лодочкой, ладонями кверху, а Гарусов туда, в эту лодочку, с любовью сунет свое лицо.

Помнить все подряд Гарусов начал с того дня, как мать получила письмо. Принял его он сам (матери не было дома) и даже расписался каракулей в разносной книге, хотя писать не умел. Письмо ему понравилось: гладкое, тяжеленькое, и марка с самолетом. Пришла мать, увидела письмо, вся побелела, перекосилась и давай рвать конверт, по самой марке. Гарусов заревел. А она вынула письмо, стала читать, и, пока читала, все садилась и не могла сесть на стул. Платок у нее съехал с головы, упал на пол. Потом мать ударила по столу кулаками и головой и давай перекатывать голову туда-сюда. Гарусов испугался, даже реветь перестал. Он тронул ее за локоть и окликнул. Она ничего, как глухая. Тогда он сказал про марку. Мать рассердилась, подскочила, порвала письмо, конверт и марку на мелкие клочья, бросила все это на пол и ногой затоптала. Потом, не глядя на Гарусова, покрылась платком по самые брови, завязала его крест-накрест через обе щеки, взяла метлу и пошла во двор.

Этот день Гарусов запомнил потому, что с тех пор стало у них все по-другому. Мать не плакала, не дралась, но совсем перестала его замечать. Обед на стол поставит и не посмотрит — ел ли? И все молчит. Гарусов обижался и тоже молчал. С тетей Шурой управдомшей она небось не молчала, очень даже разговаривала. По вечерам, когда они думали, что Гарусов спит. А он и не спал, все слышал. «Нет в них, паразитах, благодарности»,— говорила мать. «Уж как есть, нету,— отвечала тетя Шура управдомша,— а ты его не жди, сама живи, своим разумом». Из этих разговоров Гарусов понял, что отец его паразит, на местной расписался, а значит, не приедет за своим тулупом и не возьмет его с матерью в новую жизнь. И еще мать говорила: «Кому я теперь нужна? Кто меня возьмет с довеском?» — «Полюбит — возьмет и с довеском»,— утешала тетя Шура. Гарусов хорошо понял, что «довесок» — это он сам.

С этого же времени стала мать приходить домой пьяная — не каждый день, а раза два в неделю. Придет, глаза стеклянные, как у козы, подопрется локтями и давай петь. Пела она тонко, грустно и зло; Гарусов слушал, точно

нитку разматывал. Приходила тетя Шура управдомша: «Опомнись, Настя, парнишку-то пожалей».— «Чего его жалеть, все равно безотцовщина,— отвечала мать,— а ты меня не попрекай, не на свои пью, на чужие». И еще говорила: «Вы, тетя Шура, старенькие, вы этого не понимаете, а я от молодости жить хочу». Гарусов слушал и чувствовал себя виноватым, что он не дает матери жить, только не знал, как это исправить.

А тут вскорости и война пришла. Гарусов не очень понимал, что это такое — война. Сначала только изменились ребячьи игры: мальчишки стали играть не в Испанию и Халхин-Гол, а в войну с фашистами. Одного мальчика с соседнего двора так и прозвали «Гитлер» — очень на него был похож, и сильно ему за это доставалось. Потом пошло затемнение, окна заклеили бумажными крестами. Гарусов тоже клеил в дворницкой: сначала выходило криво, а потом ничего. На лестницах появились бочки с песком, чтобы тушить зажигательные бомбы. Песок растаскивали ребята, мать на них сердилась и гоняла от бочек, а Гарусов ей помогал: раз большого мальчишку так стукнул, что тот отлетел мячиком. Матери выдали противогаз и брезентовые рукавицы, чтобы тушить зажигалки. Гарусов тоже примерял рукавицы — ему были велики. Это было сначала, а потом обрушилось как-то сразу все: тревоги, бомбежки, пожары, а главное, голод и холод. Прямо вместе так они и пришли, парочкой: голод и холод.

Гарусов мало жил и еще меньше помнил. Он не знал, какой должна быть нормальная жизнь. Каждую перемену он воспринимал как должное и сразу в нее врастал. Скоро он до того укрепился в блокаде, будто ничего другого никогда не было. Все это было от века: роняющее бомбы черное небо, карточки с крохотными талонами, маленький кусок сырого хлеба на целый день. И все же голодать ему было трудно: он был мал, надо было расти, а расти не с чего. Дни и ночи он разговаривал со своим беспокойным телом. Оно требовало расти. Мать со времени войны больше стала жалеть Гарусова, понимала, как ему трудно. Она уж и так отрывала ему половину своего пайка, а больше отрывать не могла: надо было есть, чтобы держать метлу. Метла — значит, рабочая карточка.

Еще хуже голода был холод. Голод был только внутри, а холод — и внутри, и снаружи. Чурок для топки не было. Топили чем попало, больше мусором, он совсем не давал тепла. По утрам мать разжигала примус, ставила его на окно. Гарусов лежал под своим тулупом, который за ночь

у рта обрастал инеем, и смотрел, как от огня начинали плакать и таять на стеклах толстые наледи. Холод был огромен и занимал весь мир, а огонь примуса был маленьким и ненадежным.

В эту блокадную зиму Гарусов так был занят своим голодом и холодом, что почти не заметил, как в дворницкую попала бомба. Они с матерью пришли из убежища. Оказалось, что зажигалка пробила потолок, упала на кровать, сожгла одеяло и сама собой потухла. Спасибо, тулуп не сгорел. Мать по одеялу не плакала, шевелила сухими пальцами около рта. Гарусов был равнодушен, сидел на стуле, и на него шел снег. Прибежала тетя Шура управдомша, ахать не стала, поглядела на потолок, сказала: «Ремонтировать бесполезно»,— и тут же, сама от себя, решила выделить погорельцам квартиру из тех, где жильцы померли. Пошли искать квартиру, и Гарусов с ними. Квартиры были все как одна — без стекол, в густом инее, с холмиками снега по углам. В одной из них посреди пола лежала мертвая кукла — наверно, погибла при бомбежке. Гарусов куклу пожалел и выбрал для себя с матерью эту квартиру. Переехали вместе с печкой. Трубу вывели в форточку, окна забили фанерой и стали жить. В новой квартире было еще холоднее, чем в дворницкой,— ветер из незанятых комнат ходил по ногам. Печку топили книгами. Прежний хозяин квартиры, говорила тетя Шура, очень интеллигентный был, пока не помер. В мирное время каждый день новую книгу покупал. От книг огонь был яркий и шумный, но не горячий, без углей. На один чайник уходила почти целая полка. После топки оставался черный слоистый пепел. Мать от голода скоро совсем ослабела, у нее выпали зубы через один и опухли ноги, и ей все труднее было работать.

Хлеб они получали пораньше с утра и тут же его съедали. Днем терпели, варили суп из кипятка с перцем и солью. Когда по карточкам давали сахар или конфеты, у матери с Гарусовым был праздник. Книг было еще много, а на будущее они не загадывали. Спички кололи — каждую на четыре части. В общем, ничего, жили. Только Гарусов осип и почти перестал разговаривать, и мать тоже больше молчала, только шевелила пальцами у губ — такая у нее стала привычка.

Иногда заходила к ним тетя Шура управдомша. Та совсем высохла, отеков у нее не было, ходила она легко и прямо, в штанах и ватнике на солдата стала похожа, танкиста. Лицо черное, а веселое. Гарусов любил, когда она приходила.

Тетя Шура садилась на стул посреди комнаты, расставив прямые ноги в валенках и толстых ваточных штанах, и закуривала. Веселый голубой дымок вился над самокруткой и как будто согревал комнату.

— Пухнешь, Настя,— говорила тетя Шура.— И с чего это тебя разносит, а?

— Пухну, тетя Шура,— отвечала мать.— А что делать?

— Пустой воды меньше пей,— учила ее тетя Шура.— С пустой воды в брюхе лягушки заводятся. А главное, о себе поменьше думай. Сейчас каждый не о себе должен думать, а о государстве.

Это Гарусов понимал. Он тоже думал о государстве.

— Да разве я о себе? — тоскливо спрашивала мать.— Парень у меня... Помру я — что с ним будет?

— Ну и что — помрешь? Подумаешь, свет удивила! Многие помирают, не ты первая, не ты последняя. И парня твоего не бросят люди, спасут. Жива буду — я спасу, помру — другой спасет. Так что, Настя, не переживай, порхай чижиком! А сейчас чего легла? Встань, чайник согрей, чаем меня напои по-хорошему. Гостья я у тебя, понимаешь?

— Нет у меня, тетя Шура, заварочки...— отговаривалась мать.

— Ни у кого теперь заварочки нет. А и лучше, говорят, от чаю цвет лица портится. То ли дело — кипяточек, да с хлебцем, да с сахаром...

— Нету хлеба ни полкусочка... Сахару нет...

— Что ж ты за хозяйка — хлеба нет, сахару нет? Хлеб всегда в доме должен быть, для гостя, если зайдет. Ну ладно, свой принесу, а ты вставай, не разлеживайся.

Мать, вздыхая, разжигала печку, ставила чайник, и скоро он начинал щебетать. А тетя Шура возвращалась и впрямь со своим хлебом и сахаром. Хлеба — кусочек, как спичечная коробка, а сахару совсем немножко, с чайную ложечку, в газетном фунтике. Хлеб делили на троих, всем поровну, а сахару мать с тетей Шурой только клюнут самую крошечку, почти все доставалось Гарусову. Он закрывал глаза и дочиста вылизывал фунтик — вылижет, а потом еще обсосет: сначала как будто сладко, а под конец уже горько.

Один раз Гарусову посчастливилось: он поймал на заднем дворе хромую ворону. Мать сварила из нее настоящий суп, и был у них пир, и тетю Шуру пригласили, и все наелись. Гарусов и не знал, как это вкусно — вороний суп. «Наступит мирное время,— решил он,— каждый день буду есть такой суп». И мать была довольна, сказала Гарусову:

«Добытчик ты мой», — и вдруг взяла и сложила руки лодочкой. Давно она этого не делала. Гарусов погрузил туда лицо, и сердце у него зашлось от любви. На другой день он сделал рогатку и пошел на охоту, чтобы убить много ворон. Но больше ни одна ему не попадалась.

А мать становилась все желтее, и ноги у нее — все толще. Ходила она на них, как на мешках. Да и ходила-то мало, больше лежала. Один раз даже для тети Шуры не встала, чайник поставить.

2

Однажды утром Гарусов лежал под тулупом. Мать, как всегда, пошла за хлебом, но очень долго не возвращалась. Он ждал-ждал, терпел-терпел и решил встать. Пол был морозный. Гарусов сам затопил печку: где у матери спички, он знал. Когда ходил за книгами, испугался, что их осталось уже немного. Печка горела бойко, светлые пятна и темные тени прыгали по стене, но Гарусову все было холодно. Матери не было, а желудок просил привычной утренней порции хлеба. К тому же он захотел пить, но воды в ведре не оказалось, только брякнула ручка. Темные тени казались воронами, от них делалось страшно. Гарусов решил пойти за матерью в булочную. Он обмотал голову поверх шапки старым платком (голова всего больше зябнет), запер дверь на задвижку снаружи и вышел. Был уже вечер, небо синее, снег тоже, мороз не особенный, можно терпеть. Булочная была закрыта, очереди возле нее не было. Он сунулся в два-три подъезда, там было темно и никакой матери. Гарусов заплакал и побежал обратно. Бежал он очень медленно, но сердце билось, будто бежал быстро. Одна нога в худом валенке у него застыла, и он бежал и топал, топал и плакал. Дома было темно, печка погасла, матери не было. Он пошел ее искать к тете Шуре управдомше, но и там никого не было — одна запертая дверь. Он вернулся к себе, ждал мать целую ночь и целую ночь топил печку, сжег все книги до последней, но так и не согрелся. Черный пепел кучами лез из печки и шелестел на полу. Когда последняя книга сгорела, Гарусов снова пошел на поиски. Платка в темноте он не мог отыскать, вышел так, без платка. На улице было уже светло, наверно, было утро, а может быть, уже день. Косо летел мелкий снег. Булочная была открыта, у дверей стояла очередь. Гарусов пошел вдоль очереди, заглядывая в каждое лицо, но материного среди них не было. Вдруг ему показалось: вот она, уходит по улице

с кошелкой, а в кошелке хлеб. Верно, уносит его, чтобы съесть самой, не делиться. Гарусов загорелся огнем, бросился за матерью, очень трудно было бежать, но он догнал. Оказалось, что это совсем не мать, а чужая женщина, с длинными от голода, высунувшимися изо рта зубами. Она остановилась и спросила:

— Мальчик, ты чей?

— Дворников,— ответил Гарусов своим сиплым голосом.

— А чего тебе надо?

«Хлеба»,— сказал Гарусов глазами, а ртом ответил совсем другое:

— Знаете, тетя, мы раз пошли с матерью за водой, приходим обратно, а наш дом не разрушен.

— Это бывает,— сказала женщина,— а ты иди себе, детка, холодно, иди домой.

Гарусов отстал от нее, пошел один и заблудился. Дома́ все были какие-то не те, и бочки не те. Он ткнулся туда-сюда, как потерявшаяся собака, и пошел наугад. Шел-шел и дошел до набережной. Что такое набережная, Гарусов знал. Где набережная, там вода, а он хотел пить. За толстыми каменными перилами лежали большие плоские льды, неровно припорошенные снегом. Он помнил, что за водой надо спускаться вниз по ступеням. И в самом деле, ступени вели вниз, и на них стояла очередь из стариков и старух. В проруби качалась черная, маслянистая, тяжелая вода. Люди спускались к ней и черпали воду чайниками, ведрами и бидонами. Глядя на воду, он еще больше захотел пить, и какая-то молодая бабушка дала ему напиться из обмерзшего, бородатого чайника. Вода заболталась у него в пустом животе, он шел и ёкал селезенкой, как усталая лошадь.

Тем временем стемнело, на горизонте в разных местах занялись зарева. Где-то стреляли. Выстрелов он не боялся, его смущало, что от него падает не одна, а две тени, и обе — голубые. Он обернулся, увидел позади себя еще одну тень, испугался и побежал, припадая на онемевшую ногу, медленно, но задыхаясь. Бежал он долго, пока совсем не устал. Вечер совсем почернел. Гарусов то шел, то опять бежал, или ему казалось, что бежал, по какой-то странной улице без домов, где стояли одни заборы, сплошь покрытые белым бархатом. Когда шел, он тихо кричал: «Мама»,— а когда бежал — умолкал. Улице не было конца. Гарусов выбился из сил и прикорнул в снегу под одним из бархатных заборов. Ноги у него были уже горячие, и скоро он согрелся

весь. Его начало крутить и укачивать. Он заснул и видел во сне, как вокруг него летает множество ворон, а он за ними гоняется, но ни одной не может поймать. Мать тут же, она просит поймать ворону, а он, Гарусов, не может и плачет. А тут еще вороны бросаются на него целыми толпами, кричат на него и рвут ему уши. Он проснулся и увидел, что ворон нет, а мать в ватнике сидит рядом, кричит на него и трет ему уши чем-то горячим.

— Мама,— сказал Гарусов своим сиплым голосом.

— Насилу-то очнулся,— сказала мать, постепенно превращаясь не в мать, а в другую женщину.— А я тебя снегом тру-тру, совсем было уши отморозил. Вставай, стахановец.

Да, это была не мать, а другая женщина, хотя зубы у нее были такие же и прямо светились во рту. Она была большая от ватника, на голове — незавязанная ушанка, и одно ухо торчало вверх, как у щенка. Женщина была молодая, моложе матери. Может быть, даже девочка, подумал Гарусов.

— Как тебя звать? — спросила она, стоя на коленях и заправляя его огненные уши под старую шапку.

— Гарусов.

Она засмеялась.

— Ишь ты, важный какой! Депутат, наверно?

— Депутат,— согласился Гарусов.

— А с какого района депутат?

Гарусов молчал.

— Живешь-то где? Адрес знаешь?

Гарусов адреса не знал.

Она встала с колен и его подняла за собой. В общем-то она была небольшая — вся, кроме ватника. Она вынула из кармана сухарь и дала Гарусову. Сухарь был весь в табачных крошках и каменный от холода. Гарусов грыз его, дрожа от восторга.

— А вы, тетя, из кино? — спросил он.

— Нет, я дружинница. Таких, как ты, на улице подбираю. Кто обмерз, кто ранен, кто с голоду помирает, кто уже помер. Ну, этих-то не беру, кто уже помер. Пускай себе лежит, есть не просит.

Она засмеялась и сразу прикрыла рот рукой.

— Чего я смеюсь-то? Ничего смешного нету, а меня разбирает.

Гарусов молчал.

— Давай, что ли, руку, пойдем, депутат.

Гарусов послушно затрусил с нею рядом. От ее жесткого рукава пахло сухарем. На ногах у нее были большие

солдатские валенки, жесткие еще, необмятые. Несмотря на эти валенки, она шла быстро, Гарусов прямо запыхался. На площади она остановилась, дала ему передохнуть.

— Какая красивая ночь,— сказала она, подняв к звездам свое светлое лицо.

Издалека послышался низкий, дрожащий гул. Словно комар зудел, но зудел басом.

— Здрасте пожалуйста, опять летают,— сказала дружинница.— Ну просто сил нет, до чего же нахально летают! Прямо демонстративно. Ночь пройдет — двух, а то и трех домов нету. Это в пределах одного района, а сколько по городу, мамочки! А мы их раскапывай. Кирпичи смерзлись, раненые стонут... Ужас!

Гарусов молчал.

— Ну до чего я этих фашистов ненавижу,— тонким голосом сказала она.— Просто выдержки нет, до чего ненавижу.

И вдруг заревела.

Гарусов молчал и терся носом о ее жесткий рукав. Она перестала реветь.

— Ну, пойдем, что ли. Передохнул?

— Ага.

3

Девушка-дружинница привела Гарусова в детский приемник и оставила там. Он не хотел оставаться, плакал, цеплялся за ее ватник, но она его уговорила, обманула. Обещала прийти — и не пришла.

Три дня и три ночи Гарусов прожил в изоляторе. Каждый день ему давали хлеб, кипяток и горячий суп. Какие-то тетки, в платках и шубах, с ягиными лицами, ходили к нему и расспрашивали, кто он такой. Он знал только свою фамилию «Гарусов» и фамилию матери «Делянкина», а больше ничего, даже в каком районе живет.

— На Петроградской? — спрашивала тетка.

— Ага,— соглашался Гарусов.

— А может, на Выборгской?

Гарусов и на это был согласен.

— Удивительно низкий уровень развития,— сказала главная тетка, собрала свои авоськи и ушла. А Гарусов лег досыпать. Он вообще в изоляторе почти все время спал. Если не ел, то спал.

Пока он отсыпался, о нем наводили справки, искали

родственников, но не нашли. Разве найдешь? Записали его в детский дом как сына погибших родителей. И отчество приписали ему: Иванович.

* * *

Детский дом, куда определили Гарусова, был большой, на много коек, но ребята в нем все время менялись. Одни умирали, другие на их место приходили. Кормили хорошо — каждый день хлеб, каша и суп, витамины отдельно. И все-таки многие ребята поумирали, а Гарусов — нет. Ему умирать было нельзя, он должен был найти мать. Думал он об этом днем и ночью, за едой и в бомбоубежище. А вдруг она его ищет? Вернулась домой, а его нет. «Где мой Гарусов, где мой добытчик?» А его нет. И вот она бегает, как он, среди белых бархатных заборов, а его нет. И вдруг она встречает девушку-дружинницу в большом ватнике. «Не знаете, где мой Гарусов?» — «Как же, знаю»,— говорит девушка. И приводит ее сюда. «Мама,— говорит Гарусов,— нá тебе мой хлеб и суп». Мать ест и поправляется, и начинается новая жизнь. Мать берет его из детского дома... Нет, еще лучше — остается сама здесь работать нянечкой. А тут и война кончается, и все хорошо.

Но время шло, мать не приходила за Гарусовым, и он постепенно перестал уже ждать.

Кончилась зима. Стало пригревать солнце, по улицам потекли грязные ручьи, и граждане, щурясь от света, вышли на тротуары скалывать лед. И ребята-детдомовцы — те, что не умерли за зиму, тоже выползали во двор и, притулясь кто на чем, сидели и грелись. И Гарусов тоже сидел, глядя на мир сквозь горячие, красные веки.

А когда сошел снег, детдом повезли в эвакуацию на Большую землю. Что за Большая земля — никто из ребят не знал. Их очень долго туда везли. Сначала на пароходе по синему морю, которое называлось Ладожское озеро. Потом выгрузились на берег. Ребят посадили в вагоны-теплушки с двухэтажными нарами. В каждой теплушке была раздвижная дверь во всю стену с поперечным брусом, через который легко было вывалиться. Они долго ехали, все по каким-то большим полям, но, видно, это еще не была Большая земля, потому что их не высаживали, а везли дальше. А поля были широкие и пустые. Кое-где у черных дорог стояли деревянные домики, а возле них бродили козы и петухи. Все это, поворачиваясь, проезжало мимо, и только синий лес на горизонте ехал в ту же сторону, что и поезд. Гарусову

досталось место на верхней полке у самого окошка. Окошко было не окошко, а продушина, с книжку величиной, но Гарусов им дорожил, потому что через него можно было смотреть. И думать. Чтобы его место не заняли, он целыми днями с него не сходил, и даже миску с супом подавали ему наверх, как больному. А набитый вагон весь гудел детскими голосами. Маленькие капризничали, просили пить, а большие дрались и играли в фантики. Или еще в «обнаружение» — кто больше вещей обнаружит. «А я дерево обнаружил!» — «А я собаку!» — «А я собачью будку!» — «Врешь, это не ты обнаружил будку, а я! Я ее вместе с собакой обнаружил!»

Гарусов лежал на верхней наре и думал. В одно утро, проснувшись, он посмотрел в окошко и увидел, что все изменилось. Вместо больших полей кругом поворачивались горбатые горы, а на горах росли такие огромные черные ветвистые ели, что он сразу понял: все кончено, это и есть Большая земля. Он слез со своих нар, встал на отвыкшие неуклюжие ноги и начал разглядывать ребят, своих попутчиков. Они гомозились у двери вагона, раздвинутой во всю ширь. Каждому не терпелось посмотреть на горы. Воспитательница уже осипла, отгоняя ребят от бруса, через который так легко было вывалиться. Одна девочка, стоя к Гарусову спиной, что-то капризно выплакивала, топая ногой, и на спине у нее прыгали желтые косы. По этим косам Гарусов узнал свою будущую жену, девочку в красной шубке и белых ботинках, которая спускалась когда-то по лестнице с разноцветными стеклами. Он подошел поближе — и точно, это была она, голодная, синенькая, с грязной шейкой, но для него все та же красавица. Гарусов был потрясен. Он все еще не оставил намерения на ней жениться, но сейчас это было не главное. Главное было, что она жила в его доме и, наверное, знала адрес, которого он не знал.

Вечером, как всегда, ребятам дали по кружке чая и по куску хлеба. Гарусов свой хлеб не съел, а отнес его девочке с косами. Она не удивилась, только засмеялась, а хлеб взяла. Заговорить с ней он не решился. Назавтра он опять принес ей вечерний хлеб, и на следующий день — тоже. Девочке было очень смешно, она прямо-таки помирала со смеху, перемигиваясь с подружками, но хлеб брала и ела. И опять он не смог с нею заговорить. Если бы она не смеялась, он бы заговорил.

Так прошло несколько дней, и вот неожиданно они приехали. Ребят сняли с поезда, посадили на грузовики

и опять куда-то повезли. На грузовиках было еще теснее, чем в теплушках, и еще легче было вывалиться. Их много раз сажали и пересаживали, считали и пересчитывали, мыли, кормили и стригли, и где-то в этой толчее Гарусов потерял девочку с желтыми косами. И адреса своего не узнал.

4

Детский дом, куда попал Гарусов, приютился на время войны в небольшом деревянном сибирском городе на берегу сумрачной многоводной реки. Вокруг города полукольцом лежали холмы, поросшие лиственницей. Деревья были растрепаны и наклонены всегда в одну сторону, будто всегда дул ветер. Вдоль улиц, продуваемых тем же ветром, стояли сутулые дома с вечно закрытыми ставнями. А в домах жили хозяйки-огородницы, большие строгие женщины в шалях с бахромой. Эти тетки детдомовцев называли «варначатами» — может быть, и за дело: предприимчивые ленинградцы больно уж шастали по чужим огородам, поедая сырьем капусту и даже картошку. А в общем-то ребята плохо привыкали к новому месту. Сибирь пугала их своей обширностью и суровостью, своей жадной торопливостью. В короткое здешнее лето листья на деревьях, торопясь произрасти, достигали огромных размеров — в тетрадный лист и больше. Лопухи по краям улиц вдвое перерастали заборы. Осенью лиственницы взахлеб, торопливо рыжели, и спины холмов отливали сизым, как лисья шерсть. Зима приходила сразу, как удар топора. Многие деревья так и замерзали, не успев пожелтеть. Листья на них, оставаясь зелеными, седели, стекленели и долго еще стучали по ночам. Под этот стук ленинградцы с тоской вспоминали свои неспешные листопады и затяжные дожди. А зима шла, становясь все круче. Уж, кажется, некуда было, а она все закручивала. Каждое утро из железного дыма вставало кровавое солнце и, поднимаясь по бледному небу, становясь розовым, вещало мороз. На это солнце можно было, не прищурясь, смотреть простым глазом. Строго и прямо стояли над городом, по одному над каждой крышей, желтые столбы дыма. Мелко шепчущий, оседающий, искрами роящийся воздух колол в ноздрях, запирал дыхание. Люди шли, забрав лица шерстяными платками. На каждом платке от дыхания намерзал белый мех. Страшна была сибирская зима — особенно для детского дома. На зиму он съеживался, замирал в своих плохо конопаченных

домиках, старался меньше дышать, чтобы меньше отдать тепла. Мало было топлива, мало еды, мало одежды. Очень плохо было с валенками (по-здешнему их называли «пимы»). Ребятам давали одну пару пимов на двоих, на троих. В школу бегали по очереди. А маленьких на улицу совсем не пускали. В такую страшную, скудную, жестокую зиму Гарусов начал учиться в школе.

Он был счастлив, что начал учиться. Он думал, что выучится и тогда найдет мать. Способности у него были хорошие, а прилежание — и того лучше. Ходя в школу через день, он быстро научился читать и писать. Особенно хорош у него был почерк, лучший почерк в классе, гордость учительницы. Гарусов любил писать. Он писал не только в школьные, но и в свободные свои дни. Он писал и дышал на обмороженные, негнущиеся пальцы, дышал и снова писал, садился на свои руки, отогревал их и снова писал. Видя такую страсть Гарусова к писанию, учительница подарила ему бутылку чернил, десять перьев и пачку старых школьных тетрадок в косую клетку, исписанных, но не до конца. В них еще много оставалось свободного места, и Гарусов на нем писал. Лиловые чернила хорошо пахли и, высохнув, отливали золотом. Писал он всегда одно и то же: «Настя Делянкина, Настя Делянкина», и так — много раз, пока хватало места.

К концу учебного года Гарусов так наловчился писать, что мог послать письмо, адресовав его «ленинградскому начальству», с просьбой найти его мать, Настю Делянкину. Ответа он не получил, но больше писать не стал, потому что начал уже кое-что соображать: война.

Вокруг него шла своим чередом детдомовская ежедневная жизнь со своими происшествиями: кто удрал, кто украл, у кого зуб выпал... Гарусов в ней участвовал мало. С товарищами он не ссорился, хотя и близко очень-то не сходился, оставаясь все время будто в стороне. Да и некогда было: очень уж он был занят своими мыслями и тем, что всегда хотел есть.

В детдоме все голодали помаленьку, но Гарусов — больше всех. Он всегда был голоден. После обеда голод не утихал, разве что усиливался. Говорят, голод сном проходит — Гарусов голодал и во сне. Или это была тоска, всегда его точившая, которую он не мог по неопытности отличить от голода. Наверное, из-за этой тоски Гарусов лет с восьми как-то остановился расти. Если и рос, то очень медленно, заметно отставая от сверстников. Так что скоро все его стали звать «Маленький Гарусов». Кстати, о зубах. Мо-

лочные у него сменились поздно, а новые выросли какие-то не такие, бахромчатые, с зазубринами, вроде пилы. Врачиха сказала: это от недостатка кальция в организме. Про кальций Гарусов знал и улыбался редко, стесняясь своих зубов. А так он был парнишка ничего, хорошенький, с голубыми глазами и густыми ресницами.

Ни в школе, ни в детдоме Гарусовым никто особенно не интересовался. Учится хорошо, нареканий нет, тревоги не вызывает — ну и ладно. Никому он не был особенно нужен — он как он, лично как Гарусов. И вот, на вторую зиму его заметила и лично для себя полюбила повариха Марья Федоровна. Это ему повезло.

Марья Федоровна была железная старуха, диктатор. Глаза большие, лицо красивое, нос как нож. Боялись ее в детдоме все, даже заведующая.

Происходила Марья Федоровна из коренных питерских рабочих и сама себя называла «пролетария всех стран». Много лет простояла она у станка. Стояла бы и до сих пор, даром что старуха, если б не вступило у нее в правую руку. Да и так вступило, что почти перестала рука сгибаться. Лучшие профессора лечили — и грязью, и гравиданом, и по-всякому — не помогло. Пришлось ей уйти с завода («директор черными слезами плакал, не хотел отпускать»). На пенсию не согласилась, хотя по годам и выходила ей пенсия, а вместо того пошла поварихой в детдом («не почему-нибудь, а для того, что очень воров ненавижу»). С детдомом поехала в эвакуацию, спасать ребят. В дороге зорко следила за правильностью снабжения, каждого мертвого учитывала и его паек строго распределяла: самым слабым, а останется — в общий котел.

Марья Федоровна мастерица была осуждать. В Сибири она осуждала все: климат, обычаи, местных начальников. Когда детдому в чем-нибудь отказывали, Марья Федоровна, повязавшись платком под треух, шла воевать и нередко до чего-то довоевывалась. В разговорах с начальством любила ссылаться на то, что и она в Ленинграде была депутат райсовета и при ней таких безобразий не было.

У Марьи Федоровны каждый воспитанник был на учете: кто ленится, кто чирьями пошел, кто плохо растет. Когда Гарусов перестал расти, она это заметила и вызвала его к себе.

— Ты чего, парень, не растешь? — строго спросила она.

— Не знаю.

— Или пищи тебе не хватает? Смотри у меня.

Гарусов молчал.

— Должен расти. Поди, много думаешь. Это плохо. Дитя, она и есть дитя, должна веселиться. Понял?

— Понял,— ответил Гарусов и хотел идти.

— Постой, не лотошись. Приходи вечером ко мне на кухню.

Гарусов пришел, и она его накормила. Так он начал ходить к Марье Федоровне на кухню. Сначала она его подкармливала просто из справедливости, а потом полюбила. Все ее трогало в Гарусове: нежный рост, бахромчатая улыбка, серьезный взгляд.

— Далекий мальчик,— говорила она.

Кормила она Гарусова не из общего котла, а из своей личной порции. «Мое, не сиротское, кому хочу, тому даю». Сама она почти ничего не ела. «Повару есть не надо, он съестным духом сыт»,— объясняла она своей помощнице Любе. Но Любе съестного духа решительно не хватало. Она ела жадно и стыдливо, избегая осуждающих глаз Марьи Федоровны. Иногда жаловалась подруге-нянечке: «Так она на меня ненавистно смотрит, будто я какой аборт делаю». А вообще-то она Марью Федоровну крепко уважала.

На кухне было тепло. Отдыхала большая плита. Управившись с ужином и помыв посуду, Марья Федоровна с Любой подолгу сидели у стола и разговаривали. И маленький Гарусов тоже рядом с ними пристраивался в тепле.

Говорили о войне. У Любы на фронте был муж и брат, и от обоих вестей не было. Она частенько плакала. Марья Федоровна — та не плакала никогда, хотя и у нее был на войне сын, сорока пяти лет, и писем не слал. «Жив — отыщется»,— говорила она.

Для Марьи Федоровны, в отличие от Любы, все было ясно: много народу погибнет, но все же немца победим, потому что у нас жила толстая, а у него — одно сухожилие.

И все-то она знала. Люба ела, а Марья Федоровна ее предостерегала:

— Осторожно надо есть, Люба, а то подавишься. У нас один творогом подавился. Умер. Приехали врачи, не поспели. Уж посинел. Лежит, а творог во рту.

— Страсти какие! — ужасалась Люба.— А вы его знали, мертвого?

— Как же не знать. Очень хорошо знала. Начальник был.

Гарусов слушал, подпершись кулаком, и костяшки пальцев глубоко входили ему в щеку.

Очень не любила Марья Федоровна воров и часто про них рассказывала. Много у нее было случаев в жизни.

— Слушай, Люба. Для человека мне не жалко, а для вора — жалко. Вор не человек. Я в Ленинграде свою квартиру, сколько ни живу, никогда на ночь не оставляю, потому что придут и украдут. Первый этаж особенно. Тут ко мне приехал племянник из Днепропетровска и говорит: «Зря вы, тетя Маня, на первом этаже как раз и не украдут, а на третьем украдут». И правда. Жильцы с третьего этажа, алкоголики, повесили шубу на балкон. Парни проходили, увидели, крючок такой сделали, из бронзы, да шубу на другой балкон и перетащили. И что ж ты думаешь? По старине говорили: бог правду видит. Бог не бог, а судьба какая-то есть. По волоску отыскали этих воров. Волосок из шубы выпал, вот и нашли. А если б не волосок — искали бы они свою шубу. Вот я и говорю: волосок какой-нибудь всегда отыщется.

— Правильно вы говорите, тетя Маня,— завороженно отзывалась Люба.

— А вот еще с одеялом дело было. Помогала я Тосе, соседке, выше меня жили, к празднику убираться. Я на уборку очень легкая. Тоська — молодая, а толста, живот ее подпирает. «Убери, тетя Маня,— Тоська говорит,— мы с тобой сосчитаемся».— «Какие такие счеты,— говорю,— уберу и за так». Значит, убираюсь, как на совесть, не люблю шаляй-валяй. Я одеяло выстирала шерстяное, а с него течет. Говорю: «Повешу на улице». А Тося — нет, не надо. А я возьми и повесь, пусть вода сама стечет. Только я наверх дошла, смотрю в окно — одеяла нет. Я как ненормальная сделалась, бегу во двор. Вора нет, одеяла нет. А Тоська мне: «Ты виновата, ты и будешь платить». Я пришла домой, у меня нервный припадок; не потому, что деньги, а потому, что могут подумать — я кого подговорила одеяло взять. А наутро Тоська звонит: «Тетя Маня, нашли одеяло». А я уж триста рублей приготовила. Так спокойно говорю: «Нашли? Ну и ладно». Как будто меня не касается.

— А где нашли, тетя Маня?

— Люба, не перебивай. Все своим чередом. Дяденька, который стащил, идет с одеялом к магазину и говорит женщинам, которые в очереди: «Кто одеяло возьмет за поллитра?» А с одеяла каплет. Кто ж его возьмет, хоть и за поллитра? Одна — за милиционером. Взяли вора с одеялом вместе. Меня потом на суд вызывали — я не пошла. Боялась, жалко мне его станет, что-нибудь совру.

Иногда начинала рассказывать и Люба:

— Вы, тетя Маня, послушайте про мою жизнь. Я вот своего мужа любила, хотя он был довольно-таки пьющий. Наверно, на войне отучат его пить, как вы думаете, тетя Маня?

— Не надейся, Люба. От этого дела никто никого не отучал. Вернется, будет сознательный, сам отстанет.

- Я и говорю. Очень я его любила, несмотря что пьющий. Мастер он у меня, стекольщик. Чуть что не по нем — окна бьет. Бьет и вставляет. Бьет и вставляет...

Гарусов слушал эти разговоры, отогреваясь душой и телом. Он обретал некую уверенность. Все в порядке: и война кончится, и немца побьем, и мать он найдет — всему свое время... Какой-нибудь волосок да отыщется...

Иной раз Марья Федоровна его даже ласкала, когда Любы на кухне не было. Возьмет за уши и прижмет его голову к своей груди, к какой-нибудь пуговице. Больно и неловко, но хорошо. Долго она его не прижимала, отстраняла и спрашивала:

— Чего не растешь? Или я не кормлю?

Гарусов мялся.

— Или нутро у тебя отбитое? Это бывает. Тебя, может, отец шибко порол?

— Ага,— врал Гарусов, становясь малиновым. Лестно было быть мальчиком, которого порол отец.

— Я бы такого отца... Ну, ничего. Еще вырастешь. А не вырастешь, тоже не беда. Не всем же большими-то быть, надо и маленькими.

Гарусовское теплое житье кончилось, когда Марью Федоровну свезли в больницу. Никогда она ничем не болела, а тут слегла. Гарусов одичал от горя и одиночества. Тайком он удирал в город и издали смотрел на низкий барак, в котором была больница. Где-то за этими одинаковыми окнами лежала она. В кухню его больше не допускали, Любе хватало своих дел. Питаться она теперь стала без помехи и потому потолстела. Одного боялась, что снимут ее с поваров за то, что не умеет стряпать. Какой-то начал к ней ходить инвалид и уходил всегда с бидончиком супа. Словом, без Марьи Федоровны все разладилось.

А весной Марья Федоровна умерла. Хоронили ее всем детдомом. Впереди шел оркестр и дудел в полторы трубы. Потолстевшая Люба кричала тонким голосом, оплакивая Марью Федоровну. Потный трубач поминутно вынимал мундштук изо рта, сплевывал, и музыка мучительно прекращалась. Гроб был желтый, некрашеный, с бумажными кружевцами по краю. Марья Федоровна лежала в нем так,

словно у нее вовсе не было тела, один провал вместо тела. Только по носу можно было ее узнать. Гроб заколотили, опустили в яму (командовал тот же трубач) и засыпали еще не оттаявшей, рыжей сибирской землей. На кладбище пели птицы.

* * *

После смерти Марьи Федоровны Гарусов долгое время был сам не свой, как будто его связали поперек сердца веревками, а потом отошел понемногу и начал жить. Дни шли одинаковые, как костяшки на счетах, прерываясь только на праздники. Праздников Гарусов не любил, потому что нечего было делать. Он и воскресенье-то не любил, подозревая в нем маленький, замаскированный, но все-таки праздник.

В школе дела шли своим чередом. Ребята обменивались марками, списывали задачки, учились по затрепанным, из третьих рук, учебникам, где на каждом портрете были пририсованы лиловые усы. Гарусов учился успешно, никаких претензий к нему не было, но в гущу школьной жизни не входил, все чего-то ожидая, как транзитный пассажир. В душу свою он никого не пускал, да никто и не просился. А что у него там творилось — не дай бог. Дворницкая с заросшим окном. Бородатый чайник, роняющий капли. Вороны, заборы. Мертвое лицо Марьи Федоровны с бумажной полоской поперек лба.

Один раз Гарусов поймал и приручил мышь. Она жила у него в литровой стеклянной банке. На ночь он завязывал банку тряпочкой. Гарусов кормил мышь крошками со своего стола. Она ела быстро и мелко, шевеля маленькими челюстями. Гарусов смотрел и думал, что вот он — маленький, а мышь — еще меньше, а крошка — еще меньше мыши, а зубы у мыши — еще меньше крошки, и дальше все уменьшается, и конца этому нет. Иногда он вынимал мышь из банки и сажал ее на указательный палец. Мышь сидела, обхватив палец острыми коготками, свесивши голый хвост. Гарусов дул ей в спинку, тонкий мех разлетался, и была видна чистая голубая кожа. Однажды вечером он забыл завязать банку, и мышь ушла. Он стоял перед пустой банкой и думал: значит, не поедет она со мной в Ленинград... В том, что сразу после войны он вернется в Ленинград, Гарусов не сомневался.

А война тем временем шла к концу. Кормить стали лучше, с фронтов приходили хорошие вести. Гарусов ведал

флажками на большой карте. Он переставлял их каждое утро, аккуратно натягивая между ними красный шнурок. Этим шнурком, казалось ему, он тоже как-то оттеснял немцев и приближал конец войны.

5

Вот и кончилась война. Трудно было этому поверить, но война кончилась.

Гарусов был уже в четвертом классе, «ниже всех по росту, выше всех по успеваемости», как говорила классная руководительница. До сих пор он держался от других ребят как-то в сторонке, а теперь влился в класс и стал вместе с другими. Еще бы! Кончилась война, скоро их повезут домой, в Ленинград! Класс весь гудел и дрожал от горячих обсуждений. Когда повезут? Как повезут? Поездом или пароходом?

Однако время шло, а об отъезде все еще не было речи. Учителя и воспитатели отмалчивались. Оказывается, за то время, что ленинградский детдом провел в сибирском городе, его дважды успели слить с какими-то местными. Теперь он уже не числился ленинградским и «не подлежал реэвакуации», как кто-то кому-то объяснял. Когда Гарусов об этом узнал, он весь загорелся страстью. Домой, в Ленинград, добиться, умереть, но добиться! Теперь его узнать нельзя было. Он стал красноречив, изобретателен и хитер. Всеми правдами и неправдами он добился, чтобы его отпустили в город, и пошел прямо в отдел народного образования. Там он проскользнул мимо секретарш и уборщиц и проник в кабинет самого заведующего.

Заведующий сидел за столом и писал. Он был в очках, в пиджаке и свитере — в кабинете было прохладно. Кто-то рядом кашлянул тихо, словно овца перхнула. Заведующий поднял глаза. У его локтя стоял хорошенький голубоглазый мальчик, на вид лет семи, маленький, как карандаш.

— Что тебе нужно? — спросил заведующий.

— Мы — ленинградцы,— начал Гарусов заранее подготовленную речь.

— Кто это вы? — спросил заведующий.— Какие такие вы?

— Воспитанники ленинградского детдома,— не смущаясь, ответил Гарусов.— Дело в том...

И пошел излагать свое дело, да так толково и грамотно, что заведующий даже ручку положил. Вот так парень!

Гарусов довольно твердо, хотя и по слогам, произнес

слово «реэвакуация» (он долго его репетировал дома). Да, именно реэвакуация необходима. Детей-ленинградцев нужно отправить в родной город. Там многие из них найдут своих родителей или других родственников. А государству это будет даже выгодно: многих детей заберут из детдома и «снимут с государственного снабжени » (именно так выразился Гарусов, к крайнему удивлени дующего). Тот слушал его с интересом, приставив ладонь рупором к большому волосатому уху.

— Чудеса! — сказал заведующий.— А сколько тебе лет?

— Одиннадцать,— не совсем уверенно сказал Гарусов.

— Одиннадцать,— повторил заведующий.— Так, так...

Он взял телефонную трубку.

— Татьяна Петровна! Зайдите-ка сюда на минуточку. Тут у меня один ленинградец, одиннадцати лет.

Вошла заместительница заведующего, пожилая женщина в вязаной кофте, с крепким уральским акцентом.

— Чего у вас случилось-то́?

— А ну-ка, оголец,— сказал заведующий Гарусову,— повтори-ка, что ты тут говорил.

Гарусов повторил. Татьяна Петровна, женщина добрая и одинокая, ужасно любившая плакать, когда на торжественных заседаниях выходили с приветствиями пионеры, слушала Гарусова со слезами на глазах. Такой маленький, такой толковый! Непременно надо ему помочь! А когда Татьяна Петровна решила кому-то помочь... Заведующий усмехался, скрестив пальцы под подбородком. А Татьяна Петровна тут же, не просушив глаз, стала звонить в разные места. Ей что-то там отвечали, она прикрывала трубку рукой, подмигивала Гарусову и снова принималась убеждать: «Дети-то́... без матери-то́... без дома-то́...» — говорила она, решительно ударяя на «о».

В общем, дело пошло. В детский дом Гарусов вошел с триумфом. Ребята-ленинградцы на руках пронесли его от ворот до столовой. А в столовой Гарусова ждал пир. Ребята нанесли ему белого хлеба, котлет, а возле тарелки кусочками сахара выложили инициалы «Т. Г.». Великодушный Гарусов тут же все это роздал. Что ему хлеб, что ему сахар!

Отсюда начался недолгий период гарусовского вожаковства. Ребята-ленинградцы, признав его руководящую роль, ходили за Гарусовым стадами. Он судил ссоры, распределял обязанности, одним словом — цвел. Татьяна Петровна не обманула. Не прошло и месяца, как приехала комиссия,

побеседовала с самим Гарусовым (Анатолием Ивановичем, как в шутку величал его председатель), опросила ребят... А еще через два месяца — все-таки бывают чудеса! — группа воспитанников-ленинградцев поехала на родину.

Накануне отъезда, движимый каким-то смутным чувством, Гарусов отпросился в город и пошел на реку. Приближалась зима. Деревья уже заголились и дрожали от холода. По темноватой стремительной воде бежали плоские вихорьки, а между ними мокрым сахаром шел первый лед. Сентябрь. «А у нас там листопады, листопады...» — по привычке думал Гарусов, но представить себе листопадов не мог. Реальностью была эта холодная, серьезная река. Если бы он умел выразить свои мысли словами, вышло бы что-то вроде: «Прости меня, Сибирь, что я тебя так и не полюбил».

* * *

Назад ехали пассажирским поездом, с веселой стукотней, с пересвистом паровозов и хороводом станций, сменявшихся за окнами. Чем дальше, тем больше было солнечных, золотых рощ, прудов с гусями и утками. На каждой станции — надо, не надо — Гарусов соскакивал за кипятком и нарочно медлил возвращаться, чтобы девчонки пугались: «Ах, он останется». В самую последнюю минуту он ловко вскакивал на подножку и еще для удовольствия висел там некоторое время, а горячий чайник танцевал у него в руке.

В Ленинград Гарусов вступил победителем. Стояла великолепная, подлинно золотая осень. В садах неистовствовали листопады. Синяя Нева привольно разворачивалась от Зимнего дворца до Биржи. По Неве, морща и вспенивая воду, шли в разных направлениях веселые пароходики, полные взрослых и детей. Волны подбегали и лизали гранит у ног Гарусова. А главное, он теперь уже все мог. Удивительно, как он стал теперь болтлив, как часто стал улыбаться, не пряча зубов.

Детдому отвели старый особняк на Каменном острове — мрачное, запущенное, частично разбомбленное здание с лопнувшими трубами и неисправными печами. Гарусов полюбил это здание, где на потолках толстые женщины в плащах и сандалиях сыпали из рогов изобилия розы и фрукты. Он сразу выделился в руководители ремонтно-строительных бригад, кошкой лазил по лесам и подмостям, таскал ведра с мусором, месил гипс, штукатурил стены.

Надо было торопиться, надвигалась зима, но эта зима — мягкая, безобидная, ленинградская — его не пугала. При мысли об этой зиме Гарусов только улыбался. Он не зря улыбался: он ждал. Ждал ответа из адресного стола. Ответ пришел не скоро и был краток: «Указать отчество, год и место рождения». Гарусов этого не знал.

Он задумался и приуныл. Даже сходил к врачу и попросился в лазарет, ссылаясь на «острую боль в плече». Лежа в лазарете, он обдумал положение и выработал план. Он решил обойти весь город, улицу за улицей, пока не найдет свой дом. Сколько в Ленинграде улиц, Гарусов не знал даже приблизительно, но готов был ходить долго, сколько понадобится. Вышел он из лазарета почти не изменившимся, разве что пошатнулся немного в своем вожаковстве, и голубые глаза проросли серым.

Приняв решение, он начал действовать. Воспитаннику детдома трудновато получать увольнение, если у него нет родственников. Гарусов совершил чудо: сделал себе тетку. Помогли ему в этом опять-таки резонная речь и честные глаза. «Тетка» крепко уверовала в его порядочность: раз такой парень говорит «надо», значит, надо. Он принялся выполнять свой план. Каждый выходной он являлся к своей богоданной тетке, помогал ей, чем мог, по хозяйству, а потом отправлялся на поиски. Так прошло несколько лет.

Гарусову было уже лет восемнадцать, и он учился в последнем классе, когда вдруг в своих поисках он набрел на улицу, показавшуюся ему знакомой. Началось с трещины на тротуаре — он помнил этот профиль, не то звериный, не то птичий. Сердце Гарусова забилось где-то в зубах и деснах. На углу оказалась булочная, может быть, та самая булочная. Только в витрине теперь висели баранки и лежали песочные торты. Что-то в них было оскорбительное. В мыслях своих он не раз находил эту булочную, но в ней было все как тогда, в блокаду: забитое окно, слабый огонь коптилки, чашка весов с тонким ломтиком хлеба. Он отошел от витрины, свернул направо и увидел свой дом. Да, это был, кажется, его дом, хотя гораздо проще, приземистее и мельче. Интересно, существует ли еще парадная лестница? Гарусов дошел до двери, потянул за бронзовую ручку и остановился, как у входа во храм. Храма не было. Перед ним была заурядненшая, давно не ремонтированная лестница. Окна тускло просвечивали декабрьским дневным светом. По ним вился узор из красных цветов и зеленых листьев. Все это было так непохоже на то, давнишнее, что Гарусов усомнился. Он подошел к окну и приложил к стек-

лу ноготь — большой, чистый, розовый ноготь, и услышал, как он с легким треском стал перескакивать с одного бугорка на другой. Тогда он поверил, что нашел свой дом.

Во двор он вышел через знакомую подворотню. Ворота были такие, как раньше, а вот дворницкой больше не существовало, на ее бывшем месте стояли скамейки, а рядом с ними копали совочками снег важные маленькие дети в больших штанах, выше ушей подпертые воротниками. Тут же привязывал к валенку один конек мальчик побольше.

Гарусов зашел в домоуправление. Тети Шуры управдомши там, конечно, не было, на это он и не рассчитывал. За столом сидела молодая девушка-паспортистка с перламутровыми ногтями. Она считала на счетах, щеголяя ногтями, и спросила: «Чего тебе, мальчик?» Гарусова, по малому росту, часто называли в разных местах на «ты» и «мальчик» — он не обижался. Он изложил свое дело. Жила тут, еще до войны, в дворниках Настя Делянкина, и еще управдомша, по имени тетя Шура. Во время блокады он их потерял и теперь интересуется, нет ли каких следов?

Девушка выслушала его и покачала головой. Нет, ни о какой тете Шуре управдомше, ни о какой Насте Делянкиной она не слыхала. И вообще, в блокаду, говорят, все дворники умерли и управдомы — тоже. «Нет ли документов каких-нибудь?» — спросил Гарусов. Нет, документов никаких не осталось, здесь пожар был, и домовые книги сгорели. Говоря так, она улыбалась — должно быть, какой-то внутренней радости своей,— и рот у нее был весь розовый — и снаружи, и внутри, беличий рот с белыми зубами. Конечно, она не была здесь в блокаду. Она была благополучной девочкой с Большой земли.

Видимо, сочтя, что разговор окончен, паспортистка вынула зеркальце и стала детской зубной щеткой красить ресницы. Ее лицо с напряженно-округленным ртом выражало крайнюю сосредоточенность. Гарусов все стоял возле стола, никак не усваивая, что это — все. «Надо было сказать — я ее сын,— думал он,— но все равно не помогло бы. Пожар, книги сгорели». Он тихо вышел, стараясь не скрипнуть дверью. Где ему было еще искать концов? Походить по квартирам, не выжил ли кто? Но после беседы с паспортисткой он как-то уверился, что никто не выжил. На всякий случай он зашел еще в ту квартиру, где они с матерью жили после того, как в дворницкую попала

бомба. Ему отворила женщина в бигуди, с глазами, как плоские камни. Она объяснила ему, в ответ на его не очень толковые расспросы, что никто, кроме них, Афанасьевых, в этой квартире не живет и не жил: «Мы ее честно по ордеру получили, а хотите судиться — судитесь, никто не запрещает, только ничего у вас не выйдет, все сроки прошли». Пока она говорила, Гарусов жадно заглядывал в раскрытую дверь налево, где была их с матерью блокадная комната. Но там было так чисто, так отремонтировано, что он и глядеть перестал. От прошлого не осталось ни соринки. Он постоял дурак дураком, дождался, пока женщина захлопнула перед ним дверь, и ушел, так и не взглянув, какая это была улица и какой номер дома.

* * *

После того как Гарусов нашел свой дом, он впал в уныние, и ему осталось только кончать школу. Учиться он перестал, жил на проценты с нажитого капитала. Слава хорошего ученика шла за ним до самого конца школы и принесла ему серебряную медаль, хотя сочинение он написал, по мнению комиссии, «суховато». Вообще, он както весь подсох: глаза стали совсем серыми, рот — подобранным, походка — сдержанной, с аккуратно развернутыми в стороны носками. От его вожаковства давно уже ничего не осталось. Ребята тянутся к счастливым.

Отпраздновали выпуск. Теперь надо было решать, куда идти — работать или учиться. Гарусов пошел к директору и попросил оставить его в детдоме дворником. Директор принял это за неуместную шутку и очень разгневался, а Гарусов не шутил. Охотнее всего он стал бы рабочим, он любил работать руками в мастерских. Но учительница физики его уговорила учиться, и он подал заявление в институт. Специальность — автоматика и связь — тоже она ему подсказала. Самому Гарусову было все равно. Он прошел собеседование для медалистов и был принят.

Оставшийся до занятий месяц Гарусов проработал в совхозе. Там ему понравились вечера, и звезды, и танцы в клубе, и стало ему вроде полегче. Осенью он явился на занятия, загоревший и молчаливый, но вполне уравновешенный, и начал учиться. Институт был большой, дремучий как лес, и никому в нем до Гарусова как будто не было дела, а ему сейчас это и надо было.

* * *

Жизнь в институте бежала бегом. По коридорам бежали, сновали, сталкивались студенты, молодые преподаватели, старые профессора. Бежали очкастые, бежали здоровяки, бежали девушки с пышными волосами и милыми улыбками. В большой перерыв волны студентов, бегущих из корпуса в корпус, сшибались, закручивались, образовывали пробки и водовороты. Какой-нибудь профессор, случайно затертый потоком, только покряхтывал, получая время от времени пинок локтем. Жевались булочки, спихивались зачеты, переходили из рук в руки конспекты и шпаргалки, так называемые «шпоры». Все это, мелькая, вращалось вокруг Гарусова, как земля мимо идущего поезда.

В институте, как и в школе, Гарусов учился хорошо и на совесть. Он записывал все лекции, раньше других сдавал лабораторки и курсовые, портрет его висел на доске передовиков учебы. Конспекты у него были чистые и короткие — все важное записано, лишнего нет — и высоко ценились на студенческой бирже.

Жил он в общежитии, в комнате на четырех, койку заправлял аккуратно, в женское общежитие не рвался, пить не пил даже по праздникам. Словом, жил, как положено, и стипендии у него всегда хватало от получки и до получки. Одет был всегда чисто, рубашки выстираны, ботинки начищены, и брюки на ночь клал под тюфяк, чтобы сохранялась складка. И то сказать, одеваться Гарусову было проще, чем другим: благодаря росту, он все покупал в детском отделе, за полцены.

Студенческие хлопотливые дни проходили у Гарусова размеренно, полные до краев, но не переполненные, потому что он умел беречь время и за лишнее не брался. Еще в детдоме он вступил в комсомол и теперь был довольно заметен и на хорошем счету по комсомольской работе. Начальство знало: Гарусов не подведет. С товарищами он не ссорился, но и близкой дружбы не заводил. Девушки на него не зарились, воспринимая его скорей иронически из-за малого роста. Да и он сам на этот счет не слишком-то обольщался. Смутит его на день-другой какая-нибудь улыбка, поворочается он на своей твердой койке, а там снова уравновешен, сам понимает — не из героев. И вдруг Гарусов всех удивил — женился.

Вышло это так. Ходил он обедать в столовую на углу — там было лучше и дешевле, чем в институтской, да и шума

Гарусов не любил. Там его часто обслуживала Зоя, большая спокойная девушка, белокурая и гладкая, как дыня. Зоя заметила Гарусова — его хорошенькое, умное лицо и длинные ресницы, оценила, как он степенно расплачивался, вынимая деньги из маленького, детского бумажника,— и стала ему симпатизировать. «Маленький, но самостоятельный»,— думала про него Зоя. Она и любовалась Гарусовым, и жалела его, что мал и худ. Старалась накормить посытнее: от официантки всегда зависит,— супу тарелку до вторых краев, гарнира — не по норме, а вволюшку. Ему бы трехразовое питание, живо бы поправился! Но Гарусов приходил в столовую только раз в день, обедать. Зоя стремилась за этот один раз обслужить его максимально. Так незаметно кормя-кормя, она его и полюбила. Теперь уж ей все время хотелось сесть рядом и смотреть, как он питается. Но в обеденные часы пик не больно-то посидишь, только поспевай, бегай с подносами.

У Зои тоже жизнь была не очень счастливая. Побывала она замужем. Муж — слесарь-механик шестого разряда — и красив-то был, и получал хорошо, а не вышло у них жизни, все водка проклятая. Придет пьяный, воображает, посуду бьет и ее, Зою, попрекает — зачем толстая. Ушел к физкультурнице, за фигуру, а Зою оставил в положении на пятом месяце. Она к женской сестре ходила, капли пила, чтобы скинуть, но не скинула, а родила девочку Ниночку, хорошенькую и здоровенькую, всю как две капли в слесаря-механика. А он так и не зашел ни разу, не взглянул на своего ребенка, алименты судом пришлось требовать.

Так и жила, вроде вдовы с дочерью. В ясли Ниночку Зоя не отдала, а сговорилась с одной старушкой, очень сознательной, чтобы сидела с девочкой, пока на работе. Отдала ей целые алименты. Ничего не жалко, был бы ребенок чистенький, ухоженный. В яслях известно как: на одну няньку тридцать соплюшек, плачут, мокрые, непеременные. Кушать подали — нянька сразу троих кормит, так ложки и сверкают: раз, два, три. А может, ребенок не в аппетите? Его уговорить надо, заняться, чтоб кушал, сказку рассказать: «Пошла, киска, вон». Нет, Зоя не такая, не эгоистка. Лучше она себе туфли не купит, лишний раз в кино не пойдет, а все для ребенка. Правильно говорится: дети — цветы жизни.

Как-то раз вечером — Зоя была выходная — повстречались они с Гарусовым на улице в далеком районе. Гарусов поздоровался, а Зоя вся покраснела, даже сердце у нее провалилось. Он стал проходить мимо, но Зоя его останови-

ла: «Куда идете, если не секрет, очень ли торопитесь?» Гарусов отвечал, что идет та́к, никуда особенно, и не очень торопится. Пошли рядом — Зоя большая, Гарусов ей по ухо.

Поговорили-поговорили, Зоя Гарусова обо всем расспросила: как живет, на что надеется, почему не ужинает? Гарусов отвечал, что стипендия пока маленькая, но будет больше, потому что он отличник учебы, а когда получит повышенную стипендию, то обязательно будет ужинать. Зоя сказала, что ей из-за полноты ужинать вредно, но она очень любит, когда кто ужинает: «Так бы и кормила». Тут она совсем смутилась и пригласила Гарусова еще до стипендии, просто так, приходить ужинать: «У нас излишки свободные». Гарусов ничего не сказал и так на нее поглядел, что Зоя стала оправдываться: это она для шутки, понарошку сказала. Но стало ей радостно, что он такой принципиальный, наверно, и с женщинами такой же, не обормот. Непонятно, с какой смелости в тот же вечер пригласила она Гарусова к себе, и он зашел, не отказался. У Зои квартирные условия были не особые, но обстановка культурная, не хуже людей. Комната двенадцать метров, с желтыми обоями, занавески модные, набивные, полы намыты, и Ниночкина кроватка не как-нибудь, а за ширмой. Угощения только не было, не ждала ведь, случайная вышла встреча, как говорят, судьба свела. Подала чаю (хорошо, заварка была), и выпил Гарусов с конфетой — одну конфетку из вазочки взял, «раковую шейку». Выпил, поблагодарил, потом на ширму поглядел и спросил: «А там кто?» — «Моя дочь Ниночка»,— ответила Зоя и покраснела маком. «Беленькая?» — спросил Гарусов. «Беленькая»,— подтвердила Зоя. Больше про это разговору не было. Гарусов еще немного посидел и стал прощаться. Зоя его проводила в прихожую, поправила ему шарф, просила еще заходить, заперла дверь и легла спать, довольная, что Гарусов такой культурный, самостоятельный, целоваться не лезет и вот Ниночкой заинтересовался. «Может, и будет у меня в жизни счастье, довольно намаялась»,— думала Зоя.

Так и вышло. Гарусов стал к ней ходить, дальше — больше, а когда стало у них серьезно, сам предложил расписаться. Зоя не настаивала — не девушка. Сперва, конечно, надо было оформить развод. Деньги на него дал Гарусов. Зоя даже удивилась, откуда у него такая сумма — не со стипендии же скопил? Оказалось, что он еще в детдоме зарабатывал и клал на книжку. Вот и пригодились.

На суд слесарь-механик явился пьяней вина. Судья даже мирить не пыталась, сразу приговорила развести. Вскоре после этого Зоя с Гарусовым расписались и стали жить мужем и женой.

Зоя была счастлива — дальше некуда. Гарусов оказался и в самом деле солидный, не пил, не курил, приятелей не водил, повышенную стипендию ей отдавал всю, до копейки. В столовую ему теперь ходить было незачем, что ни говори, а домашнее питание более качественное. Зоя сама его кормила, а в свое дежурство оставляла обед утепленный, под тюфяком, и разогревать не надо. И с собой ему давала бутерброды в пластмассовой коробке. А главное, Ниночку Гарусов полюбил, нянчил ее, тетешкал, ночью вставал, когда заплачет. И девочка уже тянулась к нему, узнавала.

В институте, за самодеятельность, Гарусова премировали аккордеоном (играть он еще в детдоме научился). Инструмент, красивый и новенький, кнопка к кнопке, стоял в углу на столике, Зоя радовалась, а про себя прикидывала, как через несколько лет на этом же месте будет стоять телевизор. Плохо ли? В кино ходить не надо.

А вот Гарусов — тот, пожалуй, не был счастлив. Жили они с Зоей хорошо, и Ниночку он любил, ничего не скажешь, а чего-то все не хватало. По-прежнему чувствовал он неопределенную тоску, похожую на голод, хотя он теперь не голодал, напротив, хорошо питался. Чем-то еще тоска была похожа на жалость — жалко было Зою, Ниночку, других людей, куклу в пустой блокадной квартире, лежавшую, раскинув руки, на холодном полу, разбомбленные дома, которые погибали, как люди. Особенно по ночам ему не давали покоя разные мысли. В комнате было жарко. Лежа рядом с горячим Зоиным боком, Гарусов не спал и вспоминал всю свою жизнь, все, что видел, встретил и что потерял. Иногда ему снились старые сны: много ворон.

* * *

В институте дела Гарусова шли по-прежнему хорошо, даже лучше прежнего — и в учебе, и в самодеятельности, и в комсомольской работе. Любое поручение Гарусов выполнял на высоком уровне, вдумчиво, добросовестно, правда, несколько сухо. Даже в самодеятельности сухо танцевал и играл на аккордеоне. Говорил он короткими фразами, делая между ними веские перерывы. Среди своих сверстников он, хоть и маленький, казался старше. Сейчас, когда

Гарусов женился, он еще больше отошел от беззаботной студенческой братии и от этого иногда страдал.

Еще до женитьбы, когда Гарусов жил в общежитии, завелся у него приятель Федор Жбанов — толстый, румяный великан, бездельник и бабник. Вот со Жбановым Гарусов отчасти дружил. Трудно сказать, что их между собой связывало, очень уж они были разные: Гарусов — маленький и сдержанный, Жбанов — большой и разболтанный. Оба относились друг к другу критически, но с симпатией. Гарусова, пожалуй, привлекали в Жбанове его способности, а также полное к ним равнодушие. Несмотря на способности, он учился плохо, потому что презирал науку, книги, профессоров, доцентов и ассистентов, а заодно и академиков. Вообще — всех тех, кто стоял над ним и пытался им командовать. Весь год он валял дурака, не ходил на лекции, а когда очень уж начинали прижимать с посещением, демонстративно садился в первый ряд, ничего не записывал и улыбался. Этим он доводил до бешенства нервных профессоров. Один из них даже потребовал, чтобы на его лекции больше не пускали «этого Гаргантюа». Так проходил семестр. А перед самым экзаменом Жбанов ложился в сапогах на свою койку, лицом вверх, брал учебник и, держа его перед носом, перелистывал минут двадцать — полчаса. Этого ему было достаточно, чтобы сдать предмет на тройку, а то и на четверку. Больше четверки ему никогда не ставили — просто за наглость.

Время от времени Федор Жбанов покидал общежитие и, по своему выражению, «уходил в народ», то есть поселялся у какой-нибудь женщины. Успех у женщин он имел необыкновенный, хотя не был с ними ни ласков, ни даже внимателен, — а вот поди ж ты. Сила тут, что ли, действовала какая-то. За право временного владения Жбановым всегда сражались три-четыре претендентки. Пробыв в нетях недели две-три, а то и месяц, Жбанов возвращался в общежитие и вновь осваивал свою койку, которую в его отсутствие оберегал Гарусов, чтобы не заняли. Охотников занимать, впрочем, не находилось, потому что под богатырским телом Жбанова койка прогнулась почти до полу. Федор возвращался как когда, иной раз обласканный, одетый-обутый, а то и обобранный, всяко бывало. О своих приключениях он разговаривать не любил, на расспросы отмалчивался. Вернувшись в общежитие, он на некоторое время присмиревал, отсыпался, а потом опять входил в силу, и начиналось то же самое.

Однажды Гарусову по комсомольской линии поручили

провести со Жбановым беседу о его моральном облике. Гарусов, будучи добросовестным во всем, и к этому поручению отнесся ответственно, подготовил текст и аргументацию, со ссылками на литературу. Однако, как только он начал беседу, Федор расхохотался, обозвал его неприличным уменьшительным именем, взял на руки и вынес в коридор, а дверь за собой запер. Гарусов постоял-постоял за дверью, поскребся в нее, несколько раз окликнул Федора, но, не получив ответа, ушел гулять по городу, просто куда глаза глядят. В тот самый вечер его и встретила Зоя далеко от дома. Когда он вернулся, дверь была уже отперта и Жбанов нахально храпел. Больше к разговору на эту тему они не возвращались — беседа проведена, и ладно.

Когда Гарусов женился на Зое и некоторое время прожил с ней, он понемногу все чаще стал вспоминать Федора Жбанова. В сущности, думал Гарусов, он теперь сам по моральному облику не выше Жбанова — живет с женщиной, она его кормит и стирает ему белье. А что он расписан, то это значения не имеет, потому что дело не в бумажке. Думал он о Жбанове довольно упорно и все больше о нем скучал. Он сказал Зое, что хочет пригласить к себе товарища, как она на это посмотрит? Зоя посмотрела серьезно, уговорила Гарусова подождать до получки, а то и принять человека нечем будет. Назначили день. Зоя купила бутылку, испекла пирог, сделала холодное, накрыла на стол. Стали ждать гостя, приодетые: Зоя в голубом крепдешиновом, Гарусов в новом костюме. Он все беспокоился, хорошо ли будет, потирал маленькие руки и поправлял на столе то тарелки, то скатерть.

Жбанов явился с большим опозданием, уже пьяный, и привел с собой женщину, тощую и немолодую, вроде накрашенной щуки. Женщину звали Наиной, и она обижалась, когда ее называли Ниной. За столом она ерзала, будто сидела на гвозде, комнату Гарусовых не одобрила: «Мало модерна». Водку пила жеманно, отставив мизинец как пистолет. Пирога и закусок есть не стала, спросила маслин, но их у Зои не оказалось. Федора Жбанова быстро развезло, он побледнел, сердито сверкал глазами и без всякой церемонии осаживал свою даму. Увидев аккордеон, потребовал, чтобы Гарусов сыграл «Жулик из Малаховки». Гарусов такой песни не знал, Жбанов начал было ее петь, но запутался, разорвал на себе галстук и, в конце концов, выгнал Наину вон: «Чтобы я тебя никогда больше не видал, гиена поджарая». Пока Наина, плача черными слезами, одевалась в прихожей, Гарусов успел ее пожалеть до живой боли

и охотно вызвался провожать домой. По дороге Наина плакала, жаловалась на Жбанова, ругала его котом и плесенью, грозилась написать в профком и местком, требовала, чтобы Гарусов оказал давление по комсомольской линии. Гарусов молчал и жалел ее все больше. «Ах, все вы заодно!» — сказала Наина и дала ему пощечину, не больно, как-то почти мимо, узенькой слабой рукой и быстро пошла вперед, он за ней. Тут она начала нехорошо ругаться, и жалость Гарусова достигла предела. Кончилось это тём, что она вошла в какой-то подъезд с криками: «К первому попавшему!» Гарусов постоял у подъезда, подождал с полчаса, не дождался и пошел домой, совсем растерзанный жалостью и недоумением. Когда он вернулся, Федор Жбанов, как был в костюме и в сапогах, спал на супружеской кровати, а Зоя сидела у стола и плакала прямо на пирог. Легли они с Гарусовым на полу. Жбанов всю ночь храпел смертным храпом, а утром покаянно опохмелился и ушел. Больше о том, чтобы пригласить к себе товарища, Гарусов не заикался.

Так постепенно проходило время. Гарусов все так же хорошо учился, и все так же ему чего-то не хватало. А Зоя еще больше пополнела, была довольна своей судьбой, и только хвалить ее не решалась: еще сглазишь. Ниночка подрастала и становилась хорошенькой, вся в отца, слесаря-механика. Зоя этого сходства боялась — как бы Гарусов не разлюбил девочку — и часто, глядя на дочь, говорила фальшивым голосом: «Ну, вылитая я в ее годы». И напрасно. Гарусову было все равно, на кого похожа Ниночка — на слесаря-механика или на мать. Девочка звала его «папой», цеплялась за его руку на улице. Иногда, когда она обнимала его за шею, Гарусов чувствовал что-то такое в груди, словно бы его сердце хотело и не могло раскрыться и толкалось изнутри в сердечную сумку.

8

Новый интерес в жизни Гарусова появился, когда он попал в научный кружок при кафедре автоматики. Привлекла его туда старший преподаватель кафедры Марина Борисовна Крицкая. Она же и руководила кружком, хотя номинально руководителем числился заведующий кафедрой профессор Темин, заслуженный деятель науки и техники, который, получив «заслуженного», от науки отбился, метил выше и на кафедре бывать почти перестал.

В институте Марину Борисовну вообще любили, хотя считали чудачкой и отчасти над ней посмеивались. Целые анекдоты ходили о ее рассеянности, доброте и нелепости. Будучи нелепой, рассеянной и доброй, Марина Борисовна за много лет так и не успела защитить диссертацию. Рассказывали, впрочем, что диссертация у нее была уже готова, но она ее потеряла. Как потеряла? Да так, самым буквальным образом, где-то выронила. Что ж, вполне возможно. Марина Борисовна всегда что-то теряла. Это была невысокая изящная женщина с крохотными ногами и руками, с пучком вечно растрепанных полуседых волос, из которых поминутно падали шпильки. Ходила она как бы танцуя, на полупальцах, по-кенгуровому поджав к груди маленькие руки. Вечно она куда-то спешила, о ком-то заботилась. Чужие дела горели в ней неугасимым пламенем. Студентов она любила самозабвенно, хотя они ужасно ей врали. Врать ей было легко и стыдно — стыдно потому, что легко. Она сразу верила и бежала на помощь. Скажем, студент оправдывал свою неподготовленность болезнью матери. Что тут начиналось! Чем больна? Кто лечит? В больнице? В какой больнице? Чего доброго, она способна была отнести туда передачу! Студент потел холодным потом и сам не рад был, что с нею связался. Зато подлинные неудачники, хвостисты, и отчисленные, чудаки и сумасшедшие летели на нее как мухи на мед. Денег и времени у нее никогда не было — все уходило в людей.

Первую лекцию Марины Борисовны Гарусов хорошо запомнил. Это была первая в институте лекция, которую он не записал. Третий курс, студенты — народ уже привычный, тертый — галдели в аудитории, кто сидя, кто стоя, кто жуя, кто, как Гарусов, раскрыв тетрадь и приготовившись записывать. Распахнулась дверь, и вошла, придерживая ее рукой, маленькая женщина с пузатым портфелем, из которого что-то висело, может быть, даже чулок. По залу пробежали смешки, шиканья, студенты начали не то вставать, не то рассаживаться, делая вид, что встают. Маленькая женщина, не обращая внимания на шум, кивнула головой, положила на стол портфель, влезла на помост перед доской, стала лицом к аудитории и выдвинула перед собой одну ногу. Выгнув подъем по-балетному, она установила ногу твердо на носок и не спеша придвинула к ней другую, парадоксально развернутую пяткой почти вперед. Студенты притихли. Установив ноги в этой противоестественной позиции, Марина Борисовна вскинула голову, и несколько шпилек, одна за другой, стукнулись о помост.

Тишина была полная. Как только раздался ее голос, все насторожились. Еще несколько фраз — и все были захвачены. Это была не лекция, а какой-то поток общения, исходивший от лектора и обнимавший весь зал. Слушая Марину Борисовну, каждый чувствовал себя умнее, чем был в действительности, и начинал за это себя больше любить.

Лекции Марины Борисовны всегда собирали полный зал. Она не излагала свой предмет — она рассказывала о нем, как о хорошем знакомом, нет, лучше — о друге, запросто, очень интимно, с какими-то меткими, смешными словечками. Сразу становилось ясно, что́ к чему и для чего, и почему существует именно эта наука, и в каких она отношениях с другими, и как можно ошибиться, и что делать, чтобы не ошибаться. Рисовать на доске она не умела, почерк у нее был черт-те какой. С головы до ног осыпанная мелом, облизывая пальцы, становясь на цыпочки, Марина Борисовна объясняла, и все становилось ясно, но по-особому. Не просто и ясно, а сложно и ясно. Особенно ждуще замирали студенты, когда она начинала говорить «обо всем». Именно так: ни о чем в отдельности, а обо всем сразу. Гарусов вовсе забросил конспект и только слушал горячими ушами.

Когда после одной из лекций Марина Борисовна объявила запись в научный кружок, многие записались, и Гарусов тоже. Многие потом отпали, а Гарусов не отпал.

Странный это был кружок. Название его — «Системы автоматического управления» — осталось еще от прежнего руководителя, профессора Темина, ныне пропавшего в омуте успеха. Чем, собственно, занимался кружок — точно известно не было. Марина Борисовна пыталась заинтересовать кружковцев теорией саморегулирующихся систем, но не тут-то было: они коварно бросились в пучину изобретательства. Марина Борисовна металась вокруг них, как курица, высидевшая утят. В технике она смыслила куда меньше своих питомцев. Теоретические знания у нее были, и очень обширные, но живых машин, машин в металле она откровенно боялась. Стоило увидеть, как она трогала своим бледным пальцем какую-нибудь клемму, чтобы понять, что это — не ее сфера. Тем не менее кружок существовал, руководя сам собой, при сочувствии и попустительстве Марины Борисовны.

Студенты собирались в лаборатории по вечерам, раскладывали чертежи, паяльники и канифоль и начинали работать. Рано или поздно (чаще поздно, чем рано) раскрывалась дверь и появлялась Марина Борисовна, спешащая, в расстегнутом пальто, на голове крохотная смешная шля-

па — не шляпа, а какой-то симптом головного убора, в одной руке — неизменный портфель, в другой — авоська. Из авоськи извлекались свертки с угощением: бутерброды, пирожки, конфеты, яблоки. Все это при радостных кликах развертывалось и пожиралось. Отряхивая крошки, студенты брались за чертежи и паяльники. Гарусов был чаще с паяльником. У него были ловкие маленькие руки («серебряные» — называла их Марина Борисовна), и он умел как никто собрать и отладить любую схему. Своих идей у него не было. Главными генераторами идей в кружке были два студента, один — отличник, другой — хвостист, но очень талантливый. Отличник и хвостист непрерывно ссорились, но все-таки создали вместе одну необычайно уродливую конструкцию, истратив на нее немало собственных денег, для чего были проданы на рынке пиджак отличника и брюки хвостиста. Конструкция демонстрировалась на выставке студенческих работ и даже была удостоена премии, но работать не работала, видимо, раздираемая внутренними противоречиями. Те же противоречия между двумя главарями — отличником и хвостистом — привели к тому, что кружок распался. Гарусов был в отчаянии. Он заметался по институту, пытаясь завербовать новых членов, не брезгуя даже девушками, но тут надвинулась сессия, и, как водится, все было забыто, кроме билетов, шпаргалок, отметок и стипендий.

Один Гарусов ничего не забыл. Прошла сессия, начались каникулы. Вместо того чтобы бегать на лыжах или просто гонять лодыря, он явился в лабораторию и выразил желание работать. Никто его не понял, кроме Марины Борисовны. Она сказала: «Отлично, если нас все бросили, будем работать вдвоем». Теперь бутерброды, пирожки и конфеты, в прежнем масштабе, доставались одному Гарусову. Он добросовестно ел, проявляя еще с голодных времен сохранившееся религиозное уважение к еде. В промежутках он излагал Марине Борисовне идею новой конструкции. Идея была не бог весть что: он хотел примирить противоречивые принципы отличника и хвостиста, избежав ошибок того и другого. Марина Борисовна внимательно его слушала и время от времени вставляла теоретические замечания, в свете которых он переставал что бы то ни было понимать. Тем не менее они отлично ладили.

Марина Борисовна вообще любила студентов, всех, способных и тупиц, прилежных и лежебок, а Гарусова еще отдельно полюбила за то, что он был такой маленький и четкий, усердно ел и был, по-видимому, горячо увлечен

работой. Особыми талантами он не блистал, но была в нем некая скромная самостоятельность. Выслушает почтительно, не возражая, а сделает по-своему и, глядишь, лучше, чем предлагала Марина Борисовна. Свою нехитрую и малооригинальную конструкцию он оттачивал почти два года, после чего выступил с докладом на конференции, где вел себя скромно, но с достоинством, и хорошо отвечал на вопросы. Марина Борисовна так и сияла. Конструкция, работавшая вполне исправно, нашла свое место на полках постоянной выставки.

* * *

Гарусов окончил институт одним из первых по успеваемости, но, будучи малозаметным, предложения в аспирантуру не получил. На распределении его направили в Воронеж, инженером НИИ. Гарусов против назначения не возражал. Зоя тоже не возражала, даже была рада: очень уж стал в Ленинграде за последнее время пронзительный климат, вот и Ниночка желтая стала и часто болеет.

Собрались и поехали, в мягком вагоне. Ниночка липла к окну, ахала на каждую водокачку. Проводница разносила чай. Зоя покачивалась на мягком диване и думала: «Вот и слава богу, едем к себе домой, трое нас, настоящая семья». Гарусов был невесел. Он, ленинградец, покидал Ленинград. Он тоже смотрел в окно. Взгляд его, словно при чтении, бежал прилежно за каждым предметом до самого края окна и, стукнувшись о раму, скачком возвращался назад.

9

На новом месте Гарусовы устроились неплохо. Вначале, с полгода, жили в общежитии для семейных, в узкой и непомерно высокой комнате с каменным полом (до революции тут были казармы). На весь этаж была одна кухня с четырьмя газовыми плитами, шестнадцать конфорок, и то не хватало. С утра до ночи здесь гомонили, стряпали, стирали, порою ссорились молодые хозяйки (старых почти что не было), а маленькие дети цеплялись за их подолы и фартуки, требуя внимания. Время от времени кто-нибудь из малышей падал, гулко стукнувшись головой о каменный пол. Начинался рев и хлопотня, ребенку оказывали первую помощь, и вся кухня объединялась во встревоженном сострадании. Тем временем на плите что-то пригорало,

и хозяйки с той же озабоченностью бросались спасать пригоревшее. Впрочем, пригорало часто и без происшествий. Были такие специалистки, у которых всегда пригорало. Особенно этим отличалась аспирантка Галя, высокая бледнушка в очках, которая и на кухню-то выходила не иначе как с книгой. Муж ее Сережа, тоже аспирант и тоже в очках, помогал жене во всем, в очередь с нею готовил, дежурил по кухне, стирал пеленки и гулял с шестимесячным сыном. Сына звали Икаром, он был толст, неповоротлив и мудр и все говорил сам с собою на голубином наречии.

Зоя на кухне бывать любила, особенно когда возникали умные разговоры, не кто с кем живет, а о книгах, о науках, о политике. Кухня ей была вместо театра.

Так что Зоя даже не очень обрадовалась, когда в конце полугодия Гарусову, как молодому специалисту, хорошо проявившему себя на работе, дали в районе новостроек однокомнатную квартиру. Обрадовалась, конечно, отчего не обрадоваться, но могла бы еще потерпеть, не барыня. А квартира хорошая: комната двадцать метров, кухня — шесть. Санузел, само собой, совмещенный, да ничего — одна семья.

У Зои еще никогда не было своей собственной квартиры, жила она все по общежитиям да коммуналкам. Поначалу новая квартира ее увлекла. Главное — создать Гарусову условия для работы. Зоя отциклевала полы, все своими руками, повесила знавески и коврики, Ниночке устроила уголок по журналу «Наука и жизнь», словом, так благоустроилась, что стала квартира как куколка. Балкон большой — цветов развела. Гарусов активно помогал по благоустройству, одних дырок, наверно, штук тридцать провертел: стены-то кирпичные, гвоздя не вобьешь. Кажется, Гарусов и сам был доволен квартирой, а главное — что работу его оценили, и так скоро. Он вертел дырки дрелью и улыбался. Спросит Зоя: «Чему ты, Толя?» Ответит: «Так».

Только недолго это все продолжалось. Думала Зоя: устроимся, начнем жить и радоваться. Устроились — а радости особенной нет. Живем и живем. Наверно, радость была в самом устройстве: придумывать, стараться, осуществлять. Зоя сама себе стыдилась признаться, что скучает по общежитию. По кухне, где всегда что-то пригорало. По двум очкарикам — Гале с Сережей, по толстому Икару. Даже по коридору с каменным полом, где так гулко отдавались детские голоса.

А главное, тревожил ее сам Гарусов. Стал он последнее время какой-то отвлеченный, приходил с работы невесел. С Ниночкой играл мало. Спрашивала Зоя: «Что с тобой?» — «Ничего,— говорит,— просто устал». А с чего бы ему уставать особенно? Зоя его по хозяйству не очень эксплуатировала, все на себя брала. Может, болен чем? Говорит, здоров. Зоя хотела даже обратиться к гомеопату, но здесь, в чужом городе, негде было его искать. Показали ей одного на улице — больно страшный, с бородой, ну его совсем.

Перемена пришла внезапно.

Однажды товарищ по работе пригласил Гарусова к себе на новоселье. Само собой, с Зоей — где муж, там и жена. А у Зои как раз накануне беда случилась: зуб сломался, да и передний. Она начисто отказалась идти: «Чего срамиться? Скажут, Гарусов на старухе женился». А его уговорила: «Погуляй, развеешься». А если бы не уговорила, ничего бы не случилось. Случилось. Потому что на этом вечере он встретил Валю, свою судьбу.

Много раз потом он старался вспомнить: как это все было в самый первый раз? Как она вошла? Как поздоровалась? В чем была одета? Полный туман. Получалось так, что еще до первого взгляда он уже любил ее. С той минуты, как ее, еще там, в передней, позвали к телефону, и она стала плакать по телефону, а он слушал, полный жалости и восхищения. Она еще не вошла, а он уже любил ее. Она вошла, и он убедился, что все так и есть: он был раздавлен, распластан, втерт в землю у ее ног. Наружности ее он не понял: что-то черное, небольшое. Запомнился только маленький, точный локон посреди лба да еще зубы, открытые в улыбке с каким-то наивным бесстыдством. Он приблизился и скромно стал у ее плеча, готовый отдать жизнь, если понадобится.

Завизжала радиола. Валя сама пригласила его танцевать. Гарусов любил и умел танцевать — еще в самодеятельности научился,— но обычно стеснялся приглашать девушек из-за роста. А Валя сама его пригласила. Они танцевали вровень, глаза в глаза. Только ее блескучие глаза все время двигались, и вся она ускользала от глаз. Танцуя, он про себя уговаривал ее: «Постой, погоди, дай себя разглядеть». Нет. Он полюбил ее, так и не разглядев.

После вечера он провожал Валю домой. Дул ветер, она шла быстрым шагом, и глаза летели из-под платка. На прощанье Гарусов поцеловал Валю. С этим поцелуем его жизнь переломилась.

Обманывать Зою он не хотел. Тихо и твердо, потупив ресницы, он сказал ей, что полюбил другую женщину и хочет на ней жениться, а с Зоей развестись. Зоя приняла свое горе культурно, хоть и всплакнула, но криком не кричала, упреков Гарусову не выдвигала, а про себя думала: «Чуяло мое сердце с самой этой новой квартиры».

Квартиру Гарусов обещал оставить Зое с Ниночкой, и половину зарплаты. Договорились. Заявление на развод подали вместе, будто бы от обоих, и тут Зоя держалась хорошо, платка не замочила. Пока, до оформления, решили жить в той же комнате, только койками разойтись. Так и сделали. Жили без скандала. Гарусов спал на раскладушке, Ниночка звала его «папой», а Зоя по-прежнему заботилась о нем, кормила, обстирывала и обглаживала. Гарусов сознавал, что это неправильно, но отказаться настойчивости не имел, боялся еще хуже обидеть Зою. Вообще он жалел Зою, страшно жалел, до физической боли в сердце, но Валя была сильнее жалости и боли, сильнее всего.

По вечерам он одевался получше и уходил на свидание. Зоя, хоть и горевала, а все же немножко гордилась, какой он пошел, нарядный да наглаженный, не стыдно в люди пустить. «И то сказать,— думала она,— разве я ему пара? Он — с высшим образованием, а я — неученая, да и старше его на четыре года». Иногда что-то путалось у нее в голове, и почти начинало казаться, что не мужа, а взрослого сына провожает она на свидание.

А Гарусов опять весь горел, как в то время, когда увозил детдом в Ленинград. Он увидел цель и шел к ней, как рыба на нерест, против течения, обдирая бока. Валя не говорила ни «да», ни «нет», смеялась, обнадеживала, отворачивалась и только раз позволила ему переночевать в своей ситцевой каморке с пучками ковыля, с пестрыми подушками на продавленной тахте. Гарусов был оглушен. «Не вспоминай,— говорила она,— мало ли что было». А он прямо жил этим. Так и видел возле тахты ее игрушечные каблукастые туфли и рядом с ними свои собственные, грубые, почти большие полуботинки.

Личная жизнь Гарусова просочилась наружу. Раз его вызвал секретарь парторганизации и, кривясь, как от кислого, начал разговор. Гарусов ни от чего не отрекался, признавал, что имеет место факт морального разложения, был готов принять за это любую кару, но исправиться не обещал.

На другой неделе обсуждали его персональное дело. Гарусов сидел спокойно, глядя на свои маленькие руки, и снова ничего не отрицал, но и ни от чего не отказывался. Один, самый агрессивный обвинитель, спросил его: «Правду ли говорят, что вы с женой на разных койках спите?» Гарусов на этот вопрос отвечать отказался, но подчеркнул, что на разных койках спать даже гигиеничнее, и когда у нас будет изжит квартирный кризис, многие будут так спать. Выступил один доброжелатель Гарусова и отметил, что в данном случае разрушение семьи не так уж предосудительно: жена, мол, намного старше его, и дочка не своя, а приемная. Эту поддержку Гарусов решительно отверг, сказав: «Жена моя очень хороший человек, а ребенка считаю своим». Поспорили и решили: поскольку со стороны потерпевшей жены никакого сигнала не поступало, ограничиться «на вид», но уж если поступит... На это Гарусов улыбнулся и сказал: «Не поступит».

И не поступило. Все шло по-прежнему до самого развода: Гарусов жил дома, спал отдельно, по вечерам встречался с Валей и метался, как в дурмане, в своей необыкновенной любви.

В суде дело обошлось тихо и прилично. Зоя опять не плакала, на вопрос, не имеет ли она возражений, твердо отвечала: «Не имею». После развода пошли домой, Зоя припасла бутылку, выпили «за счастье». Потом Гарусов поцеловал спящую Ниночку, пожал Зое руку и ушел ночевать в общежитие. Тут уж она дала себе волю: досыта наплакалась, целуя подушку.

На другой день Гарусов пришел к Вале, сказал, что свободен, и предложил расписаться. Оказалось, что Валя не очень-то с этим торопится. «Еще успеем, надо друг друга узнать получше. Литература говорит: счастье брака — в общности идеалов. А откуда я знаю, какие у тебя идеалы?» Они стали встречаться, ходить на разные культмероприятия: посетили выставку, два раза были в театре — один раз смотрели оперетту, другой раз — исторический спектакль. Это уже не говоря о кино, в кино они бывали каждую неделю. Ходили еще на танцы, это Гарусов больше всего любил, потому что мог на законном основании обнимать Валю. С каждым днем Гарусов влюблялся все больше и больше — хотя больше и нельзя было, но больше понимал, за что ее любит. Валя покоряла его своей непринужденностью, грацией, быстротой, манерой шутить, забывчивостью, беспечностью. И говорила она по-интересному, не так, как все. То все пустяки идут, и вдруг что-то

блеснет — задумаешься. Так, про одного знакомого Валя сказала, что он похож на параллелепипед. Гарусов сперва удивился, а потом всмотрелся, и правда — вылитый параллелепипед. Сам бы он до этого не додумался. Валя была начитанная, много знала на память стихов и к каждому случаю могла подобрать стихотворение. Это Гарусов ценил.

И еще что́ в ней его поражало: полное презрение к вещам, ко всему, что денег сто́ит. Капрон новый порвет — и смеется. Он этого не понимал. Вещи свои он берег и ценил, уважая в них не столько вещи, как труд человеческий. Валя называла его «Кащей бессмертный». Сама она ничего не жалела. И откуда у нее такое? Добро бы денег много было, а то зарплата маленькая, секретарь-машинистка.

Больше всего Гарусова поразило, когда Валя ушла от своих ботиков. Была осень, они долго ходили по улицам, у Вали устали ноги, она сняла ботики, поставила их на край тротуара и ушла, не оборачиваясь. Гарусов обеспокоился, хотел вернуться за ботиками, но она не позволила: «Ну их, они мне надоели». Он бы так не мог.

Наступила зима. Гарусов заметил, что у Вали пальтишко худенькое, демисезонное, а зимнего нет. Оказывается, подарила кому-то, вышло из моды. Мороз, но она не унывает, приплясывает. Чарльстоном прошла целую улицу. Гарусов занял в кассе взаимопомощи и принес деньги Вале на пальто. Она даже расплакалась, ни за что не хотела брать: «Ты меня оскорбляешь». Пришлось долго ее уговаривать, пока взяла. Покупать пальто ходили вместе, как муж и жена, выбрали хорошее, материал букле, воротник под норку. Валя была в новом пальто очень красивая, хотя по-прежнему вертелась, не давая ему себя разглядеть. Счастлив, счастлив был Гарусов. Вечером как-то само собой получилось, что он у нее остался и ночевал, и был счастлив, счастлив.

С этого времени Гарусов начал входить в долги. Половину зарплаты он, как условлено, отдавал Зое с Ниночкой, а на другую половину должен был жить и делать подарки Вале. Не то чтобы она их требовала, боже упаси, она всегда отказывалась, но с каждым разом уговаривать становилось все легче. Не ценя вещи, Валя быстро забывала о подарке: минутку порадуется — и забудет. Гарусову самому было приятно их приносить: он — как большой, а она — как маленькая...

Валя была уверена, что научные работники уйму денег получают, а Гарусову приходилось туго. Есть он стал очень мало, только раз в день горячее, а то чай и хлеб. В кассе

взаимопомощи ему больше не давали, и он занимал у кого придется, вовремя отдать затруднялся и очень страдал. Еще его разоряли подарки Зое и Ниночке, куда он тоже не ходил с пустыми руками.

Валя, по своей беспечности, не замечала, как худеет Гарусов, как плохо выглядит и как порой озабочен. Зато очень хорошо видела это Зоя («не кормит его, видно, блоха черномазая»). Предлагала ему обедать, но Гарусов всегда отказывался. «Горе ты мое, до чего же принципиальный»,— думала Зоя с болью и гордостью. Она уж ждала, когда он на «блохе» распишется, может, будут жить своим домом, хоть питание наладится.

Гарусов тоже надеялся, что еще немного — и все наладится, но так не вышло. Однажды, совсем неожиданно (накануне они еще были в кино), он получил от Вали письмо. В первый раз он увидел ее беспокойный почерк. Валя писала, что все между ними кончено. Она встретила другого человека, полюбила, выходит за него замуж и уезжает с ним в Ленинград, город Пушкина, Блока и других поэтов-имажинистов. Гарусову она, конечно, благодарна за все, что было, но... «Я другому отдана и буду век ему верна»,— кончала свое письмо Валя. На конверте был след от губной помады, как будто Валя его поцеловала.

Прочитав письмо, Гарусов лег на свою койку лицом вниз и так пролежал двое суток. Звонили с работы — он к телефону не подходил. Соседи по комнате решили, что он болен, и вызвали врача. Когда пришел врач, Гарусов встал и объявил себя здоровым. На другой день, весь ссохшийся и молчаливый, он вышел на работу, круто отстранил все вопросы и больше прогулов не допускал. Выговора ему не дали, потому что многие знали его историю: Валя и в самом деле вышла замуж за приезжего, командировочного, и укатила с ним в Ленинград. Гарусов этого ни с кем не обсуждал. Дело это было кончено, и надо было жить, и он жил.

10

Тут ему подступило к горлу свободное время. К свободному времени он не привык, всю жизнь еле управлялся с делами, особенно последний год, когда служил Вале. Теперь у него оказалась сразу пропасть свободного времени. Что делать? На работе с шести часов уже пусто. В кино? Не мог он ходить в кино, все ему напоминало о Вале, о ее профиле в темноте, о горячих маленьких руках. Читать? Беда в том, что книги его не очень увлекали. За всю свою

жизнь он так и не выучился читать для самого себя, без специальной цели. В школе, конечно, они прорабатывали художественную литературу. Гарусов, как отличник, прорабатывал глубоко, с привлечением дополнительных источников. Но то была школа, а теперь жизнь. В институте Гарусов тоже всегда участвовал в читательских конференциях по новинкам советской и западной литературы, но это тоже было в порядке мероприятия. Когда он раскрывал книгу, ему сразу же хотелось ее конспектировать.

Пробовал он заняться наукой, но идей особых не возникало, а изучать разные предметы просто так, на всякий случай, было бессмысленно — очень уж этих предметов было много. Попробовал освежить английский, некоторое время занимался по вечерам, но и это его не увлекло. Вспомнил он о своей конструкции, которую делал еще в кружке Марины Борисовны (с его теперешней точки зрения, это был инженерный лепет), и попробовал ее усовершенствовать. Что-то получилось, и он, с помощью лаборанта, довел дело до работающего макета, но вдруг ему стало тошно, он забросил свою машину и ушел от нее, как Валя от ботиков. Деваться стало совсем некуда. Тут он попробовал вечерами бродить по городу, и это ему помогло.

Он выходил из дому и шел — никуда, просто так, своей аккуратной походкой с широко развернутыми носками. Улицы сменялись улицами, дома — домами. По улицам шли люди, в домах горели лампы. Поздно ночью он возвращался в общежитие, ложился в постель и спал без снов. Постепенно бродячая жизнь начала его менять. Он с удивлением начал ощущать себя зрячим. Он видел то, на что раньше не обращал внимания. Его привлекали вещи — самые обыкновенные вещи, предметы. Постройки, скамьи, заборы, радиолокаторы. Кто-то ведь каждую из этих вещей делал, замышлял, строил. Ему казалось, что он видит на вещах прилипшие к ним души тех, кто их делал. В здании больницы ему виделась скупая, бедная, геометрическая душа, в коленопреклоненном памятнике — душа неловкая, плачущая. А эту вот огромную позолоченную шишку, венчающую столб у ворот, наверно, делала чья-то убогая, глупая, испуганная душа. Гарусов жалел все эти души. Жалость была в нем такая обширная, что он жалел даже явления природы: закаты, вечера. Как-то в этой жалости замешан был Ленинград, его блокадное детство, когда вечера умирали, как люди.

В таком состоянии исступленной жалости, одиночества и метаний Гарусов дожил до зимы.

Зимой он заболел гнойным аппендицитом, его оперировали. Операция прошла неудачно, образовался свищ. Гарусова резали вторично, на этот раз — под наркозом. Он погружался в наркоз, как в покой. Когда он пришел в себя, то заметил, что терзавшая его жалость несколько ослабела. Он был послушен, вял, ни на что не жаловался, но и выздоравливать не спешил, испытывая своего рода комфорт отрешенности. Может быть, новорожденный с только что перерезанной пуповиной ощущает нечто подобное. И спал Гарусов много, как новорожденный.

Зоя прослышала о болезни Гарусова и прибежала в больницу. Лицо Гарусова поразило ее каким-то спокойствием и даже тайным довольством. Он смотрел в потолок, разглядывая на нем узоры из трещин с насмешливым вниманием. Зое кивнул, про кулек с фруктами сказал: «Положи». Зоя спросила: «Приходить к тебе?» — «Отчего же нет, приходи».

Зоя стала ходить к нему, выхаживать его и вы́ходила, вытащила его из болезни. Он стал понемногу есть, садиться, наконец встал. Зоя радовалась, как мать, у которой ребенок сел, встал, пошел...

О будущем они не говорили, но дело решилось само собой. Когда Гарусова выписали, Зоя повезла его не в общежитие, а к себе на квартиру. Уложила его, усталого, на кровать, приготовила питье, взбила на ночь подушку. А еще через месяц, пряча от смущения глаза, они заново расписались в загсе, и пошла опять нормальная семейная жизнь. Зоя расцвела, вставила зуб, похорошела. Гарусов, измененный пережитой жалостью, был к ней особенно внимателен, просто жених. Зоя даже смеялась: он с ней как с принцессой какой-нибудь, а она здоровенная, целая лошадь. И Ниночка опять ходила гулять за руку с папой, все как у людей. Долги понемногу выплатили, в доме появился достаток, недалеко было уже и до телевизора. Отпраздновали Зоино рожденье, рожденье Ниночки, только самого Гарусова не праздновали, потому что он сам не знал, когда родился.

И опять наступило лето, и тут получил Гарусов от Вали второе в жизни письмо. «Дорогой Толя,— писала она,— помнишь ли ты меня или уже забыл?» Забыл ли он ее?! Он даже по́том покрылся, как только увидел почерк. Письмо было невеселое, видно, Валя не нашла счастья в семейной жизни. «Муж оказался эгоистом, черствым человеком. Обещал Ленинград, а завез в какую-то дыру, Любань, больше часу на электричке. Работаю, но ничего не дает ни

уму, ни сердцу. Дом без удобств, водопровод на улице, никакой культурной жизни. А тут еще свекровь — адская старуха, пилит с утра до вечера». Дальше Валя писала, уже не так разборчиво, что муж начал играть в карты, водит приятелей, сильно проигрывает. Конец письма, где были налеплены строчка на строчку, совсем нельзя было разобрать. Гарусов по каплям восстановил только несколько обрывков, что-то вроде «мои страдания», «живем на чемоданах», «прикидывался идейным»... Подписано: «Твоя Валя».

Гарусов письмо прочел и перечел, можно сказать, проработал с первой строчки и до последней, не знал уж, как его перевернуть и с какой стороны читать, и что́ там таится между «страданиями» и «чемоданами». Ясно было одно: ей плохо, она его помнит, она в нем нуждается. Вся жалость, копившаяся в нем, вспыхнула в одном ярком фокусе. Он вышел на балкон. Перед ним был мир. В нем бежали дети и стояли беседки-грибы, сыпался желтый песок и летел по небу оторвавшийся воздушный шар небывало красного цвета. Все это было на диво осмысленно. Все было легко и летело.

Он написал Вале взволнованное письмо, предлагая ей все: помощь, заработок, жизнь. Ответ пришел не скоро, месяца через два. Валя писала, что тогда погорячилась, преувеличила, не надо торопиться, жизнь все решит сама, и так далее в том же роде, с какими-то цитатами из литературы. А писать пока, для спокойствия близких, надо будет до востребования.

Так и стали переписываться. Теперь у Гарусова было еще одно занятие — три раза в день бегать на почту.

А Зоя видела, что Гарусов опять плох. С нею и с Ниночкой он по-прежнему был ласков, но глаза далекие и голос не тот... Зоя очень переживала, а главное — все одна да одна на кухне с кафельными стенами: с ума сойдешь. Зачем это выдумали отдельные квартиры? Может, у кого характер плохой, тому хорошо отдельно, а Зоя больше любила с людьми. Прежде она хоть работала, но с тех пор, как вернулся Гарусов, ушла с работы: муж высокооплачиваемый, да и за Ниночкой глаз нужен, растет ребенок, может исхулиганиться. Теперь пожалела, что бросила работу. Сходила разок в общежитие, где прежде жила, но там люди были все новые, чужие. Галя-аспирантка с мужем Сережей и толстым Икаром уехали, получили назначение. Так Зоя и ушла ни с чем. Подругу бы ей надо было. И вот Зое повезло, нашла она себе подругу. Правда,

не ровесницу, а старушку, но очень хорошую. Звали ее Марфа Даниловна.

Познакомилась с ней Зоя на скамейке, у садика с грибами-беседками. Старушка была добрая, проворная, круглая, как свертень. Всегда с вязаньем, и круглый клубок скакал рядом в прутяной корзинке, а поблизости играл внук, лет полутора-двух, тоже весь круглый. Когда он напускал в штаны, бабушка его не шлепала, а ругалась по-своему, по-доброму: «Свят-кавардак». Зое нравилось, что они оба такие похожие, полные и умные. Собственная ее Ниночка подросла, не было уже в ней той детской пухлости, одни локти да коленки, прыгала в скакалки с подружками, захочется приласкаться — не дозовешься. Зоя садилась поближе к Марфе Даниловне и заводила разговор:

— Погода-то какая хорошая.

— Правильно говоришь, дева,— улыбалась ей Марфа Даниловна.— Свет и радость. Отличная погода, самая весенняя.

Она всех женщин называла «дева». А разговаривала мягким, певучим голосом, да так приятно, словно голову мыла. Зоя ей два слова, а она в ответ десять, и все ласковые. Так началась у них дружба. Разговоры сначала шли не особенные — про погоду, да где что дают. Настоящие разговоры потом начались. Однажды пришла Зоя и села на скамейку рядом с Марфой Даниловной — расстроенная такая, и сумку с продуктами кое-как на землю поставила. Сумка опрокинулась, помидоры так по земле и покатились. Зоя их и подбирать не стала, до того напереживалась. А Марфа Даниловна взяла и подобрала, не успела Зоя ей помешать. Подумать, старуха, а спину гнет для чужого человека. Зоя так и расплакалась.

— А ты поделись, дева,— сказала Марфа Даниловна.— Делясь, оно всегда легче: было на одного, стало на двух. Я всегда так: переживаю и делюсь, чего горем-то жадничать.

Зоя тяжело вздохнула и стала делиться. Сначала-то было трудно с непривычки: давно с людьми не разговаривала, а о себе — тем более. Потом пошло, с каждым разом легче. Больно уж умно и ласково глядела Марфа Даниловна. И на вязанье не отвлекалась: руки со спицами где-то сбоку вертелись, сами собой.

— Я по природе любящая, Марфа Даниловна. Первого мужа я тоже ничего, любила. Слесарь он был механик, знаете такую квалификацию?

— Как не знать, дева моя? — сияла в ответ Марфа

Даниловна и плечом поправляла платок.— Зять у меня аккурат такой квалификации. Сильно зашибает, свят-кавардак. Делись, милая.

— Вот и мой так. Сначала-то, по первой любви, еще ничего. Старался меня уважать, ну и я его. Красивый он, слова не скажешь: бровь темная, волос русый. Ниночка вся в него красотой, не дай бог характером. Уже начинает проявлять. Но я не об ней, я об нем. Жили ничего, но не убереглись, а сделалась в положении, стал он выпивать. Не нормально, как люди, а через меру. Пьет и сам себя заявляет, все не по его. Я вся нервами изошла. Картошку, кричит, не так пожарила, надо, чтобы сухая. Или брюки, зачем складка не вертикальная. У него десятилетка, любил слова говорить. Проглажу обратно — снова не вертикальная. Кошмар.

— Это бывает,— утешительно сияла Марфа Даниловна,— бывает, дева. В жизни ко всему надо применяться. Люди-то ведь не ангелы, и ты не святая. Муж-покойник у меня тоже психованный был. Что делать — терпела.

— Мой не психованный, просто на водку слабый. Он, когда трезвый, очень даже хороший был. Бабочкой меня называл. Поди, говорит сюда, моя бабочка. А выпьет — беда. Вон, кричит, из моего дома. Не твоя комната, а моя, ордер на меня выписан! Я уж не спорю, оденусь — и за дверь. Стою и плачу и слышу, как Ниночка во мне стучится — в положении я была. Постою, поплачу и обратно войду, когда уж заснет.

— Правильно, дева моя,— одобряла Марфа Даниловна,— пьяному ни в жизнь перечить не надо. Он свое дело знает. Вот у меня зять тоже пьющий, свят-кавардак. Буйное в нем вино, не дай бог. И главное, ничего ему не говори — не выносит. Я уж дочери: молчи, говорю. А она выступает, она выступает. Я от них уехала и Вовку увезла — целее будет. Соскучили они, дочка с зятем, за мальчиком. И пишет он мне: мама, приезжай. Все тебе будет, и постель мягкая, и каша сладкая, полботинки куплю, только приезжай. И она внизу, мелкой строчкой: приезжай, мама, с Вовкой, ждем ответа, как соловей лета. А что? И поеду. До первых зубов.

— До каких зубов?

— Стукнет первый раз в зубы, я и уеду. Я ведь тоже принципиальная, свят-кавардак.

— Это хорошо, принципиальность, если кто может. А я вот совсем не принципиальная. Полюблю кого — все принципы забываю. Вози на мне, как на лошади.

— Это тоже ничего. Женским терпением свет стоит. Женщина много может прощать, и раз простит, и другой, и семьдесят раз, а больше уж нельзя. Всему есть мера. Вот я тебе расскажу. Была у нас на фабрике ткачиха, такая ударница, такая общественница, прямо прелесть...

— Нет уж, Марфа Даниловна, — перебивала Зоя, — про нее потом, дайте про меня рассказать. Ушел он, я в положении. Что будешь делать? Советовали мне подать на него заявление, а я не решилась, принципиальности не хватило. Что же я, думаю, буду его в семью за шкирку тащить? Сижу жду. Приходит он, не то чтобы сильно пьяный, но выпивши. Развод, говорит, подаю на развод. Что ж, не имею против. Только он это изображал, что развод. Как услышал: давай деньги, даром не разводят, так и деру дал. Лучше, говорит, я эти деньги пропью. Сколько поллитров, высчитал. Ушел — и нет. Ниночка уже без него родилась. Бывало, сижу плачу: все-таки отец, пришел бы посмотреть на родную дочь. Не пришел. Сколько я этих слез пролила — без счету.

— И-и, дева, если б все бабьи слезы в одну реку слить, три бы Днепрогэса на ней построили. Тоже вот эта самая ткачиха, общественница...

— Постойте, я сейчас, Марфа Даниловна. Значит, живу и тоскую, и познакомилась со своим, теперешним. Иди, говорит, за меня замуж. Я сначала сомневалась, будет ли он Ниночку любить, потом вижу — любит. Вышла. Живем. Муж — интеллигент, образование высшее техническое, специальность — сотрудник НИИ. Не пьет, не курит, все в дом, ничего из дому. Ниночку лучше своей любит, не каждый отец ребенку такое внимание оказывает. Другие осуждают, что ростом не вышел, а я ничего, я его уважаю. Не в росте счастье, а в человеке, верно я говорю, Марфа Даниловна?

— Верно, дева моя, и хромых любят, и горбатых, и психов. Каждый урод свою парочку ищет. У меня вон тоже муж был левша. Что тут поделаешь, любила, хоть и левша. Мое — оно и есть мое. Тоже, у дитя бывает мать пьяница — разве дело такую мать в милицию тащить? Вот жила у нас семья...

— Погодите, Марфа Даниловна, я вам еще расскажу.

Разговор этот между ними плелся, как вечная пряжа. Зоя все Марфу Даниловну перебивала, не давала высказаться, а Марфа Даниловна не обижалась, понимала: надо Зое душу отвести. Но вот странно: не получалось у Зои про Гарусова плохое, только хорошее. И живут дружно, и умен,

и ласков, дай бог всякой жене такого мужа. Только недели через две стала Зоя делиться по-настоящему: и про уход Гарусова, и про возвращение, и про свои тревоги.

— На почту стал ходить, Марфа Даниловна. Как-то вижу: читает письмо, а там — стихи.

— Стихами, значит, решила взять. До чего хитра. А ты не робей — она стихом, а ты песней...

С тех пор, как подружилась она с Марфой Даниловной, стало Зое полегче жить на свете. Ходили они друг к другу в гости, пили чай, по многу чашек выпивали. Марфа Даниловна мастерица была чай заваривать, и варенье у нее не засахаривалось, старая хозяйка, не Зое чета. За чаем еще лучше говорилось, чем на скамеечке. Постепенно Зоя дошла до самого важного, потайного.

— Ребеночка бы мне, Марфа Даниловна. Уж так бы я с ним играла...

— А что, рожай, дева, дело хорошее! Отчего не родить?

— Не заводится у меня, Марфа Даниловна. С того раза, как первый аборт сделала. Он еще студентом был, деньги маленькие. Ему-то ничего не сказала, чтобы не тревожить Делала нянечка знакомая, дешево взяла. Хорошо сделала, я и не пикнула. Только с тех пор как рукой сняло, не заводится...

Слов нет, много легче стало Зое с Марфой Даниловной. А Гарусов тем временем жил своей особой жизнью и уходил все дальше.

— Шесть классов у меня, Марфа Даниловна. А у него вон какое образование. Расти мне надо, учиться. Как вы думаете?

— Учись, дева моя, учись, не сомневайся. Молодым везде у нас дорога, так и в песне поется. Вот тоже одна молодая — уж на что была глупая, а выучилась...

И Зоя, тайком от Гарусова, поступила в вечернюю школу для взрослых, чтобы расти и потихоньку дорасти куда надо. Сначала дело пошло ничего, только геометрия ей трудно давалась.

— Опускаю я, значит, перпендикуляр на гипотенузу...— рассказывала она Марфе Даниловне.

— Опускай, дева, опускай. Ученье — свет, неученье — тьма, так люди раньше-то говорили, а в наше время: грызи гранит науки. Я тоже грызла, когда молодая была, до сих пор помню: а плюс бе.

— ...опускаю перпендикуляр, а дальше что делать — не знаю. Угол один острый задан, а откуда другой-то взять?

— А ты потрудись, дева, возьми книжку да и почитай. Тоже, поди, по-русски написано, не по-китайски.

Вскоре Зоя разочаровалась в своей учебе. Сколько ни трудилась она над треугольниками, не видно было, чтобы это приближало ее к Гарусову. Напротив, он удалялся, и все непонятнее становилась его присохшая к губам внутренняя улыбка. По ночам он разговаривал, не понять, о чем — вороны какие-то. С Зоей и Ниночкой был ласков, но отстранен. Придя с работы, равнодушно обедал и садился читать книги по специальности. Зоя иногда через плечо туда заглядывала: теперь, когда она кое-чему выучилась, не поймет ли она, о чем читает Гарусов? Нет, не понимала. А главное, Зоя чувствовала: пока она с треугольниками, Гарусов тоже не дремлет, еще что-то выучивает и уходит все дальше. Она — за ним, он — от нее, и не догнать...

11

Гарусов снова стал уходить по вечерам.

— Ты поздно? — спрашивала Зоя.

— Как придется.

«Опять, видно, началось, — думала Зоя, — что за судьба моя несчастная! А может, и нет. Если бы к женщине — переоделся бы». А Гарусов просто ходил по городу, смотрел на вечера и закаты, общался с домами. Так, как бродил в прошлом году, — но и не так. С ним были Валины письма — читаные-перечитаные, дорогие. Иногда она молчала по нескольку недель, он изводился в тревоге, и вдруг — письмо, а в нем — стихи Блока:

Валентина, звезда, мечтанье,
Как поют твои соловьи!

Он бормотал эти стихи ночью, во сне. Он по сто раз твердил их, бродя по городу. Жалость по-прежнему владела им, но другая, не общая, всесветная, а живая, отдельная жалость. Он жалел Валю, жалел Зою с Ниночкой, любил Валю и знал, что Зое с Ниночкой уже нельзя помочь. Если Валя его позовет, он пойдет, не сможет не пойти, как не может брошенный камень не упасть на землю.

Так оно и вышло. Однажды он получил письмо, в котором Валя прямо писала, что скучает, хочет его видеть и просит приехать.

Гарусов из кожи вылез, достал командировку в Ленинград, в какое-то странное учреждение с немыслимо

сложным названием, где ему решительно нечего было делать. Как полоумный, не умывшись с дороги, не отметив документов, он ринулся на вокзал, дождался поезда и полетел в Любань. Он летел, но поезд шел медленно, ужасно долго стоял на каждой станции. Гарусов метался из вагона на площадку и обратно. Наконец-то Любань. Гарусов вышел. Он шел от станции и мысленно целовал улицы, по которым шел, каждую табличку с названием улицы (Валя написла ему подробно, как пройти). Вдоль заборов тянулись деревянные мостки, люди с ведрами шли от колонок, ветви боярышника с сизо-красными морозными ягодами были необыкновенно красивы, к его подошве прилип осенний лист и шел с ним до самого Валиного дома. Дом небольшой, дверь зеленая. Гарусов позвонил. Отворила ему сама Валя, ахнула, вытерла руки о передник, вышла в сени, зашептала: «Сумасшедший, кто ж так делает, не предупредил, муж дома, завтра приходи в то же время, он идет в карты играть, понял?» Гарусов не понял и прилип к ее губам. Она его оттолкнула, повернула за плечи, сказала: «Иди». Он опять прошел теми же улицами до станции, уже стемнело, боярышник стал угрожающим, в электричке шумели пьяные. В городе он еле нашел гостиницу, где остановился,— нашел по квитанции, но где и когда платил за номер — не помнил. В вестибюле гостиницы так громко тикали часы, что он не спал всю ночь.

На другой день он забежал в учреждение, где ему делать было решительно нечего, отметил командировку, сразу на прибытие и убытие, и стал ждать. Насколько вчера он сам торопился, настолько же теперь торопил время, чтобы быстрее шло.

Валя встретила его ласково, никогда еще такой не была. «Толяша, Толяша» — как колокольчик. Бутылка ждала его на столе, даже селедка была почищена, а Валя терпеть не могла чистить селедку, Гарусов это знал, говорила, что кости ее за душу задевают. Сама она была какая-то новая, не то пополнела, не то похорошела, но по-прежнему быстрая, на острых стремительных каблуках, и он по-прежнему старался, но не мог ее разглядеть. В углу, под табель-календарем, стояла кроватка, а Гарусов не сразу понял, что в ней лежит живое существо, Валина дочка, с такими же, как у матери, черными глазами, с большим пузырем у розовых губ.

— Что же ты мне не писала? — спросил Гарусов.— Я и не знал...

— Хотела сделать тебе сюрприз.

Выпили, закусили. Валя смеялась, фокусничала, разбила рюмку, сказала, что это к счастью, уже нарочно разбила другую, чтобы счастье совсем было полным, и сама все двигалась-двигалась, говорила-говорила, как сорока на ветке. С какой-то новой для него птичьей картавостью она рассказывала про свою жизнь. Ну, что? Живет, как все, жизнь вообще полна разочарований, с мечтами юности приходится прощаться, все пройдет, как с белых яблонь дым. Муж, Лека, ничего парень, но в чем-то обманул ее ожидания, невнимательный, чуткости не хватает, культуры тоже. И приятели его тоже такие. Только и разговоров, что про карты, какая-то третья дама, да еще футбол. Она лично футболом не увлекается. Подумаешь, гоняют здоровые мужики мяч, а другие орут. Она лично орать бы не стала. В общем... Даже мать пишет: «Эх, Валентина, променяла ты кукушку на ястреба». Тут Гарусов насторожился, но она уже опять о другом. Главное, свекровь — жуткая старуха, настоящий тюремщик из Бухенвальда, и пижама такая же полосатая. Семьдесят восемь лет, а ей все надо. Зубы вставила, воблу ест, пивом запивает, газеты читает — прямо смех. И все с критикой. Говорит — плохая мать. А сама сына как воспитала? Ест с ножа.

Дальше — про бытовые условия. Отопление печное, дрова — осина. Леке обещали квартиру в Ленинграде, но когда это будет... Денег на жизнь не хватает...

Про деньги — это тоже было новое. Раньше о деньгах Валя не говорила. И еще — про вещи. Она долго описывала какую-то кофточку с рукавами реглан, ну просто взбитые сливки, которую хотела купить, но не купила, денег не было. Эх, жизнь! Но что поделаешь, не плакать же? Тут она завела пластинку, и они с Гарусовым пошли танцевать, здесь же, возле стола. Смирная девочка, с тем же пузырем у розовых губ, разглядывала их, словно из ложи. Вдруг Валя спохватилась, что Светланку давно пора кормить («Вот ведь какая, никогда не попросит!»), и сказала Гарусову: «Отвернись!» Он вспотел, отвернулся и всей спиной чувствовал то великое, что за ней происходило.

Девочка уснула у груди, и Гарусов сам отнес ее в кроватку, держа в руке, как в ложке, маленькую голову и чувствуя себя мужчиной, мужем, отцом.

* * *

Милое молчание кончилось, и Валя сказала:

— Кстати, Толяша, у меня к тебе дело. Знаешь, зачем я тебя вызвала?

— Нет.

— Дело в том, что я поступила на заочный.

— Ты? Ну, молодец!

— Вообрази. Решилась. Теперь все учатся.

— По какой же специальности?

— Инженер-теплотехник. Да-да, не смейся. Конечно, я бы предпочла литературный, но лучше журавль в небе или наоборот, не помню что.

— Ну, и как с учебой?

— Ничего. Только вот задание по высшей математике... Вспомнила про тебя. Ты же великий математик. Ты ведь мне поможешь, а?

— Что за вопрос!

Валя поискала и принесла задание, завалявшееся, видно, в кухонном ящике — от него пахло ванилью. Задачи были не особенно трудные, и Гарусов быстро в них разобрался.

— Вот, послушай, Валя. Здесь просто надо продифференцировать числитель, потом знаменатель...

— Нет-нет. Ты мне лучше не объясняй. Ты просто сделай, напиши, а я потом сама разберусь. У меня еще пеленки не стираны.

Она убежала на кухню, а Гарусов без нее решил все задачи и переписал каждое решение своим четким почерком. Когда он кончил, Валя поцеловала его и сказала:

— Толяша, ты гений.

— Пойдешь за меня замуж? — спросил Гарусов.

Она засмеялась.

— Какой скорый! Одно задание сделал — и сразу замуж.

Это была шутка. Но Гарусов не шутил.

— Я все для тебя сделаю. Ты же знаешь.

— Нет-нет, Толяша. Не торопись. Надо уметь ждать. Ведь я жду, почему ты не можешь? Мы с тобой будем вместе, я в этом уверена, но не сейчас.

— Почему?

— Я слишком серьезно отношусь к браку. Брак — это институт. И потом, я не уверена, что ты сможешь заменить отца моему ребенку. Отец есть отец, хотя бы и болельщик футбола.

— Я...

— И для меня теперь самое главное — учеба. И еще, забыла сказать, я не хочу разрушать твою семью.

Гарусов помрачнел и спросил:

— А если бы я сюда перевелся?

Валя даже в ладоши захлопала:

— Ой, это было бы замечательно! И для моей учебы, и вообще...

За стеной раздались шаги, кто-то шаркал, снимал калоши и бубнил. Валя сразу съежилась и шепнула:

— Свекровь...

Распахнулась дверь, и вошла свекровь — стройная, мстительная старуха с двумя рядами жемчужных зубов. Валя метнулась, как цыпленок перед ястребом:

— Мама, познакомьтесь, это мой школьный товарищ, Толя Гарусов.

— Очень приятно,— сказала свекровь с присвистом, и Гарусову стало страшно за Валю. «Ничего, любимая, я тебе помогу»,— подумал он. Разговор не клеился. Гарусов посидел немного и стал прощаться. Валя вышла проводить его в сени и вдруг вскинула ему на шею тонкие руки, прижалась к нему и заплакала. Этот поцелуй был совсем новый — искренний, мокрый, беспомощный.

Гарусов ехал назад в Воронеж ночным поездом, счастливый и смятенный, и колеса стучали ему: «Люблю». Он увозил с собой новый поцелуй и новую цель.

12

Новая цель Гарусова была — перевестись в Ленинград. Он начал хлопотать о переводе на другой же день по приезде. Это оказалось неожиданно трудно. Только подумать, он, коренной ленинградец, не мог попасть в Ленинград! Все упиралось в прописку. Работы было сколько угодно, но без прописки никуда принять не могли. С другой стороны, чтобы прописаться, надо было иметь справку с места работы. Кошки-мышки.

Все это Гарусов узнал из разных источников, где наводил справки. Отвечали все по-разному, но у всех одинаково выходило, что дело плохо. Оставался один просвет — аспирантура, куда принимали без прописки и давали временную. Гарусов долго сопротивлялся, но, припертый к стенке, принял решение: пойти в науку. Он написал письмо Марине Борисовне Крицкой, просил разузнать, нет ли в институте аспирантского места и может ли такой,

как он, на него рассчитывать. Он честно признавался, что ни особых способностей, ни даже особого призвания к науке не имеет, но если его примут, постарается работать не хуже других. «А переехать в Ленинград мне нужно по личным причинам. В чем они состоят, пока объяснить не могу. Пишу это для того, чтобы не обманывать ваше доверие. Очень прошу в просьбе моей не отказать. Гарусов Анатолий».

Марина Борисовна прочла письмо, загорелась гарусовским делом и тотчас же своим танцующим шагом отправилась в ректорат. С аспирантскими вакансиями давно уже было туго. Ни одной для кафедры автоматики не было, а другие кафедры зубами держались за свои. Марина Борисовна решила действовать измором. Она ходила к ректору каждый день, вела подкопы и через проректора, и через профсоюзную организацию, и через завхоза. В ее восторженных характеристиках Гарусов все вырастал. Сначала он был просто способным студентом, потом — многообещающим молодым ученым, а кончил чуть ли не отцом кибернетики, Норбертом Винером. Ничто не помогало. Марина Борисовна изменила тактику, стала упирать на пролетарское происхождение Гарусова, на его беспризорное детство. Ректор и на это не поддавался: «Сколько я понимаю, ваш Гарусов воспитывался в детском доме, а в наших детских домах дети не беспризорны, так-с». Марина Борисовна не складывала оружия, пока, наконец, ректор не сдался. Кажется, его окончательно добили брови Марины Борисовны, которые она, ради важного разговора, нарисовала в палец толщиной и гораздо выше того места, где полагается быть бровям. Одним словом, ректор дал согласие, и Марина Борисовна проследовала на кафедру со своей вакансией, как гончая с трепещущим зайцем во рту.

Теперь надо было найти Гарусову научного руководителя. Сама Марина Борисовна, как не имеющая степени, формально руководить не могла. Ее выбор пал на заведующего кафедрой, профессора Темина, который успел уже стать членом-корреспондентом и от этого совсем изнемог.

— Гарусов? Это какой такой Гарусов? — спросил носовым голосом член-корреспондент.

— Неужели не помните? У нас на кафедре работал. Такой маленький, глаза как ленинградские сумерки...

— Что-то не припоминаю... Ну, уж и сумерки. Вечно вы, Марина Борисовна, преувеличиваете... Гарусов. Помню, помню... Довольно бездарный студент.

— Бездарный?!

Марина Борисовна зажглась и воспела хвалу Гарусову пышным языком газетного некролога. Не была забыта и скромная гарусовская конструкция на стенде постоянной выставки, которая в трактовке Марины Борисовны выглядела как эпохальное изобретение. Закончила она так:

— Этот «бездарный», как вы говорите, студент прославит ваше имя, Роман Романович.

Стоп. Дело было чуть не испорчено. По мыслям Романа Романовича, его имя было уже прославлено. Марина Борисовна спешно поправилась:

— Еще больше прославит ваше имя.

— Поймите, Марина Борисовна, у меня уже два аспиранта и камни в почках. Откуда я возьму время на третьего?

— А не надо времени! Этот Гарусов, я его знаю, он очень самостоятельный, все делает наоборот, так что им лучше не руководить. Фактически придется только записывать нагрузку. А если все-таки надо будет, я Гарусову помогу...

При слове «нагрузка» Роман Романович дрогнул. У него уже несколько лет был «хронический недогруз», до которого могла докопаться какая-нибудь комиссия. Он еще покобенился и согласился. Судьба Гарусова была решена. Марина Борисовна, плача от радости, послала ему торжествующее письмо, в котором щедро живописала его блестящее научное будущее. Прочитав это письмо, совестливый Гарусов чуть было не отказался от аспирантуры, но любовь превозмогла, и он начал готовиться к экзаменам. До них оставалось еще месяца два.

— Какая все-таки, Марфа Даниловна, у научных сотрудников работа тяжелая! — жаловалась Зоя своей подруге.— Придет, покушает и сядет, ночью лампу прикроет и опять сидит, конспектирует. А если его мозгами кормить, как вы думаете, не поможет?

— И-и, дева,— тянула Марфа Даниловна,— у каждого своя ноша, кто руками трудится, кто ногами, а кто и сидячим местом. Всякому своя сопля солона. Вот знала я одного, в театре осветителя. Тоже тяжело работал. Придет домой — пот с него дождиком так и льет, так и льет. Он — голову под кран, а жене кричит, чтобы горчичники на пятки ему ставить. Все тяжело, милая, все трудно...

Разговоры на скамейке становились с каждым разом грустнее, потому что приближалась разлука: Марфа Даниловна уезжала, наконец-то, к дочке с зятем и ничего хорошего не ждала. Вскоре она в самом деле уехала, и Зоя

осталась совсем одна. И Гарусов тоже уехал — сдавать экзамены в Ленинград. И Ниночка заболела корью. Все одно к одному.

13

Вступительные экзамены Гарусов сдал успешно: две пятерки, одна четверка. Марина Борисовна вела себя как самая отъявленная мамаша, запихивающая своего сына в вуз. По поводу четверки она чуть не вцепилась в горло экзаменатору. Но тот оказался упрямым и пятерки не натянул:

— Выучил добросовестно, а полета мысли не видно.

— Какой в вашем предмете может быть полет?..

Как бы то ни было, Гарусов сдал, был принят в аспирантуру, и ему оставалось только съездить в Воронеж за семьей.

Накануне отъезда он зашел к Марине Борисовне отдать книги, которые брал у нее для подготовки к экзамену. Гарусов еще никогда не был у нее дома и не представлял себе, как она живет. То, что он увидел, его поразило.

Прежде всего, обстановка — старинная мебель, которую он, по своей серости, отнес не то к восемнадцатому веку, не то к семнадцатому (на самом деле это был буржуазный модерн начала двадцатого). Плешивые бархатные кресла, колченогие столики. И запах — пылью, медом, старинными тканями. Комната была загромождена вещами, и всюду, с полу до потолка, царили книги — стоя и лежа, рядами и россыпью. Гарусову это было непривычно. Там, где он бывал, книгами не владели, их брали в библиотеке. Иметь собственную библиотеку казалось ему излишеством, вроде как иметь собственный троллейбус.

На участках стен, не занятых книжными полками, висели большие фотографии в рамках, тоже ужасно старинные. На одной из них молодая женщина с узким лицом, чем-то ему знакомым, держала на коленях толстого младенца в кружевном платьице. Младенец был задумчив, с голыми ножками, и пальцы на них были трогательно растопырены («Ноги как ромашки»,— подумал Гарусов).

— Это моя мама,— пояснила Марина Борисовна,— а это, на коленях, я сама. Не похожа?

— Нет,— честно ответил Гарусов.— Я бы вас не узнал.

Марина Борисовна слегка смутилась.

— Ничего не поделаешь, время идет... Вы пока посидите, а я поставлю чай.

— Не беспокойтесь, Марина Борисовна, я лучше пойду.

Она замахала на него маленькой ручкой:

— Цыц! Не смейте и думать! От меня еще никто без чаю не уходил. Вот вам конфета, сосите и смотрите альбом. Вы любите фотографии?

Гарусов сам не знал, но ответил:

— Люблю.

— Ой,— обрадовалась Марина Борисовна,— вот и я люблю смотреть на разных людей. Люди — это опознавательные признаки жизни.

Сказано было непонятно, но хорошо. Гарусов взял толстенный бархатный альбом и отстегнул бронзовые застежки. Оттуда обильно полезли снимки, как будто они были там под давлением.

— Ничего-ничего, потом мы упихаем все это обратно. Я уже пробовала, удивительно емкий альбом.

Марина Борисовна ушла ставить чай, а Гарусов сосал леденец и перебирал снимки. Их было много, и все разные — старинные и современные, пожелтевшие и передержанные (Гарусов фотографию отчасти знал). На некоторых он с волнением узнавал Марину Борисовну: те же длинные глаза, удивленные губы, та же тонкость в овале, теперь уже слегка помятом временем. На одном снимке она стояла лицом к лицу с каким-то большим черным, резко смеющимся человеком. Они смотрели друг на друга сквозь струны теннисной ракетки, и на удлиненное лицо молодой Марины Борисовны падала клетчатая тень. Как они друг на друга смотрели...

Но тут в коридоре послышался грохот, кто-то, сварливо повышая тон, женским неумелым слогом стал ругаться, а потом нежный голос Марины Борисовны с педагогической отчетливостью сказал:

— Отлично, Анна Григорьевна, милая, завтра мы обо всем этом поговорим, а теперь пропустите меня, пожалуйста, я чайник несу, могу вас ошпарить.

— Чайники, кофейники,— отвечал первый женский голос.— А где мои чайники, где мои кофейники? Нету их. Прогорела вся моя жизнь. Смерть одна у меня осталась. Придет, скажу ей: здравствуй, дорогая гостья моя смерть, давно я тебя жду не дождусь. Марина Борисовна, святая женщина, одолжи ты мне до понедельника два восемьдесят семь. Я же не трешку прошу, только два восемьдесят семь.

— Да вредно же вам пить, Анна Григорьевна,— опять зазвучал убедительный нежный голос.— Я вам даю, а совесть меня мучает, может быть, этим я вас убиваю.

— А ты не думай, дай, как человек человеку.
— Да и нет у меня сейчас денег.
— По-оследний раз дай. Самый последний.
— Ладно уж, последний раз. Только вы потом не отказывайтесь, помните, что́ мне обещали.

Дверь отворилась, и вошла Марина Борисовна с чайником в руке, а за ней — средних лет обглоданно-худая женщина с блестящими глазами.

— Познакомьтесь, это мой ученик, способнейший молодой ученый, Толя Гарусов, а это моя соседка Анна Григорьевна, тоже очень хороший человек.

Способнейший молодой ученый молча встал и поклонился. Анна Григорьевна с ужимкой подала ему узкую холодную руку:

— Очень приятно, молодой человек, очень приятно. Наукой, значит, занимаетесь?
— Наукой.
— А не женаты, простите за вопрос?
— Женат.
— Такой молодой, и уже женаты.

Тем временем Марина Борисовна искала сумочку.

— Где же моя сумочка? Такая красная, с расстегнутым верхом? Толя, вы не видели, куда я ее заложила? Я ведь вошла с сумкой?
— Не видал, Марина Борисовна.
— Подумайте, какая неприятность!.. Там все мои деньги, паспорт, профсоюзный билет... Если еще в институте оставила — полбеды. А если в троллейбусе? Или в магазине?

Сумочки нигде не было видно. Поискав немного, Марина Борисовна махнула рукой и развеселилась:

— Сама найдется. Надо только ее обмануть, сделать вид, что не ищешь, тогда найдется. А не найдется — что делать. Не в первый раз. Надо платить за свою рассеянность.

Анна Григорьевна кашлянула.

— Постойте, Анна Григорьевна, я сейчас. Сумочка потеряна, но вы не унывайте. Помнится, на прошлой неделе в шкафу у меня что-то копошилось. Дайте взглянуть.

Марина Борисовна открыла дверцу бельевого шкафа, и оттуда к ее ногам мгновенно вывалился целый клуб тряпья: чулки, скатерти, полотенца. Она смутилась и стала запихивать клуб обратно. Он запихнулся, но вместо него с готовностью вывалился другой. В сердцевине этого второго клуба мелькнуло нечто зеленое.

— Деньги! — с торжеством возопила Марина Борисовна.— Я же вам говорила!

Она подняла с пола несколько трехрублевок.

— Какое счастье! А я и не знала, что у меня столько денег! Как приятно: потерять и снова найти. Нате три рубля, Анна Григорьевна, только больше уж не просите, не дам.

— Небось дашь! — подмигнула соседка, поцеловала трехрублевку, махнула ею в воздухе и с каким-то немыслимым пируэтом исчезла.

— Несчастная женщина,— сказала Марина Борисовна дрогнувшим голосом.— Очень хороший человек, вот только пьянчужка. Как выпьет — сразу ругаться. Раньше я этого совсем не выносила, а теперь привыкла. Лексикон как лексикон. У нее даже бывают интересные словообразования. А вы заметили, какая она хорошенькая?

Гарусов молчал. Он этого не заметил.

— Нет, безусловно хорошенькая, только ей надо зубы вставить. Очень несчастная. Ей категорически надо замуж. Понимаете? У нее был муж, по-видимому, неплохой человек, но, знаете, как это бывает,— ушел к другой. Ребенок был и тоже умер. Ничего не осталось, совсем одна. Что делать? Книг не читает, работа скучная, диспетчер гаража, остается одно: женская жизнь, а ее-то и нет. Роятся в окрестности разные мужские экземпляры, но ничего серьезного. Один был — я просто радовалась, вполне порядочный, по профессии шахматный тренер или что-то в этом роде. Очень ее любил, но ничего не вышло. Оказался женат прочно и трусливо. Дал ей на пальто и скрылся. Она очень горевала. Теперь уже ничего. Спасибо, говорит, хоть пальто осталось. Теперь на горизонте засветился новый... Опять ничего обнадеживающего... Постойте, Толя, нет ли у вас холостого товарища?

— Кажется, нет. Все женатые. Впрочем, есть один холостяк. Вы его знаете — Федор Жбанов.

— Жбанов? — Марина Борисовна задумчиво наклонила голову.— Нет, не подойдет. Ведь он, кажется, тоже... Впрочем, может быть, это идея. Общность, а не противоположность интересов. Я еще подумаю. А теперь, Толя, пейте чай, у вас, наверно, внутри все пересохло...

Чай у Марины Борисовны был румяный, крепко заваренный, очень душистый, а на столе всего наставлено столько, как будто она ждала по крайней мере десять человек. Марина Борисовна сидела напротив, подпершись кулачком. Тонкие полуседые волосы легко свисали по ту и другую сторону пробора.

— Кушайте, Толя, пожалуйста. Возьмите еще пирога. Люблю, когда едят.

Гарусов ел.

Дверь скрипнула, приоткрылась, и в комнату вошел тощий серый кот с пылающими янтарными глазами. Он издал некий воинственный звук, всплеснул хвостом и стал точить когти о кресло. Немедленно вслед за ним вошел еще один кот, черный и толстый, на полусогнутых лапах. У этого глаза были зеленые. Коты стали друг против друга, выгнули спины, подняли шерсть и неистово заорали. Серый орал заливистым тенором, а черный — квашеным басом.

— Васька, Водемон, — сказала Марина Борисовна нежным голосом, — опять вы за старое! Надо вести себя прилично.

Коты не обратили на нее никакого внимания. Серый испустил душераздирающую руладу, зашипел и плюнул в черного. Черный в ответ ударил его вытянутой, как палка, передней лапой.

— Ах, как вы мне надоели, — сказала Марина Борисовна. — Ну, неужели нельзя между собой поладить?

Черный кот забормотал низким утробным клекотом.

— Кошки? — переспросила его Марина Борисовна. — Ну и что же, что кошки? Разве мало кошек на улице?

На этот раз ответил серый, и выходило, что мало.

— Ну, что мне с вами делать? Раз не можете жить в мире, придется вас отсюда убрать.

Она взяла поперек туловища серого кота, взгромоздила на него черного и так, комком, вынесла обоих за дверь. Из комка торчала когтистая, твердая, как палка, черная лапа. Два тяжелых стука за дверью оповестили Гарусова о том, что коты выброшены. Через несколько минут вернулась сияющая, добрая Марина Борисовна.

— Простите, пришлось мыть руки. Очень невоспитанные звери.

— Это ваши?

— Собственно говоря, ничьи. Кормлю я. Очень хорошие коты. Васька и Водемон.

— Как вы сказали?

— Водемон. Знаете, из оперы «Иоланта», ария Водемона: «Кто может сравниться с Матильдой моей?» — пропела Марина Борисовна. — Впрочем, это, кажется, ария Роберта, а не Водемона. Неважно. Я вообще люблю всякую живность, но лучше бы они выясняли отношения не у меня в комнате. Вы не думайте, очень крепко они не дерутся, больше кричат.

Дверь скрипнула, и в щель просунулась черная лапа. Гарусов вскочил и стал ее выталкивать.

— Сумасшедший! — взвизгнула Марина Борисовна.— Вы делаете ему больно! Это же кот, а не мертвое тело! Васенька, входи, мой милый, входи, дорогой.

Черный кот, слабо мяукнув, ввалился в комнату, а за ним немедленно, стройный и мужественный, вошел Водемон и поднял забрало.

— Господи, а я только руки вымыла, что за беда!

— Почему вы на ключ не запираетесь? — спросил Гарусов.

— Ключа нет. Потерялся.

— Можно заказать. Хотите, я закажу?

— Бесполезно. Заказываю и теряю. Хорошо, что я в коммунальной квартире живу. В отдельную я бы никогда не попала.

Коты завопили в терцию.

— Совсем распоясались,— сказала Марина Борисовна.

Гарусова осенило:

— Давайте я вам крючок сделаю.

— А вы умеете?

— Руками я все умею...

Гарусов выбросил котов, отыскал в недрах комнаты жестянку, пару гвоздей и за несколько минут приладил к двери вполне приличный крючок.

Марина Борисовна, подняв плечо к самому уху, смотрела на него извечно-восторженным взглядом интеллигента на мастера.

— Толя, вы гениальны.

— Что вы. Работа самая халтурная, без инструмента.

— Спасибо вам огромное.

Марина Борисовна снова вскипятила чай и заставила Гарусова сесть за стол. Гарусов ел, и ему было удивительно уютно. Время от времени кто-то из котов рыдал и бился в дверь могучим боком, но крючок только подрагивал.

— Что значит рука мастера,— говорила Марина Борисовна.

Вот уже и ночь углубилась, и коты затихли — наверно, ушли во двор доругиваться. Хлопнула наружная дверь, вернулась Анна Григорьевна, раскатилась было арией Кармен, но обо что-то стукнулась, выбранилась и ушла к себе. Гарусов все сидел.

А потом в нем словно что-то лопнуло, и он рассказал Марине Борисовне всю свою жизнь.

14

Через месяц Гарусов с Зоей и Ниночкой жили уже в Ленинграде, опять в общежитии для семейных. Зое здесь меньше нравилось, чем в Воронеже. Семейные были все какие-то гордые, скупо разговаривали и кухней пользовались мало, больше по столовым питались. Но Зоя не роптала, понимала, что ее дело — последнее, был бы он, Гарусов, доволен. Задумал идти в науку — иди, она ему не помеха. Наоборот, все для него сделает, чтобы создать условия. Но Гарусов был теперь весь далекий, худой и холодный и на условия внимания не обращал. С горя Зоя поступила работать продавщицей в универмаг. Ниночка уже в школу ходила.

Гарусов дома почти не бывал, приходил поздно, говорил, что из института, кто его знает, может, и правду говорил. Ложился на раскладушке и подолгу на ней ворочался, звенел. По тому, что спал он отдельно, Зоя догадывалась, что у Гарусова опять какая-то женщина, но вопросов не задавала. Так они и жили во взаимном молчании.

А Гарусов по уши утонул в своей любви. Федор Жбанов дал ему ключ от комнаты, и два раза в неделю Гарусов встречался там с Валей. Он проходил с нею программу заочного института.

У Вали знаний не было никаких, а желания их приобрести — еще меньше. Иногда Гарусов удивлялся ее первобытному невежеству. Например, деля «а» на «а», она получала ноль.

— Ты подумай,— терпеливо говорил Гарусов.

— Ну как же, если на самого себя делить, ничего не получится. Мы это в школе проходили.

— Ничего подобного вы не проходили.

— Ты не комментируй, а скажи, сколько будет.

— Единица.

— Я и говорила: единица.

Спорить с нею было нельзя. Гарусов и не спорил. Сперва он пытался обучить ее хотя бы азам, но оставил эту идею. Понять она все равно ничего не могла. Единственное, что у нее было,— это попугайная память. Она позволяла ей затвердить наизусть несколько фраз без понимания. Так Гарусов и натаскивал ее перед экзаменами и зачетами. По каждому предмету она помнила несколько фраз, которые с голоса вкладывал в нее Гарусов. С неистощимым терпением. Если тебя спросят то-то и то-то, отвечай так-то...

Некоторые предметы (немногие) она сдавала сразу,

другие заваливала и пересдавала на второй, на третий раз... Так, потихоньку-полегоньку, нес ее Гарусов на своем горбу через институт.

Что касается самой любви, то ее почти что и не было. Валя очень уставала, хотела спать, и Гарусов жалел ее, не настаивал.

А дружба была большая. Валя всегда делилась с Гарусовым всеми переживаниями. Главное, свекровь. Контролирует, вмешивается, не доверяет. Всюду со своим мнением. Неужели мы такие же будем, когда состаримся? Страшно подумать! Скорее бы уж получить квартиру. Дом-то строится, но как медленно... Они с Лекой ездили смотреть постройку: только третий этаж выведен! Скорее бы! Еще год такой жизни — лучше умереть. Вот уж девятый этаж, скоро подведут под крышу... Новые заботы. Ну, квартира, а чем обставить? Не бабкину же мебель туда везти, со всеми клопами, да и не даст бабка. Появились в Валином разговоре новые слова: гардеробы, шкафы, серванты. А Гарусов и не знал, какая разница между буфетом и сервантом. Валя ему объяснила. Он слушал ее сочувственно: в самом деле, не ехать же в пустые стены? Вот уже и квартира стала реальностью, Валя с мужем ездили ее осматривать. Хорошая квартира, хоть и девятый этаж. А главное, сами себе хозяева...

Однажды Валя пришла на занятия вся заплаканная. В чем дело? Да так, пустяки, не хотела рассказывать, но Гарусов силком выспросил. Оказалось, все дело в мебельном гарнитуре. Подруга обещала достать по знакомству, как раз такой, как мечтала Валя: гедеэровский, полированный, всего пятнадцать вещей, сразу на всю квартиру. Одно беда: денег нет, а откладывать нельзя, теперь такие вещи с руками отрывают. С Лекой поругалась, не хочет брать в кассе, говорит, и так задолжали. Впрочем, это все пустяки, жили без гарнитура и дальше проживем. Главное, без свекрови, а гарнитур...

Она махнула рукой, но губы у нее дрожали. Гарусов отнесся к ее огорчению очень серьезно, сказал ей, чтобы не расстраивалась, он постарается ей помочь. «Что ты, Толя! Ты уж и так сделал для меня слишком много!» Но он уже принял решение и стал действовать. Задолжал в кассе взаимопомощи, Федору Жбанову, Марине Борисовне, но принес-таки и выложил перед Валей тысячу новыми.

Он уже знал, что будет. Валя будет отказываться, плакать, но потом все-таки возьмет. Так оно и вышло: взяла, и даже скорее взяла, чем он думал, и плакала самую

чуточку. Поцеловала его, была ласкова, но Гарусов не очень был счастлив, хотя уверял себя, что очень. Какая-то заноза сидела у него в душе. Может быть, дело было в том, что она взяла деньги, как нечто незначительное, само собой разумеющееся? Он стыдил себя за эти мысли. Мелочный, корыстный человек. Слез ему было надо! Валя — не такая, ей на деньги наплевать, взяла и забыла...

Войдя в долги, Гарусов только немного урезал сумму, которую давал Зое на хозяйство, зато свирепо урезал себя самого. Нередко по неделям он вообще не обедал. Это хорошо знала Марина Борисовна, с которой он раньше всегда ходил в столовую, а теперь перестал. Нужно ли говорить, как бы охотно она за него платила! Но он не разрешал, с какой-то даже кусачей твердостью: «Я и так должен вам довольно крупную сумму. Пока ее не выплачу, не хочу принимать других одолжений». Такого определенного Гарусова Марина Борисовна даже боялась и, страдая, откладывала в сторону сумочку. А вообще, она к нему привязывалась все больше. Они теперь много времени проводили вместе: их столы на кафедре стояли бок о бок, образуя как бы один стол. Гарусов сидел по вечерам, и Марина Борисовна сидела. Она привыкла видеть левым глазом склоненную над столом голову Гарусова и его внимательный правый глаз, прилежно шествующий по странице. Они переговаривались, часто даже не поднимая голов. При людях они говорили только о работе. Как только оставались одни, разговор переходил на личную тему. Гарусова это жгло, а то, что его жгло, не могло не волновать Марину Борисовну. Внешне-то она волновалась куда больше, чем он. Он был спокоен и слегка загадочен. Как будто бы он сидел где-то там, у себя в глубине, внезапно оттуда возникал, произносил несколько слов и снова погружался обратно.

— Вчера мне позвонили и на сегодня назначили встречу,— ровным голосом говорил Гарусов, не отрывая глаз от журнальной статьи.

Марина Борисовна мгновенно отзывалась трепетом:

— Что же, я очень рада, если это вас самого радует.

— Конечно, радует как человека. Ведь эта встреча — сверхплановая, не по делу, а просто так. Значит, у нее есть желание меня видеть...

— Дай бог,— с сомнением говорила Марина Борисовна.

— Ваше сомнение я понимаю. Вы приписываете ей одни только корыстные цели.

— Боюсь, что да.

— Конечно, возможна и такая трактовка.

— Толя, не подумайте, что я пытаюсь на вас влиять...

— А что? Повлиять на меня было бы неплохо. Но я и без влияний могу рассуждать трезво. Я сам вижу: чем больше мы с ней встречаемся, тем больше наши отношения запутываются. И в материальном смысле, и во всех других.

— Да, и я боюсь, что они не дадут вам счастья.

— Смотря как понимать. Счастье — это не обязательно жить вместе. Я, например, испытываю счастье оттого, что ей помогаю.

— Ладно, испытывайте. Но нельзя же помогать без конца, совсем забывать о себе!

— Почему нельзя?

...И в самом деле, почему? Тут Марина Борисовна не могла найти убедительных слов. Восклицания вроде: «Вы же себя губите!» или: «Посмотрите, на кого вы стали похожи!», противные ей самой, явно не достигали цели. Иногда она робко пыталась напомнить о Зое и Ниночке. Тут получалось еще хуже — Гарусов немедленно погружался в свою глубину, порою даже на несколько дней, от чего Марина Борисовна очень страдала. Когда он вновь оттуда возникал, она сияла, как именинница, и готова была на любые уступки. Но долго она уступать не могла, опять начинались споры. Иногда он ее доводил буквально до слез, и она по-детски просила:

— Ну, Толя, ну возьмите у меня денег, ну, пожалуйста! Хотите, я, как ростовщик, стану брать с вас проценты? Вы этим даже мне поможете, ладно?

— Нет. У вас самой плохо с деньгами, я знаю.

— Ничего. Сегодня плохо, завтра хорошо. Я достану, выкручусь.

— Нет.

— До чего же вы упрямы! Я еще тогда в этом убедилась, когда вы работали в кружке. Упрямство и одержимость. Вы себя голодом уморите, как Гоголь.

— Не беспокойтесь, Марина Борисовна. Я к хорошей жизни не привык. Умею себя ограничивать.

— Не лучше ли было бы ей себя ограничить... хоть немного?

— Она не так воспитана, чтобы себя ограничивать. Отчасти я ее сам воспитал. Я ей внушил, что очень много получаю. А она — человек бескорыстный.

— Бескорыстный? Ну уж...

— Вы ее не знаете, а я знаю. Она от ботиков ушла.

— От каких ботиков, боже мой? С вами с ума сойдешь.

Гарусов рассказал про ботики. Марина Борисовна была тронута:

— Может быть, я к ней несправедлива...

Но грустный вид и хроническое безденежье Гарусова снова делали свое дело.

— Неужели вы не видите,— иногда взрывалась Марина Борисовна,— что она и не думает выходить за вас замуж?

— Вполне возможно. Но это еще не причина, чтобы я перестал ей помогать. Я вижу: человеку трудно, я могу человеку помочь, и я помогаю.

Это отвлеченное «человеку» больше всего бесило Марину Борисовну...

Однажды Гарусов возник из своей глубины несколько менее, чем всегда, спокойный и сообщил:

— Вчера я ходил туда, на новую квартиру, и видел Валиного мужа.

— Ну, ну,— встрепенулась Марина Борисовна.

— Я уже давно хотел съездить, посмотреть, а вчера знал, что ее не будет дома...

— Ах, рассказывайте, не тяните, что за манера такая, прямо иголкой за нерв. Садист.

— Ну, что? Отворяет мне человек. Я сразу понял, что это он.

— И какой?

— Мне понравился. Высокий, белокурый, как говорят: открытое русское лицо. Довольно интересный, несравненно лучше меня. Я бы на ее месте не колебался, с кем жить.

— Она, кажется, и не колеблется,— съязвила Марина Борисовна.— Простите, Толя. И как же вы с ним, разговаривали?

— Недолго поговорили.

— Давайте, давайте, весь разговор, всеми словами.

— Всеми словами не помню. Я сказал, что Валин знакомый, просил передать привет от Гарусова.

— А он?

— Говорит: «Заходите, подождите, она скоро придет». Я-то знал, что не скоро. Зашел...

— Дальше что?

— Он бутылку поставил и банку пастеризованной черной икры. Я пить и ждать не стал, а квартиру осмотрел. Хорошая квартира, и мебель моя стоит. Телевизор — я и не знал, что они купили. Усмехнулся и ушел. Теперь Валя рассердится, когда узнает, что я там был.

Через два дня Гарусов пришел чернее ночи. Марина Борисовна еле дождалась, пока они остались одни.

— Толя, в чем дело, что-нибудь плохо?

— Ну да. Очень рассердилась. Даже кольцо хотела вернуть, которое я подарил. Говорит, я по отношению к ней поступил неблагородно. Не по-рыцарски. Если бы я не ходил туда, ничего бы не случилось.

— А что случилось-то?

— Муж по моему лицу догадался, что я не просто знакомый. Валя, конечно, отрицает, а он не верит. Успокоила его, что я только в командировку приехал, а живу в Воронеже, так что реальной опасности не представляю. Обещала, что мне писать не будет, и вообще никаких отношений. Конечно, я перед ней виноват.

— Вы же еще и виноваты? В чем?

— Не надо было ездить туда без ее согласия. Но она бы не согласилась. А мне надо было посмотреть, как они живут. Действительно ли так нуждаются, как она говорит.

— Ну, и...

— Живут вполне зажиточно, даже во всех отношениях лучше, чем моя семья. Я своей семье во многом отказывал, чтобы там помогать. Икра черная — просто так, в будний день. У меня дома не то чтобы икру, а и едят-то не всегда досыта.

Марина Борисовна стонала, до глубины сердца разорванная этой нелепейшей черной икрой:

— Перестаньте ей хоть сейчас-то давать деньги!

— Этого я не могу. Она уже привыкла к моей помощи, ей будет трудно.

— Пусть потрудится!

— И главное, если я перестану ей помогать, это будет как давление, чтобы она от мужа ушла и со мной жила. А я хочу, чтобы она если уйдет, то совершенно свободно, только потому, что меня любит.

— Да не любит она вас!

— Может быть. Я и сам понемногу в этом начинаю убеждаться. Но если бы даже и убедился, бросить ее не могу. Ей институт надо кончать. Без меня она не кончит.

— Но как вы не понимаете, это же преступление! — кричала Марина Борисовна, в гневе переходя на не свойственный ей патетический слог.— Образование — за чужой счет! Чужими руками! Подумайте, какого специалиста навяжете вы государству! Ваша благотворительность, поймите, безнравственна!

Марина Борисовна петушилась, а Гарусов спокойно возражал:

— Инженером она работать не пойдет. Ей учеба нужна

только для бумажки. Половина заочников так учится, и вы это хорошо знаете...

С заочным образованием и правда было неладно, и Марина Борисовна шла на мировую. Не могла она долго сердиться на Гарусова.

— Ну, ладно, Толя, вы меня не убедите, и я вас тоже. Давайте не будем ссориться, поговорим о деле...

Руки Марины Борисовны дрожали, но она мужественно продолжала:

— Ваш вывод в конце второй главы кажется мне неизящным. Я бы здесь воспользовалась преобразованием Лапласа...

15

Гарусов закончил диссертацию точно в срок. Работа получилась хорошая, но не выдающаяся, нормальная кандидатская работа. Отзывы от оппонентов пришли вполне положительные, один: «Безусловно заслуживает», другой: «Без всякого сомнения, заслуживает». Организации тоже поддержали. Наконец назначили день защиты. Гарусов, судя по внешним признакам, не волновался, был спокоен даже сверх обычного. Зато очень переживала Зоя. Черный костюм, в чем защищать, у Гарусова был, еще с Воронежа, когда хорошо жили. Из хозяйственных денег купила Зоя с рук нейлоновую рубашку. В черном костюме, в белой рубашке и с галстуком Гарусов походил на маленького проповедника.

Заведующий кафедрой, Роман Романович Темин, выступил на защите в качестве научного руководителя. Говорил он о Гарусове весьма одобрительно, хотя и несколько общо: было видно, что работы он не читал и доклада не слушал. Зато Марина Борисовна, в лучшем своем платье и в парикмахерской прическе, очень ее портившей, слушала Гарусова в каком-то трансе, так и приподнималась на своем стуле и шевелила губами вместе с докладчиком.

Гарусов изложил диссертацию хорошим языком, складно, а главное, кратко: ухитрился даже сэкономить пять минут из двадцати отведенных, чем очень расположил к себе членов ученого совета. На вопросы отвечал ясно и толково, так что произвел на всех очень хорошее впечатление. Только в заключительном слове выкинул неожиданный номер: поблагодарил своего научного руководителя, Марину Борисовну Крицкую. Этот небольшой комический эпизод оживил постную атмосферу. Все засмеялись,

и один из членов совета ехидно спросил: «Мы только что слушали вашего научного руководителя, кажется, его звали иначе, и он был мужчиной?» Гарусов не растерялся, попросил извинения у профессора Темина, сказал, что многое почерпнул из его ценных указаний (на самом деле указание было одно: закрыть форточку), но настаивал, что фактически его научным руководителем была Марина Борисовна, идеи которой и были развиты в диссертации. Марина Борисовна слабо пискнула: «Не верьте ему!», но ее слова были встречены смехом собрания.

Ученый совет, размягченный неожиданным дивертисментом, проголосовал хорошо и дружно: двадцать «за», один «против» (в одном «против» сразу заподозрили профессора Темина, и несправедливо: «против» голосовал один доцент, которого Гарусов, еще студентом, раздражал своей несоразмерной росту солидностью). Марина Борисовна сияла так, словно она только что в муках родила Гарусова.

После защиты они зашли на кафедру и еще раз, напоследок, посидели за двуединым столом, где столько было переговорено, переспорено, сделано и переделано.

— Ну вот, Толя, вы и кандидат... Поздравляю вас еще раз, дайте руку.

Гарусов взял ее руку, чуть изогнутую, как бы для поцелуя, но поцеловать не догадался.

— Хоть сегодня-то вы счастливы?

Гарусов с трудом вышел из глубины и сказал:

— Марина Борисовна, я хорошо понимаю: моя кандидатская степень — в общем, то же, что и Валино высшее образование.

— Не понимаю.

— Очень просто. Если бы я был честный человек, я прямо сказал бы на защите, что диссертация не моя, а ваша.

Марина Борисовна перепугалась:

— Вы с ума сошли! Не смейте и думать так, не то что говорить! Мало ли кто подхватит, сообщит в ВАК...

— Отчего бы ВАКу не узнать правду?

— Правду?! Тут и намека нет на правду! Вы же сами знаете, сколько в диссертации ваших идей...

— Ни одной,— твердо сказал Гарусов.— Если я обманул людей и выдал эту диссертацию за свою, то...

— То что?

— Исключительно из личных соображений. Я не могу уехать из Ленинграда, Вале через год кончать институт.

Марина Борисовна примолкла. Если правду сказать, она была немного разочарована... Она ждала чего-то другого, более торжественного, более растроганного, она сама не знала, чего ждала. Гарусов выпустил ее руку. Они поднялись.

«Что ж, ничего не поделаешь,— думала Марина Борисовна,— такой уж он: суховат, но зато глубок. Сыновей же не выбирают...»

* * *

На другой день он позвонил и пришел.

— Вчера была встреча,— сообщил он, и только по нижней губе было видно, что он счастлив.— Вот, подарила мне авторучку.

Он вынул авторучку из нагрудного кармана и посмотрел на нее, как на ребенка.

— Ну, и как у вас теперь складывается, какие перспективы?

— Сказала, что любит, чтобы ждал,— ответил Гарусов, дрогнув углами губ.— Может быть, и правда любит. Я ведь от нее за все годы первый знак внимания получил.

— Ну вот, как хорошо, я люблю счастье.

— А может быть, и нет,— не слушая, продолжал Гарусов.— Может быть, просто боится, что уеду, пока она институт не кончила. Я имел глупость ей сказать про эти предложения, связанные с отъездом.

— Вы, разумеется, не едете?

— Нет, отказался. Пойду младшим научным к Трифонову.

Марина Борисовна ахнула:

— Младшим? Вы, кандидат? Да вас везде старшим с руками оторвут! Только бросьте клич...

— Я это знаю. Я даже сам об этом размышлял, потому что оклад старшего гораздо выше. Тогда я мог бы больше помогать тому человеку и скорее выплатить долги.

— Тогда в чем же дело?

Гарусов улыбнулся:

— На этот раз, можно сказать, совесть во мне победила.

— Это какая-то шизофрения! При чем тут совесть?

— Очень даже при чем. Я ведь не забыл про наши разговоры с вами.

— Какие разговоры?

— «Навязать государству плохого специалиста». И если я иду против совести, когда помогаю тому человеку,

то решил хотя бы в вопросе о месте работы быть честным.

Спорить тут было бесполезно. Марина Борисовна и не пробовала. Какая-то уж очень непривычная определенность появилась в Гарусове за последнее время. Жесткость.

16

Лаборатория Трифонова, куда поступил Гарусов после защиты, была из тех молодых организаций, которые только еще создаются, но никак не могут создаться. Еще неясен был даже точный профиль лаборатории. Мест по штатному расписанию было в ней предостаточно, специалистов же со степенями — мало, и Гарусов был встречен хотя и с недоумением (почему отказался от должности старшего научного сотрудника?), но с распростертыми объятиями. С пропиской дело обделали вмиг (кто-то кому-то позвонил), и Гарусов в рекордно короткий срок получил квартиру. Квартира, как водится, была далеко, в новом районе, а лаборатория — тоже в новом, но в другом конце города; и та, и другая были далеко как от прежнего гарусовского института, так и от дома Марины Борисовны. Все было далеко отовсюду, и времени ни на что не хватало. Так что Гарусов ходил к Марине Борисовне все реже и реже, и она постепенно потеряла его из виду и не знала, как он живет.

А жил Гарусов остервенело, замкнуто и одержимо. Началась для него страдная пора — Валя кончала институт, делала диплом. Тут уж он должен был выложиться весь, на горбу вынести ее из института, чего бы это ни стоило. В лаборатории Трифонова тоже работа оказалась не из легких — товарищи быстро поняли, что Гарусов безотказен, и нередко на нем выезжали. Все вечера после работы Гарусов просиживал в чертежно-вычислительном бюро, перед доской-кульманом, со стаканом остро отточенных карандашей у правого локтя, полный остро отточенных мыслей. Диплом он делал с увлечением. За те годы, что он обучал Валю, Гарусов не столько ее обучил (она оставалась младенчески невинной в науке), сколько самого себя. Теперь у него была вторая специальность — инженера-теплотехника, которая ему нравилась больше, чем первая. Иногда он даже мечтал: как было бы хорошо поехать вместе с Валей куда-то на стройку, два инженера-теплотехника — он и она...

С Валей они по-прежнему встречались в комнате Федора Жбанова, который был тактичен и своего присутствия не

навязывал. Бедный Федор! На их свиданиях теперь мог бы присутствовать кто угодно, не только он. Гарусов приходил с чертежами в картонном тубусе, разворачивал их, укреплял кнопками на стене и пробовал втолковать Вале ее дипломный проект. Валя слушала рассеянно, позевывала. Эта беспечность и раздражала его, и восхищала. Защита на носу, а она как маленькая! Слава богу, хоть память хорошая, вытвердит доклад накануне защиты, проскочит, если не будут копать. О том, что случится, если начнут копать, Гарусов боялся и думать.

А все-таки и она устала, бедняжка! Как-то раз Гарусов после занятий с нею сворачивал чертежи, отвернулся на минуту, а она уже заснула на кровати Жбанова, слегка приоткрыв измученный детский рот, уронив с ноги маленькую туфлю...

Дома у Гарусова все было по-прежнему. Квартиру Зоя освоила, на новую работу поступила, но с Гарусовым они все больше погружались во взаимное молчание. Ниночка вытянулась, подурнела, плохо училась и стала грубить. Зоя иногда на нее кричала тонким голосом, а потом плакала. И откуда только это у них берется? «Нет,— думала Зоя,— тяжело все-таки детей воспитывать без отцовского влияния».

Что́ происходит с Гарусовым, она в общих чертах понимала. Какая-то доброжелательница еще год назад прислала ей анонимку: «Смотрите лучше за своим мужем, как он проводит личную жизнь». А Зоя и без того знала. Слишком многое обдумала по ночам, слушая звон гарусовской раскладушки. Но Зоя уже привыкла к своему горю, оно казалось ей в порядке вещей. Ни словом не заикалась она и тогда, когда Гарусов с каждым месяцем приносил ей все меньше денег, только становилась прижимистей, Ниночке обновок не покупала, а о себе — и говорить нечего. Молча она хозяйничала, ходила на работу, стирала Гарусову носки и рубашки. Только и отводила душу, что в письмах к Марфе Даниловне: «Не знаю, как и живу,— писала она,— ничего не замечаю. День за днем, то работа, то стирка, то глажка. Ниночка ничего, растет, худая только, не в меня. Характер тоже не в меня проявляется. Мое здоровье ничего, что́ мне делается, было бы на душе спокойно. Очень переживаю за Толю, стал худющий и нервный, много работает». Все это были не те слова, но и от них становилось легче.

Настал, наконец, для Гарусова великий день — день защиты Валиного диплома. На защиту он, конечно, не пошел, целый день маялся, шатался по лаборатории от телефона к телефону, брал каждую трубку и, подержав в руках, опускал на место. Звонить еще было рано. В три тридцать он начал звонить: «Защитила ли, и с какой оценкой?» То ему отвечали: «Еще не защитила», то: «Сведений нет». Гарусов пустился на хитрости, любезной лисой обошел секретаршу, наговорил ей каких-то глупостей о ее приятном голосе и добился-таки, что она обещала лично сбегать и разузнать. На следующий гарусовский звонок она ответила: «Все в порядке, проект — пять, защита — три. Проект отмечен как выдающийся». Гарусов глубоко вздохнул, поблагодарил девушку-благовестительницу, сухо промолчал на ее кокетливые вопросы: «А она вам кто, что так за нее болеете?» — и, слыша в груди сердечные такты, поехал на квартиру к Федору Жбанову. Там они с Валей условились встретиться «в семь часов вечера после защиты». Кажется, был такой фильм, то ли в «шесть», то ли «в семь часов вечера после войны». Это она, Валя, придумала такую формулировку: «В семь часов вечера после защиты». Он ехал в автобусе и все улыбался Валиному остроумию. На площади он купил тяжелый букет цветов. Приехал он, конечно, рано, часам к шести. Вали, разумеется, еще не было. Гарусов поставил цветы в какую-то кастрюлю, сел за стол и попробовал думать. Из мыслей ничего не складывалось: перед ним возникала некая новая жизнь, которую он не мог ни представить себе, ни осмыслить. По привычке конспектировать, он взял лист бумаги и стал набрасывать схему возможных вариантов со своими решениями, вроде ветвящегося дерева:

1) В. соглашается немедленно. Беру расчет. Квартира остается З. Уезжаем.

2) В. соглашается, но не сразу, а когда подрастет С. Жду.

3) В. не соглашается, но дает надежду. Требую уточнений.

3-а) Если...

И так далее. Когда Гарусов отвлекся от схемы и посмотрел на часы, было уже семь. Он испуганно разорвал лист.

Семь пятнадцать. Вали не было. Ничего, он не беспокоился. Валя мастерица опаздывать.

В семь сорок пять он встал из-за стола и сел смотреть телевизор. Серые лица с двойным контуром его угнетали, но он досмотрел передачу до конца. Он всегда дочитывал до

конца все, что читал, и досматривал до конца все, что смотрел. Когда передача кончилась, он выщелкнул телевизор и с ужасом посмотрел на уменьшающийся белый квадратик. Квадратик уменьшился и исчез. На часах было девять. Было ясно, что она не придет.

Все же он сел и еще подождал часа два. В сущности, он уже давно знал, что этим кончится.

Наступила ночь. На кухне холодильник запел свою песню. Это была красивая песня, только холодная, от нее мурашки шли по спине. Гарусов озяб, потер руки и встал, чтобы пройтись по комнате. Тут только он заметил на кровати Жбанова, посреди подушки, письмо: «Толе Гарусову». Он разорвал конверт.

«Дорогой Толя, я уже давно решилась на эту разлуку, но все не хотела тебя волновать. Лека откуда-то узнал про тебя и про наши встречи и запсиховал, хотя я ему сказала, что ты умер в Воронеже, но он не верит. Не знаю, что будет, если он узнает всю правду. Он сейчас выполняет очень ответственную работу, и всякие переживания ему противопоказаны. Толя, нам нужно расстаться, «не грусти и не печаль бровей», как сказал мой любимый поэт Сергей Есенин. Если ты меня любишь, сделай все, чтобы сохранить мое настроение и семейную жизнь. Не ищи меня, не пиши даже до востребования, я в почтовое отделение даже заходить не буду. Я долго думала перед тем, как написать тебе, и решила, что так лучше. Эта последняя встреча все равно ничего не дала бы ни тебе, ни мне. Я, конечно, тебя любила, но жизнь все решает по-своему. В данный момент у меня сильно разбито сердце, но я не теряю бодрости и стараюсь жить для своей семьи, и тебе советую то же. Валя».

Гарусов прочел письмо очень внимательно, ровно два раза. Затем он положил на стол ключ от комнаты Федора Жбанова, вышел не оборачиваясь и захлопнул за собой дверь.

17

Прошло два года.

Марина Борисовна, немного постаревшая, но, как всегда, хлопотливая и легкая на ногу, собиралась куда-то с дарами в авоське, теряя туфли и роняя шпильки. В дверь позвонили.

— Черт возьми, не ко времени,— сказала Марина Борисовна и, наступив в темноте на очередного кота, который

оскорбленно вскрикнул, отворила дверь. На пороге стоял Гарусов. Марина Борисовна прижала руки к щекам. Авоська упала, Гарусов ее подобрал.

— Спасибо. Толя, милый, вы ли это? Глазам своим не верю! Куда же вы пропали? Век вас не видела! Ну, как же я рада, как рада! Чего же вы стали столбом, входите же, я сейчас чай поставлю.

Гарусов вошел и снял кепку. Марина Борисовна ахнула:

— Что с вами? Вы были больны?

Гарусов был острижен наголо, под первый номер. От стрижки его лицо изменилось, стало еще тверже и напоминало фотографии революционеров в царской тюрьме. Не хватало только второго снимка — в профиль.

— Не беспокойтесь, Марина Борисовна, я не болен, просто решил постричься.

— Не «постричься», а «остричься»,— механически, по преподавательской привычке, поправила Марина Борисовна.— Но зачем, зачем?

— Просто так. Обновить свою внешность. Сто́ит пятнадцать копеек. Правда, они для плана меня уговорили еще вымыть голову. Говорю: ладно, мойте хоть два раза. Вымыли два раза.

— Ах, боже мой,— изнемогая, сказала Марина Борисовна,— о чем это мы с вами, какие пустяки, голову два раза, когда я ничего о вас не знаю. Садитесь, рассказывайте...

— Я ведь ненадолго пришел. Только попрощаться.

Марина Борисовна так и села.

— Попрощаться? Вы куда-нибудь уезжаете?

— Да, в Магадан.

— Толя, это так неожиданно. Я ничего не могу понять. Объясните, что случилось?

— Ничего особенного. Просто я остро нуждаюсь в деньгах. А там я буду много получать и довольно скоро смогу оплатить квартиру.

— Какую квартиру?!

— Да, вы же еще не знаете. В самом деле, я долго с вами не виделся. Дело в том, что я развелся со своей женой и записался на кооперативную квартиру.

— Развелись с Зоей? Не может быть! Какая нелепость!

— Нелепость, но факт.

— Неужели... неужели же́нитесь на своей Вале?

— Нет,— сухо ответил Гарусов.— С Валей я расстался уже давно.

— Тогда, простите меня... зачем квартира? Зачем развод?

— Если бы я не развелся, мне не удалось бы вступить в кооператив. Эту квартиру я покупаю не для себя, а для одного человека, которому очень трудно живется.

— Опять человека? — взвизгнула Марина Борисовна.

— Да,— сухо подтвердил Гарусов.— Год назад я встретил одного человека, которому нужно помочь.

— Женщину?!

— Да.

— И опять полюбили? Какой же вы...

— Нет, на этот раз не полюбил. Я слишком разочаровался в любви, чтобы полюбить вторично. Мне просто хочется помочь человеку. Я ничего не жду для себя, думаю только о ней.

— Она... замужем?

— В том-то и дело, что да. Ей очень плохо живется с мужем, единственный выход — квартира. Распишемся, а как только она въедет и получит прописку, разведемся. Квартира останется ей.

Марина Борисовна плакала.

— Толя, я вас не понимаю! Я вас не понимаю!

Гарусов смотрел на нее, как взрослый — на ребенка в глупых слезах.

— Не огорчайтесь, Марина Борисовна. Я этого не сто́ю.

— Разве дело только в вас! А работа? — сморкаясь, всхлипывала Марина Борисовна.— Ваша работа? Наша с вами, в конце концов! Неужели вы так, сразу, можете ее бросить? Зачем же мы с вами... Зачем же я...

— Марина Борисовна, я очень перед вами виноват, я поступил эгоистично, я с самого начала знал, что из меня не выйдет научного работника.

— Вышел же, вышел! — топнула ногой Марина Борисовна.

— Плохой.

— И вовсе не плохой! Не всем же быть гениями!

— Всем,— твердо сказал Гарусов.— Кто идет в науку — всем. С моей стороны это была ошибка, ну что ж, постараюсь ее исправить.

— Исправить? А вы кем же туда едете? Дворником?

— Нет, до этого еще не дошло. Инженером-теплотехником.

— Бред! У вас же и диплома нету...

— Там его не требуют. Там нужна работа, а работать я надеюсь не хуже других,— Гарусов слабо улыбнулся.—

Этим я отчасти думаю компенсировать вред, который я нанес государству, навязав ему, как вы говорите, плохого специалиста...

— Вечно вы меня будете этим попрекать! Дело не в том, кого вы там навязали, а кого нет. Дело в том, что вы идете прямо по живым людям. Зоя, Ниночка... Подумали вы о них?

— Думал, но ничего не поделаешь. Я, конечно, здорово к ним привязался и не могу себе представить, как я без них буду жить. Но надо войти и в Зоино положение. Иметь такого мужа, как я, было бы тяжело любой женщине. Переносить мои вклады в других...

— Толя, а я? Вы обо мне не подумали! Правда, мы за последние годы мало виделись...

— Марина Борисовна, у вас ведь много учеников.

— Но только один сын.

Гарусов помолчал.

— Я... Я вам очень благодарен...

— Какая благодарность? Все это не то, не то...

— Вы меня извините, Марина Борисовна, я должен идти. А долг я вам верну при первой возможности.

— Бог с вами, какой долг? Я и забыла совсем. А когда вы едете?

— Сегодня ночью.

— Боже мой! А я вас задерживаю. Вам некогда, надо собираться. Идите-идите, я вас провожу, осторожнее, в передней темно, лампочка перегорела, никто не купит, кроме меня, а я забываю...

Она бормотала без устали, как заводная. Гарусов ощупью отпер дверь, выбрался на площадку. Она стояла на пороге, положив голову себе на плечо.

— И вот всегда у меня так, всегда так...

Косые слезы бежали у нее по щекам. Гарусов медлил.

— Ну, чего вы стоите? Идите, идите!

Она махнула рукой. Гарусов ушел.

* * *

Теперь ему надо было зайти к Федору Жбанову. По слухам, Федор был в запое, но все-таки попрощаться надо было.

Когда Гарусов вошел, Жбанов лежал ничком на кровати, подняв толстые ноги на деревянную лакированную

спинку. Он нехотя поднял с подушки вялое, несвежее лицо. За последний год Жбанов отрастил усы, и это сильно его не красило.

— А, святитель-великомученик,— сказал он сквозь спутанные усы,— явился-таки, приполз! А что у тебя с башкой? Ну-ка, повернись!

Жбанов захохотал.

— Ну и фигура! Дон-Жуан! Казанова! Покоритель женских сердец!

Гарусов молчал. Федор Жбанов неожиданно гибким движением перекинул на пол толстые ноги в шерстяных носках и бросил в Гарусова подушкой:

— Тьфу на тебя. Не хочу даже и разговаривать с таким идиотом.

Гарусов направился к двери.

— Постой! — загремел Жбанов.

Гарусов остановился.

— Ты не уйдешь, пока не объяснишь всю эту чертовню. Куда ты едешь? Зачем?

— Я тебе уже объяснял,— смиренно отвечал Гарусов.— Еду, чтобы деньги заработать. Внести за квартиру.

— Черта с два! Нет, брат, меня не проведешь! Тут другая должна быть причина.

Гарусов молчал.

— Ничего не понимаю! — бушевал Жбанов.— Нет, постой, кажется, начинаю понимать... Ага! Понимаю! Как увидел твою дурацкую стриженую башку, так и понял. Знаешь, кто ты? Монах. Да, да. Монах по призванию. Для таких, как ты, не хватает советских монастырей.

— Что за чушь,— тоскливо сказал Гарусов.— Монастыри какие-то... Придумаешь тоже. Пьян ты, Федор.

— А что? Я пьян, конечно, но рассуждаю вполне здраво. Таким, как ты, мало обычной жизни, нормальной работы. Они хотят жертвоприносить. Истязать свою плоть. Таким именно нужны монастыри, разумеется, не церковные, а гражданские... Оттуда, например, мы будем черпать санитаров, золотарей... А что? Мысль!

— Оставь, Федор,— отмахнулся Гарусов.— Без тебя тошно.

— Ха! — закричал Жбанов.— Это хорошо, что тошно! Значит, в тебе разум не совсем еще погас. Может, еще одумаешься, совесть в тебе проснется. Скажет: «Толя, а Толя, науку-то свою бросил, не стыдно?»

— Нет, не стыдно. Все равно ученого из меня не получится.

— Эх, мне бы твою усидчивость...

— Мне бы твой талант.

— ...я свой талант,— выругался Жбанов.— Не вышло из меня ни черта и уже не выйдет.

— Если бы я был глуп, я сказал бы тебе: не пей. Не пей, Федя.

— Полечиться, что ли, принудительно? — задумчиво спросил Федор.— Там, говорят, такое пойло дают, что после него от любой жидкости, даже от квасу, с души воротит.

— Вот как и меня,— тихо сказал Гарусов.

— Что ты там такое бормочешь?

— Ничего, это я так. Прощай, Федор. Спасибо тебе за все. Сам знаешь, за что. Я Зое сказал: если что, пусть к тебе обращается. Можно?

— Спрашиваешь тоже.

Жбанов встал с кровати и обнял Гарусова. Лицо Гарусова пришлось ему где-то под мышкой, и, чтобы лучше разглядеть это лицо, Жбанов поднял его за подбородок. Серые глаза Гарусова смотрели невесело, но твердо.

— Ну, прощай, Толя. Не поминай лихом. Любил я тебя, сукиного сына.

* * *

Гарусов пошел прощаться в свое последнее место — домой. У самого дома он встретил Ниночку. Она шла, тринадцатилетняя, худенькая, сплошные ноги, шла — вот так пигалица! — с мальчишкой и бессовестно с ним кокетничала. От этого коса усердно моталась у нее по спине. Гарусов ее окликнул, она остановилась, мальчишка прошел дальше.

— Ниночка, я хочу попрощаться.

— Опять едешь? — неприязненно спросила она и закусила конец косы.

— Еду.

— Надолго или совсем?

— Там видно будет.

— Ну, счастливого пути,— она взмахнула косой и побежала догонять своего кавалера, который стоял и нетерпеливо копал землю бутсой.

* * *

Гарусов поднялся по лестнице. Зоя уже ждала его у дверей — должно быть, в окно увидела, как он подходил. Бледная, но спокойная. Он посмотрел ей в лицо и обмер: оказывается, за эти годы щеки у Зои стали треугольными. Он опустил глаза на ее клеенчатый, цветочками, фартук.

— Когда? — спросила Зоя.

— Сегодня. Ноль тридцать.

— Побудешь или как?

— Не могу, Зоя, надо еще за вещами заехать...

— Что ж, поезжай, раз надо. Посидим с тобой, что ли, на дорогу. Так, кажется, по-русски-то полагается.

— Не знаю я, Зоя, как полагается.

Сели. Гарусов сказал с усилием:

— Прости, Зоя, что испортил тебе жизнь. Не надо мне было на тебе жениться.

— Что ты, Толенька, как ты можешь так говорить? Я с тобой очень даже счастлива была и навсегда тебе благодарна.

— Это я тебе должен быть благодарен.

Помолчали. Зоя спросила:

— Может, все-таки поехать мне с тобой, Толенька? Ты не думай, я на жену не претендую, веди свою личную жизнь какую хочешь. Я просто помочь тебе хочу. Прямо душа болит за тебя, как ты там будешь, один как иголка.

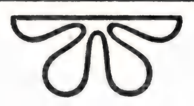
Не надо, Зоя. Я именно хочу посмотреть, чего я сто́ю один.

— Смотри, тебе виднее.

Зоя встала. Гарусов тоже встал. Тут словно что-то ее толкнуло, и она протянула ему обе руки, сложив их ладонями кверху, лодочкой. В эту лодочку Гарусов, прощаясь, спрятал свое лицо.

1969

Дамский мастер



1

Я пришла с работы усталая, как собака. Мальчишки — ну, конечно! — играли в шахматы. Это какая-то мужская болезнь. Я сказала:

— Черт знает что такое! Опять эти дурацкие шахматы. До каких пор?

На столе было типичное свинство. Пепельница разбухла от окурков. В пивных бутылках медленно надувались и лопались гигантские пузыри.

— Типичные свиньи, — сказала я. — Дела у вас нет, что ли? И это накануне сессии...

— Лапу, — подобострастно сказал Костя.

— Не будет тебе лапы. Свиньи, иначе не назовешь. Приходишь домой как в кабак. Хоть бы один раз пепельницу за собой вынесли! Неужели я, пожилая женщина...

— Прикажете возражать? — спросил Коля.

— Прекратить хамство! — крикнула я.

— Лапу, — потребовал Коля.

Мне улыбаться совсем не следовало, но губы как-то сами разъехались, и я дала ему руку.

— Не ту! — заорал Коля, как оглашенный. — Левую, левую!

(Левая ценится дороже — на ней родинка.)

— А мне и правая хороша, мы люди маленькие, — сказал Костя.

Я дала ему правую. Оба приценовались — каждый к своей руке. Две наклоненные головы. Соломенно-желтая и угольно-черная. Дураки мои. Сыновья мои. Только не думайте, что вы дешево отделались. Я еще сердита.

— Сейчас же убрать со стола! — крикнула я, чтобы не демобилизовываться.

Костя, кряхтя, взвалил на плечо пепельницу, Коля стал вытирать стол какими-то брюками.

Голодная я была как собака.

— Обедали?

— Нет. Тебя ждали.

— А дома что-нибудь есть?

— Ничего. Сейчас сбегаем.

— Нет, это черт знает что такое,— сказала я, распаляя себя.— Неужели же...

— ...ты, пожилая женщина... — услужливо подсказал Коля.

— Да! Я! Пожилая женщина! — заорала я.— Да, черт возьми! Пожилая! Работающая! Вас, дураков, воспитывающая!

— Но, заметьте, не воспитавшая,— скромненько вставил Коля.

— Да, к сожалению, не воспитавшая! Вся жизнь к черту! Ни за грош пропала жизнь!

— Не гоношись, подруга,— миролюбиво сказал Костя.

Я взяла бутылку и хотела бросить на пол, но не бросила.

— Нет, хватит с меня этого кабака. Уеду от вас. Живите сами.

— Живи и жить давай другим,— снова ровненьким голоском сообщил Коля.

— Довольно дурацких замечаний! Я говорю серьезно. Жизнь не цирк.

— Как вы сказали? — переспросил Костя.— Жизнь не цирк? Разрешите записать.

Он вынул записную книжку, послюнявил карандаш и нацелился.

— Жизнь... сами понимаете... жизнь... не... цирк... — записал он.

— И вообще,— перебила я его очень громко,— мне это все надоело! Надоело! Понятно вам? Уеду в Новосибирск. Или, еще лучше, выйду замуж.

— Ого! — заметил Костя.— Это дает!

— А что? По-вашему, я уже не могу ни за кого выйти замуж?

— Тольки за укротителя,— сказал Коля.

Тьфу, черт возьми!

Я вышла и хлопнула дверью.

Молока бы выпить, что ли. Я открыла холодильник. Он

был пустой и обросший, с одной-единственной увядшей редиской на второй полке. Не холодильник, а склеп. Никакого молока, разумеется, нет и в помине. А утром было. «Спороли», как говорила няня.

...Нет, хватит с меня этого, хватит, думала я, расчесывая волосы и со злобы выдирая целые пучки. Не могут два молодых идиота сами о себе позаботиться, не говоря уж о матери... Подумаешь, «лапу»! Лижутся, а мать голодная. Надоело все, надоело... И эти волосы дурацкие, ни два ни полтора — полудлинные, неухоженные... А сколько седых появилось! И все на каких-то нелепых местах, например за ушами, не то что у людей, те благородно седеют — с висков... Глупо седею, бездарно. А эти самодельные букольки на лбу! Сама, старая дура, на бигуди закручивала. Спать больно, плохо...

...Не буду им готовить обед, пусть сами о себе заботятся...

А с волосами этими что-то нужно делать. Остричься, что ли? Жалко. Уже года три, как отращиваю, столько трудов пропадет... Нет, хватит, остригусь. «Остригусь и начну», — так говорил мой папа. Беспокойно жил мой папа, до самой смерти все хотел «начать». «Остригусь и начну...»

— Я ухожу,— сказала я мальчикам.

— Куда? — спросил Костя.

— Замуж,— ответил Коля.

2

А улица была прекрасная, вся в свежих каплях недавнего дождя. Листья на липах светлые, новенькие, отлакированные, и поливальная машина катилась, сияя радугой, зачем-то поливая уже мокрый асфальт. Я купила мороженое и шла, покусывая твердую, украшенную розой верхушку. Зубы тихонечко ныли, но мне было хорошо так обедать — на ходу, мороженым. Что-то студенческое.

Ноги еще легки, весенний день длинен, люди идут, торопятся, много хорошеньких, остригусь и начну.

А вот и парикмахерская. В огромной витрине фотографии девушек в масштабе три к одному, каждая натужно бережет прическу. Надпись: «Здесь производятся все виды обслуживания в порядке общей очереди».

Идти так идти. Я потянула высокую, тяжелую дверь с вертикальной надписью: «К себе». Внутри пахло сладким одеколоном, паленым волосом и еще чем-то противным. Сидело и стояло десятка два женщин.

У, какая очередь! Может, уйти? Нет, решено, выстою. Я спросила:

— Кто последний?

Несколько голов повернулось ко мне и не ответило.

— Скажите, пожалуйста, кто последний?

— Здесь последних нет,— сострила черномазенькая, с задорным зубом.

— Крайнюю ищете, гражданочка? — спросила пожилая, в голубых носочках, с седоватой мочалой на голове.— Крайняя будто за мной занимала, да ушла.

Руки у нее были красные, натруженные и тяжело лежали между колен.

— Так я буду за вами, можно? А как вы думаете, товарищи, сколько придется ждать?

— Часа два в крайнем случае,— ответила пожилая. Другие молчали. Одна из них, статная, белая, как-то полебединому повернула шею, прошлась по мне ярко-синими глазами и отвернулась.

Я, говорят, не робкого десятка, но почему-то робею женщин. Особенно когда их много и они заняты каким-то своим, женским делом. Мне всегда кажется, что они должны меня осуждать. За что? А за что придется. За мой почтенный возраст (тоже, красоту наводить пришла!), за очки, английскую книгу в авоське. В этой очереди меня сразу потянуло к той пожилой, в носочках. И она, видно, тоже заприметила меня. Две бабушки. Она потеснилась на стуле, давая мне место.

— Садись, чего там. Сказано, в ногах правды нет. Я осторожно примостилась на самый краешек.

— Да ты не бойся, всей задницей садись. Поместимся, у меня-то постная. Была, да вся вышла.

Уселись.

— Хочу шестимесячную сделать,— сказала она.— Боюсь, муж любить не станет. Что-то начал к одной молодой похаживать.

— А дети есть?

— Сыновья. Двое.

— И у меня двое.

— А муж гуляет?

— Нет у меня мужа.

Она помолчала.

— Кому как повезет,— сказала она, подумав.— У меня хоть и гуляет, да не пьет, а у тебя и вовсе нет. Ты все-таки

не бросай, надейся. Не такая уж слишком пожилая, из себя полная.

— Я не бросаю,— сказала я.

— Следующий! — крикнул из дверей жирный мастер в белом халате, с ярко-зеленым галстуком.

Черненькая с зубом подскочила и ринулась вперед. Женщины загалдели:

— Не ее очередь!

— Не пускать!

— Я на шестимесячную,— отбивалась она.

— Все на шестимесячную!

— Я тоже на шестимесячную! — пискнула я.

— Сказано: все виды операций...

— В порядке общей очереди! А это разве порядок?

Общая очередь орала и волновалась.

— Не хулиганьте, гражданочка,— сказал жирный.— Всех обслужим, как один человек, будьте уверены.

Черненькая прошмыгнула в зал. Шум продолжался.

— Он с ней живет,— сказала белая, с лебединой шеей.

— Ну что ж, что живет? Порядок тоже нужно знать. Мало кто с кем живет.

— А вот потребуем жалобную книгу...

— Заведующего...

— Позвать заведующего!

Седая старушка за барьером гардероба взялась за вязанье. В кабине кассы розовая кассирша в голубом от белизны халате зевнула, вынула зеркальце и, напряженно растянув рот, стала ваксить толстые ресницы.

Именно эти ресницы меня взорвали. Робости как не бывало. Я подошла к кассе:

— Жалобную книгу.

Она поглядела неприязненно:

— А чё вам нужно жалобную книгу?

— Не ваше дело. Любой посетитель в любой момент может потребовать жалобную книгу.

Очередь зарокотала, теперь уже против меня:

— Сразу, чуть что...

— Одного человека приняли, а она жалобную книгу...

— Она в жалобную напишет, а лю́дям неприятности...

— Тоже понимать нужно... Работают люди...

Не любят у нас жалобщиков. Но я уже закинулась.

— Гражданка,— сказала я голосом милиционера,— если вы мне сейчас же не дадите жалобную книгу...

Кассирша вышла из кабины.

— Я вам сейчас заведующего позову.

Вышел заведующий, чернокудрый детина с лицом мясника.

— Чего вам, гражданка?

Я объяснила ему, что мастер только что принял женщину без очереди. Ссылалась на свидетелей, но те молчали. Он выслушал меня без выражения лица и потом крикнул в зал, как кличут собаку:

— Роза!

Вышла конопатенькая парикмахерша в марлевом тюрбане.

— Роза, обслужишь гражданку без очереди.

— Слушаю, Руслан Петрович.

— Да разве я об этом? — заволновалась я.— Да разве мне нужно без очереди?

Руслан повернулся и вышел.

— Роза,— обратилась я к ней,— поймите, я совсем не о себе. Я только против беспорядка.

— Сами беспорядок делаете, несознательные,— сказала Роза и тоже ушла.

Я вернулась в очередь. Женщины молчали. Даже пожилая в носочках не подвинулась, а крепко сидела на своем стуле.

Ну и пусть...

Ждать еще долго. Прислонясь к прохладной, маслом крашенной стене, я стояла и думала.

...А хорошо бы все-таки уехать в Новосибирск. Дали бы мне однокомнатную квартиру. Или, еще лучше, номер в гостинице, где прошлый раз жила. Уж больно домик хорош — смешной, разноцветный: ухо зеленое, брюхо розовое. Кругом лес, трава на участке человеку по шею, зеленая, густая, чистая, с султанами. На улицах птицы поют. А по тротуарам — математики, физики, очкастые, бородатые, молодые, веселые...

...А еще хорошо бы, может быть, и в самом деле пойти замуж, выкинуть такое коленце, за старого друга, друга молодости, и уехать к нему в Евпаторию. Он всю жизнь меня любил, любит и сейчас, знаю. Теперь уже старенький, на сколько же лет старше меня? На десять? Как это говорится, старый — это тот, кто старше меня на десять лет. Ну что ж? Взять выйти замуж и уехать. Пусть они наконец-то привыкнут сами о себе думать. А работа? Ну, найду что-нибудь полегче. А то и вовсе поживу без работы. Буду в море купаться, в садике цветы посажу, кур заведу... А что? Стирать буду, белье вешать, голубое от синьки, на солнечном каменистом дворе... Руки мыльные, волосы

взмокнут, растреплются, отведу от лица локтем... А тут он подойдет, по плечу погладит: «Устала, родная моя? Отдохни, голубчик».— «Нет, я еще ничего». Чепуха, бред.

— Кто желает обслуживаться? — раздался резкий мальчишеский голос.

Я очнулась.

Рядом с очередью стоял паренек лет восемнадцати, с хохолком на макушке. Весь какой-то не то чтобы просто тощий, а узкий: узкое бледное лицо, тонкие, до острых локтей голые руки, и на бледном диковатом лице горящие темные глаза. Не то олененок, не то волчонок.

— Кто здесь желает обслуживаться? — повторил он. На очередь он глядел презрительно, словно не он их, а они его должны были обслуживать.

— Я хочу...

— И я хочу...

— И я...

— Я первая сказала!

— Нет, я!

Очередь снова загудела.

— Между прочим, обязан предупредить вас,— сказал паренек,— я еще не мастер, а только стажер и вполне могу вас изуродовать.

Женщины примолкли.

— Нет уж, мы лучше здесь, чин чинарем,— вздохнула пожилая.

Я решила:

— Давайте, уродуйте.

Паренек быстро рассмеялся. Было что-то диковатое не только в глазах его, но и в улыбке. Зубы острые, ярко-белые.

— Это вы хорошо сказали: «Уродуйте». Я со своей стороны постараюсь вас не изуродовать. Пройдемте.

Он провел меня не в зал, а в какую-то заднюю каморку. Два мастера не в белых уже, а в черных халатах колдовали над двумя женскими головами, откинутыми назад, в помятые жестяные тазы. Один бритвенной кисточкой накладывал краску, другой разглядывал на свет зеленую жидкость в мензурке. Неужто в зеленый тоже красят?

Пахло здесь как-то по-другому, душно и тускло. У двери два узкобрючных подозрительных шкета с косо срезанными бачками вели пониженными голосами странную

беседу: «Тридцать «лонды» плюс пятьдесят фиксажа». Пахло спекуляцией.

— Не стесняйтесь,— сказал паренек,— я вас за той перегородкой обслужу.

Шаткая голубая перегородка покачивалась, словно дышала. На стене в золотой паршивой рамочке висела грамота: «Передовому предприятию».

Я села в кресло.

— Выньте шпильки,— приказал паренек.

Я вынула.

Он приподнял прядь волос, пощупал, пропустил сквозь пальцы, взял другую.

— Волос посе́чен,— сказал он.— Результат самозакрутки. Какую операцию желаете?

— Остричь... И шестимесячную, если можно.

— Все можно. Можно и шестимесячную. Только предупреждаю, для теперешнего времени эта завивка несовременна. Со своей стороны могу вам предложить химию.

— То есть химическую завивку?

— Именно. Самый современный вид прически. Имейте в виду, за рубежом совсем прекратили шестимесячную, целиком перешли на химию.

— Чем же эта химия отличается от шестимесячной?

— Небо и земля. Шестимесячная — это баран. Может быть, кому-нибудь и нравится баран, но я лично против барана. Химия дает более интересную линию прически, как будто она раскидана ветром.

Мне вдруг захотелось, чтобы у меня была прическа раскидана ветром.

— Валяйте свою химию,— сказала я.— А долго это?

— Часа четыре, не меньше. Если халтурно, то можно сделать и за два часа, но я не привык работать халтурно.

— Что же это, до одиннадцати?

— Если не до полдвенадцатого.

...Эх, Коля и Костя там без обеда... Догадаются ли, дурни, что-нибудь купить себе? Ничего, пусть привыкают.

— Ладно, делайте.

— А вы не беспокойтесь,— вдруг сказал парень,— я по своей квалификации не ниже мастера, если не выше. Мне сейчас выгоднее быть стажером, чем мастером. План не требуют, и ответственность меньше. Я могу свободно экспериментировать, если кто предоставит свою голову.

— А я и не беспокоюсь,— ответила я.— Было бы о чем. Подумаешь, красоту какую погубите.

Он опять рассмеялся по-своему, быстро показав зубы.

— Это вы интересно сказали. Подумаешь, красоту какую... Это верно.

Ну что ж, сама напросилась.

— А как вас зовут? — спросила я.

— Виталик.

— Терпеть не могу таких имен: Валерик, Виталик, Владик, Алик... Только и слышишь: ик, ик, ик... Это заикание, по-моему, ужасно не свойственно русскому языку.

— Как вы сказали? Не свойственно русскому языку? В каком смысле?

— Раньше таких окончаний не было, они теперь развелись. Что-то в них сентиментальное, сюсюкающее. Представьте себе, например, героев «Войны и мира»: Николай Ростов, Андрей Болконский, Пьер Безухов. Вообразите, если бы их звали Колик, Андрик, Пьерик...

Он опять засмеялся.

— Интересно. Значит, нельзя говорить Виталик?

— Не то что нельзя, а лучше не надо.

— А как же меня звать?

— Просто Виталий. Хорошее, звучное имя. Виталий значит жизненный.

— Позвольте, я запишу.

Он вынул из кармана халата большую потрепанную записную книжку.

— Виталий — жизненный. В этой записной книжке, я, между прочим, цитирую разные мысли.

— Какие мысли?

— Разные, относящиеся к разным сторонам жизни. Например, такая мысль: кто своего времени не уважает, сам себя не уважает. Между прочим, верно.

— Чья же это мысль?

— Моя. Голова чистая?

Я не сразу поняла:

— Как будто бы. Вчера мыла.

— Под вашу ответственность.

Ох, и строг. Я чувствовала себя, как больной у хирурга, и с робостью разглядывала незнакомые инструменты.

— А это что за топорик?

— Дамская бритва. Стрижка под химию всегда выполняется бритвой по мокрому волосу. Ниже голову.

В его коротких командах («Ниже голову») было что-то неуютное, не парикмахерское. Обычно парикмахеры жен-

скую голову именуют головкой. Он сурово отсекал мокрые пряди, приподнимал их, подкалывал, расчесывал, снова резал. Прошло с полчаса. Он заговорил:

— Если не ошибаюсь, вы сказали, что Виталик говорить нельзя. А как, например, Эдик? Есть такое имя — Эдик? У меня, между прочим, товарищ Эдик.

— Вероятно, он Эдуард.

— Эдуард — это же не русское имя?

— Нет, не русское.

— Откуда же у нас, русских, такое имя?

— Была такая мода одно время, по-моему, глупая.

— А у вас дети есть?

— Два сына.

— Какого возраста?

— Старшему двадцать два, младшему двадцать.

— Как и мне. Мне тоже двадцать, двадцать первый. А как ваших детей зовут?

— Коля и Костя. Простые русские имена. Самые хорошие.

— А я думал, интереснее Толик или Эдик. Или еще Славик.

— Это вам только кажется. Когда у вас будут дети, я вам советую назвать их самыми простыми именами: Ваня, Маша...

Это его позабавило. Не знаю, простые ли имена, или идея, что у него будут дети.

Он все еще стриг. Сколько времени, оказывается, нужно, чтобы оболванить одну женскую голову...

— Скоро? — спросила я.

— Ниже голову. Нет, еще не скоро. Операция сложная. Извините, если я вас спрошу. Вот вы упомянули в своем разговоре несколько имен и фамилий: Николай, кажется, Ростовский, Андрей Болконский и еще Пьер... Как будто Пьер. Какая его фамилия?

— Пьер Безухов.

— Так вот, я хотел вас спросить: Пьер — это разве русское имя?

— Нет, французское. По-русски Петр.

— Так вот вы, кажется, упомянули выражение, что Виталик или, скажем, Эдик не в духе русского языка. А сами употребили такое французское имя, как Пьер.

Ай да парень! Поймал-таки меня. Думал-думал и поймал.

— Да, вы правы. Мой пример не совсем оказался удачен.

— И какие это люди, о которых вы говорите? Андрей, и Николай, и Пьер? Они русские?

— Русские. Но, знаете, в те времена в высшем обществе было принято говорить по-французски...

— А в какие это времена?

— Во времена «Войны и мира».

— Какой войны? Первой империалистической?

Я чуть не засмеялась, но он был очень серьезен. Я видела в зеркале его строгое, озабоченное лицо.

— Виталий, разве вы никогда не читали «Войны и мира»?

— А чье это произведение?

— Льва Толстого.

— Постойте.— Он снова вынул записную книжку и стал листать.— Ага. Вот оно, записано: Лев Толстой, «Война и мир». Это произведение у меня в плане проставлено. Я над своим общим развитием работаю по плану.

— А разве вы в школе «Войну и мир» не проходили?

— Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявила свои требования. Отец у меня сильно пьющий и мачеха слишком религиозная. Чтобы не сидеть у них на шее, мне не удалось закончить свое образование, я, в сущности, имею неполных семь классов, но окончание образования входит в мой план. Пока не удается заняться этим вплотную из-за квартирного вопроса, но все же я повышаю свой уровень, читаю разные произведения согласно плану.

— И что же вы сейчас читаете?

— Сейчас я читаю Белинского.

— Что именно Белинского?

— Полное собрание сочинений.

Он открыл фибровый чемоданчик и из-под груды бигуди, деревянных палочек, флаконов и еще чего-то вытащил увесистый коричневый том.

Я открыла книгу. Собрание сочинений Белинского, том первый. «Менцель, критик Гёте»...

— Виталий, неужели вы все это читаете?

— Все подряд. Я не люблю разбрасываться. К концу этого года у меня намечено закончить полное собрание Белинского...

— А кто же вам составляет план?

— Я сам. Конечно, пользуясь советами более старших товарищей. Я посещал свою учительницу русского языка, она мне дала несколько наименований. Некоторые из клиентов, более культурные, тоже помогают в работе над планом.

— Но ведь это очень долго! Подумать только, Виталий! Год на Белинского?

— Ну что же, что год? Я еще молодой.

Стрижка как будто приближалась к концу. Мне было боязно взглянуть в зеркало. Всей кожей головы я чувствовала, что острижена коротко, уродливо, неприлично. А, была не была! Назло им обреюсь наголо.

— Виталий,— спросила я,— а что вы собираетесь делать дальше?

— Смочить составом, накрутить...

— Нет, я не о голове своей, а о вашей жизни. Что вы собираетесь делать дальше?

— Этот вопрос у меня тоже подработан. Буду повышать себя в своем развитии, сдам за десятилетку...

— А потом?

— Потом я хотел бы в институт.

— Какой институт?

— Этого я еще не знаю. Может быть, вы посоветуете какой-нибудь институт?

— Это довольно трудно — ведь я не знаю ваших вкусов, способностей. А сами вы чем бы хотели заниматься?

— Я бы хотел заниматься диалектическим материализмом.

Я даже рот открыла. Любопытный парень!

— В качестве кого, Виталий? Что вы хотели бы — преподавать? Или быть теоретиком, развивать науку?

— Нет, я не сказал бы преподавать. Я не чувствую склонности к преподаванию. Нет, я именно, как вы сказали, хотел бы развивать науку.

— А какие у вас есть основания думать, что вы к этому способны? Ведь это не просто!

— Во-первых, у меня много оснований. Прежде всего я с давнишнего детства охотно читаю политическую литературу, как-то: «Новое время», «Курьер ЮНЕСКО» и другие издания. В школе я всегда был передовиком по изучению текущего момента...

— Но ведь от этого еще далеко до научной работы. Ведь...

Я запнулась. Он смотрел в зеркало суженным взглядом, поверх бигуди, флаконов, ножниц.

— Я думаю,— твердо сказал он,— что я мог бы принести пользу, если бы занялся диалектическим материа-

лизмом. А вы не знаете, где специализируются по этой профессии?

— Знаю,— ответила я.— Московский государственный университет, факультет философии.

...Операция была длинная, и мы провели вместе весь вечер. Виталий сосредоточенно возился с моими волосами, накручивал их на деревянные палочки в форме однополого гиперболоида, смачивал составом, покрывал пышной мыльной пеной, споласкивал раз, споласкивал два, крутил на бигуди, сушил, расчесывал. Он уже устал, и на узком лбу, по обе стороны от длинных прямых бровей, выступили капельки пота. Было уже без четверти одиннадцать, когда он последний раз провел щеткой по моей голове и отступил, а я позволила себе взглянуть в зеркало.

Ну и ну! Вот она какая, химия... Блестящая, живая масса темных волос, в которой светящимися паутинками потонули белые нити, казалась не волосами даже, а дорогим мехом — такой сплошной, целостной шапкой, так непринужденно облегли они голову. А эта изогнутая полупрядь, упавшая, словно ненароком, с левой стороны лба, словно прическу только что разбросало ветром...

— Как вы удовлетворены? — спросил Виталий.

— Замечательно! Да вы, оказывается, художник!

— Меня рано называть художником, но если я буду заниматься этой специальностью, то постараюсь проявить себя как художник.

— Спасибо, большое спасибо! А сколько я вам должна?

— В кассу пять рублей новыми. А сверх того — зависит от желания клиента.

...По его лицу нельзя было сказать, удовлетворило ли его на этот раз «желание клиента». Деньги он взял просто и сухо сказал: «Спасибо».

— До свидания, Виталий,— сказала я.— Как-нибудь я еще к вам зайду, ладно?

— А я прекращаю работу в этой точке,— ответил он,— и возвращаюсь на свою старую точку. Все, что можно было взять здесь от мастеров, я уже взял.

— А где же ваша старая точка?

Он назвал адрес, телефон. Я записала.

— Виталий... А как дальше?

— Виталий Плавников.

— Виталий Плавников,— записала я.— Буду вас пом-

нить. Хороший вы мальчик, Виталий Плавников. Будем знакомы. Меня зовут Марья Владимировна Ковалева.

Он подал мне руку и сказал:

— Я тоже от вас почерпнул.

3

Я вернулась домой. В квартире было тихо (спят, паршивцы, наголодались и спят), но в моей комнате горел свет. Я вошла. На круглом столе, под классическим оранжевым абажуром, стоял букет цветов, окруженный бутылками молока. На большой тарелке затейливо разложены бутерброды, боже ты мой, какие бутерброды — с ветчиной, с балыком, с икрой... В букет вложен конверт, в конверте письмо. Каются, черти.

Я достала письмо. Отпечатано на машинке. Две страницы. Что за чепуха?

«Все свиньи земного шара сходны между собой по складу тела и по нраву. Голос свиней — странное хрюканье, которое не может быть названо приятным, даже когда выражает довольство и душевный покой...»
(Фу-ты черт, какая ерунда! Что там дальше?)

«...Самки свиней не так раздражительны, как самцы, но не уступают им в храбрости. Хотя они и не могут нанести значительных ран своими небольшими клыками, но тем не менее опаснее самцов, потому что не отступают от предмета своего гнева, топчут его ногами и, кусая, вырывают целые куски мяса...»

(Вот оно куда клонят!)

«...Маленькие поросята действительно очень миловидны. Их живость и подвижность, свойственные молодости, составляют резкую противоположность лени и медленности старых свиней. Мать очень мало заботится о них и часто не приготовляет даже гнезда перед родами. Нередко случается, что она, наскучив толпой поросят, поедает нескольких, обыкновенно задушив их первоначально...» (Брем, «Жизнь животных», т. 2, стр. 731—745.)

— Ой, мерзавцы, мерзавцы! — простонала я и все-таки не могла не смеяться, даже слезы потекли.

В мальчишеской комнате что-то упало, и появился заспанный Костя в трусах.

— Ну как? — спросил он.— Дошло?

И вдруг, увидев меня, завопил:

— Мать! Какая прическа!! Потрясно! Николай, скорей сюда! Погляди, какая у нас мать!

Вылез Коля, тоже в трусах.

— От лица поруганных поросят... — бормотал он. И вдруг остолбенел.— Ну и ну! — только и сказал он.— Лапу!

Я дала им по одной руке — Косте правую, Коле левую. И опять они целовали каждый свою руку, а я смотрела на две головы, соломенно-желтую и угольно-черную.

Дураки вы мои родные. Ну куда же я от вас уйду...

4

На другой день, как всегда, я пошла на работу. Ну, не совсем как всегда: на плечах у меня была голова, а на голове прическа. И эту голову с прической я принесла на работу. Моя секретарша Галя поглядела на меня с удивлением — мне хотелось думать, с восторгом,— но сказала только:

— Ой, Марья Владимировна, тут вам звонили откуда-то, не то из Совета Министров, не то из совета по кибернетике, я забыла...

— И что сказали?

— Тоже забыла... Кажется, просили позвонить...

— По какому телефону?

— Я не спросила.

— Галя, сколько раз вам нужно повторять: не можете запомнить — записывайте.

— Я не успела. Они быстро так трубку повесили...

Галя была смущена. Крупные голубые глаза смотрели виновато, влажно.

— Простите меня, Марья Владимировна.

— Ну ладно, только чтобы это было в последний раз.

— В последний, Марья Владимировна, честное пионерское, в самый последний.

Она вышла.

Все меня уговаривают расстаться с Галей, а я не могу. Знаю, что это не секретарша, а горе мое, обуза, и все-таки держу. Наверное, люблю ее. У меня никогда не было дочери. А как она мне нравится! Нравятся ее большие, голубые, эмалевые глаза, тоненькая талия, выпуклые икры на твердых ножках. И еще она меня интересует. Чем? Попробую объяснить.

Если два вектора ортогональны, их проекции друг на друга равны нулю. Я Галю чувствую по отношению к себе ортогональной. Мы существуем в одном и том же пространстве и даже неплохо друг к другу относимся, но — ортого-

нальны. Сколько раз я пробовала дойти до нее словами — не могу.

Мне предстояло несколько телефонных разговоров, и я взяла трубку. Так и есть, говорят по параллельному аппарату, и, конечно, Галя со своим Володей. Уславливаются вечером пойти в кино — мировая картина. Прислушиваюсь: какая такая мировая картина? Оказывается, «Фанфары любви». Долго говорят, а телефон все занят. Ничего, успею. Фанфары любви... Я положила трубку.

Все-таки чем она, моя Галя, живет — вот что мне хотелось бы узнать. Неужели то, что на поверхности,— это и все? Только бы прошел рабочий день, а там кино, Володя, танцы, тряпочки? А что? Тоже жизнь... Выйдет замуж за своего Володю, будет носить яркий атласный сверток... И я когда-то носила свертки, только не атласные... Сыновей растила в самую войну. Вырастила... Воспитать не сумела. Нет, они все-таки хорошие, мои мальчики.

Вошел мой заместитель, Вячеслав Николаевич Лебедев. Когда боролись с излишествами, мы с ним объединили наши кабинеты. Вздорный старик, болтлив и волосы красит.

— Марья Владимировна, вы сегодня ослепительны!

Он поцеловал мне руку. Обычно он этого не делает.

— Острижена, причесана — только и всего.

— Нет, не говорите. Все-таки наша старая гвардия...

...Да, старая гвардия. Я представила себе, как он крадучись проникает в такой вот вчерашний закуток за фанерной перегородкой и как там атлетический Руслан накладывает ему краску... Брр!.. А в сущности, почему? А если бы он был женщиной?

— Как со сметой на лабораторию? — сухо спросила я.

— Не утверждают.

Ну, я так и знала. Если хочешь нарваться на отказ, достаточно поручить дело Лебедеву. При виде такого человека у каждого возникает желание дать ему коленкой под зад.

— Что же они говорят?

— Надо пересмотреть заявку на импортное оборудование, на пятьдесят процентов заменить отечественным.

— А вы им говорили, что отечественного оборудования этой номенклатуры нет в природе?

— Говорят, производство осваивается.

— Осваивается! Когда же это будет?

Вот и работай с такими помощниками. Я закурила

и стала просматривать смету. Он нервно отмахивался от дыма.

— Зачем вы курите? Грубо, неженственно...

— Зато вы слишком женственны.

Сказала и сразу пожалела. Он даже побледнел.

— Марья Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать.

— Извините меня, Вячеслав Николаевич.

Нет, надулся старик. Нашел благовидный предлог и вышел.

...Помню, моя няня когда-то говорила мне: «Эх, Марья, язык-то у тебя впереди разума рыщет». Так и осталось...

Смерть не люблю, когда на меня обижаются, прямо заболеваю. Вот и сейчас отсутствие Лебедева сковывало меня по рукам и ногам. Ну куда он пошел? Шатается где-нибудь по коридорам, бледный, расстроенный, или разговорился с кем-то и жалуется. А ему: «Ну чего вы хотите? Баба есть баба».

Вошла Галя, конфузливо пряча глаза:

— Марья Владимировна...

— Опять что-то забыли?

— Нет, Марья Владимировна, у меня к вам просьба. Можно мне в город съездить, ненадолго?

— Володя?

— Нет, как вы можете даже подумать! Совсем не Володя.

— Ну, а что, если не секрет?

— В ГУМе безразмерные дают.

— Ладно, поезжайте, раз такой случай.

...Сколько я себе помню, всегда в дефиците были какие-нибудь чулки. Когда-то — фильдекосовые, фильдеперсовые. Потом — капрон. Теперь — безразмерные. Во время войны — всякие.

— Марья Владимировна, может быть, и вам взять?

— Ни в коем случае.

— Так я поеду тогда...

— Поезжайте, только сразу.

Эх, некстати! Помощи от нее никакой, но именно сегодня мне хотелось иметь человека на телефоне. Мне надо было подумать. Естественная потребность человека — иногда подумать.

В сущности, я уже давно не занимаюсь научной работой. Когда мне навязывали институт, я так и знала, что с наукой придется покончить, так им и сказала. «Да что вы, Марья Владимировна, мы вам обеспечим все условия,

дадим крепкого заместителя». Вот он, мой крепкий заместитель, надулся теперь — хоть бы ненадолго.

Если считать в абсолютном, астрономическом времени, то я, пожалуй, и не так уж страшно занята, могла бы урвать часок-два для науки. Не выходит. Научная задача требует себе все внимание, а оно у меня разворовано, раздергано на клочки. Вот, например, на выборку: нет фанеры для перегородок. У инженера Скурихина обнаружено две жены. Милиционеры просят сделать доклад о современных проблемах кибернетики. В недельный срок предложено снести гараж, а куда машины дену?

Рваное внимание, рваное время. Может быть, его не так уж мало, но оно не достается мне одним куском. Только настроишься — посетитель. К Лебедеву отсылать бесполезно — все равно отфутболит обратно. Раньше мне казалось: вот-вот дела в институте наладятся, и я получу свой большой кусок времени. Потом стало ясно, что это утопия. Большого куска времени у меня так и не будет.

И, как назло, сегодня передо мной начала маячить моя давнишняя знакомая задача, вековечный друг и враг мой, которая смеется надо мной уже лет восемь.

Начать с того, что она приснилась мне во сне. Конечно, снилась мне ерунда, но, проснувшись и перебирая в уме приснившееся, я как будто надумала какой-то новый путь, не такой идиотский, как все прежние. Надо было попробовать. И поэтому сегодня мне позарез нужен был целый кусок времени. Не тут-то было. Телефон звонил, как припадочный. Я пыталась работать, время от времени поднимая трубку и отвечая на звонки. И как будто что-то начало получаться... Неужели?

В дверь постучали. Просунула голову девушка из экспедиции.

— Марья Владимировна, вы меня извините... Гали нет, а у меня для вас один документ, сказали, что очень срочный.

— Ну, давайте.

Я взяла документ.

«21 мая 1961 года в 22. 00 на улице Горького задержан гражданин Попов Михаил Николаевич в невменяемом состоянии, являющийся, по его заявлению, сотрудником-лаборантом Института счетных машин. Будучи помещен в отделение милиции, гражданин Попов оправлялся на стенку и мимо...»

— Хорошо, я разберусь,— сказала я.

Девушка ушла. Я снова попыталась сосредоточиться.

Забрезжил какой-то просвет. И снова телефон. Черт бы тебя взял, эпилептик проклятый! Я взяла трубку:

— Слушаю.

— Девушка,— сказал самоуверенный голос,— а ну-ка, давайте сюда Лебедева, да поскорее.

— Послушайте, вы,— сказала я,— прежде чем называть кого-нибудь «девушка», узнайте, девушка ли она.

— Чего-чего? — спросил он.

— Ничего,— злорадно ответила я.— С вами говорит директор института профессор Ковалева, и могу вас уверить, что я не девушка.

Голос как-то забулькал. Я положила трубку. Через минуту снова звонок. Звонили долго, требовательно. Я не подходила. Извиниться хочет, нахал. Пусть побеспокоится.

...А все-таки зря я его так. Ни в чем он особенно не виноват. А главное, важно так: «Директор института, профессор Ковалева». Старая дура. Старая тщеславная дура. И когда только станешь умнее? «Остригусь и начну». Остриглась, но не начала.

После этого звонка я присмирела, скромно сидела у телефона, вежливо говорила: «Марьи Владимировны нет. А что ей передать?», записывала сообщения,— словом, была той идеальной секретаршей, какой хотела бы видеть Галю. Кстати, Галя так и не пришла, Лебедев тоже. Хуже было с посетителями. Им-то нельзя было сказать: «Марьи Владимировны нет»,— и у каждого было свое дело, липкое, как изоляционная лента. Время было совсем рваное, но все-таки я работала, писала, вцепившись свободной рукой в волосы, курила, комкала бумагу, зачеркивала, снова писала... Вот уже и звонки прекратились — вечер. Когда я очнулась, было десять часов. У меня получилось.

Я еще раз проверила выкладки. Все так. Боже мой, ради таких минут, может быть, стоит жить...

Я прожила долгую жизнь и могу авторитетно заявить: ничто, ни любовь, ни материнство,— словом, ничто на свете не дает такого счастья, как эти вот минуты.

Со всем тем я опять забыла пообедать.

Я запечатала сейф и спустилась в вестибюль. Все уже давно ушли, и гардеробщица, и сотрудники. Мой плащ, довольно обшарпанный, висел — один как перст. Я остановилась против зеркала. Хороша, нечего сказать. Лицо бледное, старое, под глазами темно. От вчерашней прически, разбросанной ветром, следа не осталось. Здесь, похоже, хозяйничал не ветер, а стадо обезьян.

Я оделась и пошла домой. Быстрый дождик отстукивал чечетку по новеньким листьям. И всегда-то я забрызгиваю чулки сзади.

5

Да, черт меня дернул остричься. Забот прибавилось. Раньше было просто: заколола волосы шпильками — и все. А теперь... В первый же раз, когда я вымыла голову и легла спать, утром оказалось, что у меня не волосы, а куриное перо. Словно подушку распороли.

Я позвонила Виталию.

— Виталий, у меня что-то случилось с головой. Волосы встали дыбом.

— Голову мыли? — строго спросил Виталий.

— Конечно, мыла. А вы думали, что я уже никогда не буду голову мыть?

— Можно мыть и мыть. Волос требует ухода. Можно применять яичный желток...

— Простите, мне некогда слушать, Виталий, у меня сегодня доклад в министерстве, а с такой головой...

— Приезжайте, я вас обслужу.

Так я отыскала Виталия в его старой точке и стала ездить к нему почти каждую неделю. Точка была небольшая, небойкая, без длинных очередей и зеркальных витрин, с двумя просиженными креслами в затрапезном дамском зале.

Рядом с Виталием работал только один мастер — старик Моисей Борисович с дрожащими руками и кивающей головой. Как только он ухитрялся этими своими руками работать? А работал, и превосходно. Правда, холодную завивку он не любил. Его специальностью были щипцы.

— Щипцы — это вещь,— говорил он.— Вы тратите время, но вы имеете эффект.

Ходили к нему «на щипцы» несколько старых дам. Мне они нравились — седые, строгие, несдающиеся. Особенно хороша была одна — с черными ясными глазами, гордым профилем и густыми, тяжелыми голубыми сединами. Когда она их распускала, голубой плащ ложился на спинку кресла. Она сидела прямо-прямо и не отрываясь глядела в зеркало, плотно сжав небольшой бледный рот. Какая, должно быть, была красавица! А Моисей Борисович хлопотал щипцами, вращал их за ручку, приближал к губам, снова вращал и наконец решительно погружал в голубые волосы, выделывая точную, стерильно правильную волну.

И все время кивал головой, словно соглашался, соглашался...

— А вы умеете щипцами? — спросила я как-то Виталия.

— Отчего же? Мы в школе все виды операций проходили: ондюляция, укладка феном, вертикальная завивка... Только для нашего времени это все не соответствует. Наше время требует крупные бигуди, владение бритвой и щеткой, форму головы. Мастер, если он уважает себя, должен знать все особенности головы клиентки. Если у клиентки уплощенная форма головы, мастер должен предложить ей такую прическу, чтобы эта уплощенность скрадывалась. Бывает, что голова у клиентки необыкновенно велика или шея короткая, это все необходимо учесть и ликвидировать с помощью прически. Если бы у меня была жилплощадь, я бы развернул работу по своей специальности, но я лишен всяких условий.

— А где вы живете?

— По необходимости я вынужден снимать угол у одной старушки. Прописан я у сестры, но у нее пьющий и курящий муж и двое детей, комната двенадцать с половиной метров, но проходная, один человек буквально живет на другом, без всякого разделения. Это создает неподходящую, нервную обстановку, поэтому я снял квартиру, хотя бы ценой материальных лишений.

— А с родителями вам жить нельзя?

— С отцом и с мачехой? Нежелательно. Отец зарабатывает меньше, чем пропивает. Живя у них, я вынужден буду не то чтобы пользоваться с их стороны поддержкой, но даже отдавать часть своего заработка отцу на вино, а это меня не удовлетворяет.

6

Как было сказано, мы с Виталием встречались каждую неделю. А работал он медленно, вдумчиво, и мы проводили вместе довольно много времени. Можно, пожалуй, сказать, что мы подружились. Вот его я не чувствовала к себе ортогональным. Нам было о чем поговорить. Время от времени я помогала ему в работе над «планом личного развития» и убедила-таки его отложить изучение Белинского на более поздний срок. Иногда он приносил специальные парикмахерские журналы — на немецком языке, на английском, и я переводила ему текст сплошняком, включая рекламы и брачные объявления, например: «Молодой парикмахер, 26 лет, рост 168 см, вес 60 кг, желает жениться на парик-

махерше, хорошо освоившей химическую завивку, не старше 50 лет, имеющей собственное дело...»

Случалось, что я поправляла ему неправильные ударения; он внимательно слушал, и ни разу я не заметила, чтобы он повторил ошибку. Я научила его говорить «я ем» вместо «я кушаю», «половина первого» вместо «полпервого». Изредка он брал у меня деньги — не помногу, рублей пять, десять — и всегда возвращал точно, день в день.

Часто он расспрашивал меня о моих сыновьях. Видимо, эта мысль его занимала. Нет-нет да и спросит:

— Ваши сыновья учатся?

— Да. Коля уже кончает, Костя на втором курсе.

— На кого они учатся?

— На инженеров. Коля — по автоматике, Костя — по вычислительным машинам.

— Они сами выбрали свою специальность или вы им посоветовали?

— Сами выбрали.

— А испытывали они затруднения при выборе специальности?

— Право, не знаю. Кажется, не испытывали.

— А они хорошо учатся, ваши сыновья?

— По-разному. Старший — ничего, младший — неважно.

— Если бы у меня были такие условия, как у вашего сына, я бы не позволил себе плохо учиться.

— Я думаю, да.

Иногда его интересовали более сложные вопросы:

— Как вы добились, чтобы ваши сыновья не сделались плесенью?

— Как добилась? Я специально этого не добивалась.

— Вы проводили с ними беседы?

— Нет, кажется, не проводила...

Я ходила к Виталию, время шло, и постепенно происходили какие-то перемены.

Во-первых, Виталий сдал на мастера.

Когда я спросила его об экзамене, он ответил:

— Это нельзя даже назвать экзаменом, пустяки. Мои требования к самому себе далеко выходят за пределы этого экзамена.

Во-вторых, появились очереди. Не только перед праздниками, но и в обычные дни. И все только к Виталию.

— Виталий, вы приобретаете популярность.

— Мне эта популярность, если сказать правду, ни к чему. Я заинтересован подобрать себе солидную клиентуру, у которой я мог бы что-либо почерпнуть. Меня, например, рекомендовали одной жене маршала. Другая, врач, приехала из ГДР и привезла бигуди совсем нового типа. А эти, — он презрительно мотнул в сторону очереди, — им что баран, что не баран, все одинаково.

...Удивительно все-таки меняется психология в зависимости от обстоятельств. Это я говорю вот к чему. Когда я сама ждала у дверей зала и жирный мастер в зеленом галстуке принял кого-то без очереди, я орала и волновалась. Теперь я сама проходила к Виталию без очереди, а кто-то сзади орал и волновался и иногда требовал жалобную книгу. Тогда я смотрела на проходящих без очереди снизу вверх, теперь на стоящих в очереди — сверху вниз. Совсем другой ракурс. Вечная история. Держатели привилегий жаждут их сохранить, остальные — уничтожить. Мне было стыдно своих привилегий, и душой я была с теми, кто орал и волновался, тело же мое садилось без очереди в кресло. Что делать? Времени у меня было до ужаса мало.

— У этой дамы сегодня доклад в министерстве, — сказал как-то Виталий одной особенно напористой девушке. У нее были глаза смелые и светлые, как вода.

— Мало ли у кого где может быть доклад. Очередь есть очередь.

Совершенно верно... Душой я была на стороне этой девушки.

— Ну хорошо, я уйду.

Но кругом, как всегда в таких случаях, зашумели протестующие голоса:

— Может быть, у нее и правда доклад...

— Пожилая, видно, интеллигентная...

— Одного человека не подождем, что ли?

Таким образом, на волне народного признания меня вынесло в кресло. Никакого доклада в министерстве у меня в тот день не было. До чего же мне было стыдно!

...А все-таки доклады в министерстве время от времени случались, а иной раз и того хуже — приемы. Тут уж без Виталия было не обойтись. Однажды в день такого приема — черт бы его взял — я пришла прямо в парикмахерскую без звонка. Моисея Борисовича не было, Виталий был один. Он сидел в своем кресле, задумавшись и разложив перед собой свою производственную снасть — разнокали-

берные бигуди, зажимы, жидкости, пряди волос. Он не сразу меня заметил, а когда заметил, отнесся не по обычаю холодно:

— А, Марья Владимировна, это вы... А я тут только что развернул работу, пользуясь тем, что один. Пытаюсь понять особенность одной операции в связи с качеством волоса.

— Телефон был занят... Если вам некогда, я уйду.

— Нет, отчего же? Раз уж пришли, я вас обслужу. Только придется подождать.

Он стал прибирать свое рабочее место, а я села в угол с книгой. Эх, это чтение урывками! Сколько раз я себя уговаривала бросить его. Все равно ничего не воспринимаешь. Просто дурная привычка — как семечки лущить.

А тут еще против меня шебаршил маленький радиоприемничек, от горшка два вершка, и мешал мне читать: передавали скрипичный концерт Чайковского. Вообще я люблю эту вещь, но сейчас шло мое самое нелюбимое место,— когда скрипка без сопровождения давится двойными нотами, безнадежно пытаясь изобразить оркестр. А ну, ну кончай скорей эту музыку, понукала я ее мысленно. Давай-ка, давай полный голос. И она послушалась, дала. Скрипкин голос запел, но рядом с ним неожиданно появился второй. Флейта, что ли? Откуда в концерте Чайковского флейта? Я подняла голову. Это свистал Виталий.

Он убирал со стола — и свистал. Мало того, он еще двигался под музыку. Он сновал между столом и шкафом — узкий, легкий, с мальчишеским выворотом острых локтей — и свистал. Свист осторожно, бережно, тонко поддерживал скрипку, то поддакивал ей: так, так, так; то разубеждал: нет, нет, нет; то отступал, то возникал снова. Я заложила пальцем страницу и слушала, удивляясь, с морозом по коже.

И вдруг щелк — Виталий выключил радио.

— Садитесь в кресло, Марья Владимировна, я готов.

— Виталий, милый, это же замечательно! Кто вас научил так свистать?

— А, свистать? Это я сам. На прошлой квартире, когда у меня были лучшие условия, я всегда включал радио и изучил многие произведения...

— А вы знаете, что вы сейчас свистали?

— Конечно, знаю. Концерт для скрипки с оркестром це-дур, музыка Петра Ильича Чайковского.

— Виталий, послушайте, вы же очень музыкальны, вам имело бы смысл учиться...

— Я об этом думал, но решил, что нет. Для того чтобы приобрести пианино, нужно прежде всего быть обеспеченным площадью.

...Виталий работал, а я сидела и молчала, послушно поднимая и наклоняя голову. Он заговорил сам:

— Музыкой я с самых малых лет интересовался, еще в детском доме. Помню, играл оркестр, я отстал от прогулки, меня хватились, стали искать. Я стоял как прикованный. Другой раз воспитательница принесла духовые инструменты, маленькие, а может быть, и большие, только я помню, что маленькие. Там такие кастаньеты были, тарелки, барабан и еще такие, полукруглые, как они называются?

— Литавры, что ли?

— Да, точно, литавры. Я стал на этих литаврах играть и такой беспорядок спровоцировал, что это ее возмутило. Она очень стала сердиться и наступила на меня, навалилась, потоптала и стала бить. Я этого никогда не забывал, и теперь, когда остаюсь один, прямо плачу, чувствую, как она меня топчет.

— Какой ужас! Что же, вас вообще били там, в детском доме?

— Нет, не били никогда.

— А как вы попали в детский дом? Вы же говорили, у вас есть отец?

— Отец меня воспитать не мог. Моя мать — я ее никогда не знал, даже не видел фото, — она умерла, когда я был совсем в ничтожном возрасте, около двух недель. Я ее не видел, но по слухам восстановил, что она была умная женщина. Отец не мог меня вскармливать, и к тому же у меня были две старшие сестры, он и отдал меня в дом малютки, откуда дальше я попал в детский дом.

— А вы знали, что у вас есть отец?

— Я бы не знал, но тут произошел один случай. К нам в детский дом приезжала делегация. Я им понравился, они снимали меня в самолете, самолет был, как пианино. Потом отвели в спальное помещение и стали снимать спящим. Коробку конфет «Садко» положили под подушку и сказали: «лежи, как спишь, тогда получишь коробку». Я от утомления уснул, проснулся — «Садко» под подушкой нет. Ужасно рыдал. А в то время, когда засыпал, я слышал их разговор. Заведующая детским домом сказала про меня,

что у него есть отец и две сестры. Я это тогда запомнил.

На другой год, где-то около Нового года, потому что елку сооружали, я видел, как одному ребенку мать передала подарок. Я вспомнил, что у меня есть отец и две сестры. Ночью я вышел в зало и стал трясти елку. Не знаю сам, почему я ее стал трясти. Вышли эти самые хозяйки и увидели, что я трясу елку. Какая была тут мера ко мне приложена, не помню сам. Но мне тогда было все равно. Когда мать передала своему сыну подарок, я тут все вспомнил — и как воспитательница меня топтала, и все...

Виталий внезапно прервал работу и отошел к окну. Через минуту он вернулся.

— Извиняюсь, Марья Владимировна. Это со мной иногда бывает. Вспомню что-нибудь из своей жизни и неудержимо плачу.

— Не надо об этом вспоминать, вам же тяжело. Простите, что я вас расспрашивала.

— Нет, мне лучше, когда полная ясность. Можете задавать вопросы.

— А как же вас взяли из детского дома?

— А это уже потом, когда меня Анна Григорьевна хотела взять.

— Какая Анна Григорьевна?

— С завода-шефа. Она часто посещала наш детский дом. Не знаю почему, но я ей понравился, и она решила взять меня к себе вместо сына. Только сначала она об этом никому не объявляла, мне тем более. Меня она просто водила к себе в гости, чтобы испытать. Я никогда карманником не был и у нее в гостях обходился тихо и аккуратно, так что она еще больше ко мне привязалась. А я очень мечтал, чтобы она меня взяла. Только вместо этого она в один день приводит... отца моего, приводит и сестру. И мачеха с ними. Меня ей показывают, а она говорит: пусть живет, говорит, авось не объест. Стал я жить у них и переживать один день другого хуже.

— А откуда же Анна Григорьевна взяла их, вашего отца, сестру?

— Это я уже потом узнал. Она, когда меня хотела взять, пошла к заведующей и говорит: «Отдайте мне этого ребенка, Виталия Плавникова». А заведующая ей и сказала, что у него отец и две сестры. Разыскала она их, думала радость мне сделать. А сама потом на меня уже смотреть не хотела: не достался мне в качестве сына, так и смотреть на него не хочу.

— И больше вы ее так и не видели?

— Нет, больше не видел.

— А дома вам плохо жилось?

— Я не сказал бы, что плохо, удовлетворительно. Но я очень сильно переживал.

— Мачеха вас обижала?

— Нет, на мачеху я жаловаться не могу. Если бы я помнил свою родную мать, конечно, я мог бы жаловаться. А так я мачеху даже мамой называл, хотя и боролся с ее религиозностью. Переживал я оттого, что не мог забыть Анну Григорьевну.

7

Ко мне пришла Галя.

— Марья Владимировна... Вы меня, конечно, извините...

— В чем дело, Галя? Опять за безразмерными?

— Нет, нет, ничего подобного. Марья Владимировна, я хочу к вам обратиться по личному вопросу, но как-то неудобно...

— Ну-ну, говорите.

— Марья Владимировна, я давно хотела спросить: кто вам делает голову?

— Какую голову?

— Я хочу сказать — прическу.

— Ах, вот вы о чем! А я-то сразу не поняла.

— Вы меня, конечно, извините, Марья Владимировна. Но верите или нет, мы тут с девочками на вас смотрим и удивляемся. В вашем возрасте так следить за собой далеко не все следят. Честное слово. Я не для того, чтобы что-нибудь, а от всей души. Хотите, девочек спросите.

— Ладно, ладно. А к чему вы это все ведете?

— Я хочу узнать, Марья Владимировна: кто это вам так стильно делает голову, и, может быть, вы меня устроите к этому мастеру? Очень вас прошу, если, конечно, вам это не обидно.

— Почему обидно? Охотно поговорю с Виталием.

— Вашего мастера зовут Виталий? А он сильно пожилой?

— Ужасно пожилой, вроде вас.

— А что? Я для девушки уже не молодая, двадцать четвертый год.

Галя вздохнула.

— Еще бы,— сказала я.— Старость.

— Нет, вы не скажите, Марья Владимировна, в нынешнее время мужчины девушку считают за молоденькую, только если лет семнадцать-восемнадцать, ну, двадцать, не более. И то если одета со вкусом.

Я окинула Галю пристальным глазом: ужасно она мне нравится. Одета, конечно, со вкусом. И где только они, наши девушки, каким верхним чутьем всему этому выучиваются — непостижимо! Все на ней чистенькое, простенькое, коротенькое, ничего лишнего — ни пуговицы, ни брошки, ни бус. Вся подобранная, вся на цыпочках, на острых, игольчатых каблучках. Такую вещицу мужчине, наверное, хочется взять двумя пальцами за талию и переставить с места на место.

— Вы прекрасно одеты, Галя, и вам никак нельзя дать больше восемнадцати—двадцати.

— Вы шутите, Марья Владимировна?

— Истинная правда.

...И правда, я никак не могу стать на такую точку зрения, с которой есть разница между восемнадцатью и двадцатью тремя...

— Ну, спасибо,— сказала Галя.— Так я вас очень попрошу, Марья Владимировна, скажите вашему Виталию, чтобы он меня причесал. У нас в субботу вечер молодежный. Не забудете?

— Не забуду.

Я не забыла и в следующий раз, сидя перед зеркалом, сказала:

— Виталий, у меня к вам просьба. Есть у меня девушка Галя, моя секретарша. Миленькая девушка, между прочим. Так вот, ей очень хочется, чтобы вы ее причесали. Моя голова ей очень понравилась.

— Какой волос? — сухо спросил Виталий.

— У нее? Ну, как вам сказать... Светло-каштановый, пожалуй. Ближе к блондинке.

— Цвет мне безразличен. Длинный, короткий?

— Скорее длинный.

— Если ей «бабетту» нужно, так я «бабеттой» не занимаюсь. Этот вид прически меня не интересует. Теперь девушки большинство делают «бабетту», и, я скажу, напрасно. Этот обратный начес только видимость создает, что волос пышный, а на деле он только взбитый и посе́ченный. Другая сделает «бабетту» и не расчесывает целых две недели. Волосу это вредно.

— Нет, Виталий, она мне про «бабетту» ничего не

говорила. Сделайте ей что-нибудь красивое по своему вкусу.

— Интересная девушка? — деловито спросил Виталий.

— По-моему, очень.

— Я потому спросил, что я иногда интересных девушек позволяю себе обслуживать без всякой материальной точки зрения. Меня интересует проблема выбора прически в зависимости от размера лба, длины шеи и прочих признаков. Это легче проверять на девушках, чем на солидной клиентуре. У солидной клиентуры уже и волос не тот, и форма лица не так выражена, и к тому же она требует себе определенную прическу, а не ту, которую я как мастер ей предлагаю. С другой стороны, много занимаясь девушками, я рискую не заработать себе на жизнь. Но время от времени я должен проверять на девушках свои теории.

— Ну, так проверьте их на моей Гале.

— Хорошо, я согласен.

— Так я ей скажу, она вам позвонит.

— Лучше я сам ей позвоню. Телефон?

— Мой служебный.

— Отлично. Я ей позвоню.

8

Суббота — короткий день. Как для кого. Для меня этот день оказался длинным. Я даже опоздала на молодежный вечер. Когда я пришла в клуб, уже начались танцы. Я люблю смотреть на ноги танцующих. Они часто говорят больше, чем лица. А обувь? Туфельки, туфельки, туфельки — импортные, остроносые, невесомые, с тонкими, почти фиктивными каблуками. Хвала тем, кто не пошатнувшись ходит на этих прелестных фиктивностях (я не могу). А рядом с туфельками — покровительственно — мужские полуботинки, а то и ременные сандалии, а то и совсем сапоги... И много — ох как много! — девичьих пар: туфельки с туфельками. Танцуют изящно, старательно, независимо, как будто ничего другого им и не нужно. Эх, девушки, бедные вы мои! Давно прошла война, выросло другое поколение, а все вас слишком много...

Среди большинства модных туфелек особенно заметны те, что в меньшинстве, те, что попроще: босоножки, сандалеты, даже тапочки. Пожалуй, даже мило в тапочках, если ноги легкие, прямые... И как-то отдельно заприметилась

мне пара зеленых парусиновых босоножек. Как эта пара хлопотала, как перебирала, как притаптывала! На каждый такт музыки она делала не одно, не два, а штук десять неуловимых движений. Интересно, какая у них хозяйка, у этих босоножек? Я скользнула взглядом вверх по толстеньким икрам и увидела девушку, совсем молоденькую, лет семнадцати, с паклевыми стоячими кудряшками (Виталий сказал бы — баран). Вся она была коротенькая, крепенькая, как репка. Узкое, выше колен, ярко-золотое парчовое платье кругло обтягивало маленький выпуклый зад. Она деловито танцевала за кавалера с тонкой и томной девицей чуть не на голову выше себя. Люблю девушек, которые танцуют за кавалера,— с ними можно дело иметь...

И еще среди множества танцующей обуви привлекли мое внимание огромные желтые полуботинки на чудовищно толстой рифленой подошве. Что-то они мне напоминали, но что? А, понятно. В этих полуботинках танцевал стиляга. Не теперешний стиляга, а старомодный, образца 1956 года. Он словно сошел живой со страниц «Крокодила» — в своем мешковатом клетчатом пиджаке, коротких, дудочками брюках, с огромными ногами на рубчатой подошве, с длинными неопрятными волосами... Старомодный стиляга!

А где же моя Галя? Попробую отыскать ее по ногам. Это оказалось не трудно — я сразу нашла глазами две грациозные ножки в серых туфлях с мечевидными носами. Интересно, как причесал ее Виталий? Я подняла взгляд на ее лицо и сразу поняла, что Галя — красавица. Не просто хорошенькая девушка, а именно красавица. Или это из-за прически? Тяжелые, густые, как льющийся мед, темно-золотые волосы текли вокруг головы — иначе не скажешь. Она танцевала с каким-то парнем, зачарованно глядя ему в лицо, и эмалевые глаза плавились. Кто же этот парень? Володя, что ли? Ох, да это Виталий!

Как же я его не узнала? В черном костюме он был какой-то необычный, я бы сказала — не такой узкий, даже представительный. Глядя суровыми глазами поверх великолепной медовой прически, равнодушный к своим ногам, он еле заметно, ритмично переступал ими, чуть подрагивая коленями. Это, видно, модная манера танцевать: не двигаясь с места.

Чудеса! Галя — и Виталий...

Радиола, захлебнувшись, умолкла. Пары пошли враз-

брод, волоча обрывки серпантинных лент. Но тут музыка снова заиграла: вальс.

Вот бессмертный танец! Сколько на моем веку состарилось и умерло танцев, а он все тот же, самый любимый. Замелькали вертящиеся пары. Рядом со мной откуда-то взялся Лебедев.

— Марья Владимировна, один тур!

— Бог с вами, Вячеслав Николаевич! Я давно уже не танцую.

— Не танцуете, а сразу видно, что хочется.

— Откуда это видно?

— А вы всем существом своим отбиваете такт: раз-два-три, раз-два-три... Разрешите?

Я отстранилась:

— Право, не стоит. В другой раз, в другой обстановке...

— Эх, вы, трусиха!

Он подхватил какую-то девочку и закружил ее. Ловко танцует старик. И завидно, и грустно.

...Вот так и стой и смотри, как кружится-кружится мимо тебя вальс...

9

Музыка замолчала, вальс кончился. Принесли микрофон. На середину зала вышла культурница Зина, спортивного вида девушка с тонкими, до плеч голыми, загорелыми руками, и сказала в микрофон:

— Добрый вечер, товарищи!

— Добрый вечер, добрый вечер,— загудело в ответ.

— Начинаем второе отделение нашего затейно-массового молодежного вечера. В программе — вечер смеха, массовые игры.

— Ну вот, опять массовые игры,— досадливо протянул девичий голос.

— Не мешайте, товарищи. Товарищи, освободите пространство для массовых игр. Будьте дисциплинированны, товарищи.

Люди сдвинулись к самым стенкам. Меня сначала притиснули, потом узнали:

— Марья Владимировна, да вы вперед проходите.

— В первый ряд, Марья Владимировна!

— Не нужно,— отбивалась я,— мне и здесь хорошо.

— Да вы отсюда ничего не увидите.

— Увижу, право, увижу.

Вытолкали меня таки в первый ряд, черти.

Зина хлопотала в центре свободной площади. Принесли мешок. Из мешка она стала вынимать одного за другим резиновых надувных зайцев, уже надутых. Каждый заяц с кошку величиной. Она чинно, серьезно усаживала их бок о бок на полу. Я автоматически считала зайцев — пятнадцать штук. Народ молчал.

Вот кончились зайцы, и из мешка появились ружья — одно, два, три, четыре игрушечных ружья и еще какие-то загадочные предметы из картона — маски, должно быть, что-то розовое.

— Внимание, товарищи. Объясняю игру. В массовой игре принимают участие две пары — две девушки и два молодых человека.

Кругом засмеялись.

— Дисциплинированнее, товарищи. Смеяться будете потом. Игра называется «Охота на зайцев». Кто желает принять участие в игре?

Толпа жалась. Никто не выходил.

— Ну, выходите, товарищи, быстренько, проявляйте активность.

— Эх, была не была! — крикнула одна девушка и выскочила на середину. Это оказалась та самая, в золотом платье. Молодец, репка!

Лиха беда начало. За репкой вышла еще девушка — эту я знала, лаборантка Тоня,— и еще два мальчика, оба из нашего института, один покороче, румянец пятнышками, а другой длинный-длинный, с распадающимися волосами, в джинсах. Как будто бы Саша Лукьянов, но я не была уверена. Если Саша Лукьянов, то я ему уже два выговора подписала. У этого парня ноги были слишком длинны, и он все переминался, сгибал то одну, то другую.

— Еще раз внимание, товарищи. Объясняю игру «Охота на зайцев». В игре участвует четыре человека. Каждый из них должен надеть свое ружье на плечо.

Посмеиваясь и стесняясь, ребята пролезли в ременные петли детских ружей.

— Так. Объясняю дальше. Каждый из вас четырех получит свой угол. Расстанавливаю участников по углам. В центре зала сидят зайцы. Видите зайцев?

— Чего же не видеть, не слепые,— сказал короткий.

Кругом стояло погребальное молчание. Зайцы сидели шеренгой, очень унылые, свесив мягкие холодные уши. Один все норовил свалиться на бок. Зина его поправляла.

— Каждый из вас должен настрелять как только можно

больше зайцев и снести их в свой угол, понятно? Вы снимаете с плеча ружье, прицеливаетесь в зайца и производите выстрел. Настоящего выстрела, конечно, не происходит, так как ружья детские и ничем не заряжены в целях безопасности игры. Убив зайца, вы несете его в свой угол, понятно?

— Понятно,— грустно сказал длинный, согнув на этот раз правую ногу.

— Теперь я вам одену маски. Чтобы вы не могли ничего видеть, глазные отверстия масок заклеены. Понятно?

— Чего тут не понять, школу кончили,— сказала репка.

— Внимание. Одеваю маски.

Длинному досталась унылая маска пьяницы с торчащими ушами и висячим лиловым носом. Короткому — что-то желтое, плоское, принюхивающееся. Уродливую старческую харю в платке нацепили Тоне. Но страшнее всего оказалась женская маска, которая досталась веселой золотой репке. Раздутая, синевато-розовая бабья голова, почти без глаз, с одним ухом, с паралитически раскрытым, скошенным набок ртом. Клиническая маска идиотки. Все четверо замаскированных с ружьями на плечах стояли среди зала, словно выходцы из кошмарного сна алкоголика.

— Внимание, приготовились. По моему сигналу играющие начинают игру по охоте на зайцев. Внимание, начали!

Зина свистнула в свой свисток, не то спортивный, не то милицейский. Первой тронулась с места девушка — золотая репка — с розовым ужасом вместо головы. Она сняла ружье, старательно прицелилась, «выстрелила» в невидимых зайцев и, твердо ступая, отправилась за добычей. Должно быть, и в самом деле трудно сохранить направление, ничего не видя. Она взяла правее, чем нужно, прошла мимо зайцев, присела на корточки и стала шарить по пустому полу, бессмысленно поводя идиотической головой. В зале раздались отдельные смешки.

«Какой ужас,— думала я.— Что это такое?..»

Теперь схватил ружье долговязый в джинсах — Саша Лукьянов или не Саша Лукьянов? — тот, с головой пьяницы. Он, видно, стремился внести в номер что-то свое: выстрелил, сказал «пиф-паф» и направился к зайцам гусиным шагом, высоко вскидывая ноги. Этот оценил расстояние довольно удачно. Сначала он наступил на зай-

цев, разбил шеренгу, потом сориентировался, сел на пол, нашарил двух и, держа их за уши, понес в чужой угол.

— Не сюда, не сюда! — кричали ему.

Многие уже хохотали, раздалось два-три свистка. Зина попыталась вмешаться и что-то сорганизовать, но ее уже никто не слушал. Остальные маски тоже включились в игру... Через несколько минут в зале творилось что-то невообразимое. Все четверо в масках, забывая стрелять, слепо и тупо валандались по свободному пространству, спотыкаясь, сталкиваясь, ощупывая друг друга, беспорядочно хватая и перетаскивая с места на место злополучных зайцев. Кругом хохотали. Никто ничего не понимал, но смеялись все громче; я не понимала: чему тут можно смеяться, это же страшно! — и вдруг почувствовала, что не могу больше, что хохочу вместе с другими...

— Ну, это черт знает что такое,— сказал рядом со мной чернявый плечистый парень, сунул два пальца в рот и закатился молодецким посвистом — сущий Соловей Разбойник. Два-три заливистых свистка в разных концах зала ему ответили.

— Товарищи, вас просят соблюдать дисциплину! — надрывалась в микрофон культурница.

...Меня кто-то схватил за ногу. Я посмотрела вниз и увидела страшную, скособоченную морду идиотки. В охоте за зайцами девушка совсем потеряла направление и шарила по ногам зрителей.

— Сейчас же снимите маску,— резко сказала я.

Она выпрямилась и отвела маску вбок. На меня глядело милое, румяное, вспотевшее личико.

— Девочка,— сказала я ей,— не надо вам этого, не надо.

Она заплакала.

Господи, еще этого не хватало...

Я подошла к Зине:

— Немедленно прекратите это безобразное зрелище.

— Что случилось? — спросила Зина, но тут же узнала меня, взяла свисток и длинно, пронзительно засвистела: — Внимание, товарищи! Игра «Охота на зайцев» окончена. Первый приз — собрание открыток города Москвы — получает... Как вас зовут, товарищ?

Но «товарищ», высокий парень с распадающимися волосами, уже сорвал с себя маску и хорошим футбольным ударом запустил ее в конец зала. Двое других тоже скинули маски, подбросили их, и вот они запорхали, заплясали над

головами. «Эх, эх!» — кричали, бросали, хохотали в толпе. Маске пьяницы надорвали нос, и он понуро болтался, словно сетовал.

Зина подошла ко мне, ломая руки:

— Что же мне делать? Массовый вечер срывается...

— А разве у вас еще не все?

— Нет. По плану мы должны еще разбивать горшок...

— Пустите меня к микрофону,— сказала я.

— Пожалуйста...

Что я им скажу? Не знаю. Но что-то надо сказать, непременно. Когда я подошла к микрофону, зал притих. Я сама не узнала свой голос. А слова!

— Дорогие мои ребята,— сказала я,— дорогие мои мальчики и девочки. Мои хорошие мальчики и девочки. Вы меня простите, что я так к вам обращаюсь. У меня два сына в таком же возрасте. Старшему двадцать два, младшему двадцать...

...Что я несу? Но остановиться уже нельзя. Множество глаз смотрит на меня, и стало совсем тихо.

— Дорогие мои,— говорю я,— вы сейчас смеялись. Вы смеялись невольно, не могли не смеяться, это я по себе знаю, я тоже смеялась вместе с вами. Но разве это настоящее веселье? Бывает, например, веселье от водки. Такое веселье мой сын называет «химическим». То, что у вас было сейчас, это тоже химическое веселье...

— Правильно, правильно! — закричали отдельные голоса. Кто-то свистнул, другие зашикали.

— Я не умею по-хорошему вам объяснить, в чем тут дело, но чувствую, что это веселье — плохое. Как бы это выразить? Ну вот иногда мальчишки кидают камнями в собаку и тоже при этом смеются... Разве им весело?

Теперь заплакала Зина.

Я собрала свое мужество и сказала:

— Только вы не подумайте обвинять Зину. Она не виновата, виновата одна я. Простите меня. Мы еще подумаем. Мы еще придумаем с вами настоящее, умное веселье. А пока мы его не придумали — давайте танцевать. Пожалуйста, вальс!

И сразу же, как по волшебству, радиола заиграла вальс. Я стояла вся в поту. Нечего сказать, выступила...

Ко мне подскочил тот самый, высокий, в джинсах:

— Марья Владимировна! Позвольте...

Я кивнула и подала ему руку. Все равно терять нечего

после такого позора. Он повел меня, сильно поворачивая, и вот платья, пиджаки, рубашки, лица слились, вращаясь, в один туманный круг, в котором изредка ярким бликом вспыхивал, поворачиваясь, кругленький золотой зад...

— Вы Саша Лукьянов? — спросила я своего партнера.

— Это точно,— ответил он.

Больше мы не говорили. Вальс кончился. Меня обступили ребята.

— Марья Владимировна, следующий танец со мной...

— Нет, со мной, я первый подошел...

— Хорошенького понемножку,— сказала я и вышла в фойе.

Мне было нехорошо. Сердце, должно быть. Вот живет человек и не знает, что есть у него такой мешок внутри, приходит день, и он узнаёт, что есть у него такой мешок. Ничего не поделаешь...

— Марья Владимировна, что с вами? Вы так побледнели...

А, это Галя, и Виталий с ней.

— Галочка, воды мне, если можно.

Галя принесла стакан воды. Она и сама-то побледнела. Неужели я что-то для нее значу? Вот бы не подумала.

Я выпила воды и сказала:

— Ничего. Просто голова закружилась. Много лет не танцевала. Сейчас пройдет.

10

В сущности, я глупа. Мне самой это совершенно ясно, но другие почему-то не верят, даже самые близкие друзья. Считают, что я кривляюсь.

Вот, например, с этим вечером. Глупее моего поведения трудно было выдумать. Наверно, каждому человеку знакомо острое чувство стыда, когда он, оставшись один, стонет и потряхивает головой при постыдном воспоминании. Так я стонала и потряхивала головой, вспоминая свое выступление на вечере. Возможно, еще придется держать ответ в какой-нибудь инстанции за «срыв мероприятия». Это, впрочем, меньше всего меня пугало.

Когда на следующей неделе я пришла к Виталию, он встретил меня сухо и молчаливо.

— Ну как вам понравился наш вечер? — спросила я, чтобы разбить молчание.

— Вечер, конечно, ничего, нормальный. Я вообще против таких вечеров. Я хожу на них только потому, что хочу изучить разные слои. Но в данных слоях я ничего интересного для себя не нашел. Пусть я не кончил десятилетку, а из них многие имеют даже институт, но я ничего в них передового по сравнению со мной не вижу...

Когда чего-нибудь стыдишься, так и тянет ковырять это место. Я спросила:

— А что вы думаете о моем выступлении?

— Вы на меня, конечно, не обижайтесь, Марья Владимировна, но ваше выступление было слишком простое, без формулировок, и оно меня не удовлетворило. От вас, как руководителя учреждения, можно было ждать более глубокого анализа.

— Неужели же вам понравились эти зайцы?

— Зайцы! — Он презрительно махнул рукой.— Кто говорит о зайцах? Глупая игра, не дающая ни уму, ни сердцу.

— Ну, так что же, по-вашему, я должна была сказать?

— Я не могу вам указывать, я для этого не имею достаточного образования. Но я хотел бы более определенных формулировок. И потом танцевать вальс с парнем, который, извиняюсь за выражение, не постеснялся прийти на вечер в джинсах,— это, по-моему, не соответствует вашей солидности...

Так... Осудил.

Все это, конечно, понемногу сгладилось. Я даже просила извинения у Зины и предложила ей помощь в организации второго молодежного вечера. Мы даже провели его, этот вечер... Очень помогли сами ребята, особенно Саша Лукьянов. Это оказался удивительный парень, парень с замочком! Как растения выдыхают кислород, так он выдыхал смешное. Достаточно было увидеть, как он обширной ладонью, словно лопатой, отгребал назад плоские волосы и потом грозил им пальцем — лежите, мол, смирно,— чтобы понять, что это талант первоклассный.

Есть разные сорта юмора. Тот сорт, что у Саши Лукьянова,— самый загадочный. Ну что, собственно, он сказал? Повтори — не смешно. А все надрываются, плачут от смеха. Согнет ногу — умрешь.

Мы с Сашей Лукьяновым, электризуя друг друга, тратили на подготовку к вечеру целые вечера. Мы безу-

держно изобретали. Чтобы вместить все наши выдумки, вечер должен был бы продолжаться сутки. Приходилось самоограничиваться. Вечер мы назвали «тематический-кибернетический», для оформления привлекли механиков, инженеров... Все на полупроводниках. Гостей встречал специально изготовленный робот-хозяин, который сверкал глазами, кланялся и выкрикивал слова приветствия... Разыгрывалась кибернетическая лотерея... Передавались поздравительные телеграммы в двоичном коде, которые надо было расшифровывать... Правда, не обошлось без неполадок: робот-хозяин скоро испортился, один глаз у него потух, и он стал говорить без передышки «...аствуйте, аствуйте, аствуйте...» Но Саша Лукьянов стукнул его молотком по голове, и он замолчал...

В общем вечер прошел и даже имел успех, но успех довольно средний, непропорциональный затраченным усилиям. Я сама чувствовала, что это не совсем то... На другой день я вызвала секретаря комсомольской организации Сережу Шевцова. Парень медлительный, но солидный, а главное — не врет.

— Ну как ребята, довольны вечером?

— Ничего,— сказал он без энтузиазма.

— Ну, а что они говорят?

— Разные есть мнения. Одни довольны, а другие говорят — раньше лучше было.

— Как, эти зайцы?

— Нет, какие там зайцы.— Он махнул рукой вроде Виталия.— Зайцами у нас никто не увлекается. Хохочут так, от нечего делать. Нет, они говорят, что раньше оставалось больше времени на танцы...

— Хорошо, Сережа, мы это учтем.

Да, думала я, оставшись одна, нет ничего таинственнее смеха. Нет ничего неуловимее. В чем тут секрет? Для одного смешно, для другого — глупо. Для одного смешно, для другого — страшно. Для одного смешно, для другого — скучно... Может быть, надо было просто выпустить на эстраду Сашу Лукьянова и заставить его согнуть ногу...

Так, не совсем бесславно, но и не триумфально, кончилась моя работа в качестве внештатного затейника.

11

И еще одно последствие было у первого, неудачного вечера. Галя и Виталий стали встречаться. Мне это было нетрудно обнаружить. Часто, снимая телефонную трубку,

я слышала по параллельному проводу резкий, высокий голос Виталия и голубиное воркование Гали. А что? Для нее это неплохо. Виталий мальчик серьезный. И Галя казалась счастливой. Каждые три-четыре дня она являлась с новой прической, на зависть всем институтским девочкам. То это была диковинная башня, делавшая ее лицо надменным и прозрачным. То под девятнадцатый век — гладко, до глянца затянутые назад волосы и пышный, богатый узел на шее. А иногда — девические пряди, нежно рассыпанные по плечам, и косая челка над голубыми глазами... И каждый раз у нее было новое лицо, и с каждым разом она казалась счастливее...

Только это длилось недолго. Постепенно стали увеличиваться интервалы между прическами: неделя, две недели... И вот однажды я пришла на работу — Галя плакала.

— Галя, милая, что с вами такое?

Она плакала по-детски самозабвенно, глубоко шмыгая носом.

— Галя, что случилось?

Она потрясла головой.

— Ну, скажите же мне, маленькая, в чем дело. С Виталием что-нибудь?

Она снова потрясла головой отрицательно, но было ясно, что да.

— Ну, сядьте как следует, вытрите нос, поговорим.

Еле-еле удалось от нее добиться толку.

— Он меня не любит.

— Ну зачем же так думать? Ведь было у вас все хорошо...

— Нет, не говорите, Марья Владимировна, я знаю: не любит.

— А вы его?

— А я его люблю. Раньше я не думала, что способна на такое серьезное чувство. А теперь полюбила... Надо же...

Снова потоки слез.

— Марья Владимировна, моя жизнь тоже не очень счастливая. Вы не смотрите, что я на мордочку ничего, меня ни один мужчина не любит.

— А Володя? — не удержалась, спросила я.

— Ну что Володя? Володя женатик. Он только со мной встречался, пока жена в положении была...

Что ей сказать? Вот и жалко мне ее от души, а чувствую: нет у меня для нее нужных слов. Ортогональность проклятая.

Я погладила Галю по голове.

— Ну, успокойтесь, девочка, может быть, все не так уж плохо. Хотите, я с ним поговорю?

— Ой, поговорите, Марья Владимировна! Он вас послушает, я знаю. Он вас сильно уважает. Хотите — верьте, хотите — нет, мы когда с ним встречаемся, он только о вас и говорит.

Лестно, но нелепо.

12

— Виталий,— сказала я,— знаете, у меня с вами будет один серьезный разговор.

Он нахмурился.

— Это об Гале?

— Совершенно верно.

— Этот разговор я давно предчувствовал. Но, в конце концов, здесь вины моей никакой нет. Я интересовался Галей как подходящим материалом для прически, у нее живой волос, упругий и хорошо принимает форму под любым инструментом. Я пробовал на ней различные типы бигуди. А теперь я ее голову исчерпáл, мне это уже неинтересно, я должен развиваться дальше, не могу же я всегда работать над одним типом волоса.

— Как вы не понимаете, что здесь дело не в волосе?

— С другой стороны, вы сами можете понять, что я еще не готов, чтобы расписаться,— ни по возрасту, ни экономически. Мне еще нужно сдавать за десятилетку, не говоря уже об институте, а площадью я не обеспечен. Если бы у нее была площадь, я мог бы этим заинтересоваться, а то у нее одна комната, и там же мать и сестра.

— Виталий, как вы можете? Это ужасно, что вы говорите. Ставить такой вопрос в зависимость от площади... Как это цинично, неужели вы не понимаете?

Он поглядел на меня с таким искренним недоумением, что мне стало совестно.

— Для меня вопрос площади имеет огромное значение. Если я когда-либо женюсь, то только так, чтобы у меня и моей жены были приличные квартирные условия. Куда я ее приведу? В свой угол? Это несолидно. К тому же я имею к моей жене главное требование: чтобы она не мешала мне двигаться, а, наоборот, помогала. Я, например, много времени трачу на приготовление пищи: завтрак, обед и ужин, это все вычитывается из моего личного времени.

Вполне может случиться, что я женюсь, а она меня будет тянуть в своем развитии.

— Ох, Виталий! Что вы только говорите! Разве это важно?

— А что важно?

— Важно одно: любите вы ее или нет.

Виталий задумался.

— Возможно, что и люблю. Я ведь еще молод и сам не знаю, люблю ее или нет.

Он занялся моей головой и замолчал. Я тоже молчала.

— Марья Владимировна, я хочу задать вам один вопрос. Можно?

— Разумеется.

— Марья Владимировна, я вас очень высоко ставлю по развитию, совершенно серьезно, и даже уважаю больше, чем родную мачеху... У вас, конечно, большой опыт. Я вас хотел спросить: по какому это признаку можно узнать, любишь человека или нет?

Вот так вопрос! Придется отвечать. Я подумала.

— Вы мне задали трудный вопрос, но я постараюсь на него ответить. По-моему, главный признак — это постоянное ощущение присутствия. Ее нет с вами, а все-таки она тут. Приходите вечером домой, открываете дверь, комната пустая, — а она тут. Просыпаетесь утром — она тут. Приходите на работу — она тут. Открываете шкаф, берете инструменты — она тут.

— Это я понимаю, — сказал Виталий.

— Ну вот и хорошо.

Снова помолчали, на этот раз подольше, и наконец он заговорил:

— Марья Владимировна, вы мне очень понятно рассказали признаки, и теперь я вполне уяснил, что в таком понимании я Галю не люблю.

— Ну как, поговорили? — встретила меня Галя.

— Поговорила.

Тут бы Гале спросить: «Ну и как?» Но она спрашивать не стала, и так все поняла. Чуткая девочка моя Галя!

Эх, горе женское! И всегда-то одинаковое, и ничем ему не помочь...

13

В середине зимы заболел и умер Моисей Борисович, и кресло рядом с Виталием опустело. Жалко, хороший был старик... Некоторое время продолжали еще его спрашивать по телефону,— наверное, те красивые старухи с голубыми волосами,— а потом и эта ниточка оборвалась, и о старом мастере все забыли.

А к весне над соседним креслом появилась новая фигура — женщина-мастер по имени Люба. Крупная, тяжелая, как битюг, с вытравленными перекисью нахальными волосами. Она сразу невзлюбила Виталия. Еще бы! Никто не хотел к ней, все к нему. Когда Виталий работал, она с показным равнодушием обтачивала пилкой свои ярко-лиловые ногти и пела: «Тирли-тирли». Иногда подходила к ожидающим и как бы невзначай бросала:

— Обслужимся, девочки? Э?

— Нет, мы уж подождем.

Ей доставались большей частью «перворазницы» — деревенские женщины с белыми морщинами на коричневых лицах, которые застенчиво вынимали из волос цветной пластмассовый гребень и спрашивали: «А на шесть месяцев у вас делают?..» Люба обслуживала их брезгливо, червяком поджав ядовито-красные губы.

Меня она тоже невзлюбила. Я, например, всегда с ней здоровалась, а она не отвечала. Как-то раз я задержалась, переводя Виталию английский журнал, и слышала, как она сказала кассирше:

— У самой дети взрослые, скоро внуки, а она — с мальчишкой. И думает, что интересная: фы-фы, а никакой интересности нет, одна полнота.

А Виталий начинал нервничать, все чаще обходился невежливо с осаждавшими его дамами, говорил: «Я один, вас много...»

И вот однажды, придя в парикмахерскую, я застала его плачущим. Если можно плакать сухо, то он именно это и делал. Он судорожно прибирал у себя на столе и плакал беззвучно и зло, хлопая ресницами. Эх, дети... тогда одна, теперь другой. Я подошла.

— Марья Владимировна, вы меня извините, я вас не могу обслужить.

— Что случилось, Виталий?

— Ничего особенного не случилось, только я должен сейчас уйти домой.

— Ну что же все-таки с вами? Не отпущу вас, пока не скажете.

— Я должен был это предвидеть.

— Что предвидеть? Ну-ка, сядьте, Виталий, и расскажите мне все как есть.

Он сел.

— Марья Владимировна, я так и знал, что они не дадут мне спокойно работать.

— Кто «они»? Люба?

— Да и Люба, и другие нашлись, солидарные с ней, мастера из мужского зала, и кассирша Алевтина Петровна. Я им давно раздражаю нервную систему своей работой. Ко мне клиентура ходит, я позволяю себе тратить много времени на операцию, план страдает, меня опять-таки к телефону нужно звать — все это озлобляет их против меня. Кроме того, имеется много желающих. Я просто не способен обслуживать всех желающих, мне это не интересно даже экономически. Зачем это я буду причесывать каждую клиентку — она приходит в год два раза: на май и на ноябрьскую, от силы на Новый год. Выбирая себе клиентуру, я всегда смотрю, могу ли я в данном случае почерпнуть для своего развития, а не то чтобы обслуживать сплошь и каждую. Они обижаются, пишут в жалобную книгу. На меня уже скопилось несколько жалоб, но мне это безразлично, поскольку меня интересует работа и только работа.

— Ну, а что же вас сегодня так расстроило?

— Произошел такой случай: они выкрали у меня из кармана записную книжку, где записаны адреса и телефоны клиенток, и эту книжку передали в профсоюзную организацию для разбора дела.

— Какого дела? Разве вам нельзя записывать любые адреса, какие вам вздумается?

— Конечно, формально можно, но фактически эти женские адреса показывают, что я имею свою клиентуру, а это строго запрещено. Я должен работать всех одинаково и давать план. Я себя до этого не допускаю, так как, давая план, я невольно буду скатываться в сторону халтурной работы. Сейчас, например, модная линия требует челочки. Эту челочку надо продумать, у меня на одну эту челочку больше уйдет, чем на целый перманент. В существующие нормы это не укладывается. Вот они, опираясь на все эти факты — записная книжка, жалобы, невыполнение плана,— собираются раздуть против меня целое дело.

— Подумаем, Виталий, нельзя ли вам как-нибудь помочь?

— Я уже думал, и помочь мне трудно. Дело в том, что у нас довольно бездарная директриса — грубости, оскорбления мастеров, буквально мат. К тому же Матюнин против меня.

— Кто это еще Матюнин?

— Это заведующий сектором парикмахерских нашего управления культурно-бытового обслуживания.

— А за что же он против вас?

— За мои выступления. Тут меня выдвинули секретарем комсомольской организации по району. Я не отказался, несмотря на отсутствие времени. Я должен выдвигаться в своем развитии, получать авторитет. Авторитет у меня не такой уж маленький, но и не очень большой, средний. Так вот, на комсомольском собрании я выступил и стал заострять вопрос. Говорю, говорю, заостряю...

— Какой же вы вопрос заостряли?

— Насчет амортизации инструмента. Говорю: «Когда будет возбужден вопрос о безобразиях выплаты компенсации за амортизацию инструмента?» Так и сказал и этим очень выиграл в своем авторитете. Матюнину это, конечно, не понравилось, он сам заинтересован в том, чтобы амортизацию не выплачивать.

— Почему заинтересован?

— Он имеет от этой недоплаты прямую выгоду.

— Крадет, что ли?

— Не так чтобы буквально крадет, но пользуется.

— Неужели с этим нельзя ничего сделать?

— Очень трудно. Эти предприятия культурно-бытового обслуживания, грубо говоря, тащатся за хвостом у государства. А они, Матюнин и такие же как он, пользуются тем, что до сих пор государству в своем движении некогда было навести в этом деле законность. Взять, скажем, расход материалов. Существует определенная норма на операцию. Тут недодал, тут заменил, а некоторые ухитряются пускать в ход вторично, и это все деньги. А еще я позволил себе заострить вопрос о культуре обслуживания. Лучше плохо обслужиться у культурного мастера с хорошей внешностью, чем то же плохое обслуживание иметь плюс хамство. Это возбудило против меня тех мастеров, которые еще не овладели культурой обслуживания...

— Послушайте, Виталий,— сказала я,— а что, если я ему позвоню?

— Кому?

— Да Матюнину, будь он проклят.

— Я был бы вам очень благодарен.

— Ну, так давайте телефон.

Я набрала номер. Мне ответил жирный, чувственный бас:

— Матюнин у аппарата.

— Товарищ Матюнин? С вами говорит директор Института информационных машин, профессор Ковалева.

— Очень приятно,— сказал бас.

— Товарищ Матюнин, тут в одной из ваших парикмахерских работает молодой мастер Виталий Плавников.

Матюнин молчал.

— Вы меня слышите?

— Слышу,— ответил он суховато.

— Так вот, я уже второй год у него причесываюсь и должна сказать, что это выдающийся мастер, настоящий художник...

— У нас все мастера хорошие,— сказал Матюнин железным голосом.

— Но этот мастер... Вы же знаете, что у него отбоя нет от клиенток...

— Не нахожу в этом мастере ничего особенного. В нашей системе все мастера квалифицированные, сдают техминимум, умеют выполнять модельные прически и все виды операций. А на этого Плавникова постоянно поступают жалобы: грубость с клиентами, невыполнение плана...

— Нельзя же строго требовать выполнения плана, когда речь идет о художественной работе.

— По-вашему нельзя, а у нас вся работа художественная. Что же, нам всем план не выполнять?

— Все-таки я бы вас очень просила учесть мой отзыв о его работе. Наверное, вы не от меня одной это слышите.

— Виноват, я больше слышу жалобы. Кроме того, откуда я могу знать, кто это со мной разговаривает?

Я бросила трубку.

— Я так и знал,— сказал Виталий.— Он еще и потому против меня имеет, что я не вношу ему денег. Делаю вид, что мне это неизвестно.

— Что неизвестно?

— Существует такое неявное правило,— конечно, нигде оно не приводится,— что каждый мастер, желающий спокойной работы, должен вносить ему деньги, не очень большие, но порядочные, три-четыре рубля в месяц.

— Господи, что вы говорите, Виталий? Может ли это быть?

— А отчего же? В нашем запущенном участке такие явления среди администрации случаются. Зарплата небольшая, чаевых нет, они и стараются улучшить свое положение. Зачем бы, например, он с высшим образованием сидел на такой должности?

— А у него, мерзавца, высшее образование? Какое же?

— Юрист. Мне, между прочим, нравится такое образование, если, конечно, употреблять его по прямому назначению. Я бы охотно поступил на юридический...

— Ну ладно, об этом речь еще впереди. Сейчас хорошо бы его изобличить.

— Матюнина? Чересчур хитер. А где свидетели? К тому же, пока я состою в этой системе, такое прямое выступление может принести вред моей работе, сделать ее прямотаки невозможной.

И вдруг неожиданно он сказал:

— А я, Марья Владимировна, хочу уходить.

— Из этой точки?

— Из дамских мастеров.

— Да что вы, одумайтесь: у вас готовая специальность в руках, а самое главное — вы любите эту работу и у вас талант.

— Такой талант слишком неподходящий для нашего времени. И еще я вам скажу, Марья Владимировна, я на свой заработок по количеству не обижаюсь, но мне не нравится его качество. Мне приходится зависеть от доброго желания клиентов, которых я даже не всегда уважаю.

— Понятно. Но только вы не торопитесь. Хотите, я поговорю о вас на киностудии? Может быть, они вас возьмут?

— Я уже узнавал. На киностудии требуют специальное образование, художественный техникум, там не важно качество работы, а одна бумажка.

— А мы посмотрим, может быть, и выйдет. Только не торопитесь, ладно? Ну, до свиданья, Виталий, не расстраивайтесь.

Виталий встал.

— Я уже настроился обратно. Я вас обслужу.

А с киностудией оказалось все не так просто, как я по наивности предполагала. Во-первых, не было вакансии. Кроме того, действительно требовалась бумажка. Но мне обе-

щали подумать. Уж очень я просила за Виталия. Скрепя сердце я даже выдала его за своего двоюродного племянника (не знаю, есть ли такое родство?).

— Только по вашей просьбе, и то вряд ли, — сказал мне администратор.

14

Дома шел очередной спектакль с мальчиками. Мне никогда не удается их убедить, что я сержусь на них совершенно серьезно. Из всего они делают балаган.

— Паяцы, — сказала я.

— Ты разве человек? Нет, ты паяц! — заорал Коля омерзительным голосом.

— Что ты орешь, дурак?

— Опера «Паяцы», музыка Леонкавалло.

Ох, как мне иногда хочется дать ему в ухо — почему-то именно ему, а не Косте.

— Юность, — подал голос Костя, — ты понимаешь, мать, юность требует особого внимания, чуткости, так сказать...

Зазвонил телефон. Подошел Коля.

— Владычица, тебя. Кто бы он ни был, молюсь богу за его душу!

Я взяла трубку:

— Слушаю.

Я не сразу узнала голос Виталия. Он весь звенел изнутри.

— Марья Владимировна! — закричал он. — Марья Владимировна, можете меня поздравить! Я больше не дамский мастер! Я покончил с этой специальностью!!

— Что вы? Так скоро? Я же просила вас не торопиться... Мне кое-что обещали...

— Не нужно ничего, Марья Владимировна. Я хочу быть обязанным только себе.

— Вы что, ушли с работы? Куда же?

— На завод, учеником слесаря. Я очень доволен, очень!

— Как же так? Отчего так внезапно?

— Я внезапно не поступаю. План продуман во всех деталях. Буду работать в коллективе, сдам за десятилетку, потом за институт. Но вас, Марья Владимировна, как исключение, я всегда буду обслуживать. Я согласен ездить к вам на дом, хотя бы это было и трудно по времени.

— Спасибо, Виталий. Большое спасибо. Желаю вам успеха, понимаете? Если нужна будет какая-нибудь помощь...

— Я понимаю. Я вам позвоню.

— Звоните. Всего вам хорошего. Спасибо, спасибо...

Я положила трубку и стояла, разглядывая свои ладони.

Эх, чего-то я тут недосмотрела...

— Что случилось? Хорошее или плохое? — спросил Костя.

— Сама не знаю. Пожалуй, хорошее.

Ну что ж?.. Счастливого пути тебе, Виталий!

1962

СОДЕРЖАНИЕ

И. Грекова

КАФЕДРА

*

М., «Советский писатель», 1983, 544 стр.
План выпуска 1983 г. № 118

Редактор И. Ю. Ковалева. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор Л. П. Полякова. Корректор В. Е. Бораненкова. ИБ № 3751. Сдано в набор 06.10.82. Подписано к печати 05.03.83. А04036. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага для глубокой печати. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 31,47. Тираж 200 000 экз. Заказ № 614. Цена 2 р. 30 к. Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.






Кафедра
И. Грекова